Федор Ильич
ДАН
Ираклий Георгиевич
ЦЕРЕТЕЛИ

ДВА ПУТИ
ИЗБРАННОЕ
Часть 1





БИБЛИОТЕКА
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
МЫСЛИ

С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН
ДО НАЧАЛА XX ВЕКА



ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАЧАЛА XX ВЕКА



Руководитель проекта
А. Б. Усманов



МОСКВА
РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
(РОССПЭН)
2010



ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Федор Ильич
ДАН
Ираклий Георгиевич
ЦЕРЕТЕЛИ



ДВА ПУТИ
ИЗБРАННОЕ
Часть 1

СОСТАВИТЕЛИ,
АВТОРЫ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ СТАТЬИ
И КОММЕНТАРИЕВ:

А. П. Ненароков,
доктор исторических наук

П. Ю. Савельев,
кандидат исторических наук



МОСКВА
РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
(РОССПЭН)
2010

УДК 94(47)(082.1)
ББК 66.1(2)6
Д17



Долгосрочная благотворительная программа
осуществлена при финансовой поддержке
НП «Благотворительная организация «Искусство и спорт»

Дан Ф. И., Церетели И. Г. Два пути. Избранное : в 2-х ч. — Ч. 1 /
Д17 Ф. И. Дан, И. Г. Церетели; [сост., авторы вступ. ст. и коммент. А. П. Ненароков, П. Ю. Савельев]. — М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. — 536 с. —(Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала XX века).

ISBN 978-5-8243-1210-2

УДК 94(47)(082.1)
ББК 66.1(2)6

ISBN 978-5-8243-1210-2

Федор Ильич Дан, Ираклий Георгиевич Церетели

Для этого выпуска антологии мы выбрали малоизвестные в современной России произведения двух российских социал-демократов. Хотя имена Дана и Церетели, в общем, на слуху, но об их жизни и деятельности, месте и роли в развитии отечественной общественной мысли мало кто знает по-настоящему. Между тем оба являлись первостепенными фигурами как в революционном движении России, так и в истории российской социал-демократии. Они прожили долгую жизнь, каждый со своими взлетами и падениями. Их взгляды, оценки, выводы за это время, естественно, развивались и уточнялись. На каких-то этапах они шли вместе. На каких-то расходились. И только оказавшись в начале 20-х гг. прошлого века (не по своей воле) в эмиграции, они осознали, что изначально совсем по-разному понимали цели и задачи социальных преобразований и им просто нечего делать вместе.

Расхождения, впрочем, проявлялись и нарастали не один год. По определению Дана, они отражали две линии, два метода решения задач революционных преобразований в России и два пути российской социал-демократии, противостоящей коммунистам-ленинцам. Эти линии были олицетворены для него в личностях Ю. О. Мартова и И. Г. Церетели. Он так и назвал одну из своих итоговых статей 1940 г. — «Два пути», призванную объяснить его расхождение не только с Церетели, но и с большинством коллег по Заграничной делегации РСДРП, созданной в начале 20-х гг. Мартовым в Берлине. Собрав вокруг себя в конце 30-х — начале 1940 г. группу молодежи, Дан назвал ее «Новый мир» и стал выпускать одноименный журнал (с марта по май 1940 г. вышло четыре номера). Именно в нем и была опубликована его названная выше статья[1].

---

[1] См.: *Дан Ф. И.* Два пути // Новый мир. 1940. № 1. 20 марта; № 2. 10 апреля. Проанализировать определение Даном мартовского и церетелевского путей русской социал-демократии первыми попытались О. В. Волобуев и А. Panaччионе. Правда, Волобуев связывал это исключительно с их различной реакцией на политический кризис осенью 1917 г. (см.: *Волобуев О. В.* Меньшевики в условиях кризиса правительственной коалиции осенью 1917 года // Политические партии в российских революциях в начале XX века / Под ред. академика Г. Н. Севостьянова. М., 2005). А Паначчионе акцентировал внимание лишь на том, как

«Новым миром» Дан считал Советский Союз. В докладе, названном им также «Два пути» и представленном в Берлинском партийном клубе имени Ю. О. Мартова еще 9 января 1931 г.[2], он настаивал на том, что СССР «в глазах широких масс является носителем идеи пролетарского освобождения. Все мы, и правые, и левые[3], отлично знаем, сколько здесь иллюзий и фантазий. Но за этими иллюзиями и фантазиями нельзя не видеть реального глубокого и страстного тяготения миллионных масс к социализму, заставляющего их верить в советский мираж»[4]. Так в новых исторических условиях Дан отстаивал мартовскую линию, прежде всего в оценках захвата большевиками власти.

Вслед за Мартовым, он, хотя и признавал начатый большевиками в России социальный эксперимент и новую систему власти как «извращение социализма и террористическую систему, основанную на расколе внутри пролетариата и между пролетариатом и крестьянством», однако сами события октября 1917 г. квалифицировал как «шаг вперед в общественном развитии» страны, лежащий «на линии революционного развития». В «исторический актив» этого развития они относили: «эмансипацию России от империалистической опеки», «свержение политического господства имущих классов», «радикальное устранение пережитков крепостничества», «немедленный мир», «передачу земли крестьянам», «государственное регулирование производства»[5]. Исходя из этого, Мартов в декабре 1919 г. определил ведущую «линию» российской социал-демократии по отношению

трансформировались представления Дана по двум узловым проблемам, трактовка которых разводила Мартова и Церетели не только в 1917-м: *это кризис демократии и возможность торжества ее лишь в итоге классовой борьбы за социальное освобождение пролетариата* (*Panaccione A.* Socialisti europei. Milano, 2000).

2 *Дан Ф. И.* Два пути. Доклад № 1, 9 января 1931 г. Р. А. Абрамович называл этот доклад «контрдокладом» в отношении предыдущего, не сохраненного доклада Николаевского, что немаловажно для понимания сути дискуссии, ведь Николаевский был другом и сторонником Церетели. Споря с ним, Дан спорил в каком-то смысле с Церетели.

3 Речь идет о течениях внутри РСДРП, официально оформившихся после октября 1917 г.

4 *Дан Ф. И.* Два пути. Доклад № 1. Заключительное слово — 3 февраля.

5 См.: *Мартов Ю. О.* Избранное. М., 2000. С. 387; см. также апрельские (1920 г.) тезисы ЦК РСДРП «Мировая социальная революция и задачи социал-демократии» // Меньшевики в 1919–1920 гг. / Отв. редакторы З. Галили, А. Ненароков. Ответственный составитель Д. Павлов. М., 2000. С. 424–432.

к большевизму следующим образом: «Борясь за действительные и постоянные интересы пролетариата против утопического и антидемократического коммунизма, мы не сходим с общей для нас с ним почвы революции. В борьбе с грозящими революции в целом классовыми врагами пролетариата мы готовы защищать самое большевистскую революцию там и тогда, где и когда история вручила ей миссию сдерживать напор мировой контрреволюции»[6]. И Дан придерживался этой линии последовательно и неуклонно.

Иной была позиция Церетели. Он считал путь, избранный Мартовым, ошибочным, «ибо, — писал он в письме к П. Б. Аксельроду 29 октября 1920 г., — рядом со смелыми обличениями большевиков в ней столько экивоков, столько самооправданий, как бы извинений за оппозицию, чинимую большевикам "защитниками революции против империализма", что невозможно уловить собственную позицию Мартова. <...> Становится понятным заявление европейцев, более или менее добросовестных, присматривающихся к политическим событиям в России: "В России есть определенная политика большевиков, и больше никакой, сколько-нибудь определенной политической линии в среде социалистов не видно". Я согласен с Вами, что в смысле личном Ю. О. [Мартов] и другие проявляют в борьбе с большевизмом прямо геройскую смелость и самоотвержение, но в смысле политическом их оппозиция чрезвычайно двойственна, несмела и потому бесплодна»[7].

Дан активно защищал, как он называл ее, «мартовскую линию» во всем и до конца. Свой новый журнал, который он начал выпускать с 1941 г. в США, в противовес «Социалистическому вестнику», был назван уже «Новый путь» (выходил с 22 апреля 1941 по 2 апреля 1947 г.), т. е. отличный от того пути, что избрало новое большинство Заграничной делегации. При этом верность мартовской линии будет подчеркиваться неизменным указанием в шапке каждого номера журнала: «Русский социал-демократический орган. Издается коллективом имени Ю. О. Мартова».

В статьях, опубликованных в «Новом пути», Дан продолжил свои размышления об отношении к большевизму и его социализму, которые затем обобщил в своей последней книге «Происхождение большевизма. К истории демократических и социалистических идей в России после освобождения крестьян». Она вышла в Нью-Йорке в 1946 г.

---

[6] *Мартов Ю. О.* Указ. соч. С. 392.

[7] Меньшевики в 1919–1920 гг. С. 718.

Поскольку книга представляет собой квинтэссенцию дановских воззрений и никогда не переиздавалась ни в СССР, ни в постсоветской России, мы сочли возможным включить в данный том именно ее.

Эволюция т. н. «мартовского пути» в дановской трактовке не осталась незамеченной в сталинском окружении. Пересылая 3 июля 1943 г. кандидату в члены Политбюро ЦК, секретарю ЦК ВКП(б), начальнику Главного политического управления Советской Армии, заместителю наркома обороны СССР и начальнику Совинформбюро А. С. Щербакову для ознакомления 22-й номер журнала «Новый путь» за 7 октября 1942 г., Генеральный секретарь Исполкома Коминтерна Г. Димитров приложил справку, в которой отмечалось: «"Новый путь" в основном отражает попытку со стороны этой группы социал-демократов занять относительно просоветскую линию, однако не без характерных меньшевистских "оговорок"». Здесь же относительно позиции лично Дана подчеркивалось, что он «пытается "примириться" с советским строем, одновременно повторяя все свои меньшевистские "квалифицирования" этого строя»[8] и «окончательно разоблачает свое политическое банкротство, находящее выражение в его неумении понять основные вопросы, которые решаются в этой войне, и роль Советского Союза в отношении мирового пролетариата»[9]. Последнее касалось дановского заявления о том, что он и его соратники поддерживают «в этой войне Советский Союз, а не Сталина, русский народ, а не большевистский режим». Действительно, сказав «а», ему и его друзьям, по мнению советского руководства, давно пора было сказать «б» и «выйти из "младенческой стадии" оценки советского государства и его строя», не впадая при этом «в, видимо, неизменное для него меньшевистское старчество»[10].

И. Г. Церетели не только являлся последовательным критиком коммунистических экспериментов в России. В отличие от Мартова и Дана он, как и П. Б. Аксельрод и А. Н. Потресов, отчетливо понимал, «какая тяжелая полоса развития предстоит социалистическому движению в России после большевизма, какую психологическую реакцию против социализма сеет большевизм»[11].

---

[8] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 129. Л. 19.

[9] Там же. Л. 20.

[10] Там же. Л. 22.

[11] Hoover Institution Archives (далее — HIA). Boris I. Nikolaevsky Collection. Series 15. Box 29.

Как член Исполкома Рабочего Социалистического интернационала Церетели неоднократно обращал внимание на то, какое отрицательное последствие для мировой социал-демократии имеет двойственность оценок прихода большевиков к власти, содержащаяся в заявлениях Мартова и Дана: «Общее значение борьбы с большевизмом, — писал он, — до сих пор остается неосознанным в большинстве партий Интернационала. Они подходят к этому вопросу или с точки зрения своей государственной политики по отношению к России, руководствуясь принципом "невмешательства", как это делает, например, Германская партия, — или же с точки зрения внутренней борьбы с отечественным консерватизмом и капитализмом и здесь склонны оставаться защитниками "русской революции" в ее большевистском виде»[12].

Приход к власти фашистов в Германии, вслед за большевистским экспериментом в России, Церетели воспринял как глубочайший кризис социалистической идеи и понятия «демократия». Наиболее «тяжким ударом» в этом смысле, по его мнению, явилось широчайшее распространение аморализма, который «для многих» превратился в синоним или необходимый атрибут «реалистичности и ума в политической борьбе»[13]. Церетели видел в этом аморализме самое яркое проявление «большевистского яда», привитого российскому социал-демократическому движению. Он настаивал на том, что данные «тенденции» стали ведущими и в социалистическом движении западных стран, проникнув в него столь глубоко, что отныне они определяют «на каждом шагу» все стороны «социалистической политики», в том числе и позицию Интернационала в борьбе с самим большевизмом. «Я имею в виду, — подчеркивал он, — не компромиссы и уступки в государственной политике, которые большей частью повязаны обстоятельствами. Но тот узкий дух "практицизма", которым окрашены все эти компромиссы и уступки. То выбрасывание за борт идеальных основ движения, которое характеризует все эти практические шаги. В этом — кризис социализма и кризис демократии»[14].

Так разошлись пути двух видных деятелей российской социал-демократии. И вторая часть тома, в которой мы впервые собрали вое-

---

[12] HIA. Boris I. Nikolaevsky Collection. Series 15. Box 29.

[13] Ibid. Series 248. Box 505.

[14] Ibid.

дино избранные речи, выступления, доклады и статьи Церетели за 1907–1946 гг., часть из которых ранее вообще не была доступна для нашего широкого читателя, дает возможность конкретно представить, как и когда это началось и чем завершилось.

Разница во взглядах, оценках, позиции и даже манере поведения Дана и Церетели определялась и разницей в возрасте и социальном происхождении, в воспитании, образовании и, наконец, творческом и человеческом потенциале.

Федор Ильич Гурвич (больше известный под одним из своих партийных псевдонимов, как Дан) родился 7(19) октября 1871 г. в Петербурге в семье провизора, владельца аптеки. Он рано потерял отца. Не испытывая материальных лишений, он не видел семейного тепла — отчим поручил его воспитание русской гувернантке. Даже каникулы в Германии он проводил с ней, а не со своей родной матерью. Правда, в результате в его духовном развитии появился еще один элемент — немецкая культура, что пригодилось ему впоследствии в Дерптском университете, а позднее облегчило адаптацию к условиям эмиграции и, вероятно, определило и некоторые черты характера. В доме его отчима-еврея, вполне ассимилировавшегося в петербургскую среду, царил дух просветительства[15]. Окончив петербургскую гимназию, Федор поступил в 1891 г. не в Петербургский университет, а на медицинский факультет Юрьевского (Дерптского) университета, что скорее всего стало следствием применения процентной нормы для евреев, обучающихся в столичных университетах.

В Дерптском университете, переименованном в 1893 г. в Юрьевский, вскоре после того, как в 1890 г. в нем было введено преподавание на русском языке и на него распространилось действие общего устава российских университетов, обучались представители самых разных конфессий из самых отдаленных уголков империи; здесь продолжали обучение студенты из других университетов, откуда их отчислили за политическую неблагонадежность. Все это создавало неповторимую атмосферу свободомыслия и свободолюбия. Неудивительно, что юноша из состоятельной семьи, оказавшись в такой среде, увлекся идеями социализма и стал марксистом, хотя сказать, как именно произошло

[15] См.: *Сапир Б.* Федор Ильич Дан (1871–1947) // Федор Ильич Дан. Письма (1899–1946). Amsterdam, 1985. С. XXXVII; *Петер Х. Р.* «Необходимо тщательно столковаться по целому ряду вопросов». Письма Ф. И. Дана к Г. В. Плеханову. 1907–1908 гг. // Исторический архив. 2006. № 6. С. 133.

его идейное становление, трудно[16]. Но, как бы там ни было, когда летом 1895 г. Дан вернулся из Дерпта в Петербург с дипломом врача, он уже выступал лидером небольшого социал-демократического кружка. «Уверенность, с которой он, еще не участвовавший в практической революционной работе и лишь путем теоретических занятий пришедший к социал-демократизму, говорил о партийных задачах, — с известной долей иронии вспоминал Ю. О. Мартов, — заставила меня с первых же встреч прозреть в нем будущую революционную силу»[17].

Вернувшись в Петербург, Дан не только активно включился в социал-демократическое движение, но и сумел использовать в этих целях свое положение врача Обуховской больницы. Тогда же он женился на вдове покончившего жизнь самоубийством члена кружка Мартова А. Г. Ризенкампфа — Кожевниковой[18]. Причем для законного оформления брака — венчания Дан принял православие.

Среди петербургских социал-демократов молодой медик выделялся деловитостью, организаторскими способностями и, как тогда говорили, знанием «техники»[19]. Не случайно Мартов при образовании петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» назначил Дана своим преемником на случай ареста[20], и когда в январе 1896 г. это

---

[16] Б. Сапир расспрашивал об этом самого Дана, а после его смерти и родственников, но никакой информации из этих расспросов не почерпнул. Х. Р. Петер в указанной выше публикации называет главной причиной влияние учившегося в Дерпте А. Г. Ризенкампфа и его жены В. В. Кожевниковой.

[17] *Мартов Ю. О.* Записки социал-демократа. М., 2004. С. 169. Х. Р. Петер утверждает, что их познакомила на одном из заседаний Вольного экономического общества Кожевникова. Мартов же в своих воспоминаниях указывает еще и на близкое знакомство их родителей.

[18] *Кожевникова Вера Васильевна («Наташа»)* (1873–1940) — слушательница Бестужевских курсов, в революционном движении с 1891 г., член кружка Ю. О. Мартова и петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». С 1898 г. вместе с Даном отбывала ссылку в Вятской губернии. В 1900 г. вернулась в Петербург, вошла в группу «Социалист», но уже в 1901 арестована, освобождена из-под стражи под залог и скрылась за границу. Исполняла обязанности технического секретаря газеты «Искра». В августе 1902 г. по поручению редакции нелегально вернулась в Россию. Член МК РСДРП. В ноябре того же года арестована и сослана в Восточную Сибирь на 6 лет. В 1904 г. ей удалось совершить побег и скрыться за границей, где она примкнула к меньшевикам. У них с Ф. И. Даном было двое детей, судьба которых оказалась далеко непростой.

[19] См.: *Горев Б. И.* Из партийного прошлого. Воспоминания 1895–1905 гг. Л., 1924. С. 17.

[20] См.: *Мартов Ю. О.* Записки социал-демократа. С. 177, 196.

случилось, Дан вошел в руководящий кружок организации и активно участвовал в знаменитой стачке петербургских текстильщиков в мае-июне 1896 г. В августе того же года его арестовали и после полуторогодичного содержания в тюрьме (часть срока он провел в казематах Петропавловской крепости) в марте 1898 г. выслали в административном порядке на 3 года в Вятскую губернию в город Орлов.

В ссылке Дан работал статистиком. Вообще, имея медицинское образование, он тем не менее всю жизнь упорно избегал врачебной практики. Его товарищами по ссылке были А. Н. Потресов, В. В. Воровский, И. Г. Смидович, Е. Д. и В. Г. Громаны, М. Н. Леман, К. И. Захарова, Н. Э. Бауман и другие известные социал-демократы. С особенным пиететом он относился к Потресову, который воспринимался им, еще только стремившимся заявить о себе как о литераторе, старшим товарищем и авторитетным наставником[21]. Кто мог тогда предположить, как обойдется в будущем Дан со своим учителем в угаре борьбы за чистоту «мартовской линии».

По окончании срока ссылки весной 1901 г. Дан с семьей выехал за границу. Ко времени его приезда здесь уже вовсю кипела работа заграничной организации «Искры», и Дан, очевидно, по протекции Потресова и Мартова, возглавил ее берлинскую группу содействия. Сотрудничество в описании рукописей К. Маркса по теории прибавочной стоимости положило начало его знакомству с Карлом Каутским[22], углубило теоретические познания, а установленные при этом тесные связи с немецкой и австрийской социал-демократией (он был близко знаком с Ф. Адлером, О. Бауэром и др.) сформировали его понимание современной партийной работы. Характерными чертами Дана как руководителя были деловитость и собранность, свойственные далеко не всем участникам российского социал-демократического движения. Именно эти качества быстро выдвинули его в ряды наиболее видных партийных практиков. Он участвовал в Объединительном съезде заграничных организаций РСДРП в Цюрихе (сентябрь 1901 г.), где вместе с «искровцами» «воевал» с «экономистами». Не случайно именно ему поручили огласить заявление «искровцев» об уходе с этого съезда[23]. Вскоре его ввели вместе с В. И. Засулич и

---

[21] Из архива А. Н. Потресова. Вып. 1. М., 2007. С. 170–193.

[22] *Петер Х. Р.* Указ. соч. С. 135.

[23] Ленинский сборник. Т. IX. М.; Л., 1929. С. 325.

Мартовым в комиссию, которая должна была согласовать два текста проекта программы РСДРП, представленные, с одной стороны, Плехановым, с другой — Лениным. Впрочем, в этой работе он не смог принять участие, так как в то же самое время был делегирован редакцией «Искры» на общепартийную конференцию комитетов и организаций РСДРП в Белостоке (март 1902 г.).

Успешно справившись с возложенными на него задачами и обеспечив за «Искрой» руководящее положение по созыву II съезда РСДРП, Дан был избран членом Организационного комитета[24], но по пути из Белостока его опознал агент Департамента полиции, и он был арестовал на вокзале в Москве с транспортом нелегальной литературы. После полуторагодичного заключения в Бутырской тюрьме Дана в административном порядке выслали в Восточную Сибирь на 6 лет. Примерно на это время приходится начало политической деятельности Ираклия Георгиевича Церетели.

Он был на 10 лет моложе Дана. Родился 8(20) ноября 1881 г. в Кутаиси в семье известного грузинского писателя — Георгия Ефимовича Церетели, принадлежавшего к древнему, но обедневшему дворянскому роду, сохранившему свои представления о чести и жизненных целях, среди которых особое место занимало служение народу. Отец и дядя с материнской стороны (Николадзе Нико Яковлевич), занимавшиеся воспитанием Ираклия после смерти матери, были высокообразованными людьми, увлекались литературой, писали сами, активно участвовали в общественной жизни Грузии, входя в движение *«Тергдалеулеби»* (*груз.* — испившие воду Терека, т. е. побывавшие в России). Они выступили основателями т. н. «Второй группы» — *«Меоре-даси»*, близкой к русским *революционным демократам.* Среди сотрудников еженедельной газеты *«Квали»* («Борозда»), издававшейся отцом с 1893 г., было немало представителей новой, разночинной интеллигенции, суждения и взгляды которых отличались резкостью оценок русификаторской имперской политики российских самодержцев и одновременно непримиримостью к национальному шовинизму. Все это сыграло огромную роль в нравственном и духовном становлении Церетели.

---

[24] Переписка В. И. Ленина и редакции газеты «Искра» с социал-демократическими организациями в России. 1900–1903 гг. Т. 1. М., 1969. С. 468–472, 499–500, 518.

Благодаря семье и знакомству с близким ее окружением (прозаиком Ильей Чавчавадзе, поэтом Акакием Церетели и другими), он с детства ощутил магию и силу слова, не только родного, но и русского, и французского языков. Позже столь же безукоризненно овладел немецким и английским. Однако основным языком дома оставался грузинский, а основным содержанием воспитания — грузинская история, грузинские песни, грузинские повести и сказки. Столь же хорошо Ираклий Церетели знал и русскую литературу: «Пушкина, Лермонтова, Некрасова я любил так, что главные их произведения знал почти сплошь наизусть. Гоголя, Достоевского, Толстого и Тургенева тоже читал и перечитывал бесконечно. Эти произведения привлекали не только своим художественным совершенством, но и проникающим их духом человечности и правдоискательством»[25].

В знаменитой 1-й тифлисской гимназии его одноклассниками были Павел Флоренский[26], Давид Бурлюк[27] и Лев Розенфельд (Каменев), будущий ленинский соратник[28]. Двумя классами старше учился Борис Бахметев[29]. Именно в гимназии к знакомству с народническими идеями, которыми увлекались отец и дядя, прибавилось знакомство с «Манифе-

---

[25] Социалистический Вестник. 1959. № 6 (730). С. 120.

[26] *Флоренский Павел Александрович* (1882–1943) — русский религиозный философ, ученый, инженер.

[27] *Бурлюк Давид Давидович* (1882–1967) — один из основателей русского футуризма, художник и поэт. С 1920 г. — в эмиграции.

[28] *Каменев (Розенфельд) Лев Борисович* (1885–1936) — социал-демократ с 1901 г., большевик. С 1917 по 1927 г. — член большевистского ЦК, один из редакторов «Правды». Член Исполкома Петроградского Совета и ВЦИК первого созыва. Выступал против ленинского курса на вооруженное восстание. Первый председатель ВЦИК второго созыва. Сторонник однородного социалистического правительства. С марта 1918 г. — председатель Моссовета. С 1922 г. — заместитель председателя Совнаркома и СТО. В 1923–1926 гг. — директор Института Ленина, с 1934 г. — директор Института мировой литературы им. М. Горького. Член Политбюро ЦК РКП(б)–ВКП(б) с 1919 по 1926 г. С 1926 г. — полномочный представитель СССР в Италии, председатель научно-технического управления ВСНХ СССР и Главконцесскома, с 1933 г. — директор издательства «Академия».

[29] *Бахметев Борис Александрович* (1880–1951) — инженер, социал-демократ, меньшевик, на IV съезде РСДРП избран членом ЦК. В период революции 1905–1907 гг. работал в Василеостровском районе Петербурга. Вскоре после IV съезда РСДРП отошел от партийной работы. После Февральской революции 1917 г. — товарищ министра торговли и промышленности, затем — посол Временного правительства в США. После подписания Рапальского договора (1922) отошел от политической деятельности.

стом Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса, книгами серии «Библиотека научного социализма», подготовленными членами группы «Освобождение труда». На это же время пришлось и увлечение Декартом и Кантом. Из интернационалистских лозунгов марксизма и дуализма Декарта Церетели вынес уверенность в необходимости соединения борьбы за свободу родного народа с движением за демократические перемены в Российской империи и мире. Как представитель общества, где социальный антагонизм проявлялся значительно слабее, чем в европейских странах и центральной России, а единство целей различных общественных групп ощущалось более весомо, он несокрушимо верил в возможность единения в этой борьбе «живых сил нации» и, став политиком общероссийского масштаба, всегда руководствовался этой верой.

На первом курсе юридического факультета Московского университета в 1900 г. Церетели был избран председателем Исполнительного комитета объединенных студенческих землячеств и организаций. Он стал одним из наиболее активных организаторов всеобщих, 1901 и 1902 гг., студенческих забастовок и демонстраций. Начались они в ноябре 1901 г. в Харькове после увольнения приказом министра народного просвещения П. С. Ванновского студентов 1-го курса Харьковского ветеринарного института, потребовавших ухода профессора химии Лагермака из-за его казенного отношения к делу и невыносимой грубости. Почти тут же они были поддержаны студентами Киева, Екатеринославля, Москвы и Петербурга, что вылилось в массовое протестное движение против отдачи студентов в солдаты и т. н. «временных правил» правительства 1899 и 1901 гг., регламентирующих внутреннюю жизнь высших учебных заведений. В 34-м номере бюллетеня Исполнительного комитета объединенных землячеств и организаций Московского университета от 5 февраля 1902 г. сообщалось о предстоящей 9 февраля в актовом зале сходке учащихся высших учебных заведений города и подчеркивалось: «Пусть всякий, в ком еще окончательно не задушена искра гражданского мужества, смело станет на защиту своих прав и открыто заявит свое недовольство»[30]. А на самой сходке, где собралось 518 человек, была принята резолюция, в которой, в частности, отмечалось:

«...Считая ненормальность существующего академического строя лишь отголоском общего русского бесправия, мы откладываем на-

[30] Студенческие волнения в 1901–1902 гг. // Красный архив. **Исторический** журнал. 1938. № 4–5 (89–90). С. 278.

всегда иллюзию академической борьбы и выставляем знамя общеполитических требований, глубоко убежденные, что для правильного хода общественной жизни необходимо пересоздание всего социального и политического строя на началах признания за личностью публичных прав. Мы уверены, что без этого русская жизнь не двинется ни на шаг вперед, что лучшие силы будут периодически вырываться из среды общества, что позорное топтание на одном месте не прекратится. Мы требуем: 1) неприкосновенности личности, 2) свободы печати, 3) свободы совести, 4) свободы собраний и организаций, 5) непосредственной ответственности административных лиц, 6) общедоступности образования, 7) допущения женщин в Университет, 8) уравнения прав национальностей. Вместе с рабочими мы требуем: 9) 8-часового рабочего дня и 10) права стачек.

Не признавая настоящего правительства способным к реорганизации общественного строя на этих началах, мы обращаемся ко всей мыслящей России, считающей себя политически зрелой с указанием о своевременности созвания Учредительного Собрания. Общеполитическая программа заставляет нас вынести наш протест на улицу, где мы вместе с кадрами рабочих обществ готовы силой поддерживать наши требования»[31].

Этой сходке в Московском университете и принятой ей резолюции «Искра» посвятила специальную корреспонденцию[32]. Так Церетели определил лично для себя наиважнейшую цель политической деятельности — борьбу за права человека.

Отметила его и царская охранка. Он был арестован в числе, по выражению московского обер-полицмейстера, «сходочников и ослушников» и согласно решению Особого совещания выслан в Восточную Сибирь на 5 лет, с дальнейшим воспрещением впоследствии в течение 2 лет жительства в столицах и университетских городах[33]. Так Церетели получил первый свой срок и в первый раз оказался в Иркутске. Правда, уже летом того же 1902 г. император поручил министру внутренних дел В. К. Плеве[34] «выяснить степень возможного облегчения

[31] Студенческие волнения в 1901–1902 гг. // Красный архив. Исторический журнал. 1938. № 4–5 (89–90) С. 279.

[32] Искра. 1902. 10 марта. № 18.

[33] Студенческие волнения в 1901–1902 гг. С. 282.

[34] *Плеве Вячеслав Константинович* (1846–1904), который к тому же занимал должность шефа отдельного корпуса жандармов, вскоре был убит эсером Е. С. Созоновым.

участи лиц, подвергнутых высылке». Получивший «по степени вины» самый большой срок, Церетели из-за болезни и «принимая во внимание, что применение ссылки в Восточную Сибирь к лицам, виновным в участии в студенческих беспорядках, является карой чрезмерно суровой», летом 1903 г. был препровожден в Тифлис под надзор полиции.

Короткое время, с лета 1903 г. и до весны 1904 г., он провел дома. В Тифлисе же стал социал-демократом. На втором съезде Кавказского союза РСДРП (октябрь 1903 г.) примкнул к меньшевикам. Тогда же познакомился с работами основоположников российской социал-демократии Г. В. Плеханова, П. Б. Аксельрода, Ю. О. Мартова, А. Н. Потресова и, конечно, В. И. Ленина. В начале 50-х гг. Б. И. Николаевский запишет любопытное признание Церетели о его первой реакции на работы и выступления Ленина: «...Я, конечно, читал все им написанное; за границей я слышал его два-три раза на собраниях, ни интереса, ни тем более симпатии он к себе не вызывал. <...> С тем, что Ленин сделан из иного теста, чем другие партийные лидеры, я спорить не собирался, но мне и тогда было ясно, что это — совсем чужое "тесто", никаких симпатий во мне не вызывавшее»[35].

Самым близким и по духу, и по мысли из числа лидеров российской социал-демократии для Церетели изначально стал Павел Борисович Аксельрод. «Знакомство мое с миром идей Аксельрода, — писал Церетели в 1925 г., — началось с тех пор, как я стал сознательно жить. Наши поколения воспитывались на произведениях Павла Борисовича». (Ч. 2. С. 163.) Особо близким ему стало утверждение Аксельрода о солидарности интересов пролетариата, крестьянства и прогрессивных элементов российского общества, включая либералов, а также его вывод об опасности ленинских взглядов для демократического социализма. Позже Церетели специально подчеркнет: «Если Ленин стремился увековечить в русском рабочем движении и в русской революции самые отсталые, азиатские формы, то Павел Борисович олицетворял для России прогрессивные и европейские формы движения»[36].

В марте 1904 г. Церетели выехал в Германию, где пытался продолжить учебу на юридическом факультете Берлинского университета. Но из-за обострения болезни от этого пришлось отказаться. И хотя в мае 1905 г. он принял участие в общероссийской конференции

---

[35] HIA. Boris I. Nikolaevsky Collection. Series 15. Box 10. Folder 75.

[36] Социалистический вестник. 1928. 23 июня. № 12 (178).

меньшевиков в Женеве, но уже осенью того же года вынужден был спешно выехать на родину. В Тифлисе на вокзале родные вынесли его на носилках, никто и представить не мог, что в ближайшее время он сможет вернуться к активной работе. Но уже через год, на Кутаисской губернской конференции РСДРП, Церетели был выдвинут кандидатом в депутаты на выборах во II Государственную думу и 6 февраля 1907 г. избран в нее от Кутаисской губернии. В конце февраля того же года Церетели выехал в Петербург. В родительский дом он сумеет вернуться лишь через 10 долгих лет.

Пути Церетели и Дана могли бы пересечься заграницей еще в начале 1900-х гг., но этого не случилось. Дан появился в Женеве в октябре 1903 г., бежав из ссылки. В разгоравшейся после II съезда РСДРП внутрипартийной борьбе он сразу же примкнет к меньшевикам, и, войдя в состав Бюро меньшинства[37], станет ближайшим помощником Ю. О. Мартова, как тогда говорили — «его тенью».

Не участвовавший в конфликте на самом съезде, Дан выступил посредником между сторонами, чем навсегда испортил свои отношения с Плехановым и Лениным, зато на некоторое время удостоится симпатий Аксельрода. Его политический вес быстро растет. В октябре 1903 г. он — делегат II съезда Заграничной лиги русской революционной социал-демократии — активно отстаивал позиции меньшевиков. Его избрали членом администрации Заграничной лиги и ввели в редакционную комиссию по изданию протоколов II съезда РСДРП. В начале 1904 г. Дана кооптируют уже в состав редакции газеты «Искра», а в сентябре — поручают возглавить редакцию популярной газеты для рабочих «Социал-демократ», которая издавалась параллельно с «Искрой». И это несмотря на то, что Плеханов был крайне недоволен его статьями как с точки зрения их литературных достоинств, так и содержания, заявляя, что Дан пишет «скорее как политический радикал, а не социал-демократ». Любопытно, что набравший определенный политический «вес» Дан в долгу не остался и в письме от имени редакции, предназначенном «для самого узкого круга "меньшинства"», писал, что «наша борьба — не его борьба, в ней Плеханов чужой, лишний, непонимающий, что его личная "линия" не входит

[37] Меньшевики. Документы и материалы. 1903 — февраль 1917 г. / Составитель и автор вводной статьи и комментариев С. В. Тютюкин. Подготовитель Т. В. Хордина. М.: РОССПЭН, 1996. С. 41–43, 473.

составной частью в позицию "меньшинства". События последних месяцев не могли не вызвать у него подозрений, он все больше понимает, что в углублении раскола виновато не только "большинство", но и "меньшинство"»[38].

В августе 1904 г. Дан был включен в состав делегации РСДРП на Амстердамский конгресс II Интернационала и даже представлял доклад о работе российской социал-демократии, подготовленный в соавторстве с Мартовым. Его перу принадлежат «Письмо к партийным организациям» (декабрь 1904 г.) об участии социал-демократов в банкетной кампании земцев[39]. Оно последовало за статьей Потресова «Наши злоключения (О либерализме и гегемонии)», опубликованной в «Искре» в ноябре 1904 г., и обращением Аксельрода по поводу отношения партии к банкетной кампании, которое было опубликовано тогда же в виде отдельного листка. Обе эти публикации вызвали в партии далеко не единодушную оценку, ибо речь шла о пересмотре всей тактики РСДРП искровского периода по отношению к либералам. Лидер большевиков В. И. Ленин ответил на них публикацией собственной брошюры «Земская кампания и план "Искры"». В ней он осудил взгляды и оценки Потресова и Аксельрода, узрев в них принижение роли пролетариата в политической борьбе и косвенное признание ведущего положения либералов в освободительном движении.

Неоднозначно «план "Искры"» был встречен и в меньшевистской среде. Весьма авторитетные в ней в то время Парвус (А. Л. Гельфанд) и Л. Д. Троцкий, отрицавшие наличие в России буржуазной демократии, также критиковали его. Это и заставило редакцию «Искры» выпустить второе письмо к партийным организациям, автором которого стал Дан. Насколько он был самостоятелен в создании этого текста, судить трудно, ведь горячими пропагандистами т. н. «плана "Искры"» были Аксельрод и Мартов, а Плеханов даже обратился с письмом в его поддержку в ЦК[40], но как бы там ни было письмо Дана претендовало на некое обобщение, подчеркивая, что неверно сводить роль рабочей партии в революции лишь к грубой физической силе, способной свалить существующий режим, а «политика» не ограничивается т. н. «боевыми» действиями. Отвергая обвинения в оппортунизме, выдвинутые

---

[38] РГАСПИ. Ф. 278. Оп. 1. Д. 4. Л. 1–2 об.

[39] Меньшевики. Документы и материалы. 1903 — февраль 1917 г. С. 77–89.

[40] *Плеханов Г. В.* Сочинения. Т. XIII. М.; Л., 1927. С. 169–187.

Лениным, письмо Дана характеризовало взгляды Ленина, как отражающие «самую примитивную точку зрения в вопросах тактики».

Революция 1905–1907 гг. стала временем окончательного самоопределения меньшевизма среди других политических сил страны, первой большой проверкой его жизнеспособности. В первом же номере «Искры» (27 января 1905 г.) после начала революции в яркой передовой «Девятое января», написанной Ю. О. Мартовым, был определен ряд новых задач российской социал-демократии в сложившихся условиях. При этом мысль о том, что необходимо не «организовывать» революцию, как полагают большевики, а превратить потенциальную революционную энергию масс в реальное революционное действие стала доминантной. Развивая её, Дан уже в следующем номере газеты (3 февраля) вступит с большевиками в полемику по вопросу о технической подготовке восстания, которой они придавали первостепенное значение. По мнению Дана, подпольные организации мало что могли бы сделать в этом отношении, а увлечение подготовкой боевиков, закупкой оружия и пр. является простым рецидивом заговорщической тактики. В номере от 10 февраля он выступил с большой статьей «О революционной работе в деревне»[41], отстаивая необходимость усиления революционной пропаганды и агитации среди крестьянства, поскольку ему суждено сыграть в революции не последнюю роль. При этом Дан рекомендовал пассивные формы сопротивления властям, считая, что это будет способствовать и дезорганизации власти, и политическому просвещению крестьян. По его утверждению, следовало уделить особое внимание координации революционных выступлений крестьян с рабочим движением.

Дан примет самое деятельное участие в «Общерусской конференции партийных работников» (Женева, май 1905 г.), где состоялось более полное и обстоятельное формулирование тактических установок меньшевизма в условиях начавшейся революции. Так как протоколы конференции не велись и были опубликованы лишь ее основные резолюции[42], установить, в подготовке каких документов принимал участие Дан, довольно трудно. Известно, что он вместе с Плехановым и Кольцовым (Б. А. Гинзбургом) входил в состав комиссий по таким

---

[41] Меньшевики. Документы и материалы. 1903 — февраль 1917 г. С. 100–103.

[42] Там же. С. 107–130.

важным вопросам, как аграрный и о профессиональном движении. На этой конференции и могла, очевидно, произойти первая встреча Дана с Церетели, но никаких свидетельств этому не сохранилось.

Летом 1905 г. в связи с обсуждением проектов созыва Думы Дан выступил в «Искре» (1 июня) со статьей «К современному положению»[43], в которой обосновывался план проведения явочным порядком параллельно с официальными выборами выборов на основе всеобщего избирательного права. Уездные и губернские собрания, избранные таким партизанским методом, должны были составить систему органов революционного самоуправления во главе со всероссийским представительным органом — Народной думой, которая в последующем, в ходе развития революции, могла бы превратиться в Учредительное собрание, полномочное решить дальнейшую судьбу России. Трудно сказать, насколько оригинальны эти дановские идеи. Весьма вероятно, что они оформились в ходе бесед с Аксельродом, который летом в трех письмах в ОК РСДРП сформулировал идею «рабочего съезда»[44]. Как признавал позже сам Дан, обе идеи оказались «внутренне порочными и иллюзорными». Подъем революционного движения смел и Булыгинскую думу, и план созыва «рабочего съезда».

После октябрьской 1905 г. амнистии Дан вместе с другими видными меньшевиками вернулся в Россию, причем уже в качестве не только помощника Мартова, но и родственника, женившись на его любимой сестре — Лидии[45]. В Петербурге он вошел в редакции легальной

---

[43] Меньшевики. Документы и материалы. 1903 — февраль 1917 г. С. 133–135.

[44] Изданы отдельной брошюрой: *Аксельрод П. Б.* Народная дума и рабочий съезд. Женева, 1905.

[45] *Дан (урожд. — Цедербаум, по первому мужу — Канцель) Лидия Осиповна* (1878–1963) — деятель российского социал-демократического движения. Училась на Бестужевских высших женских курсах, участвовала в деятельности политического Красного Креста, в «Ветровской» демонстрации 1897 г. Примерно с этого времени в социал-демократическом движении. Член петербургских групп «Рабочее знамя» и «Социалист». В 1898 г. арестована, сослана в Крым. Перевела на русский язык книгу Э. Бернштейна «Предпосылки социализма и задачи социал-демократии». В 1901 г. выехала за границу. С 1902 г. — агент «Искры» в Москве. Арестована. На допросе бросила в полковника С. В. Зубатова, пытавшегося склонить ее к сотрудничеству, чернильницей. Свыше года провела в Таганской тюрьме. В административном порядке выслана в Олекминск в Восточную Сибирь. В 1905 г. бежала. Секретарь редакции «Искры». Осенью того же года вместе с другими членами редакции вернулась в Россию. Арестована в 1907 г. и выслана за границу. В 1911 г. вернулась в Россию. В 1914 г. вместе с Даном выслана в Восточную

меньшевистской газеты «Начало», а также ряда объединенных меньшевистских и большевистских органов печати — «Партийные известия», «Северный голос», «Наш голос», позднее (в 1906 г.) — журналов «На очереди», «Привет», сборников «Отклики», «Отклики современности». Войдет он и в состав объединенного ЦК РСДРП.

На рубеже 1905–1906 гг. Дан поддерживал теорию перманентной революции Троцкого — Парвуса, полемизируя по этому вопросу с Аксельродом, Плехановым и Мартовым. Но эти настроения окажутся для него временными.

По своей натуре Дан являлся скорее созидателем, чем разрушителем. В феврале 1906 г. на петербургской городской партийной конференции он выступил против бойкота I Государственной думы, а на IV съезде партии (апрель 1906 г.) был избран товарищем председателя Президиума съезда и внес свой вклад в принятие новой аграрной программы РСДРП. Дан настойчиво призывал использовать Государственную думу в качестве центра политической жизни страны, а ее конфликты с властью — как рычаг давления. В соавторстве с Плехановым и Аксельродом он предложил проект резолюции о Думе, в которой, с одной стороны, признавались границы ее политических возможностей («мнимоконституционное учреждение»), но с другой — подчеркивалась необходимость ее использования для развития революции, а для этого рекомендовалось принять участие в выборах, создать внутри Думы социал-демократическую фракцию и развернуть ее работу. С незначительными изменениями этот проект был принят большинством съезда[46]. На съезде Дан был избран членом редакции центрального органа партии — газеты «Социал-демократ», а после съезда получил задание заняться организацией социал-демократической работы в Думе. И здесь пути Дана и Церетели наконец сойдутся.

В апреле 1907 г. Церетели приступил к работе в качестве депутата Думы, возглавив в ней социал-демократическую фракцию, кото-

---

Сибирь. В марте 1917 г. по личным мотивам официально заявила о своем выходе из партии. С 1922 г. — в эмиграции. В 1924 г. возобновила членство в РСДРП, представляла партию в Женском Интернационале, работала в малом (берлинском) политическом Красном Кресте. После смерти Дана работала в секретариате ООН. В конце жизни многое сделала для развертывания работ по изучению истории меньшевизма.

[46] Четвертый (Объединительный) съезд РСДРП. Протоколы. М., 1959. С. 524–525, 574.

рую от ЦК курировал Дан. Первая же речь Церетели — ответ на декларацию председателя Совета министров П. А. Столыпина — имела колоссальный успех и принесла ему всероссийскую известность. (Ч. 2. С. 7–14.) Выступление Церетели сопровождалось обструкцией со стороны правых и неоднократно прерывалось председателем Думы кадетом Ф. А. Головиным. Это был настоящий вызов правительству и лично премьеру. В ответ социал-демократы услышали слова Столыпина: «Не запугаете!» Потом говорили, что эта речь сделала Церетели «не оратором, выставленным партией, а трибуном, говорившем от имени народа». Одновременно вырос и его партийный авторитет. При этом принципиально разное понимание задач аграрных преобразований и перспектив революционного движения в России окончательно развело его с большевиками и их лидером, Лениным, который считал большинство из выдвигавшихся и отстаивавшихся Церетели положений «чистейшим ревизионизмом» и рассуждениями «в духе бернштейнианства». Сам Церетели никогда не скрывал близости к Э. Бернштейну и даже называл его «теоретиком российского реформизма»[47].

В мае 1907 г. на V (Лондонском) съезде РСДРП происходит первое публичное столкновение Церетели и Ленина. В обширной повестке дня съезда, как бы подытоживавшего всю деятельность РСДРП в революционный период, центральное место было отведено вопросу об отношении к Государственной думе. Достаточно сказать, что из 15 постановлений и резолюций съезда (без учета решений, касающихся внутрисъездовских дел) 6 были связаны с этим вопросом: «Об отношении к непролетарским партиям», «О Государственной думе», «К отчету думской фракции», «О национальном вопросе в связи с деятельностью социал-демократической думской фракции», «О народной демократии» и «Об отношении думской фракции к Центральному Комитету». На съезде присутствовало 15 депутатов Думы, а доклад от их имени делал Церетели. С содокладом (контрдокладом) выступал Г. А. Алексинский. Церетели не отрицал, что фракция по неопытности сделала ряд тактических промахов: голосование за кадета Ф. А. Головина при выборах председателя Думы, уступки кадетам при обсуждении продовольственного вопроса и вопроса о помощи безработным, но подчеркивал ее несомненные успехи. (Ч. 2. С. 20–21.) Ленин весьма болезненно воспринял

---

[47] См.: *Церетели И. Г.* Воспоминания о Февральской революции. Книга первая. Mouton & Co. La Haye. Paris: MCMLXIII. C. 232.

заявление Церетели о том, что проводимая им тактика ограниченного сотрудничества с кадетами позволила социал-демократам по ряду вопросов создать единую с ними оппозицию царскому правительству. Не понравилось ему и утверждение лидера думской фракции, что история революций 1848 г. (как и вся история Европы) доказала отсутствие необходимых условий для социализма и неизбежность в нарастающей революционной борьбе того или иного союза с буржуазной демократией. Большевики добивались осуждения съездом всей деятельности думской фракции. Меньшевики, и прежде всего Мартов и Дан, активно ее защищали. В результате съездом была принята компромиссная резолюция, в которой вопрос оценки работы депутатов был совсем обойден. При этом уже было ясно, что над социал-демократической фракцией Думы сгустились тучи — правительство уже выдвинуло против депутатов обвинение, что они, используя депутатскую неприкосновенность, готовили заговор в целях насильственного изменения государственного строя. В этих условиях Церетели мог бы остаться за границей, однако он вернулся в Россию, успел еще (26 мая и 2 июня) выступить с трибуны Думы и 3 июня был арестован вместе со своими товарищами по фракции. На суде Особого присутствия Правительствующего Сената в декабре 1907 г. Церетели приговорили к 5 годам каторжных работ. Наказание он отбывал в Александровском каторжном централе (Иркутская губерния), а в 1913 г. был выпущен на поселение в Усолье близ Иркутска.

Дан после V съезда РСДРП тоже вернулся в Петербург, но в связи с роспуском Думы и следствием по делу ее социал-демократической фракции вынужден был бежать в Финляндию, где скрывался до конца года. В январе 1908 г. он эмигрировал в Швейцарию. Его письма того времени свидетельствуют о том, как глубоко и остро он переживал наступление в России полосы реакции и разгром партийных организаций[48]. Тем не менее он прибыл в Швейцарию в рабочем настроении, видя выход из сложившегося положения в восстановлении за границей издания «Искры». Правда он столкнулся с оппозицией не только в лице такого решительного противника заграничных изданий, как Потресов, но и в лице Мартова и Аксельрода. На «конференции» меньшевиков в Женеве в конце января 1908 г. был достигнут компромисс: первоначальная идея Дана о возобновлении «Искры»

[48] См.: *Дан Ф. И.* Письма. Амстердам, 1985. С. 180–181, 182–186.

была отвергнута, создавался совершенно новый литературный орган, который не претендовал на роль организационного центра меньшевизма. Название «Голос социал-демократа» определялось идеей Дана — дать возможность прозвучать партийному «полноценному голосу». Был отвергнут и предложенный подзаголовок — «орган российских меньшевиков», и журнал стал предприятием «самостоятельной издательской и литературной группы»[49]. В редакцию журнала входили Аксельрод, Дан, Мартов, Мартынов, Маслов и Плеханов. На Дана легла основная часть повседневной редакционной работы. Первый, сдвоенный, выпуск на 32 страницах вышел из печати уже в феврале 1908 г., в нем были опубликованы две статьи Дана о Думе — центральной теме, по которой он писал и в последующих выпусках[50]. Однако главному намерению Дана — создать литературный орган, стоящий над фракциями, способный организационно и идейно восстановить меньшевизм, — не суждено было осуществиться. Плеханов, сначала поддержавший своим авторитетом «Голос» и даже опубликовавший в нем ряд статей, уже в октябре решительно и бесповоротно порвал с редакцией (официально — в январе 1909 г.). Журнал продолжал выходить до 1911 г., но утратил свои первоначальные роль и значение, испытывая значительные финансовые трудности и постепенно сокращая периодичность и объемы очередных выпусков.

Конфликт же с Плехановым возник в ходе работы членов редакции в рамках другого, гораздо более фундаментального проекта — создания пятитомного исследования «Общественное движение в России в начале XX-го века» (СПб., 1909–1914)[51]. Дан был автором статей в многотомнике об общей политике правительства и изменениях в государственном строе, о роли русской буржуазии и о партии октябристов в период 1905–1907 гг. Первую российскую революцию он оценивал как буржуазную, в которой пролетариат не мог быть гегемоном. Возможность нового революционного подъема связывал с перспективой «левения» буржуазии по мере ее европеизации и углубления ее конфликтов с правительством. Эти позиции он отстаивал

[49] Переписка Г. В. Плеханова и П. Б. Аксельрода. Т. 2. М., 1925. С. 252–255.

[50] *Дан Ф.* В стане победителей // Голос социал-демократа. 1908. № 1–2. С. 3–7; *его же.* Думские штрихи // Там же. С. 23–24.

[51] См. подробнее: *Савельев П. Ю.* Ю. О. Мартов как историк российской социал-демократии // Политические партии России. Страницы истории. М., 2000. С. 267–268; *Тютюкин С. В.* Меньшевизм: страницы истории. М., 2002. С. 232–239.

и в легальных изданиях, выходивших в России — журналах «Наша заря», «Возрождение», «Дело жизни».

В эти годы Дан выступает и как один из самых воинствующих противников большевизма, яростно сражаясь с ними на V общероссийской партийной конференции (декабрь 1908 г.), на объединительном Пленуме ЦК РСДРП (январь 1910 г.), в редакции центрального органа РСДРП «Социал-демократ» (1910–1911). Он был одним из инициаторов и активных участников Августовской конференции в Вене (1912)[52], сделавшей существенный шаг на пути к оформлению будущей РСДРП(о) (завершившегося в 1917 г.), и стал членом Организационного комитета, избранного конференцией.

Тяжкая атмосфера эмигрантских дрязг, непростое материальное положение (Дан жил на положении профессионального революционера за счет партии и на небольшие литературные гонорары), тоска по живому делу среди русских рабочих — все это тянуло его в Россию[53]. Однако по ряду старых дел он все еще значился в полицейском розыске. Летом 1912 г. ему удастся нелегально перебраться в Финляндию вслед за женой Лидией Осиповной, поселившейся в Петербурге. Только в начале 1913 г., воспользовавшись амнистией в связи с 300-летием дома Романовых, он смог вернуться. Мартов приехал в Петербург лишь осенью и, простудившись по дороге, долго и тяжело болел. Политический «вес» Дана к этому времени значительно возрос. Конечно, рядом был болевший Мартов, чуравшийся публичности Потресов, а далеко в эмиграции Аксельрод, но реальным лидером меньшевиков становится Дан. Он был фактическим редактором легальной меньшевистской газеты «Луч» (неоднократно менявшей свои названия, последнее — «Наша рабочая газета») (1912–1914), конкурировавшей с большевистской «Правдой», руководил меньшевистской фракцией IV Государственной думы.

Бурный политический рост Дана был прерван Первой мировой войной. В целом и думская фракция, и ОК РСДРП заняли антивоенную позицию[54], хотя, конечно, она не имела ничего общего с призывом

[52] Конференция РСДРП 1912 года. Документы и материалы. М., 2008.

[53] «Сердце тянет туда, где русский дух, где Русью пахнет». Письма Ф. И. Дана к В. И. Засулич. 1907–1916 гг. / Публ. Т. А. Богдановой // Исторический архив. 1998. № 2. С. 112–148.

[54] Меньшевики. Документы и материалы. 1903 — февраль 1917 г. С. 350, 353–358, 373.

к «поражению своего правительства» Ленина и даже пацифистскими призывами Мартова и Троцкого из зарубежья. Петербургские меньшевики, выступая против войны, стремились сохранить свои легальные центры и прежде всего думскую фракцию. При этом они полемизировали с группой «заристов», выдвигавших лозунг «самообороны» пролетариата (т. е. участия его в войне), лидером которой был Потресов. Правда, все это было уже без Дана, арестованного сразу после начала войны и в административном порядке высланного в Минусинск Енисейской губернии (вскоре, кстати, будет подвергнут репрессиям и оборонец Потресов). В ссылке вновь пересекутся пути Дана и Церетели. Вместе с В. С. Войтинским, С. Л. Вайнштейном, Н. А. Рожковым и др. они образуют группу «сибирских циммервальдийцев». Название группы указывало на поддержку ею позиции, занятой Международной социалистической конференцией (Циммервальд, Швейцария, сентябрь 1915 г.) и заключающейся в борьбе за мир посредством восстановления интернациональных связей пролетариев разных стран. Они выпускали журналы «Сибирское обозрение» и «Сибирский журнал», осуждая как разные формы оборончества, которые представляли Плеханов и Потресов, так и ленинскую формулу «пораженчества». В их статьях впервые за годы войны публично обосновывалась и отстаивалась точка зрения социал-демократов-интернационалистов. «Это почти историческое событие, — отмечал Мартов, — что такие статьи появились у нас в такое проклятое время»[55]. Выступая за мир без аннексий и контрибуции, Церетели в то же время утверждал, что, если война перерастет в борьбу за «самосохранение нации», социал-демократы с полным правом смогут присоединиться к борьбе с агрессором. Конечно, деятельность этой группы на общероссийском, а тем более на общемировом фоне была мало заметна. Однако само возникновение тандема Церетели–Дан стало знаковым, сыгравшим значительную роль в событиях 1917 г. С этой же точки зрения важно и состоявшееся тогда же близкое знакомство Дана с одним из лидеров эсеров М. Р. Гоцем.

В мае 1916 г. Дан был призван на военную службу. Короткое время он проходил ее в Иркутске, а затем был направлен в город Ходжент Ферганской области в расположение Туркестанского военно-санитарного управления, где был задействован в качестве младшего врача-ординатора при лазарете для военнопленных. Здесь его и за-

[55] Переписка П. Б. Аксельрода и Ю. О. Мартова. 1901–1916. Берлин, 1924. С. 323.

стала Февральская революция 1917 г. По инициативе Исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 13 марта он, «известный общественный деятель и литератор», был отозван в Петроград для участия «в работах по политическим и экономическим вопросам» в рамках Исполкома[56]. А Церетели, который в конце февраля — первых числах марта в Иркутске активно участвовал в создании Совета рабочих депутатов и Комитета общественных организаций, в это время был уже на пути в столицу. Он выехал тут же после заявленной 3 марта председателем Государственной думы и Временным правительством «полной и немедленной амнистии по всем делам политическим и религиозным, в том числе: террористическим покушениям, военным восстаниям и аграрным преступлениям».

В Петроград Церетели прибыл 19 марта, после десяти лет каторги и ссылки. На следующий день, выступая на встрече с делегатами петроградских рабочих в Таврическом дворце, он заявил: «Товарищи рабочие! От имени нашей фракции II Государственной думы, освобожденной вами, приношу глубокую благодарность за приветствия вам, освободителям родины, товарищам новой, свободной жизни...», которые «рука об руку со всеми живыми силами страны, вместе с революционной армией, крестьянством и всей прогрессивной буржуазией ниспровергли в прах самодержавие. <...> Мы явились сюда, чтобы стать в ваши ряды...» (Ч. 2. С. 63.) При этом Церетели, уже как член Исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, акцентировал внимание на трех первоочередных вопросах, от решения которых зависело будущее революции и страны. Это — организация контроля за действиями исполнительной власти и поддержка «всем своим авторитетом» тех из них, «которые необходимы свободной России»; защита её, «не желающей стать поработительницей других народов», от тех, кто ведет «теперь свои полчища на Россию»; и последний — преодоление раскола в рядах партии. По этому поводу он счел нужным особо заметить: «Товарищи рабочие, здесь перед вами не члены отдельных фракций, на которые когда-то делилась наша партия. Это было в годы мрачной реакции, когда у нашей партии не было возможности творческого осуществления своих задач, когда она была загнана в подполье и могла только говорить, а действовать не могла. Тогда мы раскалывались на отдельные фракции, тогда мы из-за

[56] Государственный архив РФ (далее — ГА РФ). Ф. 1235. Оп. 53. Д. 39. Л. 6.

мелочных разногласий восставали друг на друга в братоубийственной борьбе. Не такое время теперь. Перед вами представители с.-д. фракции, объединившей большевиков и меньшевиков как единое целое, они вступают ныне в ваши ряды и предлагают вам в таком великом революционном деле объединить все революционные силы, не только слить обе части социал-демократической партии, но все демократические революционные силы объединить для общей борьбы. Только общими силами мы доведем борьбу до конца». (Ч. 2. С. 68.) Казалось, жизнь подтверждает верность его слов и так щедро дает счастливый шанс реализовать их. Но это только казалось. Впереди ожидали и мелочные разногласия, и политическая глухота соперников и противников, и новые расколы и братоубийственная война, по размахам и последствиям для России не уступающая той мировой бойне, которая изменила мир и ожесточила людские сердца.

После прибытия в Петроград Дан «как представитель Организационного комитета РСДРП»[57] был введен в Исполком Совета, избран товарищем его председателя, стал редактором газеты «Известия Совета рабочих и солдатских депутатов» (первый номер вышел еще 28 февраля как орган Петроградского Совета, а с момента образования на I Всероссийском съезде Советов Центрального исполнительного комитета Советов — орган ЦИК и Петросовета). На основании расхождений в оценке демократических потенций российской цензовой буржуазии, которые развели их в ссылке, Церетели ожидал, что Дан станет на сторону Мартова, к которому, как известно, он и апеллировал в 1915 г. из Иркутска. Об этом Церетели напомнил Б. И. Николаевскому, когда-то тоже примыкавшему к группе «сибирских циммервальдийцев». Он писал ему:

«...Ты говоришь о разногласиях во время войны между Мартовым и Даном. По-видимому, ты считаешь, что раз Дан в [19]17 г. занял позицию, отличную от Мартова, то они и раньше расходились с ним. На самом деле это было не так, и в [19]17 г. Дан совершил такой же крутой откол от Мартова, какой после поражения политики 17-го года он совершил от этой политики назад к Мартову. Я об этом могу говорить с уверенностью, т. к. со мною именно бесконечно спорил Дан, доказывая, что буржуазия в целом, и в частности кадеты, после

---

[57] Центральный Государственный архив Санкт-Петербурга (далее — ЦГА СПб.). Ф. 1000. Оп. 1. Д. 22. Л. 52.

1905–07 гг., а особенно ясно в момент войны, бесповоротно перекинулись в лагерь контрреволюции, что у нас общего языка ни при каких условиях быть не может, и что в случае революции Милюков и др. будут вместе со старым режимом расстреливать рабочих. При этом он упорно ссылался на свое единомыслие с Мартовым и даже написал последнему специальную просьбу, чтобы тот сообщил свой взгляд по этому вопросу нам в Сибирь, что Мартов и сделал в длинном письме. Кстати, я должен сказать, что хотя у Мартова были, в общем, те же тенденции, что и у Дана, но он, по обыкновению, сглаживал углы и делал оговорки — "поскольку буржуазия сохранила некоторую оппозиционность... и т. д.", но "с другой стороны, поскольку ее общая тенденция... и т. д.". Так что Дан лишь упрощенно воспроизводил взгляды Мартова, не в сторону искания точек сближения с буржуазией, а как раз в противоположную сторону.

В [19]17 г., приехав в Петроград из Туркестана, он при первой встрече со мной попробовал было критиковать (в частном разговоре) мой "слишком прямолинейный" образ действий, но я ему очень холодно ответил, что, очевидно, нам придется отстаивать совершенно разные политические линии, и на этом с ним разошелся, будучи уверен, что он примкнет к так назыв. "интернационалистам". И я, признаться, был чрезвычайно удивлен, когда он на собраниях, с первого же своего выступления стал самым решительным образом отстаивать политику большинства. В искренности его у меня не было сомнения, и я объяснял его поворот отчасти убедительностью нашей политики, отчасти его желанием не рвать товарищеских отношений с нашей группой, но, во всяком случае, поворот его был чрезвычайно резкий. Характерно, что в первое время он был гораздо более ярым коалиционистом, чем я. Более того, предлагал мне, в день образования первого коалиционного правительства, пойти ко мне в товарищи министра, вместо Рожкова. Мне даже неловко за него вспоминать об этом разговоре»[58].

Действительно, поначалу не было у коалиционной политики Церетели более ревностного сторонника в руководстве РСДРП, чем Дан. В одном из первых публичных выступлений, 8 мая, с заключительным словом по докладу о войне, представленному им

---

[58] HIA. Boris I. Nikolaevsky Collection. Series 15. Box 30. Folder 1. Г. И. Церетели Б. И. Николаевскому. 16 апреля 1932 г.

на Всероссийской конференции меньшевистских организаций, Дан даже в определенном смысле отрекся от позиции Мартова, заявив: «...Меня обвиняют в том, что я изменил интернационализму, но я был и остаюсь тем же интернационалистом, но только не в таком сектантском смысле. <...> Когда я видел работу наших товарищей, то для меня стало ясно, что заграничные товарищи-интернационалисты понимают интернационализм в таком сектантском смысле, который отгораживает его от всех движений рабочего класса. Со мною эти друзья не остались, но сибирские друзья согласились с моей точкой зрения, я надеюсь, что и заграничные друзья придут к такому же заключению»[59]. Когда же в последний день работы конференции меньшевики-интернационалисты — делегаты с решающим и совещательными голосами (12 человек, соответственно 9 и 3) выступили с отказом от поддержки принятой большинством политической линии, и к этому заявлению присоединились прибывшие 9 мая в Петроград из эмиграции Ю. О. Мартов, А. С. Мартынов, И. С. Астров и С. Ю. Семковский, Дан демонстративно перейдет на сторону Церетели и будет избран вместе с Б. О. Богдановым представителем ОК в Исполнительном комитете Совета[60]. Выдвигаемые ими резолюции иногда заранее были составлены и отработаны Организационным комитетом партии, иногда одобрялись им предварительно. При этом зачастую меньшевики-интернационалисты выступали в роли самых резких оппонентов революционно-оборонческого крыла партийного руководства, а резолюции Мартова выставлялись на голосование против резолюций Дана или Богданова.

В дальнейшем расхождения между партийными фракциями лишь ширились и углублялись. Их взаимная неприязнь росла, по мере того как все отчетливее проявлялись разногласия по поводу партийной политики по кардинальному вопросу дня — о характере власти. Непрекращающиеся дебаты свидетельствовали о том, что развивающиеся события все больше и больше ограничивали политический выбор в этом отношении. Война, экономический кризис, развал администрации и более всего подъем крайне правых и левых сил — сторонников контрреволюции, с одной стороны, и боль-

[59] Меньшевики в 1917 году. Т. 1. От января до июльских дней / Отв. редакторы З. Галили, А. Ненароков. М., 1994. С. 338.

[60] Там же. С. 451.

шевиков, с другой — не давали возможности ни революционно-оборонческому большинству партии, ни его интернационалистскому меньшинству довести до логического конца осмысление своих наблюдений, выводов и просто жизненных уроков, претворить теоретические и стратегические решения в тактические действия. Июльский кризис показал, сколь широк был разброс мнений даже среди советского большинства: от призывов к революционной демократии брать власть в свои руки до требований расширить представительство социалистических партий в правительстве и попытки раскола цензовиков. Именно Дан на заседании ОК 3 июля, отстаивая верность политической линии партии, вместе с тем отметил, что теперь при проведении ее в жизнь не обязательно опираться на кадетов, ибо есть и другие «слои буржуазии, идущие вместе с революционной демократией»[61]. Однако, несмотря на первую трещинку в оценках политики коалиции, и Церетели, и Дан однозначно осудили июльское выступление большевиков: первый — как «идущее по пути контрреволюции», второй — как дело, которое «категорически противоречит воле революционной демократии всей страны»[62]. Мартов же, подчеркивая основные изменения в расстановке революционных сил, призвал демократию брать в свои руки государственную власть, правда, не отказываясь при этом от озвученной Даном идеи коалиции в новом составе, способном реализовать более радикальные программы. Таким образом, фактически речь шла не об изменении состава правительства, а об изменении его политического курса. Церетели высказался по этому поводу 4 июля на объединенном заседании Исполнительных комитетов Советов более чем определенно, заявив, что если бы советское большинство взяло всю власть в свои руки, то левые, от Мартова до Ленина, потребовали бы изменения всей внешней и внутренней политики, которую оно принять не могло[63]. И Дан вновь поддержал Церетели: «...Мы не можем давать тех обещаний, которые выполнить не в силах. У нас нет чудодейственного средства окончить войну. <...> Раз война продолжается, то мы не можем обещать чудодейственных рецептов и в области

[61] Меньшевики в 1917 году. Т. 2. От июльских событий до корниловского мятежа / Отв. редакторы З. Галили и А. Ненароков. М., 1995. С. 74–76.

[62] Там же. С. 92, 93.

[63] Там же. С. 103.

экономической жизни; мы немногим больше можем дать, чем то, что в этой области уже дано коалиционным правительством»[64].

На II общегородской конференции петроградской организации (15–16 июля) Дан и Мартов, судя по сохранившимся тезисам докладов, рассматривали сложившуюся ситуацию в широком аспекте — как кризис революции (пытаясь выявить его причины и следствия), а не просто как кризис власти. Основным докладчиком на конференции выступал Мартов. Его тезисы начинались с утверждения, что современный кризис правительства выражает собой глубокий кризис российской революции, когда «политика мира и коренной демократизации <...>, отстаиваемые революционной демократией, столкнулись с интересами различных слоев имущих классов и союзнического империализма». Именно систематическая обструкция этой политики со стороны буржуазных партий, по его мнению, и послужила сигналом к стихийному бунтарскому движению 3–5 июля. Вывод, который делал Мартов из сказанного, заключался в резком осуждении сторонников идеи коалиции: «Попытки добиться от нынешних представителей власти образования правительства на основе “гражданского мира” между классами <...> являются по существу контрреволюционными»[65]. По Дану, представлявшему официальную точку зрения ОК, революция оказалась на краю гибели не из-за правительственного кризиса, а исключительно из-за июльского выступления масс, представлявшего собой «стихийные вспышки бунтарства <...> на почве финансово-экономической разрухи и затянувшейся войны». Они были лишь обострены и ускорены «демагогической агитацией анархо-большевистских элементов». В привлечении к участию во власти всех слоев имущих классов, способных идти в данный период революции с революционной демократией, больше всех, согласно докладчику, заинтересован именно рабочий класс, авангард революционной демократии. Дан уже не считал нужным скрывать, что, по его мнению, важны не дебаты о возможности и невозможности коалиции, а создание четкой программы, открывавшей пути к соглашению широких демократических слоев[66]. На августовском (1917) Объединительном

[64] Там же. С. 101.

[65] Там же. С. 142, 143–144.

[66] Сам Дан позже писал: «Я лично без особого восторга относился к такого рода политике после того, как столько прекрасных “платформ” было написано со времени образования первого коалиционного правительства без сколько-

съезде РСДРП Церетели фактически останется единственным последовательным защитником идеи коалиции. Дан по тяжелым семейным обстоятельствам на съезде не появится. Поэтому, прозвучавшая на съезде оценка Мартовым курса на единение «всех живых сил революции» как политики «полного забвения и отрицания пролетарского марксизма»[67] осталась им не прокомментированной.

Победу демократических сил в дни корниловского мятежа Церетели воспримет как торжество идеи коалиции, проглядев изменения в политической ориентации Советов. После принятия Петроградским Советом 31 августа большевистской резолюции с требованием передачи власти в руки Советов и Церетели, и Дан, вместе с другими членами Президиума Исполкома, выйдут в отставку. Демократическое совещание (14–22 сентября) окончательно похоронит все надежды на единение т. н. «живых сил» страны. Собственная позиция Церетели, несвойственная для его манеры выступления резкость, а также необычайная жесткость предлагаемых им решений фактически сорвут возможность единения даже демократической части этих сил, включая большевиков во главе с Л. Б. Каменевым. Ровно через месяц в статье, опубликованной в первом номере газеты «Клич», Дан признал, что на Демократическом совещании меньшевики своими голосами могли бы обеспечить устойчивое большинство противников коалиции, хотя, по его мнению, все равно создать реальную «общедемократическую власть» не удалось бы, ибо сама «демократия» (читай — кооператоры, представители земств, муниципалитетов и крестьянских Советов) не выражала желания принять участия в этой власти без представительства цензовых кругов[68]. Крах Демократического совещания констатировала и «Рабочая газета», отметившая 21 сентября, что оно явилось не смотром сил демократии, а демонстрацией ее бессилья. Вместо обсуждения условий создания «сильной, устойчивой и ответственной революционной власти для закрепления завоеваний революции и предотвращения контррево-

---

нибудь решительного результата в смысле проведения в жизнь того, что в этих "платформах" было самого существенного. Но для данного момента я не видел другого исхода...» (См.: *Дан Ф.* К истории последних дней Временного правительства // Летопись революции. Кн. 1. Берлин, 1923; перепечатка в сб.: *Анин Д.* Революция 1917 года глазами ее руководителей. Roma, 1971. С. 374–375).

[67] Меньшевики в 1917 году. Т. 2. С. 351.

[68] Клич. 1917. 23 ноября (№ 1).

люционной опасности» совещание, по мнению центрального органа меньшевистской партии, по существу раскололось по вопросу об образовании власти, способствуя ее кризису, вернее, утверждению "безвластия". Это означало, как считала газета, что "открываются настежь ворота контрреволюционной диктатуре"»[69].

Нарастание общенационального кризиса и углубление «взаимонепонимания» основных социальных групп и политических партий в обществе знаменовали крах политики, которую Церетели определял и проводил с момента Февральской революции. В связи с этим, а также с тем, что в итоге «...в стране революционной демократии организована власть принципиально без опоры в демократии»[70], он уезжает в конце сентября в Грузию, считая случившееся своей политической смертью.

Большевистский переворот 25 октября поставил Церетели перед выбором: либо уклониться от дальнейшей политической деятельности, либо вернуться и попытаться сказать свое слово. 7 ноября он возвращается в Петроград. На Совещании земских и городских представителей (9–11 ноября) выступил с обстоятельным докладом о текущем моменте. Признав, что захват власти большевиками «стоит в связи с политикой, поддерживающейся в течение 8 месяцев российской демократией», от имени той части демократии, которая эту политику проводила, Церетели заявил: «Мы <...> лучше других знаем и видим ее недочеты, и все же нам ясно, что политика единения всех сил страны представляла собой попытку провести страну, истерзанную войной, через бездну анархии. <...> Если все же не могли избавить страну от катастрофы, то причины этому более глубокие, чем промахи отдельных политических партий. Мы пытались воспользоваться кровавыми уроками других стран, чтобы предотвратить нашу страну от ужасов этих уроков, и если нам это не удалось, то, к несчастью, потому, что народ должен собственными уроками пролагать себе путь к лучшему будущему, и лишь кровавая выучка приведет российскую демократию к возрождению. Мы ценой потери своей популярности пытались предотвратить массы от этой кровавой выучки,

[69] Рабочая газета. 1917. 21 сентября (№ 166).

[70] Меньшевики в 1917 году. Т. 3. Кн. 1. От корниловского мятежа до Временного Демократического Совета Российской Республики / Отв. редакторы З. Галили, А. Ненароков. М., 1996. С. 316.

и мы убеждены, что если не теперь, то в будущем через головы наших поколений, после длительной анархии, а может быть, даже авантюристических попыток справа, Россия вновь вернется на тот путь, по которому шли мы». (Ч. 2. С. 137.)

В отличие от Церетели Дан октябрь–декабрь 1917 г. безвыездно провел в Петрограде. Он вошел в состав Временного совета Российской Республики (Предпарламента), где возглавил руководство меньшевистской фракции. Меньшевики-интернационалисты во главе с Мартовым займут абсолютно самостоятельную позицию не только в Совете Республики, но и во Всероссийском ЦИК Советов и Петросовете. Во всех этих представительных органах они, как правило, не только будут воздерживаться при голосовании партийных резолюций, но нередко и открыто выступать против, внося либо собственные, либо поддерживая проекты большевиков или левых эсеров. Последовательно отстаивая свое, официально конституированное, согласно решениям августовского объединительного съезда, право иметь особое мнение, оставаясь внутри партии, меньшевики-интернационалисты в то же время отказывали в этом тем, кто, в свою очередь, оказался в меньшинстве в организациях, находящихся под их контролем. Так, имея гарантированное большинство в Комитете Петроградской организации (КПО), они жестко требовали от оборонческого меньшинства, представлявшего в ту пору по меньшей мере половину организованных рабочих партийцев Питера, непременного соблюдения принципов централизма. Дан публично охарактеризовал эту политику интернационалистского КПО как «политику ленинских комитетов доброго старого времени, для которых пресловутое “Что делать?”[71] служило *Евангелием* и пророками»[72].

Заявление меньшевиков-интернационалистов с обоснованием решения принять самостоятельное участие в работе Совета Республики выглядело как декларация об окончательном разрыве отношений с официальным партийным руководством. Без прямого указания адресата именно ему ставилась в вину вся гамма семимесячных поражений и ошибок. В первую очередь речь шла о банкротстве коалиционной политики, которая позволила цензовым кругам «во имя своекорыстных классовых интересов» проводить внутри правительства и в стране

---

[71] Речь идет о работе В. И. Ленина 1904 г.

[72] Рабочая газета. 1917. 13 октября (№ 185).

«планомерный саботаж», пытаясь «затягиванием войны и срывом всякой творческой работы задержать развитие и укрепление революции и отбросить ее назад». «Большинство организованной демократии» критиковалось и за отсутствие решимости взять власть в свои руки и «повести страну по пути коренных революционных преобразований и ликвидации войны на основе общего демократического мира». Результат «этой капитуляции большинства организованной демократии» не мог быть оценен иначе, чем воссоздание изжившей себя коалиции «на началах фактического возобладания контрреволюционных кадетско-корниловских элементов». Вся тональность этого заявления и характеристика Предпарламента как «ублюдочно-законосовещательного» мало отличались от большевистских. Но если для большевиков все это органично служило обоснованию решения покинуть Совет Республики, то у меньшевиков-интернационалистов призвано было доказать диаметрально противоположное — необходимость остаться, чтобы иметь возможность «бороться за интересы революции против цензовых элементов» на одной «из арен открытой классовой борьбы». Здесь предстояло разоблачать и «контрреволюционный характер всего режима коалиции», и политику «саботажа революции» и «провокации гражданской войны», исповедуемые цензовиками, и «капитуляцию перед ними социалистического большинства». Здесь же надлежало «отрывать отсталые слои демократии от коалиции»[73].

Ф. И. Дан весьма критически отнесся к «автономизму» интернационалистов, очень близкому, по его мнению, к «федерализму», т. е. существованию своего рода партии в партии[74]. Справедливо утверждая, что всякие действия подобного рода вызывают непременное противодействие, он подчеркивал: прямым следствием их стало появление «на другом крыле партии — оборонческом — "людей и вождей", которые все свои силы употребили не на завоевание партийной организации путем работы внутри ее, не на мобилизацию пролетариев — членов партии <...> для поддержки ЦК в его усилиях охранить единство партии ценою компромиссов и взаимных уступок», а на организационное оформление торжества «застарелой кружковщины».

---

[73] Меньшевики в 1917 году. Т. 3. От корниловского мятежа до конца декабря. Кн. 2. От Временного Демократического Совета Российской Республики до конца декабря (первая декада октября — конец декабря) / Отв. редакторы З. Галили, А. Ненароков. М., 1997. С. 132.

[74] Рабочая газета. 1917. 13 октября (№ 185).

Действительно, серьезной заявкой на раскол стал конфликт между интернационалистским руководством Комитета Петроградской организации и ее оборонческой частью во главе с А. Н. Потресовым. Особую остроту приобрел вопрос о выставлении кандидатур Церетели и Чхеидзе в одном из столичных списков кандидатов в Учредительное собрание. Испытывая определенную неловкость за то, что питерская партийная организация, находящаяся под контролем интернационалистов, демонстративно игнорировала вчерашних кумиров, ЦК в то же время понимал нецелесообразность появления этих имен именно в списках по Петрограду. Хотя формальной мотивировкой отказа являлось то, что и Церетели, и Чхеидзе зарегистрированы уже в пяти других округах, на деле все ощущали, что этот акт имеет политическую подоплеку. Тем временем питерские оборонцы решили выставить свой самостоятельный список по шестому Петроградскому избирательному округу с включением в него и Церетели, и Чхеидзе и образовали независимое Временное бюро Избирательного комитета, что явилось реальным шагом к расколу. Раскол не состоялся, поскольку Церетели занял принципиальную позицию и, переступив через личные амбиции и обиды, публично отверг от своего имени и от имени Чхеидзе предложение оборонцев, понимая, что даже косвенное указание на причастность к нему ведущих деятелей партии и Советов может быть использовано в целях углубления сепаратизма.

Большевистский переворот, принципиальная нестыковка позиций различных ветвей меньшевизма в отношении к новой власти и попыткам партийного руководства реализовать идею однородного социалистического правительства лишь углубили процесс размежевания в меньшевистских рядах, обострили внутрипартийную борьбу, что отнюдь не способствовало эффективности партийной работы как во фракциях, так и в целом. Открывая в 22 часа 40 минут 25 октября первое заседание II Всероссийского съезда Советов, Дан был предельно краток. От имени Центрального Исполнительного комитета он заявил, что в момент, когда «наши товарищи, заседающие в Зимнем дворце, находятся под обстрелом, <...> не место политическим речам», и предложил сразу же приступить к выборам Президиума[75]. Эсеры и обе меньшевистские фракции от участия в Президиуме от-

[75] Меньшевики в 1917 году. Т. 3. Кн. 2. С. 238.

казались. После того как большинство съезда выступило в поддержку большевиков, Дан покинул его вместе с единомышленниками.

26 октября днем ЦК РСДРП(о) принял резолюцию, объявляющую «захват власти большевиками путем военного заговора насилием над волей демократии и узурпацией прав народа»[76]. В качестве основной задачи момента выдвигалось «сплочение всех пролетарских и демократических сил для предотвращения разгрома революции или полного торжества анархии, противодействия натиску контрреволюции». Органами такого сплочения должны были выступать Комитеты общественного спасения для защиты республики из представителей городских дум, Советов и прочих демократических организаций как политических, так и профессиональных, и армейских. Центральными политическими лозунгами провозглашались: созыв Учредительного собрания и немедленное начало переговоров о заключении всеобщего мира.

28 октября ЦК РСДРП(о) принял решение о недопустимости каких-либо соглашений с партией большевиков относительно совместной с ними организации власти. В решении подчеркивалась необходимость сплочения рабочего класса и широких слоев демократии вокруг Всероссийского Комитета спасения Родины и Революции.

Вечером 29 октября в семь часов начались переговоры представителей общественных организаций и социалистических партий под патронажем Викжеля, который до этого телеграммой за № 1163 ультимативно потребовал от большевиков прекращения гражданской войны и создания однородного демократического правительства. Переговоры были очень трудными. Состав участников часто менялся, но с первого дня оставался довольно широким. Это были — представители Викжеля, Комитета спасения[77], городского самоуправления, почтово-телеграфного союза, ЦК служащих государственных учреждений, Совета народных комиссаров, ВЦИК второго созыва, центральных комитетов РСДРП(о), большевиков, эсеров, а также меньшевиков-интернационалистов, объединенных социал-демократов-интернационалистов, левых

---

[76] Меньшевики в 1917 году. Т. 3. Кн. 2. С. 252.

[77] В число делегатов от Комитета входили и наблюдатели от ЦК партии народных социалистов, который не нашел возможным делегировать своего представителя в совещание, в котором будут участвовать большевики.

эсеров и др. Всего от восьми партий и девяти организаций[78]. На совещании вновь столкнулись две точки зрения на произошедшее и два подхода к решению — Мартова и Дана.

Мартов начал с безусловного отрицания для социалиста возможности решения каких-либо вопросов силой оружия. Создался, как он считал, тупик, когда, с одной стороны, «власть, созданная методом вооруженного солдатского восстания, власть одной партии не может быть признана страной и демократией», а с другой — «если большевики будут побеждены силой оружия, то победитель явится третьей силой, которая раздавит всех нас». Вывод: «независимо от того, кто виноват, как бы ни распределялась эта вина в прошлом», в настоящий момент есть лишь «единственный исход»: смелое соглашение обоих лагерей демократии, иначе они неизбежно будут раздавлены либо личной, либо олигархической диктатурой[79]. Дан, подчеркивая антидемократический характер большевистского военного заговора, направленного против большинства демократии, условиями соглашения с большевиками предлагал считать: ликвидацию последствий этого заговора, роспуск ВРК, признание прошедшего съезда Советов не состоявшимся. Ему претила мысль о любой нейтралистской позиции: «...Когда я слышу о нейтралитете пролетарской организации, то я вижу, как последняя сама себя губит и непосредственно служит на пользу контрреволюционным покушениям»[80]. Дан настаивал на том, что большевики не должны привлекаться в состав правительства «по соображениям целесообразности вхождения в правительство других элементов». 30 октября он дополнительно выдвинул длинный, из десяти пунктов, перечень требований и обязательств, которые должны были быть представлены большевикам. Среди них: передача войск в распоряжение городской думы для охраны, разоружение рабочих и отказ от сопротивления войскам Керенского, выпуск воззвания о прекращении самосудов и т. д.

Именно в это время ЦК РСДРП(о) принял резолюцию «Об организации власти»[81], фиксирующую исходную позицию партии на пере-

---

[78] *Вомпе П.* Дни Октябрьской революции и железнодорожники (материалы к изучению истории революционного движения на железной дороге). М., 1924. С. 26–55.

[79] Меньшевики в 1917 году. Т. 3. Кн. 2. С. 604–605.

[80] Там же. С. 606.

[81] Там же. С. 270–271.

говорах. Главным в ней являлось предложение, «ввиду отказа большевиков от соглашения и очевидной неспособности их своими силами организовать управление страной», создать Всероссийский Комитет объединенной демократии, включающий в себя представителей всех социалистических партий и демократических организаций. Ему предстояло, «оставаясь на почве стремления к мирному выходу из кризиса путем соглашения с большевиками», подготовить создание «однородной демократической власти, которая могла бы быть признана всей страной и за которой стояли бы пролетарские и демократические массы». Таково было предварительное условие для начала переговоров о перемирии, на которое соглашалось пойти большинство ЦК во главе с Даном. Никакой информации об обсуждении данной резолюции на заседании ЦК РСДРП(о) не сохранилось. Однако из одной реплики Мартова «по личному вопросу» на возобновившейся в половине девятого вечера пленарной встрече участников совещания в Викжеле можно понять, что оно было непростым. «...Я хотел бы заметить, — сказал Мартов, — что ссылки Дана о моем участии в выработке резолюции ЦК меньшевиков должны быть поняты лишь в том смысле, что я участвовал в выработке этой резолюции. Но из этого совершенно нельзя делать выводы, что я согласен со всем ее содержанием»[82].

При обсуждении вопроса об организации власти Дан вновь подтвердил: «Вопрос о не вхождении большевиков в министерство есть вопрос факта. Народные социалисты и Совет крестьянских депутатов не войдут в одно правительство с большевиками. Без их участия мы считаем невозможным образовать правительство и в такое правительство не войдем»[83]. После этого представители Викжеля поставили перед ним два вопроса: относится ли это и к персональному конструированию правительства и будет ли ЦК меньшевиков настаивать на своих возражениях, если указанные им партии и органы не будут возражать против участия большевиков в правительстве? На первый он ответил, что хотя партия стоит «на персональной организации правительства», но все же участие большевиков по указанным причинам считает нежелательным. На второй: «Я думаю, нет». Выслушав заявление Каменева о возможности и желательности

[82] Меньшевики в 1917 году. Т. 3. Кн. 2. С. 616.

[83] Там же. С. 617.

изменения состава правительства на «определенной платформе, которая намечена в наших прошлых заседаниях» через полномочный орган революционной демократии — ЦИК Советов, Дан сделал встречный шаг: «Если бы образовалось левое правительство, — заявил он, — то хотя мы в него не войдем, но мы его всемерно поддержим, если оно не будет проводить <...> систему террора и подавления инакомыслящих»[84].

Дан отступал неохотно. Его заявление, что меньшевистская партия, выступая против правительства с участием большевиков, будет поддерживать правительство с большевистским представительством «постольку, поскольку оно не будет прибегать к агрессивным мерам»[85], тут же подверглось критике: «меньшевики толкают большевиков в оппозицию»[86]. Тогда Дан согласился обсуждать кандидатуры в состав правительства персонально, не исключая большевиков, предложив всем партиям, принимавшим участие в совещании, составить из своей среды особую комиссию для конструирования власти. Предложение приняли без возражений.

Утром того же дня, «обсудив создавшееся положение и признав, что все другие соображения должны отступить на задний план перед необходимостью во что бы то ни стало не допустить продолжения кровопролития, междоусобия в рабочей среде и разгрома рабочего движения», ЦК РСДРП(о) постановил «принять участие в попытке организовать однородную власть, включающую в себя социалистические партии от народных социалистов до большевиков»[87]. Эта переломная для политического курса меньшевистской партии резолюция от 31 октября могла быть принята лишь в том случае, если бы Мартову удалось убедить Дана в необходимости новой тактической линии[88].

---

[84] Меньшевики в 1917 году. Т. 3. Кн. 2. С. 617.

[85] Там же. С. 620.

[86] Там же.

[87] Там же. С. 272.

[88] Кроме Ю. Мартова, Р. Абрамовича, С. Семковского, Н. Рожкова, С. Ежова, Е. Бройдо за резолюцию проголосовали Ф. Дан, Б. Горев, Ф. Череванин, Г. Эрлих и, по-видимому, И. Астров. (Сб. Меньшевики. Benson, Vermont, 1988. С. 90). Л. Ланде указывал несколько отличающийся список: интернационалисты Ю. Мартов, А. Мартынов, Р. Абрамович, И. Астров, Е. Бройдо, Д. Далин, С. Семковский и Н. Рожков или Краснянская, оборонцы Ф. Дан, Б. Горев, Ф. Череванин, Г. Эрлих и Хинчук, или Краснянская. (The Mensheviks From The Reolution of 1917 to the Second World War / *Ed. by Leopold Haimson*. Chicago and London, 1974. P. 82, 427.)

Экстренно собравшееся в расширенном составе собрание Петроградского Избирательного комитета меньшевиков-оборонцев с участием представителей районов объявило «как самые переговоры» с большевиками, так и «решение ЦК партии о соглашении с большевиками относительно образования однородной социалистической власти», — «гибельным и предательским для интересов революции и пролетариата». Собрание, настаивая на немедленной отмене данного решения, потребовало в случае, если это не будет сделано, выхода всех членов ЦК оборонцев из его состава, обязав их «вместе с остальными членами партии оборонцами решительно бороться с политикой ЦК, как внутри партии, так и вне ее, не останавливаясь в этой борьбе ни перед какими формальными препятствиями»[89]. В десять часов вечера, выполняя решение собрания, десять членов и три кандидата в члены ЦК РСДРП(о) обратились в ЦК с предложением срочно созвать пленум. Это были — Б. Батурский, Б. Богданов, П. Гарви, К. Гвоздев, П. Голиков, Л. Гольдман, К. Ермолаев, С. Зарецкая, П. Колокольников, М. Либер, М. Скобелев, А. Смирнов, И. Юдин. Они требовали пересмотра решения, которое считали «гибельным для рабочего класса, для дела революции и для нашей партии»[90].

Ввиду того, что на состоявшемся 1 ноября пленарном заседании Центрального комитета добиться этого не удалось, все перечисленные выше члены и кандидаты в члены ЦК объявили о своем выходе из его состава. 2 ноября они подписали письмо «Ко всем членам РСДРП(о)», в котором развернуто обосновывали свой поступок[91], заявляя об апелляции к съезду, который, по их мнению, следовало созвать «возможно скорее». Именно съезду и надлежало сказать «свое авторитетное слово об этом конфликте».

В течение 3 и 4 ноября свои подписи к данному обращению присоединили: В. Крохмаль, С. Вайнштейн, А. Дюбуа, М. Павлов, М. Бройдо, Н. Ростов, М. Панин, М. Шергов и другие. Из числа сотрудников «Рабочей газеты» в знак протеста против новой политики ЦК вышли П. Голиков, И. Давыдов (Дик), В. Левицкий, Ст. Иванович, Д. Кольцов, Евг. Маевский, В. Миров, Н. Морозов, Л. Пумпянский и М. Хейсин.

---

[89] Меньшевики в 1917 году. Т. 3. Кн. 2. С. 272–273.

[90] Там же. С. 273.

[91] Там же. С. 276–278.

В свою очередь ЦК развернул широкую кампанию публичного разъяснения своей позиции. 2 ноября он принял резолюцию «Об обязательных условиях для продолжения переговоров о формировании однородного социалистического правительства»[92]. 3 ноября Р. А. Абрамович[93] довел ее до сведения участников совещания при Викжеле, которое приступило к обсуждению конкретных вопросов будущего соглашения. Выступая на совещании, Мартов подчеркнул: «Условия соглашения с большевиками могут быть выполнены только при получении гарантии, которая могла бы дать возможность как можно скорее прекратить гражданскую войну»[94]. Но на заданный Абрамовичем прямой вопрос: «Согласен ли ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов (большевистский) немедленно, как только начнет функционировать комиссия по выработке соглашения, издать приказ об отмене террора и снятии осадного положения в Петрограде?», — И. В. Сталин ответил вопросом на вопрос: «Может ли кто-нибудь поручиться за то, что войска, стоящие под Гатчиной, не будут наступать на Петроград?»[95]

К этому времени лидеры большевиков уже решили для себя или прервать переговоры, или придать им ультимативный характер. В Москве к исходу 1 ноября они добились внушительных успехов, части Керенского после ареста генерала Краснова были обречены. Ленин категорически возражал «против всяких соглашений с Викжелем, который завтра будет свергнут революционным путем, с низов»[96]. Он квалифицировал расхождения своих сторонников с теми членами большевистского ЦК, кто вслед за Каменевым настаивал на соглашении с входящими в Советы партиями для образования однородного социалистического правительства, как расхождения, повторяющие «в основном наши разногласия с группами “Новой жизни” и Мартова»[97]. Со своей стороны, сторонники Мартова, в том числе и

---

[92] Меньшевики в 1917 году. Т. 3. Кн. 2. С. 274–275.

[93] *Абрамович (наст. фам. Рейн) Рафаил Абрамович* (1880–1963) — член Бунда с 1901 г., с 1904 г. входил в состав его ЦК. В 1917 г. — член Петросовета, делегат I и II съездов Советов. Член ЦК РСДРП(о). С 1920 г. — в эмиграции, один из лидеров $2^1/_2$-го Интернационала.

[94] Там же. С. 625.

[95] Там же. С. 626.

[96] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 35. С. 50.

[97] Там же. С. 49.

примкнувший к ним Дан, считали тех большевиков, что поддерживали Каменева, «здоровой частью большевизма». Однако и большинству меньшевистского ЦК, и меньшинству большевистского приходилось весьма и весьма трудно.

На состоявшемся 3 ноября под председательством А. Н. Иоффе совместном заседании меньшевистских фракций Совета Республики, II съезда Советов и Петроградского Совета большинством голосов против 14 при 12 воздержавшихся, из которых шестеро были членами ЦК, собрание отвергло позицию Центрального комитета по вопросу о соглашении с большевиками. Там же была принята резолюция, внесенная Б. О. Богдановым. Она одобряла поведение членов ЦК, вышедших из него, и предлагала ЦК изменить свою позицию в качестве условия их возвращения[98]. В тот же день и большинство ЦК большевиков предъявило Каменеву и его сторонникам ультиматум, объявляющий «безусловно обязательной для всех членов партии, и в первую голову для меньшинства ЦК», политику, определенную в ленинской резолюции от 2 ноября (в резолюции расценивалась как «измена делу пролетариата всякая попытка навязать <...> партии уклонение от власти»)[99].

4 ноября в «Известиях» было опубликовано заявление Л. Б. Каменева, В. П. Ногина, А. И. Рыкова, В. П. Милютина об их выходе из ЦК большевистской партии в знак протеста против действий руководящей группы, показывающих, что «она твердо решила не допускать образования правительства советских партий и отстаивать чисто большевистское правительство во что бы то ни стало и каких бы жертв рабочим и солдатам это ни стоило». Через два дня Каменев ушел с поста председателя ВЦИК (на его место Лениным был рекомендован Я. М. Свердлов).

За Каменевым последовали четверо народных комиссаров (из одиннадцати): А. И. Рыков — нарком внутренних дел, В. П. Милютин — земледелия, В. П. Ногин — торговли и промышленности, И. А. Теодорович — снабжения. Пятый — нарком труда А. Г. Шляпников, подписав письмо с осуждением политики, направленной на «сохранение чисто большевистского правительства средствами политического террора», в отставку не подал. Близкой к позиции Шляпникова была позиция

---

[98] Меньшевики в 1917 году. Т. 3. Кн. 2. С. 283.

[99] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 35. С. 47.

видных деятелей большевистской партии А. Луначарского, Ю. Ларина, Д. Рязанова, Г. Пятакова и других. Ленин объявил поведение «отставников» и тех, кто с ними солидаризовался, дезертирством[100]. Стало ясно, что, несмотря на все заявления об открытости нового правительства для партий советского меньшинства, на деле происходит превращение и его, и Советов в орудие однопартийной политики. В этих условиях любая советская партия, пожелавшая разделить с большевиками бремя власти, была обречена на роль резонера, что и было вскоре подтверждено кратковременным пребыванием в составе ленинского правительства левых эсеров. В сложившейся обстановке переговоры на викжелевских совещаниях лишены были, по справедливому выражению С. П. Мельгунова, всякого практического смысла[101], хотя они и продолжались 4 и 6 ноября. В последний раз — уже без представителей от социалистов-революционеров и меньшевиков.

Столь же бесплодными оказались и так называемые «могилевские разговоры» — переговоры в Ставке и Общеармейском комитете, в которых наряду с викжелевцами принимали участие эсеры В. М. Чернов, Н. Д. Авксентьев, А. Р. Гоц и др., меньшевики Б. Богданов и М. Скобелев, народный социалист Знаменский. Однако они не в малой степени предопределили трагическую судьбу начальника штаба Главковерха[102] генерал-лейтенанта Н. Н. Духонина.

Внутрипартийные дебаты накануне партийного съезда приобрели из-за открытой «фракционной борьбы и размежовки» столь острый характер, что, как говорилось в извещении ЦК о созыве экстренного съезда, руководящие и ответственные органы партии не могли из-за этого должным образом представлять партию и оберегать партийные интересы. Там же уход части членов ЦК, «входивших до сих пор в состав его большинства», был определен как «тяжелый кризис, грозящий партии серьезными последствиями»[103].

К внутрипартийным дебатам подключился и вернувшийся 7 ноября с Кавказа Церетели. Он выступил с докладом о текущем моменте

---

[100] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 35. С. 74.

[101] См.: *Мельгунов С.* Как большевики захватили власть. Октябрьский переворот 1917 года. Editions La Renaissance. Париж, 1953. С. 249.

[102] 1 ноября Керенский подписал распоряжение о передаче Духонину должности Главковерха. (Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде: Сб. документов. М., 1957. С. 800.)

[103] Меньшевики в 1917 году. Т. 3. Кн. 2. С. 284.

на совещании земских и городских представителей, проходившем 9–11 ноября в Петрограде. Признав, что захват власти большевиками «стоит в связи с политикой, поддерживающейся в течение 8 месяцев российской демократией», он от имени той части демократии, которая эту политику проводила, заявил: «Мы <...> лучше других знаем и видим ее недочеты, и все нам ясно, что политика единения всех сил страны представляла собой попытку провести страну, истерзанную войной, через бездну анархии». Церетели не убеждал. Он исповедовался: «...Если все же мы не могли избавить страну от катастрофы, то причины этому более глубокие, чем промахи отдельных политических партий. Мы пытались воспользоваться кровавыми уроками других стран, чтобы предотвратить нашу страну от ужасов этих уроков, и если нам это не удалось, то, к несчастью, потому, что народ должен собственными уроками пролагать себе путь к лучшему будущему, и лишь кровавая выучка приведет российскую демократию к возрождению. Мы ценой потери своей популярности пытались предотвратить массы от этой кровавой выучки, и мы убеждены, что если не теперь, то в будущем через головы наших поколений, после длительной анархии, а может быть, даже авантюристских попыток справа, Россия вновь вернется на тот путь, по которому шли мы». Церетели осуждал тех, кто считал, что «политика захватчиков неизменно приведет к падению их власти», кто призывал на этом основании отойти в сторону и «ждать логического конца». Он первым нашел удивительно нужные и человечные слова: «...Мы могли бы скрестить руки и спокойно отойти в сторону. Но мы не вправе забывать, что этот опыт совершается над живым телом России». (Ч. 2. С. 138.) Вся внутренняя и внешняя политика новой власти представлялась ему факелом, «от которого сгорит страна», захваченная врасплох иллюзорными лозунгами и организационной нахрапистостью кучки авантюристов. Но, так и не успев что-либо противопоставить им, страна «не признала и не признает эту новую власть». Не дожидаясь, пока «объективные условия момента приведут большевиков к краху», Церетели предлагал создать такой центр, который объединил бы все элементы распадающейся страны на почве всенародной демократической организации, вокруг общих для всей демократии лозунгов: Учредительное собрание и мир, гарантирующий «целость России».

Что касается соглашения с большевиками, то оно казалось ему бесплодным. «Я решаю, конечно, этот вопрос, — заметил он, —

не в плоскости морали, и если бы я верил, что все те эксперименты во внутренней и внешней политике, которые составляют программу большевиков, могли бы быть ликвидированы соглашением с захватчиками, я бы сам стал первым и горячим сторонником соглашения». Но, с одной стороны, «пока захватчики опираются на силу штыков, соглашение с ними невозможно», с другой — нельзя допустить, чтобы соглашение стало, как того ждут «некоторые элементы», прелюдией к кровавой расправе с рабочим классом. В этом стремлении, считал Церетели, необходимо «употребить все свои силы, объединившиеся кругом нас, <...> на такое дело, которое не приведет к кровавой расправе». Не должно быть разногласий между противниками и сторонниками соглашения: «...Так как платформа действий для обоих лагерей едина, то нет оснований для разногласий в наших рядах». И добавлял: «Я сам, будучи противником соглашения с большевиками, все же могу работать с той частью демократии, которая со мной в этом не согласна, могу дать ей гарантию в том, что, когда будут собраны все силы страны, они будут употреблены на то, чтобы предотвратить новую гражданскую войну. И когда большевизм будет изжит, тогда возможно будет соглашение на той платформе, которая теперь разрушается большевиками». (Ч. 2. С. 141.)

Но ни страстное выступление Церетели, ни тем более резолюция ЦК от 8 ноября «О приглашении всех вышедших членов ЦК к совместной работе» не убедили меньшевиков-оборонцев в необходимости объединения сил для борьбы с большевиками. 9 ноября оборонческий Избирательный комитет принял предложенную Мировым резолюцию, подтверждающую прежнее решение «о необходимости выхода из ЦК оборонцев» и невозможность их совместного или отдельного вступления обратно. Впрочем, через день, 11 ноября, под прямым нажимом со стороны Церетели[104], восемь бывших членов ЦК из десяти вышедших подали заявление о том, что, оставаясь на прежних позициях, они возвращаются в ЦК, ибо «в настоящее время переговоры между ЦК нашей партии и большевиками прерваны». Батурский, Гарви, Гвоздев, Л. Гольдман, Ермолаев, Зарецкая, Смирнов и Юдин посчитали нужным пойти на такой шаг, чтобы внутри ЦК отстаивать свою «точку зрения по вопросу о создании власти, а также противодействовать

[104] О том, что именно Церетели убедил их вернуться в ЦК, свидетельствует Мартов в своем письме к П. Б. Аксельроду от 19 ноября 1917 г. Там же. С. 336–346.

уклонениям политической линии партии, намеченной на августовском съезде, в сторону так называемого “интернационализма”»[105]. Через три дня аналогичное заявление опубликовал Скобелев, а еще через десять дней и Либер. Только Колокольников не только не счел нужным присоединиться, но даже выступил с публичным обоснованием своего отказа[106]. Дочь Б. О. Богданова, Наталья, ставшая биографом отца, справедливо подчеркивает, что и его подписи не было ни под этим, ни под каким-либо подобным заявлением[107].

12 ноября Церетели на заседании Бюро ЦИК Советов первого созыва, категорически отвергнув большевистский террор и большевистские декреты, «потому что по своему содержанию они губят дело революции, а не потому, что изданы большевиками», вместе с тем заявил: «...Отказ от соглашения лишил бы демократию многих элементов, которые могут быть чрезвычайно полезны. Надо взять платформу исключения сомнения в демократии». Он выдвинул формулу, которая могла бы, по его мнению, сплотить партию: «Власть однородная, демократическая, с включением социалистических партий. <...> Не будем говорить, что большевики не войдут <...>, но не будем и говорить — соглашение во что бы то ни стало»[108]. Подводя итоги состоявшемуся обмену мнениями, Церетели счел нужным особо остановиться на вопросе отношения к большевикам: «С момента большевистского восстания произошло нечто такое, что исключает возможность коалиции. Вся буржуазия и кадетская партия объединены лозунгом кровавой расправы с большевиками. Для меня несомненно, что ликвидация большевистского восстания — это расстрел пролетариата, и предвидя это, мы всегда боялись большевистского выступления. <...> Мы должны иметь в виду, что когда большевики станут в положение падения, мы не можем больше стоять на стороне непримиримости. Соглашение невозможно с большевиками, пока они сильны, но надо подготовить им отступление, когда в их среде начнется разложение»[109]. Эта была та золотая середина, на которой сходились и Дан, и Мартов, и Церетели как бы освятил ее.

---

[105] Меньшевики в 1917 году. Т. 3. Кн. 2. С. 303.

[106] Там же. С. 304.

[107] *Богданова Н. Б.* Мой отец — меньшевик. СПб., 1994. С. 63.

[108] Меньшевики в 1917 году. Т. 3. Кн. 2. С. 310.

[109] Там же. С. 312–313.

Она нашла отражение во многих резолюциях ЦК РСДРП(о) тех дней, воззваниях, обращениях и т. д.

Свою точку зрения по всем этим вопросам высказали и меньшевики-оборонцы. На прошедшей в Петрограде 11 и 18–19 ноября конференции подавляющее большинство делегатов высказалось за создание самостоятельной партийной организации меньшевиков-оборонцев, которая приняла бы участие, как таковая, и в предстоящем партийном съезде[110]. В докладе о текущем моменте, с которым А. Н. Потресов выступил на конференции 19 ноября, было подчеркнуто: «Социал-демократия в лице меньшевиков не смогла стать массовой партией в силу внутренних противоречий, которые она в себе соединила. Движение масс заменено было комбинированием представителей рабочих. Это привело к краху партии».

Столь же суровая оценка прозвучала и в обращении «К членам партии!», подписанном меньшевиками-интернационалистами, членами и кандидатами в члены ЦК. «Партия стоит перед фактом великого политического поражения», — писали они. «Она поражена 25 октября, как одна из партий, на которые опиралось Временное правительство, свергнутое большевистским переворотом; она поражена как пролетарская партия фактом последовательных неудач на политических выборах всякого рода в крупнейших центрах. Поражена последовательными разгромами при перевыборах Советов и армейских комитетов. Она поражена, наконец, как организация, которая через три месяца после объединительного съезда находится в состоянии внутренней анархии, образования на местах параллельных фракционных организаций, конкуренции фракционных списков на выборах в Учредительное Собрание и т. п. Все эти поражения находятся между собой в неразрывной связи: официальная политика партии сделала поражение Керенского и его кабинета ее поражением; она же впитала анархию в рядах партии и стоила ей потери почти всякого влияния на широкие массы»[111].

В серии статей Ф. И. Дана в газетах «Заря» и «Клич»[112] была представлена точка зрения по данному вопросу так называемых центристов.

---

[110] Меньшевики в 1917 году. Т. 3. Кн. 2 С. 323–324.

[111] Там же. С. 333.

[112] Статьи Ф. И. Дана были в свое время исчерпывающе полно проанализированы Л. Хеймсоном. (*Haimson Leopold H.* The Mensheviks After the October Revolution: Pert 1 // The Russian Review. Vol. 38, № 3. October 1979. P. 456–473).

Не отрицая, что в тактической линии партии действительно многое подлежит критике («нет такой политики, т. е. действенного проведения в жизнь определенной тактической линии, которая была бы чужда ошибок, колебаний, неправильного учета или иных конкретных обстоятельств»), Дан возражал против «мелочного фракционного» тона полемики, который уводил, как ему казалось, в сторону от анализа объективных причин поражения. Леопольд Хеймсон, безукоризненно точно суммируя выводы, к которым пришел Дан, выразил их следующим образом: «Если перемена в позиции партии по спорным вопросам стала в настоящее время необходимой, это не оттого, что ее цели и тактика оказались неверны в корне, а скорей всего из-за кардинальных перемен объективной ситуации. Поражение, которое постигло партию, является не просто поражением ее политики, которую она пыталась проводить во имя спасения революции, это есть, прежде всего, трагедия поражения самой революции»[113]. В статье «Некоторые итоги», посвященной предварительным итогам избирательной кампании в Петрограде, Дан назвал партийный раскол одной из важнейших причин катастрофического поражения партии, оказавшейся перед избирателями «в состоянии полной дезорганизации и внутреннего разложения»[114].

На Чрезвычайном съезде РСДРП(о) (декабрь 1917 г.) Дан в целом поддержал левое течение в меньшевизме, возглавлявшееся Мартовым. Дан был избран членом ЦК партии и редакции ее центрального органа — «Рабочей газеты». В момент формулирования новой партийной политики он еще мог себе позволить назвать анализ динамики развития российской революции, данный Мартовым, — «совершенно неверным» и «исключительно абстрактным», далеким от «действительного соотношения сил». Ему показалась слишком слабой простая констатация того, что временным союзником пролетариата выступает 10-миллионная мобилизованная крестьянская масса. Более важным ему представлялось, что эти «более 10 миллионов наиболее здоровых людей были вырваны из обычной обстановки хозяйственной жизни, были деклассированны». Он фактически отверг и формулу Мартова, предлагавшего рассматривать октябрьские события не как контрреволюцию, а как «пролог контрреволюции» и, пусть даже опасную и

[113] Там же.

[114] Меньшевики в 1917 году. Т. 3. Кн. 2. С. 318–320.

вредную, но «попытку скачка в социалистическую революцию», в основе которого лежат неудовлетворенные потребности пролетариата[115]. А ведь это были базовые положения так называемой «линии Мартова», защите которых Дан посвятит затем большую часть своей жизни. Полемизировал тогда Дан с Мартовым и по вопросу о том, нужно ли входить в ЦИК второго созыва, присоединяясь по существу к левым эсерам и объединенным социал-демократам-интернационалистам и придавая тем самым ЦИК образ многопартийной репрезентативной организации, потенциально соперничающей с Учредительным собранием. Различно подходили они и к тому, должны ли меньшевики участвовать в работе местных Советов, даже если они превратились в органы большевистской власти? И как вести себя в случае вхождения в Советы, когда те грубо попирают права органов местного самоуправления, избранных во время Временного правительства, но согласно всем действующим тогда демократическим нормам?

Членов партии призвали оставаться в Советах, запретив вступать в советские административные учреждения там, «где они стали органами большевистской власти». Одновременно им разрешалось участвовать в органах местного самоуправления, дабы предотвратить превращение их в инструмент большевиков или контрреволюции. Во всех случаях исключалось любое сотрудничество в Военно-революционных комитетах и Комитетах спасения, «не принимающих соглашения всей демократии»[116]. Цель принятия подобных решений была вполне определенной — объединить интернационалистов и многих революционных оборонцев в новое партийное большинство вокруг Мартова и Дана на основе решения двух важнейших задач — достижения соглашения всей демократии и предотвращения посредством этого гражданской войны. Таким образом, фундаментальные расхождения между интернационалистами и центристами, которые регулярно прорывались в ходе всех съездовских дискуссий, отошли на второй план ради принятия резолюции, определявшей основные направления политики, которая позволила бы партии играть новую роль.

Церетели на съезде не было. Он болел, да и новая власть публично объявила о наличии выписанного ордера на его арест. Однако 30 декабря и 4 января, накануне объявленного большевиками открытия

[115] Меньшевики в 1917 году. Т. 3. Кн. 2. С. 387–388.

[116] Партийные известия. № 8. С. 6.

Учредительного собрания, он принял участие в работе политической комиссии социал-демократической фракции. Рассматривались вопросы, связанные с особым характером регистрации ее делегатов через аппарат большевистского комиссара Таврического дворца, о массовой демонстрации в честь Учредительного собрания, объявленной на 5 января, обсуждался также и текст фракционной декларации. И Мартов, и Дан, и Церетели были единодушны: никакого соглашательства по вопросу о том, что Учредительное собрание — это единственный источник власти, быть не может[117]. Однако предложение Мартова не противопоставлять власть Учредительного собрания власти Советов поддержки не получило. Как записано в протоколе заседания комиссии от 5 января 1918 г., Церетели по этому поводу сказал: «Я согласен с Ю. О. [Мартовым], что целесообразнее в первый день по тактическим причинам не ставить вопроса о немедленном сложении советской власти, но принципиальная сторона дела, поскольку речь идет о декларации, должна быть выражена ясно, как пролетарская партия мы обязаны точно формулировать свое отношение к советской власти»[118]. И хотя Мартов тут же заявил, что приведенные Церетели доводы его не убедили, ибо в документе «искусственно все заострено на Совете народных комиссаров»[119], собравшиеся в большинстве своем поддержали Церетели. В частности, Дан подчеркнул: «Здесь не говорится о виновных. Что Учредительному Собранию грозят штыки советской власти, нельзя замолчать. О мерах, проводимых под видом социализма, о мирных переговорах нельзя замолчать. Нам необходимо перед наделением этой власти[120] снять с себя ответственность перед лицом российского и международного пролетариата»[121].

Опубликованная в данном томе речь Церетели (ч. 2. С. 144) на единственном заседании Учредительного собрания и зачитанная им от имени социал-демократической фракции декларация (ч. 2. С. 158–162), проект которой писал Дан, были самыми яркими и пронзительными событиями феноменально короткой судьбы этого

[117] Меньшевики в 1917 году. Т. 3. Кн. 2. С. 592.

[118] Меньшевики в 1918 году / Отв. редакторы З. Галили, А. Ненароков. Отв. составитель Д. Павлов. М., 1999. С. 62.

[119] Там же. С. 62–63.

[120] Так в документе. — *Сост.*

[121] Меньшевики в 1918 году. С. 63.

судьбоносного для России события. Несмотря на обструкцию, которую пыталась устроить Церетели лево-эсеровская часть депутатов вместе с большевистской галеркой, он выступил так, что его речь до сих пор остается образцом всесторонне продуманного, четкого и вместе с тем импровизационного политического заявления в один из переломных для развития всего человечества моментов. Дан, которого не пригласили на открытие даже как гостя, 8 января написал П. Б. Аксельроду в Стокгольм коротенькую информацию о происшедшем: «Мне не пришлось быть на заседании Учредительного Собрания, но по единогласному свидетельству участников, газеты и в отдаленной степени не передают того невыносимо позорного и недостойного положения, в которое было поставлено Собрание большевистской свистопляской и грубейшим вмешательством вооруженных матросов, заполнивших хоры и самую залу. Площадная ругань, крик, свист висели в воздухе. Это было больше похоже на кабак, чем на собрание не то что верховного органа народной воли, а хотя бы самого жалкого, законосовещательного учреждения. Несомненно, мир не видел ничего подобного, и нужно было сочетание большевистского бандитизма, разгула солдатчины и специфического русского хамства, чтобы создать эту постыдную картину. Но и в этой обстановке, в которой способна была покраснеть ломовая лошадь, Церетели после бесконечных перерывов, криков — "кровопийца", "палач" и даже направленных в него винтовок и револьверов, сумел заставить себя слушать. Его речь и декларация были, по общему отзыву, единственным достойным выступлением»[122].

Церетели говорил о том, о чем вскоре никто и никогда больше публично сказать не решится: «...я внимательно вслушивался в доводы, которые отсюда раздавались, которые говорили о том, что Учредительное Собрание, избранное всем народом, должно сейчас без оговорок санкционировать те опыты, которые делаются Советом Народных Комиссаров. Ни одного аргумента не слышал я в доказательство того, что эти опыты дадут те результаты, на которые они рассчитаны. Ни одного слова от представителей руководящих партий не слышали мы здесь, какие результаты даны в жизни начатым опытом. Здесь говорили: мы отняли производство из рук буржуазии. А справляетесь ли вы

[122] Меньшевики в 1918 году. С. 108.

с его организацией? <...> Где она, в какой области дала она себя знать, хотя бы как нечто начинающееся, нечто порождающее надежды на исправление того хаоса, того ужаса, который царил ранее. Станете ли вы утверждать, что в области продовольствия ваши начинания дали эти результаты? ...Как организуете вы народное хозяйство России? <...> Вы дали землю народу, вы исполнили обещание революции, вы это сделали и Учредительному Собранию ничего сделать не остается? Земля, действительно, переменила владельца... Но я спрашиваю вас, — те вести, которые приходят из деревни, которые разбросаны во всех изданиях, которые у всех на устах, кто был в этих деревнях, — что же, эти вести вселяют в вас уверенность, что именно беднейшее крестьянство обзавелось землей, обзавелось инвентарем? Что она так справедливо распределена, эта земля, чтобы ни кулаки, ни богатеи, не те, которые и без того сильны, завладели бы тем, что завоевано революцией? Я вам скажу, и вы сами должны признать, что если бы оставалась земельная реформа и закрепилась в том виде, как сейчас она существует, это не было бы реформой великой российской революции. Это было бы повторение ставки на сильных. На тех крепких мужичков, которые и без того держали в своих руках деревню». (Ч. 2. С. 146–150.)

Его предсказание о возможных последствиях непродуманной «социалистической» реорганизации сельского хозяйства стало пророческим: «И если не планомерно, не органами, вооруженными всенародным авторитетом и всенародным признанием, не органами, которые могли бы поставить на службу трудящихся, и двинуть в ход весь наличный технический и интеллигентский капитал в стране, если не этими органами будет проводиться земельная реформа, то эта великая реформа, обещанная российской революцией крестьянству и всей демократии, примет такие формы, что от этой картины в ужасе отшатнутся все, которые в настоящий момент искренно стремятся к закреплению демократических завоеваний в деревне». (Ч. 2. С. 150.)

Речь Церетели в Учредительном собрании была воспроизведена в многочисленных газетных отчетах, издана в 1918 г. в Петрограде в издательстве «Рабочая библиотека ЦК РСДРП(о)», в том же году вошла во 2-й том речей Церетели, изданный в Тифлисе. Ее неоднократно переводили на иностранные языки (первыми переводчиками были П. Б. Аксельрод — на немецкий, Ю. О. Мартов — на французский). И даже летом 1927 г., в одном из писем к А. Н. Потресову по случаю выхода его книги «В плену иллюзий. Мой спор с официальным

меньшевизмом»[123], — которую по праву считают одной из самых неординарных в ряду произведений антибольшевистской литературы, Аксельрод призывал автора — не проходить мимо «некоторых фактов и моментов из прошлого в отношении нашей партии к большевикам» и не забывать «особенно такой яркий и характерный факт, как поистине героическое, чрезвычайно мужественное и блестящее выступление Церетели от имени всей партии в Учредительном Собрании»[124].

Речь Церетели во всех прижизненных изданиях публиковалась без текста декларации, автором которой был Дан, мы же воспроизводим их вместе. Для нас важно не только то, что эти документы дополняют и обогащают друг друга. Это — последнее совместное публичное выступление Дана и Церетели как единомышленников. На первом заседании межфракционного совета после разгона Учредительного собрания Церетели отговорит депутатов от продолжения работы Собрания явочным порядком, а своих однопартийцев — от попыток найти для учредиловцев взамен запертого Таврического дворца новое пристанище под защитой петроградских рабочих или вообще за пределами Петрограда.

Церетели и Дан еще появятся вместе 9 января 1918 г. на похоронах жертв расстрела участников питерской демонстрации в защиту Учредительного собрания. В числе 50 тыс. участников похоронной процессии они пройдут под антибольшевистскими лозунгами через весь город к Преображенскому кладбищу, где рядом с братской могилой погибших в январской демонстрации 1905 г. будут похоронены 8 новых жертв.

Когда в середине января мартовско-дановское партийное руководство примет решение об участии не только в Советах вообще, но и в большевистском ВЦИКе в частности, Церетели 18 января поддержит это непопулярное в партии решение на собрании петроградских меньшевиков-оборонцев, противников курса, принятого декабрь-

---

[123] См. данное письмо, как и сентябрьское 1920 г. открытое письмо П. Б. Аксельрода Ю. О. Мартову, в соответствующем томе антологии: *П. Б. Аксельрод, Ю. О. Мартов, А. Н. Потресов.* О революции и социализме / Сост., авторы предисловия и комментарий доктор исторических наук А. П. Ненароков, кандидат исторических наук П. Ю. Савельев. М., 2009.

[124] См.: *Ненароков А. П.* Последняя эмиграция Павла Аксельрода: Из цикла «В поисках жанра». М., 2001. С. 141.

ским Чрезвычайным съездом РСДРП(о). Но убедить собравшихся в необходимости этого шага так и не смог. Вскоре он в связи с угрозой ареста переберется на родину, в Грузию, где станет одним из активнейших учредителей Грузинской демократической республики.

А Дан будет избран членом ВЦИК 3-го и 4-го созывов (февраль–июнь 1918 г.), в апреле вместе с ЦК партии переедет в Москву, станет депутатом Моссовета, редактором ряда партийных изданий в редкие моменты их легального существования. В первом номере «Партийных известий» от 5 марта он опубликует статью «Задачи партийной работы». В ней, с одной стороны, констатировался крах партийной теории и практики *партии социалистов-революционеров* из-за того, что они были построены «на ложном основании, ибо массовый крестьянин вовсе не оказался тем “социалистом”, которым партия его воображала». А с другой — предсказывался неизбежный крах *большевистской партии*, которая, став у власти, «поистине не по дням, а по часам теряет свой классовый рабочий характер». Отсюда «в настоящее время единственною *социал-демократической партиею, единственною партиею*, твердо стоящей на почве *классового пролетарского социализма*», объявлялась РСДРП(о). Якобы она одна в состоянии «сплотить и организовать пролетариат для защиты его классовых интересов в процессе неизбежного крушения большевистской диктатуры, грядущего “упорядочения” буржуазного строя и разочарования рабочего класса в той “коммунистической” политике, которая заставляет его своими руками вытаскивать мелкобуржуазные каштаны из огня. И эта задача совпадает с задачей сохранения демократических и социальных завоеваний революции, поскольку против рабочего класса и без него об этом сохранении смешно и думать». В статье подчеркивалось, что решение этих задач невозможно без сохранения *самостоятельности* партийной политики, а отсюда следовал вывод: никакие *блоки*, «связывающие нам руки, урезывающие специфически-пролетарский характер нашей работы, в данный исторический момент для нас *неприемлемы*»[125].

С этой статьи Дан открыто становится на защиту «мартовской линии», подменяя «*самостоятельность* партийной политики» борьбой за ее чистоту, а *неприемлемость* каких-либо *блоков* — самоизоляцией. Здесь он, вслед за Мартовым, формулирует и так называемую

[125] Меньшевики в 1918 году. С. 195–198.

задачу демократического преодоления большевизма, подчеркивая: «Наша партия твердо стоит на той точке зрения, что единственным средством спасения завоеваний революции является безболезненная ликвидация большевистской диктатуры, путем соглашения всех демократических классов, в том числе и тех частей их, которые сейчас стоят за большевизмом»[126].

Любопытно, что даже переход правящей партии к «круговой обороне» после подписания Брестского мира, резкое обострение общественных конфликтов и подъем рабочего движения, носившего откровенно антибольшевистский характер[127], чудовищные репрессии, сопровождавшие утверждение однопартийной диктатуры, в частности исключение 14 июня 1918 г. социал-демократов и правых социалистов из Советов всех уровней накануне новой избирательной кампании в преддверии V Всероссийского съезда Советов по смехотворным обвинениям «за контрреволюционность и саботаж советской власти», лишь укрепляли в Мартове и Дане веру в неизбежность осознания большевиками необходимости определенных демократических уступок и убежденность в справедливости собственных выводов в том, что величайшей опасностью для России является не большевистский террор, хотя он наносит по русской революции удар колоссальной разрушительной силы, а возрастающая угроза «термидорианской контрреволюции», на которую собственно и работают все «большевистские благоглупости». Об этом свидетельствуют и материалы Всероссийского совещания РСДРП 27 декабря 1918 — 1 января 1919 г., особенно доклад Дана «О политике партии в Советской России»[128].

Вообще период с октября 1918 г. и до лета 1920 г., когда сентябрьское партийное совещание, вопреки воле своих лидеров, примет решение о переходе РСДРП в подполье, будет временем смены одних иллюзий другими. Они будут обнаруживаться в практической работе и на партийных совещаниях 1919 г. (майском и августовском)[129] и

---

[126] Меньшевики в 1918 году. С. 199.

[127] Рабочее оппозиционное движение в большевистской России. 1918 г. Собрание уполномоченных фабрик и заводов: Документы и материалы / Сост., автор вступительной статьи и примечаний Д. Б. Павлов. М., 2006.

[128] Меньшевики в 1918 году. С. 706–709.

[129] Меньшевики в 1919–1920 гг. / Отв. редакторы З. Галили, **А. Ненароков.** Отв. составитель Д. Павлов. М., 2000. С. 196–199, 250–252.

1920 г. (мартовском и апрельском)[130]. Итогом совещаний и станет важнейший программный документ – тезисы ЦК РСДРП «Мировая социальная революция и задачи социал-демократии», — который на долгие годы определял платформу РСДРП, связанную с именами Ю. О. Мартова и Ф. И. Дана.

Казалось бы, их пути с Церетели разошлись окончательно. В декабре 1918 г. правительство Грузинской демократической республики примет решение о направлении его и Н. С. Чхеидзе своими представителями на Парижскую мирную конференцию. Они прибудут туда лишь к концу февраля 1919 г., с сильным опозданием из-за долгой дороги и различных карантинов.

По воспоминаниям бывшего сенатора З. Д. Авалова[131], во Франции «имена их были еще многим памятны», «помнили, преимущественно, что они были противники большевиков. Отсюда, собственно, и их политическая благонадежность в глазах французских властей. <...> С другой стороны, самая известность их имен, связанных с политическими раздорами русских партий, сбивала с толку. Зная их как русских деятелей, выступавших на огромной и отовсюду видной эстраде русской революции (сколько здесь возникло и сколько погибло репутаций!), не легко объясняли себе появление их в качестве деятелей *грузинских*. Те немногие из иностранцев — англичан, французов — которые старались вдумываться в вопрос политической независимости Грузии, могли даже усумниться в серьезности этого лозунга при виде столь внезапного превращения; другие, русские, получали повод кричать об измене, о скандале»[132]. Бывший сенатор не преминул, конечно, высмеять и их приверженность Интернационалу, равно как и упования на силу пролетарской солидарности и всеевропейской демократии[133].

---

[130] Там же. С. 196–199, 250–252.

[131] *Авалов (наст. фам. Авалашвили) Зураб Давидович* (?–1944) — князь, магистр государственного права (1906), приват-доцент на кафедре государственного права юридического факультета Петербургского университета в 1907–1908, 1912–1913 гг., сенатор, грузинский общественно-политический деятель. С 1918 г. — в эмиграции. Умер в Шварцдорфе, Бавария.

[132] *Авалов З.* Независимость Грузии в международной политике 1918–1921 гг. Репринт с парижского издания 1924 года. New Yok, 1982. С. 183.

[133] Там же. С. 202.

Надо сказать, что Церетели поймет курьезность сложившегося положения в первые же дни пребывания в Париже. Это стало ясно, как только французская печать воспроизвела их с Чхеидзе изречения о том, что парламент в Грузии и Учредительное собрание находятся под контролем Совета рабочих депутатов и что вся сила — именно в последнем; что Грузия — республика «социалистическая» и она вернется в лоно России, если там восторжествует доктрина «демократического социализма», и даже, как у Мартова с Даном: «мы воспротивимся иностранному вмешательству в дела России»[134]. Среди дипломатов это звучало как нонсенс, для обывателя — как эпатаж. Профессионалы переговорщики, как Авалов, не забывали на это указывать, заодно сваливая на Церетели и Чхеидзе все промахи и затяжки переговорного процесса о признании Грузинской демократической республики. Вообще, та терминология, которая была естественна в общении с однопартийцами, на расстоянии стала звучать сектантски, а Церетели всегда пытался апеллировать к возможно более широкому кругу людей самого разного социального происхождения.

Вскоре Церетели предпочтет дипломатическому представительству, требующему другой подготовки, другого опыта и видения мира, представительство партийное, вполне совместимое, как ему казалось, с собственной позицией. Долгие годы он будет представлять грузинскую социал-демократию в Рабочем Социалистическом интернационале (РСИ). Он предстанет там одним из самых последовательных борцов против самоизоляции социал-демократии, в том числе и российской, критиком коммунистических экспериментов в России, большевизма и русской революции в ее «большевизантском виде». Будет добиваться международной поддержки грузинского народа в его борьбе за свободу и независимость. При этом он отдавал себе отчет в невозможности предугадать, скоро ли придет эта свобода. Уже по окончании Второй мировой войны он запишет: «Жизнь научила нас всех, что дело реализации больших идеалов много более сложно, чем это казалось на заре нашей юности. Но и в наши дни я считаю, что свободу самому определять свою судьбу народ Грузии получит лишь тогда, когда эту свободу будет

[134] *Авалов З.* Указ. соч. С. 190.

иметь народ русский. История их связала — и на черные дни, и на дни радостные»[135].

Дан окажется за границей много позже Церетели. В июне 1919 г. он будет мобилизован в ряды Красной Армии и откомандирован в распоряжение Народного комиссариата здравоохранения. В мае 1920 г. его отправят в Приуральское военно-санитарное управление (Екатеринбург). В феврале 1921 г., когда он окажется в Петрограде в дни Кронштадтского мятежа, его — противника любых антибольшевистских вооруженных выступлений — арестуют, заключат сначала в Петропавловскую крепость, а в июле 1921 г. переведут в Бутырскую тюрьму, где к тому времени окажется почти в полном составе весь ЦК РСДРП. В январе 1922 г. Дану и другим партийным лидерам объявят решение об их административной ссылке, однако они голодовкой добьются ее замены высылкой за границу.

В Берлине Дан войдет в состав Заграничной делегации РСДРП и редакции основанного Ю. О. Мартовым журнала «Социалистический вестник». С апреля 1923 г. после смерти Мартова он возглавит Заграничную делегацию (до весны 1940 г.) и вместе с Р. А. Абрамовичем будет представлять РСДРП в РСИ. До начала 1930-х гг. они часто будут встречаться с Церетели на международных конгрессах, заседаниях Исполкома РСИ, съездах братских партий, будут дружить семьями и даже вместе, как это было последний раз в 1927 г., отдыхать.

Это не значит, что отношения между ними были абсолютно безоблачными. Церетели не принял «линии Мартова» и критиковал ее в частных письмах к П. Б. Аксельроду, В. С. Войтинскому, а потом и Б. И. Николаевскому. Его реакция на знаменитое сентябрьское 1922 г. открытое письмо П. Б. Аксельрода Ю. О. Мартову известна сегодня достаточно хорошо[136]. А вот о реакции Церетели на первую личную встречу с Даном и Мартовым в марте 1922 г. известно меньше. Между

[135] *Ираклий Церетели.* Впечатления детства. По записям Элико Церетели-Демолон, Бориса Николаевского и черновикам И. Г. Церетели. Вводное слово и иллюстрации З. К. Церетели / Составление, комментарии и послесловие А. П. Ненарокова. М., 2006. С. 9.

[136] Меньшевики в 1919–1920 гг. С. 652–675, 718–720; *Ненароков А. П., Павлов Д. Б.* Политическое завещание Павла Аксельрода // Россия XXI. 1999. № 6; *Ненароков А. П.* Последняя эмиграция Павла Аксельрода. М., 2001; *Ненароков А. П.* История одного письма. Политическое завещание Павла Аксельрода / Послесловие Г. А. Явлинского. М., 2008.

тем она весьма характерна, и мы приведем ее полностью: «...О моих разговорах с Федором Ильичем и Юлием Осиповичем я уже не пишу подробно, т. к. расскажу на словах, да Вы и сами увидите, — сообщал он Аксельроду. — По правде сказать, я и не мог бы отметить чего-нибудь, не предвиденного Вами. На своей "октябрьской" позиции[137] по отношению к большевикам они стоят твердо, храня суеверное почтение к "завоеваниям революции", отстаиваемым большевиками. Но в частном разговоре они гораздо резче отзываются о хулиганской натуре большевизма. Противоречие между их анализом политики большевизма и их собственными политическими выводами остается вопиющим»[138].

«Суеверное почтение» к большевистской «революции», несмотря на отрицание ее социалистического характера, Дан сохранил и после смерти Мартова, что, в частности, было отражено и в новой «Платформе РСДРП», принятой на расширенном пленуме ЦК 11 мая — 20 июня 1924 г. в Берлине. Сохранилось в ней без изменений и мартовское признание большевиков пролетарской партией, которая под давлением рабочего класса способна осуществить демократизацию советского режима, отсюда в новой платформе допускалась возможность соглашения с какой-либо оппозиционной частью большевиков. В конце 1920-х гг. в докладе «Об основах стратегии РСДРП в период ликвидации большевистского режима», прочитанном в берлинском партийном клубе им. Ю. О. Мартова, Дан утверждал, что в борьбе «с режимом террора» следует искать соглашения с левой, троцкистской оппозицией[139]. Его оппоненты склонялись к правой оппозиции, а некоторые — к сталинской группе. По этому поводу Церетели писал Николаевскому: «Соглашения с большевиками, даже с самой их реалистической фракцией, мне кажутся утопией, которая не может осуществиться и попытки осуществления которой могут только быть вредом социал-демократии. «Правая фракция» большевизма также органически связана с системой диктатуры, как и все другие фракции. Если ей суждено развитие, то путь ее развития пойдет не в сторону

---

[137] 1917 года. — *Сост.*

[138] International Institute of Social Histori (IISH). P. Axelrod Collection. Folder 10. Переписка. Без нумерации листов. Письмо И. Г. Церетели П. Б. Аксельроду от 17 марта 1822 г. Рукопись, автограф.

[139] HIA. Boris I. Nikolaevsky Collection. Series 16. Box 30. Folder 1.

демократии, а в сторону буржуазной системы бонапартистского характера, как это совершалось уже в период нео-нэпа, который был вдохновляем нынешними правыми большевиками вкупе со Сталиным. Внешним показателем того, насколько различные фракции большевизма родственны внутренне друг другу, служит та легкость, с какой представители этих фракций переходят из одной в другую. Ведь в Сталине и его окружении мало что изменилось от перехода от нео-нэпа к левому курсу, и вряд ли кто удивится из знающих эту среду, если завтра сталинцы объединятся с Рыковым и Бухариным на правой платформе. А вот для перехода к демократии и тем, и другим потребовалась бы такая ломка психологии, примеры которой в истории развития коллективов не встречаются». И здесь же продолжил: «Вопрос о соглашении с большевиками для социализма, по-моему, вопрос принципа. Что остается от внутренней силы нашего движения, если мы признаем родственным ему такое течение, которое выросло на отрицании самых элементарных наших свобод и которое имеет в своем активе десятилетнюю практику большевизма? Вот это представлялось мне всегда самым слабым местом платформы «Социалистического Вестника» — и это же остается в выработанных инструкциях. Если официальный меньшевизм сохранил фактически свою социалистическую сущность, то не благодаря, а вопреки своей теоретической платформе — ибо фактически он вел и ведет самую непримиримую борьбу с большевизмом»[140].

Церетели довольно резко будет выступать и против курса Дана на самоизоляцию РСДРП. В частности, в 1925 г. он поддержит А. Н. Потресова в его стремлении наладить контакт хотя бы с группой внутрипартийных правых и, когда это будет жесткой рукой партийного руководства пресечено, останется ближайшим другом Потресова, всегда помогая и поддерживая его и его жену. Сам того не зная, Церетели станет в 1928 г. причиной порицания, вынесенного ЗД РСДРП председателю Парижского партийного клуба, старейшему деятелю российского революционного движения М. С. Зборовскому[141] за то, что он пригласил

[140] HIA. Boris I. Nikolaevsky Collection. Series 15. Box 30. Folder 1. Письмо И. Г. Церетели Б. И. Николаевскому. 13 ноября 1929 г. Рукопись, автограф.

[141] *Зборовский (Константинов) Михаил Соломонович* (1879–1935) — в революционном движении с 1898 г., со II съезда РСДРП (1903) — меньшевик. В годы Первой российской революции — член Исполнительного комитета Петербургского Совета рабочих депутатов. Вместе с другими руководителями Совета был

Церетели на вечер, посвященный 10-летию Февральской революции, зная, что его оценки русской революции не во всем совпадают с оценками руководства партии. Много позже Николаевский писал Церетели об эволюции взглядов Дана на коалиционную политику в 1917 г., приводя его замечание, будто тогда «тенденция союза с буржуазией противополагалась тенденции союза с крестьянством». Разгневанный Церетели ответил длинной филиппикой: «Это, может быть, было верно в то время, когда Плеханов писал свое открытое письмо Гольцеву или Ленин статью об "отказе от наследства". Но в [19]17 г., я тебя уверяю, настроения были совсем другие. Союз с крестьянством был нашим основным стремлением, и вопрос стоял так, что коалиция с буржуазией диктовалась настроением огромного большинства народнических элементов. Особенно ясно это сказалось под конец, когда буржуазия шарахнулась направо, и мы предлагали народникам образовать однородное правительство. Руководящие круги эсеров и Крестьянский Совет этому воспротивились. Я не хочу, конечно, сказать, что вся наша политика коалиции была тактическим маневром для сближения с народниками — нет, сотрудничество с буржуазией и нам казалось полезным для укрепления нового строя — но, во всяком случае, совершенно неверно то, будто политика коалиции выросла на отрицании союза с крестьянством. И имей в виду, что в понятии огромного большинства в [19]17 г. союз с крестьянством означал именно союз, а не господство над крестьянством[142]. Но я уж слишком распространяюсь. Я хотел только сказать тебе, что никаких исторических поучений из эволюции "Дановских взглядов" установить нельзя, за исключением разве того, которое установил Щедрин, сказав, что есть люди настолько маленького роста, что ничего пространного они в себя вместить не могут. Нет у меня охоты перечитывать старые статьи Дана, на которые ты указываешь, ибо я знаю, что в каждый данный момент он упрощенно воспроизводил взгляды того человека, за которым он шел, и поэтому

арестован и сослан. В 1906 г. бежал из ссылки в Швейцарию. Сторонник идеи созыва широкого рабочего съезда. В 1908 г. участвовал в организации заграничного органа меньшевиков-«ликвидаторов» — газеты «Голос социал-демократа», заведовал ее технической частью. После Февральской революции 1917 г. вернулся в Россию, работал в Одессе. К захвату большевиками власти отнесся враждебно. В конце 1919 г. эмигрировал. Руководитель парижского клуба РСДРП, примыкал к правому течению в партии.

142 Подчеркнуто И. Г. Церетели. — *Сост.*

никакой интересной закономерности в его собственной эволюции не было. Его недоверие и нелюбовь к крестьянству не есть типичная черта соц.-демократии. Ключ к психологии этой последней надо искать в Аксельроде, Плеханове или в типичном представителе русской рабочей интеллигенции, и ты увидишь, как отношение к крестьянству эволюционировало под влиянием событий. А Дан, уверяю тебя, насколько в этом несамостоятельном политике можно установить личные тенденции, буржуазию не любит еще больше чем крестьянство, ибо ко всему прочему надо прибавить и те уколы, которые ему приходилось испытывать при общении с представителями буржуазии в период его политического увлечения коалицией. Право же я не шучу, это также один из моментов его мизантропии. А "широкие массы пролетариата", как ты думаешь, он любит? Не случалось ли тебе слышать его прогнозы, что в будущей освобожденной России будет "большая, но паршивая партия — наподобие немецкой или английской"? Если к чему и лежит у него душа — то это к маленькому кружку из Юговых, Шварцев и Ежовых, где его талмудистские поучения могут цениться и комментироваться. А соц.-дем. движение в России, когда оно возродится, пройдет мимо него, даже не усмотрев этой потери...»[143]

Однако окончательно разведет Церетели и Дана не отношение к теоретическим вопросам, а их различное понимание порядочности. 15 марта 1930 г. во время публичного доклада в Париже Дан заявил, что выступавшие до него на одном из митингов вместе Церетели и Керенский[144], «сходясь по вопросу об отношении к советскому режиму, окажутся по разные стороны баррикад на другой день после насильственной его ликвидации», так как Керенский защищает единство и неделимость России, а Церетели, требуя независимости Грузии, примыкает к лагерю сторонников распада России». Церетели не счел нужным прореагировать на этот выпад, ибо его позиция была всем хорошо известна по публикуемой в данном издании статье 1927 г. «Основной вопрос нашей тактики». Но без малого через месяц в «Социалистическом вестнике» появилась первая часть статьи Дана, где развивалась та же мысль[145]. Ничего не по-

[143] HIA. Boris I. Nikolaevsky Collection. Series 15. Box 30. Folder 1. Г. И. Церетели Б. И. Николаевскому. 16 апреля 1932 г.

[144] Что, кстати, по Дану, было нарушением партийной этики, за что были объявлены выговоры многим членам ЗД и сочувствующим. — *Сост.*

[145] См.: *Дан Ф.* Необходимая справка // Социалистический вестник. 1930, 12 апреля. № 6–7 (220–221).

дозревающий о статье Церетели встретился с Даном в гостях у старой социал-демократки Б. Б. Меринг, руководительницы малого Красного Креста (оказывавшего немалую помощь политзаключенным в СССР), а после дружески проводил его. Однако вернувшись домой и прочитав злополучную статью, переданную ему Николаевским, он тут же отправил Дану записку, в которой объявил о разрыве с ним всех личных отношений, как с человеком, обнаружившим «моральную неразборчивость». Повторное выступление Дана он воспринял, как упорное нежелание понять его позицию и попытку представить их отношения «в неверном свете». Ошеломленный Дан в записке Берте Меринг заявил, что чувствует себя «дураком, который за 60 лет жизни ничему <...> не научился и сохранил совершенно непозволительную младенческую наивность»; он не мог понять мотивов решения Церетели[146]. Вместе с тем Дан не отложил продолжение публикации своей статьи[147] и дважды (первый до разрыва отношений с Церетели — 7 апреля и второй после — 22 апреля) пытался изложить свою точку зрения Карлу Каутскому[148].

21 мая в Заграничную делегацию РСДРП поступило публикуемое нами (ч. 2. С. 215) открытое письмо Церетели, которое тот просил напечатать в «Социалистическом вестнике». В тот же день ЗД большинством голосов решает: «письмо Церетели не печатать в “СВ”, ввиду его тона и в интересах не обострения конфликта». Против этого решения голосовали Николаевский[149], подавший письменный протест секретарю ЗД, и два представителя т. н. внутрипартийной правой оппозиции Г. Я. Аронсон и М. С. Камермахер (Кефали). Так Дан, стремившийся в любых условиях сохранить целостность руководства РСДРП, положил начало открытому конфликту внутри верного ему до этого

---

[146] Columbia University in the City of New York, Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture (BAR). Series 4. Box 53. Folder «F.Dan. Berlin, 1924-1932. Ty B. B. Mering».

[147] Социалистический вестник. 1930. № 8 (222). 26 апреля.

[148] См. документы № 222 и 223, опубликованные Б. М. Сапиром в указанном ранее сборнике: «Theodore Dan. Letters (1899-1946)». С. 394-399.

[149] По поводу данного заявления Б. И. Николаевского Сапир счел нужным в комментарии к письму Дана Каутскому от 7 апреля заметить: «В этой <...> связи Дан приобрел врага в лице тесно связанного с Церетели Б. И. Николаевского, что явилось одним из факторов, способствовавших утрате Даном большинства в ЗД» (см. там же. С. 395-396).

партийного большинства. А Церетели порвет отношения с руководством как грузинской, так и российской социал-демократии, отойдет от активного участия в политической жизни эмиграции, посвятив все свое время учебе на юридическом факультете Парижского университета, блестяще закончит его и начнет работать юристом в одной частной конторе, оставаясь все время войны и первые послевоенные годы в Париже.

В 1936 г. Дан сумел продавить через ЗД открытое письмо съезду Советов СССР в связи с принятием т. н. сталинской Конституции СССР. Он все еще лелеял надежду на возможность оппозиционной политической деятельности внутри СССР. Несмотря на массу оговорок и резко критических оценок внутренней и внешней политики большевистской партии, письмо завершалось заявлением, подлинный смысл которого тонул в абсолютно абстрактных формулировках: «...наша партия не имеет никаких интересов, отличных от интересов трудящихся, революции и социализма, и не хочет для себя ничего, кроме возможности, свободно и открыто, в рамках и на почве новой Конституции, участвовать в борьбе за социализм, делающий обобществление средств производства основой подлинного освобождения личности и действительно свободного самоопределения трудящихся масс»[150].

Вскоре после этого Дан утратил влияние в ЗД РСДРП и основал свою группу, выпускавшую, как мы уже отмечали, журналы «Новый мир», а позже — «Новый путь». В апреле 1942 г. Заграничная делегация квалифицировала подобные шаги эти как серьезное нарушение партийной дисциплины и освободила Дана от обязанностей сопредставителя РСДРП в Исполкоме РСИ. В мае 1943 г. Дан и его сторонники демонстративно вышли из состава ЗД, считая, что ее новое руководство превращает социализм в отвлеченную категорию культурного и морального порядка. Отметая обвинения в большевизме, он подчеркивал: «Мы — не большевики, и разница между нами и "антибольшевиками" — не в том, что они "борются" с коммунизмом, а мы "капитулируем" перед ним. А в том, что они считают большевизм чем-то чуждым "истинно социалистическому" рабочему движению и потому подлежащим истреблению и уничтожению, мы же полагаем, что коммунизм есть одна из исторически данных составных частей

[150] Социалистический вестник. 1935. 28 ноября. № 20 (376). С. 1–6.

формирующегося “синтетического” социалистического сознания и органического пролетарского единства»[151].

Церетели получит от нового руководства ЗД РСДРП приглашение войти в редакционный совет «Социалистического вестника» и, приветствуя журнал с 25-летием, напишет статью «Исторические задачи российской социал-демократии». В ней он, обобщая собственный практический опыт и опыт российского социал-демократического движения, объявит основной ценностью социализма «защиту прав человеческой личности и ее свободного развития». (Ч. 2. С. 224.) В том же 1946 г. выйдет и книга Дана «Происхождение большевизма. К истории демократических и социалистических идей в России после освобождения крестьян», в которой он выступит за синтез идей социализма и коммунизма и мирную трансформацию большевистского режима в демократическое общество.

Дан негативно оценивал послереволюционную социалистическую эмиграцию, которая потеряла корни в русской почве и «отмирает, как живая сила». (Ч. 2. С. 161.) Он считал, что антиномия «демократия — социализм» красной нитью проходит через историю всего русского революционного движения и русской революционной мысли, а выдвинутая Мартовым в 1917 г. концепция «демократической власти трудящихся», так же как и ленинская концепция «демократической диктатуры пролетариата и крестьянства» не смогла реализоваться из-за аполитизма русского крестьянства.

Так завершили свои весьма разные жизненные пути два российских социал-демократа, чьи работы частично представлены в данном выпуске антологии.

* * *

Составители выражают глубокую признательность М. Д. Дворкиной (Государственная общественно-политическая библиотека) за помощь в составлении библиографии, Р. М. Гайнуллиной (Российский государственный архив социально-политической истории) за считку и сверку сканированных текстов, Ю. В. Романову (Московский педагогический государственный университет) за компьютерные работы и составление указателя имен.

А. П. Ненароков, доктор исторических наук
П. Ю. Савельев, кандидат исторических наук

[151] BAR, Boris Sapir Collection. Series IV. Box 54. Folder «Dan — Manuscripts — miscellaneous — notes».

Ф. И. ДАН

ПРОИСХОЖДЕНИЕ БОЛЬШЕВИЗМА

К истории демократических и социалистических идей в России после освобождения крестьян

Введение
СУДЬБЫ ДЕМОКРАТИИ В АМЕРИКЕ И РОССИИ

Начало 60-х годов прошлого века ознаменовалось в России освобождением крестьян от крепостной зависимости[1]. Для дальнейшего экономического, социального и культурного развития России это освобождение, казалось, должно было иметь такое же значение, как состоявшаяся приблизительно в то же время ликвидация рабства для Соединенных Штатов Северной Америки[2].

Денежные отношения начали задолго до этого времени проникать в натурально-крепостническое помещичье хозяйство России и разлагать его, подготовляя тем самым и упразднение крепостного права. И задолго начали появляться в России — наряду с ремеслом, мануфактурой и фабрикою, основанными на крепостном и принудительном труде, — и предприятия капиталистического характера, пользовавшиеся трудом вольнонаемным. Но только освобождение крестьян и непосредственно связанная с ним эпоха грюндерства[3] и «великих реформ»[4] создали все условия для свободного и быстрого развития капитализма: огромный резервуар рабочих рук, хлынувших из деревень в города и вновь возникшие промышленные центры; железнодорожный и водный транспорт и почтовую систему, обеспечившие правильное функционирование рыночных связей и массовую циркуляцию людей и грузов; правовой порядок и правосудие, дававшие личности и ее собственности те элементарные гарантии, без которых сколько-нибудь широкое развитие системы производства, основанной на интересах, предприимчивости и свободной конкуренции индивидуумов, вообще невозможно.

И все же дальнейшее развитие России пошло совершенно иными путями, чем развитие Соединенных Штатов, хотя Россия еще более, чем Америка, сама по себе составляет целый континент с неиссякаемыми запасами почти всех видов сырья, необходимого для промышленности, и хотя к ее услугам были все научные, технические, организационные и идеологические достижения опередивших ее капиталистических стран Европы.

Здесь не место останавливаться на тех условиях, которые определили собой исторические судьбы Америки. Факт таков, что за полустолетие,

протекшее со времени ликвидации рабства до мировой войны 1914–18 гг., американская промышленность проделала процесс гигантского развития. Американский капитализм во многих отношениях опередил капитализм европейский. Организатор и руководитель американского капиталистического хозяйства — быстро выросшая буржуазия — стала действительно господствующим классом своей страны. На прочном капиталистическом фундаменте было воздвигнуто прочное, просторное и спокойное здание демократической государственности.

Совершенно иначе пошло за это полустолетие бурное, прерываемое революционными взрывами развитие России.

Несмотря на отдельные блестящие достижения, Россия в промышленном отношении оставалась до самой революции 1917 года страной отсталой[5]. Ее капитализм был в значительной степени капитализмом импортированным, иностранным[6]. Ее буржуазия никогда не возвышалась до роли господствующего класса — ни в смысле управления государством, ни в смысле политического и идейного влияния на народные массы. «Великие реформы» не были «увенчаны» демократической конституцией, как того ожидали их пламенные энтузиасты, а вырванная революцией 1905 года Государственная Дума очень скоро была сведена до роли лжепарламента, еле прикрывавшего нетронутое самодержавие[7].

Но чахлым и нежизнеспособным растением оказалась политическая демократия на капиталистическом фундаменте и в рожденной первою мировою войною революции 1917 года; через каких-нибудь 7–8 месяцев она рухнула вместе с русским капитализмом и русской буржуазией. Лишь в рамках социализма — и притом социализма диктаторского, смогла быть в России поставлена и частью уже осуществлена задача «догнать и перегнать» в промышленном отношении передовые капиталистические страны. В отличие от Америки «американизация» России осуществляется не в капиталистической, а в социалистической форме. И не может уже быть сомнения в том, что, если, как надо полагать, утверждение политической демократии окажется одним из последствий военной победы антифашистского фронта, то в России во всяком случае эта демократия сможет быть воздвигнута лишь на социалистическом, а не на капиталистическом фундаменте и, разумеется, в новых формах, соответствующих этому новому фундаменту.

Причины нежизнеспособности буржуазной демократии в России заключаются, в конечном счете, в исторически запоздалом по сравнению с другими крупными государствами Европы вступлении

России на путь капиталистического развития. Эта запоздалость наложила печать своеобразия на все экономическое, социальное, культурное и политическое развитие страны, в свою очередь, предопределившее своеобразие того развития демократической мысли в России, которому посвящена моя работа.

Изучение этого развития имеет не только теоретический, но и практически-политический интерес. Оно может помочь пониманию той ситуации, которая начала складываться в России в ходе войны и результаты которой скажутся в ближайшие годы и десятилетия. Оно имеет существенное значение для суждения о перспективах послевоенного развития европейского континента, в судьбах которого России отныне будет принадлежать первостепенная роль, соответствующая первостепенности той роли, которую она сыграла в военном и политическом разгроме гитлеро-фашизма. И, наконец, изучение это может косвенно бросить некоторый свет на вероятную послевоенную эволюцию политической идеологии в тех, еще более отсталых, чем Россия середины прошлого века, странах, которые вторая, в подлинном смысле слова мировая и тотальная война вывела из веками слагавшейся относительной изоляции и сделала гораздо более самостоятельными факторами будущего мирового развития, чем они были до сих пор.

Тема моей работы — не история борьбы за демократию в России, а история русской демократической мысли. Но само собою разумеется, что излагать историю мысли невозможно вне связи с тем движением, в котором эта мысль рождалась, от которого она получала импульсы и в котором она подвергалась практической проверке. Особенно невозможно это, имея в виду того рядового советского читателя, для которого я мысленно предназначаю эту книгу и в руки которого она, я надеюсь раньше или позже, попадет, но в котором, и по возрастному составу советской читательской массы, и по всем условиям советского быта, следует предполагать лишь недостаточное и несовершенное знакомство с историей освободительного и революционного движения в России. Я отвожу поэтому не мало места и фактической стороне этого движения, — стараясь, конечно, не выходить за пределы, в которых это необходимо для понимания основной темы книги.

Задача моя — дать читателю возможность понять «большевизм» не как случайное явление, вызванное к жизни совершенно исключительным стечением обстоятельств и оборвавшее длившуюся десяти-

летиями освободительную борьбу русской интеллигенции, русского рабочего класса и русского народа вообще, а, наоборот, как закономерный продукт этой борьбы и исторически неизбежный ее этап на пути к победоносному завершению. Всякие полемические задачи совершенно чужды поэтому этой книге. Но она не ставит себе целью и дать историю большевизма, охватывающую свыше 40 лет, из которых вот уже свыше четверти века он воплощен политически в диктаторской власти, преобразовавшей весь экономический, социальный и культурный облик России и сумевшей победоносно провести страну через самую ужасную из когда-либо испытанных человечеством войн и обеспечить за ней положение первоклассной мировой державы. Совершенно очевидно, что попытка сколько-нибудь детально проследить процесс развития и разветвления большевистской мысли за этот бурный и катастрофический период потребовала бы, по малой мере, двух-трех дополнительных томов и годов напряженной работы. И в заключительной главе я могу лишь в самых общих чертах наметить основные вехи этого развития, подвести ему итоги и наметить его перспективы в совершенно новой исторической обстановке, созданной и для Советского Союза, и для Европы, и для всего мира победоносным завершением войны против гитлеро-фашизма и его больших и малых спутников.

Самая же книга моя ставит себе значительно более ограниченную, но для поставленной задачи вполне достаточную цель — дать не историю большевизма, а историю его происхождения, его идеологического оформления в особое течение русской социалистической и демократической мысли. Процесс этого оформления закончился в революции 1905 года, и этой датой заканчивается и исследовательская часть моей книги, начальной датой которой служит освобождение крестьян, впервые сделавшее возможной «европейскую» постановку вопроса о политической демократии в России. Но первую, вступительную, часть книги мне пришлось посвятить сжатому обзору предшествовавшего этому освобождению периода зарождения идей современной демократии в России. В этот именно период были заложены основы всего дальнейшего развития русской политической и социальной мысли, и без его хотя бы краткой характеристики развитие это оставалось бы непонятным.

Ф. Дан
Нью-Йорк, США
Декабрь 1945 года

Часть I
ЗАРОЖДЕНИЕ ИДЕЙ ДЕМОКРАТИИ В РОССИИ

Глава 1. ПЕРВЫЕ РОСТКИ

1. Пионеры русской демократии

Демократия 19 века родилась на европейском континенте в бурях Великой французской революции[8], отметившей историческую смену феодально-абсолютистского «старого режима» новым, буржуазно-либеральным. Эта современная демократия отнюдь не во всех странах цивилизованного мира получила полное и последовательное осуществление. Но везде и всюду она утверждала себя, как демократия капиталистического общества — общества, построенного на принципах «свободного предприятия», права индивидуума свободно распоряжаться своею собственностью и свободной конкуренции между индивидуумами. Везде и всюду она была чисто политической по существу и парламентской по форме, и везде и всюду она была демократией либеральной — гарантировала равенство гражданских прав и юридических «шансов» индивидуумов, но игнорировала факт глубокого неравенства экономических и социальных возможностей их эти права и шансы использовать. Везде и всюду она была поэтому, по основной идее своей, демократией собственников: «право на жизнь имеет лишь тот, кто что-либо имеет» — язвительно выразил эту идею Генрих Гейне[9].

Соответственно этому, политическим и идеологическим центром притяжения для либеральной и индивидуалистической демократии 19 века была та же социальная сила, которая была двигателем капиталистического развития, — буржуазия, класс капиталистов. Этот класс господствовал над обществом не только экономически, но и идеологически. К его требованиям приспособлялись социальные силы прошлого: церковь, монархия, земельная аристократия. К его «социальным заказам» прислушивались ученые, писатели и художники. К нему тянулись и его влиянию подчинялись мелкобуржуазные массы городов и деревень. Из его идеологии исходил, в ее представлениях и понятиях долгое время формировал свою идеологию и его социальный антагонист, рожденный теми же условиями капиталистического

развития, — рабочий класс. Прошло немало десятилетий, прежде чем между идеологией пролетариата и идеологией буржуазии стал намечаться принципиальный разрыв, и сознание рабочих стало отливаться в особые, «классовые» идеологические формы; прежде чем пролетариат начал становиться, говоря словами Маркса, «не только классом в себе, но и классом для себя», не оппозиционным, а революционным классом капиталистического общества.

И в России зачатки идей современной демократии появляются вместе с началом внедрения новых, капиталистических форм хозяйства в старое крепостническое общество и сейчас же находят отклик в торгово-промышленной среде. Любопытно, что еще в 1821 году один из полицейских докладов императору Александру 1-му[10] о том, что в столице «много говорят о конституции», считает нужным подчеркнуть: «но особенно усердно среди купцов Гостиного Двора»* («Общественное движение в России», т. 1, стр. 57).

Известно, что родоначальниками русского «освободительного» движения считаются «декабристы»[11] — участники заговора, приведшего 14 декабря 1825 года к неудачной попытке военного пронунциаменто[12] против только что вступившего на престол Николая 1-го[13] и закончившегося повешением пяти из участников заговора (Бестужев-Рюмин[14], Каховский[15], Рылеев[16], Муравьев-Апостол[17], Пестель[18]) и длительными каторжными работами для всех остальных.

Ясной и единой программы, политической или социальной, это движение молодого офицерства, однако, не имело. В его идеологии диктаторски-якобинские настроения, крайним выразителем которых был Пестель, смешивались с весьма умеренными и консервативно-аристократическими мечтами об ограничении абсолютизма, не перестававшими еще со времен преемников Петра 1-го[19] бродить в русском дворянстве, которое, однако, — после почти векового опыта дворцовых переворотов и заговоров — слишком хорошо чувствовало безнадежность предприятия, чтобы оказать поддержку своей собственной молодежи.

Но некоторые элементы идей современной демократии были все же присущи движению декабристов. Зачатки этих идей были вынесены русским офицерством из антинаполеоновских походов в Европу и почти трехлетнего пребывания оккупационных войск во Франции,

* Гостиный Двор — один из районов Петербурга, отведенный исключительно под торговые заведения.

еще обвеянной духом так недавно пережитой ею революции. Но если эти зачатки могли дать ростки на русской почве, то потому, что к этому времени — и в значительной мере именно под влиянием участия России в европейских войнах и вызванного этим участием напряжения сил страны — начала «европеизироваться» экономическая и социальная почва самой России.

Старое патриархально-крепостническое и преимущественно натуральное хозяйство начинает разлагаться, и в него все больше вкрапливаются элементы хозяйства нового, денежного и капиталистического. Экономическая почва начинает уходить из-под ног старого господствующего класса — дворянства, и наряду с ним, а отчасти и оттесняя его, начинает появляться новый господствующий класс — буржуазия, рекрутирующаяся не только из старого купеческого сословия, но и из отдельных богатеющих и выкупающихся на волю крепостных крестьян. Правда, вначале этот процесс «оскудения» дворянства и социально-экономического подъема буржуазии ограничивается почти исключительно Москвою и прилегающим к ней центральным районом России. Но здесь, начавшись в 20-х годах XIX века, он к 30-м и 40-м уже так бросается в глаза и так меняет весь облик древней русской столицы, что его отмечают все сколько-нибудь вдумчивые наблюдатели.

Так, проезжая в 1833 году через Москву, Пушкин[20] отмечает в своих «Мыслях на дороге», что Москва «утратила свой блеск аристократический», но зато «процветает в других отношениях: промышленность, сильно покровительствуемая, в ней оживилась и развилась с необыкновенной силой». И поэт прибавляет: «Купечество богатеет и начинает селиться в палатах, покидаемых дворянством». То же самое, спустя 10 лет после Пушкина, отмечает известный немецкий путешественник, барон Гакстгаузен[21], «открывший», как известно, русскую крестьянскую общину. Он пишет: «если спрашиваете теперь, кому принадлежит этот дворец, — то получите ответ: «фабриканту такому-то» или «купцу такому-то», а раньше: «князю А. или Б.» (М. Туган-Барановский[22] «Русская фабрика в прошлом и настоящем», СПб., 1898, т. 1, стр. 278). Белинский[23] в середине 40-х гг. (статья «Петербург и Москва») тоже отмечает, что «Москва по преимуществу город купеческого сословия» и восклицает: «Сколько старинных вельможеских домов перешло теперь в собственность купечества!»

Утверждение Пушкина, что промышленности оказывалось «сильное покровительство», верно лишь с оговоркой. Сознание необходи-

мости развития промышленности для великой державы, какой стала Россия, умерялось сознанием опасности для самодержавия тех изменений, какие это развитие неизбежно должно было вносить в русский экономический и социальный уклад. Поэтому меры, имевшие целью ускорить развитие промышленности, перемежаются с мерами, имевшими целью, наоборот, замедлить это развитие и, в особенности, предотвратить признаваемое политически опасным скопление больших масс фабричного пролетариата в столицах и вокруг столиц. Министр народного просвещения Николая 1-го, граф С. С. Уваров[24], автор известного триединого лозунга «самодержавие, православие, народность», говорил, что «умрет спокойно», если ему удастся «задержать развитие России лет на пятьдесят» (А. Корнилов.[25] Курс истории России XIX века. Москва. 1912. Часть 2-ая, стр. 76). И это стремление «подморозить» (выражение К. Леонтьева[26], ближайшего сотрудника известного реакционного журналиста М. Н. Каткова[27]) экономическое развитие России, чтобы подморозить одновременно ее политическое и социальное развитие, остается в течение целого полувека основной политической идеей монархической реакции в России.

Но все же именно в царствование Николая 1-го, в 30-е и 40-е годы прошлого века, в русскую хозяйственную жизнь вошли прочно и окончательно элементы капитализма. И в эти же годы прочно и окончательно вошли в русскую политическую мысль идеи современной демократии. Их пионерами в России были те знаменитые, почти сплошь дворянские по своему составу, московские кружки писателей, профессоров и студентов, из которых вышел и самый яркий выразитель русской демократической мысли 40-х и 50-х годов прошлого века — Александр Иванович Герцен (1812–1870)[28].

2. Своеобразие русской демократической мысли

В параллелизме развития экономических форм, основанных на «свободном предприятии» и требовавших свободной инициативы индивидуумов и их свободной конкуренции, с развитием демократической мысли — сходство идейно-политической истории России с историей других стран капиталистической цивилизации. Но глубокое своеобразие русской демократической мысли в том, что с самого своего возникновения она ни на минуту не идеализировала капитализма и не тяготела к нему, а, наоборот, резко его критиковала. Зарождавшаяся

русская буржуазия не только ни в какой мере не стала героиней романа для зарождавшейся одновременно с нею русской демократии, но, наоборот, сейчас же стала для нее предметом отталкивания и вражды.

Еще в 1844 году Герцен характеризует в своем дневнике «меркантилизм и современную индустриальность» Западной Европы, как «сифилитический шанкр, заражающий кровь и кость общества». Можно было бы без конца цитировать высказывания его и его друзей против «мещанства», ставшего «окончательной формой западноевропейской цивилизации» и создавшего общество, в котором имеются лишь «с одной стороны — мещане-собственники, упорно отказывающиеся поступиться своими монополиями, с другой — неимущие мещане, которые хотят вырвать их достояние, но не имеют на это силы» (см. М. Туган-Барановский «Интеллигенция и социализм» в сборнике «Интеллигенция в России», СПб., 1910). И в тех спорах о роли буржуазии вообще и, в частности, об ее возможной роли в политическом развитии России, которые велись в 40-х годах и в самом начале 50-х среди бывших членов московских кружков, едва ли не один В. П. Боткин[29] договаривался до вывода: «дай Бог, чтобы у нас была буржуазия!» Преобладающим, почти всеобщим настроением было резко отрицательное отношение к буржуазии и к «меркантильному» духу капиталистической эпохи вообще.

Можно сказать, что с самого своего рождения русская демократическая мысль либеральной и чисто политической никогда не была. Политический протест против самодержавия с самого начала сплетался в ней с социальным протестом против принципов капиталистического хозяйства, которое шло на смену хозяйству патриархально-крепостническому, бывшему экономическим фундаментом старого режима. А критика капитализма приводила молодую русскую демократию на первых же этапах ее исторического пути к усвоению идей социализма — в той форме, какую эти идеи получили в то время в Западной Европе под непосредственным воздействием социальных противоречий, вскрывшихся под оболочкой общественного строя, в котором Французская революция мечтала увидеть воплощение «свободы, равенства и братства».

Теоретическое обоснование своих политических взглядов молодые русские демократы черпали главным образом в немецкой философия — у Фихте[30], Гегеля[31], Шеллинга[32], позднее Фейербаха[33]. В теоретическом обосновании их социализма лишь второстепенную роль

играло учение Роберта Оуэна[34]: главными учителями и пророками социализма стали для них великие французские утописты того времени — Кабэ[35], Пьер Леру[36] и, особенно, Фурье[37] и Сэн-Симон[38], к которым присоединился впоследствии Прудон[39]*. «Я благоговел перед величием гения Фурье» — показывал перед следственной комиссией М. В. Буташевич-Петрашевский[40], глава разгромленного в 1848 году общества так называемых «петрашевцев», в котором, наряду с другими будущими знаменитыми писателями (Салтыков-Щедрин[41], Плещеев[42], Майков[43], Григорьев[44] и другие), принимал участие и Ф. М. Достоевский[45], приговоренный за это к смертной казни, замененной в последнюю минуту каторжными работами.

Основные силы свои рождавшаяся русская демократия черпала, таким образом, в молодом поколении русского дворянства. И процесс ее идейно-политического формирования обрисован очень точно в тех строфах поэмы «Исповедь лишнего человека», в которых Н. П. Огарев[46], сам (как и Герцен) сын богатейшего помещика, говорит о трех юношах, т. е. на деле — о себе самом, о своем интимном друге Герцене и о третьем товарище их, Вадиме Пассеке[47]:

> «И тут втроем мы — дети декабристов
> И мира нового ученики,
> Ученики Фурье и Сэн-Симона -
> Мы поклялись, что посвятим всю жизнь
> Народу и его освобожденью,
> Основою положим социализм»...
> (См. П. Сакулин[48]. Русская литература и социализм. Ч. 1. Ранний русский социализм, Москва, 1924, стр. 167).

Усваивая идеи демократии, дворянская молодежь, разумеется, решительно порывала с крепостничеством, лежавшим в основе дворянского хозяйства, и с сословными притязаниями дворянства. «Барству, чиновничеству мы не хотим протянуть руки, да и они на нашего брата смотрят как на безумного» — заносит Герцен в свой дневник в июле 1842 года. И все же в отталкивании от капитализма, разлагавшего крепостное помещичье хозяйство, и от буржуазии, вытеснявшей старую аристократию из ее московских дворцов, несомненно, отражались и настроения того земельного дворянства, из рядов кото-

* Значительным влиянием пользовался Луи Блан. Большую роль в распространении социалистических идей играли также романы Жорж Санд и Эжена Сю.

рого молодые демократы вербовались и в традициях которого они воспитывались. Отталкиванием от капиталистической «меркантильности» и «мещанства» было проникнуто не только демократическое «западничество»[49], но, пожалуй, еще больше вышедшее из тех же московских кружков «славянофильство»[50] (Аксаковы[51], Киреевские[52], Хомяков[53] и др.), которое на ближайшие десятилетия стало самым ярким выражением политической идеологии дворянства, вынужденного переживать болезненный процесс приспособления своего хозяйства и своего быта к требованиям новой эпохи. Только в то время, как демократический антикапитализм «западников» становился в своем дальнейшем развитии все более социалистическим и революционным, развитие либерально-консервативного антикапитализма «славянофилов» шло в направлении все большей идеализации «самобытной», сословно-патриархальной русской старины, в направлении социальной и политической реакции.

Таким образом, дворянское происхождение пионеров русской демократии, несомненно, некоторую роль в ее изначальных антикапиталистических настроениях и идеях сыграло. Да и вообще печать социального происхождения еще в течение долгих лет так явственно лежала на выходцах из дворянства в демократическом движении, что известный демократический публицист второй половины 19 века Н. К. Михайловский[54] мог даже окрестить эту группу демократов названием «кающихся дворян», прочно вошедшим в русский политический словарь. И уже значительно позже, анализируя так наз[ываемый] «народнический» период демократического движения и характеризуя различные течения в нем, тот же Михайловский счел возможным выделить и особую «дворянскую форму народничества» (Н. К. Михайловский. «Литературные воспоминания и современная смута». См. об этом также в томе 7-ом собрания сочинений Д. Н. Овсянико-Куликовского[55], Москва, Госиздат).

Надо, однако, подчеркнуть, что роль «дворянских» мотивов в утверждении «антикапиталистического» характера русской демократии все же весьма ограничена. Конечно, дворянское происхождение пионеров русской демократии весьма облегчило им отталкивание от капитализма и буржуазии. Но это происхождение не может объяснить, почему их антикапитализм не принял форм консервативных и реакционных, а стал социалистическим и революционным. И уж совсем не может оно объяснить того факта, что, как мы еще увидим,

социалистический и революционный характер русской демократической мысли не ослабевал, а, наоборот, значительно усиливался по мере того, как руководящая роль в демократическом движении переходила от выходцев из дворянства к так называемым «разночинцам», т. е. образованным людям, выходившим из тех же самых социальных низов, из которых поднималась и русская буржуазия.

Действительных причин этого своеобразия русской демократической мысли надо искать в условиях того развития русского капитализма, на почве которого русская демократия родилась и развивалась. Основною же особенностью русского капиталистического развития была его историческая запоздалость.

Глава 2. РУССКАЯ БУРЖУАЗИЯ

1. Запоздалость русского капитализма

В Западной Европе капиталистическое хозяйство возникло и развивалось на экономической, социальной и культурной почве, подготовленной средневековьем. Россия — по особым условиям своего исторического развития, говорить о которых здесь, разумеется, не место, — не имела ни феодально-рыцарских традиций, ни традиций «вольных» самоуправляющихся городов и цехового ремесла[56]. В капиталистическую фазу развития она вступала как страна, в экономическом, социальном, политическом и культурном отношении сильно отставшая от других государств Западной Европы[57]. Даже рабство, в котором пребывала большая часть ее основного крестьянского населения, было ликвидировано в ней лишь в 1861 году, т. е. спустя почти три четверти века после начала Французской революции и почти полвека после окончания Наполеоновских войн[58]!

Освобождение крестьян от крепостной зависимости впервые создало в России зачатки тех правовых условий, вне которых сколько-нибудь широкое развитие капиталистических форм хозяйства вообще немыслимо. А между тем и самое проникновение этих форм в Россию, относящееся, как мы видели, к 30-м и 40-м годам XIX века, состоялось с большим историческим запозданием: капиталистическое хозяйство начало пробивать себе дорогу в Россию тогда, когда европейский капитализм и европейское капиталистическое общество успели уже проделать довольно длинный и сложный путь развития.

Последствия такой исторической запоздалости русского капитализма были весьма многообразны и со все возрастающей силой давали себя знать на всем дальнейшем развитии страны — вплоть до революции 1917 года, которая очень скоро приняла «большевистский» характер и поставила крест и на русском капитализме, и на русской либеральной демократии. Без понимания этих последствий нельзя понять судеб идей демократии и социализма в России. Необходимо поэтому теперь же, забегая вперед, суммировать в самых общих чертах наиболее существенные из них.

Начнем с экономики и социологии русского капитализма.

В Западную Европу капитализм не пришел в готовом виде, со стороны. Он был естественным продуктом ее собственного предшествующего развития и сам развивался «органически», постепенно преобразуя старую технику производства, старую экономику, старые социальные отношения и старую психику. И точно так же постепенно, сравнительно медленным процессом экспроприации одних самостоятельных мелких производителей и перевода с натурального хозяйства на денежное других, он создавал для себя и все возрастающий резервуар свободных «рабочих рук», и соответствующий «внутренний рынок».

В России это было иначе. Капиталистическая промышленность «насаждалась» здесь в готовом и притом для своего времени самом совершенном виде — как в смысле технического оборудования предприятий, так и в смысле их размера. В этом отношении процесс развития крупной капиталистической промышленности в России имеет некоторое сходство с процессом ее развития в колониальных и полуколониальных странах.

Это сходство сказалось и в той выдающейся роли, какую играли в «насаждении» капиталистической промышленности иностранцы. Прежде всего — иностранные организаторы и инженеры: говорящий ломаным русским языком директор-иностранец — англичанин, бельгиец, немец, реже француз — был заурядной фигурой даже на предприятиях, целиком основанных на русские деньги. Но огромную роль играл и иностранный капитал. Названия крупных фабрик и заводов, рудников и нефтяных промыслов пестрят иностранными именами. Даже знаменитая Юзовка (ныне Сталино), центр металлургии Донецкого бассейна, названа по имени англичанина Юза[59]. И еще в 1913 г., то есть к началу Первой мировой войны, из 5,25 миллиардов рублей вложенного в русскую промышленность капитала около трети было иностранным.

Другой характерной чертой такого развития были относительно весьма крупные размеры предприятий. К тому же в 1913 году не менее $^4/_5$ всех промышленных рабочих работало на предприятиях со 100 и более рабочих и почти половина из них на предприятиях-гигантах с 1000 и более рабочих.

Быстрое пополнение нужных для такого развития резервуаров «рабочих рук» достигалось, главным образом, ускоренной пауперизацией крестьянства, получившего при освобождении от крепостной зависимости недостаточные наделы и самими условиями освобождения поставленного в необходимость искать заработков на стороне для уплаты тяжелого выкупа помещикам и еще более тяжелых податей государству. Результатом такого положения было обнищание деревни, крайне низкий уровень ее сельскохозяйственной техники и ничтожная производительность ее труда, превращавшие всякий сколько-нибудь серьезный неурожай в массовый голод и крайне затруднявшие образование достаточно емкого внутреннего рынка. А между тем широкий внутренний рынок был особенно необходим именно русской промышленности потому, что запоздалое рождение ее сильно затрудняло ей выход на рынки внешние, захваченные и поделенные ее конкурентами. Идея расширения внутреннего рынка становится поэтому руководящей идеей экономической политики русской промышленной буржуазии, в частности — ее политики в центральном для России крестьянском вопросе.

Экономическая жизнь России характеризовалась, таким образом, резким контрастом, организованная по «последнему слову» науки и техники русская промышленность высилась как грандиозное, но в значительной мере на иностранный манер построенное здание на фундаменте крайней экономической, социальной и культурной отсталости страны, крайней нищеты и примитивного хозяйства ее основных, крестьянских масс. Как поется в известной «Дубинушке»[60] — «англичанин хитрец, чтобы работе помочь, изобрел за машиной машину», а русскому мужику для облегчения непосильного труда, по-прежнему, не оставалось ничего, кроме разудалой песни...

В столь своеобразных экономических условиях своеобразно складывались и социальные отношения.

С появлением в России крупной капиталистической промышленности появилась в ней и крупная буржуазия, по своему культурному уровню ни в чем не уступавшая своим старшим европейским собратьям. Вчерашние крепостные крестьяне и их сыновья становились

покровителями наук и искусств. Чудесные университетские клиники в Москве, построенные на средства, пожертвованные купечеством; знаменитая Московская галерея братьев Третьяковых[61], создавших исключительное по богатству и подбору собрание произведений русского искусства; Художественный театр[62], созданный сыном московского купца Алексеева (артистическое имя — К. Станиславский)[63] — вот немногие, но известные всему миру примеры культурной деятельности молодой русской буржуазии.

Но в политическом и культурном отношении эта «европеизированная» буржуазия оказалась с самого начала отделенной пропастью от широких городских и еще больше крестьянских масс, из которых она сама исторически только что вышла. Между нею и народными массами не было тех промежуточных слоев, которые в своей экономической, социальной и культурной градации создают в нормальном буржуазном обществе ряд последовательных и почти незаметных переходов от капиталистических верхов этого общества к его народным низам и обеспечивают, таким образом, его социально-идеологическую цельность. В России тонкий слой «современной» буржуазии европейского и американского типа был отделен пропастью не только от трудящихся масс, но и от основных крупных и мелких слоев своего собственного класса, в массе своей еще долго сохранявших тот «патриархальный» и некультурный облик, который тоже хорошо известен всему миру по комедиям Островского[64].

Наоборот, те же условия экономического развития запоздалого русского капитализма содействовали быстрому росту и формированию «современного» пролетариата и скоплению больших масс его в решающих экономических и политических центрах страны. Быстрый приток новых рабочих из мелких городов и деревень непрерывно приводил передовые слои пролетариата в соприкосновение с массами выходцев из мещанства и крестьянства и через них с глухой русской провинцией и деревней вообще, связей с которыми эти выходцы еще долго не теряли.

Это непрерывное разжижение русского пролетариата «свежими» в классовом смысле элементами вполне определенно сказалось на всем дальнейшем развитии русского социализма и дало себя знать и в ходе обеих русских революций — 1905 и 1917 года. Но пока что оно обеспечивало за передовыми слоями русского рабочего класса возможность влияния на самые отсталые провинции и деревни.

Нити взаимного понимания протягивались между русским пролетариатом и русским крестьянством тем легче, что деревня, обделенная землею при освобождении, не переставала мечтать о «черном переделе», т. е. об экспроприации в свою пользу помещичьих земель. Эти экспроприаторские тенденции гораздо больше, чем пережившие себя и уже существенно выродившиеся формы общинного землевладения, были причиной того, что «буржуазный» принцип «священности и неприкосновенности» частной собственности на средства производства, и особенно на землю с трудом входил в сознание русского крестьянина и после того, как он сам стал свободным частным хозяином.

Понятно, что со своей стороны пролетариат был той социальной силой, а социализм той политической идеологией, которые могли наиболее полно идти навстречу этим экспроприаторским стремлениям крестьянства. Так создались условия, в которых русское крестьянство с самого начала идейно-политически тяготело не к буржуазии и ее либерально-демократическим установкам, а к пролетариату и его революционно-социалистическим настроениям. И это обстоятельство, сыгравшее впоследствии решающую роль в ходе русской революции, наложило свою печать на все развитие политической жизни и демократической мысли в России.

2. Политическая слабость буржуазии

Последствием обрисованного выше положения была крайняя политическая слабость русской буржуазии. Конечно, оскудение дворянства и возрастающая экономическая и финансовая мощь буржуазии создавали временами не только у наблюдателей со стороны, но и у верхов самой буржуазии и у ее идеологов представление, что ей и в политической жизни страны предстоит сыграть такую же роль, какую родственные ей классы сыграли в передовых странах Западной Европы. «Героями и триумфаторами» казались поэту Некрасову[65] концессионеры и подрядчики в эпоху промышленного грюндерства и железнодорожного строительства, наступившую вскоре после освобождения крестьян. «Купец вдруг увидел себя решительно на одном из самых высших мест в обществе, на том самом, которое во всей Европе давно уже официально и искренне отведено миллиону», — писал, в свою очередь, Достоевский в своем «Дневнике писателя» за 1876 г. «Купечество все может» — приветствовала 20 лет спустя газета «Волгарь» Всероссийский

торгово-промышленный съезд 1896 года и состоявшийся одновременно прием царя купечеством Нижегородской ярмарки[66].

На самом деле, и в представлениях о «высшем месте», занимаемом буржуазией, и в ее собственных горделивых мечтах было немало аберрации и иллюзий.

Лишенная массовой опоры, русская либерально-демократическая буржуазия оказалась очень скоро зажатой в тиски между царизмом и быстро развивающимся рабочим движением. Уже в 1885 году, говоря о стачке текстильных рабочих на фабрике Морозовых в селе Никольском[67], сыгравшей в истории этого движения не малую роль, К. Скальковский[68], известный публицист и крупный чиновник, вынужден констатировать: «оказывается, что... революционная пропаганда коснулась уже у нас и фабричного сословия, а последнее формулирует буквально те же требования, что и рабочие в Западной Европе... Идея Маркса и Интернационала внедряется теперь в среду фабричных» (См. П. А. Берлин[69]. Русская буржуазия в старое и новое время. Москва, 1922).

До 1861 года царизм держал в узде все освободительные и политические движения дворянства крепостным правом. И после отмены крепостного права боязнь крестьянского восстания, нового «Пугачевского бунта»[70] и «черного передела»[71] долго парализовала политическую активность имущих классов. Но к этой крестьянской угрозе присоединилась теперь угроза рабочего движения, политически обезволивавшего именно буржуазию. Использование этой угрозы против либерально-демократических тенденций буржуазии входило в политику царизма.

Правда, события вскоре показали, что самодержавие играет тут с огнем, для него еще более опасным, чем для буржуазии: как известно, именно попытка, наряду с долго державшейся легендой о «крестьянском царе», создать легенду и о «царе рабочем» закончилась расстрелом рабочих масс, пришедших на площадь Зимнего Дворца с петицией к царю — тем «кровавым воскресеньем»[72] 9/22 января, которое навсегда покончило с этой легендой и положило начало революции 1905 г. Но все же политику запугивания буржуазии «красным призраком» царизм практиковал систематически. И само объективное положение русской буржуазии обеспечивало этой политике известный успех: русская буржуазия вынуждена была с самого начала идти к тому компромиссу с монархией и сословно-дворянскими пережитками прошлого, к какому буржуазия западноевропейская приходила лишь в результате долгих исторических испытаний.

Этот компромисс принял политическую форму, когда революция 1905 года впервые принесла России зачатки представительных учреждений. Выразителями настроений крупной буржуазии оказались в Государственной Думе[73] партии — сначала «мирного обновления»[74], потом «октябристов»[75] (от «конституционного» манифеста 17/30 октября 1905 года[76]), искавшие способов совместить законодательные функции Государственной Думы с сохранением царского самодержавия. Но до этого компромисс приводил на деле к отказу буржуазии от «чистой» политики вообще, к ее примирению с абсолютизмом и к попыткам оградить свои экономические интересы закулисными соглашениями с ним. Царская бюрократия охотно шла навстречу таким попыткам, и министерство финансов, с одной стороны, министерство торговли и промышленности, с другой, стали теми правительственными инстанциями, которые работали в тесном контакте с экономическими организациями крупных предпринимателей. С. Ю. Витте[77] был наиболее ярким и последовательным проводником этой идеи сближения самодержавия с крупной буржуазией на почве так называемой «практической» политики, и при нем особенно и расцвели иллюзии насчет «всемогущества» купечества.

Тем представителям буржуазии — и иногда то были наиболее состоятельные, независимые и просвещенные капиталисты России, — которые не удовлетворялись чисто материальными достижениями, возможными на этих путях соглашения с абсолютизмом, а жаждали политической свободы, хотя бы как предпосылки внутренней и внешней политики, отвечающей потребностям широкого капиталистического развития, — не оставалось ничего другого, как прислониться к борьбе социалистических партий. Ничего исключительного не представляет собой картина, которую рисует известный писатель С. Я. Елпатьевский[78] («Воспоминания за 50 лет», Ленинград, 1929), рассказывая о своем пребывании в Уфе в 70-х годах прошлого века: «уфимские купцы укрывали у себя террористов, которых разыскивали по всей России, и не мешали своим сыновьям и дочерям идти в революционное движение. Из детей этих купцов образовался впоследствии кружок революционеров-террористов, из этой среды вышел Созонов[79], Прокофьева и др.»*.

* Речь идет о видных деятелях партии социалистов-революционеров; Созонов убил в 1904 году В. К. Плеве, одного из наиболее реакционных министров внутренних дел.

Можно вообще сказать, что без широкой помощи, которую буржуазные круги оказывали социалистическим партиям — деньгами, квартирами для ночевок и конспиративных свиданий, адресами для писем и пр. — партии эти вообще никогда не могли бы создать той разветвленной нелегальной организации, той прессы, того транспорта людей и литературы, а временами и оружия из-за границы и той сети тайных типографий и тайных складов, в которых была их сила. Символично для русского политического развития, что в самые тяжелые для нелегального движения годы после революции 1905 года Ленин смог сохранить кадры подпольных организаторов (одним из виднейших из них был Сталин), так облегчившие большевистской партии завоевание власти в 1917 году, лишь благодаря щедрой денежной поддержке самого крупного из русских капиталистов, Саввы Морозова*[80].

Так, наряду с фигурой «кающегося дворянства» появилась в русском революционном движении и — недостаточно впрочем изученная — фигура того, что можно назвать «кающейся буржуазией».

3. Идеологическая несостоятельность

Результатом социальной и политической слабости буржуазии была отсрочка ликвидации самодержавия до той поры, когда достаточно окреп и превратился в самостоятельную силу рабочий класс. Результатом же этой отсрочки была, в свою очередь, крайняя напряженность всех экономических, социальных и политических противоречий, внесенных в старый режим капиталистическим развитием, но придавленных свинцовой крышею пережившего себя самодержавия, и отсюда — неизбежность революционных форм его ликвидации.

Но в условиях все яснее обозначавшейся революционной ситуации особенно очевидной делалась идеологическая несостоятельность русской буржуазии. Ее собственное положение, обрисованное выше, подрезывало крылья ее политической и социальной мысли. Но эта мысль не получала импульсов и извне. Ибо политическая мысль буржуазии передовых капиталистических стран давно перестала быть революционной.

* То был член той самой семьи Морозовых, на фабрике которых за какие-нибудь 20 лет до того произошла упомянутая выше стачка и которые добивались тогда расквартирования отряда казаков в окрестных селах для обуздания бунтующих рабочих; он покончил жизнь самоубийством в 1910 году.

Революционность буржуазно-демократической мысли была подорвана еще ходом и бонапартистским исходом Великой французской революции. Смертельный удар был нанесен ей революциями 1848 года, приведшими к «июньскому» кровавому разгрому рабочих и повторному бонапартистскому финалу во Франции, к капитуляции перед монархией и феодалами-аграриями в Германии и Австро-Венгрии. Революции эти сделали очевидным отмирание революционного потенциала самой буржуазии и неспособность ее руководить революционными движениями масс. Они доказали, что в ходе революционного кризиса массы, и особенно городские массы, выходят из-под влияния буржуазии и вступают с нею в конфликт, и что поэтому впредь всякая революция в передовых странах капитализма будет иметь тенденцию ломать рамки буржуазного строя и порождать социально-революционные массовые движения. После 1848 года европейская буржуазия теряет вкус к революциям и становится все более определенно контрреволюционной. Реформаторские настроения в прогрессивных слоях ее принимают все более консервативный характер.

Для русской буржуазии это революционное банкротство европейской буржуазии означало исчезновение последней возможности формировать либерально-демократическую идеологию[81], сколько-нибудь отвечающую тем грандиозным революционным задачам, которые история поставила перед страной. Самые выдающиеся представители либеральной мысли, сосредотачивающиеся в 80-х и 90-х годах в журнале «Вестник Европы»[82] (Стасюлевич[83], Арсеньев[84], Слонимский[85] и др.), всячески доказывают, что их либерализм «не буржуазен»; что «буржуазного либерализма» у нас вообще быть не может, «так как у нас нет буржуазии в западноевропейском значении этого слова»; что, с другой стороны, и никакого народного движения с либеральной программой в России быть не может, но что зато «либеральные идеи все более усваиваются передовой общественною силою нашего времени — «просвещенной бюрократией»: «либеральное реформаторское чиновничество» — вот та сила, на которую рассчитывают идеологи русского либерализма. «Дружный союз идущего на реформы правительства с инициативным и его поддерживающим обществом — вот решение задачи либерализмом», суммирует А. Н. Потресов свои выводы из изучения либеральной публицистики (статья «Эволюция общественно-политической мысли в предреволюционную эпоху» в 1-м томе сборника «Общественное движение в России», СПб., 1909–1914 гг. Под редакци-

ей Л. Мартова, П. Маслова, и А. Потресова). Как видим, это «решение задачи» точно отражает ту практику делового сотрудничества буржуазии с правительством, которая означала отказ ее от самостоятельной политики вообще и тем более от той революционной политики, которая навязывалась обстоятельствами.

Социалистическому радикализму русской демократии революционное банкротство европейской буржуазии, наоборот, дает новый и сильный толчок.

Именно после революций 48 года и под влиянием вскрытых ими классовых противоречий начинает развиваться в передовых странах Западной Европы массовое рабочее движение. Европейская социалистическая мысль покидает сферу мирных утопий и ставит перед собой задачу организации этого движения. Она становится классовой и революционной. На смену Фурье и Сэн-Симону, а затем Прудону, приходят Карл Маркс[86] и Фридрих Энгельс[87], на пороге революционных событий публикующие «Коммунистический Манифест»[88], еще и сейчас, спустя почти сто лет, остающийся евангелием революционного социализма. Идеи Маркса, в частности — резкая критика Прудона в его «Нищете философии»[89], становятся — через путешествующих за границей молодых помещиков — известными кое кому в России, и уже некоторые «Петрашевцы»[90] (Спешнев[91], Тимковский[92]), в отличие от главы общества, продолжающего «благоговеть перед Фурье», объявляют себя «коммунистами». Но и в дальнейшем, в течение 6–7 десятилетий, вплоть до мировой войны 1914 года, русская демократия, окрашенная, как мы видели, социалистически с самого рождения и поставленная перед революционными задачами, получает все новые импульсы и поддержку из Западной Европы, где социализм практически становится громадной политической силой, а теоретически единственной революционной Доктриной.

В результате всех отмеченных выше обстоятельств демократическая мысль в России могла развиваться лишь как социалистическая мысль. И если, как мы видели, для политической энергии сколько-нибудь радикально настроенных слоев буржуазии не оставалось иного выхода, как поддержка социалистических партий, то и на идеологическом фронте создалось парадоксальное положение, при котором и теоретически формировать свою политическую мысль эти слои могли лишь в социалистической оболочке. Русские демократы-социалисты оказались в роли политических учителей русской буржуазии. Если еще в 40-х годах прошлого века статьи Белинского[93] (о нем ниже) «читаются с жадностью»

сибирскими купцами (И. И. Панаев[94]. «Литературные воспоминания», Ленинград, 1928), то через 40 лет в провинции появляются и купцы, не только читающие радикальные журналы, но и «широко осведомленные в социал-демократическом движении Германии» (см. цитированные уже воспоминания Елпатьевского) и черпающие эту осведомленность, между прочим, из весьма известных в свое время берлинских корреспонденций Иоллоса[95], печатавшихся в либеральной (а не социалистической) московской газете «Русские ведомости»[96] и служивших, кстати сказать, главным «легальным» источником ознакомления с идеями и политикой германской социал-демократии и для русских социалистов.

Можно без преувеличения сказать, что монополистской демократической мысли и демократической публицистики в России стала радикально-социалистическая интеллигенция.

Глава 3. РУССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

1. Возникновение «интеллигенции»

«Интеллигенция» есть слово специфически русское, и точно выразить на иностранном языке обозначаемое им понятие можно лишь простой его транскрипцией. Английское intellectuals, французское intellectuels, немецкое Intellektuelle означают людей образованных, главным занятием или источником заработка которых является умственный труд. Русское слово «интеллигенция» обозначает не профессиональную группу населения, а особую социальную, объединенную известной политической солидарностью. В свои пределы группа эта вмещает довольно широкую гамму миросозерцаний, философий, взглядов и партий. Но общим для зачисляемых в нее образованных людей является их политический и социальный радикализм: самые ученые и образованные люди, всецело поглощенные умственным трудом, стоят вне этой группы, если они настроены консервативно или реакционно. На иностранных языках нет выражения, адекватного русскому слову «интеллигенция», потому что в иностранной жизни не было и нет обозначаемого этим словом социального явления.

Идеи, в том числе социальные и политические идеи, всегда и везде формулировались и распространялись образованными людьми, главный контингент которых, естественно, поставляли так наз[ываемые] «высшие» классы, имевшие наибольший досуг и наиболее свободный

доступ к образованию. Образованные люди оставались связанными с этими классами не только социально, но и духовно: они обобщали идеи своего класса, оформляли его идеалы, шли впереди его, но от него не отрывались, были идейным авангардам классовой армии. Они поглощали и идейно ассимилировали с господствующими классами и тех сравнительно немногочисленных выходцев из «низших» классов, которым удавалось получить образование.

В предреволюционные и революционные времена значительная часть образованных людей, в силу своего умственного развития особенно чутких к «знамениям времени», могла отрываться от своего класса, господству которого приближался исторический конец, — но лишь с тем, чтобы стать глашатаем идей и идеалов класса, возвышение которого подготовлялось историческими условиями, заранее прислониться к нему духовно и социально. В ходе подготовки и развития Великой французской революции, расчистившей путь идеям современной демократии в Европе, можно очень наглядно наблюдать смену дворянско-феодальных вех на буржуазно-либеральные образованными людьми того времени (Вольтер[97], энциклопедисты[98], Мирабо[99], аббат Сийе[100] и др.), предшествовавшую выдвижению новых кадров образованных людей из среды самой буржуазии.

И в России образованные люди сохраняли тесную, часто, можно сказать, исключительную связь с высшими классами, из которых большинство из них выходило в тот период русской культуры, который можно назвать дворянским. О величайшем гении русской поэзии 20-х и 30-х годов XIX века А. С. Пушкине великий русский критик В. Белинский мог с полным правом «сказать, что своим духовным взором Пушкин «везде видит русского помещика», что «он нападает в этом классе на все, что противоречит гуманности, но принцип класса для него вечная истина». И Пушкин, как и другой гениальный поэт той же эпохи, М. Ю. Лермонтов[101], принадлежали к числу тех, «для кого слово литератор было как будто обидное слово», и кто «хотел прослыть, прежде всего людьми светскими, только иногда удостаивающими заниматься литературой» (см. цитированные уже Воспоминания И. Панаева, стр. 144, 214, 484 и др.).

Положение совершенно меняется, когда вместе с кризисом крепостного хозяйства наступает и кризис дворянской культуры.

На смену крепостному хозяйству идет хозяйство капиталистическое. Но на смену дворянской культуре культура буржуазная

не приходит. В силу отмеченной выше политической и идеологической несостоятельности своей русская буржуазия не становится новым социальным и идейным центром притяжения для того образованного слоя дворянства, у которого из-под ног уходит старая экономическая и культурная почва. Наоборот, она сразу становится для этого слоя предметом отталкивания и вражды. Сравнительно немногочисленные представители умеренных, либерально-демократических взглядов в этом слое, как знаменитый романист И. С. Тургенев[102], Анненков[103], Боткин и др., либо ориентируются не на русскую, а на западноевропейскую буржуазию и у нее советуют «учиться», либо, как мы видели, тщательно отгораживаются от подозрения в «буржуазности». Большинство же, и в том числе самые талантливые и всему миру известные русские писатели, в той или иной форме — социалистической, анархически-бунтарской, анархически-религиозной или реакционно-мистической — ярко демонстрируют свое решительное «неприятие» буржуазного мира, буржуазной идеологии и буржуазной морали (Герцен, Бакунин[104], Лев Толстой[105], Ф. М. Достоевский и др.). В этом «неприятии», кстати сказать, и заключается один из существеннейших элементов так наз[ываемой] «славянской души».

Кружки дворянской молодежи, выступающие в роли пионеров русской демократии, кладут начало выделению русских образованных людей в особую социальную группу. Ибо, отталкиваясь от дворянского берега и не приставая к буржуазному, они не находят опоры и в народных, в огромном большинстве своем крестьянских и еще закрепощенных массах, «освобождению» которых клянутся «посвятить всю жизнь»; для этих масс, отделенных от них культурной пропастью, молодые дворяне-демократы остаются «барами». И вот почему, настаивая на полном разрыве с «барством и чиновничеством», Герцен, будущий издатель «Полярной звезды»[106] и «Колокола»[107], первых политических органов русской эмиграции, вынужден меланхолически прибавить: «а православный народ, если не в открытой войне с образованными людьми, то недоверчиво и загадочно молчит». Об этой социальной изоляции «образованных людей» он говорит как о «трагической стороне нашего существования» (Дневник, 11-е сентября 1842 г.), а в статье «Дилетантизм в науке» (1843) поясняет: «Мы живем на рубеже двух миров — оттого особая тягость, затруднительность жизни для мыслящих людей».

2. Приход «разночинца»

Ощущение «тягости» обособленного социального существования демократически настроенных образованных людей начинает смешиваться с горделивым сознанием ложащейся на них великой исторической комиссии», — когда в среду образованных людей начинают вливаться, а вскоре и занимать все более руководящее положение так называемые «разночинцы», т. е. дети не дворянских слоев народа: крестьян, мещан, купцов, людей либеральных профессий и в очень большой доле духовенства*. Процесс формирования «интеллигенции» быстро подвигается вперед.

Первым разночинцем, занявшим руководящее положение в рождающейся русской интеллигенции, был знаменитый литературный критик Виссарион Белинский (1811–1848), сын провинциального врача. И Г. В. Плеханов[108] («В. Г. Белинский». Сборник статей. М. П. 1923), вероятно, прав, когда предполагает, что несколько насмешливое прозвище «неистовый Виссарион» Белинский получил от своих дворянских друзей потому, что, будучи «едва ли не единственным разночинцем в своем кружке», относился к «проклятым вопросам» современности «далеко не так сдержанно, как просвещенные представители дворянства». И он, несомненно, прав, когда говорит, что «неистовство» Белинского было как бы прообразом того «неистовства» в социальных и политических вопросах, которое к концу 50-х годов провело глубокую борозду между «разночинским» ядром интеллигенции и дворянскими пионерами русской демократии, в том числе и самим Герценом.

Как сказано, Белинский был едва ли не первым и едва ли не единственным разночинцем в почти сплошь дворянском кружке. Идейно-политическая работа последних лет его недолгой жизни (он умер 37 лет от роду) заключается в значительной степени в борьбе за духовное освобождение разночинца от специфически дворянских традиций и влияний. Эта работа подготовила победу в русской демократической мысли тех политически и социально гораздо более радикальных, «разночинских» тенденций, глашатаями которых выступили

* Точный смысл слова «разночинцы» в разговорном языке — люди, благодаря своему образованию оторвавшиеся от своей среды — от разных не дворянских сословий. В Своде Законов этот термин употребляется в другом смысле — для обозначения некоторых категорий так назыв[аемых] «податных», т. е. обложенных личною податью сословий.

преемники Белинского — Н. Г. Чернышевский[109] (1828–1889) и Н. А. Добролюбов[110] (1836–1861), оба выходцы из духовного сословия. И эта победа «разночинства» отметила собой в то же время и окончательную консолидацию русской интеллигенции в особую социальную группу.

Решающим для этой консолидации был тот факт, что в очерченных выше своеобразных социальных и культурных условиях тогдашней России не только демократы-дворяне, но и демократы-разночинцы, не имея возможности прислониться к буржуазии, не могли в то же время опереться и на народные массы. «В народе есть потребность на картофель, но на конституцию ни малейшей; ее желают образованные городские сословия, которые ничего не могут сделать», писал Белинский своим друзьям после поездки по России в 1846 году. Не становясь «буржуазной», демократия разночинцев не могла стать и крестьянской. И еще того менее ее социализм мог стать пролетарским: русский рабочий класс находился еще в зародышевом состоянии.

Обреченный на десятилетия исторического одиночества, тонкий слой образованных русских людей, главным образом — молодежи, вынужден был на свои собственные плечи взвалить все бремя борьбы за политическую и культурную «европеизацию» России. Целые поколения самой талантливой, энергичной, мужественной русской интеллигентной молодежи сгорали в этой непосильной работе и к 25–30 годам сходили в могилу, гибли на эшафотах или оказывались «заживо погребенными» (заглавие брошюры, написанной в каторжной тюрьме Долгушиным[111], — о нем см. ниже) в каторжных тюрьмах, в казематах Петропавловской[112] и Шлиссельбургской[113] крепостей, в бескрайной глуши Сибирской тайги.

Таковы исторические обстоятельства, приведшие к возникновению «интеллигенции», как особой социальной группы, и тем самым наложившие печать на все дальнейшее развитие идей демократии и социализма в России. Ибо, в силу неизбежной инерции, тенденции этой обособленности сохранились и тогда, когда исторические условия, ее породившие, стали исчезать, когда выступление рабочего класса на политическую арену во второй половине 90-х годов дало возможность одной (марксистской, социал-демократической) части интеллигенции начать порывать свою связь с «интеллигенцией», как обособленной социальной группой, и социально прислоняться к пролетариату, и когда другой ее части (народнической) начал открываться путь к сближению с зарождающимся аграрно-революционным движением крестьянства.

Окончательное отмирание «интеллигенции», как специфической социальной группы, и превращение ее и в России в группу профессиональную произошло уже в условиях советского режима. Только в эмиграции доживают еще свой век, в виде некоего «духовного ордена», ее остатки — но значительно полинявшие в своем радикализме, примирившиеся с «буржуазной» социальной, политической и бытовой культурой, с «неприятия» которой началась русская «интеллигенция», и в общем «антибольшевизме» все теснее сливающиеся с теми — тоже выброшенными в эмиграцию — обломками консервативных и реакционных кругов русского общества, от которых ее некогда отделяла непроходимая пропасть[114].

3. Предтечи «народничества»

Революции 1848 года, прокатившиеся по Европе, остановились у границ России. Но влияние их на ход русской политической и идейной жизни было все же огромно.

Николай 1-ый был ими возмущен и напуган до такой степени, что на первых порах серьезно подумывал об объявлении войны всей революционной Европе. Отчасти он эти свои намерения и осуществил, послав русские войска в помощь австрийскому императору для подавления Венгерской революции. Его внутренняя политика стала еще более реакционной. Цензура, которой была подвергнута печать и, особенно, печать периодическая, стала совершенно невыносимой. Настоящий террор обрушился на все зачатки свободной философской, научной и, особенно, политической мысли. И если еще в конце 30-х годов царь не постеснялся объявить «сумасшедшим» талантливого П. Я. Чаадаева[115], развивавшего в своих «Философических письмах» пессимистические взгляды на судьбы России, то теперь Белинского только смерть (26-го мая 1848 г.) спасла от ареста, но самое имя его было запрещено упоминать в печати. Разгрому подверглись всякие частные общества и кружки. О каторжных приговорах «петрашевцам» было уже упомянуто. Жертвой жестокой расправы стал и знаменитый украинский поэт Тарас Шевченко[116], сданный бессрочно в солдаты за участие в так называемом Кирилло-Мефодиевском обществе*[117], кото-

---

* Святые Кирилл и Мефодий считаются просветителями славян и составителями славянской азбуки, т. н. «кириллицы».

рое было основано историком Н. Костомаровым[118] и в программе которого идеи панславизма[119] и федерализма сочетались с почерпнутыми у француза Ламеннэ идеями христианского социализма.

Полицейско-бюрократический гнет создавал такую удушливую атмосферу, что начавшаяся в 1853 году война с англо-французской коалицией[120] и, особенно, высадка союзников в Крыму были самыми широкими кругами общества встречены с надеждой на то, что победоносные удары коалиции расшатают казарменный режим Николая 1-го. Не радикалы и социалисты, а такие консервативно и патриотически настроенные люди, как известные славянофилы Александр Кошелев[121] и Иван Аксаков, оказались первыми русскими «пораженцами», и как свидетельствовал впоследствии в своих «Записках» (Берлин, 1884) Кошелев «общественное и даже народное настроение, хотя отчасти бессознательное, было в том же роде» (см. А. А. Корнилов. Общественное движение при Александре 2-ом. 1855–1881. Изд. «Освобождение», Париж, 1905).

И действительно, военные неудачи и смерть (или самоубийство) Николая 1-го (18 февраля 1855 г.), а затем падение Севастополя (27 августа 1855 г.) внесли известную трещину в режим и положили начало новому периоду оживления научной и политической мысли. Строгая цензура продолжала уродовать книги и журналы, заставляя писателей прибегать к иносказательному языку (получившему впоследствии ходячее название «эзоповского») и облекать политические статьи в форму литературной критики, но и некоторого ослабления цензуры оказалось достаточно, чтобы в осиротевшем после Белинского «Современнике»[122] стал все громче звучать голос его еще более радикально и социалистически настроенных преемников, Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова, ставших с 1858 года, вместе с знаменитым поэтом Н. А. Некрасовым, соредакторами журнала.

Влияние революции 48 года сказалось, однако, не только в радикализации русской демократической мысли. На русских демократов, встретивших эти революции с восторгом и большими надеждами, тем более сильное впечатление произвели и политические неудачи этих революций, и острота выявившихся в них социальных противоречий. Мысль, высказанная Герценом еще в 1843 году (Дневник, 18 июня), что «политические перевороты без социального сделались невозможны», была всем им не чужда. Но теперь тот же Герцен в статье, обращенной к французскому социологу Эдгару Кинэ и критикующей ход революции 48 года, заявил, что пути России и Западной Европы разошлись:

«мы пойдем не по одной дороге — вы пролетариатом к социализму, мы социализмом к свободе» («Колокол», № 210). Так впервые в России была высказана мысль, через 60 с лишним лет ставшая политическою мыслью большевистской революции: свобода необходима, но в России социализм должен предшествовать свободе.

Гораздо дальше пошел в этом направлении Чернышевский. Еще Белинский, говоря (в статье о «Парижских тайнах» Евгения Сю[123]) об июльской революции 1830 года во Франции, выражал сожаление, что рабочие вмешались в тяжбу буржуазии с королем: «В слепом и безумном самоотвержении народ не щадил себя, сражаясь за нарушение прав, которые нисколько не делали его счастливее и, следовательно, так же мало касались его, как и вопрос о здоровье китайского богдыхана». Теперь Чернышевский (1859 г.) провозгласил, что, пока существует экономическое неравенство, народные массы в свободе вообще не заинтересованы. Говоря о различии между «демократами» и «либералами», он пишет («Борьба партий во Франции при Людовике XVIII и Карле X»): «Демократы имеют в виду, по возможности, уничтожить преобладание высших классов над низшими в государственном устройстве, с одной стороны, уменьшить силу и богатство высших сословий, с другой — дать больше веса и благосостояния низшим сословиям. Каким путем изменить в этом смысле законы и поддержать новое устройство общества, для них почти все равно. Напротив того, либералы никак не согласятся предоставить перевес в обществе низшим сословиям, потому что эти сословия, по своей необразованности и материальной скудности, равнодушны к интересам, которые выше всего для либеральной партии, — к праву свободной речи и конституционному устройству. Для демократа наша Сибирь, в которой наше простонародье пользуется благосостоянием, гораздо выше Англии, в которой большинство народа терпит нужду». И «хотя свобода вещь очень приятная», но подлинный демократ «расположен производить реформы с помощью материальной силы и для реформ готов пожертвовать и свободой слова, и конституционными формами». И чтобы подчеркнуть, что речь идет отнюдь не об одной России, Чернышевский прибавляет: «Нет такой европейской страны, в которой огромное большинство народа не было бы совершенно равнодушно к правам, составляющим предмет желаний и хлопот либерализма».

Мы еще увидим, какую существенную роль сыграли мысли этого рода, впервые высказанные в русской литературе Чернышевским, в бакунистском (анархическом) крыле революционного движения 60-х и 70-х годов.

Но еще более существенную роль в этом движении сыграла другая мысль, тоже впервые отчетливо формулированная в эти годы — мысль о «самобытности» экономического, социального и политического развития России и о том значении, которое имеет с этой точки зрения сохранившееся от древних времен общинное землевладение, связанное с периодическими переделами земли в соответствии с изменением семейного положения членов общины*.

Барон Гакстгаузен, германский ученый, о путешествии которого в 1843 году в Россию мы уже упоминали, выпустил в начале 50-х годов книгу, в которой первый обратил внимание на русскую крестьянскую общину, как на явление социального порядка. Он пришел к утешительному с его консервативной точки зрения заключению, что революция (которую он мыслил только как социалистическую) в России невозможна, так как в ней нет пролетариата, а есть общинный строй, обеспечивающий каждому владение собственностью. Под влиянием разочарования революциями 48 года, не сумевшими разрешить «социальный вопрос», Герцен подхватил эти мысли Гакстгаузена, но не с тем, чтобы провозгласить русскую общину антитезой западноевропейскому социализму, а, наоборот, с тем, чтобы объявить ее тем фундаментом, на котором социализм может быть построен наиболее легко и без революционных потрясений: «Стоя в стану побитых, я указывал им на народ, носящий в быте своем больше условий к экономическому перевороту, чем окончательно сложившиеся западные народы. Я указывал на народ, у которого нет тех нравственных препятствий, о которые разбивается в Европе всякая новая общественная мысль, а, напротив, есть земля под ногами и вера, что она его» («Колокол», № 191). И еще в 1861 году он настаивает: «То, что на Западе может только совершиться рядом катастроф, потрясений, то может развиться в России на основании существующего» («Колокол», № 107).

После некоторых колебаний, Чернышевский в своей знаменитой статье «Критика философских предубеждений против общинного землевладения» встал по существу на такую же точку зрения, правда, с одним немаловажным дополнением. Подобно Герцену, и Чернышевский придавал огромное значение воздействию западноевропейского «опыта» на

---

* Существенной функцией крестьянской общины («мира») была разверстка подушной подати, за взнос которой правительство возлагало ответственность на общину в целом, предоставляя ей по своему усмотрению разверстывать эту подать между ее отдельными членами.

дальнейшее развитие России. Но для Герцена «опыт» сводился к сумме тех идей, которые вырабатываются на Западе, но там, в силу экономических и социальных условий, осуществлены быть не могут и, напротив, находят благоприятную почву в «общинном» укладе России. Для Чернышевского «опыт» — это реальная борьба народных масс Западной Европы за социализм, и лишь от успехов этой борьбы зависит, с его точки зрения, и возможность социалистической эволюции русской общины*. С этой точки зрения не меньшее значение придавал он и производительным «ассоциациям», пропаганде которых посвящен, между прочим, его роман «Что делать?» Да и самою общину он ценил, по замечанию Г. В. Плеханова («Н. Г. Чернышевский». С.-Петербург, 1910, стр. 305), прежде всего, как «учреждение, воспитывающее дух ассоциации».

Такой подход делал, разумеется, возможной дальнейшую эволюцию взглядов на общину, и следы такой эволюции мы еще увидим в той недолгой деятельности, которая суждена была Чернышевскому после того, как манифест 19 февраля 1861 года возвестил освобождение крестьян. Но о возможной эволюции взглядов редакторов «Современника» можно только гадать: 17 ноября 1861 года сошел в могилу, 25 лет от роду, Добролюбов, а через полгода арест, 14 лет каторжной тюрьмы и последующая изоляция в одном из самых глухих углов Сибири прервали почти на четверть века публицистическую работу 34-летнего Чернышевского. Во всяком случае, во второй половине 50-х годов положительное отношение к общине играло такую решающую роль в их взглядах, что на этой почве у них (как, впрочем, и у Герцена) явились точки соприкосновения с консервативным славянофильством — как раз тогда, когда «западничество» стало все больше отталкивать их своим «либерализмом». Их работа закладывала краеугольный камень «народнической» идеологии последующих десятилетий: убеждение в возможности для России «перескочить»

---

* Как видим, Чернышевский был первым глашатаем идей социалистического интернационализма в России. В 1861 году, когда, исходя из этих идей, Чернышевский весьма скептически оценивал возможности социалистического развития русской общины, он решительно возражал (статья «О причинах падения Рима») против мнения Герцена о «дряхлости западных народов». По его мнению, «они еще только начинают жить», ибо народные низы «только приближаются к полю исторического действия». И если у нас «от патриархальных (диких) времен» сохранился «один принцип, несколько соответствующий одному из условий быта, к которому стремятся передовые народы, то ведь Западная Европа идет к осуществлению этого принципа совершенно независимо от нас».

через капиталистический этап развития прямо к социализму и в том, что эта возможность заложена именно в крестьянской общине.

4. Канун освобождения

Специфически русская идеология «народничества» зарождалась, таким образом, как прямая реакция русской демократической мысли на иссякание политических и социальных творческих сил западноевропейского общества, так ярко обнаружившееся в революциях 48 года. В своих тенденциях эта реакция оказалась однородной у Герцена, самого выдающегося из дворянских пионеров русской демократии, и у таких неоспоримых вождей демократов-разночинцев, как Чернышевский и Добролюбов: последние как будто лишь доводили до «логического конца» мысли, высказанные первым. Когда же со вступлением на престол Александра 2-го[124] начались подготовительные работы по освобождению крестьян, однородной оказалась и их практическая программа.

В своем дневнике Чернышевский уже в 1848 году заявлял себя «партизаном социалистов и коммунистов и крайних республиканцев» и еще в 1853 году, собираясь жениться, счел долгом предупредить свою невесту, что «в России скоро будет бунт» и что он сам «будет непременно участвовать в нем»: его «не испугают ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня», не остановят ни тюрьма, ни каторга, ни смерть. Это революционное настроение, созревшее в самые мрачные годы Николаевского режима, не покидало Чернышевского до конца жизни. Но со смертью Николая стал как будто отмирать и его режим. Крестьянский вопрос был поставлен в порядок дня. А с той точки зрения, на которой стояли теперь одинаково и Герцен, и Чернышевский, все политические проблемы отступали совершенно на задний план перед этим центральным вопросом, разрешением которого будет предопределено дальнейшее социальное развитие страны. Надо лишь, как можно скорее, двинуть крестьянский вопрос вперед. И программа, намеченная Чернышевским в 1856 году («Современник», № 6), поражает не только крайней скромностью, но и полным совпадением с той программой, которую Герцен формулировал в 1855 году (в открытом письме к Александру 2-му. «Полярная Звезда», № 1) в трех пунктах: «освобождение крестьян от помещиков, освобождение податных сословий от побоев и освобождение печати от цензуры». Но совпадали и пути, которыми имелось в виду их осуществить.

Теперь, когда крестьянство было охвачено ожиданием «воли», обещанной царем, на близкий «бунт» рассчитывать не приходилось. В то же время было очевидно, что в народных массах нет тех сил, на которые можно было бы опереться для организованной борьбы за реформу и против помещиков, и против правительства. Буржуазии, способной возглавить революционное движение, в России не было. Лишенная народной опоры, бессильна была и молодая русская «интеллигенция». В данных исторических условиях единственной силой, которая могла провести и в своих собственных интересах должна была провести реформу («лучше нам дать сверху, чем ждать, пока возьмут снизу», сказал Александр 2-ой), была царская власть. Бороться за эту власть; сделать ее союзницей народа против высших классов и социально сливавшейся с ними высшей бюрократии («тридцать тысяч полицмейстеров» — называл помещиков Николай 1-ый); превратить русское самодержавие в своего рода «социальную монархию» — к этой мысли пришел Герцен. Но к ней же пришел и Чернышевский: равнодушие «демократа» к «конституционным формам» и к средствам осуществления «реформы» помогли ему занять эту позицию. «Ты победил, Галилеянин!» — приветствовал Герцен молодого царя. «Одно только нужно: да идет наша держава по пути экономических улучшений, и да совершит Александр 2-ой дело, начатое Александром 1-ым и Николаем»* — вторил ему Чернышевский. «"Благословение", обещанное миротворцем кротким, увенчивает Александра 2-го счастьем, каким не был еще увенчан никакой из государей Европы».

Но, при всем видимом единомыслии, на деле между взглядами Герцена, с одной стороны, разночинского крыла интеллигенции, с другой, уже в это время наметилась трещина, в дальнейшем все более расширявшаяся.

Надежды Герцена на царскую власть были надеждами на возможность безболезненно пережить критическое время и создать условия, при которых возможно будет столь же безболезненное и постепенное преобразование всей экономической и социальной жизни страны. Конечно, политические вопросы и для Герцена имели в это время второстепенное значение по сравнению с вопросами социальными. Но в его представлении политический прогресс должен был совершаться парал-

* Секретные комитеты по крестьянскому делу не раз созывались в оба эти царствования.

лельно с прогрессом социальным. Он очень ценил поэтому те либеральные элементы дворянства, которые не отказывались, конечно, от защиты своих материальных интересов, но примирялись с ликвидацией крепостничества и даже шли ей навстречу, и в позиции которых видное место занимало стремление к «конституционным формам». В сотрудничестве и компромиссе с этими элементами Герцен видел наилучший путь к созданию условий, при которых станет возможна проповедь социалистической «идеи», а сама идея эта будет восприниматься все более широкими массами, подготовленными к ее усвоению своим общинным бытом. «Социальная монархия», о которой мечтал Герцен, рисовалась ему, как просвещенный и благожелательный режим, постепенно ведущий народ к социальному прогрессу, а вместе с тем и к политической свободе.

Совершенно иначе рисовалась «социальная монархия» Чернышевскому и Добролюбову. В их представлении то была монархия «якобинская», быть может, — деспотическая, но беспощадно ломающая сопротивление имущих классов тому радикальному социальному переустройству, лишь первым шагом которого должно было быть освобождение крестьян. Герценовский лозунг: «социализмом к свободе» они понимали совершенно иначе, чем его автор. Для Герцена формулированная им в письме к царю скромная трехчленная программа была выражением его действительного стремления к постепенному преобразованию русской жизни, без потрясений и катастроф. Для Чернышевского и Добролюбова та же программа была вряд ли чем либо иным, кроме начального этапа пути, лишь через потрясения и катастрофы ведущего к социализму и лишь через осуществленный социализм к свободе.

В дальнейшем ходе ликвидации крепостного права обе эти концепции — «либеральная» Герцена и «демократическая» Чернышевского-Добролюбова — оказались иллюзорными. Но пока что именно отношение к либеральному дворянству стало водоразделом между ними. «Демократы» именно в «либерализме» видели «врага № 1», который стремится сделать царскую власть союзником имущих, лишить все дело крестьянского освобождения социалистического характера и неумеренным восхвалением всех видов политического прогресса отвлечь внимание общества от бесконечно более важных социальных задач. На обличение этого врага были заострены публицистические статьи редакторов «Современника». Его со всем блеском своего таланта осмеивал, в прозе и стихах (под псевдонимом Конрада

Лилиеншвагера), Добролюбов в «Свистке»[125], сатирическом приложении к журналу. Именно это отношение к «либерализму» повело к уходу из «Современника» тех писателей из дворянской среды, которые стали со времен Белинского главными сотрудниками его художественного отдела: Тургенева, Григоровича[126], Гончарова[127] и других и к замене их плеядой талантливой разночинской молодежи (Николай Успенский[128], Наумов[129], Левитов[130], Помяловский[131], Решетников[132] и др.), произведения которой дышали социальным радикализмом и свидетельствовали о таком знакомстве с бытом и чаяниями народных низов, которое писателям-дворянам было совершенно недоступно. И на той же почве отношения к дворянскому «либерализму» произошел в 1859–60 годах и окончательный разрыв Герцена с редакторами «Современника».

Так в борьбе общественных сил, которая велась вокруг подготовлявшейся реформы, складывались и размежевывались идейные течения, свое окончательное оформление и практическое применение получившие лишь в два последующих десятилетия. Но в ходе той же борьбы происходил и процесс консолидации «интеллигенции» в особую социальную группу, имеющую свои особые задачи, отличные от задач всех других групп общества. Сам собой вставал, таким образом, и еще один вопрос, получивший первостепенное значение в те же десятилетия, — вопрос о месте самой «интеллигенции» в процессе общественного развития, вопрос о роли «мыслящей личности» (Добролюбов).

Этому вопросу много внимания уделял Добролюбов. В статье «Когда же придет настоящий день?», посвященной роману Тургенева «Накануне» и послужившей непосредственным поводом разрыва Тургенева с «Современником», он критически оценивает тот факт, что единственным человеком, у которого слово не расходится с делом, является в романе не русский, а болгарский революционер Инсаров, и пророчит, что люди не слов, а дела появятся скоро и в России: «Канун недалек от следующего за ним дня: всего то какая-нибудь ночь разделяет их!» — кончает Добролюбов свою статью.

Предвидение не обмануло Добролюбова: «настоящий день», когда русская интеллигенция начала выделять «людей дела», уже стучался в двери истории. Ему открыл эти двери Манифест 19 февраля 1861 года об освобождении крестьян от крепостной зависимости.

Часть II. РЕВОЛЮЦИОННОЕ НАРОДНИЧЕСТВО

Глава 4. РЕФОРМА И РУССКОЕ ОБЩЕСТВО

1. Крестьянство и дворянство

Освобождать крестьян с землею или без земли? При подготовке реформы этот вопрос казался центральным в спорах между «сторонниками прогресса» и «крепостниками». Он был решен в «прогрессивном» смысле: при освобождении крестьяне получили земельные наделы. И все же Положение 19 февраля 1861 года не только, как увидим, глубоко разочаровало русских демократов, но совершенно обмануло надежды, которые само крестьянство связывало с обещанной «волей».

В ходе развития земельных отношений в России у крестьянских масс сложилось прочное убеждение, что вся земля принадлежит им и находится во владении помещиков лишь постольку, поскольку личность крестьянина была закреплена им вместе с землей, как вознаграждение за службу государству. «Мы ваши, а земля наша» — такова была в представлении крестьян формула крепостного права. Поэтому крепостные отношения потеряли в глазах народных масс всякое оправдание с тех пор, как указ Екатерины 2-й о вольности дворянства (1785 г.)[133] освободил помещиков от обязательной государственной службы. И поэтому же они были убеждены, что при ликвидации крепостного права вся земля вернется во владение крестьянства.

На деле и значительная часть той земли, которой крестьяне фактически пользовались при крепостном праве, была отрезана в пользу помещиков («отрезки»). Отведенные ему наделы освобожденное крестьянство должно было оплатить по непомерно высокой цене, и «выкупные платежи» стали ежегодным добавлением к тяжелой «подушной» подати государству, которое выдавало помещикам всю выкупную сумму сразу в виде облигаций, так называемых «выкупных свидетельств». В течение 8 лет крестьяне должны были нести известные повинности в пользу помещика — оставались «временнообязанными». И наконец, все дело землеустройства со всеми связанными с ним вопросами о характере угодий, качестве земли, местоположении отводимых крестьянам наделов и т. п. было передано в руки так наз[ываемых] «мировых посредников» из дворян. Поставить освобождаемое крестьянс-

тво в такие хозяйственные условия, при которых и помещичье землевладение, и промышленность были бы во всяком случае обеспечены дешевыми рабочими руками, — такова была основная экономическая мысль реформы. «На место цепей крепостных люди придумали много других» — характеризовал эту мысль Некрасов.

Понятно, почему в ряде мест крестьяне противодействовали проведению в жизнь Положения 19 февраля, отказывались принимать предлагаемые мировыми посредниками «уставные грамоты» и т. д. В народных массах было распространено убеждение, что помещики и чиновники скрывают от народа «настоящую» волю, объявленную царем, и хотят подменить ее своей, «господской» волей. Волнение, охватившее широкие массы крестьянства, вылилось в некоторых приволжских губерниях в настоящее восстание, кроваво подавленное расстрелом крестьянской толпы в селе Бездна Казанской губернии (12 апреля 1861)[134].

Суровыми репрессиями распространение беспорядков было остановлено, сопротивление крестьян Положению 19 февраля сломлено. Но легенда о «крестьянском царе» с ожиданием «золотой грамоты», которая объявит наконец, наперекор «господам», желанную «настоящую» волю, еще долго жила в крестьянстве. Ею умело пользовалось и само царское правительство — как для того, чтобы бороться со всякими притязаниями дворянства на ограничение бюрократического всевластия, так еще больше для того, чтобы дискредитировать в глазах крестьянства революционеров-социалистов, как «господских» агентов*. Смертельный удар этой легенде был нанесен самим царем, когда Александр III[135] обратился к съехавшимся со всех концов страны в Москву на коронацию (1883 г.) представителям крестьянства с повелением «слушаться предводителей дворянства»! и этими словами возвестил начало политики, в тяжбе между крестьянством и дворянством открыто вставшей на сторону дворянства и даже передавшей в руки его представителей (так наз[ываемых] «земских начальников») административно-юридическую власть над деревней.

Однако этот этап в развитии пореформенных отношений между дворянством и самодержавием был еще впереди. Самое же реформу

* В 1876–77 году этой же легендой не без временного успеха воспользовались для организации крестьянского движения в Чигиринском уезде Киевской губернии и революционеры (Лев Дейч, Яков Стефанович и другие).

дворянство встретило со смешанными чувствами, и в его реакции на нее можно отметить три основных течения: реакционно-аристократическое, консервативно-сословное и либеральное.

Реакционно-аристократическое течение заявило о себе еще в ходе обсуждения крестьянской реформы известной «Запиской», поданной правительству М. А. Безобразовым[136]. Записка требовала «обуздания» бюрократии и созыва выборных от дворянства, в согласии с которыми и должна действовать государственная власть. После проведения реформы главным органом этого течения стала газета «Весть», основанная в 1863 году Скарятиным. В его духе был в 1865 году составлен М. Катковым и принятый московским дворянством адрес царю об «увенчании здания реформ» дворянским выборным учреждением.

Идеи сохранения «исконных» русских начал и сословного строя, но с созывом всесословного совещательного «Земского Собора» («царю сила власти, земле сила мнения») отстаивало славянофильское крыло русского дворянства, впоследствии дополнившее эти идеи требованием активной «панславистской» внешней политики. Органом славянофилов был основанный в 1856 году журнал «Русская беседа»[137], с особым приложением «Сельское благоустройство»[138], посвященным специально крестьянскому вопросу. Начатая в 1859 году Иваном Аксаковым газета «Парус» была закрыта на втором же номере. И впоследствии славянофилы временами подвергались репрессиям за борьбу против «бюрократии», в которой они видели вредное «средостение» между царем и народом*.

Либеральное направление было представлено в предреформенные годы выходившим в Петербурге журналом «Отечественные записки»[139] (издатель Краевский[140], редактор Дудышкин[141]). Но главным органом дворянского либерализма был в эти годы московский журнал «Русский вестник»[142]. Его редактором был в это время тот самый М. Катков, былой участник радикальных московских кружков, который, как мы видели, к 1865 году превратился уже в выразителя мнений дворянско-аристократической оппозиции бюрократии, а вскоре, в качестве редактора газеты «Московские ведомости»[143], стал

* Консерватизм «западнического» оттенка, в духе английского конституционного торизма, был представлен журналом «Библиотека для чтения» под редакцией Дружинина. Но консерватизм этого типа большого распространения не имел.

сам (вместе с К. Леонтьевым) глашатаем самой крайней бюрократической реакции.

После реформы роль чемпиона либерализма перешла скоро к «Вестнику Европы», основанному в 1866 году, но лишь с 1868 превратившемуся в ежемесячный журнал под редакцией М. Стасюлевича. Выше была уже отмечена та идейная эволюция русского либерализма, которая нашла выражение в публицистике «Вестника Европы». С 1871 года стала выходить в Петербурге ежедневная либеральная газета «Голос»[144], издателем которой был упомянутый уже издатель «Отечественных записок» Краевский. Но руководящим либерально-демократическим органом сделалась с средины 70-х годов «профессорская» московская газета «Русские ведомости»[145] (проф. А. Чупров[146] и А. Посников[147]). Для всех этих оттенков русского пореформенного либерализма характерна отмеченная А. Потресовым (цитированная статья) дворянско-земская, а не буржуазно-капиталистическая окраска, с программой «поддержки мелкого производителя, общинника-крестьянина и кустаря» и с возрастающей примесью идей народнического характера.

Наиболее ярким политическим откликом дворянского либерализма на реформу был адрес царю, принятый в 1862 году дворянством Тверской губернии. Адрес высказывался за немедленную ликвидацию «обязательных отношений крестьян к помещикам» и «искусственного разделения сословий» и за одинаковость налогового обложения для всех и просил о созыве «Земского Собрания». Ответом правительства были административные кары по отношению к составителям адреса с губернским предводителем дворянства Унковским[148] во главе.

2. Революционизирование интеллигенции

По мере подготовки реформы становилось все яснее, как мало будет она отвечать тем надеждам, которые вначале возлагала на нее демократическая часть русского общества. Все более критическим становилось поэтому и отношение к ней как тех более умеренных групп интеллигенции, которые тяготели к «Колоколу», так и тех более крайних, глашатаем которых был «Современник». Когда же стали известны действительные условия крестьянского освобождения, «Колокол» (№ 101 от 15 июля 1861 г.) выразил глубочайшее

разочарование всех слоев русской демократии, констатируя «с горечью в сердце и глубокой печалью», что в сущности «старое крепостное право заменено новым». И в то же время тот, подчас весьма бурный, протест, которым встретило реформу крестьянство, дал основание для возрождения представления о близости народного «бунта», которое совсем было поблекло за предшествующие годы.

Реакция демократической интеллигенции на создавшееся положение не была ни однородной, ни прямолинейной. Прошло некоторое время, прежде чем, после неизбежного смятения и колебаний, определились те основные течения, которые, осложняя уже ранее наметившееся расхождение между «либералами» и «демократами», отразили всю противоречивость положения русской демократии перед лицом задач, поставленных перед нею новым этапом русской истории. И эти течения положили начало тому развитию политической мысли и политической борьбы, которым были заполнены бурные шестидесятые и семидесятые годы.

«Колокол» реагировал на реформу (статья Огарева в № 134 от 22 мая 1862 г.) советом крестьянам «уставных грамот не подписывать», т. е. саботировать фактическое проведение реформы, и добиваться, чтобы «царь был земский, с земством согласный и земством избранный»*. Таким образом, ответом Герцена на неудовлетворительность реформы с социальной точки зрения было возвращение к «политике». Но политика эта была ничем иным, как продолжением — в новых условиях — той апелляции к «социальному» царю, к которой Герцен пришел еще в те годы, когда велась борьба за реформу.

Правда, тогда эта апелляция оказалась необходимой ввиду отсутствия в русском обществе и в самом крестьянстве тех сил, на которые можно было бы опереться в борьбе за социалистический характер подготовлявшейся реформы. Теперь крестьянские волнения говорили как будто о том, что такого рода силы нарастают в народных массах. Но Герцен отнюдь еще не считал борьбу за «социального» царя проигранной. Назревающий конфликт представлялся ему не конфликтом крестьянства с царской властью, вставшей на сторону дворянства, а конфликтом между крестьянством и дворянством, в котором царю еще предстоит сказать решающее слово.

* Слова «земство» и «земский» употреблены здесь в старорусском смысле представительства местного населения.

«Столкновение неминуемо», — пишет он 15 августа 1862 года, — «До сих пор не видим, чтобы народ готов был уступить землю, или дворянство — дешево отдать ее. Оба обращаются к общему посреднику — правительству». На царскую власть народ смотрит как на своего рода «социальную республику, накрытую мономаховой шапкой»*. Если царская власть пойдет навстречу социальным требованиям народа, никто не сможет ей сопротивляться, и пересмотр Положения 19 февраля в духе интересов крестьянства и его социалистических тенденций будет проведен мирно. Между тем, говорит Герцен в той же статье, написанной в ответ на упреки «Молодой России»[149] (см. ниже), что он потерял веру в революцию, — «не веру в насильственные перевороты мы потеряли, а любовь к ним». И он настаивает, что, если революция окажется неизбежной, — ничего не поделаешь, к ней надо будет примкнуть. Но надо сделать все, чтобы она стала ненужной: «Придет роковой день, встаньте грудью, лягте костьми, но не зовите его, как желанный день. Если солнце взойдет без кровавых туч, тем лучше, а будет ли оно в мономаховой шапке или в фригийской — все равно».

Как сейчас увидим, реакция «демократов» интеллигенции или, по крайней мере, весьма значительной и влиятельной части их на разочарование реформой кажется на первый взгляд весьма сходной с реакцией «либерала» Герцена. Но это тождество — такая же абберация, какую нам уже пришлось констатировать выше и еще придется констатировать в дальнейшем: за формальной одинаковостью «лозунгов» скрывается все нарастающее на деле различие тенденций в отношении к социально-политической действительности. Тенденциям реформистского «постепенновства» начинают все более определенно противопоставлять себя тенденции революционного радикализма.

Революционный характер ответа на 19 февраля даже тех «демократов», реакция которых признавалась в то время наиболее «умеренной», сказался и в чисто внешнем факте: в возникновении «нелегальной», т. е. тайно печатаемой и тайно распространяемой литературы. В июле 1861 года, через каких-нибудь пять месяцев после объявления реформы, в Петербурге и Москве был разбросан листок «Великорусс»[150], № 1, являющийся, насколько известно, первым «нелегальным» печат-

---

* «Шапка Мономаха» — великого князя Св. Владимира (980–1015 гг.), при котором состоялось крещение Руси. Ею короновались русские цари.

ным произведением 60-х годов (см. М. Лемке, «Очерки освободительного движения шестидесятых годов». СПб., 1908). Но не менее ясно говорит о революционизировании демократической интеллигенции и содержание «нелегальных» первенцев русской политической литературы. И как раз три листка, выпущенные «Великоруссом», представляют в этом отношении особый интерес, так как есть основание думать, что в составлении их, наряду с некоторыми другими сотрудниками «Современника» (Николай Серно-Соловьевич[151] и др.), принимал участие и Чернышевский.

Первый листок начинается указанием на крестьянские волнения и обвиняет правительство в том, что, игнорируя требования крестьянства, «оно ведет Россию к Пугачевщине»*. Он обращается к «образованным классам» с призывом «взять в свои руки ведение дела из рук неспособного правительства», чтобы «устранить произвольное управление» и «заменить его законностью». Если же «образованные классы почтут себя бессильными», — «патриоты вынуждены будут призвать народ на дело, от которого отказались бы образованные классы».

Второй листок, выпущенный в начале сентября того же 1861 года, продолжает линию, намеченную в первом. Требуя отмены выкупа за отведенные крестьянам наделы, он указывает, что в крестьянстве борются две партии — «крайняя», требующая всей помещичьей земли, и «умеренная», согласная удовлетвориться той землей, которая находилась в пользовании крестьян при крепостном праве (т. е. требующая лишь возвращения «отрезков»). Листок советует, пока не поздно, поддержать «умеренную» партию, но прибавляет, что, если и весна обманет ожидание крестьян, то крестьянское восстание, а вместе с тем и торжество «крайней» партии будут неизбежны. Поэтому «образованным людям» следует торопиться, причем листок настаивает, что «требовать надо не октроирования конституции[152], а созвания депутатов для свободного ее составления» — первая в истории русского революционного движения формулировка того требования «Учредительного Собрания», которое в 900-е годы играло такую центральную роль в лозунгах этого движения.

И, наконец, в третьем и последнем листке, вышедшем через две недели после второго, делается дальнейший шаг в том же направлении:

* Емельян Пугачев — вождь крестьянского восстания, охватившего в 1773–75 гг. Приволжский район.

«"образованным классам" предлагается испытать мирные средства» подать царю адрес. Проект адреса, «написанного в самом умеренном духе, чтобы все либеральные люди могли подписать его», был приложен к листку и кончался таким обращением к царю: «Благоволите, государь, созвать в одной из столиц нашей русской родины представителей русской нации, чтобы составить конституцию для России».

Поворот к «политике», обращение к «либералам» и т. д. — все это так мало вязалось с представлением о «демократе», каким Чернышевский рисовал его еще каких-нибудь два года тому назад, что первый листок союза «Великорусс» вызвал немалое смущение. За подписью «Один из многих» появилось на страницах «Колокола» (№ 107 от 15 сентября 1861 г.) открытое письмо, автор которого писал: «К чему стремиться союзу: к конституции или к чему иному? За конституцию встало бы, вероятно, все дворянство. Пусть конституции добиваются те, кому она может быть полезна. Нам не следует ни помогать, ни мешать им теперь. Наша цель — полное освобождение крестьян, право народа на землю, право его устроиться и управляться самим собой». Отсюда вывод: нужно обращение не к либеральному обществу, которое «никогда не пойдет взаправду против правительства и никогда не даст народу добровольно, чего тому нужно», а обращение к самому народу.

Что в листках «Великорусса» намечался поворот к «политике», и притом поворот, гораздо более резкий и последовательный, чем поворот Герцена, — это очевидно. Но такой поворот диктовался «демократам» всем ходом событий. Действительный характер реформы, как он был запечатлен в Положении 19 февраля, не оставлял уже места иллюзиям о способности русского царизма развиться в «социальную монархию» якобинского[153] типа: слишком ясно было, что царизм сделал свой выбор и союз с дворянством предпочел союзу с крестьянством. Но именно поэтому и «бунт», ожидания которого были вновь оживлены крестьянскими волнениями, начал представляться «демократам» уже не той революцией народа в союзе с царской властью против имущих классов, о которой они еще недавно могли мечтать и о которой — в «реформистском» варианте — продолжал еще мечтать Герцен, а революцией народных масс против слившейся с имущими классами царской власти.

Однако обстоятельства так повелительно поворачивали мысль «демократов» к «политике», что и сам автор открытого письма не ре-

шается, как мы только что видели, признать всякие политические домогательства вредными, а останавливается на полдороге — на позиции своеобразного «благожелательного нейтралитета»: «ни помогать, ни мешать». Но его критика бьет совершенно мимо цели и основывается на явном недоразумении, когда он нападает на обращение «Великорусса» к «либералам». И первый листок, и еще больше второй и третий не оставляют ни малейшего сомнения в том, что обращение к либералам, апелляция к царю, видимая умеренность требований и т. п., словом все, что для Герцена было его действительной программой, для «Великорусса» является лишь тактическим приемом, лишь средством компрометировать и «либералов», и царскую власть, и всяческую умеренность — в ожидании того «настоящего дня», той радикальной и беспощадной революции, близкий взрыв которой казался несомненным. Листки «Великорусса» почти не скрывают этого, и последний из них заканчивается внушительным предостережением:

«Если мы увидим, что либеральные люди не решаются действовать, то нам не остается выбора: мы должны будем говорить уже не таким языком, не о таких вещах. Долго медлить с решением нельзя: если не составят образованные классы мирной оппозиции, которая вынудила бы правительство до весны 1863 года устранить причины к восстанию, народ неудержимо поднимется летом 1863 г.».

Как бы прямым выполнением обещания заговорить «не таким языком и не о таких вещах» является воззвание к «барским крестьянам», призывающее их готовиться к революции, в которой политические цели неразрывно связываются с социальными. Воззвание это было составлено Чернышевским[154] в начале 1862 года. Оно не успело быть напечатанным, но после ареста Чернышевского в июле того же года оно послужило главным основанием для присуждения его к каторжным работам.

Стараясь говорить простонародным языком, воззвание заявляет, что Положение 19 февраля создало для крестьян «вечную кабалу». Чтобы освободиться от нее, крестьяне должны завоевать себе такую же «волю», какая существует во Франции, Швейцарии, Англии и Америке. Но для этого «надо мужикам промеж себя согласие иметь, чтобы за одно быть, когда пора будет. И покуда пора не пришла, надо силу беречь, себя напрасно в беду не вводить, спокойствие сохранять и виду никакого не показывать... Когда промеж вас единодушие будет, в ту пору и назначение выйдет, что пора дескать всем дружно начи-

нать. Ведь у нас по всем местам свои люди есть, отовсюду нам вести приходят, как народ, да что народ. Вот мы и знаем, что покудова еще нет приготовленности».

Те же мотивы, что в листках «Великорусса», развиваются, хотя и с разными оттенками, в других нелегальных произведениях того времени: в воззвании «К молодому поколению», написанном талантливым поэтом М. Михайловым*[155] и изданном осенью 1861 года, и в вышедшей приблизительно в то же время в виде первого номера предполагавшегося журнала прокламации «Молодая Россия», автором которой был сын генерала П. Заичневский[156], тоже осужденный впоследствии на каторгу.

И Михайлов требует «выборной и ограниченной власти», но центр тяжести перенесен у него в сферу борьбы за социальное переустройство. Поражение социализма в революциях 48 года, по его мнению, «доказывает только одно — неудачу попытки для Европы, но не говорит ничего против возможности других порядков для России». Ибо, в отличие от Европы, у нас есть крестьянская община и «у нас земли столько, что достанет ее нам на десять тысяч лет. Мы народ запоздалый, и в этом наше спасение. Мы должны благословлять судьбу, что не жили жизнью Европы. Ее несчастья, ее безвыходное положение — урок для нас. Мы не хотим ее пролетариата, ее аристократизма, ее государственного начала и ее императорской власти. Европа не понимает, да и не может понять, наших социальных стремлений; значит, она нам не учитель в экономических вопросах. Мы верим, что призваны внести в историю новое начало, сказать свое слово, а не повторять зады Европы». И если бы для осуществления указанных «социальных стремлений» понадобилось принести в жертву «сто тысяч помещиков», то останавливаться перед этим не следует.

К «пугачевщине», к которой осторожно, начиная с видимого отгораживания от нее, подготовляет читателя «Великорусс» и о которой только намеком говорит Михайлов, открыто зовет «Молодая Россия». Ее программа, по существу, тождественная с программой воззвания Чернышевского к «барским крестьянам», требует перехода всей власти в руки Национального и областных собраний, выборного суда,

---

* Осужденный на 6 лет каторги, он там вскоре и умер — 36 лет от роду. Многие предполагали в нем автора того письма, подписанного «Один из многих», о котором упоминается выше.

равенства в налогах, устройства общественных фабрик и лавок, общественного воспитания детей, отмены института брака, уничтожения монастырей, замены постоянной армии национальной милицией и т. п. Для достижения этих политических целей прокламация признавала допустимыми все средства, в том числе террор, и призывала к уничтожению всей династии Романовых.

Но прокламация звала не только к политическому перевороту. Она звала к «революции, которая должна радикально изменить все, все без исключения основы современного общества». И если реакционные и консервативные элементы будут силой сопротивляться такой революции, то «с полной верой в себя, в свои силы, в сочувствие нам народа, в славное будущее России, которой выпало на долю первой осуществить великое дело социализма, мы издадим один крик — "в топоры!" и тогда ...тогда бей ...не жалея, как не жалеют нас теперь, бей на площадях, бей в домах, бей в тесных переулках городов, бей на широких улицах столицы, бей по деревням и селам!»

Герцен отнесся к «пугачевским» призывам прокламации с тем более резким осуждением, что увидел в их «наготе отрицания» и «логической беспощадности» свидетельство оторванности от народа, опасное непонимание того, что «народ нам не верит и готов побить камнями тех, которые за него отдают жизнь. Темной ночью, в которой его воспитали, он готов, как великан в сказке, перебить своих детей, потому, что на них чужое платье». Опасения Герцена разделялись и многими «демократами», тем более, что как раз около этого времени был пущен в народные массы и ими с доверием воспринимался слух, будто начавшиеся в Петербурге и некоторых провинциальных городах частые пожары — дело рук студентов и революционеров. Для опровержения этого слуха авторы «Молодой России» выпустили другую прокламацию, озаглавленную «Предостережение». Они воспользовались случаем, чтобы разъяснить, что, хотя «народное восстание близится», но к нему ведет народ правительство, революционеры же лишь выражают готовность встать в этом случае в ряды народа: «революционная партия никогда не бывает в силах сама по себе совершить государственный переворот».

Против «Молодой России» выступил в качестве глашатая «ортодоксального» крыла демократической интеллигенции знаменитый впоследствии вождь международного анархизма Михаил Бакунин. Его, конечно, шокировал не «бунтарский» язык «Молодой России»: он

сам вскоре стал идейным вдохновителем как раз «бунтарского» крыла революционного движения. Но он резко возражал против политического характера прокламации: «народная партия» должна, по его словам, ставить себе «единой целью торжество народного дела». Поэтому она «не имеет предрассудков ни за царя, ни против царя, и если бы сам царь, начавши великое дело, не изменил впоследствии народу, она бы никогда от царя не отстала». И Бакунин прибавлял: «И теперь было бы еще не поздно». Это его замечание исторически запоздало: в демократической интеллигенции надежды на «якобинского» царя сколько-нибудь широкого отклика найти уже не могли. Зато, как увидим, очень широкий отклик встретило в ней в ближайшие годы его решительное «анархическое» отрицание политики. Отголосок тех идей, которые Чернышевский развивал в годы подготовки реформы, отрицание это получило новую пищу в победе тех «начал государственности», которых «не хотел» М. Михайлов — в том бюрократическом перерождении царского режима, которое оказалось непосредственным результатом «эпохи великих реформ».

3. Победа «государственности»

С опубликованием основ крестьянской реформы немедленно началась, как мы видели, идейная кристаллизация зарождавшегося революционного движения интеллигенции. Но время его организационной кристаллизации еще не наступило. Намеки прокламации к «барским крестьянам» на существующую будто бы связь «своих людей», рассеянных «по всем местам», выражали мечты гораздо больше, чем действительность. И уже совсем мифическим был тот «центральный революционный комитет», от имени которого была издана «Молодая Россия».

На деле кроме небольших разрозненных кружков, связанных между собой лишь общностью настроений, до самой средины 70-х годов не существовало ничего. Огромным препятствием к слиянию этих кружков в сколько-нибудь централизованную организацию были те суровые расправы, которые уже в 1862–63 гг. сняли и отправили на каторгу, в тюрьму и ссылку чуть не всю «головку» демократической интеллигенции и которыми правительство и в последующие годы стремилось систематически истреблять ее наиболее активные элементы. Но основной причиной, почти на полтора десятка лет за-

державшей организационную консолидацию революционного движения и сделавшей самые эти расправы возможными, были те процессы социально-политического развития, ареной которых стала пореформенная Россия.

Решающим в этом смысле оказался тот факт, что крестьянские волнения не развернулись в ту народную революцию, которую демократическая интеллигенция в огромном большинстве своем считала неизбежной. После сравнительно короткой вспышки крестьянское движение вошло в берега: почувствовав свое бессилие одним ударом добиться «настоящей воли», крестьянская масса, скрепя сердце, «приняла» реформу и начала наново строить свою жизнь в отведенных ей тесных рамках, выливая пока что свое затаенное недовольство лишь в пассивные мечтания о грядущем «черном переделе». Революционной мысли, только что начавшей ориентироваться на «народное восстание», пришлось еще раз перестраиваться заново и искать новых путей. Поиски эти были тем труднее, что за какие-нибудь 2–3 года существенно изменилось и настроение «образованных классов» — как реакционная, так и либеральная основная масса их повернула решительно в сторону примирения с правительством, и именно это «примирение» и было, в конечном счете, причиной крушения крестьянского движения, бессильного перед лицом союза царизма с верхами общества.

Конечно, это движение, напугавшее имущие классы, в свою очередь, сыграло известную роль в их повороте к сближению с правительством. Но для этого поворота имелись и положительные основания в том громадном экономическом оживлении, которому дала толчок ликвидация крепостного права.

В новых условиях все возрастающую роль стали играть денежно-рыночные отношения, и применительно к ним было вынуждено перестраиваться и помещичье хозяйство: дворянство начало ускоренно «обуржуазиваться». Но оно начало сближаться с «буржуазией» и с другого: ссуды, которые оно получало от правительства под залог «выкупных свидетельств», сосредоточили в его руках громадные денежные средства. Люди, не умевшие приспособиться к новым условиям, быстро растрачивали эти средства на нелепые затеи, кутежи и увеселительные поездки за границу, где безумное расточительство русских «бояр» вошло в пословицу. Но другие пускали свои деньги в оборот и, наряду с купцами и промышленниками, стали заниматься подрядами

и поставками по заказам государства, бросились в строительство железных дорог, каналов и других путей сообщения, в учреждение банков, промышленных и торговых акционерных предприятий и т. п. Началась настоящая «грюндерская» горячка. Правительство, со своей стороны, всячески поощряло ее. Концессия, субсидия, гарантия — стали самыми ходовыми словами среди дельцов, толпами стремившихся в столицу со всех концов страны в надежде пристроиться к какому-либо выгодному предприятию или получить место в бюрократическом аппарате, начавшем быстро разбухать. Все это создавало широкую материальную базу для того «праздника примирения» верхов общества с правительством, которым были ознаменованы первые годы реформы. Нужна была лишь «идеологическая» скрепа: ее дало польское восстание, начавшееся в январе 1863 года[157].

Русская революционная мысль, зародившаяся в непосредственной связи с европейскими революциями 48 года, восприняла и национально-освободительные традиции этих революций. Идея национального самоопределения — от требования реорганизации государственного устройства России на национально-федеративных началах до требования предоставить «населению Южной Руси... полную свободу располагать своей судьбой по своей собственной воле» — одинаково выдвигается и в прокламациях Михайлова, и в «Молодой России», и в листках «Великорусса», который самым названием своим подчеркивает желание говорить лишь от имени великорусской ветви русского народа. И это «великорусское» самоограничение подчеркивается тем охотнее, что, ведь, и крестьянская община, эта основа всех надежд на «самобытное» развитие России к социализму, была явлением чисто великорусским, не имевшим распространения ни на Украине («Малороссии» по правительственной терминологии), ни в Белоруссии, ни тем более на «инородческих» окраинах — в Польше, Прибалтике, Туркестане и на Кавказе.

В сумме этих национальных вопросов особое место занимал однако польский вопрос. В 1815 году Александр I октроировал конституцию вновь сформированному «Царству Польскому», связав его с Россией лишь личной унией. Он сказал в своей тронной речи, что имеет в виду распространить в будущем конституционное устройство и на коренную Россию. На деле очень скоро — особенно при Николае 1-ом — и польская конституция стала превращаться в «листок бумаги», но для свободолюбивых кругов России польская свобо-

да стала как бы символом грядущей русской свободы. Польское восстание 1830 года[158] против деспотического режима Николая 1-го было встречено с симпатией широкими кругами русских оппозиционеров. Требование восстановления уничтоженной после подавления этого восстания независимости Польши нашло себе место и в листках «Великорусса», и в «Молодой России». На сторону Польши встала русская демократия, со включением «Колокола», и в восстании 1863 г. Но решительно против Польши, на сторону правительства встало теперь огромное большинство имущего общества. Великодержавный русский национализм, поборником которого выступило царское правительство, стал тем идеологическим знаменем, которое покрыло капитуляцию этого общества перед самодержавием.

Варшава оказалась «реваншем за севастопольское поражение» (Ю. Мартов. Общественные и умственные течения в России 1870–1905 гг. Л.–М., 1921). «Пораженческое» в эпоху Крымской войны общество стало теперь глубоко патриотичным. Под покровом этого патриотизма совершалось жестокое усмирение Польши и окончательная ликвидация ее былых вольностей, «замирение» Кавказа после разгрома восстания, вождем которого был Шамиль[159] (1859 год), консолидация Туркестанских владений[160] с последующим завоеванием Хивы[161] (и 1873 г.) и т. д. Началась эра «обрусения» окраин — Польши, Литвы, Кавказа, Средней Азии, то есть насильственного подавления их национальной культуры, вытеснения местных людей из государственного и хозяйственного аппарата, наделения русских пришельцев имениями, конфискованными у повстанцев, или «свободными» землями, отнятыми у туземного населения, и т. п. И всюду правительство имело в своем распоряжении для проведения этой политики сотни и тысячи разорившихся или промотавших «выкупные свидетельства» средних и мелких помещиков, предприимчивых дельцов из среды купечества и городского мещанства, любителей легкой наживы и на все готовых авантюристов.

Шумный «патриотизм» этой хищной армии «обрусителей»* принял такой угрожающий характер, что даже Некрасов, оставшийся единственным редактором «Современника», в котором так недавно еще звучал голос Добролюбова и Чернышевского, увидел себя вынуж-

---

* Знаменитый русский сатирик М. Е. Салтыков-Щедрин дал им кличку «ташкентцев» — по названию столицы Туркестана, бывшего одною из немаловажных арен их деятельности. Кличка эта прочно вошла в обиходный политический язык.

денным обратиться к Муравьеву[162], усмирителю Польши, получившему за свою жестокость прозвище «вешателя», с приветственным стихотворением. Этим стихотворением (которое стало для него до конца жизни предметом мучительного раскаяния), он думал спасти журнал. Ему это не удалось: приостановленный на 8 месяцев в 1862 году (после ареста Чернышевского), «Современник» был окончательно запрещен в 1866 г., после неудачи покушения Каракозова[163] на жизнь царя. Одновременно был закрыт навсегда и другой радикальный журнал того времени «Русское слово»[164], главной публицистической силой которого был молодой Дмитрий Писарев[165], заточенный в 1862 году в Петропавловскую крепость, где он и написал свои главные статьи, и утонувший в 1868 году, 28 лет от роду.

Еще в месяцы, предшествовавшие открытой вспышке восстания, реакционная демагогия, обвиняя, как мы уже упоминали, интеллигенцию в поджогах, прибавляла, что «студенты и революционеры» действовали в этом случае по сговору с «поляками». Теперь правительство использовало националистическое брожение, разбуженное восстанием и охватившее значительные массы мелкого городского населения, для того, чтобы совершенно изолировать и деморализовать демократическую оппозицию и терроризировать оппозицию либеральную. Это ему в значительной мере удалось. Выход нелегальной литературы в России приостановился, а тираж «Колокола», выходившего в Лондоне, но благодаря сочувственной поддержке оппозиционеров из общества и чиновничества, широко проникавшего в Россию, сразу упал с 2 с половиной — 3 тысяч экземпляров до 500.

Освобожденная и от революционной угрозы, и от оппозиции либерального или олигархического характера, царская власть смогла безбоязненно приступить к ряду коренных реформ. Реформы такого рода были необходимы, чтобы сделать возможным развитие хозяйства страны на новых, денежно-рыночных началах. Развитие же это, в свою очередь, было совершенно необходимо для того, чтобы восстановить великодержавное положение России, поколебленное Крымской войной, и привести ее экономическую и военную мощь в соответствие с теми быстрыми темпами развития европейского и мирового капитализма, которые оказались реальным результатом революций 48 года. За 1863–65 гг. была проведена судебная реформа, преобразован университетский устав, изданы новые правила о печати, введена всеобщая воинская повинность, издано положение о земских учреждениях и т. д.

Стремительный поток реформ был ярким контрастом гнетущей неподвижности режима Николая 1-го. А после того, как в последующие годы и, еще больше, в последующее царствование Александра 3-го все прогрессивные стороны реформ стали подвергаться искажению и уничтожению, — эпоха «великих реформ» стала ретроспективно казаться эпохой беспримесного торжества принципов гуманности и свободы (Г. Джаншиев. Эпоха великих реформ. 10-е издание. СПб., 1907 г.).

Реформы 60-х годов во многих отношениях и действительно преобразовали весь уклад русской жизни. Они создали те минимальные гарантии правосудия, ограждения прав личности, свободы научного исследования, независимости печати и т. п., без которых переход страны от сословно-крепостнического строя к «буржуазному», основанному на началах личной инициативы и заинтересованности, вольнонаемного труда и денежно-рыночных отношений, был бы вообще не возможен. Но гарантии гражданского правопорядка и были той границей, на которой реформы останавливались. Гарантий политических прав и политической свободы они никому не давали, и вопросы политики были строжайше исключены и из сферы компетенции земства, нового органа местного самоуправления. Реформы сохраняли обособленность сословий и их иерархическое деление на «податные» и освобожденные от личного обложения. Но все сословия без исключения отныне должны были быть подчинены интересам «государства», воплощенного в самодержавной власти, бесконтрольно распоряжающейся всеми новыми источниками технической и финансовой мощи, созданными «обуржуазиванием» хозяйства страны, и использующей эти источники при посредстве колоссально выросшего военного, полицейского и гражданского аппарата.

Непосредственный результат «либеральных» реформ оказался, таким образом, парадоксальным: самодержавие стало на деле еще более независимым от каких бы то ни было общественных сил, еще более неограниченным и еще более бюрократизированным, чем когда бы то ни было раньше. Правда, именно поэтому оно осуждено было отныне на «балансирование» между сталкивающимися между собой и зачастую непримиримыми интересами различных классов* и потому

* Подробнее об эволюции русской монархии в результате «великих реформ» см. в моей работе об «общей политике правительства и изменениях государственной организации» в вышедшем в 1909 г. в Петербурге 1 томе

стало гораздо менее устойчивым. Но пока что условия для едва начавшего шевелиться революционного крыла интеллигенции создавались весьма неблагоприятные.

В этих условиях нельзя было и думать о создании сколько-нибудь централизованной и разветвленной организации. В 1862 году Николай Серно-Соловьевич, один из участников «Великорусса», попытался было создать организацию «Земля и воля»[166]. Но после ареста ее инициатора организация очень скоро распалась и попыток к ее восстановлению или созданию другой организации уже не делалось*.

Но в этих условиях трудно было продолжать идти и по тому пути возврата к «политике», на который вступила было значительная часть интеллигенции, когда обстоятельства позволяли, казалось, рассчитывать на близость крестьянского восстания. И когда оборванные закрытием «Современника» нити «народнических» идей были подхвачены в 1868 году новой редакцией «Отечественных Записок» (Некрасов, Елисеев[167] и Салтыков-Щедрин), то на первых порах этот журнал «отказывался от всяких политических идеалов в ближайшем будущем и, не обинуясь, признавал мечты о конституционном устройстве своего рода барской затеей», ибо — «настоящим вопросом времени является лишь улучшение положения народных масс» (см. цитированный уже Курс истории А. Корнилова, часть 3, стр. 137).

Революционная интеллигенция, при самом рождении своем подвергшаяся жестокому разгрому, изолированная и от «общества», и от народных масс, снова оказалась на распутье. Ей пришлось, прежде всего, заняться обобщением и приведением в систему тех разрозненных и друг с другом сталкивающихся идей, которые чисто эмпирически возникали в ее рядах в предшествующие годы. Вынужденная политическая бездеятельность тем острее делала потребность в теоретическом самоопределении. И на первый план выдвигался перед революционерами, «людьми дела», тот самый вопрос о месте самой интеллигенции в общественной жизни, о роли «мыслящей личности», который поставил, сходя в могилу, Добролюбов.

сборника «Общественное движение в России в начале XX века» под редакцией Ю. Мартова, П. Маслова и А. Потресова.

* Возникшая в 1876 году организация под тем же названием «Земля и воля» не стояла в преемственной связи с организацией Серно-Соловьевича, но получила свое название в ее честь.

Глава 5. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

1. Дмитрий Писарев

«Что делать?» это заглавие знаменитого романа Чернышевского[168] почти через полвека, на пороге бурных массовых движений, высшей точкой которых была революция 1905 года, стало и заглавием тоже в своем роде знаменитой брошюры Ленина[169]. В этом совпадении — не простая случайность. В нем — отражение того факта, что эти два слова точно формулируют вопрос, который за эти полвека не переставал мучить русскую «интеллигенцию». Лишенная органической связи с социальными верхами, отделенная интеллектуальною и культурною пропастью от народных низов, она металась между этими двумя полюсами современного общества, не находя себе ни прочного, обеспеченного места в его механизме, ни дела, которое могло бы дать достаточно полное удовлетворение ее умственным и нравственным запросам. Что делать?

Вырабатывать в себе характер и волю, чтобы оказаться в «настоящий день» человеком «не слов, а дела», — отвечал на этот вопрос Добролюбов, умерший 25 лет от роду (в 1861 г.), с верой в близость народной революции. «Народная жизнь нуждается не в сильных характерах, которых у нее за глаза довольно, а только исключительно в одной сознательности», — возражал ему через 4 года, в 1865 году, тоже 25-летний Дмитрий Писарев, к этому времени — в соответствии с описанными выше условиями — окончательно изверившийся в революции, в которую он, впрочем, не очень верил и в 1861 году, когда начиналась его недолговечная, но блестящая литературная жизнь*. И в этой антитезе: Добролюбов-Писарев впервые было отчетливо формулировано то противоречие между стихийностью и сознательностью, чувством и разумом, массами и личностью, толпой и героями, которое красной нитью проходит через всю последующую историю русской демократической и социалистической мысли и политики и отражает в себе объективное противоречие между безбрежностью тех идеалов, носительницей которых история сделала русскую «интелли-

* Почти вся писательская деятельность Писарева протекла в казематах Петропавловской крепости в Петербурге. Он был заточен туда в средине 1862 года, 22 лет от роду, по так называемому «делу Баллода», связанному с изданием упомянутых выше прокламаций «Молодой России». Выйдя из заключения в 1866 году, Писарев писал мало, а в июле 1868 года утонул во время купания.

генцию» с самого ее возникновения, и ограниченностью тех средств и сил, которые русская действительность предоставляла в ее распоряжение для осуществления этих идеалов.

Интеллектуализм и индивидуализм — таково было знамя, поднятое 20-летним Писаревым, сыном состоятельной помещичьей семьи, при выступлении его на публицистическую арену в журнале Благосветлова[170] «Русское слово». Образцового носителя этого знамени Писарев нашел в Базарове, герое Тургеневского романа «Отцы и дети» — олицетворявшем поколение тех «отрицателей» и «нигилистов» (термин Тургенева), которые на грани двух эпох, отмеченной освобождением крестьян, начисто «отрицали» все, что было непреложно и «свято» для отмиравшей эпохи, и не признавали без беспощадной критической проверки «ничего» (по латыни: nihil) из ее верований, догматов, обычаев и условностей.

«Мыслящая личность» была объявлена демиургом истории. Естествознание, начинавшее в это время свое поразительное победное шествие, — методом освобождения ее от мистического преклонения перед «тайнами» природы или общественных отношений. Примитивный материализм Бюхнера и Молешотта[171] — ее «реалистической философией». Вооруженный этими орудиями рационального истолкования всех, по видимости иррациональных, явлений и эмоций, вплоть до эмоций искусства и любви, «последовательный реалист» становился одной из тех идеальных личностей, количественное умножение которых в обществе и возвышающее воздействие которых на коснеющую в невежестве, предрассудках и суевериях людскую массу и составляет единственную рациональную базу человеческого прогресса. Личность, если это личность мыслящая реалистически, становится, таким образом, самоцелью. Она имеет право на «наслаждение», потому что наслаждение ее не может не сводиться к разумному удовлетворению ее умственных и нравственных потребностей, которые, в свою очередь, у «последовательного реалиста» не могут не быть разумными, — почему и удовлетворение их не может не служить залогом повышения общей суммы человеческого счастья.

На мучительный вопрос интеллигентской молодежи 60-х и начала 70-х годов: что делать? — Писарев давал простой, ясный и практический ответ: работать над повышением собственной интеллектуальной квалификации. Ищите не «царства божия», не далеких и туман-

ных идеалов, а практических, «реалистических» знаний, — и «все прочее приложится», говорил Писарев интеллигенции, вступившей в «эпоху великих реформ» с завещанною вождями предшествующего поколения, Чернышевским и Добролюбовым, мечтою о близости радикальнейшей из когда-либо виданных человечеством революций и увидавшей на первых же порах эту мечту разбитой.

Призыв к работе над своей собственною личностью как нельзя более отвечал настроению несколько растерянной интеллигенции этих лет, и не удивительно, что знаменитая русская революционерка Вера Засулич[172] (о ней — ниже) по своему личному опыту свидетельствует: «Писарев 64–65 годов был едва ли не самым полным представителем и выразителем только что пробуждающейся, готовящейся молодежи, и особенно провинциальной». И, сопоставляя Добролюбова с Писаревым, она поясняет: «В качестве первого зовущего голоса Добролюбов мог разбудить лишь смутную тоску по какому-то далекому краю... Писарев же говорил простые, понятные, бодрые речи и сейчас же засаживал за работу». Эта «работа» была то самообразование, то приобретение знаний, и главным образом — прикладных, естественно-научных, медицинских, технических и т. д., тягой к которым была охвачена в эти годы интеллигентская молодежь и через которые она рассчитывала подготовить себя к полезной для народных масс деятельности (статья «Д. И. Писарев и Н. А. Добролюбов» в Сборнике статей В. И. Засулич. СПб., 1907*).

Правда, в своей статье 1862 года о Базарове Писарев, говоря словами той же В. Засулич, «предвосхищая Ницше[173], рисует, под именем Базарова, какую то Blonde Bestle (белокурое животное) и любуется ею». Да и вообще в ранних произведениях Писарева характерной чертой «нигилиста» и его «наслаждений» является крайний сенсуализм, эгоцентризм, грубый физиологический примитивизм. Такого рода проповедь могла облегчать, да и действительно облегчала молодежи мучительный процесс разрыва с бытом и нравами той интеллектуально и культурно отсталой мелкопомещичьей, купеческой, мещанской и духовной среды, из которой она выходила. Эта проповедь сыграла совершенно исключительную роль в той борьбе за «эман-

* О таком же исключительном влиянии Писарева на молодежь тех лет говорит и «землеволец» (см. ниже) О. В. Аптекман: «Писарев владел мною всецело. Он будил мысль, толкал к развитию. Во время студенчества кружки продолжали начатое Писаревым» («Мои первые шаги на пути пропаганды». М., 1926).

сипацию женщин», которая именно в России добилась больших успехов. Но сенсуализм и эвдемонизм стояли в слишком резком противоречии с теми скорее «аскетическими» и «стоическими» настроениями молодежи, охваченной жаждой «служения народу», которые нашли такое яркое выражение в фигуре Рахметова (одного из героев романа Чернышевского «Что делать?»), чтобы стать ее символом веры.

Но именно поэтому В. Засулич и подчеркивает, что выразителем настроений молодежи стал Писарев не 1861–62, а 1864–65 года. А в 1864 году, возвращаясь к тому же Базарову в статье «Реалисты», Писарев говорит уже о сенсуалистическом «взрыве юношеской самостоятельности» лишь как об «очень обыкновенном, может быть, даже неизбежном», но преходящем явлении «в жизни каждой мыслящей личности». Этому взрыву «кладет конец первый трезвый взгляд на экономическую прозу жизни». В свете этой «прозы» всякий «последовательный реалист» должен сказать себе: «Я весь принадлежу тому обществу, которое меня сформировало. Все силы моего ума составляют результат чужого труда, и если я буду разбрасывать эти силы на разные приятные глупости, то я окажусь несостоятельным должником и злостным банкротом... врагом того самого общества, которому я обязан решительно всем».

Подходя к проблеме личности с этой стороны, Писарев пишет: «Когда вы придете к таким серьезным заключениям, тогда бесцельное наслаждение жизнью, наукой, искусством окажется для вас невозможным. Остается только одно наслаждение, — то, которое выходит из ясного сознания, что вы приносите людям действительную пользу, что вы уплачиваете понемногу накопившуюся массу ваших долгов и что вы твердыми шагами, не сворачивая ни вправо, ни влево, идете вперед к общей цели всей вашей жизни». И Писарев приходит к выводу, что цель «всего мышления и всей деятельности каждого человека» заключается «в том, чтобы разрешить навсегда неизбежный вопрос о голодных и раздетых людях; вне этого вопроса нет решительно ничего, о чем стоило бы заботиться, размышлять, хлопотать».

Поставленный таким образом «на службу обществу», рационалистический и индивидуалистический радикализм Писарева оказался психологически вполне приемлемым для интеллигентской молодежи. Она тем легче могла сочетать его со своими общими коллективистическими и коммунистическими симпатиями, что именно во второй половине 60-х годов и западноевропейский буржуазно-

индивидуалистический радикализм до известной степени реабилитировал себя в ее глазах своими «социал-реформаторскими» и рабочелюбивыми тенденциями. Только трагедия Парижской Коммуны[174] оборвала эти тенденции, «поставив радикальный республиканизм и демократическое свободомыслие перед необходимостью сделать решительный выбор между противостоящими в открытой гражданской войне миром труда и миром капитала» (см. об этом у Мартова, цит. соч.). После Коммуны, в 70-е годы начинается и быстрое падение влияния «писаревщины» в идейном движении русской интеллигенции. Но пока что, можно сказать, мимо ее сознания проскользнула та особая социальная окраска, которая отличает Писаревский радикализм от радикализма других «властителей дум» той эпохи.

Писарев не даром сказал как то, что, если бы ему пришлось поговорить с Добролюбовым «полчаса наедине», то они «наверное, не сошлись бы ни в одном пункте» (см. Д. Н. Овсянико-Куликовский. Собрание сочинений, т. 7, гл. 14). Противопоставляя Добролюбовской ориентации на «характер» свою ориентацию на «сознательность», Писарев в корне отвергал и самою «народническую» основу взглядов Добролюбова — веру в творческие силы социального обновления, скрытые в народных массах и ждущие лишь благоприятного момента, чтобы преобразовать всю русскую жизнь и Европе сказать «свое слово». В статье «Мотивы русской драмы», написанной в начале 1864 года, Писарев категорически заявляет: «В собственных недрах русская жизнь не заключает решительно никаких задатков самостоятельного обновления, она представляет лишь сырые материалы, которые должны быть оплодотворены и переработаны влиянием общечеловеческих идей».

Правда, в другой статье («Цветы невинного юмора»), написанной около того же времени, и Писарев как будто отмечает русскую отсталость, как фактор благоприятный с точки зрения будущего развития России: русская цивилизация «находится еще в утробе матери; у нее нет укоренившихся преданий школы; нет в каждом городе легиона филистеров; нет фанатической рутины средневековой науки». Но в то время, как представители «народнических» тенденций — вспомним, например, об упомянутом выше Михайлове — видели в русской отсталости «наше спасение» и горделиво прославляли ее, как залог «нашей» способности «внести в историю новое начало», Писарев видел в младенчестве русской цивилизации лишь условие, дающее России возможность воспринимать от зрелой европейской цивили-

зации не ее «средневековые» отбросы, а то лучшее и современное, что она создает: «Перед нами вся европейская наука: переводи, читай, учись! Не будем же мы, в самом деле, такими дураками, чтобы брать у других то, что они выкидывают за негодностью? Нет, не будем».

Но современная европейская цивилизация была цивилизацией буржуазной, капиталистической. И выкованный в одиночестве тюремного заключения «последовательный реализм» Писарева не остановился перед вытекающим отсюда выводом. В той же статье «Мотивы русской драмы» он высказывает «идиллическое предположение», что в процесс размножения «мыслящих личностей» будут вовлечены и молодые русские капиталисты и помещики, что они перестанут увозить свои капиталы за границу, чтобы проматывать их на безумную роскошь, а начнут вкладывать их в нужное стране производство. И, мечтая о таком, психологически совершенно чуждом интеллигенции того времени способе ставить свои знания «на службу народу», Писарев прибавляет: «Хорошая ферма и хорошая фабрика, при рациональной организации труда, составляет лучшую и единственно возможную школу для народа, во-первых, потому, что эта школа кормит своих учеников и учителей, и, во-вторых, потому, что она сообщает знания не по книге, а по явлениям живой действительности. Книга придет в свое время, устроить школы при фабриках и фермах будет так легко, что это уже сделается само собой».

Россия первых лет после освобождения крестьян, лет крутого перелома от крепостнического, по преимуществу натурального хозяйства к хозяйству денежному и рыночному, знала, разумеется, и апологетов капиталистического развития, опиравшихся, как и Писарев, на естествознание и в нем искавших подтверждения своим взглядам на капитализм, как на хозяйственный строй, непосредственно вытекающий из законов природы и человеческого общежития. В 60-х и начале 70-х годов наиболее видными представителями такой системы взглядов были социологи-экономисты Павел Лилиенфельд-Тоаль[175], формулировавший «социально-эмбриологический» закон развития общества, и Александр Стронин[176], выдвинувший теорию «пирамидального» строения общества, соответствующего «законам механики».

Но по всему складу своего мышления и Лилиенфельд, и Стронин были сторонниками самого умеренного буржуазного либерализма, не имевшими никаких точек идейного соприкосновения с революционно настроенной «интеллигенцией». Наоборот, Писарев был единственным в своем роде и притом необыкновенно блестящим

представителем буржуазного радикализма*, — и в этом именно совершенно исключительное значение той роли, которую он сыграл в развитии русской демократической мысли.

Правда, само сочетание «буржуазности» с «радикализмом» было до такой степени «беспочвенным» в реальной русской действительности, которую мы уже не раз имели случай характеризовать, что и возникнуть это сочетание могло лишь как чисто логическое построение, как плод умственной работы молодого человека, хотя и гениального, но отрезанного тюремными стенами от общения с живыми людьми еще раньше, чем он успел по-настоящему соприкоснуться с этой действительностью. Именно поэтому в широком революционном движении русской интеллигенции, начавшемся в 70-е годы, идейного воздействия Писарева как будто незаметно, и на «писаревщину» начинают смотреть несколько свысока. И все же деятельность Писарева не прошла бесследно. Его именно можно считать духовным отцом той скромной, но громадной армии земских врачей, фельдшериц, статистиков, агрономов, учителей, техников и т. д., которая прославила себя самоотверженным и бескорыстным «служением народу»** и которая и в истории русской революции сыграла огромную роль в качестве соединительного звена между революционерами и теми прогрессивными слоями русского общества, без сочувствия и поддержки которых, как мы уже отмечали, широкая работа революционных организаций была бы не возможна.

2. Петр Лавров

«Критически мыслящая личность», как творческий «фактор человеческого прогресса, и знание, как источник и орудие этой творческой силы, — в этих двух положениях прямым продолжением проповеди Писарева было учение Петра Лавровича Лаврова (1823–1900)[177].

---

* В 70-х годах эмигрировавшие за границу Зайцев и Христофоров, единомышленники Писарева и соратники его по благосветловским журналам, стали издавать орган общедемократического направления «Общее дело», — большим влиянием не пользовавшийся.

** Впоследствии реакционеры окрестили эту армию названием «третий элемент», подчеркивающим ее «чуждость» обоим «почвенным» элементам земства — дворянству и крестьянству. Насмешливая кличка была, как это часто бывает, подхвачена теми, в кого она метила, и вошла в русский политический язык для обозначения широкого слоя интеллигентных работников и служащих земства.

Сын богатого помещика, ученый профессор Артиллерийского училища, Лавров лишь с 61–62 года, будучи уже почти 40 лет от роду, начинает сближаться с радикальными кругами, группировавшимися вокруг Чернышевского, и даже вступает в основанную Н. Серно-Соловьевичем организацию «Земля и воля», а после покушения Каракозова (см. ниже) ссылается по приговору суда на поселение в Вологодскую губернию. Но действительно «своим» становится он для революционной интеллигенции лишь в 1869–70 году, когда появляются (сначала в виде серии статей в журнале «Неделя»[178], а потом отдельным изданием) знаменитые «Исторические письма», написанные им в ссылке, под псевдонимом Миртова.

«Письма» до такой степени попадают в тон настроениям интеллигентской молодежи тех лет и так отвечают ее запросам, что становятся для нее настольной книгой и сразу делают ее автора дорогим для нее «учителем»: чтобы дать ему возможность продолжать без помехи свою литературную работу, в начале того же 70-го года Герман Лопатин[179], впоследствии один из знаменитых русских революционеров, организует его побег за границу, и с тех пор до самой смерти, в течение 30 лет, Лавров проживает, почти без перерыва, в Париже. В Париж он попадает в разгар Коммуны, сближается с ее деятелями и даже едет по их поручению в мае того же года для хлопот о помощи ей в Лондон, где знакомится с Марксом и Энгельсом, становится членом парижской секции Интернационала[180] и входит, таким образом, в связь с европейским рабочим и социалистическим движением того времени, — обстоятельство, сыгравшее немаловажную роль в формировании его собственных политико-социальных взглядов и через него в развитии идей русской революционной интеллигенции.

В «Исторических письмах» Лавров обосновал так называемый «субъективный метод» истолкования истории и вмешательства в ее ход. Он признавал, конечно, что все, совершающееся в природе и человеческом обществе, имеет и объективную закономерность. Он признавал и то, что, в конечном счете, и умственный и моральный облик личности может и должен быть объяснен научно — методами антропологии*. Но он настаивал, что человек «всегда будет, прежде

* Еще в основу первого большего социологического труда Лаврова — выпущенной им в 1860 году книги «Очерки вопросов практической философии. Личность» — был положен «антропологический принцип», вызвавший тогда резкую критику со стороны Чернышевского.

всего, делить действия свои и подобных себе на действия сознательные и бессознательные и будет относиться различно к этим двум группам». История же есть процесс сознательных действий. Поэтому к ней, к оценке событий прошлого и к активному вмешательству в перспективы будущего нельзя подходить иначе, как с мерилом своего собственного «нравственного идеала».

«Мы с нашим нравственным идеалом, определяющим перспективу процесса истории, — становимся в конце этого процесса; все предыдущее становится к нашему идеалу в отношение подготовительных ступеней, ведущих неизбежно к определенной цели. Следовательно, история представляется нам борьбой благодетельного и вредного начала, где благодетельное, в неизменном виде или в постепенном развитии, достигло, наконец, той точки, в которой оно есть для нас высшее благо человечества». И дальше: «приближение исторических фактов к реальному или идеальному лучшему, нами сознанному, развитие нашего нравственного идеала в минувшей жизни человечества составляет для каждого единственный смысл истории, единственный закон исторической группировки событий, закон прогресса, считаем ли мы этот прогресс фактически непрерывным или подверженным колебаниям, верим ли мы в его реальное осуществление или только в его существование в нашем сознании». И намечая «формулу прогресса» с точки зрения «нравственного идеала» той русской демократической интеллигенции, которую Лавров представляет, он приходит к заключению: «Развитие личности в физическом, умственном и нравственном отношении; воплощение в общественных формах истины и справедливости — вот краткая формула, обнимающая, как мне кажется, все, что можно считать прогрессом».

«Краткая формула» звучала для демократической интеллигенции санкцией ее «нравственного идеала», хотя бы он существовал пока лишь в ее собственном «сознании», — и эта санкция пришлась как нельзя более кстати в годы, когда в окружавшей эту интеллигенцию действительности было так мало шансов на «реальное осуществление» этого «идеала». Но «краткая формула» звучала в то же время и санкцией непрекращающейся борьбы за идеал и, прежде всего, борьбы за «физическое, умственное и нравственное развитие» своей собственной личности, то есть за то повышение своей собственной интеллектуальной квалификации, к которому призывал и Писарев. Ибо в ходе развития общества именно «маленькая группа» людей, сознательно стремящихся

к развитию в себе человеческого достоинства, к умножению своих знаний и т. п., и является движущей силой прогресса.

Но — и тут Лавров подходит к другой теме, тоже затронутой Писаревым, — чтобы такая «маленькая группа» могла образоваться, «необходимо было, чтобы среди большинства, борющегося ежечасно за свое существование, оказалось меньшинство, обеспеченное от самых тяжких забот жизни», и потому на этом меньшинстве лежит по отношению к большинству «долг», который оно должно «уплачивать», чтобы действительно обеспечить непрерывность прогресса.

«Обществу угрожает опасность застоя, если оно заглушит в себе критически мыслящие личности. Его цивилизации грозит гибель, если эта цивилизация, какова бы она ни была, сделается исключительно достоянием небольшого меньшинства. Следовательно, как ни мал прогресс человечества, но и то, что есть, лежит исключительно на критически мыслящих личностях: без них он безусловно невозможен; без их стремления распространить его он крайне непрочен. Так как эти личности полагают обыкновенно себя вправе считаться развитыми, и так как за их то именно развитие и заплачена страшная цена..., то нравственная обязанность расплачиваться за прогресс лежит на них же. Эта уплата... заключается в посильном распространении удобств жизни, умственного и нравственного развития на большинство, во внесении научного понимания и справедливости в общественные формы».

Личность, как творец прогресса; накопление знаний; долг обществу; нравственная обязанность уплачивать этот долг — Писарев и Лавров одинаково провозглашают эти лозунги. Но за внешним тождеством скрывается глубокое внутреннее различие и различие того значения, которое имели «писаревщина», с одной стороны, «лавризм», с другой, для идейного формирования демократической интеллигенции.

Для Писарева «мыслящая личность» — самодовлеющая ценность, самим бытием своим служащая делу прогресса. Умножение таких личностей необходимо. Но при всех условиях они обречены оставаться меньшинством. Потому то, с точки зрения прогресса, так важно, чтобы в меньшинство это входило возможно больше состоятельных и влиятельных людей из верхов общества. До высот «последовательного реализма» мыслящая личность может подняться лишь путем приобретения «положительных», то есть естественнонаучных и технических знаний. Именно применением своих профессиональных

знаний может и должна она приносить обществу пользу, уплачивать ему свой долг и содействовать разрешению вопроса о «голодных и раздетых людях». Проблемы общественного устройства, как таковые, непосредственно перед «мыслящей личностью» не встают; их разрешение является лишь косвенным результатом ее «деловой», профессиональной работы.

Наоборот, с точки зрения Лаврова, вопросы общественного устройства и должны стоять в центре внимания «мыслящей личности»; работе над их разрешением должна быть подчинена ее профессиональная деятельность; не на изучение естествознания, а на изучение общественных наук должен быть обращен ее пафос. Профессиональные знания необходимо приобретать, чтобы иметь возможность занять прочное и нужное место в обществе, чтобы иметь возможность воздействовать на него. Поэтому надо основательно учиться, надо идти в школы и университеты, надо серьезно готовиться к общественной работе. Но — «ни талант, ни знание не делают еще, сами по себе, человека двигателем прогресса; с меньшим талантом и знанием, в этом отношении, можно сделать более, если сделать все, что можешь». Надо вырабатывать в себе высокий «нравственный идеал» и в его духе стремиться воздействовать на дальнейший ход истории. Но это значит, что надо нести этот «идеал» в «народ». Ибо действительным двигателем прогресса мыслящее меньшинство может становиться лишь в той мере, в какой ему будет удаваться заражать своими идеалами народное большинство. Уплачивать свой долг этому большинству мыслящее меньшинство может лишь тем, что понесет свой «идеал» — не в привилегированные верхи общества, а в обездоленные низы его. Но при этом условии не надо быть «сверхчеловеком»: «Да, повторяю, — настаивает Лавров в своем 5-ом «Письме» — всякий человек, критически мыслящий и решающий воплотить свою мысль в жизнь, может быть деятелем прогресса».

Таким образом, если Писарева можно считать духовным отцом той интеллигентской армии, которая основную задачу своей жизни видела в «деловом» обслуживании многообразных нужд народа и с таким обслуживанием связывала и свои собственные чаяния, — то Лавров является духовным родоначальником армии «пропагандистов» (впоследствии — по терминологии Ленина — «профессиональных революционеров»), которые основной задачею своей жизни ставили проповедь своего «нравственного идеала» в народных массах и

которые, добросовестно обслуживая повседневные нужды этих масс, все же смотрели на свою «деловую» работу, прежде всего, как на способ сблизиться с ними и завоевать их доверие, чтобы сделать их к этой проповеди более восприимчивыми*.

Как верно отмечает Мартов (цит. сочинение), «вся книга Лаврова является призывом к русской демократической интеллигенции образовать партию и повести систематическую борьбу с историческим строем во имя социализма». К молодежи, которую Писарев «засадил за работу» самообразования, Лавров обращается с кличем: «В народ!» Этот именно клич и был восторженно подхвачен из его книги широкими кругами интеллигенции, в которой как раз на пороге 70-х годов начали назревать настроения, вскоре вылившиеся в бурное движение, известное под названием «хождения в народ».

С переселением за границу и деятельность самого Лаврова приобретает все более «партийный» характер. По соглашению с петербургским кружком «чайковцев»[181] (о них — смотри ниже), возникшим под его же влиянием, он приступает в июле 1873 г. к изданию сборников «Вперед!»[182] (всего вышло до 77 года 5 томов), а с 1875 года — еже-двухнедельной газеты под тем же названием. Так впервые возникает эмигрантская пресса, непосредственно связанная с организациями, действующими в России. Такая связь становится возможной потому, что в качестве посредствующего звена, обеспечивающего доставку материала, обмен мнений и непрерывное идейное общение, действуют члены многолюдных эмигрантских «колоний», возникающих в разных городах Европы (главным образом в Швейцарии) из людей, бегущих от тех жестоких преследований, которые, как мы уже упоминали, обрушились на интеллигенцию с начала 60-х годов, и

---

* В своей биографии Бакунина М. П. Драгоманов его объявляет родоначальником русских «профессиональных революционеров», говоря, что в период 1840–1847 гг. Бакунин «стал родоначальником тех русских людей, которые в политических процессах в 70–80-е годы на вопрос: чем занимаетесь? — отвечали: "революционными делами", и вне этих дел действительно ничем не способны были заниматься».

Верно тут то, что Бакунин лично оказался первым «профессиональным революционером» русского происхождения. Но «революционные дела», которыми он занимался в 40-х годах, были не столько русскими, сколько общеевропейскими. Непосредственного отражения или продолжения в России его «профессионально-революционная» деятельность тех лет не имела. Как увидим ниже, лишь к 70-м годам Бакунин, ставший к тому времени анархистом, приобретает заметное влияние на движение русской интеллигенции.

из молодежи, главным образом женской, ищущей за границей той университетской науки, которая в России была недостаточно свободной или доступ к которой ей был в России закрыт*.

В своей литературной работе за границей Лавров, разумеется, остается верен тем основным идеям, которые он развил в «Исторических письмах», и тем «народническим» взглядам, которые в то время были почти всеобщим достоянием русской интеллигенции. Но в эмиграции его работа протекает под сильнейшим воздействием европейского рабочего движения, в тесное соприкосновение с которым он вошел, и «марксизма», идеологически господствовавшего в то время в Интернационале, членом которого он стал. Под этим воздействием его философские и социологические взгляды становятся еще более эклектичными; его «народнические» установки видоизменяются и осложняются по существу чуждыми им «марксистскими» элементами; его политическая линия лишается определенности и последовательности, становится колеблющейся. И все это оказывается не личной лишь особенностью Лаврова, а выражением того нового, что именно с этого времени начало вносить в идейное развитие широких слоев русской интеллигенции влияние новых форм западноевропейского рабочего движения и пролетарского социализма — влияние, проводником которого стал Лавров и «лавристы»: «У лавристов было хорошо хоть то, что они изображали не в превратном виде западноевропейское рабочее движение», — констатировал ретроспективно родоначальник русского марксизма и русской социал-демократии Г. В. Плеханов («Русский рабочий в революционном движении»).

Эмигрантская публицистика Лаврова играла роль канала, по которому в русское революционное движение вливались идеи западноевропейского социализма. Но, с другой стороны, именно благодаря своей «партийной» связанности с этим движением, она стала чувствительным регистратором и тех сменявших друг друга фаз, которые оно проделывало под давлением русской действительности. За три десятка

* Исключительную роль в революционном движении России 70-х годов сыграл женский студенческий кружок Цюрихского университета, из которого вышли самые знаменитые русские революционерки — Бардина, сестры Любатович, три сестры Фигнер, старшая и наиболее прославленная из которых, Вера, оставила свои воспоминания о свыше чем 20 годах, проведенных ею в заточении в Шлиссельбургской крепости, переведенные на все языки. Членов этого кружка называли «Фричами» — по имени хозяйки дома, в котором жило большинство из них.

лет эмигрантской работы Лаврова движение это, как увидим, пережило немало колебаний и зигзагов, расхождений и схождений, моментов подъема и упадка, кризисов старой идеологии и нарождения новой. Специфический эклектизм мышления Лаврова очень облегчал ему приспособление ко всем этим последовательным фазам движения, но еще больше лишал целостности его политическую позицию. В дальнейшем мы вкратце отметим этапы политической эволюции Лаврова в 80-е и 90-е годы. Но — после «Исторических писем» — подлинное историческое дело Лаврова составляет его работа над подведением теоретического фундамента под ту практическую деятельность, к которой революционное народничество перешло в 70-е годы. Этой работе, главным образом, и посвящены сборники и газета «Вперед!»

«Вперед!» ставил себе задачей быть органом социальной революции. Программа газеты провозглашала: «Социальный вопрос для нас вопрос первостепенный. Вопрос политический для нас подчинен вопросу экономическому». Эта социальная революция может и должна быть совершена только самим народом: «перестройка русского общества должна быть совершена не только с целью народного блага, не только для народа, но и посредством народа». Но народные массы к такой «перестройке» еще не готовы. Поэтому «разом торжество наших целей осуществиться не может, для него нужна подготовка, ясное понимание возможного в данную минуту». Эта подготовка и является тем «долгом», который «образованное меньшинство», интеллигенция обязана уплатить народу.

Задача интеллигенции состоит, прежде всего, в работе над созданием в среде самих народных масс ядра сознательных социалистов: «первым условием подготовки социальной революции в России должна быть организация революционного меньшинства, понимающего задачи рабочего социализма, в среде общинных и артельных центров русского народа». И в № 4 газеты поясняется роль этого «революционного меньшинства»: «В целой истории не происходило ни одного вполне сознательного движения. Полное сознание цели и средств существовало в небольших группах и отдельных единицах... Когда сознательные, полусознательные и сочувствующие слои объединятся в крепкую организацию, то в минуту взрыва к ним неизбежно пристанет масса страдающая».

Но, строя «крепкую организацию», интеллигенция должна слиться в ней с «революционным меньшинством», выходящим из самой

«страдающей массы», должна сама стать участницей «общинных и артельных центров русского народа»: надо, чтобы интеллигентская пропаганда «шла не извне привычных центров народной солидарности, а изнутри их», и чтобы «призыв к революции», когда для него наступит время, исходил «от людей, которые ему (народу) “свои” по старой жизненной солидарности». Революция была делом будущего. И потому «в данную минуту» программа «Впереди!» была программой длительного, оседлого «поселения» интеллигенции среди народных масс в целях систематической пропаганды социализма, — того «нравственного идеала», о котором говорили «Исторические письма», и создания «крепкой организации» для ведения такой пропаганды.

Войдя в круговорот идей европейского рабочего социализма, Лавров вскоре усвоил и три основных «марксистских» положения его: социализм возникает на экономической и социальной почве, подготовляемой капитализмом; демиургом социалистической революции является рабочий класс; рабочий класс всех стран связан узами международной солидарности.

Конечно, община, по-прежнему, остается той самобытной общественной формой, которая может непосредственно перейти в форму высшую, социалистическую. Но в то время, как для пионеров «народничества» путь к социализму через общину был антитезой пути к нему через капитализм, в учении Лаврова антитеза эта все больше сглаживается. И к 1876 году «Вперед!» (№ 27) уже определенно заявляет: «Итак, в России пышно и быстро развивается капиталистический строй со всеми его последствиями. Социальный переворот сам собою подготовляется у нас, как во всем «цивилизованном» мире, самыми успехами капиталистического строя».

Придти к такому выводу Лаврову было тем легче, что к этому времени огромные экономические завоевания, делаемые капитализмом в России, и разлагающее влияние его на старые формы экономического и социального уклада, в том числе и на общину, стали уже слишком очевидными фактами, с которыми, волей-неволей, приходилось считаться и русской интеллигенции, и русской литературе. Мы еще увидим ниже, как стройное здание «народнического» мировоззрения стали бороздить трещины, предвещавшие его близящееся падение и пронизывавшие противоречиями теоретическую работу его эпигонов (Николай К. Михайловский, Василий П. Воронцов[183] и др.); как талантливейшие беллетристы-народники

(особенно Глеб Успенский[184]) стали резко отгораживаться от тех общинно-крестьянских идиллий, которые живописали их непосредственные предшественники (Златовратский[185] и др.), и беспощадно разоблачать нарастающую власть «купона», торжество «кулака» и «мироеда» в деревне и прогрессирующее разложение и вырождение общины; как под влиянием неумолимых фактов действительности стали расходиться, раскалываться и вступать во взаимную борьбу едва только родившиеся революционные организации. Этот хаос противоречивых и сталкивающихся друг с другом идей и пытался охватить и систематизировать Лавров в своеобразной амальгаме новых «марксистских» взглядов со старыми «народническими»*.

Амальгама достигается тем, что на первый план выдвигаются самобытные особенности той русской почвы, на которую падают семена капиталистического развития. Эти особенности заключаются «в живой общественной единице мелкой поземельной общины и в живой общественной единице подвижной рабочей артели»: благодаря им русский народ и является априори «подготовленным к развитию социалистического общежития». Но благодаря им меняется и социальная субстанция того «рабочего класса», который призван совершить социалистическую революцию. В Западной Европе это — фабрично-заводской пролетариат; в России — это, главным образом, рабочие примитивного, ручного и ремесленного труда (плотники, грузчики, сельскохозяйственные рабочие и т. п.), объединяющиеся в вольные и «подвижные», кочующие по всей стране «артели» и еще больше, чем эти рабочие, рабочие земли — крестьяне. Они разрознены и разбросаны по всей стране, друг с другом не связаны. Но именно поэтому исключительное значение приобретает социалистически настроенная интеллигентская молодежь. Дело ее «социально-революционного союза» заключается в «организации связи между сельским населением, одинаково страждущим в разных частях России, но лишенным солидарности» (сборник «Вперед!», т. 4).

Уже в первом сборнике «Вперед!» Лавров писал: «Для русского социалиста почва, на которой может развиться будущность большинства русского населения в том смысле, который указывается общими задачами нашего времени, есть крестьянство с общинным землевладением».

---

* «Он был, так сказать, народником в марксизме или марксистом в народничестве», характеризует Лаврова этой эпохи проф. К. А. Пажитнов (цит. соч.).

А через год, во втором томе этих сборников, он с еще большею категоричностью утверждал: «Наша социальная революция должна выйти не из городов, а из сел». И, отвергая всякие расчеты на революцию «буржуазную», прибавлял: «Наша буржуазия поземельных собственников, торговцев и промышленников не имеет политической традиции, не сплочена в своей эксплуатации народа, сама страждет от притеснения администрации и не развила в себе исторической силы».

«Народническая» переработка «марксистских» идей европейского рабочего социализма придавала этим идеям ту форму, в которой они только и могли, в условиях тогдашней русской действительности, становиться достоянием сколько-нибудь широких кругов революционной интеллигенции. Но в этой действительности не было еще ни малейших элементов для возникновения чего-либо похожего на те национальные, массовые и классовые, социалистические партии пролетариата, пионером и образцом которых стала после франко-прусской войны 1870–71 г.[186] германская социал-демократия.

Партии такого типа были естественным продуктом развития передовых капиталистических стран Европы. Они требовали новых форм международной связи, которым уже не мог удовлетворять основанный Марксом Интернационал, фактически ликвидированный к 1872–3 году, и лишь сравнительно медленно закладывали фундамент нового, Второго, Интернационала, окончательно организованного лишь в 1889 году[187]. Но с точки зрения Лаврова тех лет, образование национальных партий противоречило тому идеалу международной связи рабочих, игнорирующей государственные границы, в котором он только и представлял себе осуществление принципа интернациональной пролетарской солидарности. Образование национальных партий, по его мнению, отодвигало «на второй план агитацию в пользу международного союза пролетариата для повсеместной борьбы против его врагов соединенными силами» («Вперед!», т. 4).

Но еще более критически относится Лавров к той политической работе, которая, собственно, и становится настоящей задачей социалистических партий. Их борьба за национальную независимость, за власть в государстве, за большинство в законодательных учреждениях, за всеобщее избирательное право и т. д., и еще более компромиссы и соглашения, в которые они вступают в интересах этой борьбы с партиями буржуазного радикализма, — все это оказывается неприемлемым для Лаврова, который упорно держится за традиционное от-

рицание «политики». И, применительно к России, программа газеты «Вперед!» категорически заявляет: «Все политические партии с их конституционными идеалами более или менее либерального свойства, всякая попытка заменить централизованную и буржуазную империю централизованной и буржуазной республикой, заменить существующее распределение территорий другими распределениями с другими центрами и другими законами — все это нам враждебно в своем основном строе и индифферентно для нас в своем проявлении... В русской конституционной партии по европейскому образцу мы видим вообще своих прямых врагов, с которыми нам придется бороться при первой возможности серьезного столкновения партий в России».

Но и линию «аполитизма» Лавров до конца не доводит. В № 21 газеты, возражая одному из «конституционалистов», он продолжает призывать к «противодействию всеми силами той партии, которая уверяет, будто, избавившись от императорского самодержавия, народ русский поправит свое положение», но мотивирует свою позицию уже тем, что для масс народа невыносимо «не только» самодержавие, но «в еще большей степени экономический порядок», и что поэтому «нам, социалистам-революционерам* приходится "одновременно" стремиться к разрушению "и политического, и экономического строя в нынешней России"».

Позиция Лаврова в вопросе об отношении к политике и государству становится еще более шаткой, когда она попадает под обстрел «антигосударственника», анархиста Бакунина, с одной стороны, ярого «государственника», якобинца Ткачева[188] (о них — ниже), с другой. Стоя в общем на позиции Бакунинского «отрицания» государства, Лавров вскоре начал делать уступки и «государственникам», создав теорию о «необходимом», хотя и все уменьшающемся, «минимуме» государственности, которая может быть совершенно устранена лишь после полного торжества социалистической революции. Как рассказал об этом впоследствии сам Лавров («Народники-пропагандисты 1873–78 гг.»), «в России признание необходимого

* Это словосочетание, ставшее впоследствии названием партии, возникшей уже после смерти Лаврова, употреблено здесь, сколько нам известно, впервые. Это стоит отметить потому, что в основу взглядов будущей «партии социалистов-революционеров» (о ней — ниже) легло народничество именно в его Лавровской интерпретации.

в каждую данную минуту минимума государственной власти вызвало неудовольствие не только в рядах бакунистов, но и во многих передовицах, оставшихся в теории при "принципах анархизма"». Это «неудовольствие» было в числе причин, приведших к выходу Лаврова из редакции «Вперед!» (1876 г.), а вскоре и к прекращению газеты.

Работой «Вперед!» кончается, собственно говоря, период творчества и инициативной роли Лаврова в развитии идей демократии и социализма в России. Он и в дальнейшем, до самой смерти, оставался уважаемым «учителем» целых поколений русской интеллигенции и не прекращал своей литературной и политической работы. Но эта работа сводилась больше к повторению старого, чем к прокладыванию новых путей. Она к тому же не отличалась последовательностью: в ней, сменяя друг друга, выдвигались на первый план то те, то другие из противоречивых элементов Лавровского миросозерцания.

Мы увидим в дальнейшем, как и в каких формах эти элементы претворялись в революционную работу действовавших в России организаций. Отношение самого Лаврова к этим организациям менялось. Когда возникшая было общенародническая организация «Земля и воля»[189] распалась на аполитический, тяготевший к анархизму «Черный передел»[190] и на подчеркнуто политическую, боевую «Народную волю»[191], Лавров примкнул к «Черному переделу», а в 1880 г. объединился даже с эмигрировавшим за границу «чернопередельцем» Плехановым, будущим родоначальником русского марксизма, для совместного издания «Социально-революционной библиотеки»[192]. Но когда после наивысшего подъема своего (убийство Александра 2-го 1/13 марта 1881 года) «Народная воля» начала клониться к упадку, Лавров перешел в ее ряды и с 1883 по 1886 год редактировал в Париже, вместе с Львом Тихомировым[193], «Вестник Народной воли»[194]. В 1895 году Лавров выступил с нападками на русских марксистов-социал-демократов, только что выступивших на русскую политическую арену и вызвал резкую отповедь со стороны молодого Ленина.

3. Михаил Бакунин

Историческим антагонистом П. Л. Лаврова в «народническом» движении оказался Михаил Александрович Бакунин (18.5.1814–1.7.1876). Теоретические позиции Лаврова были слишком эклектичны, чтобы провести ясную борозду между «лавризмом» и «бакуниз-

мом» в 60-е годы идеологического оформления движения. Тем отчетливее сказался водораздел между ними, когда в 70-е годы движение перешло к практической революционной работе.

Бакунин был видным членом московских кружков 30-х годов и принадлежал к тому же кружку Станкевича[195], в который входил тогда и Белинский*. В значительной степени под его влиянием Белинский проделал в 1837–40 годах ту полосу увлечения Гегелем в его «правом» истолковании, «примирения с действительностью» и апологетического отношения к русскому царизму, о которой он сам потом вспоминал с отвращением.

В 1840 году Бакунин выезжает за границу и целиком погружается в европейскую жизнь. Его революционная работа становится кипучей и многообразной, его биография — драматичной. Но в течение почти четверти века он не оказывает сколько-нибудь заметного непосредственного влияния на формирование идей демократии и социализма в России. Мы можем поэтому лишь в самых общих чертах коснуться этого периода его жизни.

За границей Бакунин очень скоро перешел с «правого» фланга гегельянцев на «левый» и в 1842 году поместил в «Немецких ежегодниках» («Deutsche Jahrbucher») «младогегельянца» Арнольде Руге[196] статью «Реакция в Германии» (с подзаголовком «заметки француза» и за подписью Жюль Элизар — Jules Elizard), заканчивающуюся характерной для всего будущего развития Бакунина прославленной фразой: «Страсть к разрушению есть творческая страсть».

В предреволюционные 40–47 годы Бакунин завязывает связи с самыми разнообразными кругами радикалов, революционеров и конспираторов всех стран Европы, но все больше увлекается польским вопросом и, через польский, общеславянским. В ноябре 1847 года, в годовщину польского восстания 30 года, он произносит в Париже речь, в которой призывает поляков и русских объединиться в общей революции против режима Николая 1-го и тем положить начало освобождению и всех других славянских народов. В 1848 году он участвует в славянском съезде в Праге и оказывается одним из руководи-

* Об этом кружке Герцен впоследствии говорил: «между нашим кругом и кругом Станкевича не было большой симпатии. Им не нравилось наше почти исключительно политическое направление, нам не нравилось их почти исключительно умозрительное. Они нас считали фрондерами и французами, мы их — сентименталистами и немцами».

телей так называемого «святодуховского» восстания (по дню Св. Духа, 12 июня). В составленном им «Воззвании к славянам» славянская революция трактуется лишь как часть общеевропейской демократической революции.

После подавления пражского восстания Бакунин бежит в Германию и здесь, благодаря своим революционным связям, опять оказывается, неожиданно для самого себя, во главе восстания, вспыхнувшего 4 мая 1849 года в Дрездене. Следует его арест; заточение в Кенигштейнской крепости; в апреле 50 года смертный приговор с заменой пожизненным заключением; выдача австрийскому правительству; новый смертный приговор; новая замена пожизненным заключением; и наконец, в 1851 году выдача России, по настойчивому требованию Николая 1-го, рассчитывавшего выжать из Бакунина данные о предполагаемом новом «польском заговоре».

В тюремном заключении Бакунин пишет «Исповедь» — поразительный человеческий документ, ставший известным лишь через полвека после его смерти: действительные мысли автора искусно смешаны здесь и маскированы ложью, имевшей целью провести царя и добиться освобождения. Но так как Бакунин не мог дать тех конкретных сведений о «польском заговоре», которых от него добивались, то «Исповедь» остается безрезультатной, и Бакунин проводит почти 6 лет в одиночном заключении — сначала в Петропавловской крепости, потом в Шлиссельбургской. Лишь в феврале 1857 года прошение о помиловании, адресованное Александру 2-му, приносит ему замену тюремного заключения поселением в Томске, городе Западной Сибири. Новыми обращениями к царю он добивается дальнейшего облегчения своей участи и получает возможность поступить на службу к своему дяде, Н. Н. Муравьеву-Амурскому[197], генерал-губернатору Восточной Сибири.

Полный иллюзий насчет открывающихся перед ним возможностей реформаторской работы, Бакунин так входит в свою новую роль государственного чиновника, что вызывает неудовольствие и даже подозрения у своих прежних друзей. Но иллюзии вскоре сменяются разочарованием, и в 1861 году Бакунин бежит за границу — в Лондон, к Герцену и Огареву, с которыми пытается сотрудничать. Польское восстание 1863 года он расценивает как пролог всероссийской и всеславянской революции. Он настойчиво убеждает Герцена и Огарева защищать дело повстанцев, а сам с головой уходит в него и

занимается организацией добровольческого корпуса для экспедиции в Польшу. Провал этого начинания побуждает его покинуть Англию и переселиться в Италию.

Годы, проведенные в Италии (1864–67), являются решающими в идейной биографии Бакунина. Здесь окончательно формируются его взгляды, которые делают его одной из самых видных фигур европейского и мирового анархизма. Здесь его революционная работа окончательно ориентируется на трудящиеся массы и приобретает определенно интернациональную окраску. И здесь же созревают те элементы его учения, которые дают ему весьма заметное, временами преобладающее, влияние на идеологию русского революционного движения 70-х годов.

Еще живя в Италии, он набрасывает планы и программы «Всемирной ассоциация интернациональных братьев». Переселившись в Швейцарию, организует «Международный альянс социалистической демократии»[198] с анархистской программой и в духе этой программы составляет 1-й номер «Народного дела»[199], основанного в 1868 г. в Женеве Н. И. Жуковским*[200]. Он объявляет о роспуске «Альянса», когда это оказывается необходимым для вступления в Интернационал (1863 г.) через Женевскую секцию его, но на деле сохраняет свою особую организацию, как тайное сообщество внутри Интернационала, и начинает ту систематическую борьбу против возглавляемого Марксом и Энгельсом Генерального Совета[201], которая приводит в 1872 г. к исключению его и французского анархиста Гильома[202], но одновременно к распаду и фактической ликвидации самого Интернационала.

В 1869 году Бакунин сближается с бежавшим за границу Нечаевым[203] (см. ниже) и принимает горячее участие в его авантюристских предприятиях, но вскоре с ним порывает. 1870 год видит Бакунина участником восстания лионских рабочих. В 1871 году он принимает участие в деятельности Парижской Коммуны. За 1871–

* Со второго выпуска (№ 2–3) редакция «Народного дела» переходит в руки Николая Утина, считающего себя марксистом, и в третьем (№ 4–5) журнал объявляет себя солидарным с Интернационалом. Возглавляемая Утиным «русская секция» поручает свое представительство в Генеральном Совете самому Карлу Марксу, «имя которого слишком хорошо известно всем тем из русских, которые хоть сколько-нибудь следят за социальным движением». «Марксизм» Утина не мешал «Народному делу» под его редакцией занимать в вопросах русской революции позицию, мало чем отличавшуюся от народничества Лавровского типа.

74 гг. он пишет два главных своих теоретических труда — «Кнуто-германская империя» и «Государственность и анархия»; участвует в Испанском (1873 г.) и Итальянском (1874 г.) восстаниях, везде терпит неудачи и, усталый и разочарованный, умирает 1-го июля 1876 г. на больничной койке в Берне.

И в качестве анархиста Бакунин является скорее фигурой международного и европейского революционного движения (в частности, движения романских стран), чем русского*. Влияние идей анархизма не раз сказывалось в предреволюционные годы в обеих ветвях русского социалистического движения — народнической («максимализм») и марксистской (т. н. «махаевщина»[204]). И в эти годы и в годы революций 1905 и 1917 годов давали о себе знать и чисто анархистские организации (в частности, в крестьянском партизанском движении эпохи гражданской войны на юге России: организация Махно[205] и другие). Но в общем анархизм, как законченная система, всегда был лишь периферийным явлением в русском освободительном движении и большой роли в развитии русской демократической и социалистической мысли не играл. Тем большую роль в ее развитии — и именно в описываемые годы — играли отдельные элементы анархистской идеологии, в особенности — элементы того учения о государстве, которое является краеугольным камнем теории анархизма и разработке которого была, главным образом, посвящена литературная работа Бакунина в последнее десятилетие его жизни.

Государство есть та сила, которою господствующие и имущие классы держат в повиновении и порабощении народные массы. Надо разрушить государство, чтобы развязать дремлющие в этих массах творческие силы и дать им возможность через безгосударственность и безвластье, через хаос анархии придти к новой, свободной организации общества: «Мы призываем анархию, убежденные, что из этой

* То же можно оказать и о другом видном русском теоретике анархизма, князе Петре Александровиче Кропоткине (1842–1921). Кропоткин примкнул к бакунистскому крылу Интернационала в 1872 г. во время своей поездки за границу. После краткого пребывания на родине он в 1876 г. окончательно эмигрировал и свыше 40 лет прожил сначала в Париже, потом в Лондоне. Там он написал и крупные работы свои, главная из которых озаглавлена «Хлеб и Воля» (французский оригинал — «Завоевание хлеба»). Вернувшись в 1917 году, в возрасте 75 лет, в Россию, Кропоткин активной роли в революции не играл, но по своим гуманитарно-освободительным симпатиям фактически прислонялся к ее умеренно либеральному флангу.

анархии, то есть полного выражения разнузданной народной жизни, должны выйти свобода, равенство, справедливость, новый порядок», писал Бакунин в «Народном деле».

Путь к социальной революции идет не через овладение государством, а через разрушение его, доказывает «Государственность и анархия»: «государство, с одной стороны, социальная революция, с другой — вот два полюса, антагонизм которых составляет самую суть настоящей общественной жизни в целой Европе». А заключительная фраза этой страстно написанной книги, дающая квинт-эссенцию взглядов Бакунина на социальную революцию, гласит: «На пангерманском знамени написано: удержание и усиление государства во что бы то ни стало; на социально-революционном же, на нашем знамени, напротив, кровавыми буквами начертано разрушение всех государств, уничтожение буржуазной цивилизации, вольная организация снизу вверх посредством вольных союзов — организация разнузданной чернорабочей черни, всего освобожденного человечества, создание нового общечеловеческого мира».

Мы еще остановимся ниже на той стороне воззрений Бакунина, на которую намекают слова о «разнузданной чернорабочей черни». Но цитированная только что фраза подчеркивает другой, весьма важный элемент взглядов Бакунина-анархиста: «антигерманизм» этого бывшего «сентименталиста и немца», его убеждение в том, что именно германскую нацию история сделала знаменосцем ненавистной ему «государственности» (обоснованию этого убеждения он посвятил свою книгу о «Кнуто-германской империи»). Этому убеждению, созревшему в обстановке прусской победы 70–71 гг., сделавшей Германскую империю гегемоном Европы, противостоит другое убеждение — в том, что, наоборот, носителем «антигосударственного» знамени история сделала славян.

Мы видели, что интерес к славянскому вопросу Бакунин питал издавна. Но в 40-х годах он видел в польской, чешской и других славянских революциях лишь весьма важные и необходимые звенья в цепи европейских общедемократических революций. В 1863 году польское восстание показалось ему предвестником революции всероссийской. Теперь он подходит к славянскому вопросу с совершенно другой стороны — со стороны «антигерманской» миссии славянства.

Миссия эта отнюдь не заключается в том, чтобы «пангерманизму» противопоставить «панславизм». Наоборот, резко критикуя идею «создания великого царства славянского под державой русского царя», Бакунин категорически заявляет: «Мы столько же отъявленные враги

панславизма, сколько и пангерманизма». В стремлении австрийских и других славян противопоставить «ненавистному для них пангерманизму... другую отвратительную нелепость, другой не менее свободопротивный и народоубийственный идеал — панславизм» он видит лишь доказательство тому, «до какой степени эта проклятая немецкая цивилизация, по существу своему буржуазная и поэтому государственная, успела проникнуть в души даже патриотов славянских».

Действительная «антигерманская» миссия славянства состоит, по Бакунину, в несении Европе и всему человечеству начал «антигосударственности»: «по всей природе и по всему существу своему славяне решительно племя не политическое, то есть не государственное... Славяне никогда сами по себе, своею собственной инициативой государства не слагали. А не слагали они его потому, что никогда не были завоевательным племенем. Только народы завоевательные создают государство и создают его непременно себе на пользу, в ущерб покоренным народам... Славяне были по преимуществу племенем мирным и земледельческим».

Последняя фраза напоминает, что источника добродетелей славянства и пороков германства Бакунин искал не в расовом различии их, а в различии их социальной истории. Но эта же фраза бросает свет на то место, которое теория «антигосударственности» занимает в мировоззрении Бакунина-анархиста, но и деятельного участника международного движения рабочего класса капиталистических стран. Это место очерчивает Мартов, когда говорит (цитированное сочинение): «Бакунизм является попыткой сочетать классовое движение современного пролетариата с инородным ему протестом тех слоев крестьянства, которые уничтожал и в конце концов уничтожил или совершенно преобразил капитализм в 19-м веке — уничтожил, главным образом, силами современного буржуазно-демократического государства»*. Именно поэтому, в не раз уже подчеркнутых условиях русской социальной действительности, бакунизм и мог так легко

* Этим действительным историческим смыслом «антигосударственной» проповеди объясняется, почему наибольший успех бакунизм имел отнюдь не в славянских странах, в большинстве своем наиболее отсталых и стоявших в стороне от большой дороги капиталистического развития Европы. Наибольшие победы бакунизм одерживал в ближайшие десятилетия в романских странах, где капитализм успел уже проявить все разрушающее воздействие свое на старый уклад крестьянской и общенародной жизни, но не успел еще демонстрировать присущие ему громадные производственные возможности.

стать идеологией значительной части интеллигенции, собиравшейся приступить к активной революционной работе.

Правда, и этою частью интеллигенции «антигосударственность» воспринималась не столько в том принципиальном и универсальном смысле, какой она имела для самого Бакунина и единомышленных ему западноевропейских анархистов, сколько в ограниченном значении санкции тех расчетов на социалистические возможности русской общины и того аполитизма, которые были присущи огромному большинству демократической интеллигенции того времени. Ее настроениям вполне отвечали филиппики «Государственность и анархия» против конституционализма: «Нужно быть ослом, невеждой, сумасшедшим, чтобы вообразить себе, что какая-нибудь конституция, даже самая либеральная и самая демократическая, могла бы изменить к лучшему отношение государства к народу; ухудшить, сделать его еще более обременительным, разорительным, пожалуй, — хотя и трудно, потому что зло доведено до конца, но освободить народ, улучшить его состояние — это просто нелепость».

Менее отчетливы высказывания Бакунина-анархиста об общине. Ведь, согласно универсальной теории «антигосударственности», везде достаточно разбить государственные цепи, сковывающие народные массы, чтобы их освобожденные творческие силы начали немедленно, снизу вверх, строить новый порядок «свободы, равенства, справедливости»: русское общинное крестьянство в этом отношении исключения не составляет. Но все же Бакунин указывает три «положительных» черты общинного «идеала», облегчающие русскому народу усвоение идей социальной революции. Это, во-первых, убеждение, что вся земля принадлежит народу. Это, во-вторых, убеждение, что право на пользование землею принадлежит не отдельным лицам, а целой общине, миру. Это, наконец, «квазиабсолютная автономия, общинное самоуправление и, вследствие того, решительно враждебное отношение общины к государству». Правда, эти «положительные» черты искажаются «отрицательными»: патриархальностью, поглощением личности миром, верой в царя. Но борьба с этими отрицательными чертами и составляет задачу революционеров.

Как видим, при всех характерных для Бакунина оттенках его взгляды на общину, «политику» и даже государство принципиально не настолько отличались от взглядов Лаврова, чтобы отделить пропастью «бакунистов» от «лавристов» в практическом революционном движении. Более определенно выступает расхождение

между Бакуниным и Лавровым в вопросе о движущих силах социальной революции. Правда, и тут, возлагая свои надежды на Западе на «мир рабочих», он, как и Лавров, в России возлагает их преимущественно на «мир мужицкий» (письмо к Герцену от 28 октября 1869 г.). Но в свете его анархистского мировоззрения оба эти «мира» — и рабочий, и мужицкий — получают совершенно иные очертания, чем у Лаврова.

С экономическими теориями Маркса Бакунин соглашается настолько, что берется даже за перевод на русский язык 1-го тома «Капитала»[206]. «Одну из главных научных заслуг г. Маркса» он видит в том, что, в противоположность Прудону, Маркс «доказал несомненную истину, ...что экономический факт всегда предшествовал и предшествует юридическому и политическому праву». Правда, как показывает его учение о государстве, эту «несомненную истину» он понимал совсем не по-«марксистски», и в пункте о завоевании рабочим классом государства еще гораздо резче и определеннее, чем Лавров, расходился с Марксом и его последователями: «Мы уже несколько раз высказывали глубокое отвращение к теории Лассаля[207] и Маркса, рекомендующей работникам, если не как последний идеал, то, по крайней мере, как ближайшую главную цель, основание народного государства», пишет он в «Государственности и анархии». «Если есть государство, есть и господство, следовательно, и рабство». И, в соответствии со своей общей ориентацией на крестьянство и, в особенности, «антигерманской» ориентацией на славян, он спрашивает: не станет ли в «народном государстве» объектом господства для рабочих «крестьянская чернь, как известно, не пользующаяся благорасположением марксистов», или, «положим, для немцев славяне»? И подходя к проблеме движущих сил социальной революции с этого конца, он решает эту проблему существенно иначе, чем решал ее Лавров.

Для Лаврова только в России «рабочий класс» принимает особый социальный облик; на Западе он видит основную силу социальной революции в том самом пролетариате крупной промышленности, на который рассчитывает и Маркс: Лавров критикует лишь тот политический, «государственный» характер, который как раз в эти годы начинает принимать борьба социалистических партий не в одной только Германии. Анархист Бакунин на этом не останавливается. От критики тактики он сейчас же переходит

к принципиальному утверждению, что движущей силой социальной революции являются вовсе не фабрично-заводские рабочие, составляющие органическую часть капиталистического общества, а социальные отбросы этого общества, получившие полупрезрительную кличку «лумпенпролетариат». Поэтому, ядовито высмеивая «буржуазность» и «мещанство» квалифицированных рабочих крупной промышленности, Бакунин утверждает, что, например, «отсталая» Италия гораздо ближе к социальной революции, чем «передовая» Германия, именно потому, что «в Италии преобладает тот нищенский пролетариат, о котором гг. Маркс и Энгельс, а за ними и вся школа социальных демократов в Германии, отзываются с глубочайшим презрением и совершенно напрасно, потому что в нем и только в нем, отнюдь же не в вышеозначенном буржуазном слое рабочей массы, заключается весь ум и вся сила будущей социальной революции».

Но и в «мужицком мире» России Бакунин строил свои революционные перспективы в расчете не столько на рядовое крестьянство, сколько на выбитые из колеи, «деклассированные» элементы и крестьянства, и русского общества вообще.

Правда, в «Революционном катехизисе»[208], составленном им еще в 1869 году для измышленного Нечаевым, но в действительности никогда не существовавшего «Общества топора или народной расправы»[209], Бакунин говорит о «мужиках», как о действительных хранителях социалистических начал: «Конечно, мужики никогда не занимались измышлением форм будущего общинного быта, но тем не менее они, по устранении всего мешающего им, сумеют устроиться гораздо осмысленнее и лучше, чем то может выйти по всем теориям и проектам, писанным доктринерами социалистами, навязывающимися народу в учителя, а главное — в распорядители». Но, чтобы «устранить все мешающее», нужна «народная революция» — не «регламентированное движение по западноевропейскому образцу — движение, которое всегда, останавливаясь перед собственностью и традициями общественных порядков так называемой цивилизации и нравственности, до сих пор ограничивалось везде низвержением одной политической формы для замещения ее другою... Нет, спасительной для народа может быть только та революция, которая уничтожит в корне всякую государственность и истребит все государственные традиции России».

Но кто же совершит эту «спасительную революцию», после которой «мужики» только и смогут начать устраиваться «осмысленно»? «Катехизис» отвечает без экивоков: «Наше дело — страшное, полное, повсеместное беспощадное разрушение. Поэтому, сближаясь с народом, мы прежде всего должны соединиться с теми элементами народной жизни, которые со времени основания московской государственной силы не переставали протестовать не на словах, а на деле против всего, что прямо или косвенно связано с государством: с диким разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России. Сплотить этот мир в одну непобедимую, всесокрушающую силу — вот вся наша организация, конституция, задача».

Значение «разбойников» в русской «народной революции» Бакунин поясняет в воззвании «Постановка революционного вопроса», написанном им приблизительно в то же время, что и «Катехизис»: «Кто не понимает разбоя, тот ничего не поймет в русской народной истории... Тот принадлежит к лагерю врагов-государственников... Прекращение разбоя означало бы или окончательную смерть народа или полное освобождение его... Разбойник в России настоящий и единственный революционер... В тяжелые промежутки, когда весь крестьянский рабочий мир спит, кажется, сном непробудным, задавленный всею тяжестью государства, лесной разбойничий мир продолжает свою отчаянную борьбу и борется до тех пор, пока русские села опять не проснутся. А когда оба бунта, разбойничий и крестьянский, сливаются, порождается народная революция». И основной теоретический труд Бакунина «Государственность и анархия» резюмирует: «есть в русском народе лица, смеющие идти против мира: это разбойники. Вот почему разбой составляет важное историческое явление в России: — первые революционеры России, Пугачев и Стенька Разин, были разбойники»*.

Мы видим, до какой степени «элементы народной жизни», на которые ориентировался Бакунин, отличаются от тех «общинных и артель-

* В своих воспоминаниях («Пережитое и передуманное») П. Б. Аксельрод, тогдашний бакунист и будущий «патриарх русской социал-демократии», рассказывает трагикомический анекдот о том, как в 1874 г. он и одновременно будущая «бабушка русской революции», Е. К. Брешковская, отправились на поиски разбойника, оперировавшего в лесах южной России и, по газетным сведениям, грабившего богатых помещиков и евреев с тем, чтобы раздавать награбленное беднякам-крестьянам. Поиски успехом не увенчались.

ных центров русского народа», на которые рассчитывал Лавров! Но совершенно различным оказался поэтому и их подход к тем задачам, которые революционная работа ставила перед русской интеллигенцией.

Для Лаврова эта задача состояла в приобретении и передаче народу той социальной науки, которая поможет ему, через общину и артель, воплотить в жизнь «нравственный идеал социализма». Для Бакунина такого «идеала», который надо было бы «навязывать» народу «сверху», вообще не существует: «идеал» должен возникнуть «снизу», из революционного творчества самого народа. Поэтому задача интеллигенции состоит лишь в развязывании, раздувании, организации тех стихийных революционных порывов, которые имеются в народных массах, того антигосударственного бунта, который назревает в их недрах и предтечами которого являются «разбойники».

Для выполнения этой задачи не нужна наука: «Путь освобождения народа посредством науки для нас загражден», пишет Бакунин в 1870 году; «нам остается поэтому только один путь, путь революции». И отсюда вывод: «Итак, молодые друзья, бросайте скорее этот мир, обреченный на гибель, эти университеты, академии и школы, в которых стремились всегда разъединить нас с народом. Ступайте в народ! Там ваше поприще, ваша жизнь, ваша наука... Не хлопочите о науке, во имя которой хотели бы вас связать и обессилить. Эта наука должна погибнуть вместе с миром, которого она есть выражение. Наука же новая и живая, несомненно, народится потом, после народной победы, из освобожденной жизни народа».

Делая слепую массовую стихию действительным демиургом революции, Бакунин (программа «Интернациональных братьев») отводит личности весьма ограниченную роль: «Революции никогда не делались личностями, ни даже тайными обществами... Все, что может сделать хорошо организованное тайное общество, это... организовать — не армию (армией должен быть всегда народ), а нечто вроде революционного главного штаба, состоящего из преданных, энергичных, интеллигентных личностей..., способных служить посредниками между революционной идеей и народными инстинктами»*. Но существенный корректив в эти формулировки вносит прокламация «Начало революции», написанная Бакуниным в 1870 г.

* Устав «Интернациональных братьев» говорит: «Для интернациональной организации во всей Европе достаточно ста революционеров, сильно и серьезно сплоченных. Двух-трех сот революционеров будет достаточно для организации большой страны».

И здесь Бакунин настаивает на том, что революция, как «переворот радикальный», требует разрушения «всех без исключения» форм современной жизни и замены их «другими, новыми, совершенно противоположными», которые могут «произойти только из совершенной аморфности». Но — «поколения, предшествующие перевороту, заключают в среде своей личностей, не могущих удерживать страсти разрушения до наступления всеобщей борьбы, быстро отыскивающих врагов и не задумывающихся над их уничтожением». И, как бы давая санкцию тем актам единоличного террора, которые все учащались в России, Бакунин прибавляет: «Истребления высокопоставленных лиц, в которых воплощаются правительственные формы или формы экономического разложения, должны начаться с единичных деяний».

Но поколение интеллигенции, действовавшее в то время в России, было, с точки зрения Бакунина, именно поколением «предшествующим перевороту», и, обращаясь к нему, Бакунин говорит: «Данное поколение должно начать настоящую революцию, начать полное изменение всех условий жизни, т. е. данное поколение должно разрушить все существующее с плеча, без разбора, с единым соображением "скорее и больше"... Не признавая другой какой-либо деятельности, кроме дела истребления, мы соглашаемся, что формы, в которых должна проявляться эта деятельность, могут быть чрезвычайно разнообразны. Яд, нож, кинжал и т. п.!.. Революция все равно освящает в этой борьбе... Это назовут терроризмом!.. Пусть; нам все равно... Пусть же все здоровые молодые головы принимаются немедленно за святое дело истребления зла, очищения и просвещения Русской Земли огнем и мечем, братски соединяясь с теми, которые будут делать то же в целой Европе».

«В народ!» — этот лозунг впервые провозгласил в ноябре 1861 г. Герцен, когда, в связи со студенческими беспорядками, был занят войсками и закрыт Петербургский университет. Обращаясь к студентам, «от которых заперли науку», он писал: «В народ! К народу — вот ваше место, изгнанники науки. Покажите, что из вас выйдут не подьячие, а воины, но не безродные наемники, а воины народа русского». «В народ!» звали теперь одинаково и Лавров, и Бакунин. Но совершенно по-разному звучали их призывы и, что еще важнее, совершенно по-разному воспринимались теми, к кому эти призывы были обращены.

«Лавристы» шли в народ, чтобы помочь ему превратить в сознательные социалистические идеи те смутные и неопределенные коллективистские настроения и порывы, которые, как они предполагали,

рождал в трудящихся массах их общинный и артельный быт: сознательное усвоение социалистических идей должно было стать орудием масс в их сознательной борьбе за социалистический идеал. Наоборот, «бакунисты» шли в народ с тем, чтобы апеллировать не к сознанию его, а к его «инстинктам», чтобы пытаться всюду «раздувать» и мобилизовать для немедленного претворения в действие, в «бунт» все дремлющие в массах смутные порывы отчаяния, гнева, ненависти, мести — с уверенностью, что из хаоса страстей «разнузданной чернорабочей черни» сам собой, «снизу вверх» родится новый порядок, новое сознание и новый идеал «свободы, равенства, справедливости». Это различие не всегда отчетливо формулировалось теоретически и даже не всегда отчетливо сознавалось, но оно проводило совершенно ясную разграничительную черту между настроениями «пропагандистов» — лавристов и «бунтарей» — бакунистов.

Тут еще раз сказалось то противоречие между ориентацией на стихийность или рационализм, чувство или разум, характер или сознательность, в тисках которого была обречена развиваться мысль демократической интеллигенции и которое нашло такое яркое выражение в противопоставлении Добролюбов–Писарев. И теперь, почти в тех же Писаревских выражениях, только с обратным знаком, возражал Лаврову один из видных «бунтарей» Сергей Кравчинский[210]: «Не идей недостает народу. Всякий, кто много шатался по народу, скажет вам, что в его голове совершенно зрелы основы "элементарного" (конечно, не научного) социализма. Все, чего недостает народу, это страсти».

4. Петр Ткачев

Стремление преодолеть это противопоставление «идеи» и «страсти», слить воедино Писаревский рационализм с Бакунинским динамизмом характеризует позицию Ткачева, одинаково отличную от «пропагандизма» лавристов и анархического «бунтарства» бакунистов: «Анархия — как ближайшая, непосредственная цель революции, пропаганда — как практическое средство для ее осуществления, и, наконец, организация без дисциплины, иерархии и подчиненности, — разве все это не фантастические утопии, не ребяческие мечты?» — писал Ткачев в программе своего журнала «Набат»[211]. И он приходит к построению программы, которая и по своим ярко «политическим», «государственным» целям, и по реко-

мендуемым ею «якобинским» методам борьбы за эти цели вступает в резкое противоречие с теми мнениями и настроениями, которые до тех пор были общепринятыми в среде радикальной интеллигентской демократии.

Сын мелкого помещика, Петр Никитич Ткачев (1844–1885) с ранней юности входит в общественное движение того времени. Уже в 1861 году он попадает на несколько месяцев в Кронштадтскую крепость за участие в студенческих беспорядках. В 1862 году его, вместе с Писаревым, арестуют по упомянутому уже «делу Баллода»[212], и он снова проводит несколько месяцев в заключении — в Петропавловской крепости. В том же 1862 году 18-летний Ткачев печатает свою первую статью — юридического характера. С 1865 года он становится сотрудником Писарева по «Русскому слову», а после закрытия этого журнала по сменившему его в конце 1867 года «Делу»[213], главной публицистической силой которого он делается после смерти Писарева. В 1869 году он подвергается аресту по «Нечаевскому» делу[214] (см. ниже) и в 1871 приговаривается к 16 месяцам тюремного заключения с последующей ссылкой.

Вскоре Ткачев бежит за границу и, не прекращая до самого начала 80-х годов своего сотрудничества в «Деле» под различными псевдонимами, начинает свою эмигрантскую литературную работу. После неудачных попыток сотрудничества с Лавровым, он печатает в апреле 1874 года программную брошюру «Задачи революционной пропаганды в России», а с конца 1875 года до конца 1876 издает в Женеве, в сотрудничестве с близкой ему по взглядам группой польских эмигрантов (К. Турский[215], К. Яицкий и др.), журнал «Набат» с подзаголовком: «орган русских революционеров». Заболев в 1883 году психически, он умирает в Парижской больнице в 1885 году, 41 года от роду.

В «Русском слове» и «Деле» Ткачев проповедует индивидуализм и интеллектуализм в духе Писарева, но, в отличие от Писарева, концентрирует внимание «людей будущего» (параллель Писаревским «последовательным реалистам») не на естествознании, а на обществоведении. Сходясь в этом отношении с Лавровым, он, в отличие от Лаврова, не признает абсолютной ценности «нравственного идеала» и в статье «Люди будущего и герои мещанства», написанной в 1868 году, настаивает на праве каждого человека «относиться к предписаниям нравственного закона, при каждом частном случае его применения, не догматически, а критически». После появления «Исторических писем», он

подвергает резкой критике всю субъективную теорию прогресса, черпая аргументы для своей критики в спенсеровском позитивизме*[216].

Тяготение к Спенсеру показывает, сколько преувеличения было в утверждении одного из компетентных биографов Ткачева, Николая Ф. Анненского[217] («Энциклопедический словарь» бр. Гранат), будто, по своим социологическим воззрениям, он был «крайним и последовательным экономическим материалистом», то есть марксистом. Он был «марксистом» лишь в смысле признания самых общих основ того анализа и той критики капитализма, какие дал Маркс в своем экономическом учении, то есть в том самом ограниченном смысле, в каком «марксистами» были и Лавров, и Бакунин, и, можно сказать, вся русская революционная интеллигенция. Но его взгляды на экономическое и социальное развитие России были настолько «народническими», что именно в полемике с Ткачевым Фридрих Энгельс («Soziales aus Russland») дал ту критику народничества, которою впоследствии не раз пользовалась русская марксистская социал-демократия для борьбы против народнических традиций.

Не расходясь принципиально с Лавровым и Бакуниным в своих общих взглядах на крестьянскую общину, Ткачев не расходился с ними и в признании того разлагающего воздействия, которое начинает все сильнее оказывать на нее развивающийся в России капитализм. Но он делает отсюда иные и характерные для всей его позиции выводы.

В упомянутой уже программной брошюре своей он указывает на то, что «община уже начинает разлагаться», что в среде крестьянства вырабатывается «класс кулаков» и что вообще идет процесс образования «с одной стороны — весьма сильного консервативного класса крестьян, землевладельцев, с другой — денежной, торговой, промышленной буржуазии». И отсюда вывод: «Вот почему мы не можем ждать. Вот почему мы утверждаем, что революция в России настоятельно необходима и необходима именно в настоящее время; мы не допускаем никаких отсрочек, никакого промедления. Теперь или очень нескоро, может быть никогда! Теперь обстоятельства за нас, через 10, 20 лет они будут против нас».

---

* Статья эта («Что такое партия прогресса?»), написанная Ткачевым в тюремном заключении, света не увидела: она была конфискована государственной полицией, в архивах которой и была найдена ее рукопись после революции 1917 года.

«Теперь или очень нескоро, может быть никогда!» — выводом из этого, ставшего знаменитым лозунга было то, что «мы не можем ждать» ни пока пропаганда лавристов организует народные массы для сознательной борьбы за социалистический «идеал», ни пока на непрерывной цепи бакунинских «бунтов» возникнет тот хаос, та «совершенная аморфность», из которой родится «свобода, равенство и справедливость». Все это — относится к будущему, а революцию надо делать сегодня. Ее надо делать во имя тех целей, которые достижимы сегодня, и теми силами, которые имеются сегодня: «Вопросы будущего стушевываются, отходят на задний план. Я не хочу этим сказать, что мы должны совсем отказаться от их разрешения. Это было бы нелепо. Но мы не должны раздувать их важность настолько, чтобы делать из них барьер, разделяющий революционную партию настоящего... Потому на знамени революционной партии, партии действия, а не партии резонерства, могут быть написаны только следующие слова: борьба с правительством, борьба с установившимся порядком вещей, борьба до последней капли крови, до последнего издыхания».

Еще определеннее говорит о том же программа «Набата»: «Пользуйтесь минутами. Такие минуты не часты в истории. Пропустить их, значит добровольно отсрочить возможность социальной революции надолго, быть может, навсегда. Не медлите же!.. Довольно вам толковать все о “подготовлении”... Подготовлять революцию — это совсем не дело революционера. Ее подготовляют: эксплуататоры, капиталисты, помещики, попы, полиция, чиновники, прогрессисты и тому подобные... Революционер не подготовляет, а “делает” революцию. Делайте же ее! Делайте скорее! Всякая нерешительность, всякая проволочка — преступны... Вот почему мы и говорим: “Не уноситесь мыслью слишком далеко вперед, не отделяйтесь от данной действительности, стойте твердо на почве трезвого, разумного реализма. Не мечтайте, а делайте, делайте революцию и делайте ее как можно скорее!”»

Из этих положений и призывов программа делает безбоязненно и последний политический вывод. В разрез с Лавровым и Бакуниным с их решительным отрицанием самой идеи «народного государства», она заявляет: «Ближайшая непосредственная цель революции должна заключаться не в чем ином, как только в том, чтобы овладеть правительственной властью и превратить данное, консервативное государство в государство революционное». Программа подчеркивает, что деятельность этого государства «должна быть двоякая: революционно-разру-

шительная и революционно-устроительная». Она дает и лозунг: «Народная Дума», под которым должна вестись революционная борьба и который впоследствии сыграл свою роль в революции 1905 года.

В № 9 «Набата» Ткачев договаривает свою мысль до конца: «Политические реформы, постоянно отодвигаемые на задний план, в наше время более, чем когда-либо, необходимы... республика должна наконец перестать быть пустым звуком, обманчивым обещанием; ...пришла пора возвратиться к традициям 89 и 93 гг.» (то есть к традициям французского Национального Собрания 1789 и Конвента 1793 г.). Так в русском «якобинстве» возрождается Писаревский «буржуазный» радикализм, — возрождается, однако, не в той области психологии, экономики и социологии, где его безнадежно пытался утвердить сам Писарев, а в области политики, которую Писарев игнорировал, но в которой этот радикализм имел все шансы стать одним из существенных элементов сложной и противоречивой идеологии русской интеллигентской демократии.

Но возрождается в преображенном виде и Писаревский индивидуализм. Ибо противоречие между необходимостью «делать» революцию, и притом революцию политическую, немедленно и — слишком очевидною неготовностью народных масс к такой революции разрешается тем, что демиургом, если не истории, то революционных моментов ее, объявляется не масса, а личность, не большинство народа, а его сознательное меньшинство.

В упомянутой уже программной брошюре, написанной в виде открытого письма к Лаврову, Ткачев говорит: «Неужели вы не понимаете, что революции (в обычном смысле слова) тем то и отличаются от мирного прогресса, что первую делает меньшинство, а второй — большинство?.. Народ действительной революции — это бурная стихия, все уничтожающая и разрушающая на своем пути, действующая всегда безотчетно и бессознательно. Народ вашей революции — это цивилизованный человек, вполне уяснивший себе свое положение, действующий сознательно и целесообразно... Но где же видано, чтобы цивилизованные люди делали революцию! О нет, они всегда предпочитают путь мирного и спокойного прогресса, путь бескровных протестов, дипломатических компромиссов и реформ — пути насилия, пути крови, убийств и грабежа».

В противовес Лаврову, возлагавшему на «критически мыслящую личность» лишь задачу развития сознания народной массы, и

Бакунину, возлагавшему на нее лишь задачу «разнуздывания» ее страстей, — Ткачев говорит интеллигенции, этому безнадежному «меньшинству», что именно только она, а вовсе не «масса», может и должна «сделать» революцию, что революции вообще должно делать меньшинство для народа, а отнюдь не «посредством народа», как одинаково, хотя и в разном смысле, провозглашали и Лавров, и Бакунин. И, продолжая свое обращение к Лаврову, Ткачевская брошюра говорит: «Неужели вы не понимаете, что революционер всегда считает и должен считать себя в праве призывать народ к восстанию; что тем то он и отличается от философа-филистера, что, не ожидая, пока течение исторических событий само укажет минуту, он выбирает ее сам?»

Ткачевым замыкается ряд тех выдающихся мыслителей и публицистов, которые, начиная еще с 30–40-х годов 19 века, созидали идейный арсенал русского «народничества». Из этого арсенала черпали свое идейное оружие все те народнические течения и группы, революционною борьбою которых заполнены 70-е годы, особенно — вторая половина их. Но, с точки зрения этой борьбы, вклад Ткачева в этот арсенал принципиально отличается от вклада, сделанного в него Лавровым и Бакуниным.

В конкретной исторической обстановке тех лет и лавровский «пропагандизм», и бакунинское «бунтарство» были, по существу, лишь способом обойти или оторочить приступ к разрешению той основной задачи, которую эта обстановка все неумолимее ставила перед русской интеллигенцией, но которая требовала от нее почти сверхчеловеческого подвига, — задачи прямой борьбы с царским режимом, борьбы за «низвержение самодержавия». Лавристы отсрочивали ее до того будущего «настоящего дня», когда полностью созреет «сознание» народа, бакунисты — до полного развертывания всех его бунтарско-революционных потенций. Рассматриваемые в исторической перспективе, и лавризм, и бакунизм были своего рода «молением о чаше» русской интеллигенции — «Да минет!» перед восхождением ее на историческую Голгофу. Ткачев, в резком антагонизме и с Лавровым, и с Бакуниным, звал интеллигенцию немедленно взвалить на свои плечи бремя уготованного ей историей подвига.

В преисполненном самопожертвования движении русской революционной интеллигенции 70-х годов имя Ткачева оказалось связанным с коротким, но самым величественным по легендарному героизму этапом этого движения — этапом «Народной воли».

Глава 6. НА РЕВОЛЮЦИОННОЙ РАБОТЕ

1. Первые шаги

В истории народничества 60-ые годы были, по преимуществу, десятилетием теоретической разработки народнической идеологии. Наоборот, 70-е годы были, главным образом, десятилетием применения этой идеологии к практической революционной работе[218].

Разумеется, абсолютной грани между этими двумя десятилетиями в действительности не было. Процесс формирования основных элементов народнической идеологии захватил, как мы видели (Лавров, Бакунин), и начало 70-х годов, затянулся даже (Ткачев) до их середины. В свою очередь, на протяжении 60-х годов — особенно во вторую половину их, когда интеллигенция начала выходить из состояния парализующего оцепенения, в которое ввергли было ее разочарования крестьянской реформы, жестокие репрессии и морально-политическая изоляция в связи с польским восстанием, — разрозненные кружки или даже отдельные энергичные люди непрерывно пытаются делать практические выводы из тех, зачастую еще весьма смутных идей, которые были завещаны русской интеллигенции предшествующими десятилетиями. Эта практическая работа требовала приспособления отвлеченных идей к конкретной русской действительности, подвергала сами идеи соответственной переработке, заставляла искать новых путей, толкала мысль вперед и обостряла потребность в ее теоретическом обобщении и оформлении. Она оказывала поэтому самое непосредственное влияние и на работу теоретиков народничества, как мы то видели на примере воздействия так называемых «чайковцев» на работу Лаврова или Нечаева на работу Бакунина.

Таким образом, между теорией и практикой существовало непрерывное взаимодействие даже тогда, когда главной лабораторией теоретической мысли стала эмиграция*. Теоретическая работа подго-

* В высшей степени поверхностно и ошибочно изображать русскую политическую эмиграцию царского периода, как нечто оторванное от русской действительности и чуждое ей. Эмиграция этого периода была не отрезанным ломтем русской революционной интеллигенции, а ее органической и жизненно необходимой составною частью. Лишь после революции 1905 года, создавшей более или менее широкие «легальные возможности» политической работы в самой стране, между эмиграцией и «Россией» начинает образовываться известная трещина. И только после революции 1917 года, параллельно с отмиранием самой «интеллигенции», как обособленной социальной группы, эмиграция теряет корни в русской почве и отмирает, как живая сила.

товляла практическое движение и пролегала ему новые пути. Со своей стороны практические начинания ставили перед теорией новые проблемы и не только требовали ответа на них, но зачастую этот ответ и подсказывали. Но в 60-е годы центр тяжести работы лежал в теории и лишь в 70-е годы стал переноситься в практику: лишь с этого времени революционная работа перестает быть достоянием немногочисленных разрозненных, замкнутых и изолированных друг от друга немноголюдных кружков, группирующихся вокруг той или иной выдающейся личности, и революционное движение становится «массовым» в том относительном смысле, что охватывает основную «массу» того социального слоя — русской интеллигенции, который история сделала в эту эпоху носителем демократической идеи в России. Знаменитая русская революционерка Вера Фигнер[219] («Запечатленный труд», стр. 108) очень тонко отмечает, что основанная в конце 60-х годов группа «чайковцев» была «последней группой, носившей имя отдельного лица».

Писарев, Лавров, Бакунин, Ткачев — эти четыре имени символизируют четыре основных идеи, вошедшие в духовный арсенал русского народничества: индивидуалистическая идея личного самоутверждения и самосовершенствования; рационалистическая идея социалистического просветительства; эмоционально-мистическая идея плебейского бунтарства; якобинская идея разрешения политической проблемы силами сознательного интеллигентского меньшинства — для народа, но не через народ.

В теоретическом оформлении эти идеи, из которых слагалось народническое учение, резко, часто — непримиримо-враждебно, сталкивались друг с другом. Но в их теоретической непримиримости лишь отражалась неразрешимость противоречий той русской действительности, политической, социальной, культурной и моральной, в которой история судила народничеству действовать. А в то же время каждая из них давала выражение одной из сторон идейных исканий и метаний одной и той же социальной группы — русской интеллигенции, поставленной этой действительностью в те своеобразные и мучительные условия, о которых мы не раз уже говорили выше.

Именно поэтому каждая из этих основных идей эмпирически зарождалась еще раньше, чем обобщающая мысль придавала ей отчетливую теоретическую форму. И именно поэтому все эти идеи, несмотря на их теоретическую непримиримость, уживались в самых причудливых

сочетаниях вместе и одновременно в практическом движении революционного народничества. Последовательные фазы его развития отмечались не столько теоретическим разрывом с одними основными идеями и усвоением других, сколько более громким звучанием то той, то другой из них в общем коллективном хоре. В различии не столько идеологии, сколько психологии; не столько теоретических взглядов, сколько настроений; не столько программы, сколько тактики — следует поэтому искать ключа к пониманию особенностей тех кружков, групп и течений, которые возникали в 60-е и 70-е годы, то сходились, то расходились, то сменяли друг друга, но все одинаково были звеньями единой цепи народнического движения русской интеллигенции. И лишь в 80-е годы возникновение русского марксизма внесло в единое дотоле «народническое» миросозерцание революционного движения трещину, имевшую принципиальный характер.

Мы уже упоминали об организации «Земля и воля», основанной в 1862 году учениками Чернышевского, уверенными в том, что неудовлетворенность крестьянства условиями освобождения приведет в самом близком будущем к взрыву крестьянской революции. Действительность разбила эту веру, и организация оказалась весьма недолговечной. Наступила полоса революционного разочарования, идеологическое выражение которой дал Писаревский индивидуализм, полагавший в основу общественного прогресса не политическую или социальную борьбу, а всестороннюю эмансипацию личности (в частности, самой угнетенной личности — женской) и «разумное» использование ее сил и способности. Характерным для интеллигентских настроений этой полосы было стремление к организации трудовых коллективов и общежитий, которые должны были, с одной стороны, обеспечить всем участникам самостоятельное и независимое существование, а с другой, быть как бы показательными оазисами «разумной» жизни «мыслящих личностей», сумевших эмансипироваться от гнета и предрассудков окружающей их среды.

Наиболее известным из таких общежитий было основанное в Петербурге горячим поборником женской эмансипации, талантливым молодым литератором Василием Слепцовым[220], автором романа «Трудное время», в герое которого, разночинце Рязанове, нетрудно узнать родного брата Тургеневского Базарова («Отцы и дети»), послужившего Писареву прототипом «мыслящего реалиста». Но превратить это общежитие, получившее название «коммуны» и состоявшее,

за вычетом самого основателя, исключительно из женщин, в подлинно-коммунистический трудовой коллектив, о котором мечтали его устроители, не удалось. Не удалось, несмотря на полный аполитизм «коммуны», и уберечь ее от правительственных репрессий: слишком тесно были ее участники связаны со всеми другими слоями интеллигенции, в которой с средины 60-х годов начали снова оживляться политические интересы! Арестованный в 1866 году в связи с делом Каракозова (см. ниже), Слепцов был, правда, скоро освобожден. Но он вынужден был покинуть Петербург, и его уход дал толчок к окончательному распаду «коммуны», которую и до того разлагали внутренние трения*.

Из интеллигентских кружков, в которых к средине 60-х годов снова начала шевелиться политическая мысль, особое значение в истории народнического движения получил Московский кружок Николая Андреевича Ишутина[221] (1840–1879).

Начав с чисто пропагандистской разработки коммунистических идей Чернышевского, Ишутинский кружок постепенно стал как бы микрокосмом тех идей и настроений, которые впоследствии получили отчетливую формулировку в работах теоретиков народничества и развернутое воплощение в его революционной практике. В его духовном арсенале можно одинаково найти зародыши и лавризма, и бакунизма, и ткачевского якобинизма. Не все члены кружка проделывали идейную эволюцию в одинаковом направлении и одинаковым темпом, и это привело и к весьма своеобразной организационной эволюции его. Внутри кружка образовалось особое тайное общество «Организация», включавшее в себя только тех членов кружка, которые считали своею основной задачей уже не саморазвитие и не теоретическую пропаганду, а подготовку к активному вмешательству в ожидаемую народную революцию. Но к началу 1866 года и внутри самой «Организации» стала обособляться еще более узкая и конспиративная группа, получившая мрачно-романтическое название «Ад». Не ждать пассивно наступления «социальной революции», а пытаться активно «развязывать» ее какими-либо «грандиозно-страшными

* Полемически заостренное описание Слепцовской «Коммуны» дал в своем романе «Некуда» (1864 г.) талантливый, но политически крайне неустойчивый Николай Г. Лесков. Роман этот и еще более последующий роман Лескова «На ножах» вызвал взрыв негодования со стороны радикальной интеллигенции, еще до того глубоко возмущенной статьями Лескова о петербургских пожарах (см. выше).

фактами», способными «расшевелить заснувший народ», — такова была основная мысль «Ада». Сильнейшее впечатление на членов кружка и особенно на главу его — Ишутина — произвело покушение Орсини[222] на французского императора Наполеона 3-го[223], и цареубийство само собой стало выдвигаться на первое место в числе этих «фактов».

Но еще раньше, чем «Ад», пришел к определенному заключению по этому вопросу один из его членов, Дмитрий Владимирович Каракозов (1840–1866), двоюродный брат Ишутина, принял на свой риск и страх решение — произвести покушение на жизнь царя. Тщетно другие члены «Ада», случайно узнавшие о планах Каракозова, принимали меры к предотвращению покушения: 4 апреля 1866 года в Петербургском Летнем Саду Каракозов выстрелил из револьвера в Александра 2-го, промахнулся и был тут же схвачен. Его арест повлек за собой немедленный и полный разгром Ишутинского кружка. 34 члена его были, вместе с Каракозовым и Ишутиным, преданы суду и получили тягчайшие наказания. Каракозов был 3-го сентября того же года повешен. Смертный приговор Ишутину был заменен бессрочной каторгой. Но кружок его со всеми своими организационными надстройками перестал существовать.

Значительно более однородный характер имел другой московский кружок, образовавшийся осенью 1869 года из студентов Земледельческой Академии. Но это — потому, что существовал он очень недолго и что абсолютное господство над ним принадлежало его основателю, молодому учителю Сергею Геннадиевичу Нечаеву (1847–1881) личности немало интеллектуальной, но еще бесконечно больше волевой силы.

Нечаев участвовал в 1868–69 гг., вместе с Ткачевым, в студенческом движении, но в начале 1869 года уехал в Швейцарию, где, как уже упомянуто, сблизился с Бакуниным и, несмотря на свою молодость, оказал на «его сильнейшее влияние». Здесь он с самого начала обнаружил ту неразборчивость в выборе средств не только для борьбы с врагами, но и для воздействия на друзей и единомышленников, которая впоследствии дала Марксу и Энгельсу повод несправедливо считать его просто «проходимцем» и едва ли не русским агентом-провокатором, а в русском политическом языке связала его имя с обозначением полнейшей беспринципности и аморализма («нечаевщина»).

Изображая в самом фантастическом виде свой побег из России, Нечаев выдавал себя за агента несуществующей организации

«Народная расправа», от имени которой сейчас же издал номер журнала под тем же названием. О составленных Бакуниным по его поручению и под его влиянием «Революционном катехизисе» и прокламации «Начало революции», санкционировавшей индивидуальный террор, уже говорилось выше. Но им же было внушено Бакунину обращение «К офицерам русской армии», рекомендующее им вступать в «Народную расправу» и попутно излагающее организационные принципы Нечаева: «Народная расправа» сильна, по словам обращения, «своим пассивным повиновением всем распоряжениям единственного комитета, который все знает и которого никто не знает... Вступление в организацию свободно, но выход из нее невозможен».

Эти организационные принципы Нечаев тотчас же применил к основанию упомянутого уже кружка в Москве, куда он вернулся осенью 1869 года: уже через несколько недель (21 ноября 1869 г.), по инициативе Нечаева, членами кружка был убит один из его участников — студент Иванов, не столько по подозрению в сношениях с полицией, которые ему поставили в вину, сколько из желания Нечаева «кровью» спаять друг с другом всех членов кружка и обеспечить их «пассивное повиновение» всем его «распоряжениям». Члены кружка были вскоре арестованы, и в 1871 г. состоялся в Петербурге процесс «нечаевцев», окончившийся для многих из 64 подсудимых каторжными приговорами. Сам Нечаев уже в декабре того же 1869 года оказался снова в Швейцарии, где приступил к выпуску второго номера «Народной расправы»*.

Разрыв с Бакуниным, которого он — конечно, в интересах «революции» — не постеснялся запутать в грязное шантажное дело, побудил Нечаева переехать летом 1870 г. в Лондон, где он стал издавать листок «Община». Выданный в 1872 г. русскому правительству, как уголовный преступник, Нечаев был приговорен к 20 годам каторги (смертной казни за уголовные преступления русский кодекс того времени не знал) и подвергнут строжайшему одиночному заключению в мрачном Алексеевском равелине Петропавловской крепости, где в 1882 и умер. Но и в этих условиях он не потерял ни самообладания, ни силы воли, ни способности влиять на окружающих: ему удалось в такой степени подчинить себе своих тюремщиков-жандармов,

* «Нечаевское дело» дало Ф. М. Достоевскому фактическую канву для его знаменитого романа «Бесы».

что они не только доставляли ему тайком газеты и вообще держали в курсе событий, но в октябре 1880 года передали на волю его письмо, в котором он предлагал Исполнительному комитету «Народной воли» (см. ниже) организовать его побег из крепости. Исполнительный комитет ответил согласием, но сам Нечаев категорически отказался от освобождения, когда узнал, что из-за этого пришлось бы замедлить подготовку покушения на царя*.

Большинством интеллигенции «нечаевщина» была встречена враждебно. От нее отталкивал, однако, не только ее аморализм, но и ее общие политические установки. В разрез с преобладающими настроениями того времени Нечаев и его единомышленники ориентировались на крестьянское восстание, которого они ждали в самом близком будущем — к февралю 1870 года, когда должны были прекратиться «временно-обязанные» отношения крестьян к их бывшим помещикам (см. выше). Бакунисты-нечаевцы звали поэтому «в народ» для непосредственной подготовки восстания, в то время как даже другие бакунистские кружки имели в виду лишь частичными протестами поддерживать в народе «бунтарский» дух — в ожидании того более или менее отдаленного будущего, когда наступит время народной революции. О лавристах нечего и говорить**.

Наиболее решительным противником нечаевцев оказался лавристский кружок «чайковцев», сложившийся в Петербурге к осени 1869 года, главным образом, из студентов Медицинской Академии (Марк Андреевич Натансон[224] и др.) и названный так по имени одного из наиболее видных его членов — Николая Васильевича Чайковского[225], впоследствии, в 1918 году, главы антибольшевистского так называемого «Архангельского правительства» Северной России.

---

* Поступок жандармов был случайно открыт, и они поплатились за нарушение служебного долга тяжкими каторжными работами. Тем не менее, по свидетельству встречавшихся с ними в Сибири политических ссыльных, они и там сохранили благоговейное отношение к памяти своего бывшего узника.

** «Бакунизм» нечаевцев толкнул их на изучение истории народной психологии и народных движений, и из вернувшихся с каторги и из сибирской ссылки вышло немало выдающихся исследователей в этой области (Прыжов, Щапов и др.). Прибавим, что на правом фланге интеллигенции тот же бакунизм породил своеобразное реакционно-мистическое течение народничества (Каблиц-Юзов, Пругавин и др.).

По свидетельству одного из его членов, Л. Шишко[226], кружок стал «формироваться как раз в момент появления Нечаева, и основателями его были те именно люди, которые весной 1869 года противостояли агитации Нечаева в пользу немедленного революционного восстания» (цитировано в предисловии И. Теодоровича[227] к книге М. Р. Попова[228] «Записки землевольца». М., 1933 г.).

Действительное историческое значение кружка «чайковцев» заключается в том, что из него вышла самая крупная революционная организация 70-х годов — общество «Земля и воля». Но основанию этого знаменитого общества предшествовала легендарная эпопея «хождения в народ», о которой даже глава царской политической полиции, жандармский генерал Шебеко пишет в своей официальной «Хронике»: «целый легион социалистов принялся за дело с такой энергией и самоотвержением, подобных которым не знает ни одна история тайного общества в Европе».

2. Хождение в народ

В бурном потоке массового хождения интеллигенции «в народ» можно отчетливо отметить две подъемные волны, существенно между собою отличающиеся по настроению участников движения: волну 1874–75 гг. и волну 1876–78 гг. Но им обоим предшествовала попытка, предпринятая «долгушинцами», членами небольшого кружка, организованного бывшим «нечаевцем» (по суду оправданным, но просидевшим 1 год 8 месяцев в предварительном заключении) Александром Васильевичем Долгушиным (1848–1885). Запасшись прокламациями, написанными в «бакунистском» духе и нелегально отпечатанными, члены кружка двинулись летом 1873 года «в народ». Однако через весьма короткое время все они были арестованы, из 12 человек, преданных суду (1874), 5 заплатили за несколько дней революционной работы долгими годами каторжной тюрьмы, — в том числе сам Долгушин, уже не увидавший свободы и умерший в 1885 году в Шлиссельбурге.

Неудача этой своего рода исторической репетиции «хождения в народ» и последовавшие за нею жестокие расправы не остановили бурно нарастающего движения. С осени того же 1873 года сотни молодых людей со всех концов страны потянулись в столицу. Здесь в десятках кружков велись горячие дискуссии о задачах работы «в народе» и шла подготовка к весне, которая считалась, по условиям кре-

стьянского быта, временем наиболее благоприятным для начала этой работы. Одни (и по общему настроению своему это, естественно, были преимущественно «лавристы» с «чайковцами» во главе) готовились работать в деревне главным образом на полуинтеллигентских ролях учителей, фельдшеров, сельских писарей и т. п., помогая народу своими знаниями и таким образом завоевывая его доверие; другие, настроенные бакунистски-бунтарски, с самого начала обрекали себя на тяжелый физический труд, чтобы войти в наиболее тесное соприкосновение с народными массами. Но и те, и другие обнаружили бесконечно много энтузиазма, веры в свое дело, самопожертвования. Учащиеся бросали университеты, высшие учебные заведения, специальные школы. Кончавшие врачи отказывались от держания выпускных экзаменов. Юноши и девушки тайком покидали родительский дом, отказываясь зачастую от обеспеченной и даже богатой жизни, чтобы, запасшись фальшивым паспортом и переодевшись в крестьянское платье, превратиться в «человека из народа» и ехать на неверную, опасную жизнь в деревне, в совершенно незнакомую огромному большинству из них среду крестьян и рабочих*.

Центральной организации для руководства всем движением не существовало, и оно развивалось довольно хаотически. О снабжении отъезжающих паспортами, одеждой, деньгами на проезд и т. п. заботились так называемые «кассы взаимопомощи», состоявшие обычно из «земляков» и получавшие средства от более состоятельных сочленов своих. На местах же, при помощи «сочувствующих» лиц из состоятельных и влиятельных помещичьих, буржуазных, земских и даже чиновнических кругов, устраивались «революционные притоны» — содержимые надежными людьми постоялые дворы, где приезжий мог остановиться, мастерские, где он мог обучиться тому или иному

---

* Для высокого духовного подъема, которым была охвачена «шедшая в деревню» интеллигентская молодежь, характерна, например, фигура бросившего юнкерское училище Баранникова (впоследствии одного из видных организаторов покушений на жизнь Александра 2-го), который «из богатой дворянской семьи прямо без всяких переходов и подготовки ринулся в народ» и стал рабочим землекопом. Обстановка, в которой он очутился, была так непривычна ему, что найдя на своем белье раньше никогда им не виданную вошь, он только от сотоварищей по работе узнал, что это за зверь. Это не мешало ему с первого же дня усердно выполнять самую черную и грязную работу и безропотно переносить ужасающие условия жизни одной из наихудше оплачивавшихся категорий русского пролетариата (см. М. Р. Попов. Записки землевольца. М., 1933).

ремеслу, общежития-коммуны, где он мог жить и столоваться совместно с другими товарищами по пропагандистской работе*. Те же «сочувствующие» подыскивали для желающих учительские, фельдшерские и писарские места, а иногда и подходящую физическую работу. Они же, наконец, по возможности предупреждали пропагандистов о подозрениях, возникавших на их счет у полиции и жандармов, и помогали им своевременно скрыться от грозящего ареста.

Весной 1874 года вся эта интеллигентская рать тронулась в путь. Сотни юных апостолов социализма устремились в деревню. Более 30 губерний стали ареной их работы. Но главный поток направился в районы старых крестьянских восстаний (бунты Степана Разина и Емельяна Пугачева, украинская гайдамачина и т. д.), где почва для пропаганды считалась наиболее подготовленной. Особое внимание привлекали и районы распространения крестьянских религиозных сект (штундисты[229] и др.), антигосударственный и полукоммунистический характер которых, казалось, обеспечивал их восприимчивость к социалистической пропаганде. В районах Волги, Дона и Днепра сосредоточилась большая часть «пошедших в народ».

Уже в этом предпочтении «бунтарских» районов сказывается преобладание бакунистских настроений среди молодежи, двинувшейся в народ. Так оно в действительности и было, хотя в подготовке движения наиболее видная роль принадлежала именно лавристам, в частности — «чайковцам». Но еще до того, как движение смогло принять практические формы, организация «чайковцев» была сильно обескровлена арестами. Однако, помимо этих внешних, полицейских причин преобладание бакунистов имело и внутренние причины, коренившиеся в самом характере лавризма, с одной стороны, бакунизма, с другой. Лавристы собирались, прежде всего, нести в народ «знания». Они ориентировались на «оседлую», систематическую и длительную пропаганду и на приобретение прочного и руководящего влияния на весь ход деревенской жизни путем занятия тех «ключевых» позиций в ней, о которых упоминалось выше. И к этим новым для них функциям, и к самой пропаганде лавристы считали нужным основательно

* Суровую школу сельскохозяйственной работы многие из «шедших в народ» проходили у богатого помещика и писателя А. В. Энгельгардта (1832–1893), высланного в 1871 году из Петербурга в свое имение. Этих добровольцев Энгельгардт по принципу ставил в обычные условия жизни крестьян-батраков (см. О. В. Аптекман, цит. соч., стр. 13).

готовиться. Вследствие этого они, в общем, были гораздо менее подвижны и скоры на решения, чем довольно беззаботные насчет «знаний» бакунисты-бунтари, шедшие в деревню на пропаганду «летучую», имевшую главной задачей изыскивать и «раздувать» все проблески крестьянского недовольства и, опираясь на них, по возможности организовывать проявления крестьянского протеста*.

На деле, однако, эти бакунистские идеи и настроения находили мало отклика в крестьянстве. Подводя итоги своему опыту пропаганды в деревне, Аптекман[230] (цит. соч., стр. 53) пишет: «Я замечал, что резкие выходки против царя или религии действовали крайне неприятно на крестьян; также сильно смущали их энергичные призывы к бунту, восстанию». В конце концов, и бакунистам не оставалось ничего другого, как вести ту мирную, «академическую» пропаганду социалистических идей путем бесед и раздачи брошюр, которую имели в виду и лавристы, собираясь в народ, и которую будущая знаменитая «народоволка», а тогдашняя лавристка Вера Фигнер очень выпукло характеризует в своей книге: «Запечатленный труд» (стр. 94–95):

«Видя, что на Западе политическая свобода не осчастливила народа, ...мы ухватились за последнее слово домогательств рабочего класса и стали исключительно на почву экономических отношений. Мы считали невозможным призывать русский народ к борьбе за такие права, которые не дадут ему хлеба; вместе с тем, думая изменить существующие экономические условия, мы надеялись, подрывая в народе идею царизма, добиться демократизации политического строя... Проводить в народе социалистические идеи мы думали без всяких уступок народному миросозерцанию... Говоря коротко, мы думали вырабатывать среди народа сознательных социалистов в западноевропейском смысле».

Таким образом, вопреки «бунтарским» настроениям огромного большинства участников «хождения в народ», вождь «Народной воли» (см. ниже) Андрей Желябов[231] в своей знаменитой речи на процессе цареубийц-«первомартовцев» 1881 года (см. ниже) мог с полным

---

* Но если бакунисты решительно преобладали в среде деревенских пропагандистов, то совершенно исключительной была роль лавристов в организации рабочей пропаганды. Но об этой стороне их деятельности и, в частности, о работе московской организации и так называемом «процессе 50-ти» придется говорить в связи с возникновением русского марксизма и организованного рабочего движения в России.

правом характеризовать задним числом движение 1873–75 годов, в котором он и сам участвовал, как движение «с целью мирной пропаганды социалистических идей. Движение крайне безобидное по средствам своим... Движение совершенно бескровное, отвергавшее насилие, не революционное, а мирное».

Нереволюционный, мирный характер движения не избавил его от жесточайших репрессий. Уже поздним летом 1874 года начались массовые аресты, захватившие в свои сети к концу 75 года несколько тысяч человек. Первоначально предполагалось 770 из них предать суду. Впоследствии число подсудимых «большого» процесса было сведено к 193. Но большинству арестованных пришлось провести в «предварительном заключении» (по несколько лет, так как процесс начался лишь в конце 1877 года и закончился в начале 1878 (24 октября 77 – 23 января 78)[232]. За это время несколько десятков заключенных умерло в тюрьмах, многие заболевали, некоторые сходили с ума. «Процесс 193» закончился для части подсудимых оправданием, для большинства – тюрьмой и ссылкой, а для некоторых – каторгой. В числе получивших каторжный приговор был организатор нелегальной типографии, в которой печатались пропагандистские брошюры, Ипполит Мышкин[233], произнесший на суде блестящую речь. Свою жизнь Мышкин закончил в Шлиссельбурге – был повешен за то, что дал пощечину коменданту.

Первая волна «хождения в народ» была остановлена жестокими репрессиями. Но участникам движения – не только «бунтарям», но и «чистым» пропагандистам – становилось все очевиднее, что дело тут не только в репрессиях; что, как говорит Вера Фигнер (стр. 108), «в своей практической деятельности в народе» они «потерпели фиаско» не только «в политических условиях страны», но и «в самом народе». М. Р. Попов (цит. соч., стр. 60), участник второй волны «хождения в народ» или, как он сам выражается, «второго призыва», разъясняет, в чем состояло это фиаско «в самом народе»:

«Время конца 75 года и начала 76-го было временем разочарования в тех надеждах, с которыми революционная молодежь двинулась в народ. Выработанная теоретически, на основе социалистических принципов, программа, без всякого отношения к тому, что представляла жизнь, потерпела крушение. В лучшем случае удавалось только завоевывать симпатии деревни; но надежды на то, что пропаганда вызовет деревенский народ на активную борьбу или, по крайней мере, вдохнет

в крестьянство веру в то, что такая борьба даст плодотворные результаты, — такие надежды не оправдались. Крестьянин слушал революционера так же, как он слушал батюшку, проповедующего ему о царстве небесном, и после прослушанной проповеди, как только переходил порог церкви, жил точно так же, как он жил и вел проповеди».

О выводах, которые революционная молодежь делала тогда из понесенного ею «фиаско», Сергей Михайлович Кравчинский (1852–1895) писал через 2–3 года в письме к Вере Ивановне Засулич (1849–1918, о ней см. ниже) от 24 июля 1878 года: «Тяжелый опыт нескольких лет не мог не убедить всякого трезвого человека в том, что «научный социализм», социализм западный — совершенно отскакивает от русской массы, как горох от стены... Все почувствовали, что таким путем, как шли до сих пор, идти дальше нельзя. Необходимость приноровиться к местным условиям, прислушаться к голосу массы, войти в круг ее мировоззрения осозналась всеми».

Так случилось, что в то время, как большинство деятелей «первого призыва» томилось в тюрьмах в ожидании «большого процесса», критическая переоценка их опыта подготовляла тот «второй призыв», ту еще более мощную вторую волну «хождения в народ», организатором которой стало общество «Земля и воля». Как рассказывает тот же М. Р. Попов (стр. 61): «Возвратившиеся из народа пионеры с такими впечатлениями стали уже говорить о пересмотре и изменении программы соответственно опыту... Они впервые поставили на очередь в революционной среде Петербурга такие вопросы, ответы на которые дали в результате программу "Земли и воли", принятую в 76 году большинством тогдашней молодежи».

3. «Земля и воля»

Из своего первого похода в деревню интеллигентская армия вернулась разбитой, потерявшей значительную часть своих лучших кадров, разочарованной в старой стратегии и тактике, но не сломленной, не упавшей духом, не потерявшей веры в свое дело. Настроение ее оставалось боевым, и это обеспечивало обильный приток свежих элементов в ее ряды. М. Р. Попов пишет об этом: «Мы видели разочаровавшимися наших предшественников в народе, но разочарование это было здоровым разочарованием. Они разочаровывались в средствах борьбы, необходимость же борьбы с поработившим народ пра-

вительством* стояла вне сомнения, и мы, собиравшиеся в народ по стопам наших предшественников, шли туда не с остывшими порывами, а, наоборот, с революционной энергией, если позволительно так выразиться, повышенной сравнительно с прошлым... Не взирая на то, что в это время готовился процесс 193 и что двинувшийся в народ первый призыв почти весь был брошен в тюрьмы, мы, второй призыв, еще с большей энергией рвались в народ» (стр. 61–62).

Вопреки общине и ее традициям, крестьянский «народ» оказался и в России неспособным стать носителем рабочего социализма в «западноевропейском смысле»: чтобы такой социализм мог найти сколько-нибудь широкую почву, и в России было необходимо возникновение обособившегося в «класс» пролетариата. Пока же, чтобы не отказываться от работы в крестьянстве, приходилось отказываться от «западного социализма», который Лавров и лавристы первоначально считали возможным попросту перенести в Россию, только в другую, чем на Западе, — крестьянскую, а не промышленно-рабочую — социальную среду. Красочно — в терминах, напоминающих об «антинемецких» тенденциях бакунизма, — выразил эту мысль тот же Кравчинский в одной из своих статей 1878 года: «Пять лет тому назад мы сбросили немецкое платье и оделись в сермягу, чтобы быть приняты народом в его среду. Теперь мы видим, что этого мало — пришло время сбросить и с социализма его немецкое платье и тоже одеть его в народную сермягу».

Об этом «русском» социализме, легшем в основу программы, выработанной к осени 1876 года в Петербурге после длительного и оживленного обсуждения и ставшей программой основанного тогда же общества «Земля и воля», один из инициаторов общества, знаменитый конспиратор, известный под боевой кличкой «Дворник», Александр Дмитриевич Михайлов[234] писал в своих показаниях после ареста: «русские социалисты от коллективизма, стройной научной

* Надо помнить, что эту формулировку задач борьбы дает, сквозь призму своих новых настроений, деятель «второго призыва». В этой связи, быть может, не лишним будет напомнить и то, что на высказывания и формулировки деятелей старого революционного поколения, доживших до революций 1905 и 1917 гг. и ими освобожденных, нередко налагает печать и их «самозащита» от той, зачастую совершенно неисторической, топорно-догматической критики, которой подвергали воззрения старых революционных движений деятели новых революционных поколений.

теории, путем горьких разочарований, жертв и тяжелых страданий пришли к народничеству». Именно с этих пор, по свидетельству Веры Фигнер, слово «народничество» вошло в употребление. И хотя организованная зимой 1876–77 г. М. А. Натансоном и А. Д. Михайловым «Северная революционно-народническая группа» с самого начала получила название «Земля и воля» (в честь старой организации Н. А. Серно-Соловьевича. См. выше), но «землевольцами» членов ее стали называть лишь после появления печатного органа под этим названием (1878), до тех же пор «ходовым обозначением» для них было «народники» (В. Фигнер. Цитированное сочинение, стр. 108, 113).

Основные кадры дали «Земле и воле» при ее основании лавристы-чайковцы, уцелевшие от арестов или успевшие, подобно самому М. А. Натансону, вернуться из ссылки. Но инициаторы общества стремились объединить в его рядах все наличные революционные кружки. Поэтому в его рядах оказалось немало и бакунистов-бунтарей. Не было лишь «набатовцев»-ткачевцев. Это отнюдь не значит, что идеи Ткачева не оказывали воздействия на ход революционного движения в России. Наоборот, уже в годы формирования «второго призыва», по свидетельству М. Р. Попова (стр. 62), «появление брошюры Ткачева очень взбудоражило революционные круги» и, как увидим, не осталось без влияния и на программу «Земли и воли». Еще сильнее и очевиднее стало влияние его идей в критические годы перехода «землевольцев» к политической борьбе и к терроризму «Народной воли». Но оформленных и организованных групп «ткачевцев» в России почти не было: в своем логически-законченном виде откровенно-«буржуазный» якобинизм «Набата» был психологически мало приемлем для «народнически» настроенной интеллигенции, и лишь немногие в ее рядах рисковали открыто признавать себя ткачевцами-якобинцами*. В обсуждении программы общества принимало участие не более 30–40 человек, но в его состав оказалось возможным с самого начала привлечь в одном Петербурге до 120 членов.

«В противоположность югу, где всегда преобладали анархически настроенные «бунтари», противники всякой, в том числе и организа-

---

* Наиболее известной из этих немногих была Мария Николаевна Оловенникова, по мужу Ошанина, член Исполнительного комитета «Народной воли». Оловенникова, дочь богатого орловского помещика, была ученицей старого революционера-якобинца Заичневского, автора прокламации «Молодая Россия» (см. выше), жившего после отбытия каторги в Орле под надзором полиции.

ционной централизации, на севере, где сильны были лавристы, вопрос об организации всегда был одним из самых серьезных вопросов, и удовлетворительное решение его оказало громадные услуги революционному делу, так как обеспечивало преемственность, накопление опыта и постепенную выработку высшего типа организации. В самом деле, южане исчезли, не оставив на месте никакой традиции, их родословное древо прервалось; как каракозовцы, нечаевцы, долгушинцы, они были вырваны с корнем; отдельные, очень немногие уцелевшие личности, если были, то приставали к новым группам и вполне поглощались ими. А на севере, благодаря большей организованности, существовала преемственность революционных групп: чайковцы положили в 1879 году начало обществу «Земля и воля», а из него в 1879 году образовалась партия «Народная воля» (В. Фигнер. Стр. 107–108).

Но и на севере «Земля и воля» поставила веху в истории революционных организаций тем, что, как с похвалой отмечает Ленин в своем «Что делать?», была первой строго централистической, боевой, конспиративной организацией революционеров в России. Дисциплина и централистический характер организации, закрепленные уже в уставе 1876–77 гг., принятом одновременно с программой, были еще значительно усилены поправками, внесенными в устав в 1878 году*. В конце концов, как рассказывает Фигнер (стр. 120), организация приняла вид трехэтажного здания: на одной из конспиративных квартир заседали руководители движения (Натансон, Харизоменов[235], Тищенко[236], Преображенский, Плеханов, А. Д. Михайлов и др.), решавшие практические вопросы; в другом, менее законспирированном помещении, обсуждались несколько большим кругом участников теоретические вопросы; что же касается массы членов, то она адресов этих конспиративных квартир не знала, и даже такие выдающиеся люди, как Клеменц[237] или Иванчин-Писарев[238], не без труда могли добираться до руководителей организации**.

* Одна из этих поправок, между прочим, впервые формулировала то требование, «отказа от показаний», которое в последующие десятилетия стало своего рода моральным кодексом поведения революционеров при допросе их жандармами (политической полицией).

** «Это какие-то пещерные люди, троглодиты, скрывающиеся в недоступных расщелинах и скрытых пещерах, шутил Клеменц, и отсюда пошло то шутливое прозвище, которое дало повод некоторым позднейшим «историкам» серьезно говорить о существовании «общества троглодитов». Как мы увидим ниже, М. Р. Попов говорит об употреблении того же шутливого прозвища и в другой связи.

Отказываясь от «стройной теории» коллективизма в пользу эмпирического «народничества», программа «Земли и воли», выработанная в 1876–77 году, категорически заявляла: «Требования свои мы суживаем до реально осуществимых в ближайшем будущем, то есть до народных требований и желаний, каковы они в данную минуту». «Переход всей земли в руки сельского рабочего сословия ("мы убеждены", поясняла программа, "что две трети России будут владеть ею на общинном начале") и равномерное ее распределение; разделение Российской империи на части соответственно местным желаниям; перенесение всех общественных функций в руки общины, т. е. полное самоуправление»; — к этим трем пунктам сводились в данную минуту, по мнению авторов программы, народные желания, а потому ими исчерпывались и ее практические требования. Но и эти требования «могут быть осуществлены только посредством насильственного переворота». Средствами же подготовки такого переворота должны служить: «1) агитация, как путем слова, так и, главным образом, путем дела, направленная на организацию революционных сил и на развитие революционных чувств (бунты, стачки)» и «2) дезорганизация государства, которая дает нам надежду на победу при той силе организации, которую создаст агитация в ближайшем будущем».

Очень скоро, однако, эта, так называемая первая программа оказалась совершенно не отвечающей своим задачам. Она слишком недостаточно отражала специфические черты различных течений в революционной интеллигентской среде, чтобы стать платформой того слияния их в единой революционной организации, к которому стремилась «Земля и воля». Еще более недостаточно отражала она ту атмосферу общественного возбуждения, которая была создана начавшейся в 1877 году русско-турецкой войной и сопутствовавшим ей экономическим кризисом: волнения и стачки рабочих, с одной стороны, оживление либеральной, особенно земской оппозиции, с другой, содействовали быстрому нарастанию и в среде интеллигенции тех боевых настроений, о которых с такой настойчивостью говорит М. Р. Попов и которые искали себе выхода в самых разнообразных направлениях. В таких условиях было решено подвергнуть программу радикальной переработке и созвать для этой цели так называемый «Большой совет» в составе всех наличных в Петербурге более видных членов организации. Результатом работ Совета явилась новая и значительно видоизмененная «вторая программа» общества «Земля и воля».

Идя навстречу традиционной социалистической психологии громадного большинства интеллигенции, новая программа начинает с того, что пытается сгладить провозглашенный было открытый разрыв с «коллективизмом»: «Конечный политический и экономический идеал наш — анархия и коллективизм», заявляет она. Народничество провозглашается уже не антитезой «западному» коллективизму, а лишь исторически данным русским путем к нему, своего рода тактическим маневром: допустимость сужения программных требований «до народных требований, каковы они есть в данную минуту», мотивируется именно тем, что, «если бы желания и стремления народа были в данное время осуществлены, то это легло бы крепким фундаментом дальнейшего успешного хода социального дела в России», и только невозможность «привить народу, при настоящих условиях, другие, с точки зрения отвлеченной, быть может, и лучшие идеалы», побуждает «русскую социально-революционную партию» «написать на своем знамени исторически выработанную формулу "Земля и воля"». Теоретически это как будто полный возврат к тем «классическим» представлениям о социалистических (и именно в «западном» смысле социалистических) тенденциях русской крестьянской общины, в которых лавристские взгляды имели наиболее точек соприкосновения с бакунистскими и ткачевскими*.

Но, отдав эту дань психологическим традициям интеллигенции, программа в дальнейшем весьма мало заботится о теоретической стройности и последовательности и чисто механически сочетает сталкивающиеся друг с другом и друг другу противоречащие идеи Лаврова, Бакунина и Ткачева. Ибо определяющим для нее является стремление новой организации во что бы то ни стало объединить в своих рамках все революционные течения, более того, — сделаться центром притяжения и для начавшей шевелиться либеральной оппозиции. Вера

* Вполне в духе этих классических представлений передовая первого номера журнала «Земля и воля» говорит о «фабричном вопросе», что его «мы оставляем в тени, и не потому, чтобы не считали экспроприации фабрик необходимой, а потому, что история, поставившая на первый план в Западной Европе вопрос фабричный, у нас его не выдвинула вовсе, заменив вопросом аграрным. А между тем революционное движение, поднявшееся во имя земли, на другой же день роковым образом само придет к сознанию необходимости экспроприации фабрик и полного уничтожения всякого капиталистического производства, потому что, сохранив его, оно само вырыло бы себе могилу».

Фигнер права, когда говорит (стр. 113), что «в противоположность прежним программам, новая распространяла сферу деятельности своих сторонников на все слои общества». Она ориентировалась не только на работу в крестьянстве, но и на «заведение сношений и связей в центрах скопления промышленных рабочих — заводских и фабричных», на пропаганду и агитацию в высших учебных заведениях и даже на сотрудничество с «либералами» — конечно, «с целью их эксплуатации в свою пользу». На фоне идейного кризиса, вызванного неудачами первой волны «хождения в народ», и в атмосфере развязанного войной общественного возбуждения революционная интеллигенция — не в первый и не в последний раз в своей истории — делала отчаянные усилия, чтобы выйти из состояния одиночества и обрести твердую общественную почву под ногами. Вторая программа «Земли и воли» оказалась поэтому одним из самых эклектических и противоречивых документов русского революционного движения.

Эта противоречивость бросается в глаза уже в вводной, теоретической части программы: партия отказывается «насиловать выработанный историей экономический и политический идеал»; но она открывает дверь идеям и настроениям и совершенно иного порядка, когда — в духе известных уже нам мыслей Ткачева — заявляет, что «насильственный переворот», которым только и могут быть осуществлены даже скромные «желания и стремления» народа, должен быть «возможно скорейшим», так как «развитие капитализма и все большее проникновение в народную жизнь (благодаря протекторату и стараниям русского правительства) разных язв буржуазной цивилизации угрожает разрушением общины и большим или меньшим искажением народного миросозерцания».

Но еще гораздо более эклектичной становится программа, переходя к практическим задачам, которые — в духе, намечавшемся уже в первой программе, — делились на «организаторские» и «дезорганизаторские».

В ряду задач «организаторских» на первом месте стоит, разумеется, создание «тесной и стройной организации уже готовых революционеров, согласных действовать в духе нашей программы, как из среды интеллигенции, так и из среды находившихся в непосредственном соприкосновении с нею рабочих»*. Но этой «стройной

* Это, первое имеющее место специальное упоминание о рабочих, но лишь как о подсобном элементе при интеллигенции, характерно для той все более заметной роли, которую в это время начинали играть в революционном движении интеллигенции выдающиеся рабочие-одиночки. Но об этом еще придется говорить ниже.

организации», которая, как уже было упомянуто, должна завязывать связи, между прочим, и с «либералами», то есть имущими, главным образом помещичьими и чиновническими кругами, рекомендуется одновременно не только сближение с враждебными правительству религиозно-революционными сектантами, но и с «разбойничьими шайками типа понизовой вольницы»! И как бы в пояснение этого пункта программы, первый номер журнала организации (ноябрь 1878 г.) напоминал, что «отнятие земель у помещиков и бояр, изгнание, а иногда и поголовное истребление всего начальства, всех представителей государства», бывшее программой «народных революционеров-социалистов: Пугачева, Разина и их сподвижников», и до сих пор остается программой «огромного большинства русского народа» и потому полностью принимается и революционерами-народниками.

Что же касается деятельности «дезорганизаторской», то краткую и довольно неопределенную формулу первой программы, вторая заменила подробным описанием различных видов этой деятельности, в которые входят и работа в войсках, «главным образом среди офицерства», и привлечение на свою сторону правительственных чиновников, и «систематическое истребление наиболее вредных или выдающихся лиц из правительства и вообще людей, которыми держится тот или другой ненавистный нам порядок». В таком широком толковании «дезорганизаторская» программа не только покрывала отдельные акты террора, как раз в это время все учащавшиеся, и не только шла навстречу тем «личностям» в среде «поколений, предшествующих перевороту», которые, как настаивал Бакунин, «не могут удерживать страсти разрушения до наступления всеобщей борьбы», но могла пониматься и, как увидим, действительно понималась, как санкция политической борьбы в духе Ткачевского «делайте скорее!».

Противоречия, внесенные в практику «Земли и воли» «дезорганизаторством», сыграли решающую роль в дальнейших судьбах организации и послужили непосредственной причиной ее распада. Но это было делом будущего. Пока же участники организации обращали мало внимания на противоречия программы, потому что их объединяли не столько те или иные программные положения, сколько те настроения, которыми была проникнута «Земля и воля», тот боевой дух, который она стремилась внести в деятельность всех своих членов, в какой бы разной общественной среде и в каком бы разном направлении они ни работали. И если в деревне старую «проповедь

принципов социализма» новая организация заменяла «программой протестов на почве жизненных интересов деревни» (см. М. Р. Попов, стр. 73), то ту же тактику «возбуждения к протестам» старалась она проводить и в своей городской деятельности (В. Фигнер, стр. 113). В деревне имелось в виду придать «протесту» и форму «аграрного террора» — поджогов имений наиболее ненавистных помещиков и личных расправ с отдельными представителями местной власти. В городах проектировалось, наряду с покушениями на особо выдающихся произволом и жестокостью лиц центрального правительственного аппарата, устройство всевозможных публичных демонстраций. О самом возникновении своем новая организация возвестила небольшой демонстрацией у Казанского собора в Петербурге (6 декабря 1876 г.), во время которой Плеханов произнес краткую речь (отсюда его партийная кличка: «оратор»), а молодой рабочий Потапов[239] развернул красное знамя «Земли и воли». Затем последовали тотчас же: организация демонстративных похорон умершего в тюрьме политического заключенного Подлевского[240]; вмешательство в стачки текстильных рабочих Петербурга и организация их шествия ко дворцу наследника для подачи ему петиции об улучшении положения рабочих и защите их от притеснений предпринимателей; руководство студенческим движением и т. д.

М. Р. Попов вполне правильно отмечает «годы 1878–79» как переломные не столько в смысле идеологическом и программном, сколько в смысле изменения настроений и революционной практики, когда говорит, что в его памяти эти годы «сохранились как момент резкого поворота, быстрого нарастания революционного настроения. Представители движения 70-х годов, первого призыва, по своему революционному настроению, по своей революционной психологии резко отличаются от представителей революционного момента 78–79 гг., момента высокого революционного подъема... Поскольку речь идет не об отвлеченной идее переворота, а о конкретной программе средств, моменты движения начала и конца 70-х гг. резко разнятся между собой» (стр. 102–103). Нельзя нагляднее характеризовать эту разницу в настроениях двух «призывов», чем это делает тот же М. Попов (стр. 107–108), когда, подчеркивая «разницу во взглядах на деятельность вышедших на свободу по процессу 193-х (среди них были будущий политический вождь террористической "Народной воли" Андрей Желябов и будущий теоретик ее Тихомиров) и представителей новой организации, он вспоминает:

"Землевольцы и выпущенные на свободу революционеры первого призыва, если так позволительно сказать, говорили на разных языках. Например, Желябов и Тихомиров приходили в ужас от практической программы землевольцев. Последние представлялись им людьми насильственных мер, а не пропагандистами идей, не людьми, мирной проповедью зовущими народ к новой жизни на социалистических началах. С этого времени вошло в обиход называть землевольцев троглодитами. С такими деятелями, — говорили Желябов и Тихомиров, эти будущие яркие представители народовольческой программы, — у них, адептов мирной пропаганды, не может быть ничего общего"».

Мы уже отмечали, что среди деятелей «первого призыва», пошедших «в народ» в годы общественного затишья, огромное преобладание принадлежало бунтарям-бакунистам; это не помешало всему этому этапу движения стать на деле, в практике крайним выражением лавристского пропагандизма. И наоборот: теоретически и программно «второй призыв» был гораздо более близок к лавризму; но в той атмосфере общественного возбуждения, в которой ему пришлось выступить на революционную арену, его настроения и его практика становились все более бакунистски-бунтарскими и даже, как еще увидим, — преодолевая и лавризм, и бакунизм, якобински-ткачевскими. В этом парадоксальном факте — лишнее доказательство того, насколько смена течений и групп в рамках эклектического, но в своей эклектичности единого движения народнической интеллигенции была сменой не столько теорий и идей, сколько практики и настроений. И не теоретическими противоречиями программы «Земли и воли», а теми противоречиями, которые были заложены в ее практике и, в свою очередь, отражали противоречия самой русской жизни, была обусловлена та поразительная эволюция, которую в каких-нибудь полтора-два года проделал собравшийся под ее знаменем цвет русской интеллигентской молодежи.

4. Кризис аполитизма

«Второй призыв» шел в народ с иными настроениями и планами, чем первый, но его ждала такая же неудача. Возбуждение, охватывавшее известные слои городского населения, замирало у деревенской околицы. «В столицах шум, гремят витии, кипит словесная война, а там,

во глубине России, там вековая тишина» — эти слова Некрасовского стихотворения как нельзя вернее характеризировали различие в настроениях города и деревни того времени. Возрастающее подчинение деревни законам рыночного и денежного хозяйства, еще ускоренное войною, обрекало основную массу экспроприированного при освобождении крестьянства на крайне низкий, почти нищенский уровень существования, деморализовавший ее и парализовавший ее общественную энергию. Но оно же способствовало возникновению немногочисленного, но влиятельного слоя сравнительно «крепких» и зажиточных крестьян, так называемых «кулаков», экономически и социально господствовавших над массой «деревенской бедноты». Развитие капиталистических отношений в городе отзывалось в деревне тем быстрым разложением общинного уклада и общинных настроений, на которое указывали и Ткачев, и программа «Земли и воли» и которого опасались народники*.

Потерявший свою внутреннюю однородность и разлагаемый антагонизмами, крестьянский «мир» весьма туго отзывался на призывы к актам коллективного протеста. Только один раз (в 1877 году) энергичной группе южных бунтарей[241] (Бохановский[242], Л. Г. Дейч[243], Я. Стефанович[244]) удалось вызвать широкое движение в Чигиринском уезде Киевской губернии, закончившееся арестом до тысячи кре-

* В противовес тем идиллическим тонам, в которых говорили об общественной жизни и настроениях крестьянства «классические» беллетристы-народники типа Н. Н. Златовратского, с беспощадной искренностью рисовал процесс этого разложения Глеб Иванович Успенский (1840–1902). Он отдавал себе ясный отчет в разрушительном для общинного уклада деревни влиянии капитализма, но, оставаясь в рамках общего народнического миросозерцания, не видел способов борьбы с этим влиянием кроме совершенно безнадежных попыток повернуть колесо истории «вспять». «Для сохранения русского земледельческого типа, русских земледельческих порядков в стройности... необходимо всячески противодействовать разрушающим эту стройность влияниям», пишет он в одном из замечательнейших произведений своих «Власть земли». Но в наличных условиях это означало бы требовать уничтожения всех элементов современной культуры от железных дорог и фабрик до пиджаков и керосиновых ламп. «Но если бы такое требование было предъявлено, то едва ли бы нашелся в настоящее время хоть один человек, который определил бы его иначе, как "крайним легкомыслием"». Так во всяком случае его определял сам крестьянин, по крайней мере тот «хозяйственный», т. е. более или менее зажиточный крестьянин, которого Успенский рисует под именем Ивана Ермолаевича и который отвечает интеллигенту-революционеру, пошедшему «в народ», чтобы звать его к «протестам», выразительным — «не суйся!»

стьян[245]. Но добиться такого успеха они могли лишь потому, что пустили в ход подложную «царскую грамоту», возвещавшую крестьянам «настоящую волю», будто бы скрываемую от них помещиками и местными властями, и призывавшую их к самочинному захвату помещичьих земель, — прием, далеко не встретивший единодушного одобрения в революционной среде.

Таким образом, «в самом народе» деятели «второго призыва» терпели, в общем, фиаско не менее жестокое, чем их предшественники. Но еще более решительное фиаско терпели они в тех «политических условиях страны», о которых тоже говорит В. Фигнер, анализируя причины неудач первой волны «хождения в народ». Теперь эти условия давали себя знать пошедшим в деревню революционерам тем суровее, что тактика развязывания экономических конфликтов между крестьянами и помещиками и проповедь «аграрного» террора, естественно, ослабляли то сочувствие известных слоев имущего, но либерального общества, которое так облегчало, если не работу, то самое пребывание в деревне пропагандистов «первого призыва».

В результате большинство землевольцев, поселившихся в деревне, было осуждено почти на полную бездеятельность. Их пассивность все резче контрастировала с тою бурною активностью, которую как раз в это время стали развивать те же землевольцы в городе. «Сонная деревенщина» — этим насмешливым прозвищем все чаще стали обозначать их же городские товарищи: не отдавая себе в том ясного отчета, сами народники-революционеры констатировали таким образом, что, вопреки их собственным «народническим» теориям, центр тяжести революционной работы переносится из деревни в город, потому что, при всей экономической и культурной отсталости России, капиталистический город, а не докапиталистическая деревня, становится определяющим фактором ее дальнейшего социального и политического развития.

Но менялось не только место приложения революционной энергии: незаметно для самих интеллигентов-народников менялись направление и характер их революционной работы.

Согласно официальной теории, основное внимание партии должно было быть сосредоточено на крестьянстве и «аграрном вопросе», и ее центральный орган, как мы видели, открыто провозглашал, что «вопрос фабричный» она сознательно «оставляет в тени». А на деле ее наиболее активные, городские отряды именно «аграрный вопрос»

все более отодвигали в «тень» и, наоборот, все настойчивее стремились вмешиваться в те конфликты между предпринимателями и рабочими, которые как раз в это время начали учащаться и знаменовали вступление «фабричного вопроса» на русскую социально-политическую сцену.

Правда, во вмешательстве в «фабричный вопрос» сами революционеры-народники видели лишь средство извлекать из рабочей массы тех особо сознательных одиночек, которых можно было немедленно вовлечь в свою организацию. Но вербовка эта оказывалась столь успешной, в ряды организации вовлекались из рабочей среды такие выдающиеся революционеры (Степан Халтурин[246], Виктор Обнорский[247] и др.) и в таком количестве, что скоро стало возможным и нужным образовать два особых «рабочих союза» — Северный (декабрь 1878 г.)[248] и Южнорусский (1879 г.)[249]. А через короткое время Плеханов, продолжавший еще тогда думать, согласно народническому канону, что фабричные рабочие «в огромном большинстве случаев те же крестьяне, что и в деревне», и что «фабрика для них является только видом отхожего промысла», нисколько не уничтожающим «их деревенских связей и симпатий», — мог в той же «Земле и воле» писать: «вопрос о городском рабочем принадлежит к числу тех, которые, можно сказать, самою жизнью самостоятельно выдвигаются вперед, на подобающее место, вопреки априорным теоретическим решениям революционных деятелей».

Но и в другом, еще более решающем отношении под флагом старых теорий стала на деле проводиться совершенно противоречившая им практика.

Принципиально землевольцы, как мы видели, «суживали» свои требования до «требований народа в данный момент» и, считая, что в эти народные требования вопросы политической свободы никак не входят, отказывались и со своей стороны от политической борьбы. Но, наперекор теориям народников, «политические условия», о которых говорит В. Фигнер, врывались в их «аполитическое» движение репрессиями, все более жестокими, все больнее ударявшими по организации и все чаще вызывавшими потребность в отпоре. При отсутствии массового базиса у организации этот отпор был возможен лишь в виде террористических покушений против отдельных, наиболее вредных или наиболее ненавистных, представителей администрации. Но начавшись как индивидуальные акты протеста наиболее экспансивных

революционеров, террористические покушения очень скоро превратились в систематически применяемый метод «самозащиты» организации и дальше — в форму перехода ее от обороны к наступлению на политический режим царского самодержавия.

Стихийный характер этого процесса развития как нельзя ярче подчеркивается тем фактом, что инициатором его оказалась Вера Ивановна Засулич (1849–1919), будущая «чернопеределка» (см. ниже) и затем одна из соосновательниц марксистской социал-демократии в России, бывшая до конца своей жизни принципиальной противницей политического террора. Она стреляла 24 января 1878 года в петербургского градоначальника Трепова[250], чтобы протестовать против безобразного издевательства его над личностью политических заключенных: он велел подвергнуть телесному наказанию одного из них (Емельянова[251], по революционной кличке Боголюбова, участника «Казанской» демонстрации[252]), не снявшего перед ним шапки. Но, неожиданно для самой Засулич, задуманный лишь как акт морального протеста, ее выстрел, в атмосфере вещественного возбуждения, получил гораздо более широкий, политический резонанс. Как пишет М. Попов (стр. 93), он прозвучал «призывом в революционном мире на новый путь борьбы. Так, мне кажется, многие революционеры нашего времени его поняли».

Что он был понят именно так, — о том свидетельствует вереница непрекращающихся террористических актов, которыми тотчас же откликнулась на него революционная среда. 23 февраля того же 1878 года состоялось покушение на Котляревского[253], товарища Киевского окружного суда; 25 мая — убийство жандармского полковника Гейкинга[254]; 1 июня попытка вооруженного освобождения арестованного по этому делу Войнаральского[255]; 4 августа убийство шефа жандармов Мезенцова[256] и т. д., и т. д. — политический террор прочно вошел в русскую жизнь. Оправдательный приговор, вынесенный Вере Засулич 31-го марта того же года Петербургским окружным судом, повлек за собою изъятие политических дел из ведения суда присяжных, но восторженный отклик, которым этот приговор был встречен в широких кругах либерального общества, воочию показал революционерам, насколько больше сочувствует это общество политическому террору, чем террору аграрному и фабричному. Линия политического террора оказывалась, таким образом, для революционеров-народников не только линией вынужденного отступления

перед неустранимыми настроениями «самого народа» и неодолимыми «политическими условиями», но и линией наименьшего сопротивления со стороны окружавшей их общественной среды, сочувствие и поддержка которой были необходимы для успеха их конспиративной работы.

Правда, тот факт, что революционная работа принимает все яснее выраженный политический характер, долго ускользал от сознания самой революционной интеллигенции. Только социалистический и народнический мессианизм, высоко поднимавший ее над низменным уровнем окружавшего ее полукрепостнического, полубуржуазного общества, мог питать то огромное моральное напряжение, без которого было бы немыслимо выполнение героической миссии, возложенной на нее историей. Народнический социализм стал такой же моральной «самозащитой» для нее, как террор — организационной, и инстинкт самосохранения заставлял ее закрывать глаза на политическую прозу своей революционной работы.

Лишь очень немногие в ее среде решались смотреть этой прозаической правде в лицо, и когда, например, при обсуждении «второй программы» зимой 1877–78 года Валериан Осинский[257] предложил открыто признать необходимость политической борьбы, — его предложение было отвергнуто почти единогласно. И еще в брошюре «Смерть за смерть», комментировавшей убийство Мезенцова, сам выполнитель этого террористического акта С. Кравчинский решительно отвергал его политический характер, объявлял «буржуазию» единственным настоящим врагом революционеров и, обращаясь к правительству, просил его лишь «посторониться» и не мешать борьбе с буржуазией: «Давайте или не давайте конституцию, призывайте выборных или не призывайте, назначайте их из землевладельцев, попов или жандармов — это нам совершенно безразлично. Не нарушайте наших человеческих прав, вот все, что мы хотим от вас»*. И в полном соответствии с этим передовая 1-го номера «Земли и воли», написанная, впрочем, тем же Кравчинским, призывает революционеров не увлекаться террором и поясняет, что «с борьбой против существующе-

---

* Эмигрировавший в том же 1878 году и с 1884 года поселившийся в Лондоне, Кравчинский написал (под псевдонимом «Степняк») известную книгу «Подпольная Россия» и ряд беллетристических произведений, в том числе и роман «Андрей Кожухов», рисующий переход народников-революционеров от работы «в народе» к террористической борьбе с правительством.

го порядка терроризация не имеет ничего общего», что «против класса может восстать только класс» и что террористы — лишь «охранительный отряд», предназначенный оберегать «от предательских ударов врагов» революционеров, работающих «в народе».

Этими старыми словами о первенстве работы «в народе» нельзя было, однако, устранить того нового факта, что в действительности работа эта все больше сводилась на нет и что, наоборот, не скромным «охранительным отрядом», а руководящей силой организации все больше становились «дезорганизаторы»-террористы. Пропасть не только взаимного непонимания, но и «нравственного разъединения» начала образовываться между ними и «сонными деревенщиками».

«Петербургские землевольцы», пишет по этому поводу Вера Фигнер, «упоенные успехами, раздраженные неудачами, в пылу борьбы, которая требовала постоянного напряжения сил, но вместе с тем давала неслыханное по своей силе средство для агитации, с удивлением и презрением стали смотреть на тишину саратовских сел и тамбовских деревень. Отсутствие там всяких признаков активной борьбы, видимая безрезультатность пребывания в деревне целых десятков лиц возмущали их до глубины души». Со своей стороны «народникам, в тесном смысле слова, казалось, что городские землевольцы занимаются фейерверками, блеск которых отвлекает молодежь от настоящего дела, от народной среды, столь нуждающейся в ее силах. Убийства генералов и шефов жандармов были в ее глазах работой менее производительной и нужной, чем аграрный террор в деревне; террористические акты (городские!) проходили в деревне бесследно, не над кем было наблюдать производимое ими впечатление; без пролога и эпилога они не потрясали и самих деревенских землевольцев; они не переживали тревог, опасений и радости борьбы; среди однообразия необозримых степей и моря крестьянских голов, они не оплакивали товарищей, которые шли на казнь» (стр. 149–150).

Это «нравственное разъединение» стало еще больше, когда сама логика террористической борьбы направила мысль революционеров от отдельных лиц правительственного персонала к носителю высшей власти в государстве, которое предполагалось «дезорганизовать», и сделала организацию цареубийства их основной задачей. Та же Вера Фигнер рассказывает, как «мало-помалу» в представлениях огромного большинства влиятельных землевольцев «две стороны программы “Земли и воли” меняли место. В 1876 году, при основании общества,

центр тяжести полагался в деятельности в деревне, в подготовлении и организации народного восстания, а "удар в центре" ставился в зависимости от того, что будет делаться в массах; теперь же, в 1878–79 гг. "удар" полагался во главу угла и занимал первое место: не что другое, а именно он должен был развязать живые силы народа, дать возможность к выявлению их в момент дезорганизации и смущения правительства. На создание этого момента и должны были отныне направляться все силы партии, все усилия ее». И когда Фигнер, работавшая в Саратовской губернии «в народе», приехала в декабре 1878 года в Петербург, ее неприятно и больно поразило то раздражение и та враждебность, с которыми Г. В. Плеханов (бывший, вместе с М. Р. Поповым, одним из немногих ярых противников новой тактики) спорил с такими видными товарищами, как А. Михайлов и Н. Морозов[258], застрельщиками террористического направления (стр. 152–153).

Это взаимное раздражение перешло в открытую борьбу двух направлений внутри организации, когда весною 1879 года в Петербург приехал из Саратовской губернии народный учитель Александр Константинович Соловьев[259] (1846–1879) с заявлением о своей решимости во что бы то ни стало, хотя бы на свой личный риск и страх, совершить покушение на царя, но с просьбой к организации оказать ему содействие. Бурные прения по этому вопросу закончились компромиссом: «как организация, "Земля и воля" отказывала в помощи покушению, но индивидуально отдельные члены могли оказать ее в той мере, в какой найдут нужной».

Покушение 2 апреля 1879 года, состоявшееся при содействии этих «отдельных членов», закончилось неудачей, и 29 мая Соловьев был казнен. Но его акт сыграл в судьбах общества решающую роль. Он не только дал многим «деревенщикам» (в числе их была и сама Вера Фигнер) последний толчок к переходу в ряды террористов, но заключенный в связи с ним «компромисс» ускорил разложение «Земли и воли», ибо дал повод к возникновению внутри ее «обособленной группы, о которой остальные члены не знали». Эта законспирированная от собственных товарищей группа, в которую входили такие выдающиеся землевольцы, как Баранников[260], Квятковский[261], Михайлов, Морозов, Ошанина[262], Тихомиров и др., «стала втайне подбирать себе сторонников» и даже образовала при себе «подсобный» кружок (Кибальчич[263], Якимова[264], София Иванова[265], Исаев[266],

Ширяев[267] и др.) с террористической программой уже чисто политического характера и с девизом «Свобода или смерть!» В то же время, наряду с официальным органом «Земля и воля»[268], выходившим под коллективной редакцией Н. А. Морозова, Г. В. Плеханова и Л. А. Тихомирова, стал издаваться под единоличной редакцией Морозова тоже официальный «Листок "Земли и воли"», в котором проповедь политического террора велась уже совершенно открыто и в котором впервые стала появляться подпись «Исполнительный Комитет» — название, не соответствовавшее ничему в организации «Земля и воля», но ставшее впоследствии официальным названием центра партии «Народная воля».

При таких обстоятельствах было решено созвать съезд «Земли и воли», который и собрался (конечно, нелегально) в Воронеже к 24 июня 1879 года. Но за несколько дней до того сторонники новой тактики собрались втайне на свой собственный фракционный съезд в Липецке, к участию в котором они привлекли и некоторых южных революционеров — Желябова, Колодкевича[269] и Фроленко[270] в организацию «Земли и воли» не входивших, но проделавших ту же идейно-политическую эволюцию, что и петербургские террористы. Программа образованной на Липецком съезде фракционной группы «ставила целью организации ниспровержение самодержавного строя и водворение политических свобод, а средством — вооруженную борьбу с правительством».

Принятие этой «ткачевской» программы означало открытый и решительный разрыв с традиционным «аполитизмом» народничества*. Оно означало также ликвидацию «Земли и воли», поскольку для известной части ее членов такой разрыв был совершенно неприемлем. Воронежский съезд отметил собою ее распад на «Черный передел» и «Народную волю», и смысл этого распада как нельзя лучше выразил Морозов: «Мы разделили и самое название прежней организации:

---

* Вера Фигнер, решительно отвергающая какое бы то ни было влияние Ткачева и «Набата» на развитие революционной мысли и революционного движения в России, сводит «якобинство» Ткачева к идее не только «захвата», но и длительного удержания власти незначительным революционным меньшинством. На самом деле, основной идеей Ткачева был, как мы видели, не «захват власти» революционным меньшинством, а скорейший переход его к политической борьбе и совершение собственными силами революционного переворота. В упорном отрицании влияния Ткачева сказываются не только отзвуки старых фракционных споров, но и желание подчеркнуть в цензурной форме враждебность «народовольцев» к «якобинству», как оно осуществилось в большевистской диктатуре.

чернопередельцы взяли "Землю", а мы — "Волю", и каждая фракция пошла своей дорогой» (В. Фигнер. Стр. 154–166).

5. «Народная воля»

Из всех участников Воронежского съезда только один Плеханов покинул его со словами: «мне нечего больше здесь делать», и только очень немногие даже из числа «деревенщиков» примкнули к организации «Черный передел», основанной им вместе с П. Б. Аксельродом, В. И. Засулич и Л. Г. Дейчем — будущими соратниками его по основанию марксистской группы «Освобождение труда» (1883).

В извещении об издании журнала под тем же названием группа «Черный передел» объявляла себя хранительницей старых традиций «Земли и воли», еще раз провозглашала, что «политические перевороты нигде и никогда не могли обеспечить народу экономическую и политическую свободу», и предостерегала «Народную волю» от грозящего ей перерождения в «партию реакции и застоя». «Агитационный девиз русской социально-революционной партии» журнал формулировал в словах: «рабочий бери фабрику, крестьянин — землю». На деле никакой сколько-нибудь заметной работы «Черный передел» организовать не мог и вскоре, с отъездом Дейча, Засулич и Плеханова за границу, стал распадаться: его члены или совершенно отходили от революционной работы или, подобно Стефановичу, переходили к народовольцам. И та же эволюция в сторону «политики» замечалась в проекте программы той новой организации, которую, под названием «партии социалистов-федералистов», пытался было в 1880 году сколотить П. Б. Аксельрод из остатков чернопередельцев и центральное, законспирированное ядро которой должно было называться «Великорусским обществом земли и воли»*.

Таким образом, единственной наследницей и продолжательницей «Земли и воли» оказалась на деле «Народная воля». Но это отнюдь не значит, что основная масса «землевольцев» сколько-нибудь существенно изменила свое общее мировоззрение или сделала теоретические выводы и из своей новой практики с тем же логическим бесстрашием, с которым пытались сделать их вожди будущей «Народной

---

* П. Б. Аксельрод. Пережитое и передуманное. Книга первая. Издательство З. И. Гржебина. Берлин, 1923. Стр. 339 и сл.

воли» на Липецком съезде. М. Р. Попов (стр. 214) прав, когда говорит, что различие между будущими чернопередельцами и будущими народовольцами и в этом случае «сказывалось скорее... не в теоретических взглядах, а в практической программе деятельности». Рядовая масса революционной интеллигенции по-прежнему стойко держалась за свой народнический социализм, в нем искала морально-политической санкции в своей новой работе и упорно пыталась, хотя бы ценой явных логических противоречий, в рамки старых теорий втиснуть ломавшую эти рамки новую практику.

Как нельзя более характерно в этом отношении то, что Вера Фигнер (стр. 161) рассказывает о выступлении Желябова на Воронежском съезде при обсуждении вопроса об «аграрном терроре»: «На кого думает опираться революционная партия, — спрашивал он, — на народ или на либеральную буржуазию, которая сочувствует ниспровержению абсолютизма и водворению политической свободы? Если первое, то уместен и фабричный, и аграрный террор, говорил он. Если же мы хотим искать опоры среди промышленников, земцев и деятелей городского самоуправления, то подобная политика оттолкнет от нас этих естественных союзников... На вопрос Желябова последовал единодушный ответ, что мы будем опираться на народные массы и сообразно с этим строить свою программу теоретическую и практическую». И сообразно с этим, «деятельность в народе было решено продолжать, но включить в нее аграрный террор; наряду с этим постановлено продолжать и террористическую борьбу в городе, включая в нее цареубийство» (стр. 159).

С программой «Народной воли» повторилась поэтому та же история, какую проделала в свое время программа «Земли и воли». Первая (Липецкая) программа, написанная Н. Морозовым и формулировавшая политическую мысль нового направления в обнаженно-логическом виде, оказалась для огромного большинства адептов этого направления неприемлемой психологически: в Воронеже, говорит В. Фигнер, она «не удовлетворила присутствующих, и Тихомирову было поручено написать другой проект», который, после тщательного обсуждения, и стал программой Исполнительного комитета партии «Народная воля». Эта окончательная программа, в полной аналогии со второй программой «Земли и воли», начиналась словами: «по основным своим убеждениям мы социалисты и народники» — словами, принятыми на этот раз не без больших сомнений и колебаний, но имевшими целью и подчер-

кнуть преемственность «с нашим прошлым», и еще раз провозгласить, что, с одной стороны, «политическая свобода для нас не цель, а средство», а, с другой, что «мы преследуем не отвлеченные конечные задачи социалистического учения, а те согнанные народом потребности и нужды, которые в основе своей заключают социалистическое начало и принципы свободы» (стр. 171–172).

Сами задачи политической борьбы программа старалась формулировать в терминах, протягивавших психологические нити к тому аполитическому, анархистски-бакунистскому «прошлому», с которым «Народная воля» на деле окончательно порывала. «Государственно-буржуазный нарост» на народном теле, заявляла она, «держится исключительно голым насилием: своей военной, полицейской и чиновничьей организацией». Поэтому «мы должны поставить своей ближайшей задачей — снять с народа подавляющий его гнет современного государства, произвести политический переворот с целью передачи власти народу. Этим переворотом мы достигнем: во 1-х, что развитие народа отныне будет идти самостоятельно, согласно его воле и наклонностям; во 2-х, того, что в нашей русской жизни будут признаны и поддержаны многие, чисто социалистические, принципы, общие нам и народу». И лишь на психологически подготовленной таким образом почве программа выдвигала тот политический лозунг, который с тех пор, вплоть до революции 1917 года, оставался общим политическим лозунгом всех без исключения партий и фракций русской революционной демократии: созыв «Учредительного Собрания, избранного свободно, всеобщей подачей голосов».

С такой же психологическою осторожностью подходила программа и к основному методу политической борьбы партии — террору. «Террористическая деятельность», заявляла она, «имеет своею целью подорвать обаяние правительственной силы, давать непрерывное доказательство возможности борьбы против правительства, поднимать таким образом революционный дух народа и веру в успех дела и, наконец, формировать годные и привычные к бою силы». Но, переходя в дальнейшем к указанию условий политического переворота, программа отводит «народу» в свершении такого переворота уже лишь подсобную роль: «по отношению к перевороту особенно важны администрация и войско». Конечно, «не менее серьезное внимание партия должна обратить на народ». Но «главная задача партии в народе — подготовить его содействие перевороту» и обеспечить

«возможность успешной борьбы на выборах после переворота». И только в одном из заключительных параграфов об «организации и совершении переворота» высказывает программа более определенно центральную политическую идею новой партии: «Ввиду придавленности народа, ввиду того, что правительство частными усмирениями может очень надолго сдерживать общее революционное движение, партия должна взять на себя почин самого переворота, а не дожидаться того момента, когда народ будет в состоянии обойтись без нее». Но, заканчивалась программа, «каким бы путем ни произошел переворот — как результат самостоятельной революции или при помощи заговора — обязанность партии — способствовать немедленному созыву Учредительного Собрания и передаче ему власти Временного правительства, созданного революцией или заговором». Как бесконечно далеко это от высокомерного «давайте или не давайте конституцию, призывайте выборных или не призывайте», провозглашенного Кравчинским за какой-нибудь год до того!

«Совершение переворота» стало на деле основною, а вскоре, можно сказать, и единственной задачей партии, по крайней мере — не периферии ее, а ее центра, получившего название Исполнительного комитета. Самые «способы совершения переворота» программа объявила «не подлежащими опубликованию». В действительности все «способы» свелись к организации политического террора. Правда, согласно программе, народовольцы должны были вести и действительно вели агитационную и пропагандистскую работу и в народе, и в войсках, и в студенчестве, и в имущем обществе. Но, помимо того, что работа в «народе» сводилась все больше лишь к работе среди городских рабочих, а работа в «войсках» к работе среди офицерства, — самой целью ее, как и работы в студенчестве, все более исключительно становилась вербовка одиночек, пригодных для активного участия в террористических предприятиях. Только работа в «обществе» ориентировалась на приобретение политического сочувствия более широких кругов. Но, неизбежно накладывая специфический отпечаток на самый характер пропаганды, и эта ориентация имела, прежде всего, в виду создание той материальной и организационной (квартиры, явочные адреса, паспорта и пр.) базы, без которой осуществление сколько-нибудь сложных предприятий такого рода было бы невозможно. Такова была неумолимая логика сосредоточения всех сил Исполнительного комитета на политическом терроре.

Правда, буква программы и устава возлагала на Исполнительный комитет гораздо более разносторонние задачи, и формально В. Фигнер права, когда пишет (стр. 179–180): «В момент восстания он распоряжался всеми наличными силами партии, мог требовать революционного выступления их, а до того времени главное внимание направлял на организацию заговора, ту организационную работу, которая одна обеспечивала возможность переворота с целью передачи власти в руки народа. И силы партии были достаточно обращены в эту сторону; тем более странно было название террористической, которое она получила впоследствии... Террор никогда сам по себе не был целью партии. Он был средством обороны, самозащиты, считался могучим средством агитации... Цареубийство входило в этот отдел, как частность... Деятельность пропагитаторская и организационная всегда шла рядом с работой разрушительной».

Но еще более права — и уже не формально, а по существу — та же Вера Фигнер, когда констатирует: «по мере того, как борьба разгоралась, время шло и одно грандиозное дело за другим замышлялось, выполнялось нами, прежняя деятельность в народе в наших глазах тускнела, интерес к ней слабел, деревня отходила в даль. Та часть программы "Народной воли", которая говорила о деятельности в деревне, постепенно приобретала чисто теоретический, словесный характер» (стр. 176). И надо сказать, что также «тускнели» и все другие виды деятельности Исполнительного комитета кроме организации террористических покушений и даже еще уже — кроме подготовки такой «частности», как цареубийство.

На «удар в центре» и цареубийство все силы «Народной воли» были направлены еще более исключительно, чем силы «Земли и воли» в последний период ее существования. Соответственно этому и организация партии стала еще более строго централистической. Все общепартийные функции и общероссийские дела находились в безапелляционном ведении самочинно возникшего Исполнительного комитета, ядром которого стали участники Липецкого съезда. Сам же Исполнительный комитет стал своего рода монашеским орденом, требующим от своих членов строжайшей дисциплины и полного растворения личности в коллективе. Требования его устава состояли: «1) в обещании отдать все духовные силы свои на дело революции, забыть ради него все родственные узы и личные симпатии, любовь и дружбу; 2) если это нужно, отдать и свою жизнь, не считаясь ни с чем

и не щадя никого и ничего; 3) не иметь частной собственности, ничего своего, что не было бы вместе с тем и собственностью организации, в которой состоишь членом; 4) отдавая всего себя тайному обществу, отказаться от индивидуальной воли, подчиняя ее воле большинства, выраженной в постановлениях общества» и т. д.

«Своею строгостью и высотой они приподнимали личность и уводили ее от всякой обыденности; человек живее чувствовал, что в нем живет и должна жить идея», говорит об этих требованиях устава Вера Фигнер (стр. 181–2), сама одна из участниц этого неповторимого монашеского ордена. И действительно, в этих беспощадно суровых требованиях отражался тот гигантский моральный и волевой подъем, который был необходим для «грандиозных дел», быстро следовавших одно за другими, и навсегда озарил светом недосягаемого героизма память каждого из участников этих «дел» в глазах последующих поколений русских революционеров, как бы критически ни относились они к теоретическим установкам и политической практике «Народной воли». Небольшой эпизод показывает, насколько высокий моральный облик этих «цареубийц» импонировал даже тем, против кого был направлен их террор, даже их судьям и тюремщикам: отправляя ту же Веру Фигнер на пожизненное заключение в Шлиссельбург (из которого ее лишь через 22 года освободила амнистия, последовавшая за революцией 1905 года), жандармский генерал Середа просил у своей узницы разрешения — поцеловать ее руку!

Такова была та революционная среда, которая с неослабной энергией и самоотвержением готовила день за днем все новые покушения на царя, бросала неудавшиеся планы, чтобы, расплатившись за них своей кровью и учтя тяжелый опыт, немедленно приняться за другие, более совершенные, и все ближе подвигаться к намеченной цели. Подкоп под пути Московско-Курской железной дороги, закончившийся неудачей лишь потому, что заложенная в нем мина была взорвана (19 ноября 1879 года) не под поездом, в котором следовал царь, а под шедшим впереди поездом его свиты, и взрыв царской столовой (5 февраля 1880 года), выполненный столяром Степаном Халтуриным, поступившим на службу в Зимний Дворец, и не давший ожидаемых результатов также лишь вследствие случайного просчета в несколько минут, — были самыми громкими этапами в этом продвижении. В течение нескольких месяцев небольшая кучка революционеров сумела не только заставить русское правительство считаться с собой, как с

самым грозным и опасным врагом, но и во всем мире создать впечатление о близком конце царского самодержавия. Писарев был прав: не в недостатке «сильных характеров» была беда русской демократии!

1 марта 1881 года работа террористов увенчалась наконец успехом: после неудачи первого метальщика, рабочего Гриневицкого[271], разорванного собственной бомбой, вторая бомба, брошенная молодым студентом Рысаковым[272], смертельно ранила Александра 2-го, скончавшегося тотчас же по возвращении во дворец. Лишь немногих из непосредственных организаторов и участников этого дела удалось арестовать сейчас же, и перед судом особого присутствия сената (26–29 марта) предстало лишь шесть человек: София Львовна Перовская[273], Николай Иванович Кибальчич, Тимофей Михайлович Михайлов[274], Геся Мироновна Гельфман[275], Николай Иванович Рысаков и Андрей Иванович Желябов, арестованный еще до 1-го марта, но по собственной инициативе заявивший себя главным организатором покушения, чтобы поставить процесс на подобающую политическую высоту. Все шестеро были приговорены к смертной казни, приведение которой в исполнение было отсрочено только для беременной Гельфман, которая впрочем умерла тотчас же после родов, при невыясненных обстоятельствах, в Петропавловской крепости. Вскоре было арестовано и большинство других членов Исполнительного комитета. На «процессе двадцати», на котором перед судом предстали А. Д. Михайлов, Н. А. Морозов и другие, десяти подсудимым был вынесен смертный приговор, приведенный впрочем в исполнение лишь по отношению к бывшему морскому офицеру Н. Суханову[276], а остальным обвиняемым замененный каторжными работами и заключением в Петропавловскую или Шлиссельбургскую крепости.

День первого марта был днем величайшего торжества партии. Но он же оказался днем, нанесшим ей смертельный удар. Аресты разбили старый, испытанный в боях Исполнительный комитет. «Теперь была пустыня — недоставало ни умов, ни рук, ни главенствующих инициаторов, ни искусных исполнителей», пишет Вера Фигнер, последний из членов этого знаменитого Комитета, остававшийся в России на свободе до 1883 года. «В 1879 году Исполнительный комитет соединил в себе все революционные силы, накопленные предшествующим развитием и уцелевшие от разгромов этого периода. Он бросил их в политическую борьбу и, совершив громадную работу, в два года истратил весь капитал... Исполнительный комитет, по существу, кончил свое бытие, и

в данный момент центр партии "Народной воли" уже не был в состоянии играть прежней роли» (стр. 287).

Конечно, формально партия продолжала существовать, и даже еще во второй половине 90-х годов имелись в России группы «народовольцев», ведшие пропаганду среди рабочих и студентов и выпускавшие «Летучие листки». За границей с 1883 по 1886 год выходил «Вестник Народной воли» под редакцией П. Лаврова и эмигрировавшего Л. Тихомирова. Отдельные народовольческие группы пытались организовывать и террористические покушения, и за неудачную попытку цареубийства, приуроченную к 1 марта 1887 года, пять молодых студентов (П. Я. Шевырев[277], В. С. Осипанов[278], В. Д. Генералов[279], П. И. Андреюшкин[280] и брат будущего Ленина — Александр Ильич Ульянов[281]) поплатились жизнью, а двое (М. В. Новорусский[282] и И. Д. Лукашевич[283]) долголетним заключением в Шлиссельбургской крепости.

Но все это были лишь запоздалые и бледные отблески того яркого революционного пламени, которым пылала и на котором в какие-нибудь 20 месяцев сама сгорела полнокровная, страстная и волевая партия «Народной воли», родившаяся на Воронежском съезде. «Народовольцы» сошли в историческую могилу, им на смену пришли эпигоны народовольчества и народничества вообще. Ибо 1 марта 1881 года разбило не только организационный аппарат партии, оно смертельно ранило и ее политическую идеологию.

Удавшееся цареубийство не «развязало» народной революции и даже сколько-нибудь заметного народного движения. Как и предшествующие «убийства генералов и шефов жандармов», и убийство царя «проходило в деревне бесследно». Кое-где его можно было даже изображать крестьянам, как акт «господской» мести «царю-освободителю». Народно-социалистические иллюзии, которыми революционеры в своих собственных глазах освящали террористическую борьбу, внезапно рассеялись. Прозаическая правда этой борьбы, как борьбы за самую элементарную «буржуазную» свободу, за самый умеренный «западноевропейский» парламентаризм, на мгновение с такой непререкаемой ясностью предстала перед сознанием уцелевших борцов, что в письме, с которым остатки Исполнительного комитета обратились 10 марта к новому царю, только два требования выдвигались, как условие прекращения революционной работы: общая политическая амнистия и созыв народных представителей.

«Редактированное нами через несколько дней письмо к Александру 3-му достаточно характеризует общее настроение петербургских членов партии в период, последовавший за первым марта», пишет об этом историческом документе Вера Фигнер (стр. 248). «Оно составлено с умеренностью и тактом, вызвавшими сочувствие во всем русском обществе. Опубликованное на Западе, оно произвело сенсацию во всей европейской прессе; самые умеренные и ретроградные органы заявили одобрение требованиям русских нигилистов, находя их разумными, справедливыми и значительной частью своей вошедшими давным-давно в повседневный обиход западноевропейской жизни».

Что умеренно либеральная программа не вкладывалась Верой Фигнер лишь ретроспективно в послемартовские настроения народовольцев, а действительно сознавалась ими в данный момент, как скромный баланс их героической борьбы, доказывается и речью самой Веры Фигнер на суде, перед которым она предстала в 1884 году. «В программе, по которой я действовала», гласят заключительные слова этой речи, «самой существенной стороной, имевшей для меня наибольшее значение, было уничтожение абсолютистского образа правления. Собственно я не придаю практического значения тому, стоит ли у нас в программе республика или конституционная монархия. Я думаю — можно мечтать и о республике, но что воплотится в жизнь лишь та форма государственного устройства, к которой общество окажется подготовленным, так что этот вопрос не имеет для меня особенного значения. Я считаю самым главным, самым существенным, чтобы явились такие условия, при которых личность имела бы возможность всесторонне развивать свои силы и всецело отдавать их на пользу общества. И мне кажется, что при наших порядках таких условий не существует».

Борьба за умеренно либеральную конституцию — таков оказался объективный смысл легендарной революционной работы «Народной воли». Это разительное противоречие между широтою программы и узостью действительных политических задач, между грандиозностью средств и скромностью реальных целей надо констатировать не затем, конечно, чтобы его задним числом критиковать и обличать, а затем, чтобы еще раз подчеркнуть те трагические условия, в которые история на десятилетия поставила русскую интеллигенцию, взвалив

исключительно на ее плечи все бремя борьбы за русскую демократию и русский социализм. И в героических формах «народовольчества» революционная интеллигенция не могла разрешить неразрешимую задачу доведения этой непосильной борьбы до успешного конца. Но громадной важности историческую веху в этой борьбе «Народная воля» поставила тем, что вместе с нею русское народничество и русское революционно-интеллигентское движение вообще навсегда порывает с аполитизмом. «Политика» становится его центральной задачей, свержение самодержавия его общим лозунгом. «Долой самодержавие!» — этот популярный клич русского революционного движения завещан ему «Народной волей».

Часть III. РЕВОЛЮЦИОННЫЙ МАРКСИЗМ

Глава 7. ОТ НАРОДНИЧЕСТВА К МАРКСИЗМУ

1. После 1-го марта

«Умеренность и тактичность» письма, с которым остатки разгромленного Исполнительного комитета обратились к новому царю, свидетельствуют о том, какою переломною гранью для всей политической психологии народовольчества оказалось 1-е марта 1881 года. Партия, еще вчера гремевшая на весь мир своими «героическими делами», сегодня превратилась в бессильную горстку революционеров, очутившуюся как бы на необитаемом острове. «Народные массы», на которые она решила «опираться» при своем возникновении и в расчете на поддержку которых обещала «строить свою программу теоретическую и практическую», никак не поддержали ее в самый решающий момент ее существования и борьбы. И чем острее переживалось крушение «народнических» иллюзий, тем более круто приходилось поворачиваться лицом к той «либеральной буржуазии», от которой, вопреки призывам Желябова, так гордо отвернулся Воронежский съезд, и среди «промышленников, земцев и деятелей городского самоуправления» искать своих «естественных союзников». Но и здесь революционеров ждало жестокое разочарование.

Нараставшую в 1879–1880 годах волну террористических покушений либеральное общество и либеральная печать широко использовали для заявления — конечно, в более или менее цензурно замаскированной форме — пожеланий об «увенчании здания» реформ созывом «представителей земли». О том же говорили в своих обращениях к правительству и многие земства. «Дайте нам конституцию, а то они будут стрелять» — так иронически формулировалось и в радикальных, и в правительственных кругах существо отношения либерального общества к террористической борьбе народовольцев.

В этой формулировке правильно ставилось ударение на «нам», так как под «представителями земли» почти неизменно понимались лишь представители земств, городских дум, дворянских собраний и тому подобных организованных коллективов цензовой верхушки общества. Но уже не совсем соответствовало действительности указание на «конституционный» характер либеральных пожеланий, так как вопрос об объеме

прав и полномочий «представителей земли», а потому и о степени ограничения самодержавной власти всякие адреса и заявления систематически оставляли в тени. Можно во всяком случае утверждать, что о конституционном парламентаризме либеральные круги имущего общества в огромном большинстве своем в это время серьезно не помышляли. Неопровержимым доказательством тому служит их отклик на призыв, обращенный к «обществу» графом Лорис-Меликовым[284], которого, после взрыва в Зимнем Дворце (5 февраля 1880 года), напуганный царь облек диктаторскими полномочиями по «борьбе с крамолой» и по привлечению «общества» к деятельному участию в этой борьбе.

«Диктатура сердца», как окрестили Лорис-Меликовский режим его хвалители, не приостановила и не ослабила жестокой расправы с революционерами. Казни, каторжные приговоры исключительных судов, административные кары шли своим чередом. Но одновременно диктатор объявил о своем намерении пойти навстречу «обществу» и дать ему возможность принять участие в государственной работе. Соответствующий проект был уже совершенно готов и ждал только царской подписи, когда бомба народовольцев оборвала жизнь Александра 2-го. Проект этот получил в разговорном языке название «конституции Лориса-Меликова». Но название это не соответствовало его действительному содержанию, ибо, по существу, в нем шла речь лишь о привлечении ограниченного числа земских и городских деятелей к участию в работах Государственного Совета, который сам был учреждением чисто бюрократического и чисто совещательного характера при самодержавном царе.

Ничего большего «диктатура сердца» и вообще никогда не обещала. И однако, на сенсационное по тому времени назначение Лорис-Меликова только 25 «московских именитых граждан» откликнулись «запиской», которую можно было истолковать как требование представительства, хотя и цензового, но наделенного определенно конституционными полномочиями. Поданная правительству 25 марта 1880 года, записка эта указывала на необходимость созыва «независимого собрания из представителей земств и предложения этому собранию участия в управлении нацией и в выработке необходимых гарантий для прав личности, свободы мысли и слова». Но эта записка была исключением, и характеризуя «мнения земских собраний», ответивших на «призыв» Лорис-Меликова, В. Ю. Скалон, сам видный земец, констатирует, что «полагаясь на мудрость и благонамеренность власти, они не заявляли никаких требований, воздерживались

от всяких указаний на желательные реформы. Глубокая вера в прочность установившегося порядка заставляла их терпеливо ожидать мероприятий со стороны самого правительства» (См. об этом у Мартова: «Общественные и умственные течения» и т. д., стр. 50–51).

Но чем скромнее становятся политические пожелания и требования либерального общества, тем громче начинает звучать в его заявлениях готовность участием «в борьбе с крамолой» расплатиться за те скромные формы «увенчания здания», которых оно добивается. Эта мысль красною нитью проходит через Заявления и адреса еще до 1-го марта. Так, даже адрес, составленный для Черниговского земского собрания М. И. Петрункевичем[285], одним из двух прославленных в истории русского либерализма братьев, подкреплял свои либеральные пожелания обещанием «борьбы с разрушительными тенденциями». Еще определеннее заявляли свою готовность «вырвать зло с корнем и побороть пропаганду, предпринятую врагами правительства и общества», такие земства, как Полтавское, Харьковское и другие. И только небольшая и невлиятельная группа радикальных земских деятелей, объединившихся в тайную «Земскую лигу», писала с негодованием в брошюре «Ближайшие задачи земства»: «Мы думаем, что Полтавское и Харьковское земства встали на ложный путь. Какие конституционные блага мы посулим русскому народу, если наперед обязуемся душить и истреблять людей, ими живущих?» (см. у Мартова, там же). После 1 марта сочетание пожеланий о созыве «представителей земли» с обещанием помощи правительству в искоренении «крамолы» становится правилом.

Еще дальше идут представители правого крыла либерализма. Такие видные либералы и деятели науки, как профессора А. Д. Градовский[286] и Б. Н. Чичерин[287], подают правительству записки, в которых прямо предостерегают его от введения конституции и от каких бы то ни было уступок «крамоле». Записка Чичерина (дяди будущего большевистского Народного Комиссара Иностранных Дел[288]), поданная им 11 марта 1881 года обер-прокурору Синода К. П. Победоносцеву[289] со вторым экземпляром для самого царя, представляет выдающийся интерес для понимания тех мотивов, которые вызвали это крайнее «поправение» либеральной мысли*.

* См. Б. Чичерин. «Задачи нового царствования» в томе 1 сборника «К. Победоносцев и его корреспонденты. Письма и Записки». Издание Государственного Издательства. Москва–Петроград. 1923 г. Стр. 104 и след.

Критикуя чрезмерно быстрый темп, в котором проводились реформы Александра 2-го, Чичерин говорит, что «к довершению беды» преобразования совершались в ту пору, когда «наша учительница на пути гражданского развития Западная Европа» сама стала переживать «кризис и в умственной, и в политической области»: в Европе «идет борьба между капиталом и трудом; материалистические учения обуревают умы, а дикие страсти, волнующие народные массы, стремятся к ниспровержению всех коренных основ, которыми держится человеческое общежитие». Не удивительно поэтому, что в отсталой и невежественной России периодическая печать «явилась элементом разлагающим». «Она породила Чернышевских, Добролюбовых, Писаревых и многочисленных их последователей, которым имя ныне легион. И теперь, когда печать далеко не пользуется полной свободой, всякий, умеющий читать, видит сквозь либеральную маску всюду прорывающиеся социалистические стремления». Если дать печати свободу, «то социалистической пропаганде будет открыт полный простор», и нельзя надеяться, «что она встретит противодействие со стороны здоровых элементов общества».

Что касается «умственного пролетариата, порождаемого изменившимся положением наших сословий», то есть так называемой «интеллигенции», то воображать, что его «можно мягкостью возвратить к полезной гражданской деятельности», — «значило бы быть уж слишком наивным утопистом. Пока существует социалистическая партия, стремящаяся к ниспровержению всего общественного строя, до тех пор чрезвычайные меры будут необходимы». «Только лишенные всякого политического смысла русские газеты могли мечтать о возвращении в настоящее время к законному порядку».

«Грозный крестьянский вопрос», будто бы стоящий в порядке дня, «не что иное, как миф, созданный воображением петербургских либералов, не без значительного влияния социалистов». На самом деле основные «причины бедности» заключаются «в закрепощении крестьянина, общине и круговой поруке», вследствие чего «имеющие возможность богатеть насильственно низводятся на степень нищих». Выход — в уничтожении общины и переходе к индивидуальной собственности на землю. «Но именно этот единственный разумный исход крестьянского дела возбудит вопль не только всей лжелиберальной печати, всегда готовой стоять горой за все подходящее к социализму, но и значительной части консерваторов, увлекающихся славянофильскими идеями или пугающихся призрака пролетариата».

Очертив с такой отчетливостью социальные и идейно-политические корни своего «поправения», Чичерин не менее определенно формулирует и вытекающую отсюда позицию свою в вопросе о том, «что привыкли называть завершением здания». Он указывает, что «после освобождения крестьян, дворянство некоторое время мечтало о конституционных правах, которыми оно думало вознаградить себя за утраченные привилегии». Но «наиболее разумная часть общества» понимала, что «не в эпоху коренных преобразований, изменяющих весь общественный строй, можно думать об ограничении верховной власти». Только когда «умы успокоились», об этом могла думать и разумная часть общества, и тогда «конституционных гарантий могли желать и те, которые не увлекались современными страстями». Но «эта пора спокойного усвоения преобразования прошла, как мимолетная тень. Проявившиеся со страшной энергией новые силы внесли страшную смуту в только что начинавшее приходить в сознание общество. В настоящее время говорить о завершении здания могут только последователи нигилизма или те, которые уже решительно не в состоянии ничего думать и понимать. Теперь всякое ограничение власти было бы гибельно». Теперь «вся ходячая либеральная программа должна быть устранена. Она ведет лишь к усилению разлагающих элементов общества, а нам нужно прежде всего дать перевес элементам скрепляющим». И отсюда, конечный вывод в духе Лорис-Меликовской программы: «Политическая свобода может быть отдаленным идеалом русского человека; насущная потребность заключается единственно в установлении живой связи между правительством и обществом для совокупного отпора разлагающим элементам, для внесения порядка в русскую землю. Эта цель может быть достигнута приобщением выборных от дворянства и земства к Государственному Совету». И «Записка» советовала воспользоваться моментом, когда «русское общество менее, чем когда-либо, расположено требовать себе прав. Оно напугано явлениями социализма и готово сплотиться около всякого правительства, которое даст ему защиту».

После очень короткого периода колебаний Александр 3-ий и действительно воспользовался моментом бессилия революционной организации и отречения либерального общества и от революции, и от своего собственного конституционного знамени, чтобы провозгласить незыблемость самодержавия и поставить крест не только на «конституционных мечтаниях», но и на гораздо более скромных

мечтаниях Чичеринской «Записки»: Лорис-Меликов был уволен, и его проект похоронен. Вопрос о «приобщении выборных от дворянства и земств к Государственному Совету» всплыл спустя лишь почти четверть века, когда за этим защитным валом уже не поправевшее «общество», а само самодержавие пыталось — и так же безуспешно! — укрыться от бурь надвигавшейся революции 1905 года.

Таким образом, политика содействия правительству в «борьбе с крамолой» не принесла либеральному обществу даже тех небольших уступок со стороны самодержавия, на которые она была рассчитана: действительность еще раз подтвердила, что в тех специфических условиях развития России, о которых мы неоднократно говорили, русский либерализм, отрываясь от социально враждебного ему лагеря социализма, становился бессильным перед политически враждебным ему лагерем самодержавия и его бюрократии. Но эта политика внесла значительную деморализацию во всю либеральную и оппозиционную среду и тем весьма облегчила работу по ее разложению, которая была задачей так называемой «Священной дружины»[290], основанной сейчас же после 1-го марта 1881 г. графом И. И. Воронцовым-Дашковым[291], министром двора и будущим Наместником Кавказа, графом Шуваловым[292], будущим русским послом в Берлине, и другими аристократическими фигурами.

«Дружина» имела фасад независимой организации, преследующей цели сближения правительства с «обществом» на почве либеральной программы, с одной стороны, беспощадной борьбы с революцией, с другой. На деле она была созданием и орудием политической полиции, не без успеха пользовавшейся ею для проникновения в самые разнообразные либеральные и оппозиционные круги и их разложения. Формально ликвидированная, по повелению Александра 3-го, лишь к концу 1882 года, «Дружина» в самые критические для самодержавия месяцы оказала ему немалую услугу — в смысле ускорения процесса политического выхолащивания либерализма и перехода его к тому «деловому» аполитическому сотрудничеству с бюрократией, о котором мы в своем месте уже упоминали и которое было одним из главных устоев политики застоя и реакции, характеризующей «восьмидесятые годы» и все царствование Александра 3-го вообще.

Лишь упомянутая уже «Земская лига», переименовавшаяся в «Земский союз», пыталась как будто по-прежнему высоко держать знамя буржуазного радикализма, и в августе 1881 года Михаил Петрович

Драгоманов[293] (1841–1895) стал выпускать в Женеве от имени «Союза» журнал «Вольное слово»[294]. Журнал критиковал народовольчество и вел борьбу против террора, но, со своей стороны, требовал демократической конституции на основе всеобщей подачи голосов и федеративного переустройства государства. В мае 1883 года, на 61-м номере, «Вольное слово» вынуждено было закрыться за отсутствием средств, а к 1884 году бесшумно сошел со сцены и сам «Земский союз». И лишь спустя свыше четверти века, по материалам раскрытых революцией полицейских архивов, удалось установить, что Союз этот был организацией более или менее мифической, и что средства на издание «Вольного слова» доставляла, неведомо для Драгоманова и его сотрудников (среди которых был и один из будущих основателей русского марксизма П. Б. Аксельрод), все та же «Священная дружина» через своего агента А. П. Мальшинского[295].

Наступившие с завершением русско-турецкой войны существенные изменения во внутреннем и международном положении России были материальной базой этого общего умиротворения либеральной оппозиции.

Вызванный войной кризис сменился полосою сравнительного экономического благополучия и даже расцвета. Развернулось промышленное и железнодорожное строительство. Заключение торговых договоров облегчило вывоз русского (главным образом, понятно, помещичьего) хлеба на европейские рынки. Улучшение государственных финансов позволило подготовить девальвацию рубля и переход к золотой валюте и широко пойти навстречу промышленникам, требовавшим кредита, и землевладельцам, домогавшимся не только новых ссуд, но и ликвидации своей старой задолженности государству. Оборотной стороной этого расцвета были, как мы уже имели случай упоминать, ускоренная экономическая и социальная дифференциация деревни, пауперизация значительной части крестьянства, отставание роста внутреннего рынка от роста производства, появление на рынке труда огромного количества свободных и дешевых «рабочих рук» и тому подобные явления, подготовлявшие в будущем революционные потрясения. Но пока что в стране создавалась атмосфера тяжелого для народных масс, удушливого для радикальной интеллигенции, но, казалось, прочного «успокоения», в которой правительство Александра 3-го могло не только «поставить точку к реформам», но и настойчиво проводить политику

реакционного пересмотра всех либеральных реформ предыдущего царствования (земской, крестьянской, судебной, университетской, цензурной и т. д.), не встречая сколько-нибудь реального противодействия со стороны имущих классов.

Но новая полоса наступила и в сфере международной политики России. Мирный договор, заключенный с Турцией в Сан-Стефано[296] (19 февраля 1878 г.), встретил, как известно, противодействие со стороны европейских держав и был фактически аннулирован на Берлинском Конгрессе[297] (1-го июля 1878 года), лишившим Россию почти всех плодов победы. Путь на Балканы и к проливам, закрытый для России за четверть века до того Крымским поражением, не был открыт ей и ее победами. Но внешняя политика нового царствования не только считалась с этим фактом: она и принципиально встала на почву отказа от агрессивной политики в Европе. Царь Александр 3-й стал «Миротворцем». Основой своей европейской политики он стремился сделать «Союз трех императоров» (русского, германского, австрийского), как опору консервативного «порядка» в Европе и оплот против всяких революционных поползновений. Не его вина, а вина неодолимых исторических обстоятельств, если эта новая версия «Священного Союза» оказалась еще гораздо менее долговечной, чем ее знаменитый предшественник начала 19-го века, и если самому Александру 3-му пришлось уже в 1893 году заключать союз с ненавистной ему французской республикой.

С запада наступательная и колонизационная энергия России была перенесена на Восток: в Туркестан, в Сибирь (постройка великой сибирской магистрали[298]), на Амур, на Дальний Восток. Продолжали еще говорить о «водружении креста» на Константинопольской «Святой Софии», — но то был уже не столько лозунг внешней агрессии, сколько экзальтированное выражение великорусского национализма, обращенного своим острием не столько против врагов внешних, сколько против врагов внутренних, против «инородцев» всякого рода и в первую очередь — против поляков и, особенно, евреев. По иронии судьбы специфически великорусская «народность» с чисто славянофильским культивированием «исконных заветов» и старых обычаев и при дворе, и в церкви, и в школе, и в быту — стала, наряду с «самодержавием и православием», знаменем режима как раз тогда, когда надолго, если не навсегда, сдавались в архив панславистско-балканские мечтания славянофилов!

Так снова складываются условия, во многих отношениях аналогичные тем, которые страна пережила в первые годы после освобождения крестьян и подавления польского восстания 1863 г. (см. выше). Как и тогда, расцвет грюндерства и колонизаторских предприятий делает правительство центром, к которому со всех сторон тянутся толпы предприимчивых, энергичных, хищных искателей наживы и обогащения. Как и тогда, национализм становится идейным цементом, скрепляющим огромное большинство имущего общества в прочный консервативный блок, и идейным оружием этого большинства в борьбе с изолированной, обессиленной революцией. Антисемитизм именно в эти годы не только делается официальной доктриной самодержавия (какой он и остается до самой революции 1917 года), но и получает широкое распространение в обществе, проникая даже в некоторые «левые» секторы его: даже среди периферийных остатков народовольчества находятся небольшие группки, пытающиеся «революционно» использовать еврейские погромы, поощряемые и организуемые политической полицией. И именно в эти годы самым распространенным и влиятельным органом «общества» становится шовинистически-националистское и антисемитское «Новое время»[299] талантливого, но совершенно беспринципного А. С. Суворина[300], отдававшего себе — как свидетельствуют его посмертно опубликованные циничные «Дневники» — вполне ясный отчет в характере той молниеносной эволюции от радикального либерализма к реакционному консерватизму, которую он сам проделал в параллель с этим «обществом».

В этих условиях хранителями либеральных традиций остаются лишь сравнительно немногочисленные круги наиболее «обуржуазенных» и культурных помещиков-дворян и наиболее «европеизированной» буржуазии и социально прислоняющиеся к ним верхние слои организаторов хозяйства и людей «либеральных профессий» (инженеры, адвокаты, врачи, статистики, педагогический персонал и т. д.) в городе и деревне. Но самый либерализм их, главными органами которого становятся петербургский ежемесячник «Вестник Европы» и московская газета «Русские ведомости», приобретает особый облик.

Мы уже имели случай упомянуть, почему идея расширения внутреннего рынка должна была стать руководящей экономической идеей наиболее «европеизированных» элементов русской буржуазии, ориентировавшихся не на хищническую эксплуатацию русской

отсталости и разложения старых, хозяйственных форм, а на прогрессивное развитие русского хозяйства. Но единственно возможной базой такого расширения было поднятие благосостояния широких крестьянских масс. «Крестьянофильство» и становится в 80-х годах основною идеею нового либерализма, с полною субъективною искренностью отрицающего свою «буржуазность». Защита рядового крестьянина против чрезмерной эксплуатации и завинчивающим налоговый пресс государством, и крепостниками-помещиками, и хищными ростовщиками, и собственными деревенскими кулаками-«мироедами» — и укрепление крестьянской общины, как главного орудия этой защиты; поощрение мелких промыслов — и поддержка артелей и других видов кооперации, как главного средства ограждения интересов мелких производителей, — вот основные пункты либеральной экономической программы этого времени, для проведения которых в жизнь политически обессиленный либерализм рассчитывал, как мы видели, на «просвещенную бюрократию».

Так формировался своеобразный «народничествующий либерализм» (выражение А. Н. Потресова в ранее цитированной статье). И формирование его необычайно облегчалось тем, что навстречу ему поднималось «либеральное народничество», шедшее на смену народничеству революционному, получившему 1-го марта 1881 года смертельную рану, от которой ему уже не суждено было оправиться.

2. Эпигоны народничества

Как это само собой понятно, революционные организации народничества непосредственно охватывали лишь наиболее боевую и потому сравнительно немногочисленную часть народнически настроенной интеллигенции. Огромное большинство этой интеллигенции систематического и активного участия в революционной борьбе не принимало и принимать не могло, поддерживая ее лишь своим сочувствием, материальною и техническою помощью и спорадическим содействием тем или иным «нелегальным» начинаниям революционных организаций. В своей массе эта интеллигенция составляла тот, численно далеко преобладавший, «легальный», неорганизованный сектор широкого народнического движения, главным органом которого в «легальной» печати стали с конца 60-х годов «Отечественные записки» (Н. А. Некрасов, М. Е. Салтыков-Щедрин, Г. З. Елисеев, Н. К. Михайловский и др.).

Мы видели, какие фазы развития проделало за какие-нибудь 10–12 лет революционное народничество — от полного аполитизма и стремления раствориться в крестьянских массах («хождение в народ») до постановки политической проблемы в центре своих задач и попыток разрешить ее собственными силами, силами небольшого «сознательного меньшинства». И параллельно идейно-политической эволюции «нелегального» сектора народничества шла за все эти годы эволюция и его «легального» сектора. Так, те же «Отечественные записки», начав, как мы в своем месте говорили (см. главу 4-ю), с решительного отрицания такой «барской затеи», как мечты о конституции, ко второй половине 70-х годов делают уже конституционное «увенчание здания» основной идеей своей политической пропаганды.

Но при всем параллелизме развития, между идейно-политическим обликом «легального» и «нелегального» народничества всегда было известное различие, объясняемое отнюдь не одними цензурными условиями, с которыми приходилось считаться первому и от которых была свободна подпольная и эмигрантская печать второго, но и характером той интеллигентской аудитории, к которой легальное народничество обращалось. То была аудитория гораздо более широкая, но и гораздо менее оформленная политически и притом рядом переходных звеньев связанная с тем самым либеральным «обществом», с которым революционное народничество так часто, хотя бы и чисто теоретически, вступало в жестокую борьбу. Сочувственно сопровождая «нелегальное» народничество на всех этапах его революционной борьбы и вбирая и в свой идейно-политический арсенал все те разнородные и противоречивые идеи, из которых ковалось его духовное оружие, — «легальное» народничество по-своему перерабатывало эти идеи, устраняя их «крайности», исправляя их «односторонность», притупляя их «остроту», отлаживая их противоречия, отсекая от анархического Бакунинского аполитизма его бунтарство, от Лавровского рационализма — его связь с идеями европейской социальной революции, от Ткачевского политизма — его якобинские расчеты на государственный переворот и захват власти. В «легальной» переработке «нелегальные» народнические идеи теряли мало-помалу свой социально-революционный характер и приобретали характер социально-реформаторский, делавший их приемлемыми для широких кругов не только народнически настроенной, но революционно неактивной интеллигенции, но и «сочувствующего» либерального общества.

Этот разнобой в настроениях между нелегальным и легальным народничеством сказался уже в начале 70-х годов, когда революционная молодежь именно в боевых эмоциях бакунинского «бунтарства» черпала тот моральный пафос, который был необходим ей, чтобы самоотверженно ринуться «в народ», и когда «Отечественные записки», в борьбе против стремления «поставить разум на запятки к чувству», выступили проводником расхолаживающего Лавровского рационализма. Но еще характернее, что на бурный расцвет народовольчества в 79–81 годах легальная народническая пресса откликалась в тонах, которые звучали скорее как отголоски тех идейно-политических процессов, которые, как мы видели, происходили в это время в либеральной среде, чем как эхо того громадного эмоционального и волевого напряжения, тех грандиозных планов, надежд и иллюзий, которыми был охвачен в эти годы революционный авангард народничества.

«Кругом мы видим голод и очевидную необходимость изменения направления государственного хозяйства», — писал, например, Михайловский («Литературные заметки») в декабре 1880 года в «Отечественных записках» — «ряд небывало дерзких политических преступлений и окончательную невозможность дальнейшего практического применения казенного миросозерцания»*. Около этих двух групп жизненных фактов и жизнью подсказываемых выводов кристаллизуется вся, поистине страшная, злоба дня. Быть или не быть не утопии какой-нибудь Аркадии с вечно голубым небом и вечно изумрудной зеленью, а хоть мало-мальски сносному, мирному житью на Руси?» Но не только программные высказывания главного публициста «Отечественных записок» звучат в унисон с скромными, умеренными, рассчитанными лишь на «мало-мальски сносную» государственную реформу программами, которые именно в это время, по своему используя народовольческий террор, начинают выдвигать либеральные деятели: и в мыслях о силах, которые должны произвести эту реформу, наблюдается то же созвучие. Еще в октябре того же 1880 года — в разгар отчаянной борьбы «Народной воли» с правительством — тот же Михайловский заявляет, что только правительство может взять на себя «величайший труд предотвращения

* Цензурная форма мысли о невозможности сохранения бюрократического абсолютизма.

исторических путей родины от повторения европейской борьбы (т. е. борьбы классов), потому что только оно «обладает и нужными для этого средствами, и не менее нужным беспристрастием, незаинтересованностью в торжестве неправды» (См. Проф. К. А. Пажитнов, цит. соч., стран. 256).

Пока революционное движение шло в гору, этот процесс обособления легального народничества в особое социал-реформистское направление протекал сравнительно медленно и незаметно, как для читателей легальной народнической печати, так и для самих писателей. Сосредоточивая на себе внимание правительства и общества «грандиозными делами» и поражая воображение широчайших кругов интеллигентской молодежи романтикой сначала «хождения в народ», потом народовольческого террора, — революционное народничество не только задавало тон в общенародническом движении, но морально подчиняло себе и политически чуждые и даже, как мы уже имели случай отмечать, прямо враждебные этому движению круги. Недаром Суворин, редактор «Нового времени», рассказывает в своих «Дневниках» о разговоре своем с Достоевским, убежденным монархистом и автором «Бесов», в котором оба собеседника признались друг другу, что были бы не в состоянии выдать полиции революционера-террориста, даже, если бы случайно заблаговременно узнали о подготовляемом им взрыве Зимнего Дворца*. И характерно, что в произведениях людей эмоции, поэтов и художников легальной народнической печати (Некрасов, Салтыков-Щедрин, Глеб Успенский и др.) революционно-боевые ноты звучат гораздо определеннее и дольше, чем в политических статьях ее публицистов.

Положение изменилось, когда революционное народничество в лице «Народной воли» потерпело решительное поражение и сошло с исторической сцены и народничество легальное внезапно оказалось монополистом народнической мысли. Роль «властителя дум» переходила к нему в условиях, во многих отношениях напоминавших, как уже было отмечено, ухудшенное издание условий конца 60-х годов и начала 70-х годов, когда сатирик мог характеризовать настроение «общества» краткой, но выразительной формулой: «“наше время не время широких задач” — формулой, непосредственно взятой

---

* Дневник А. С. Суворина. Редакция, предисловие и примечания Мих. Кричевского. Издательство Л. Д. Френкеля. Москва/Петроград, 1923 г. Стр. 15–16.

из передовицы самой влиятельной либеральной газеты того времени»*. Теперь эти упадочные настроения начали захватывать и широкие слои интеллигенции. В рамках народничества могло даже появиться особое течение — «абрамовщина»**[301], открыто призывавшее интеллигенцию «отодвинуть на второй, на третий план широкие общественно-политические вопросы» и целиком посвятить себя «малым делам».

В своем крайнем и последовательном выражении «абрамовщина» была лишь небольшим течением в народнической интеллигенции. Огромное большинство легального народничества принципиально критиковало проповедь «малых дел» и не снимало с порядка дня «общественно-политические вопросы». Но и в теоретическом подходе к этим вопросам, и в практических ответах на них оно проделывало эволюцию, которая на деле все больше сближала его не только с «абрамовщиной», но и с консервативным либерализмом этой эпохи. И Мартов (цит. соч., стр. 47) дает верную характеристику общего облика легального народничества этого времени, когда пишет: «Падение революционной партии “Народной воли” было, вместе с тем, и крахом всего народничества. Широкие круги демократической интеллигенции были глубоко деморализованы и разочарованы в “политике” и в своей собственной, героической миссии. Скромное “культурничество” на службе у либеральной части имущих классов — под этим знаком вступила оставшаяся верною народничеству часть интеллигенции в серую эпоху 80-х годов». Надо только отметить, что оборотной и имевшей большое прогрессивное значение стороной этого идейно-политического упадочничества была та плодотворная работа в земстве и около земства (статистика, медицина, педагогия и т. д.), в которую ринулась разочарованная интеллигенция и которая не случайно совпала с возрождением интереса к Писареву.

Первым определенным глашатаем этого нового народничества, «культурнического» и социал-реформаторского, был В. П. Воронцов (1847–1918), писавший под инициалами В. В. Наличность у народничества революционных задач Воронцов отвергал. В книге «Наши на-

* Фразу эту, вложенную в уста одного из персонажей «Дневника провинциала» (1872–73 гг.), Щедрин заимствовал из «Петербургских ведомостей», газеты В. Корша.

** По имени инициатора течения Я. В. Абрамова (1858–1906), сотрудника «Отечественных записок», с середины 80-х годов перешедшего в «Неделю» и сделавшего ее главным органом нового направления.

правления» он подчеркивает, что «практическое осуществление» пожеланий народничества, «каким оно определилось в пореформенную эпоху», требует, в русских условиях, «умственного подъема массы, который поэтому и поставлен, как главная задача переживаемого момента» (стр. 7). Но эта книга, изданная в 1893 году, подводит итоги предшествующим работам Воронцова, в которых он, опять-таки первый, дал социально-экономическое «обоснование народничества» новой формации, сделав краеугольным камнем этого обоснования, по выражению Мартова (цитированное сочинение, стр. 48), «фаталистическую идею о немыслимости капиталистического развития в России».

Мы видели, в течение полувека все этапы и зигзаги развития русского демократического движения и возникшего в его недрах народничества так или иначе определялись мыслью о необходимости борьбы с угрожающей России опасностью капиталистического развития. Объявить эту опасность несуществующей, доказать, по выражению Михайловского («Письма постороннего» в «Отечественных записках», апрель 1883 г.), что «все надежды и опасения на этот счет одинаково тщетны», — значило вынуть из народничества его душу. Это значило во всяком случае вырвать у него революционное жало, убедив его в том, что, в силу антикапиталистической автоматики социально-экономического развития России, оно может с уверенностью рассчитывать на постепенное осуществление своих идеалов и в рамках существующего политического строя, без того революционного «низвержения самодержавия», к которому все громче и громче звала «Народная воля» вплоть до кульминационной точки своей борьбы — 1-го марта 1881 года. Таков именно и был политический смысл социально-экономических теорий В. В., писавшего в предисловии к своему главному труду «Судьбы капитализма в России» (1882): «Народная партия много бы выиграла в практическом отношении, если бы двойственность, раздирающая ее миросозерцание, была уничтожена, если бы к ее вере в живучесть народных устоев присоединилось убеждение в исторической невозможности развития капиталистического производства в России». Доказательству этой «исторической невозможности» и была посвящена его книга.

В своей аргументации В. В. исходит из тех действительных особенностей развития капитализма в России, которые связаны с исторической запоздалостью этого развития. Но все вытекающие отсюда

затруднения — и, прежде всего, отсутствие внешних рынков и препятствия на пути к развитию достаточно емкого внутреннего рынка — представляются, с точки зрения В. В., абсолютными и неодолимыми. И это тем более, что капитализм наталкивается в России на прочные общинные и артельные традиции русского крестьянства, которое в этих традициях и в мертворожденности русского капитализма черпает силы для успешной борьбы против него и тем обрекает его на неизбежное конечное поражение. Абсолютно пессимистическая оценка возможностей развития капитализма сочетается у В. В. со столь же абсолютно оптимистической оценкой шансов победы мелкого крестьянского хозяйства, опирающегося на общину, и мелкой промышленности, опирающейся на артель. «Отрадные явления» хозяйственного, технического, культурного прогресса в деревне регистрируются без учета их действительного удельного веса в общем хозяйственном и культурном балансе и всей страны в целом, и самой деревни. Они истолковываются как доказательство жизненности общины и артели в единоборстве с капитализмом — как раз тогда, когда земская статистика начинает систематически регистрировать те процессы экономической и социальной дифференциации крестьянства, возрастающего сосредоточения всех элементов прогресса в руках «кулацкой» верхушки его, возрастающей пауперизации его огромного большинства, возрастающей роли крупной промышленности и т. п., в которых и дают себя знать возрастающие успехи наступления «мертворожденного» капитала и на деревню, и на всю страну в целом.

В прямой связи с новой социально-экономической концепцией радикально меняется и отношение к государству.

Для классического народничества во всех его течениях, вплоть до Ткачевского якобинизма, если не государство вообще, то реальное русское государство бюрократического абсолютизма было исконным врагом народных масс и заложенных в этих массах общинно-социалистических тенденций. Отсюда — политически-революционный облик этого народничества и тогда, когда оно решительно отказывалось от «политики», и даже тогда, когда оно, как то было в эмбриональный период его, могло мечтать о «социальном» царе. С этой революционной позиции его не могли сбить и такие факты, как освобождение крестьян с землей или правительственное покровительство общине. Оно понимало, что источником этого покровительства были не симпатии к социалистическому народному

«идеалу», а соображения административного и фискального порядка: община, закреплявшая обособленность крестьянства, как «низшего» сословия, и связывавшая своих членов взаимной налоговой ответственностью («круговая порука»), была как нельзя более удобным орудием управления крестьянством и взимания с него податей. И именно прогрессирующее разложение общины капитализмом побуждало правительство принимать ряд мер, все более затруднявших крестьянам выход из общины, переход от общинного землевладения к подворному и т. д. — мер, имевших вид охранения общины, но на деле все более превращавших ее из формы крестьянского землепользования и самоуправления в форму принудительной административной и податной организации крестьянства.

Конечно, и В. В. видел, что все чаще и чаще «община распадается, как добровольный союз, остается "общество" в административном смысле, группа лиц, насильственно связанных круговой порукой, то есть ответственностью каждого за ограниченность сил всех плательщиков и неспособность фиска понять эту ограниченность»*. Но эти отрицательные явления не были для него органически связаны с динамикой экономического, социального и политического развития крестьянства и всей страны в целом. Они представлялись ему лишь следствием более или менее случайного «непонимания» своих собственных выгод правительством (вспомним цитированные выше слова Михайловского), «незаинтересованным в торжестве неправды». Но тот факт, что государство освободило крестьян «с землей» и делало общину рычагом своей политики, был для него доказательством, что, в основном, оно в прошлом шло навстречу народным стремлениям и вынуждено будет идти им навстречу и в будущем.

Таким образом, из врага народных идеалов государство превращалось в проводника идей, вырабатываемых «народным сознанием». Практическая задача народничества сводилась поэтому к борьбе за то, чтобы правительство впредь более определенно и последовательно осуществляло ту экономическую и социальную программу, которая соответствует народным пожеланиям и главными пунктами которой являются законодательное закрепление общины и ограждение интересов мелких крестьянских хозяйств, с одной стороны,

---

* Статья «Экономический упадок России» в кн. 9 «Отечественных записок» за 1881 год.

государственное покровительство мелкой, кустарной промышленности и ее артельной организации, с другой*.

Как видим, эта программа целиком совпадала с программой, до которой доработался «народничествующий либерализм» и которая, порывая с идеями экономического индивидуализма, также ставила в центр своих задач «поддержку мелкого производителя, общинника-крестьянина и кустаря» (А. Потресов, цит. статья, стр. 544). Но совпадали и расчеты на «просвещенную бюрократию», как на ту единственную силу, которая может и рано или поздно захочет осуществить эту программу, как единственно «жизненную» программу экономического развития России. И некоторые стороны политики нового царствования как будто подкрепляли эти расчеты. Ибо, при всей своей реакционности, режим Александра 3-го, вопреки советам Чичерина, систематически закреплял общинные формы устройства деревни. Помимо упомянутых уже соображений административного и фискального порядка, такое закрепление было составной частью характерной для этого режима общей политики культивирования внешних форм «народности» и «патриархальных» русских традиций. Недостаточно критически вооруженному глазу было легко не заметить, что как раз за этим «народным» фасадом происходил процесс небывало быстрого разрушения всех экономических, социальных, культурных и бытовых «исконных устоев» русской жизни и, в частности, общинных устоев русской деревни, где единственным реальным достижением «патриархальности» оказалось восстановление административно-судебной власти дворянства над крестьянством (институт «земских начальников»).

Гораздо отчетливее, чем В. В. и другие ново-народнические и либеральные экономисты, видел и с большим знанием дела описал это разрушение «устоев» в своей книге «Очерки пореформенного хозяйства»** Н. Ф. Даниельсон[302] (литературный псевдоним: Николай -он). Но,

* Ранним предтечей В. В. был Г. З. Елисеев, автор «Внутренних обозрений» в «Современнике» и «Отечественных записках», еще в самом начале 60-х годов высказывавший ряд идей, которым В. В. впоследствии придал форму законченной концепции (См. Русская Журналистика. 1. Шестидесятые годы. Под редакцией и с предисловием Валериана Полянского. Изд. «Академия», Москва–Ленинград, 1930).

** Книга вышла в 1893 году, но первая часть ее — о «капитализации земледельческих доходов» была еще в 1880 году напечатана в журнале «Слово».

регистрируя разрушение старого хозяйственного и социального уклада России, как последствие все усиливавшейся со времени освобождения крестьян «капитализации земледельческих доходов» и «капитализации промыслов», Николай-он нигде не видит возникновения на почве этой «капитализации» каких-либо элементов уклада нового и каких-либо социальных сил, способных за этот новый уклад бороться. Как и В. В., он считает поэтому дело капитализма в России безнадежным. Как и В. В., он думает, что вследствие своей исторической запоздалости, капитализм будет развивать в России с удесятеренной силой все свои отрицательные стороны и не сможет развить ни одной положительной и должен будет задохнуться вследствие отсутствия внешних рынков и сокращения рынка внутреннего. Ибо, разрушая мелкое крестьянское хозяйство, он паразитирует основную массу крестьянства, превращая ее в нищих, лишенных той покупательной способности, без которой развитие крупной промышленности на капиталистической основе невозможно. Но поэтому и «капитализация промыслов» может создать в России лишь капиталиста-хищника, а не капиталиста — организатора народного хозяйства, на одной стороне, лишь массу пауперов, а не «рабочий класс» в европейском смысле, на другой. И если бы этот процесс «капитализации» земледельческих и промысловых доходов, начавшийся со времени освобождения крестьян, продолжался беспрепятственно и дальше, то результатом его была бы лишь окончательная и непоправимая экономическая и социальная деградация страны.

Сходясь с В. В. в признании невозможности развития капитализма в России, Николай -он, ученый экономист и переводчик «Капитала» К. Маркса, считал однако невозможной борьбу против этого развития на базе увековечения мелкого хозяйства. Надо «направить все усилия», писал он (стр. 346), «на объединение земледелия и обрабатывающей промышленности в руках непосредственных производителей, но объединение не на почве мелких, разрозненных производительных единиц, — что было бы равносильно "увековечению всеобщей посредственности" (NB.: выражение Маркса!), — а на почве создания крупного общественного, обмирщленного производства, основанного на свободном развитии общественных производительных сил, на приложении науки и техники и имеющего в виду удовлетворение действительных потребностей и благосостояние всего населения».

Ставить вопрос так, значило противопоставлять программе капитализма не «мелкобуржуазную» программу либерального народничества и народничествующего либерализма, а программу социализма. Но это программное различие теряло всякое практическое значение, поскольку Николай-он отрицал наличие или хотя бы зарождение в «капитализирующейся» русской действительности каких бы то ни было массовых сил, способных сделать социалистическую программу своим знаменем и бороться за нее, и потому тоже лишь на союз «общества» с правительством возлагал задачу предотвращения пагубных последствий процесса «капитализации». В рамках такого союза практически речь могла идти о предотвращении этих последствий лишь мерами той самой охраны «мелких производителей», которой требовал и В. В. «Социалистическая» программа Николай-она приобретала в этих условиях совершенно абстрактный характер и до такой степени скользила, как мало существенная подробность, мимо сознания читателей его книги, что в предисловии к «Нашим направлениям» сам В. В. отметил полное совпадение своих взглядов со взглядами автора «Очерков пореформенного хозяйства».

В. В. и Николай -он дали экономическое обоснование тому «либеральному народничеству», «самое существование которого в развернутом виде предполагало крушение былой идеологии» (А. Потресов, цит. статья, стр. 539). Но своего самого блестящего выразителя, философа, социолога, публициста оно нашло в талантливом и разносторонне образованном Николае Константиновиче Михайловском (1842–1904), ранние социологические работы которого стали теперь теоретическим фундаментом ново-народнической мысли и политики. Эти работы продолжали работы Лаврова, но вносили в «субъективный метод» автора «Исторических писем» весьма существенные поправки.

Для Лаврова «нравственный идеал» личности является тем единственным мерилом, с которым человек может и должен подходить к историческим событиям, определять свое отношение к ним, вмешиваться в их ход. Как бы этот «нравственный идеал» ни возник, раз возникши, он «составляет для каждого единственный смысл истории, единственный закон исторической группировки событий, закон прогресса», и никакие объективные условия, никакое несоответствие действительности этому идеалу умалить его абсолютной ценности не могут. Поэтому «развитие личности в физическом, умственном и

нравственном отношении» и «воплощение в общественных формах» того, что личность считает «истиною и справедливостью», — вот истинная «формула прогресса», все равно — «верим ли мы в его реальное осуществление или только в его существование в нашем сознании».

В этот абсолют Лавровского субъективизма, диктующий личности революционное отношение к действительности, если действительность эта делает «реальное осуществление» ее «нравственного идеала» невозможным, Михайловский вносит оппортунистическую относительность, оставляя за личностью лишь «свободу выбора» между тенденциями объективной действительности и признавая сам идеал «нравственным» лишь в том случае, если он является выражением одной, и притом вполне определенной, из этих тенденций. Исходя из учения «органической» школы Спенсера о процессах дифференциации и интеграции и о прогрессе, как переходе от однородного к разнородному и от простого к сложному, Михайловский еще в одной из своих ранних статей («Что такое прогресс?», 1869 г.) дал свою «формулу прогресса»: «прогресс есть постепенное приближение к целостности неделимых, к возможно полному и всестороннему разделению труда между органами и возможно меньшему разделению труда между людьми. Безнравственно, несправедливо, вредно, неразумно все, что задерживает это движение. Нравственно, справедливо, разумно только то, что уменьшает разнородность общества, усиливая тем самым разнородность его отдельных членов».

В свете этой формулы именно самостоятельный крестьянин, ведущий натуральное хозяйство, соединяющий земледелие с ремеслом и собственным трудом обслуживающий все свои нужды, должен был представляться принципиально «высшим типом» личности, как общество, состоящее из таких «целостных» личностей, — «высшим типом» человеческого общежития. «Формула» встретила резкую критику со стороны Лаврова. Но она оказалась подходящим теоретическим обоснованием программы поддержания самостоятельного мелкого производителя, как субъективизм, суженный до «свободы выбора» и предполагающий лишь «постепенное приближение» к идеалу, — обоснованием политики приспособления к реальной действительности, не дававшей достаточно прочной опоры для борьбы за осуществление «широких задач»!

С самого выступления своего на литературное поприще во второй половине 60-х годов, Михайловский был интимно связан

с народническим движением и вместе с ним переживал всю его, далеко не прямолинейную, идейно-политическую эволюцию. Став с 1868 года постоянным сотрудником, а затем одним из редакторов «Отечественных записок», Михайловский не отрывался и от революционных кружков. К концу 70-х годов он лично сблизился со многими народовольцами, писал, под псевдонимом «Гроньяра», в их нелегальном органе «Народная воля» и редактировал то письмо, с которым уцелевшие члены Исполнительного комитета обратились к Александру 3-ему.

Долголетняя тесная связь со всеми секторами народнического движения сделала Михайловского естественным идейно-политическим вождем его, когда на развалинах его «нелегального» сектора к «легальному» перешла руководящая роль. Но эта же долголетняя интимная связь воспитала в Михайловском достаточную чуткость к настроениям интеллигентской аудитории, чтобы понимать, насколько психологически мало приемлемой была для нее та обнаженная проповедь решительного разрыва с революционным прошлым и его традициями, которая звучала в учении об «исторической невозможности» самого существования в России того зла, той «гидры капитализма», борьба с которою так долго была для интеллигенции источником высокого морального пафоса и вдохновляла ее на подвиги самоотвержения и непревзойденного героизма. Поэтому, и солидаризуясь в начале 80-х годов с В. В. в вопросах социально-экономического анализа и в вытекающих из этого анализа практически-политических выводах, Михайловский считал нужным отгораживаться от того «единственного, но, по-видимому, чрезвычайно важного отличия» взглядов В. В. от традиционных взглядов народничества, которое «определяется его убеждением в невозможности для России капиталистического развития» («Письма постороннего», апрель 1883 г.).

Позиции первой половины 80-х годов, на которых окончательно закрепились В. В. и многие другие, не были последним этапом в политической биографии Михайловского. Сотрудничая после закрытия «Отечественных записок» (1884 г.) в либеральных «Русской мысли» и «Русских ведомостях», Михайловский остался верен социально-экономической программе «либерального народничества», но проделал тот обратный поворот к реабилитации «конституционной» идеи, которым, во второй половине тех же 80-х годов, реагировала на реакционный режим интеллигенция и который захватил и левые круги

либерального общества. На этом новом этапе своей политической работы Михайловский принял деятельное участие и в «Самоуправлении», которое выходило в 1887–8 годах в Женеве, как «орган социалистов-революционеров»*.

Но при всем блеске литературной работы Михайловского и при всей значительности роли, которую он играл в народническом движении, на всем протяжении его литературной и политической деятельности дают себя знать особенности его мысли, острой и способной к широким обобщениям, но недостаточно подчиненной твердой научной дисциплине, и его политического характера, непоколебимого в своей гуманитарной целеустремленности, но лишенного боевого, революционного закала.

Еще в 1873 году (напомним, что в эти годы народничество отвергало «политику» и главного врага видело в «буржуазии»), отказываясь от предложенного ему сотрудничества во «Вперед!», Михайловский писал Лаврову: «Я не революционер, всякому свое. Борьба со старыми богами (то есть самодержавием) меня не занимает, потому что их песня спета и падение их дело времени. Новые боги (т. е. буржуазия) гораздо опаснее и в этом смысле хуже. Смотря так на дело, я могу до известной степени быть в дружбе со старыми богами и, следовательно, писать и в России». И точно также, уже существенно изменив свое отношение к «богам», старым и новым, и став сотрудником «Народной воли» в разгар народовольческой борьбы, веры в «народ» и в революцию, которая будет «развязана» успехами террора, Михайловский пишет в своих «Политических письмах социалиста»: «Люди революции рассчитывают на народное восстание. Это — дело веры. Я ее не имею» (№ 2), и советует (№ 3) ориентироваться на союз с либералами: «Союз с либералами тоже не страшен, если вы вступите в него честно и без лицемерия, объявите им свой святой девиз "Земля и воля". Они к вам пристанут, а не вы к ним... Я думаю, что многие либералы гораздо ближе к вам, чем вам кажется» (см. Мартов, цит. соч., стр. 46).

Таковы особенности взглядов и настроений Михайловского, красной нитью проходящие через всю его политическую биографию. Их

* В 1-м номере журнала было помещено 5 «писем в редакции» представителей различных направлений русской эмиграции с выражением одобрения основной мысли нового журнала — о необходимости поставить на первое место требование политической свободы. В этих письмах было и письмо марксистской группы «Освобождение труда» за подписями Аксельрода, Засулич и Плеханова.

выражением было редактированное им, после крушения «Народной воли», письмо к Александру 3-му. Они дали ему возможность стать признанным политическим вождем «либерального народничества». Ими продиктованы его статьи в «Самоуправлении», где, поднимая знамя борьбы за конституцию, он настаивает на том, что залог успеха не в «партийной борьбе», а в борьбе «коалиционной», в союзе «молодежи» со «всем поруганным обществом», которое к 1-му марта 1881 года «оказалось неподготовленным», но которое теперь «будет бороться» (№ 1, декабрь 1887 г.), — и где, выдвигая в качестве программы-максимум «наших желаний» письмо к Александру 3-му, он заранее выражает готовность примириться с любыми «конкретными формами осуществления политической свободы в России» (№ 2, май 1888 г.). Этими особенностями взглядов и настроений Михайловского объясняется, наконец, и то, что с начала 90-х годов, со времени возникновения марксистского движения в самой России, именно он возглавляет борьбу против этого нового течения русской демократической мысли и делает журнал «Русское богатство», редактором которого становится в 1892 году, главным органом этой борьбы.

3. Зачатки рабочего движения

Принципиально порывая со всеми основами народнической идеологии, русский марксизм в то же время сам был, прежде всего, новым этапом в развитии интеллигентской революционной мысли. В политико-социальном плане он чувствовал себя поэтому и был в действительности историческим наследником того революционного народничества, последним и наиболее героическим выражением которого была «Народная воля».

Но, в отличие от всех последовательно сменявших друг друга течений русской революционной мысли, марксизму первому удалось найти те точки соприкосновения с «народом», которых так страстно и так тщетно искала революционная интеллигенция в течение предшествовавших десятилетий. Только марксизм нашел не тот «народ», которого искало народничество, и не там, где оно его искало. Марксизм нашел «народ» не в деревне, а в городе, на фабриках и заводах, «народ» не крестьянский, а рабочий. Этот новый «народ», рожденный развитием русского капитализма, уже давно начал все настойчивее заявлять о своем существовании. Но его формирование

в особую социальную группу и развитие его движения должны были достигнуть известной высоты, чтобы из кризиса народнической идеологии мог возникнуть русский марксизм и чтобы этот марксизм мог сделать русский рабочий класс главным объектом своей революционной работы и главным оплотом своих политических надежд.

Освобождение крестьян положило начало относительно весьма быстрому росту крупных предприятий. За 25 лет, с 1865 по 1890 год, число рабочих на таких предприятиях (свыше 100 человек) удвоилось: с 706 000 до 1 432 000. Но последствием того же освобождения был быстрый рост цен на хлеб и другие предметы первой необходимости и наводнение рынка труда «свободными» рабочими руками. В результате, лишь для немногих категорий особо квалифицированных рабочих, главным образом — металлистов, рост промышленности сопровождался улучшением материального положения. Для огромного большинства, особенно для рабочих текстильной промышленности, он был сопряжен с значительным понижением и без того чрезвычайно низкой реальной заработной платы: так, она понизилась к 1883 году на 43 % для прядильщиков, на 47 % для механических ткачей и на целых 52 % для ручных ткачей. Жалкие заработки еще существенно урезывались широко практиковавшейся системой «штрафов» за нарушение фабричных правил*. Не лучше были и другие условия труда. Так, еще в 80-х годах средняя продолжительность рабочего дня в русской промышленности равнялась 12,5 часам, а на текстильных фабриках доходила до 15 часов.

Еще хуже стало положение, — и опять-таки, особенно на текстильных фабриках, рассчитанных на массовое потребление, в то время как главным потребителем металлической промышленности было государство (армия и контролируемое правительством железнодорожное строительство), — когда в 1881 году начался промышленный застой, длившийся почти до 1887 года. Понятно, почему именно короткое трехлетие значительного промышленного оживления с 1878 по 1880 год, связанного с русско-турецкой войной, отмечено волною довольно крупных стачек (в зарегистрированных за это трехлетие 29 стачках участвовало до 35 000 рабочих), и почему главный контин-

* До 1886 года, когда, под прямым воздействием Морозовской стачки (о ней см. гл. 2-ая и ниже), был издан закон об обращении взысканных штрафов на нужды рабочих, предприниматели взимали их в свою пользу.

гент стачечников составили и в этом случае рабочие текстильщики. Из стачек этого трехлетия особое значение в развитии русского революционного движения приобрели две стачки на Петербургской Новой Бумагопрядильне (март 1878 г. и январь 1879), давшие — как и относящаяся к более позднему периоду упомянутая уже стачка на Никольской Мануфактуре Саввы Морозова в городе Орехово-Зуево (январь 1885 г.) — толчок развитию законодательства об охране труда в России*.

Этими стачками рабочие заявляли о себе как о массовой силе, способной коллективно бороться за свои интересы. Мы видели (глава 2-ая), как реагировал на Морозовскую стачку видный правительственный чиновник К. Скальковский. Однородной была реакция и виднейшего правительственного публициста М. Каткова, когда присяжные заседатели Владимирского окружного суда оправдали в мае 1886 года всех 33 «зачинщиков» этой стачки, дав отрицательный ответ на все 101 вопрос, поставленные им обвинительным актом: «раздался 101 салютационный выстрел в честь показавшегося на Руси рабочего вопроса», комментировал это оправдание редактор «Московских ведомостей». Но что на русской политической арене «показалось» нечто новое, не могла еще раньше не заметить русская революционная интеллигенция.

При всем теоретическом тяготении своем к «деревне», преобладающее большинство народнической интеллигенции всех направлений, и особенно, учащейся молодежи, всегда сосредоточивалось в городах и здесь, естественно, именно в рабочей среде находило наиболее благоприятную почву для своей работы. Но наибольшее внимание уделяли пропаганде среди рабочих, как мы имели уже случай отметить, «лавристы». Лавристы-чайковцы еще в 1873–74 гг. организовали в Петербурге ряд рабочих кружков, в которых получили свое политическое воспитание многие рабочие, игравшие затем крупную роль в революционном движении (Виктор Обнорский, Алексей Петерсон[303], Семен Волков[304] и др.). Лаврист Е. О. Заславский[305] основал в 1875 году в Одессе первую более крупную рабочую организа-

* Первым фабричным законом в России был закон 1-го июня 1882 года о запрещении фабричной работы для детей до 12 лет и об ограничении 8 часами продолжительности рабочего дня для детей в возрасте от 12 до 15 лет; вторым — закон 3 июня 1885 года о запрещении в некоторых отраслях промышленности ночной работы для женщин и подростков до 17 лет.

цию «Южно-Российский союз рабочих», насчитывавший до 200 членов, но вскоре разгромленный и возродившийся, по инициативе П. Б. Аксельрода, лишь в 1879 году. А Московская группа лавристов, действовавшая под названием «Всероссийской социально-революционной организации» в центральном промышленном районе, сделала пропаганду среди рабочих своею исключительной задачей, и женские члены группы в этих целях сами поступали работницами на фабрики — единственная в истории народничества «фабричная» разновидность «хождения в народ»*.

Процесс этой последней группы, так называемый «процесс 50-ти» (21 февраля — 14 марта 1877 г.), закончившийся для 15 из подсудимых тяжелыми каторжными приговорами, был, в отличие от несколько позже состоявшегося «процесса 193-х» (18 октября 1877 г. — 28 января 1878 г.), процессом не «деревенским», а «городским», процессом о пропаганде не среди крестьян, а среди рабочих. И кульминационным пунктом его оказалась речь ткача Петра Алексеевича Алексеева[306], законченная пророчеством, что наступит время, когда «поднимется мускулистая рука миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах».

В этих словах рабочего-ткача впервые глухо прозвучала та мысль, которую в отчетливой форме и как вывод из марксистского анализа русской действительности провозгласил через 12 лет на Международном Социалистическом Конгрессе 1889 года в Париже Г. В. Плеханов, предсказавший, что «русская революция восторжествует, как рабочая революция». Но до сознания действительного значения этой мысли тогда было еще далеко. И уже после того, как именно стачка на Новой Бумагопрядильне побудила одного из активных организаторов ее, того же Г. В. Плеханова, признать, что «вопрос о городском рабочем самостоятельно выдвигается вперед вопреки априорным теоретическим решениям», он, как мы видели (глава 6-ая), все еще упорно старался убедить себя и других, что фабричные рабочие «в огромном большинстве случаев те же крестьяне, что и в деревне»,

* Группа состояла из бывших цюрихских «фричей» (см. главу 5-ую) — Бетти Каминская, сестры Фигнер, сестры Субботины, сестры Любатович, София Бардина — и из кавказской молодежи, в свое время тоже учившейся в Цюрихе (Джабадари, князь Цицианов и др.). Группа была ликвидирована арестами в феврале 1875 года. До своего разгрома она издавала за границей и нелегально ввозила в Россию орган «Работник».

и что фабрика для них — лишь особый вид временного «отхожего промысла», нисколько не порывающего их «деревенских связей».

А между тем массовое стачечное движение не только заставило революционеров-народников поставить, вопреки «теоретическим решениям», работу среди городских рабочих на первое место, но и самое работу эту направило в русло, столь же мало, этими «теоретическими решениями» предусмотренное. В этой работе с «общинными» и «артельными» традициями русского народа делать было нечего. Она заставляла в рамках капиталистических отношений искать мер и средств, которые могли бы смягчить тяжесть капиталистической эксплуатации. И, поставленная лицом к лицу со всей мощью бюрократического и полицейского аппарата, эту эксплуатацию защищавшего и репрессиями дезорганизовавшего коллективную борьбу эксплуатируемых, она вынуждена была от чистой «экономики» переходить к «политике». Одним из плодов этого перехода явилась петиция, обращенная бастующими рабочими к наследнику, будущему императору Александру 3-му, и доставленная делегацией стачечников в его дворец. «Мы обращаемся к Вам, как к отцу. Если не будут удовлетворены наши справедливые требования, то мы тогда будем знать, что нам не на кого надеяться, что никто не заступится за нас, и что мы должны положиться на себя и свои руки» — эти заключительные слова петиции, начинавшей процесс революционного разрыва русского рабочего класса с царизмом, были почти буквально повторены через четверть века с лишним в той другой петиции 9 января 1905 года, которая отметила завершение этого процесса.

Работа в массовом рабочем движении не могла не налагать, хотя бы и за порогом сознания, известной печати на все миросозерцание участвовавших в ней народников-интеллигентов. Она во всяком случае оказывала сильнейшее воздействие на идейно-политическую эволюцию народников-рабочих. Она не только вырабатывала из них таких деятелей, как Петр Анисимович Моисеенко[307] (1852–1923), показавший огромный организаторский дар и большое политическое чутье в руководстве и проведении не раз упоминавшейся уже знаменитой Морозовской стачки и в самозащите стачечников на суде и впоследствии, в революцию 1917 года, примкнувший к большевикам. Она не только взрастила сотни и тысячи социалистических рабочих одиночек, давших к середине 90-х годов социал-демократии ее первые организованные кадры. Она дала не-

посредственный толчок и образованию первой рабочей организации, которую можно назвать социал-демократическою по ее основным программным установкам, — «Северного союза русских рабочих»*.

Основание совершенно автономной рабочей организации, членами которой по уставу могли быть только рабочие, отмечает собою известный этап в развитии взаимоотношений между передовыми рабочими и политически воспитавшей их революционной интеллигенциею.

Для интеллигенции рабочая среда была, прежде всего, объектом пропагандистской работы, — правда, объектом, приобретавшим, по мере крушения надежд на деревню, столь первостепенное значение, что, например, после распада «Земли и воли» обе выделившиеся из нее фракции сочли необходимым издавать специальные органы для рабочих: народовольцы — «Рабочую газету»[308], чернопередельцы — «Зерно»[309]. Но самостоятельной роли в революции народническая концепция рабочим не отводила.

Иначе представлялось дело с точки зрения небольшого, но политически, высококвалифицированного слоя передовых рабочих. Условия их жизни, труда и коллективной борьбы за специфически «рабочие» интересы очень рано начали растить в них чувство известной социальной (по позднейшей, марксистской терминологии — классовой) обособленности. Вместе с этим чувством начали рождаться в них идеи и настроения, плохо укладывавшиеся в рамки интеллигентского «народничества» даже тогда, когда они сами, в собственном сознании, продолжали оставаться «народниками». Еще хуже мирилось это чувство с той ролью «объекта» революционизирующего воздействия интеллигенции и простого рычага крестьянской революции, которая отводилась рабочим в народнических схемах. Так, при самом зарождении рабочего движения встал в зачаточной форме тот вопрос: «рабочие для революции или революция для рабочих?» — который в последующие годы играл такую роль в полемике марксизма с эпигонами народничества. А вместе с этим вопросом вставал, и опять-таки в зачаточной форме, и другой, получивший первостепенное значение во внутренних дискуссиях самого

* Г. А. Куклин. «Северный Союз Русских Рабочих и Степан Халтурин (1878–1882)». Женева 1904. См. также Л. Мартов «Развитие крупной промышленности и рабочее движение до 1892 года» в 26-м выпуске «Истории России в XIX веке», изд. Бр. Гранат.

марксистского движения, — вопрос о взаимоотношениях между рабочим классом и «интеллигенцией», как мы видели, возникшею в России как особая социальная группа и еще долго сохранявшею черты этой социальной обособленности.

В своей знаменитой речи Петр Алексеев с чувством горячей благодарности говорил об «интеллигентской молодежи», как об единственном «добром друге, братски протянувшем свою руку» рабочим. Но он и его сопроцессники вряд ли отдавали себе ясный отчет в том, что он ставит на голову все традиционные представления народничества о революции и роли пролетариата в ней, когда говорит, что «русскому рабочему народу остается только надеяться самому на себя» и что именно его «мускулистая рука» разобьет «ярмо деспотизма». И точно так же вряд ли кому было тогда ясно, что Алексеев переворачивает вверх дном все представления о взаимоотношениях между рабочими и интеллигенцией, когда, вместо выражения уверенности, что рабочие пойдут за интеллигенцией до самого торжества революции, утверждает, наоборот, что интеллигенция «неразлучно пойдет с нами», рабочими.

Для передового рабочего интеллигент-народник не был, конечно, человеком другого мира, «барином», каким он, несмотря на все свое «народолюбие», казался подчас серой крестьянской массе. Но свои отношения с интеллигенцией передовые рабочие с самого начала стремились поставить на почву полного равноправия. В воспоминаниях о «русском рабочем в революционном движении» Плеханов рассказывает, что такой выдающийся рабочий, как Степан Халтурин, «вспыхивал как огонь», когда «интеллигент делал при нем какой-либо не совсем лестный отзыв о рабочих», и что, между прочим, и «Казанская» демонстрация (см. выше) явилась результатом желания рабочих «сделать свою демонстрацию» и ее «резко-революционным характером совершенно затмить» ту демонстрацию, которую весною того же 1876 года устроили «интеллигенты» на похоронах умершего в тюрьме (по процессу 193-х) студента Чернышева. И то же настороженно-ревнивое отношение к равноправию звучит и в письме, которым «Северный союз русских рабочих» ответил на критику его программы, появившуюся в № 4 «Земли и воли» (см. ниже). Отмечая с признательностью «довольно неожиданный» товарищеский тон критики, авторы письма с горечью говорят о тех «многих», которые не верили, что программа составлена самими рабочими, а считали ее

«произведением интеллигентских рук»: «до того еще не доверяют нашим силам, до того еще привычка смотреть на нас, как на неспособную скотину, вкоренена во многих».

Особенно возмущало авторов письма, что в критике программы многие «доходили до того, что требование политической свободы нами, рабочими, считали, просто нелепым и не вяжущимся с вопросом об удовлетворении желудка». Но «высказывать подобные соображения — значит прямо глумиться над нашими мозгами и приписывать разрешение социального вопроса одним только желудкам». И авторы письма с гордостью прибавляли, что такое отношение было бы еще объяснимо, «если бы мы составляли свою программу где-нибудь в Подлипной*... Но в том то и сила, что мы уже вышли из условий этой жизни».

Что петербургские рабочие, на собраниях 23 и 30 декабря 1878 года организационно оформившие Северный союз и утвердившие его программу, действительно далеко ушли от примитивных условий жизни русской деревни и подавляющего большинства русского крестьянства того времени, тому живым свидетельством были сами инициаторы Союза — неоднократно уже упоминавшийся столяр Степан Халтурин и слесарь Виктор Обнорский. Последний, пройдя через рабочие кружки «чайковцев», пробыл после этого долгое время за границей. Там он ознакомился и с западноевропейским рабочим движением, и с различными фракциями русских революционеров, сблизился с «набатовцами» (ткачевцами) и от них получил станок и шрифт для нелегальной типографии, когда вернулся в Россию в 1878 году. Его заграничный опыт наложил печать на всю программу Союза. Пафос речей Лассаля о рабочем классе, как фундаменте «церкви будущего», слышится в тех параграфах этой программы, которые говорят рабочим о нужной им «нравственной силе», о том, что в них «заключается вся сила и значение страны», что они — «плоть и кровь государства», что ими существуют «все другие классы» и, применяясь к формам мышления рабочей массы, характеризуют Союз, как «апостола евангельской истины». Прямой перифразой «Коммунистического Манифеста» Маркса-Энгельса отвечает программа на упреки, будто рабочие-социалисты «развращают мир,

* Название глухой уральской деревни, первобытно-некультурные жители которой являются героями романа Решетникова «Подлиповцы».

разрушают семью, попирают собственность, оскверняют религию»: «Напротив, мы идем обновить мир, возродить семью, установить собственность, как она должна быть, и воскресить великое учение Христа о братстве и равенстве». И, наконец, точка соприкосновения с идеями Ткачева делается очевидной, когда программа — впервые в рамках организованного народнического движения и предваряя его эволюцию к народовольчеству — включает в число важнейших задач Союза политическую борьбу.

Правда, этой точкой соприкосновения идейная связь новой организации с «ткачевством» и ограничивается. Не по-ткачевски мотивирует она необходимость политической борьбы, когда говорит, что «политической свободой обеспечивается прежде всего решение социального вопроса». Не по-ткачевски ставит она свои политические задачи, когда формулирует ряд дробных политических требований — свобода слова, печати, собраний и сходок, уничтожение сословных прав и привилегий, введение милиции и т. д. и дополняет эту политическую «программу-минимум» столь же дробной программой защиты экономических и социальных интересов пролетариата. И уж окончательно не по-ткачевски подходит она к методам борьбы за политическую свободу, когда, поясняя смысл образования Союза, говорит, что инициаторы его «пришли к мысли об организации общерусского союза рабочих, который, сплачивая разрозненные силы городского и сельского рабочего населения и выясняя ему его собственные интересы, цели и стремления, служил бы ему достаточным оплотом в борьбе с социальным бесправием и давал бы ему ту органическую внутреннюю связь, какая необходима для успешного ведения борьбы».

Рабочая организация, ставящая в центре своих задач «интересы, цели и стремления» рабочего класса и под этим углом зрения ведущая массовую экономическую и политическую борьбу, — вот основная идея программы Союза. «Путем неутомимой и деятельной пропаганды в среде своих собратьев, Северный Союз надеется достичь тех результатов, которые выдвинут и у нас рабочее сословие и заставят его заговорить о себе, о своих правах», — слишком очевидно, что не у Ткачева была заимствована эта идея. Впрочем, сама программа указывает ее источник, когда говорит: «наши западные братья уже подняли знамя освобождения миллионов — и нам остается только примкнуть к ним», и заявляет, что Союз «тесно примыкает по своим задачам к социально-демократической партии Запада» — выражение,

которое, по справедливому замечанию Мартова, могло относиться только к германской социал-демократии, имевшей репутацию «почти реакционной» в кругах тогдашних, бакунистски настроенных русских социалистов*. Идея борьбы за политическую свободу, да еще под знаком солидарности с западноевропейской социал-демократией была так необычна для того времени, что «Земля и воля» немедленно же откликнулась на программу Союза критической статьей, автором которой был Дмитрий Клеменц** и которая была помещена в том же самом № 4-ом (20 февраля 1879 года), где была напечатана и цитированная уже, написанная Плехановым передовая о роли городских рабочих «в боевой народно-революционной организации».

Отмечая «знаменательный факт» образования Союза и опубликования его программы, как доказательство того, что «социализм нашел среди русского пролетариата не только убежденных сторонников, но и людей, способных без всякой посторонней помощи организоваться в борющуюся партию, способных на самостоятельную инициативу», — статья «Земли и воли» критикует «теоретическую часть программы» за то, что в ней нет «последовательно развитой системы воззрений», а имеется «смешение программ различных западных социалистических партий»: «отрицание государства и требование коммунальной автономии зачисляет наших товарищей в лагерь социалистов-революционеров, каковыми мы и сами желали бы видеть членов Северного Союза, — а последующие параграфы программы прямо взяты из катехизиса немецких социал-демократов». В упрек программе ставится, что она слишком много места отводит политической свободе и слишком утвердительно решает вопрос об ее положительном значении, а о значении «пропаганды фактами» ничего не говорит. И наконец: «статьи программы, касающиеся городских рабочих, развиты весьма подробно (по программе немецких социал-демократов), ...аграрные же вопросы оставлены втуне».

---

* Явным заимствованием у «лассальянского» крыла германской социал-демократии является выставленное программой Союза требование дарового государственного кредита для производительных ассоциаций. По понятным причинам эта «лассальянская» идея была наиболее приемлема для русских социалистов при их тогдашнем умонастроении. Она нашла себе позже место и в первом проекте программы марксистской группы «Освобождение труда».

** См. Институт Академии наук СССР. История СССР, том 2. Россия в XIX веке под редакцией проф. М. В. Нечкиной. Москва, 1940. Стр. 597.

Однако, все это, по мнению автора статьи, еще поправимо: программа Союза — лишь первый опыт, и политические ошибки ее смогут быть исправлены в будущем, если ее авторы «не опочиют на лаврах, а пойдут вперед». «Гораздо серьезнее ошибки в организационной части программы, так как они могут иметь роковое значение и задушить нарождающуюся организацию». И автор статьи переходит к критике этой «организационной части», согласно которой «в члены принимаются желающие по рекомендации двух членов, но не указаны условия, при каких может быть человек рекомендован». Но — «достаточно ли, чтобы его знали за социалиста и добродетельного человека, или кандидат должен пройти известный искус, доказать знающим его членам не на словах, а на деле преданность свою организации и способность работать на пользу делу?.. По нашему мнению, для молодой организации важно не количество членов, а крепкая круговая порука их, солидарность».

Это обостренное внимание к организационному вопросу и упор не на «количество», а на «качество» симптоматичны для совершавшегося как раз в это время перехода от «землевольчества» к «народовольчеству», от пропаганды в «народе» к политическому террору «революционного меньшинства». Но гораздо более глубокое значение имеет оно, как показатель остроты тех противоречий, в тисках которых массовому рабочему движению в России приходилось биться с самого его возникновения. Проблемы взаимоотношения между «авангардом» и «массой» и вырастающие на их почве проблемы политические и организационные встают в известной мере перед всяким массовым рабочим движением. Но в России они встают с самого начала особенно остро — и вследствие того, что, по условиям социального развития ее, очень уж велика была культурная и политическая дистанция между тонким слоем передовых рабочих и непрерывно притекавшими в промышленность выходцами из вчера еще крепостной деревни (вспомним цитированную уже фразу ответа о «Подлипной»!), и вследствие того, что условия политического режима насильственно вгоняли рабочий «авангард» в тесные рамки «конспиративных» организаций и крайне затрудняли его организованное, политическое и культурное, воздействие на отсталые массы его собственного класса. «Организационный вопрос» приобретает поэтому в русском рабочем движении исключительное значение. На этом вопросе впоследствии (см. ниже) раскололась русская социал-демокра-

тия на большевизм и меньшевизм. Разногласия по организационному вопросу проходят потом красной нитью через всю историю большевизма и меньшевизма, неразрывно сплетаясь с их разногласиями по программным, политическим и тактическим вопросам. В высшей степени характерно поэтому, что «организационный вопрос» остро встает на самом пороге массового рабочего движения в России, и что для завтрашнего народовольца именно этот вопрос оказывается предметом самого «серьезного» разногласия с первой революционной ячейкой в России, поставившей себе задачей организацию такого движения. И не менее характерно, что в своем ответе, который Мартов справедливо называет «одним из наиболее интересных документов по истории эволюции общественной мысли в России» и который был напечатан в последнем, 5-м номере «Земли и воли» (8 апреля 1879 года), именно в этом вопросе вожди Союза оказались наиболее неуступчивыми.

Ваши «опасения неосновательны», писали они. «Правда, при значительном количестве членов не так то легко достается сближение, не так ясно для многих представляются самые цели, к которым решено стремиться (о чем говорите и вы), не так, наконец, дружно может приводиться в исполнение решение; но наши воззрения на организацию таковы, что количественное превосходство не должно мешать качеству энергичных и деятельных членов и что, напротив, решающее значение этих последних будет воспитательным образом отражаться на всех. Первоосновная цель наша — организовать рабочие силы и отвести им надлежащее место для деятельности; посему различные оттенки мнений, а также характер и направление социалистической деятельности, клонящейся в конечном результате к одному и тому же, для нас не должны иметь особенного значения». И в прямой связи с этим стоит и ответ на упрек в забвении «пропаганды фактами»: «при слабости еще организации, при недостатке энергичных боевых сил, наша деятельность в массе будет носить на себе характер пропаганды и мирной агитации в среде рабочего и крестьянского люда. Но этим мы вовсе не хотим сказать, что более или менее открытая борьба, как активное участие и агитация во время стачек, исключается пока из нашей программы действий. Напротив, мы должны пользоваться всеми удобными моментами, всеми случаями, где бы могли открыто заявлять свою силу, как единичную, так и массовую».

С большой энергией начинают авторы ответа защиту и политической части своей программы. Они решительно возражают против упрека в эклектическом сочетании взглядов «различных оттенков революционной партии Запада» и в «смешении социалистических требований с конституционными». Такая амальгама была бы недопустима, если бы была противоречива. Но «мы, со своей стороны, ничего нелогичного в ней не видим... Мы сплачиваемся, организуемся, берем близкое нашему сердцу знамя социального переворота и вступаем на путь борьбы. Но мы знаем также, что политическая свобода может гарантировать нас и нашу организацию от произвола властей... и вот мы, ради сбережения своих сил и скорейшего успеха, требуем этой свободы».

Но позиции принципиальной защиты выставленного в программе положения: «политической свободой обеспечивается прежде всего решение социального вопроса» авторы ответа до конца не выдерживают. Примеряясь к преобладающим настроениям революционно-интеллигентской среды, они начинают с умаления принципиального значения требования политической свободы, заявляя, что «на осуществление его рассчитывать не так трудно», так как оно «по вкусу говорунам (т. е. буржуазным либералам) — этим деятелям будущей всероссийской говорилки (т. е. парламента)». И они окончательно, хотя и с явным сопротивлением, сдают свою принципиальную позицию, когда продолжают: «Да не подумают, чтобы и в самом деле политическая свобода входила в наши особенные планы и расчеты и для нее мы отводили столь же почетное место, как и для нашего основного требования. Нет, мы только говорим, что так было бы лучше, что эта свобода все-таки очень важное условие для скорейшего переворота и более или менее осмысленного решения социального вопроса; а осмысленность в движении, как и сами знаете, есть, в свою очередь, опять-таки весьма важное условие для желанного исхода революции. Этим мы вовсе не хотим сказать, что ради осмысленности социальной революции мы желали бы ее оттянуть на бесконечно длинное время. Вовсе нет, мы только говорим, что нужно пользоваться всем, что можно достать, нужно обратить внимание на все, что окажет услугу в нашем деле».

Но еще характернее в смысле недостаточной принципиальности оказались те объяснения, которыми вожди Союза ответили на справедливый упрек в забвении столь важного для России аграрного

вопроса: «Действительно, мы уже чересчур увлеклись рассмотрением своего городского положения, чересчур пропитались духом различных программ Запада, и вот оказалось, что для нашей деревни мы отвели очень немного места. Но да извинят нас за этот промах, тем более, что забывать деревню — не есть дело нашего ума и чувств. Для нас столько же дорог мужичок с его родными лесами, как и фабричный, а улучшение быта первого даже важнее, потому что тогда ни один кулак не вызвал бы нас с своих полей служить своему ненасытному брюху». Как близка эта последняя фраза к мысли, что рабочие — это «те же крестьяне», для которых работа на фабрике — лишь временный «отхожий промысел», и как далека она, наоборот, от утверждения программы, что рабочими существуют «все другие классы», и от тех великих задач «обновления мира», которые она ставит перед «рабочим сословием», призывая его примкнуть «к нашим западным братьям»!

Объяснения идейной неустойчивости таких людей, как Степан Халтурин или Виктор Обнорский, на деле доказавших и способность к самостоятельному политическому мышлению, и упорство в стремлении к намеченной цели, не приходится, конечно искать в недостаточной твердости их характера. Его нельзя искать и исключительно в том идейном кризисе, который как раз в это время переживало землевольческое движение и который предвещал его близкий распад. Конечно, этот кризис не мог не коснуться и примыкавших к «Земле и воле» рабочих — инициаторов Северного Союза. Но решающим все же было, что в самых условиях предпринятого ими дела очень скоро стали обнаруживаться моменты, подрывавшие их первоначальный оптимизм и веру в быстрый успех.

Мы уже отмечали, что в десятилетия, непосредственно следовавшие за освобождением крестьян и характеризованные быстрым развитием крупной промышленности, реальная заработная плата и общие условия труда подавляющего большинства рабочей массы, особенно текстильных, «фабричных» рабочих, обнаруживали тенденцию к существенному ухудшению, и что улучшалось только положение квалифицированных «заводских» рабочих — металлистов и других*. На почве этого различия материального уровня выросло

* За 20-летие с 1862 по 1883 год реальная заработная плата кузнецов выросла на 30 %, столяров — на 31 % и т. д. Только у слесарей отмечается, в среднем, понижение на 10 %.

пропорционально еще гораздо более сильное различие культурного и политического уровня между «фабричными» и «заводскими».

Конечно, и текстильный рабочий сравнительно быстро эмансипировался от примитивизма деревенской жизни. И «фабричный», говорит Плеханов («Русский рабочий в революционном движении»), «проработав в городе несколько лет, уже плохо чувствовал себя в деревне и неохотно возвращался в нее... Деревенские нравы и порядки становились невыносимыми для человека, личность которого начинала хоть немного развиваться». Но если культурный уровень общей массы «заводских» рабочих значительно превышал уровень «фабричных», то культурному развитию и начитанности того тонкого слоя особо квалифицированных рабочих, который стал выделяться из этой «заводской» массы, могли, по свидетельству Плеханова, позавидовать и многие студенты. И ничто не обрисовывает так ярко культурный разрыв между рабочей «элитой» и подавляющей массой тогдашнего русского «народа» — крестьянского, но и рабочего, — как рассказ того же Плеханова о предпринятой в 1876 году попытке «Земли и воли» вовлечь некоторых профессионально и культурно высококвалифицированных петербургских рабочих в «хождение в народ» и послать их в Саратовскую губернию: «Это были испытанные люди, искренне преданные народническим идеям и глубоко проникнутые народническими взглядами. Но попытки их устроиться в деревне не привели ни к чему. Побродив по деревням с целью высмотреть подходящее место для своего поселения (причем некоторые из них были приняты за немцев*, они махнули рукой на это дело и кончили тем, что вернулись в Саратов, где завели сношения с местными рабочими. Как ни удивляла нас эта отчужденность от "народа" его городских детей, но факт был налицо, и мы должны были оставить мысль о привлечении рабочих к собственно крестьянскому делу».

Именно к этой рабочей «элите» принадлежали основатели Северного Союза. Почти исключительно из нее же рекрутировались те две сотни членов, которых удалось вовлечь в организацию с самого начала, и те 150–200 кандидатов, которые были намечены к приему в дальнейшем. В провинции, по свидетельству Плеханова, рабо-

* В простонародном языке так назывались не только германцы, но иностранцы вообще. Само слово происходит от корня «нем» — немой, человек, не умеющий говорить — по-русски, конечно.

чие кружки (в Ростове, Саратове, Киеве, Харькове) «по составу своему были гораздо разнообразнее, смешаннее петербургских. В них попадались члены, по развитию и по высокому уровню потребностей не уступавшие петербургским заводским рабочим, но рядом с ними попадались и совсем "серые", иногда неграмотные». Столь пестрый состав естествен, но делал эти провинциальные кружки малоспособными к оформленным политическим выступлениям, с каких начал свою деятельность Северный Союз. Но, в свою очередь, большая культурная однородность Союза, изолировавшая его от широких рабочих масс, приводила к тому, что в более или менее тесное соприкосновение с ними он входил лишь во время их бурных «движений» и что тонкие нити, протянувшиеся между «элитой» и массами во время волны забастовок, прокатившейся по петербургским фабрикам в 1878–79 гг., тотчас же порвались, лишь только эта волна схлынула. В результате рост Союза остановился и, основанный с такими надеждами, он распался уже к концу 1879 года.

Северный Союз распался не потому только, что аресты, явившиеся следствием затесавшейся в него провокации, вырвали из него таких выдающихся работников, как Обнорский, Петерсон и другие. Он распался, главным образом, потому, что в описанных выше условиях оказалось еще невозможным создать ту органическую связь с рабочими массами, о которой мечтали его основатели, когда, обращаясь в программе к этим массам, говорили: «у вас нет организации, нет идеи, которой вы бы руководились, нет, наконец, нравственной поддержки, столь необходимой для дружного отпора врагу. Но мы, рабочие — организаторы Северного Союза, даем вам эту руководящую идею, даем вам нравственную поддержку в сплочении интересов и, наконец, даем вам ту организацию, в какой нуждаетесь вы... За вами последнее слово, от вас зависит участь великого Союза и успех социальной революции в России».

Участь Союза определилась тем, что рабочие массы пока что не откликнулись и в наличных условиях и не могли откликнуться на этот призыв. Задача «выдвинуть и у нас рабочее сословие», как самостоятельную политическую силу, тесно примыкающую «к нашим западным братьям», оказалась еще неосуществимой. Не случайным оказался поэтому тот исторический парадокс, что Халтурин и другие передовые рабочие, доработавшиеся до идеи борьбы за политическую свободу и этой идеей больше всего дорожившие, с головой ушли в народовольческое движение разочаровавшейся в массах интел-

лигенции*, — а такие интеллигенты-народники, как Плеханов и Аксельрод, именно в соприкосновении с рабочим движением научившиеся ценить выше всего массовую силу, должны были пройти через мертворожденный «Черный передел», чтобы доработаться до той новой постановки вопроса о связи между социализмом и массовой политической борьбой, которая сделала их идейными родоначальниками социал-демократического рабочего движения в России.

Должно было, однако, пройти почти полтора десятка лет, пока процесс формирования и культурного подъема рабочего класса достиг такого уровня и пока создались такие новые общественные условия, что это движение смогло выйти за пределы небольших кружков и заявить о себе, как о практической и жизнеспособной политической силе. Пока же что Северный Союз оказался лишь исторической репетицией этого будущего движения, но репетицией тем более важной и заслуживающей внимания, что в ней, как мы уже отмечали, обозначились в зачаточном виде все те основные проблемы, с которыми этому движению пришлось в будущем считаться. Союз дал толчок и той громадной теоретической работе, которая, в условиях описанного уже политического застоя, закладывала идейный фундамент будущей российской социал-демократии и которая составляет историческое дело группы «Освобождение труда».

4. Группа «Освобождение труда»

Основателями группы «Освобождение труда» были очутившиеся в Швейцарии «чернопередельцы» Плеханов, Аксельрод, Засулич, Дейч, к которым присоединился молодой В. Игнатов[310], сын помещика, оказывавший группе материальную поддержку, но вскоре скончавшийся. Из вождей распадавшегося «Черного передела» только Стефанович перешел в «Народную волю».

В объявлении об издании «Библиотеки современного социализма»[311], помеченном «Женева, 25 сентября 1883 г.», члены группы за-

* «Александр 2-ой должен быть убит рабочим», мотивировал Халтурин свой переход в «Народную волю»: «пусть не думают русские цари, что рабочие — болваны, не понимающие их истинного значения для народа». После неудачи взрыва в Зимнем Дворце Халтурин организовал 18 марта 1882 года убийство прокурора Стрельникова в Одессе и 22 марта того же года был, вместе с соучастником своим Желваковым, казнен.

являли, что «окончательно разрывают со старыми анархическими тенденциями», и признали, что «борьба с абсолютизмом — историческая задача, общая русским социалистам с другими прогрессивными партиями в России». Но, говорило «объявление», эта борьба «не принесет социалистам возможного влияния в будущем, если падение абсолютной монархии застанет русский рабочий класс в неразвитом состоянии, индифферентным к общественным вопросам или не имеющим понятия о правильном решении этих вопросов в своих интересах. Поэтому “социалистическая пропаганда в среде наиболее восприимчивых к ней слоев трудящегося населения России” составляет “одну из серьезнейших обязанностей русской социалистической интеллигенции”, а для такой пропаганды необходимо создание популярной “рабочей литературы”». «Но, прежде чем взяться за создание такой литературы, наша революционная интеллигенция должна сама усвоить современное социалистическое миросозерцание, отказавшись от несогласимых с ними старых традиций. Поэтому критика господствующих в ее среде программ и учений должна занять важное место в нашей социалистической литературе». Этим двум задачам: популяризации «идей научного социализма путем перевода на русский язык важнейших произведений Маркса и Энгельса» и издания «оригинальных сочинений», с одной стороны, критике традиционных взглядов революционной интеллигенции и «разработке важнейших вопросов русской общественной жизни с точки зрения научного социализма и интересов трудящегося населения России», с другой — и должна была служить «Библиотека».

Но, помимо этих пропагандистских и теоретических задач, группа при самом возникновении своем ставила себе и более широкие цели. «Объявление» констатировало, что «разрушительная работа наших революционеров не дополнялась созданием элементов для будущей рабочей социалистической партии в России». «Организация русского рабочего класса в особую партию с определенной социально-политической программой» — и была тою целью, которую ставила себе группа. Но, отдавая себе отчет в действительном состоянии русского рабочего движения в то время, она для данного момента требовала от социалистической интеллигенции лишь работы над «организацией по крайней мере наиболее выдающихся представителей» рабочего класса, т. е. создания пропагандистских рабочих кружков и обществ типа Северного союза, как первых зародышей будущей рабочей партии.

В прямом антагонизме со склонностью народников последней формации противопоставлять русский социализм европейскому, как принципиально отличный от него продукт русской экономической и социальной почвы, первые русские марксисты, наоборот, стремились подчеркивать его неразрывную связь с социализмом европейским. В этом отношении они возвращались к идейным традициям родоначальников русской демократической и социалистической мысли, начиная с Герцена и Чернышевского и кончая Лавровым и Бакуниным. Но, в отличие от них и впервые в истории этой мысли, они ставили проблему русского социализма не как проблему судеб русской крестьянской общины, а как такую же проблему идеологии и движения промышленного пролетариата, какою был социализм в Европе.

«Европеизация» русского социализма — так можно охарактеризовать в одном слове основную идею новой группы. Она возвращала русскому социализму то европейское, «немецкое» платье, которое старались совлечь с него Кравчинский и его друзья. Только моделью для этого «платья» служила уже не мнимонемецкая теория клонившегося к упадку Бакунинского анархизма, а практика самой крупной, самой «марксистской» и переживавшей процесс бурного роста рабочей партии Европы — германской. И это обстоятельство имело самое существенное значение для всей дальнейшей идейной истории русского марксизма и российской социал-демократии во всех ее фракциях и национальных группировках.

Германская социал-демократия, которую русские революционеры еще недавно третировали свысока*, теперь, озаренная ореолом героической борьбы в тисках исключительного закона против социалистов[312], все больше импонировала им своим моральным пафосом, своею идейной глубиной, своею организационной мощью. Мы видели, какое влияние оказала она на рабочих — основателей Северного союза. Еще более сильный отпечаток наложила она на идейное формирование русских марксистов. И с тех пор, с самого зарождения своего, российская социал-демократия в течение трех десятилетий развивалась под сильнейшим идейным и политическим воздействием германской, можно

* По словам Аксельрода, само название «Освобождение труда» было принято группою потому, что назвать себя прямо «социал-демократической» она не решалась из опасения вызвать отталкивание в среде интеллигенции.

сказать — в сильнейшей идейной и политической зависимости от нее. Только голосование германских социал-демократов за военные кредиты в августе 1914 года и «патриотическая» поддержка, оказанная ими правительству Кайзера в ходе войны, круто оборвали эту зависимость, потому что были восприняты огромным большинством русских социалистов как неожиданная и необъяснимая, но тем более постыдная «измена» германской социал-демократии не только принципам международного социализма, но и всему ее собственному прошлому.

Но если русский марксизм развивался под воздействием германской социал-демократии и был носителем идей европейского рабочего социализма в России, то это никоим образом не значит, что он был чужеродным растением на русской почве; наоборот, он был естественным и необходимым продуктом социального и идейного развития России. Первые ростки классового рабочего движения и последняя фаза десятилетий идейного развития революционной интеллигенции — из взаимодействия этих двух факторов родилась в отсталой России социал-демократия. В особенностях личной и политической биографии ее двух главных творцов — Аксельрода и Плеханова — уже при самом зарождении русского марксизма как бы олицетворяется эта двойственность его истории, дававшая себя знать на протяжении всей дальнейшей истории его.

Павел Борисович Аксельрод (1850 г. — 16 апреля 1928 г.) родился в бедной, можно сказать — нищей еврейской семье. Как он рассказывает в своих воспоминаниях*, только нищете своей обязан он тем, что смог получить гимназическое образование: обязанные — в интересах «русификации» — посылать известное количество еврейских детей в казенные русские школы, богатые заправилы ортодоксальных еврейских общин предпочитали возлагать эту «повинность» на детей бедноты. Особенностями той полупролетаризованной среды, в которой родился, вырос и с которой долгие годы был связан Аксельрод, объясняется и тот путь, каким он пришел в революционную среду и через нее к марксизму.

Исходной точкой его исканий были физические и нравственные страдания, материальное и духовное убожество окружавшей его

* П. Б. Аксельрод. Пережитое и передуманное. Издательство З. И. Гржебина. Берлин, 1923 г. Вышла только 1-ая книга воспоминаний, обрывающаяся на 1883 г. Отрывки намечавшейся 2-й книги были впоследствии напечатаны в «Ленинских сборниках».

среды. Социализм он воспринял, прежде всего, эмоционально. Именно этою, эмоциональною стороной своей произвели на него потрясающее впечатление речи Лассаля, с которым он смог познакомиться в 70–71 году. В лассалевской «церкви будущего» он увидел обетование того счастливого общественного строя, в котором будет преодолено все зло, тяготеющее над родными ему пауперизованными массами, и в котором, как он пишет позднее в одном из писем к Плеханову, люди, превратившиеся в «породу богов на земле», будут «наслаждаться сознанием и самосознанием». Но эти «идеологические» наслаждения — дело будущего. Выросший в народных низах, Аксельрод на собственном опыте познал, как жестоки и инертны социальные отношения, как трудна для бедняка борьба с ними, и какой дорогой ценой приходится оплачивать ему всякий шаг вперед. Поэтому сейчас все внимание его поглощено вопросом о путях, ведущих к заветной цели освобождения. Практика германской социал-демократии, так очевидно поднимающая рабочие массы духовно, заражает его энтузиазмом гораздо раньше, чем теория марксизма, на которой эта практика базируется.

От конкретной социальной борьбы, от практики к теоретическим обобщениям — таков путь, ведущий Аксельрода к марксизму. Сильнейшее впечатление, которое сам Аксельрод характеризует как «энтузиазм», произвели на него в его первую поездку за границу (1874) рабочие собрания в Берлине. В свою вторую заграничную поездку (1876–1878 г.) он, будучи правоверным анархистом, систематически посещает немецкие социал-демократические рабочие собрания в Женеве и восхищается рабочими праздниками, как «прообразом жизни в будущем социалистическом обществе». В бакунистской «Общине»[313] он пишет в 1878 г. серию статей об «Итогах германской социал-демократии», в которых подвергает ее резкой анархической критике. Но уже во введении к этим статьям он заявляет, что для данного времени, пока на историческую сцену в Германии еще не выступила «более революционная (то есть анархическая) фракция», германская социал-демократия является «относительно» социалистически-революционной силой, а впоследствии, в своих воспоминаниях, видит себя вынужденным констатировать, что «уже в ходе своей работы над этими статьями незаметно для самого себя, бессознательно заражался социал-демократическими ересями».

Эта «зараза» очень заметно дала себя знать, когда Аксельрод в 1879 году вернулся в Россию. В программу возрожденного им «Южно-русского рабочего союза»[314] были внесены, и с еще гораздо большею детальностью, такие же политические требования (всеобщее, равное, прямое и тайное избирательное право, свобода собраний, свобода слова и т. п.), какие были внесены в свое время в программу Северного союза, — только «для успокоения бакунистской совести» требования эти фигурировали под рубрикой «поводы для агитации». Те же самые «поводы для агитации» с добавлением обширного каталога требований в сфере охраны труда были внесены Аксельродом и в написанный им проект программы для «Черного передела»[315], самое название которого он предлагал заменить названием «Партия социалистов-федералистов»*. Еще очевиднее сказалась эта социал-демократическая «зараза» в речи, произнесенной Аксельродом на Международном социалистическом конгрессе в Хуре[316], где он выступил в качестве «русского гостя», когда, в июне 1880 года, ему пришлось снова покинуть Россию.

Так, шаг за шагом, «незаметно для самого себя» становился Аксельрод социал-демократом. Лишь в 1883 г., под влиянием чтения предисловия к книге Маркса «К критике политической экономии», он окончательно стал марксистом. И характерно для всего облика Аксельрода, что и в этом знаменитом «предисловии», наибольшее впечатление на него произвели те «мысли и представления о грандиозных последствиях всемирного торжества социализма», которые вызвало в нем «заключительное замечание Маркса о том, что с окончанием капиталистической фазы развития человеческих обществ и наступлением социалистической фазы окончится доисторический период существования человечества и начнется его вполне сознательная, действительно историческая жизнь».

Эти черты ранней политической биографии Аксельрода делают понятным, почему в дальнейшем его мысль сосредоточилась главным образом на вопросах тактики и организации и почему для последующих поколений русских социал-демократов он стал хранителем лучших моральных традиций революционного движения.

* Очутившиеся к этому времени в Женеве основатели «Черного передела» (Плеханов, Засулич, Дейч, Стефанович) отнеслись отрицательно к планам Аксельрода: «Это не народничество, а социал-демократизм», заявили они делегатке, посланной к ним для переговоров о новой программе.

Но сейчас, когда на первом плане стояло теоретическое обоснование русского марксизма, главная работа выпадала на долю Плеханова. Его развитие в марксиста шло совершенно иными путями, чем развитие Аксельрода.

П. Б. Аксельрод поднялся в среду революционной интеллигенции из самых низов полупролетаризованных масс. Георгий Валентинович Плеханов (20 ноября 1857 — 30 мая 1918 г.) был, можно сказать, прирожденным членом этой среды. Сын мелкого помещика Тамбовской губернии и студент Петербургской горной академии, он уже с 1875 года, 18 лет от роду, начал принимать участие в революционном движении и, благодаря страстности своего темперамента, остроте интеллекта, литературному и ораторскому дарованию, сразу выдвинулся на одно из первых мест: на предыдущих страницах уже неоднократно приходилось говорить об его работе в «Земле и воле» и «Черном переделе» и, в частности, о руководящем участии его в литературных предприятиях этих организаций.

В противоположность Аксельроду, человеку революционной практики, Плеханов с юных лет — человек теории и обобщающей мысли. Разносторонность его умственных интересов толкает его к непрерывному расширению круга знаний: политическая экономия, социология, история, философия, литература, искусство — все становится для него предметом пытливого и усердного изучения. Он становится, бесспорно, одним из образованнейших русских людей своего времени и по праву занимает место последнего литературного выразителя русской интеллигенции в той блестящей веренице, которую открывают имена Герцена и Белинского. Глубина и методичность его обобщающей мысли позволяют ему яснее и раньше других понять значение новых элементов и новых форм общественного развития: мы видели, как, будучи еще «землевольцем», он первый заметил, что, «вопреки априорным теоретическим решениям», сама жизнь выдвигает вперед «вопрос о городском рабочем». Но те же свойства его ума делают его теоретически весьма требовательным и накладывают на все его политическое мышление печать рационализма и известного консерватизма, побуждая его упорно держаться за раз принятую систему взглядов — до тех пор, пока ему не удается доработаться до другой, но столь же стройной и законченной системы: на Воронежском съезде он один не идет ни на какие компромиссы с будущими народовольцами и один покидает съезд, как непримиримый

народник-анархист. Но и народнические теории «Черного передела» он, как мы только что упоминали, упорно отстаивает еще тогда, когда с ними на деле уже определенно порывают чернопередельские практики, склоняющиеся к «социал-демократизму». Он идет к марксизму с гораздо большим идейным сопротивлением и приходит к нему совершенно иным, можно сказать — обратным путем, чем шел и пришел к нему, «незаметно для самого себя», Аксельрод.

В умственном развитии Аксельрода «идеология» — это та озаренная солнечным сиянием вершина, которая манит его и на которую он медленно взбирается из мрачных глубин невежества, в котором коснеет родная ему среда. Для Плеханова «идеология» — родная стихия. Русская «общественная мысль» в ее последних достижениях — отправной пункт его творческой работы, приводящей его, в конце концов, к марксизму через самостоятельную проработку немецкой и французской философии, истории Французской революции, творений великих утопистов социализма, произведений классиков политической экономии, трудов Маркса и Энгельса. Выработка марксистского миросозерцания — с этого начинается Плеханов-социал-демократ. И затем лишь идет приложение этого нового миросозерцания к изучению русской действительности, к вопросам социальной и политической борьбы, русского и международного рабочего движения. В отличие от Аксельрода, не снизу вверх — от практики к идеологии — работает политическая мысль Плеханова, а сверху вниз — от всеобогащающейся и уточняющейся идеологии к вопросам практики.

Основательное знакомство с учением Маркса видно еще в тех статьях 22-летнего Плеханова о «Законе экономического развития общества и задачах социализма в России»[317], которые были помещены в №№ 3 и 4 «Земли и воли» за 1879 год и во второй из которых и указано на возрастающее значение «вопроса о городском рабочем». Но первым определенно марксистским произведением его было предисловие к изданному в 1882 году русскому переводу «Коммунистического манифеста»[318]. За ним последовала в 1883 году изданная в виде первого выпуска «Библиотеки современного социализма» брошюра «Социализм и политическая борьба»[319], подвергшая марксистской критике и марксистскому пересмотру теоретические положения народничества и явившаяся как бы манифестом только что основанной группы «Освобождение труда». В 1884 году, в книге «Наши разногласия»[320], Плеханов дает блестящий анализ экономического и социального

развития России, подрубающий самые корни народнического миросозерцания и впервые подводящий под русский марксизм прочный научный фундамент. И наконец, как последнее звено этой теоретической работы, он выпускает в 1895 году в свет, под псевдонимом Н. Бельтов, книгу «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю»[321], сыгравшую в идейно-политическом развитии русской интеллигенции колоссальную роль*. В этой книге Плеханов подвергает марксистской критике тот философский субъективизм народнической социологии, наиболее ярким выразителем которого был в эту эпоху Михайловский, и тот как бы завершает свою работу над теоретическим обоснованием русского марксизма не только как политического направления, но и как стройного и систематически законченного миросозерцания.

«Наши разногласия» были ответом на критику, которой подверг брошюру «Социализм и политическая борьба» на страницах «Вестника "Народной воли"[322] Л. Тихомиров, один из двух членов Исполнительного комитета (другим была М. Н. Ошанина-Оловенникова), успевших после 1 марта 1881 года скрыться за границу и здесь действовавших именем этой знаменитой организации. И все же, полемическая по форме, книга Плеханова заканчивается выражением сочувствия революционной работе «партии Народной воли» и призывом к «молодым народовольцам» подумать над тем, что «безусловный разрыв с ее нынешними (т. е. народническими) теориями» и переход к марксизму являются непременным условием успеха этой работы. После того, как чернопеределыды отказались от абсолютно отрицательного отношения к политической борьбе, в их глазах исчез тот непроходимый барьер, который отделял их раньше от «Народной воли». Призыв к «молодым народовольцам» был лишь естественным выводом из тех усилий, которые чернопеределыды употребляли в продолжении трех-четырех лет — сначала для воссоединения всех течений и фракций русского социализма, потом для собирания остатков всех разгромленных организаций под знаменем марксизма.

Переговоры их с П. Лавровым и народовольцами уже в 1880 году привели к основанию «Русской социальной революционной библиотеки»[323]. Ее временными редакторами были избраны Л. Н. Гартман[324],

* Книга вышла «легально» в Петербурге. Цензурными условиями того времени объясняются псевдоним и тяжеловесное заглавие книги.

П. Л. Лавров и Н. А. Морозов. Но обширное «объявление» о ней было написано Плехановым, и в ее издании вышел его перевод «Коммунистического манифеста» с упомянутым уже марксистским предисловием. Плеханов был введен в редакцию журнала «Вестник Народной воли», к изданию которого Лавров и Тихомиров приступили осенью 1883 г. В номере 1-м этого журнала были напечатаны совершенно «марксистская» статья Аксельрода «Социализм и мелкая буржуазия» и статья Плеханова об историке А. П. Щапове[325], кончавшаяся предсказанием, что для «социально-революционной партии» начинается новый период — «период социал-демократический». Но уже статья «Социализм и политическая борьба», первоначальна предназначавшаяся Плехановым для этого же номера «Вестника Народной воли», появилась в виде брошюры, изданной вновь основанной группой «Освобождение труда». Ибо за это время все переговоры об объединении оборвались.

Формально возможность объединения была сорвана неожиданным отказом Тихомирова и Ошаниной принять «чернопередельцев» в «партию Народной воли», как особую группу. На деле, как вскоре выяснилось, причины разрыва лежали гораздо глубже. Выступившее было (в лице Л. Тихомирова и М. Ошаниной) в оболочке крайнего «якобинства», эмигрантское народничество скоро — особенно после отступничества Тихомирова (1887), превратившегося в апологета крайней самодержавной реакции, — вступило на путь такого же либерального перерождения, какое переживал его «легальный» двойник. Народничество отмирало как революционная доктрина, и перекинуть мост между ним и рождающейся новой идеологией русской революции — марксизмом оказалось невозможно*. Не в объединении с народничеством, а в жестокой борьбе против него суждено было развиваться русскому марксизму. Обращение «Наших разногласий» к «молодым народовольцам» оказалось лебединою песнью объединительных мечтаний**. И лишь 10 лет

---

* Уже в «Наших разногласиях» (глава 1-ая) Плеханов констатирует: «Бакунизм и народничество, как революционные учения, отжили свой век и находят теперь радушный прием лишь в консервативно-демократическом литературном лагере».

** В 1889 году уже после закрытия «Вестника Народной воли» (декабрь 1886), прибывший за границу «молодой народоволец» Юлий Раппопорт сделал попытку объединить в журнале «Социалист» представителей всех социально-революционных организаций. В первом (и единственном) номере журнала приняли участие Плеханов и Аксельрод, ошибочно полагая, что кроме членов группы «Освобождение труда» к сотрудничеству привлечен персонально один только

спустя вопрос о практическом объединении с социал-демократами был снова поставлен Петербургской группой «молодых народовольцев», вобравшей в свои ряды последних эпигонов народовольчества, большинство которых теоретически уже давно пришло к социал-демократии, а вскоре и совсем растворилось в ней.

Признавая историческую заслугу «Народной воли», поставившей в центр революционных задач борьбу с самодержавием, и следуя в этом отношении ее примеру, бывшие «чернопередельцы» стремились в то же время самое политическую борьбу поставить на совершенно новое основание. Проблема сочетания борьбы за политическую свободу и борьбы за социализм была, как мы видели, в течение почти полувека центральной, но и неразрешимой проблемой русской революционной интеллигенции. Теперь в учении марксизма группа нашла новое идеологическое оружие для ее разрешения. Ибо, говорит Плеханов в предисловии к «Коммунистическому манифесту», учение это «может предостеречь русских социалистов от двух одинаково печальных крайностей: отрицательного отношения к политической деятельности, с одной стороны, и забвения будущих интересов партии (т. е. социализма. — *Ф. Д.*), с другой».

«Всякая классовая борьба есть борьба политическая» — это положение Маркса, взятое Плехановым в качестве эпиграфа к брошюре «Социализм и политическая борьба», должно было успокоить социалистическую совесть его товарищей по «Черному переделу». Но в этих пределах задача была сравнительно легкою: огромное большинство народников к этому времени уже распростилось с былым аполитизмом, и влияние анархических — антигосударственных и антиполитических — идей бакунизма в интеллигенции вообще стало быстро падать. Гораздо труднее была борьба со второю из «печальных крайностей» — с забвением социалистических задач «партии» или отодвиганием их на задний план под тем предлогом, что «общинные» инстинкты русского народа автоматически превратят

П. Лавров. Зато самый резкий отпор с их стороны встретил журнал «Свободная Россия», основанный в этом же году старым бунтарем Дебагорием-Мокриевичем и другим «молодым народовольцем» В. Л. Бурцевым и призывавший всех революционеров к объединению на почве отказа от социализма и союза с либералами. См. «Переписка Г. В. Плеханова и П. Б. Аксельрода» под редакцией и с примечаниями П. А. Берлина, В. С. Войтинского и Б. И. Николаевского. Издание Р. М. Плехановой. Т. 1 и 2-ой. Москва, 1925 г.

политический переворот в непосредственный пролог переворота социалистического. Борьбе с «якобинскими» идеями заговора и захвата власти революционным меньшинством и посвящена поэтому значительная часть «Социализма и политической борьбы» и «Наших разногласий».

История учит нас, насколько сомнительны шансы заговоров вообще, аргументирует Плеханов. Но что несомненно, так это то, что наше революционное интеллигентское меньшинство ни каких шансов для захвата власти не имеет. Для успеха заговора ему нужно было бы вовлечь в него влиятельные верхи общества: «богатых землевладельцев, капиталистов, чиновников, офицеров». Но если такое вовлечение и удастся, то эти круги общества примут участие в заговоре, конечно, не затем, чтобы, в случае успеха, передать власть «Исполнительному комитету» социалистической интеллигенции, а лишь затем, чтобы «воспользоваться заговором в своих собственных интересах». Поэтому «результаты заговора социалистической интеллигенции с целью захвата власти в ближайшем будущем станут тем более сомнительными, чем более сочувствия встретит он во влиятельных сферах, то есть — чем вероятнее будет его внешний успех». Социалисты могут придти к власти и, придя к ней, вести социалистическую политику лишь в том случае, если опираются на проникнутые социалистическим сознанием трудящиеся массы. «Всякая классовая борьба есть борьба политическая». Но и всякая политическая борьба должна быть классовой, чтобы дать социалистические результаты. Она во всяком случае должна быть массовой борьбой, чтобы ее шансы строились на более солидном основании, чем обманчивый азарт игры в заговоры.

Непримиримая к заговорщичеству народовольцев, группа «Освобождение труда» относится положительно к террористическим методам их борьбы. Как говорит ее программа 1884 года, она «признает необходимость террористической борьбы против абсолютного правительства и расходится с партией "Народной воли" лишь по вопросам о так называемом захвате власти революционной партией и о задачах непосредственной деятельности социалистов в среде рабочего класса». Как поясняют «Наши разногласия», группа возражает лишь против превращения тайных рабочих организаций «в тайные питомники для разведения террористов из рабочей среды». У рабочего движения есть более широкие задачи, и именно оно и только оно может «в решительную минуту повалить и добить раненое террористами

чудовище». Но самое террористическую борьбу могут «с гораздо большими удобствами» взять на себя «другие слои населения».

В примечании к изданию 1905 года Плеханов пытается объяснить такое отношение группы к террору тем, что «высказываться против террористической борьбы интеллигенции было тогда, безусловно, бесполезно: интеллигенция верила в "террор", как в бога». Как видим, это ретроспективное объяснение плохо вяжется с только что цитированными формулировками программы и «Наших разногласий». Да оно и не нужно. Тогдашнее отношение группы к террору целиком объясняется условиями того времени, когда рабочее движение, на которое возлагали свои надежды марксисты, было еще все впереди, когда, в обстановке общественного затишья, интеллигенция все еще оставалась единственной политически сколько-нибудь активной группой и когда все еще невозможно было указать никаких других практических средств политической борьбы, необходимость которой так настойчиво провозглашала группа «Освобождение труда». Именно такое объяснение дают и сами «Наши разногласия», когда говорят: «мы нисколько не отрицаем важной роли террористической борьбы в современном освободительном движении. Она естественно выросла из наших социально-политических условий и также естественно должна способствовать изменению их в лучшую сторону».

Нужно было обнаружиться бессилию и самой интеллигенции, как самостоятельного фактора политической борьбы, чтобы проект второй программы[326], написанный Плехановым в 1887 году, мог дать вопросу о терроре совершенно новую постановку, трактуя его лишь как одно из средств политической борьбы тех будущих тайных рабочих организаций, которые, объединившись друг с другом, «не замедлят перейти в удобный момент к общему, решительному нападению на правительство, причем не остановятся и перед так называемыми террористическими действиями, если это окажется нужным в интересах борьбы»: из специфического боевого оружия «революционного меньшинства» террор превращается тут в одно из возможных оружий массового революционного движения.

Упор на массы, а не на личность, на «толпу», а не на «героев» был основным тактическим принципом чернопередельцев. «Освобождение народа должно быть делом самого народа» — эту первую (перифразированную из «классового» катехизиса марксизма) заповедь народничества они упорно противопоставляли народовольческому ударению

на роль «революционного меньшинства». Этот же принцип применяли они теперь и к политической борьбе: и политическая борьба должна стать массовой борьбой, чтобы ее результаты могли пойти народу на пользу. Но где искать те массы, которые могут служить опорой политической борьбы? Что этих масс нельзя найти в крестьянстве — это одинаково хорошо знали и чернопередельцы, и народовольцы: ведь, равнодушие, а часто и враждебность крестьянства к «политике» и были исходной точкой аполитизма одних, заговорщичества других. Имеются ли в России другие массы, на которые могли бы рассчитывать революционеры-социалисты?

Этот вопрос был основным вопросом для рождавшегося русского марксизма.

До сих пор народничество всех оттенков знало лишь одну «массу», один «народ» — крестьянство: городской рабочий был для него тем же крестьянином, только случайно и временно оторвавшимся от деревни для «отхожей» работы в промышленности. И точно так же для всех оттенков народничества «общинные» традиции крестьянина делали его прирожденным носителем «социализма», хотя бы и самобытно-русского, народнического социализма. На этом природном «социализме» крестьянства базировался аполитизм — сначала всего народничества в целом, потом его чернопередельческой фракции. И на нем же базировалось убеждение народовольцев, что освобождение народа от гнета самодержавия, хотя бы путем заговора «революционного меньшинства», автоматически обеспечит торжество социализма в России, их уверенность, что «в будущем русском Учредительном Собрании 90 % депутатов явятся сторонниками социальной революции»*.

Сейчас, когда бывшие чернопередельцы потому и переходили от народничества к марксизму, что потеряли веру в самобытный крестьянский социализм, и когда именно эта вера стала главным аргументом народовольческих «якобинцев» в защиту заговора и захвата власти революционерами, значительная часть трудов Плеханова была посвящена доказательствам разложения и отмирания крестьянской

---

* Как известно, это «пророчество», над которым едко смеялся Плеханов в «Социализм и политическая борьба», с точностью оправдалось в том реальном Учредительном Собрании, которое собралось 5 января 1918 года. Правда, оправдалось оно совсем не в тех условиях и не с теми результатами, на которые рассчитывали народовольческие «пророки».

общины под воздействием развивающегося капитализма, постепенного вырождения ее в чисто фискальную организацию* и совершенной фиктивности расчетов на ее способность рождать социалистические тенденции. Оглядываясь назад, он утверждает даже, что ложными были сами предпосылки, на которых строилась народническая программа: что «народ» вовсе никогда не стремился к «полному экономическому освобождению», как не стремился и к полному уничтожению «государства». Конечно, «аграрный вопрос лежал в основании всех или почти всех проявлений народного недовольства». Но «крестьяне с спокойною уверенностью ожидали решения этого вопроса сверху; они «бунтовались» не во имя земельного передела, а против притеснений администрации, против непомерных тягостей податной системы, против азиатского способа взыскания недоимок и т. д. и т. д. Формулой, обобщавшей большую часть случаев активного протеста, являлось «правовое государство», а не «Земля и воля», как нам всем казалось в то время» («Социализм и политическая борьба»).

Таким образом, в полярной противоположности народничеству, Плеханов теперь начисто отрицает наличность в крестьянском движении каких бы то ни было революционных, враждебных буржуазии экономических и социальных тенденций, отрицает, следовательно, и наличность того противоречия, о которое, казалось до сих пор, разбивалось дело «буржуазной» демократии в России. Русская буржуазия не потому бессильна — в отличие от западноевропейской — возглавить борьбу за политическую свободу, что в социально-экономических условиях России борьба эта сейчас же вызвала бы на сцену «красный призрак» социализма, а только потому, что русское крестьянство, по своей отсталости, неспособно политически оформить свое недовольство и свою тягу к «правовому государству»: «главнейшая опора абсолютизма», говорит проект второй программы, «заключается именно в политическом безразличии и умственной отсталости крестьянства. Необходимым следствием этого является бессилие и робость тех образованных слоев высших классов, материальным и умственным интересам которых противоречит современная политическая система». «Такое положение дел было бы вполне безнадежно»,

* Впоследствии новые исследования русских историков убедили Плеханова, как он говорит в позднейших примечаниях к «Нашим разногласиям», в том, что русская община вообще имеет чисто «фискальное происхождение» и «не имеет ничего общего с первобытным коммунизмом».

продолжает программа, «если бы указанное движение русских экономических отношений (в сторону капитализма. — *Ф. Д.*) не создавало новых шансов для защитников интересов трудящегося класса. Разложение общины создает у нас новый класс промышленного пролетариата. Более восприимчивый, подвижной и развитой, класс этот легче отзовется на призыв революционеров, чем отсталое земледельческое население».

Но внушительной массовой силой класс промышленных рабочих может стать лишь в том случае, если экономическое развитие России пойдет тем же капиталистическим путем, каким шло развитие Западной Европы. Вопрос о «судьбах русского капитализма» стал поэтому центральным вопросом русского марксизма в его борьбе с народничеством. Вопрос этот стал главной темой страстных дебатов в интеллигентских кружках. Его разработке марксистские экономисты и статистики посвятили в течение ближайших 10–15 лет бесчисленное количество статей и исследований, из которых наиболее известными стали выпущенная в 1895 г. книга В. Ильина (тогдашний псевдоним Владимира Ильича Ульянова, будущего Н. Ленина) «Развитие капитализма в России»[327] и вышедшая в 1898 г. книга М. И. Туган-Барановского (в то время так называемого «легального» марксиста, см. ниже) «Русская фабрика в прошлом и настоящем»[328]. Но основные результаты марксистского анализа действительного развития и перспектив русского капитализма были формулированы Плехановым еще в «Наших разногласиях»: «Если мы еще раз спросим себя — пройдет ли Россия через школу капитализма, то, не колеблясь, можем ответить новым вопросом — почему бы ей и не окончить той школы, в которую она уже поступила?.. Все наиболее знаменательные факты в области производства и обмена имеют один несомненный и бесспорный смысл: они не только расчищают дорогу капитализму, но и сами являются необходимыми и в высшей степени важными моментами его развития». Русским социалистам надо распроститься с мыслью, что «наше отечество обладает какой-то хартией самобытности».

Таким образом, социально-экономическое развитие России идет по пути, аналогичному развитию Западной Европы. Аналогичными западноевропейским должны быть поэтому не только классовые основы, но и задачи русского социализма. Аналогичными, но не тождественными. Ибо, в отличие от стран развитого капитализма, Россия — говорит проект второй программы — принадлежит к числу тех стран,

«где современное капиталистическое производство только стремится еще стать господствующим и где трудящиеся массы находятся под двойным игом развивающегося капитализма и отживающего патриархального хозяйства». Этою историческою запоздалостью русского капитализма и определяется своеобразие положения русского рабочего класса, а потому и своеобразие политических задач русского социализма.

В странах, где цикл капиталистического развития уже завершен или близок к завершению, перед рабочим классом стоит непосредственно задача «радикальной экономической революции», и именно для ее совершения необходимо его «политическое воспитание и господство»*. В странах отсталых дело обстоит иначе. Здесь «социал-демократам приходится добиваться, как переходных ступеней, таких форм общественного устройства, которые уже теперь существуют в передовых странах и необходимы для дальнейшего развития рабочей партии». Здесь, как говорят «Наши разногласия», социалисты «одновременно должны поддерживать капитализм в его борьбе с реакцией и быть непримиримыми врагами того же капитализма в его борьбе с рабочей партией будущего». Здесь, словом, «буржуазная» политическая революция должна предшествовать во времени революции социалистической, потому что, как говорилось еще в «Социализм и политическая борьба», «связывать в одно два таких существенно различных дела, как низвержение абсолютизма и социалистическая революция, вести революционную борьбу с расчетом на то, что эти моменты общественного развития совпадут в истории нашего отечества — значит отдалять наступление и того, и другого». Политическое и идеологическое бессилие буржуазии,

* Первая программа мыслит и завоевание этого господства, и его осуществление еще исключительно в рамках государственной демократии, ибо «только вполне демократическое государство может совершить экономический переворот, сообразный с интересами производителей и требующий разумного участия их в организации и регулировании производства». И лишь проект второй программы вводит в политический инвентарь русского марксизма идею «диктатуры пролетариата», как предпосылки социалистической революции (самый термин этот был впервые употреблен в программе российской социал-демократии лишь в 1903 г.), заявляя, что «неизбежным предварительным условием» радикального общественного переустройства «является захват рабочим классом политической власти», и что «только это временное господство рабочего класса может парализовать усилия контрреволюционеров и положить конец существованию классов и их борьбе».

бывшее до сих пор для русских революционеров обстоятельством, крайне благоприятным для социалистической революции, теперь объявляется «одним из вреднейших следствий» отсталости русской экономики. Ибо будущее сулит России «прежде всего — торжество буржуазии и начало политической и экономической эмансипации рабочего класса» («Наши разногласия»).

Такова была логически стройная схема будущего экономического, социального и политического развития страны, намеченная Плехановым при самом рождении русского марксизма. «Наш социализм перестанет быть “русским” и сольется со всемирным социализмом», резюмирует Плеханов свои выводы в «Наших разногласиях», когда его сторонники «возвысятся» до марксизма и поймут, что

«1) Коммунистическая революция рабочего класса никоим образом не может вырасти из того мещанско-крестьянского социализма, проповедниками которого являются в настоящее время почти все наши революционеры;

«2) По внутреннему характеру своей организации сельская община прежде всего стремится уступить место буржуазным, а не коммунистическим формам общежития;

«3) При переходе к этим последним ей предстоит не активная, а пассивная роль; она не в состоянии двинуть Россию на путь коммунизма; она может только менее сопротивляться такому движению, чем мелкое подворное землевладение;

«4) Инициативу коммунистического движения может взять на себя лишь рабочий класс наших промышленных центров, класс,

«5) Освобождение которого может быть достигнуто только путем его собственных сознательных усилий».

В этих пяти положениях с гениальной прозорливостью и глубиной мысли намечены те тенденции социального развития страны, ориентируясь на которые русская социал-демократия уже через десять лет смогла развиться в первую русскую социалистическую организацию, связанную с массами и на них опирающуюся, и стать определяющим фактором во всем дальнейшем развитии русской демократической и социалистической идеологии. И в них с редкой отчетливостью формулировано марксистское понимание возможностей и перспектив социалистического развития России, в отличие от понимания народнического. Но мы тщетно будем искать в них столь же отчетливой формулировки перспектив политического развития страны.

Конечно, Плеханов дал вполне законченное решение и политической проблемы. И в России, как и в Западной Европе, политическая свобода воздвигнется на фундаменте капиталистического развития русской экономики. И в России политическая революция будет «буржуазной», и лишь в условиях созданного ею «правового» государства сможет и должен будет рабочий класс дать «последний и решительный бой» за социализм. Но только в России эту «буржуазную» революцию совершит «класс промышленных рабочих», а не те крестьянские и классово еще не дифференцированные массы мелкого городского люда, на которые опиралась буржуазия в борьбе против абсолютизма в Западной Европе. Такова была схема будущего политического развития России, набросанная Плехановым и затем ставшая, в своих основных чертах, на три с половиной десятка лет общим достоянием всех течений и фракций русской социал-демократии. Но при всей видимой логической стройности своей эта схема имела внутренние изъяны, которые не мог тогда же не почувствовать острый ум Плеханова. И если в условиях того времени Плеханов не мог найти достаточно материала для теоретического преодоления того внутреннего противоречия, которым страдали политические построения рождающегося русского марксизма, то это противоречие во всяком случае помешало ему придать этим построениям такую же отчетливую форму, какую он придал своему учению о перспективах социалистического развития России.

Основным противоречием этих построений было то, что в них главной движущей силой буржуазной революции оказывался «класс промышленных рабочих», то есть социальный слой, порождаемый развитием капитализма, но становящийся «классом» именно постольку, поскольку он начинает сознавать свой антагонизм к эксплуатирующей его буржуазии. Такое парадоксальное положение создавалось, как мы видели, запоздалостью капиталистического развития России, принадлежностью ее к тем отсталым странам, где перед рабочим классом и социал-демократиею встает задача борьбы за «переходные» формы общественного устройства, уже давно существующие в «передовых странах». Но, оказывается, этою же запоздалостью обусловливается ряд других явлений, имеющих самое существенное значение для судеб капитализма в России, а потому и для постановки политической проблемы в ней.

Так, ею обусловливается, прежде всего, вероятная недолговечность русского капитализма: «Не только развитие русского капитализма

не может быть так же медленно, как оно было, например, в Англии, но и самое существование его не может иметь такой продолжительности, какая выпала на его долю в "западноевропейских странах". Наш капитализм отцветет, не успевши окончательно расцвести, за это ручается нам могучее влияние международных отношений» («Наши разногласия»). Но недолговечностью капитализма обусловливается и вероятная недолговечность господства буржуазии: «Современное положение буржуазных обществ и влияние международных отношений на социальное развитие каждой цивилизованной страны дают право надеяться, что социальное освобождение русского рабочего класса последует очень скоро за падением абсолютизма. Если немецкая буржуазия "пришла слишком поздно", то русская запоздала еще больше, и господство ее не может быть продолжительным» («Социализм и политическая борьба»). Плеханов говорит это в полемике против народников, требующих «полного устранения» капиталистической фазы развития на том основании, что иначе эта фаза будет длиться «целое столетие». Но, когда он обличает по этому случаю «нашу интеллигенцию» в том, что «ей и на мысль не приходит, что полное устранение данного исторического периода есть лишь частный случай его сокращения и что, доказывая возможность первого, мы тем самым, и притом в гораздо более сильной степени, подтверждаем вероятность второго» («Наши разногласия») — то нельзя не видеть, что этот аргумент может бумерангом обернуться и против данной им самим марксистской схемы.

Но оборотною стороною той же запоздалости русского капитализма оказывается другое существенное явление — своеобразная историческая «преждевременность» появления русского социализма: «Для нас не должно оставаться потерянным то в высшей степени важное обстоятельство, что социалистическое движение началось у нас уже в то время, когда капитализм был еще в зародыше. Эта особенность русского исторического развития не придумана славянофилами и славянофильствующими революционерами. Она составляет бесспорный, всем известный факт, который принесет огромную пользу делу нашего рабочего класса» («Наши разногласия»). Ведь, с точки зрения группы «Освобождение труда», именно эта «особенность» и делала для русских революционеров не только возможным, но и обязательным еще в процессе борьбы за политическую свободу приступить к строительству классовой рабочей партии. Но более

того, она же давала рождающемуся рабочему социализму возможность оказать решающее влияние на формирование политико-социальной идеологии и крестьянства.

Неверно весьма распространенное и даже Мартовым в его «Истории русской социал-демократии»[329] усвоенное мнение, будто группа «Освобождение труда» считала, что «почва для социально-революционной работы в деревне может создаваться лишь по мере превращения крестьян-собственников в сельский пролетариат, интересы которого совпадают с интересами городских пролетариев»*. Напротив, еще в «Социализм и политическая борьба» Плеханов определенно говорит: «Мы не держимся того взгляда, по которому социалистическое движение не может будто бы встретить поддержки в нашей крестьянской среде до тех пор, пока крестьянин не превратится в безземельного пролетария, а сельская община не разложится под влиянием капитализма». Он был только убежден, что развитие общины (которую, напомним, он тогда еще считал пережитком первобытного коммунизма) в «высшую коммунистическую форму» возможно лишь под «непосредственным воздействием на нее сильной и хорошо организованной рабочей социалистической партии». И окончательную формулировку его взглядов на этот вопрос в ту эпоху дает проект второй программы, когда, ссылаясь на выдвинутые экономические требования, говорит: «Эти требования настолько же благоприятны интересам крестьян, как и интересам промышленных рабочих; поэтому, добиваясь их осуществления, рабочая партия проложит себе широкий путь для сближения с земледельческим населением. Выброшенный из деревни в качестве обедневшего члена общины, пролетарий вернется в нее социал-демократическим агитатором. Его появление в этой роли изменит безнадежную теперь судьбу общины. Ее разложение неотвратимо лишь до тех пор, пока само это разложение не создаст новой народной силы, могущей положить конец царству капитализма. Такой силой явится рабочая партия и увлеченная ею беднейшая часть крестьянства».

Эта оптимистическая и, как доказало будущее, правильная оценка возможностей идеологического воздействия рабочего движения на

* Цитировано по немецкому изданию: J. Martow. Geschichte der russischen Sozialdemokratie. Mit einem Nachtrag von Th. Dan: Die Sozialdemokratie Russlands nach dem Jahre 1908. Autorisierte Uebersetzung von Alexander Stein. Berlin, 1926. J. H. W. Dietz Naclit'olger. S. 14.

крестьянство значительно повышала шансы социалистического развития России. Но, предусматривая вовлечение в орбиту социалистического влияния крестьянства, везде на Западе бывшего одной из главных опор буржуазии в борьбе за власть против феодально-абсолютистского строя, эта оценка вносила еще больше осложнений и противоречий в политическую проблему совершения «буржуазной» революции руками социалистического рабочего класса.

«Смешно социалистическое — хотя бы и временное — правительство, не пользующееся своею властью для создания социалистического строя» — писал Плеханов в «Наших разногласиях», полемизируя против Тихомирова. Но не одинаково ли смешна, в таком случае, мысль о социалистическом рабочем движении, не пользующемся своею силою для создания этого строя? Не надо преждевременно пугать буржуазию «красным призраком» — десятки раз напоминает Плеханов народовольческим «якобинцам»: «Западноевропейская история говорит нам весьма убедительно, что там, где "красный призрак" принимает хоть сколько-нибудь грозные формы, "либералы" готовы были искать защиты в объятиях самой бесцеремонной военной диктатуры»; неужели же «наши русские либералы составят исключение из этого общего правила?» («Социализм и политическая борьба»). Но в таком случае зачем же группа «Освобождение труда» стремится обострять классовые противоречия, когда борьба против самодержавия требует союза всех классов? — возражает Плеханову, в свою очередь, либерально-народническое «Самоуправление». И действительно: реальность сильного социалистического рабочего движения не может, ведь, не «пугать» буржуазию куда больше, чем та «болтовня» бессильных интеллигентских кружков о «красном призраке», которую так сердито обличает Плеханов.

Разрешения этих противоречий Плеханов ищет в своего рода марксистском «просветительстве»: в пропаганде идей научного социализма, в повышении сознания будущей рабочей партии до уровня, который сделает ее способной к величайшему самоограничению в постановке непосредственных целей своей борьбы. Но если такая планомерная дозировка «поддержки капитализма в его борьбе с реакцией» и одновременно «непримиримой вражды» к нему «в борьбе его с рабочей революцией» возможна для небольших групп революционеров, то уже гораздо труднее она для сколько-нибудь широкой партии и совершенно немыслима для тех политически не вышколенных,

многомиллионных масс, активное вмешательство которых в ход событий неразрывно связано с самым представлением о «рабочей революции». Рационалистическое разрешение противоречия между свойствами той рабочей «стихии», к которой апеллирует рождающийся русский марксизм, и тем уровнем «сознания», которого он от нее требует, оказывается таким образом совершенно отвлеченным и потому мнимым. И особенно мнимым оказывается оно именно с точки зрения того научного социализма, той материалистической философии марксизма, которую неустанно пропагандирует Плеханов и которая учит, что «сознание» ни в какую общественную среду не может быть внесено по произволу, что оно «определяется бытием» этой среды.

Но если и мощной, систематизирующей мысли Плеханова не удалось найти гармонического разрешения русской политической проблемы, то это потому, что эта проблема была тогда вообще теоретически неразрешима. Выгнанные в народническую «дверь», теперь в марксистское «окно» врывались те самые неразрешимые противоречия русской экономической, социальной и политической жизни, о которых мы столько раз уже говорили и над которыми мучительно и бесплодно билась русская демократическая мысль с самого своего зарождения. Как увидим, неразрешимость этих противоречий лежала в основе всей последующей внутренней борьбы и всех расколов в русской социал-демократии, была глубоким источником образования тех враждующих между собой фракций и партий, о которых можно сказать, как говорит Плеханов о многочисленных фракциях народничества своего времени, что они «правы, каждая по-своему, потому что, при всей своей односторонности, каждая из них выражает известную насущную потребность русской общественной жизни» («Социализм и политическая борьба»).

Тогда, шесть десятилетий тому назад, и самое гигантское умственное напряжение не могло предугадать той цепи войн и революций, которыми история в действительности — не столько «разрешала», сколько разрубала и продолжает разрубать неразвязываемый узел этих противоречий. Но тогда речь шла, прежде всего, о том, чтобы, освободившись от парализующих иллюзий пережившего себя народничества, правильно нащупать действительное направление экономического, социального и политического развития России и тем дать русскому революционному движению, иссякавшему как движение

изолированной интеллигенции, мощное идеологическое оружие для превращения в движение массовое, а тем самым и в могучую политическую силу. Это оружие и дала ему теоретическая работа Плеханова. И он сам резюмировал ее основной вывод, когда с гениальною, на десятилетия вперед забегавшею прозорливостью закончил свою короткую речь на Парижском Международном социалистическом конгрессе 1889 года историческими словами: «Революционное движение в России может восторжествовать только как революционное движение рабочих. Другого выхода у нас нет и быть не может»[330].

Глава 8. РУССКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ

1. Подготовительный период

Крайне тяжелые материальные условия существования, в которых очутились члены группы «Освобождение труда», не помешали им завоевывать себе шаг за шагом прочное положение на идеологическом фронте русской эмиграции. К 1890 году группа смогла даже приступить к изданию толстого «литературно-политического» журнала под названием «Социал-демократ»[331]. Предполагалось выпускать книгу журнала каждые три месяца. На самом деле в 1890 году удалось издать 3 книги, а 4-ая, вышедшая после долгого перерыва в 1892 году, оказалась последней. В ней была помещена, между прочим, статья Плеханова «Всероссийское разорение»[332], отметившая, как увидим, наступление нового периода в истории русского общественного движения, а вместе с тем возникновение новых перспектив для русского марксизма и самой группы «Освобождение труда».

Прочные связи удалось группе очень скоро завязать и с международным социалистическим движением. Статьи ее членов — Аксельрода, Засулич, Плеханова — стали появляться систематически в немецкой и французской социалистической печати. Ее делегат Плеханов выступил, как мы знаем, на первом же Международном социалистическом конгрессе 1889 года в Париже[333] (от имени народовольцев говорил на этом конгрессе П. Лавров). На второй конгресс 1891 года в Брюсселе[334] группа послала доклад (текст этого доклада не разыскан). Ко времени Третьего конгресса 1893 года в Цюрихе[335] международная репутация Плеханова как марксиста стояла уже так высоко, что именно ему было поручено, в качестве докладчика

комиссии по военному вопросу, защищать «марксистскую» резолюцию германской социал-демократии против голландского анархиста Домела Ньювенгейса[336], требовавшего, чтобы на объявление войны рабочие партии повсюду отвечали объявлением всеобщей антивоенной забастовки. В согласии с германской резолюцией Плеханов доказывал, что общим всем партиям должен быть принцип борьбы за мир и за использование всякой войны в интересах социального и политического освобождения трудящихся, но что формы и методы этой борьбы должны сообразовываться в каждой отдельной стране с особенностями ее политического и социального уклада. В частности, по отношению к царской России Плеханов встал на «пораженческую» точку зрения, заявив, что «война против нашего правительства будет в то же время войной за освобождение нашего народа». Полемика же против Ньювенгейса дала Плеханову повод написать брошюру против анархизма[337], переведенную на различные языки и вошедшую в фонд пропагандистской литературы международного социализма. Группа «Освобождение труда», в значительной степени заимствовавшая свой идейный арсенал у западноевропейского марксизма, в свою очередь, проложила дорогу тому обратному воздействию русского марксизма на развитие международной социалистической мысли, которое не прекращалось с тех пор даже в годы политических поражений и организационного упадка русской социал-демократии.

Но, завоевывая позиции в эмиграции и международном социализме, группа «Освобождение труда» лишь медленно пускала корни в русскую почву. Ее произведения лишь в очень небольшом количестве проникали в Россию и очень немногими читались. Правда, в России начали вскоре самостоятельно возникать многочисленные марксистские кружки и пропагандистские группы. Одним из первых таких кружков была так называемая «Партия русских социал-демократов»[338], организованная зимой 1883/4 г. петербургскими студентами-технологами по инициативе будущего лидера болгарских социалистов-«тесняков», а затем болгарских коммунистов, Дмитрия Николаевича Благоева[339] (1855–1924). Этот кружок вступил даже в сношения с группой «Освобождение труда», и в выпущенных им двух номерах нелегальной газеты «Рабочий» были помещены статьи Аксельрода и Плеханова[340]. «Благоевцы» составили проект программы[341], во многих отношениях сходный с первой программой группы «Освобождение труда». Но после высылки Благоева за границу и последовавших

арестов, «партия» в 1886 году прекратила свое существование, а пришедшие ей на смену во второй половине 80-х годов марксистские кружки в столице и провинции почти никаких связей с группой «Освобождение труда» не имели.

Из этих кружков сравнительно крупное значение в последующей истории русской социал-демократии получило основанное в 1886 году Павлом Варфоломеевичем Точисским[342] «Товарищество петербургских мастеровых»[343]. Сын полковника из польских дворян, Точисский порвал с семьей и стал рабочим. Характерной чертой его программы было сильное недоверие к интеллигенции, которую он считал «попутчицей» рабочих только «до первой конституции», после чего «наши дороги далеко разойдутся». Сама организация его была разделена на две обособленные части — рабочую и интеллигентскую, благодаря чему при полицейском разгроме «товарищества» в 1888 году уцелели многие рабочие, сыгравшие потом немалую роль в социал-демократическом движении, как, например, В. А. Шелгунов[344]. Другим однородным кружком, получившим особое значение для распространения марксизма в Поволжье и в Центральной России, был кружок, организованный в 1888 году в Казани Николаем Евграфовичем Федосеевым[345] (1870–1898). Участие в этом кружке принимал и В. И. Ульянов, будущий Н. Ленин.

К началу девяностых годов марксистские кружки в различных промышленных центрах России насчитывались уже десятками. В них не только получали марксистское воспитание сотни рабочих, но в них начинали свою политическую работу и интеллигентские кадры будущей российской социал-демократии, в том числе многие из ставших впоследствии известными и за пределами России деятелей первых 10–15 лет большевистского режима, как Л. Б. Красин[346], будущий советский посол в Лондоне и Париже, Л. М. Хинчук[347], будущий советский посол в Лондоне, Д. Б. Гольдендах-Рязанов[348], организатор и долголетний директор Института Маркса и Энгельса в Москве, Ю. М. Нахамкис-Стеклов[349], бывший в течение первых лет советской власти редактором правительственных «Известий», и другие.

Особое место среди этих кружков занимает так называемое «Социал-демократическое общество»[350], организованное в 1889 году студентом-технологом Михаилом Ивановичем Брусневым[351] и состоявшее, как в свое время «благоевская» группа, главным образом, из его товарищей по Технологическому институту[352]. Обществу

этому, взявшему за образец германскую социал-демократию и поставившему себе задачей вырабатывать из рабочих «будущих русских Бебелей[353]», удалось охватить кружками ряд районов Петербурга и создать централизованное руководство организацией из представителей рабочих по районам и из одного представителя интеллигенции. Оно же было первым русским марксистским кружком, начавшим от замкнутой пропаганды переходить к попыткам руководства массовым рабочим движением: рукописная газета и гектографированные прокламации, которые оно выпускало зимой 1890/91 г. во время стачек на текстильной фабрике Торнтона и в Петербургском порту, пользовались у рабочих большим успехом. Оно же первое начало организовывать и политические манифестации, которые, конечно, и по количеству участников, и по форме были весьма скромными, но которые имели немалое значение для политического воспитания передовых рабочих и производили известное впечатление и вовне. Такой манифестацией было в 1891 г. поднесение адреса больному писателю Н. В. Шелгунову[354], а затем и участие в его похоронах 100 рабочих-«брусневцев»[355], которые несли венок с надписью «Указателю пути к свободе и братству»*. Оно же, наконец, впервые в России организовало в том же 1891 году тайное празднование 1-го мая, на котором присутствовало до 100 рабочих, и были произнесены речи о значении этого дня.

И по своим размерам, и по своему организационному строению, и по характеру своей деятельности Брусневское «Общество» было уже переходным к тем организациям нового типа, которые начали слагаться во второй половине 90-х годов и прототипом которых был знаменитый Петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», возникший в самом конце 1895 года**. Но Союзы борьбы принадлежат уже другому периоду. Пока же русский марксизм за пределы крайне тесного круга интеллигенции и учебно-пропагандистской работы в небольших рабочих кружках почти не выходил. В легальной литературе он тоже был представлен почти исключитель-

* Шелгунов еще в 1861 году поместил в «Современнике» подробное изложение книги Ф. Энгельса о «Положении рабочего класса в Англии» и вообще уделял в своих статьях много внимания рабочему вопросу.

** Этот «Союз» имел и прямую преемственную связь с Брусневской организацией в лице одного из бывших членов ее, инженера Степана Ивановича Радченко, ставшего одним из организаторов «Союза».

но работами чисто научного, аполитического характера, среди которых видное место занимали книги и статьи профессора Н. Зибера[356], воспринявшего экономическое учение Маркса, но не придававшего значения его учению о классовой борьбе и вообще истолковывавшего марксизм в духе фаталистического автоматизма. Русский перевод 1-го тома «Капитала», сделанный народовольцем Германом Лопатиным и вышедший еще в 1872 г. в 3000 экземплярах, давно разошелся, а переиздание его было запрещено. В легальную публицистику марксизм доступа не имел, да и узкопропагандистский характер деятельности первых его адептов в интеллигенции по необходимости сосредоточивал их собственную мысль больше на вопросах экономической и социологической теории Маркса, чем на применении этой теории к анализу и освещению текущей политической жизни России. За пределами явно реакционного лагеря вся журнальная и газетная пресса находилась в руках разных оттенков народничествующего либерализма и либерального народничества, к которым, как было уже отмечено, тяготели после крушения «Народной воли» взгляды и настроения подавляющего большинства интеллигенции и образованного общества вообще. Эта пресса относилась сравнительно терпимо к русскому марксизму, пока он оставался достоянием тесных и изолированных студенческих и рабочих кружков. Но положение начало меняться к началу 90-х годов, когда начали меняться и общественные настроения.

Переломною гранью в этом отношении оказался жестокий голод, охвативший зимою 1891/2 года восток и юго-восток Европейской России[357]. Этот голод и последовавшая за ним страшная эпидемия холеры, унесшие сотни тысяч человеческих жизней, ярко демонстрировали ужасающее экономическое и социальное положение, созданное для русского крестьянства условиями его освобождения в 1861 году. Оказалось, что первый же серьезный неурожай обрекает даже самые хлебородные районы страны на настоящее голодание: эксплуатация помещиков, вчерашних «господ», и собственных «кулаков» и податная политика правительства выкачивают из деревни столь большую долю продукта ее труда, что ни о каких запасах «на черный день» и тем более ни о каком «накоплении» огромному большинству крестьян думать не приходится. С другой стороны, оказалось, что и правительство, всячески форсировавшее экспорт хлеба в интересах укрепления государственных финансов («сами недоедим,

а вывезем» — говорил Вышнеградский[358], министр финансов Александра 3-го), не располагает достаточными запасами для помощи неурожайным районам. В то же время, опасаясь новых попыток сближения интеллигенции с раздраженными и недовольными народными массами, оно ставило всевозможные препятствия и тем частным организациям, которые стали во множестве возникать для оказания продовольственной и медицинской помощи голодающим (во главе одной из таких организаций встал Лев Толстой)*.

Все это снова поворачивало внимание общества к большим вопросам развития производительных сил страны и той экономической и социальной основы, на которой высилось здание царского режима, а отсюда и к критике самого этого режима. В настроениях «примиренчества» и сотрудничества появилась глубокая трещина. Политическая проблема, как проблема ликвидации самодержавия, снова начала выдвигаться на первый план. И Плеханов только предвосхитил конечный вывод из этого нового поворота общественной идеологии, когда свою статью «Всероссийское разорение», посвященную голоду 1891/2 года, закончил словами: «Полное экономическое разорение нашей страны может быть предупреждено лишь полным политическим ее освобождением».

С поворотом внимания общества к борьбе за политическое освобождение перед ним снова встал вопрос о движущих силах этого освобождения. Терроризм изолированных революционных групп был дискредитирован неудачами, а политика «малых дел» и расчета на просвещенные элементы бюрократии — теми итогами, которые подвел ей голод. Деревня еще раз демонстрировала свою полную неспособность к организованной борьбе даже перед лицом жесточайших бедствий и засвидетельствовала свою глубокую некультурность волной «холерных» беспорядков, прокатившихся по портовым городам Приволжья, где толпы безработных беженцев из деревень разбивали больницы и убивали врачей, считая их «отравителями»: возрождение надежд на политическую инициативу крестьянства было невозможно.

* Среди учащейся молодежи возник своего рода рецидив «хождения в народ». «Сотни юношей и девушек прервали учение и отправились в деревню», пишет Мартов в своих воспоминаниях «Записки социал-демократа» (Берлин, 1922. Стр. 86): «Многие шли в деревню со смутным ожиданием, что изголодавшийся мужик начнет бунтовать, и со столь же смутной надеждой принять участие в подобном крестьянском восстании».

При этих условиях начал находить больше отклика голос марксизма, указывавшего на нарождение в России нового класса, промышленного пролетариата, способного сыграть ту роль массового, «народного» носителя идеи политического освобождения, к которой оказалось неспособным крестьянство.

К этому голосу стали больше прислушиваться и представители капитала, особенно капитала текстильного, которому «всероссийское разорение» грозило еще большим сужением и без того недостаточного внутреннего рынка: его интересовала, естественно, главным образом, та сторона марксистского учения, которая доказывала не только возможность, но и неизбежность и историческую прогрессивность широкого развития капитализма в России. Но к голосу марксизма стала прислушиваться и та широкая интеллигентская среда, в которой события вновь обострили тягу к политической свободе, но одновременно и тягостное сознание своего политического бессилия без возможности опереться на мощные слои «народа». В литературных кружках, негласных дискуссионных собраниях, на студенческих вечеринках «легальные» народники, до недавнего времени неоспоримые «властители дум» молодежи, стали подвергаться все более и более частым и более резким нападкам со стороны юных марксистов. Все более острополемической начала становиться и их собственная литературная атака на молодой русский марксизм, едва начавший выходить из тесного подполья пропагандистских кружков.

Руководящая роль в этой атаке, естественно, выпала на долю Н. К. Михайловского и его ближайших сотрудников по «Русскому богатству» — В. Воронцова, С. Н. Южакова[359], С. Кривенко[360] и др. Признание марксистами неизбежности капиталистического развития России стало толковаться ими как «желание» марксистов «насадить» в России капитализм; указание, что Россия страдает не только от развития капитализма, но и от запоздалости, медленности и недостаточности этого развития, — как призыв интеллигенции к переходу от «службы народу» к «службе капиталу»; утверждение, что не в крестьянстве, а в рабочем классе промышленности зреют силы, способные разрешить задачу политического раскрепощения страны и социального освобождения ее народных масс, — как отказ от защиты интересов крестьянства и даже прямая готовность содействовать его скорейшему обезземеливанию и пролетаризации; и т. д. В книге «Наши направления» В. В. выразил «надежду», что воззрения маркси-

стов «обусловлены дефектами по преимуществу интеллектуального, а не нравственного порядка», но тут же прибавил, что «нравственная связь с вышеуказанными воззрениями свидетельствовала бы о том, что материальный интерес интеллигенции, как принадлежащей к привилегированным классам, берет у нее перевес над чувствами более высокого порядка»*.

В этой борьбе с поднимающим голову русским марксизмом либеральное народничество начинает новый этап своего развития. Успевшее уже, как мы видели, связаться прочными идейно-политическими узами с либеральными слоями имущего общества, и оно переживает процесс политической активизации. Но в борьбе с возрастающим влиянием марксизма как раз на те интеллигентские и плебейские круги, которые до сих пор находились под его монопольным идейным воздействием, оно не только политически революционизируется; оно начинает и в своем собственном сознании все настойчивее толковать свой социальный консерватизм, ориентирующийся на сохранение и дальнейшую эволюцию «самобытных» общинных и артельных начал, как «антибуржуазный» и потому подлинно «социально-революционный» принцип, и противопоставлять его предполагаемой капитуляции марксизма перед победным шествием капитализма и буржуазии. Так подготовляется та «революционная» социально-политическая трансформация либерального народничества, которая, почти десять лет спустя, легла в основу программы «партии социалистов-революционеров», возникшей в бурные предреволюционные годы.

Но пока что идеологическим фундаментом народнической борьбы против нарождающегося марксизма служили известные уже нам теории о мертворождении русского капитализма и оптимистические оценки шансов, которые имеют в борьбе с ним крестьянская община в сфере сельского хозяйства, производительная кооперация (артель) в сфере промышленности и потребительская в сфере торговли. На разрушении этого теоретического фундамента и сосредоточились

* Со своей стороны, Михайловский делил русских марксистов на «три разряда»: марксистов-зрителей, «безучастных наблюдателей процесса» разорения русского крестьянства; марксистов пассивных, которые «не интересуются народом, на земле сидящим, и обращают свое внимание и надежды на тех, которые уже отлучены от средств производства»; и марксистов активных, «прямо настаивающих на дальнейшем разорении деревни» («Литература и жизнь» в № 1 и 2 «Русского богатства» за 1894 год).

усилия первых русских марксистов. Со страстью, не знающей аналогии ни в какой другой стране и ни в какое другое время, целое поколение интеллигентской молодежи бросилось в изучение политической экономии, экономической, социальной и культурной истории России и других стран. О «прибавочной стоимости», «теории рынков», «дифференциации деревни» спорили в кружках ночи напролет. Исследования, посвященные крестьянскому хозяйству, промышленности, кустарным промыслам, кооперации и т. д., зачитывались до дыр. Сухие статистические сборники, бывшие раньше достоянием немногих специалистов, теперь с увлечением изучались сотнями молодых людей. И неожиданную возможность вынесения своих споров с народничеством на более открытую арену марксисты получили, когда — соответственно общему изменению атмосферы — зимой 1893/4 года их стало приглашать на свои публичные заседания Императорское Вольное экономическое общество[361] в Петербурге, основанное еще при Екатерине 2-ой и от нее получившее известные привилегии, как в смысле права не допускать полицию в свое помещение, так и в смысле более свободного печатания своих «Трудов» и отчетов о своих заседаниях.

Эта волна повального увлечения экономическими и социальными вопросами не прошла бесследно. Она не только чрезвычайно повысила интеллектуальный уровень будущих основателей социал-демократической партии, но и вызвала к жизни ряд ценнейших исследовательских работ. Она привела к преобразованию самих методов земской статистики, заставив ее перейти от изучения «средних» цифр, скрывавших сосредоточение экономических и социальных плюсов на одном полюсе деревни (или артели), а минусов на другом, — к изучению подворному, вскрывавшему «дифференциацию» крестьянства, распадение его, под воздействием развивающегося капитализма, на антагонистические группы, и тем вырывавшему почву из-под ног народнической теории об «уравнительных» тенденциях общины. На ее гребне поднялась целая плеяда блестящих экономистов, статистиков, социологов, историков, многие из которых, и отойдя впоследствии от марксизма, создали себе мировое имя, как П. Б. Струве[362], М. И. Туган-Барановский[363] и другие.

В своих словесных и литературных схватках с народничеством, русский марксизм все решительнее переходил от обороны к нападению. Яркое выражение этому наступательному духу дала вышедшая

в 1894 году брошюра, озаглавленная «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов (ответ на статьи «Русского богатства» против марксистов)»[364]. Брошюра, отпечатанная на мимеографе, состояла из трех отдельных выпусков, посвященных Михайловскому, Южакову (этот выпуск найти до сих пор не удалось) и Кривенко. В выпуске, посвященном Михайловскому, анонимный автор брошюры — В. И. Ульянов-Ленин — констатировал, что революционный некогда «русский», крестьянский социализм ныне «совершенно разложился и породил тот пошлый мещанский либерализм, который усматривает "бодрящие впечатления" в прогрессивных течениях крестьянского хозяйства, забывая, что они сопровождаются (и обусловливаются) массовой экспроприацией крестьянства». Михайловскому революционных 70-х годов, защищавшему «сангвиника» (цензурная метафора для обозначения революционера) Маркса от «либеральных критиков», брошюра противопоставляет нынешнего Михайловского, который «шумит и брызжет против русских марксистов, не желающих удовлетворяться "охраной экономически слабейшего", товарными складами и улучшениями в деревне, музеями и артелями для кустарей, и т. п. благонамеренными мещанскими прогрессами — и желающих оставаться "сангвиниками", сторонниками социальной революции».

Брошюра В. И. Ульянова вышла еще нелегально. Но русский марксизм — в немалой степени благодаря Вольному экономическому обществу — уже начал пробивать себе дорогу и в легальную литературу. В том же 1894 году вышла легально книга П. Струве «Критические заметки»[365], в которой он подвергал критике экономические концепции народничества. Книга кончалась вызывающей фразой: «Признаем нашу некультурность и пойдем на выучку к капитализму». Фраза эта не только была подхвачена противниками марксизма, как доказательство его «капитуляции» перед капитализмом, но вызвала критику и со стороны самих марксистов, в частности Плеханова и Ульянова. Как впоследствии оказалось, фраза эта не случайно вырвалась у автора, а была намеком на ту будущую идейно-политическую эволюцию его, о которой еще придется говорить в связи с обособлением так называемых «легальных марксистов» от марксизма революционного, социал-демократического.

Но это обособление было еще впереди. Пока тот же Струве, вместе с Г. Плехановым, В. Ульяновым, А. Потресовым[366], принял участие в составлении ярко революционного и антинароднического сборника

«Материалы к вопросу об экономическом положении России»[367], вышедшего в 1895 году. Сборник был конфискован и сожжен, но до сотни его экземпляров удалось все же распространить. В том же 1895 году вышла упомянутая уже книга Бельтова-Плеханова, а в следующем его же (под псевдонимом А. Волгин) «Обоснование народничества в трудах г-на Воронцова»[368]. Одновременно марксистам удалось наладить издание ежедневной газеты «Самарский вестник»[369], в которой участвовали, между прочим, Петр Маслов[370] впоследствии известный экономист, Н. Федосеев, Р. Циммерман-Гвоздев[371] и другие. Наконец, к весне 1897 года в руки марксистов перешел петербургский ежемесячный журнал «Новое слово»[372], в котором, наряду со статьями членов группы «Освобождение труда», Ленина, Струве, Туган-Барановского и других, впервые стали появляться статьи Юлия Осиповича Цедербаума (Л. Мартова)[373] и в художественном отделе которого видное место занял молодой Максим Горький[374].

Но к этому времени русский марксизм успел уже заявить себя не только как литературная сила, но и как сила политическая, притом опирающаяся на массовое рабочее движение.

2. «Союзы борьбы» и основание партии

Непосредственными экономическими последствиями голода 1891/2 гг. и основание партии были: понижение и без того ограниченной покупательной способности деревни, вздорожание съестных припасов; наводнение городов и промышленных центров изголодавшимися крестьянами, готовыми за любую цену продать свои «рабочие руки». Катастрофа, обрушившаяся на крестьян, теперь надвигалась на рабочих. Только тонкий слой рабочих-металлистов был до известной степени защищен от этой катастрофы как своей высокой квалификацией, так и тем оживлением, которое как раз в это время было внесено в эту промышленность усиленным железнодорожным строительством. Тем большей тяжестью обрушилась она на необученных или малообученных рабочих, особенно рабочих текстильной промышленности, рассчитанной почти исключительно на внутренний рынок. Ответом рабочих была волна стачек, начавшая заливать, главным образом, запад и центр России, районы сосредоточения текстильной промышленности, и до поры до времени сравнительно мало затрагивавшая ее металлургический юг.

В силу и экономической конъюнктуры, и полной неорганизованности, и низкого культурного уровня масс, впервые втянутых в коллективную борьбу, стачки эти почти неизменно заканчивались поражением рабочих. Нередко они приводили к кровавым столкновениям с полицией и войсками, при помощи которых власти сурово подавляли «беспорядки». И все же стачечная волна непрерывно нарастала. Ее питало то безвыходное положение, в котором оказались рабочие. Но известные импульсы она получала и извне — из того общего политического возбуждения, которое было вызвано голодом 1891/2 г. и которое, в свою очередь, окружало начинавшееся движение промышленных рабочих атмосферой тем большего «сочувствия» образованного и либерального общества, чем беспощаднее расправлялось с этим движением правительство.

Новую пищу этому политическому возбуждению дала смена царствования. 22 октября 1894 года умер Александр 3-ий. На престол вступил молодой Николай 2-ой[375], которому молва, как это часто бывает, приписывала политический антагонизм к отцу, ставшему олицетворением политической и социальной реакции, и в котором «общество» надеялось увидеть восстановителя и продолжателя «либеральных» традиций его деда. Печать стала настраиваться на оптимистический лад, а ряд земств и городов начал снова принимать адреса известного нам уже типа с выражением верноподданнических чувств, но и с более или менее замаскированным выражением пожеланий о привлечении общества к управлению государством.

Тем большее разочарование и возмущение вызвал тот грубый окрик, которым молодой царь встретил 17/29 января 1895 г. депутацию земских и городских деятелей, явившуюся к нему для принесения поздравлений по случаю восшествия на престол[376]: «бессмысленные мечтания» сказал он о «конституционных» пожеланиях земств и категорически заявил, что будет охранять начала самодержавия так же неуклонно, как охранял их его отец. А на фоне этого разочарования далеко за пределами рабочего класса была встречена негодованием и та телеграмма с выражением высочайшей благодарности «молодцам-фанагорийцам», с которой новый царь обратился в апреле 1895 года к солдатам Фанагорийского полка, стрелявшим в забастовавших рабочих текстильных фабрик города Ярославля[377]. На самом пороге нового царствования самодержавие вызывающе враждебно повернулось и против либерального общества, и против начи-

нающего шевелиться рабочего класса и собственными руками содействовало их сближению в рамках единого «освободительного движения», завершившегося революцией 1905 года.

Таковы были условия, настойчиво ставившие перед группами интеллигентов-марксистов совершенно новые задачи. До сих пор деятельность этих групп в рабочей среде сводилась почти исключительно к организации наиболее развитых рабочих в небольшие кружки, в которых читались лекции на экономические, социальные, исторические и т. п. темы и велась марксистская пропаганда. Теперь дело шло о завязывании прочных связей с тем массовым рабочим движением, неизбежность возникновения которого была предсказана русским марксизмом, и о превращении этого движения в носителя той социал-демократической политики, основные линии которой были намечены группою «Освобождение труда». Но еще раньше, чем перед марксистами коренной России, эта задача встала вплотную перед марксистами ее западных окраин.

Эти окраины (не знавшие, кстати сказать, крестьянской общины) и в экономическом, и в социальном, и в культурном, а отчасти и в политическом отношении были гораздо теснее связаны с западноевропейскими тенденциями и традициями, чем коренная Россия. Более «европеизированным» был с самого начала и их рабочий класс, развивавшийся к тому же в обстановке широко развитой политической оппозиционности, которою эти окраины отвечали на национальное угнетение, ставшее непременной составной частью политики русского самодержавия. Эта обстановка чрезвычайно содействовала пробуждению и росту политического сознания рабочих масс, хотя, конечно, и связывала их начинающееся самостоятельное движение узами «национальной» солидарности с движениями других классов окраинного общества в борьбе против русского царизма.

Из этих окраин наиболее развитою промышленностью, наиболее «европейским» складом культуры и наиболее крепкими национальными традициями обладала Польша, в течение 19-го века два раза ответившая восстаниями на «обрусительную» политику царизма. Неудивительно, что именно рабочее движение Польши далеко опередило в своем развитии рабочее движение других частей Империи. Уже к концу 1892 года, когда даже в таком передовом центре коренной России, как Петербург, марксизм только еще начинал выходить за тесные рамки кружков учащейся молодежи, многочисленные

социалистические группы Польши смогли объединиться в существующую поныне «Польскую социалистическую партию» (П.П.С.)*[378]. Но все условия польского рабочего движения были слишком своеобразны, чтобы оно могло оказать сколько-нибудь заметное воздействие на развитие рабочего движения в коренной России. Гораздо более значительным и непосредственным оказалось на известной ступени этого развития воздействие еврейского рабочего движения, сосредоточенного на территории Белоруссии и Литвы и имевшего своим центром Вильну.

Ряд моментов содействовал созданию и укреплению прочных связей еврейского движения с движением общерусским. Из всех национальностей западной окраины России еврейство было наиболее угнетенной, но в то же время тою, для которой проблема борьбы за «отделение от России» и государственную независимость вообще не существовала и существовать не могла: на политику национального угнетения еврейство отвечало не сепаратистскими тенденциями, а, наоборот, борьбою за уничтожение той «черты оседлости»[379], которая принудительно прикрепляла его к определенной территории и отделяла от коренной России. Еврейская интеллигенция была в огромном большинстве своем «русифицирована», училась в русской школе, воспитывалась на русской литературе, проделывала тот же процесс идейного и политического развития, что и интеллигенция русская: списки членов русских революционных организаций пестрят еврейскими именами, и участие еврейской, наиболее «городской», интеллигенции России в социалистическом движении становится все более заметным по мере перехода этого движения от «деревенского» народничества к «городскому» марксизму. И наконец, и для еврейского рабочего, придавленного бесправием, овладение русским языком, русским образованием, русской культурой стало ценным оружием борьбы за существование в тех бесконечно тяжелых условиях, которые создала для него антисемитская политика царского режима.

В силу исключительной важности, какую русский язык и общий подъем культурного уровня имели для рабочих евреев, именно в «черте оседлости» особенно резко дала себя знать недостаточность

* Из П.П.С. в следующем году, по инициативе Розы Люксембург, выделилась «Социал-демократия Царства Польского и Литвы», отрицавшая необходимость борьбы за восстановление государственной самостоятельности Польши.

кружковой пропаганды, лишь только в движение начали приходить массы. Прошедшие через марксистские кружки передовые рабочие оказывались культурно слишком опередившими эти массы, чтобы стать их вождями на первых этапах движения, примитивного и по задачам, и по формам своим. Более того, для ремесленных подмастерий, из которых состояло большинство еврейских рабочих, кружки, так повышавшие их культурную квалификацию, служили подчас лишь мостом к уходу из пролетарской среды и к превращению в самостоятельных «хозяйчиков». Пропагандистские кружки оказывались таким образом несостоятельными в качестве связующего звена между социал-демократическою интеллигенциею и массами. Для сближения с массовым движением и руководства им надо было искать других путей. И эти пути были найдены в переходе от кружковой пропаганды к массовой агитации.

Плодом критического пересмотра результатов кружковой работы, пишет Мартов*, «явилось убеждение в том, что центр тяжести нашей деятельности должен быть перенесен в сферу агитации, а вся пропагандистская и организационная работа подчинена этой основной задаче. При этом предполагалась агитация на почве повседневных экономических нужд рабочих масс, сталкивающих пролетария с его работодателем. Об агитации на почве других общественных интересов — на почве политического, гражданского, национального гнета, на почве культурных запросов — не было и речи. Ибо мы инстинктивно шли по линии наименьшего сопротивления, беря среднего рабочего, каким он был в то время, ограниченного местным и цеховым кругозором и непроходимой, казалось, пропастью отделенного от общественной жизни других классов. Но мы были убеждены, что, "втянувшись в социальную борьбу на почве этих повседневных профессиональных интересов, массы процессом этой борьбы будут подготовлены к усвоению более широких общественно-политических устремлений и... что на новом пути мы придем к образованию социал-демократического рабочего движения"». С этой точки зрения пропаганда «революционно-политических идей» путем распространения соответствующей литературы становилась лишь дополнением к глав-

* См. Ю. Мартов. Записки социал-демократа. Изд. З. И. Гржебина. Берлин. 1922. За участие в студенческом марксистском кружке Мартов был выслан в 1892 году из Петербурга в Вильну и принимал участие в местной работе.

ной, агитационной работе. Соответственно этому и характер занятий в кружках должен был быть приспособлен «к задаче выработки рабочих руководителей массового движения», а сами эти занятия, как и вся устная и письменная агитация и пропаганда вестись, по возможности, не на русском языке, а на языке, понятном самым темным массам, то есть на «идиш».

Сказанное выше делает понятным, почему перестройка работы в новом направлении наткнулась на решительное сопротивление большинства втянутых в кружки рабочих. Ее клеймили, как затею «интеллигентов», стремящихся «замкнуть миросозерцание рабочих в тесный круг тех элементарных вопросов, которые могут быть охвачены агитационной и популярной литературой». Интеллигенции бросалось даже обвинение в желании «господствовать над пролетариатом, опираясь на недоступность последнему языка образованных людей».

Лишь с трудом удалось побороть это сопротивление, и прошло немало времени, прежде чем новые методы работы завоевали себе право гражданства. Плодом этой внутренней борьбы была брошюра «Об агитации»[380], излагавшая и обосновывавшая эти методы. Написанная Аркадием Кремером[381] (Александром) и редактированная Мартовым, брошюра эта, долгое время распространявшаяся лишь в рукописных списках, получила громкий резонанс далеко за пределами Вильны, потому что отвечала на вопросы, не в одной только Вильне поставленные массовым движением перед марксистскими группами. И в первую очередь брошюра эта, один экземпляр которой был привезен Мартовым в Петербург, дала решающий толчок перестройке петербургской работы и объединению ряда марксистских кружков в Петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса»[382] — первую русскую социал-демократическую организацию, сделавшую массовую агитацию стержнем своей работы и ставшую прототипом однородных организаций во всех промышленных центрах России.

Центральное ядро «Союза» сложилось в ноябре 1895 года из двух групп, одну из которых возглавлял Ленин, другую Мартов. Но бурное развитие стачечного движения в Петербурге заставило новую организацию начать свою агитационную работу еще раньше, чем она успела окончательно оформиться. Листок к забастовавшим рабочим шерстяной фабрики Торнтона, написанный Лениным[383], но не имев-

ший еще никакой подписи, был ее первым выступлением вовне. Последовавшие затем 8–9 декабря массовые аресты лишили организацию почти половины ее руководящих членов, в том числе Ленина. Чтобы доказать, что «полиция ошиблась в адресе», и тем облегчить участь арестованных товарищей, оставшиеся, с Мартовым во главе, решили ускорить официальное оформление организации: 15 декабря была выпущена прокламация, впервые обращавшаяся к рабочим от имени «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»[384] и заносившая в актив «Союза» и те 2–3 анонимных листка к рабочим Торнтона и др., которые были выпущены раньше. Через две недели новые аресты, 4 января 1896 г., вырвали из центра организации Мартова и ряд других членов. Но к этому времени популярность социал-демократии в среде интеллигенции была уже настолько велика, что «Союзу» легко удалось пополнить свой центр новыми деятелями, работавшими до того на его периферии*, и развернуть работу, размах и быстрые практические успехи которой оказались совершенно неожиданными для самих ее участников.

В своей работе новая организация шла по пути, намеченному в брошюре «Об агитации», получившей кличку «виленской программы». В организованных кадрах «Союза» было немало передовых рабочих, в частности — высококвалифицированных рабочих металлической промышленности. Но в центре ее внимания стояли широкие рабочие массы, в большинстве своем еще малокультурные и политически невоспитанные. Проникая в одну фабрику за другой, мимеографированные[385] листки «Союза» исходной точкой своей агитации брали элементарные вопросы заработной платы, рабочего времени, внутреннего распорядка, взаимоотношения между рабочими и фабричной администрацией и тех общих жилищных и т. п. условий, в которых приходилось жить данной категории рабочих, тщательно учитывая психологию отсталых, запуганных и непривыкших к коллективной борьбе слоев рабочей массы. Так, уже первый листок, обращенный к прядильщикам и ткачам фабрики Торнтона, призывая рабочих отстаивать «свои права», подчеркивает, что «защищая свои требования, товарищи, мы вовсе не бунтуем». Даже в самом названии своем новая организация, как свидетельствует Мартов, автор этого названия, намеренно избежала употребления слова «социалистический»

---

* В их числе вошел в это время в центр «Союза» и автор этих строк.

или «социал-демократический», потому что для нее «всего важнее было, чтобы ее листки хватали и читали самые серые рабочие», которых легко могло отпугнуть «крамольное» слово.

В полном согласии с «виленской программой», основною задачею агитации «Союза» было — приучить рабочие массы к мысли, что освобождение рабочего класса может быть делом лишь самих рабочих и что добиться этого освобождения они могут лишь дружной коллективной борьбой. Так уже первая официальная прокламация «Союза», перечислив имевшие место стачки и сообщив о последовавших за ними арестах, кончает: «стачки и борьба не прекратятся до тех пор, пока не будет достигнуто полное освобождение рабочих из-под гнета капитала. Товарищи, будем же по-прежнему дружно защищать свои интересы». И точно так же звучит конец прокламации, обращенной «Союзом» «К петербургским рабочим» 27 июня 1896 года и подводящей итоги бурному полугодию, закончившемуся знаменитой массовой стачкой петербургских текстильщиков (о ней ниже): «будем продолжать наше тяжелое и славное дело, будем по-прежнему неустанно и твердо бороться за свои интересы и будем тому же учить наших молодых и неопытных товарищей. Вся наша трудовая жизнь научила нас, что кроме самих себя у нас нет друзей, что только суровою борьбой можем мы добиться чего-либо от капиталистов и правительства. Нас не испугают никакие угрозы, не устрашат никакие жертвы. Мы будем бороться, пока не добьемся своей великой цели — освобождения рабочего класса».

В полном согласии с «виленской программой» агитация «Союза» велась почти исключительно «на почве повседневных экономических нужд рабочих масс, сталкивавших пролетария с его работодателем». Но она выходила за рамки этой программы в том отношении, что с самого начала пыталась разъяснять рабочим массам связь между этими «нуждами» и общими политическими условиями страны. Листки «Союза» не говорили об общей системе самодержавия и тщательно избегали упоминания лично о царе, но они систематически внушали рабочим мысль, что их бесправие мешает успеху их борьбы с «работодателями» и что в этой борьбе «правительство» неизменно оказывается на стороне их врагов. Та же первая официальная прокламация «Союза» говорит о «властях, верных своему долгу — оберегать интересы богачей», и та же мысль почти в тех же выражениях повторяется в каждом листке

«Союза»*. Первомайский листок 1896 года, написанный Лениным в тюрьме и распространенный в сотнях экземпляров, лишь обобщает политический смысл агитации «Союза», когда, рассказав о праздновании 1-го мая западноевропейскими рабочими, резюмирует: «Товарищи, если мы будем дружно и единодушно соединяться, недалеко время, когда и мы, сомкнув в стройные ряды свои силы, сможем открыто присоединиться к этой общей борьбе рабочих всех стран, без различия веры и племени, против капиталистов всего мира. И поднимется наша мускулистая рука и падут позорные цепи неволи, поднимется на Руси рабочий народ и затрепещут сердца капиталистов и правительства, которое всегда им усердно служнт».

Кульминационным пунктом лихорадочной работы «Союза» была забастовка прядильных и ткацких фабрик Петербурга, вспыхнувшая 23 мая 1896 года и быстро охватившая до 35 000 рабочих[386]. Основной причиной забастовки были, конечно, тяжелые условия жизни и труда: достаточно сказать, что главным требованием стачечников было сокращение рабочего дня — до 10 часов! Ее массовый характер был подготовлен все нараставшим возбуждением рабочих, которое было следствием непрерывной цепи частичных стачек и питалось неустанной агитацией «Союза» и в бурной вспышке которого большую роль сыграл его первомайский листок. Но непосредственным толчком к забастовке послужил отказ фабрикантов уплатить рабочим за дни вынужденной остановки работ по случаю коронационных торжеств, происходивших в середине мая в Москве: «уплата за коронационные дни» была первым в порядке требований, фактически заявленных стачечниками, хотя и стояла на последнем месте в списке требований, формулированных, по поручению их делегатов, «Союзом».

Это, само по себе незначительное, обстоятельство не осталось, однако, без последствий для хода и исхода забастовки. С одной сторо-

* Методы политической агитации «Союза» в эту эпоху нашли наиболее отчетливое выражение в заключительных строках брошюры «О штрафах», написанной Лениным в тюрьме, в 1896 году. Рабочие «поймут, что правительство и его чиновники держат сторону фабрикантов, а законы составляют так, чтобы хозяину было легче прижимать рабочего... Понявши это, рабочие увидят, что им остается только одно средство для своей защиты — соединиться вместе для борьбы с фабрикантами и с теми несправедливыми порядками, которые установлены законом». Как видим, автор старается подвести читателей к выводу о необходимости борьбы со строем самодержавия, но сам не решается открыто формулировать этот вывод.

ны, оно как бы низводило торжественный обряд «помазания на царство», а потому и личность самого царя в сферу тех низменных вопросов, вокруг которых шла жестокая борьба материальных интересов, и тем подрывало те мистические чувства царепочитания, которые были еще достаточно сильны в серых рабочих массах. А с другой стороны, оно повышало интерес и симпатии к забастовке в тех кругах либерального общества, в которых, как было уже отмечено, авторитет молодого царя и без того быстро падал. Как известно, коронационные торжества сопровождались (18/30 мая) катастрофой[387], в которой повинна была преступная небрежность властей, устраивавших народные гуляния на Ходынском поле (в Москве), и которая стоила жизни тысячам людей. Эта катастрофа и поразительное равнодушие, с которым отнесся к ней царь, вызвали всеобщее негодование. С тем большею терпимостью, можно сказать — с злорадным сочувствием отнеслось либеральное общество к массовой стачке, явившейся как бы протестующим ответом на «Ходынку» и заставившей самодержца со дня на день откладывать свое возвращение в столицу, где рабочие «беспорядки» исключали всякую возможность организации «торжественного въезда». «Ходынка» колебала веру в прочность самодержавия в широких, особенно крестьянских массах, потому что была в их глазах предзнаменованием, что новое царствование будет «несчастливым». Для либерального общества непререкаемым свидетельством внутренней слабости царского режима, а потому и поощрением к оппозиции ему оказалась столь неожиданно и столь очевидно проявившаяся способность рабочих масс перечеркивать своим движением планы самодержавной власти. Дальнейший ход и конечные результаты забастовки только укрепили эти настроения, родившиеся в самом ее начале.

Подавить забастовку административными мерами не удалось. Стачечники выполняли с редкой дисциплиной призыв «Союза» «действовать дружно и спокойно, без буйств и насилий» и не давали полиции никакого повода для вмешательства. Печати было долго запрещено упоминать о забастовке, но, в конце концов, замолчать ее оказалось невозможным. 10 июня петербургский градоначальник обратился к забастовщикам с воззванием, в котором угрожал упорствующим высылкой на родину, но обещал рассмотрение «жалоб» тем, которые встанут немедленно на работу. Через пять дней с гласным обращением к стачечникам выступил министр финансов Витте.

Предостерегая рабочих от «подстрекателей», он заявлял, что «правительству одинаково дороги как дела фабрикантов, так и рабочих» и обещал, что вопрос о сокращении рабочего дня будет рассмотрен особой правительственной комиссией.

Тем временем материальное положение стачечников начало становиться весьма тяжелым: денежной помощи, которую они получали от рабочих металлистов и от «Союза», делавшего специальные сборы в их пользу, было все же недостаточно для охранения их от крайней нужды. На фоне этой нужды моральная победа, какою было для рабочих это обещание правительства, облегчила им ликвидацию забастовки: к 18-му июня, через четыре недели после начала стачки, текстильщики Петербурга вернулись на работу — с тем, чтобы, ввиду затяжки с исполнением обещания, в начале января 1897 г. ответить новой и столь же массовой забастовкой на призыв «Союза» нового состава (большинство руководящих деятелей старого было в июне–августе арестовано).

На этот раз только категорическое заявление фабричной инспекции, что к апрелю будет издан закон о сокращении рабочего дня, побудило стачечников встать на работу. Упорное сопротивление фабрикантов еще раз затянуло выполнение обещания и свело к минимуму проектированные правительством меры охраны труда. Но все же 2/14 июня 1897 г. был издан закон, впервые сокращавший продолжительность рабочего дня для мужчин, ограничивший число сверхурочных часов и значительно улучшивший организацию фабричной инспекции.

В истории русского рабочего движения и русской социал-демократии забастовка петербургских текстильщиков сыграла совершенно исключительную роль. Она поставила на ноги весь рабочий Петербург и связала его узами солидарности: на всех предприятиях производились сборы в пользу стачечников, а в январскую стачку 1897 года начали втягиваться и рабочие металлисты. Высылка до 1000 стачечников из Петербурга только способствовала популяризации петербургского движения в провинции и дала кадры готовых агитаторов и организаторов однородному движению, начавшему охватывать один промышленный центр за другим: по официальной статистике за 1895–99 годы в стачках участвовало не менее 221 000 рабочих. Практические успехи движения, самым ярким свидетельством которых был закон 2/14 июня, выразились не только в сокращении рабочего

дня, но и в повышении заработной платы, в улучшении всех внутренних распорядков и, главное, в начавшем впервые внедряться в фабричный быт более бережном отношении к человеческому достоинству рабочих. Все это укрепляло в рабочих массах гордое сознание своей силы и служило новым стимулом к организации и борьбе.

Огромным подспорьем для них был отклик рабочих других стран на их движение. «Союз», с самого своего возникновения связавшийся с группой «Освобождение труда», стремился, с одной стороны, поддерживать через нее контакт с иностранными рабочими организациями, а с другой, привлекать внимание русских рабочих к международному рабочему движению. Этой цели служил, между прочим, первомайский листок 1896 г. и начавшее с этого времени входить в обыкновение празднование 1-го мая. Но еще раньше, в марте 1896 года «Союз» издал листок, посвященный 25-летию Парижской Коммуны, и послал по этому случаю приветственный адрес (написанный А. Н. Потресовым) французским рабочим[388]. На Международном социалистическом конгрессе, состоявшемся летом 1896 года в Лондоне[389], наряду с членами группы «Освобождение труда», получившими мандаты от «Союза» и от группы еврейских социал-демократов в Вильне, появились и два собственных делегата его — А. Н. Потресов и П. Б. Струве. С самого начала забастовки «Союз» принял меры к осведомлению о ней заграничных товарищей и напоминал стачечникам: «Товарищи, будем помнить, что взоры рабочих всего мира обращены теперь на нас. Они с восторгом приветствуют в нас борцов за рабочее дело». Приветствия и денежные суммы, полученные от германских и английских профессиональных союзов, произвели на стачечников глубочайшее впечатление, как первый практический урок рабочего интернационализма.

Так зарождались в широких рабочих массах первые элементы того «классового сознания», развитие которого «Союз» считал своею основною задачею. Но существенные результаты дала забастовка и с точки зрения политического воспитания рабочих. Агитационная деятельность «Союза» приняла размах, небывалый в истории русского революционного движения. За 4 недели забастовки он выпустил и распространил свыше 30 листков самого разнообразного содержания. С формулированием требований стачечников, с осведомлением их о ходе борьбы в различных предприятиях и указаниями организационного характера, с разоблачением действий властей и ответом на сообщения и воззвания правительства, с разъяснением «обществу»

смысла и значения происходящих событий и призывом к поддержке стачечников и т. д. Самые серые рабочие начали привыкать к чтению «нелегальной» литературы, так недавно еще пугавшей их, и заражаться интересом к политическим вопросам, так недавно еще чуждым им. Листок, которым «Союз» в ноябре 1896 года ответил на два правительственных сообщения о стачке, так резюмировал политико-воспитательное значение забастовки для рабочих: «Сколько бы ни толковали министры о безуспешности борьбы, но рабочие видят, как присмирели везде фабриканты, и знают, что правительство созывает уже фабричных инспекторов совещаться о том, какие уступки надо сделать рабочим, ибо оно видит, что уступки необходимы. Стачки 1895–6 годов не прошли даром. Они сослужили громадную службу русским рабочим, они показали, как им следует вести борьбу за свои интересы. Они научили их понимать политическое положение и политические нужды рабочего класса». Одним из признаков доверия к этому растущему «пониманию» было то, что, не меняя общего тона своей политической агитации, «Союз» все же рискнул на этот раз озаглавить свой листок: «Царскому правительству».

«Союз» мог пойти на этот риск потому, что руководство забастовкой чрезвычайно подняло доверие к нему в рабочих массах. Впервые в истории борьбы за демократию и социализм в России не отдельные передовые одиночки, а достаточно широкие круги рабочих признали революционную организацию «своею». Аресты весьма ослабили «Союз» организационно, но не могли задержать роста социал-демократии, которая в его лице пустила неистребимые уже корни в рабочую почву.

Но и популярность «Союза» в интеллигенции и либеральном обществе сильно возросла. Этой популярности только содействовали те два «правительственные сообщения», которые были опубликованы по окончании забастовки. Желая умалить инициативную роль «Союза», о мощи которого начали ходить самые фантастические слухи, сообщения говорили о нем уже не как о «шайке подстрекателей», обманным образом вовлекающих мирных обывателей в социализм.

Завершающим этапом деятельности союзов был I съезд РСДРП[390], состоявшийся в Минске. В его Манифесте[391], составленном П. Струве, говорилось «полная свобода нужна русскому пролетариату, как чистый воздух нужен для здорового дыхания. Она — основное условие его свободного развития и успешной борьбы за частные улучшения и конечное освобождение».

«Но нужную ему политическую свободу русский пролетариат может завоевать себе только сам».

«Чем дальше на восток Европы, тем в политическом отношении слабее, трусливее и подлее становится буржуазия, тем большие культурные, политические задачи выпадают на долю пролетариата. На своих крепких плечах русский рабочий класс должен вынести и вынесет дело завоевания политической свободы. Это необходимый, но лишь первый шаг к осуществлению великой исторической миссии пролетариата, к созданию такого общественного строя, в котором не будет места эксплуатации человека человеком».

«Русский пролетариат сбросит с себя ярмо самодержавия, чтобы с тем большей энергией продолжать борьбу с капитализмом и буржуазией до полной победы социализма».

Первые шаги русского рабочего движения и русской социал-демократии не могли не быть разрозненными, в известном смысле случайными, лишенными единства и плана. Теперь настала пора объединить местные силы, кружки и организации русской социал-демократии в единую «Российскую социал-демократическую рабочую партию». В сознании этого представители «Союзов борьбы за освобождение рабочего класса», группы, издающей «Рабочую газету»[392], «Еврейского общерабочего союза в России и Польше»[393] устроили съезд, решения которого приводятся ниже.

«Местные группы, соединяясь в партию, сознают всю важность этого шага и все значение вытекающей из него ответственности. Им они окончательно закрепляют переход русского революционного движения в новую эпоху сознательной классовой борьбы. Как движение и направление социалистическое, Р. С. Д. Р. П. продолжает дело и традиции всего предшествовавшего революционного движения в России; ставя главнейшей из ближайших задач партии в ее целом завоевание политической свободы, социал-демократия идет к цели, ясно намеченной еще славными деятелями старой "Народной воли". Но средства и пути, которые выбирает социал-демократия, иные. Выбор их определяется тем, что она сознательно хочет быть и остаться классовым движением организованных рабочих масс. Она твердо убеждена, что "освобождение рабочего класса может быть только его собственным делом, и будет неуклонно сообразовать все свои действия с этим основным началом международной социал-демократии"».

3. «Экономизм»

Съезд выбрал Центральный комитет партии, объявил «Рабочую газету» ее Центральным органом, постановил приступить к изданию брошюр, поручив их редактирование находившемуся в ссылке Ленину, и возложил представительство партии за границей на «Союз русских социал-демократов»[394], основанный в 1895 г. группою «Освобождение труда» и выпускавший время от времени сборник «Работник»[395].

Из всех этих решений организационного характера в силе осталось только последнее. Съезд закончился 3/15 марта 1898 года, а уже через несколько недель начались массовые аресты, снесшие до основания воздвигнутое им здание централизованной организации. Были разгромлены и только что выбранный Центральный комитет партии, и Центральный комитет еврейского Бунда, и ряд местных организаций, и нелегальная типография, в которой должна была печататься «Рабочая газета». Центральные учреждения партии перестали существовать еще раньше, чем начали функционировать, и восстановить их не удалось. От только что основанной «партии» остались лишь ее «манифест» и название, подхваченное местными организациями, которые именно с этого времени начинают множиться и расти и, одна за другой, превращаться из «Союзов борьбы» в «комитеты РСДРП».

Контраст между не прерывавшимся ростом местных организаций «партии» и невозможностью восстановить ее центральные учреждения свидетельствовал о том, что не в полицейском терроре была основная причина отмирания этих учреждений. Причина лежала гораздо глубже — в том внутреннем идейно-политическом, а затем и организационном кризисе, который молодая русская социал-демократия переживала на самом пороге своего партийного существования, несмотря на свой бурный рост или, вернее, именно в результате этого роста. Этот кризис начался, как увидим, еще до того, как собрался съезд, и самый съезд скорее подвел итоги первому, начальному периоду развития русской социал-демократии, чем отразил ее действительное состояние к моменту ее номинального оформления в партию.

И сочувственно откликаясь на политические ноты, звучавшие в экономической агитации «Союза», десятки тысяч рабочих, впервые втянутых им в активную и организованную борьбу, все же воспринимали

политическое освобождение лишь как отдаленную, «конечную» цель своего движения; «ближайшей», практической и зачастую «всецело поглощавшей» их задачей были для них те экономические требования, во имя которых они готовы были идти на риск забастовки и возможной потери заработка. В этом отношении и настроения того нового слоя передовых рабочих, той новой «рабочей интеллигенции», которая начала формироваться в огне массовой борьбы, существенно расходились с настроениями не только марксистов-интеллигентов, но и того первого поколения социал-демократических рабочих, которое пришло к социал-демократии не «практическим» путем экономической борьбы, а «идеологическим» путем кружковой пропаганды. Забегая и тут вперед, стоит отметить, что впоследствии почти все наиболее выдающиеся рабочие социал-демократы этого «первого призыва», дожившие до революции 1905 и 1917 гг. (Бабушкин[396], Шелгунов, Шаповал[397], Полетаев[398] и др.), оказались в рядах большевиков, в то время как из рядов «рабочей интеллигенции», получившей боевое крещение в стачечном движении второй половины 90-х годов, вышли те кадры будущих организаторов легального и полулегального профессионального, кооперативного, культурно-просветительного и т. д. рабочего движения, которые были долгое время главной опорой меньшевизма.

В новых условиях, созданных успехами стачечного движения и социал-демократической агитации, по-новому начала вставать и организационная проблема. «Союзы борьбы» были, по существу, лишь организациями интеллигентов-руководителей движения. Их окружали все возраставшие симпатии рабочих масс, но сравнительно лишь очень немногие рабочие входили в их организационную систему — да и то лишь в качестве соединительного звена между центром и неорганизованными массами и в роли выполнителей технических функций, связанных с организацией кружков, собиранием сведений, распространением агитационной и пропагандистской литературы и т. п. Политически активная, решающая роль принадлежала исключительно центру, организованному и пополняемому сверху и строго законспирированному. И по условиям своего возникновения, и по характеру своей работы центр этот состоял исключительно из интеллигентов. Только интеллигентам, делавшим революционную работу своим главным, если не единственным занятием («профессиональным революционерам» — по позднейшей терминологии), было

под силу соблюдение всех правил конспирации, которых требовала эта работа, и только они, обладавшие связями в более состоятельных кругах общества, могли добывать сравнительно крупные средства, необходимые для функционирования технического аппарата нелегальной организации.

Организационным характером «Союзов борьбы» определялся и характер созданной их съездом партийной организации: «партия» должна была быть не чем иным, как объединением местных интеллигентско-социал-демократических центров в целях лучшей координации их политико-агитационной деятельности и централизованного обслуживания их финансовых и технических нужд. Проблемы, связанные с организацией тех рабочих масс, которые пришли в движение и которыми хотела руководить вновь созданная партия, — т. е. проблемы, которым в недалеком будущем суждено было встать в центре внимания партии и даже расколоть ее, — учредительный съезд партии перед собой даже не ставил. Но их еще до этого начала настойчиво ставить жизнь. И в организационном отношении 1-ый съезд лишь подводил итоги уже пережитой фазе развития.

Перед петербургским «Союзом» эта проблема встала вскоре после завершения цикла текстильных забастовок в виде требования выросшего на этих забастовках рабочего актива — ввести его представителей в центр организации. Это требование было не только формально-организационным. В представлении рабочих с ним связывалось изменение и в самом характере работы «Союза». Подчеркнуто-политический и потому ультраконспиративный характер этой работы стал объясняться интеллигентским составом руководящего ядра и интеллигентским непониманием действительных нужд и интересов рабочей массы. Рабочие-оппозиционеры не отрицали политических задач движения. Но если до сих пор союзы, уделяя немало внимания профессиональным требованиям рабочих и даже делая эти требования исходной точкой всей своей работы, на первый план все же выдвигали задачи политические и применительно к ним строили и организацию, — то для рабочих-оппозиционеров дело обстояло как раз наоборот: с их точки зрения политическая агитация и обслуживающие ее секторы организации должны были играть лишь роль дополнения к главной, основной работе — отстаиванию профессиональных, экономических интересов рабочего класса. Соответственно этому и стержнем организации должны были стать не строго законспирированные

центры руководителей-политиков, а местные, фабричные и районные кассы взаимопомощи и борьбы, кружки самообразования и т. п. рабочие коллективы, требующие гораздо менее строгой конспирации и потому оставляющие гораздо больше места «самодеятельности» не «профессионалов революции», а рабочих, не покидающих привычной работы и не порывающих профессиональной и бытовой связи со своим классом. Идеологически обобщить эти тенденции в рабочем движении и им подчинить деятельность социал-демократии и хотел «экономизм».

В новых условиях и в новой форме русская демократическая мысль еще раз переживала тот кризис «аполитизма», который она в свое время пережила в идеологической оболочке народничества. Аксельрод был прав, когда в цитированной выше статье говорил о «точке зрения, суживающей сферу деятельности социал-демократии организацией рабочих для борьбы с предпринимателями и активным участием в стачках», что «она, можно сказать, является своего рода возрождением бунтарства, только на новой социальной почве и на другом теоретическом фундаменте». Социальная почва и теоретический фундамент были, несомненно, новыми, но корнями своими аполитизм марксистского «экономизма» уходил в те же старые противоречия русской социально-экономической и политической действительности, из которых вырос в свое время аполитизм бакунистского «народничества».

Эти глубокие истоки «экономизма» не были и не могли быть ясны деятелям «Союза борьбы», уносившим с собой в ссылку марксистскую «ортодоксию» первого периода социал-демократической работы в массах. «Экономизм» представлялся им в это время лишь «узким пониманием рабочего социализма», т. е. чисто логической ошибкой суждения, притом ошибкой лишь «отдельных лиц». Но с внешней стороны Ленин (в упомянутой уже статье о «попятном движении») весьма точно рисует ту «особенность в историческом развитии русской социал-демократии, которая породила и временно должна была породить» это течение, когда пишет: «распространение агитации привело социал-демократию в соприкосновение с низшими, наименее развитыми слоями пролетариата; привлечение этих слоев требовало от агитаторов умения приспособляться к самому низкому уровню понимания, приучило ставить на первый план "требования и интересы данной минуты" и отодвигать широкие идеалы социализма и

политической борьбы. Раздробленный, кустарный характер социал-демократической работы, крайне слабая связь между кружками разных городов, между русскими социал-демократами и их заграничными товарищами, обладающими и более солидными знаниями, и более богатым революционным опытом, и более широким политическим кругозором, естественно, вели к тому, что эта (совершенно необходимая) сторона социал-демократической деятельности безмерно преувеличивалась и могла в сознании отдельных лиц привести к забвению остальных сторон, тем более, что с каждым крахом наиболее сознательные рабочие и интеллигенты выбывали из строя действующей армии, и прочная революционная традиция и преемственность не могли еще выработаться».

С этими «отдельными лицами» «старики» — основатели петербургского «Союза» — столкнулись еще в феврале 1897 года, когда им было разрешено провести несколько дней в столице перед отправлением в сибирскую ссылку и когда они имели возможность встретиться со своими «молодыми» преемниками. Им был показан выработанный соответственно требованиям рабочих «устав рабочей кассы, которая должна была объединить активные элементы пролетариата и составлять самоуправляющееся тело «Союза»», подчиняющее своему контролю его руководящий центр. Поскольку «повседневная практика «Союза» попрежнему выражалась в руководстве профессиональной борьбой рабочих», такое построение организации, по мнению «стариков», «должно было сковать это руководящее ядро во всех попытках расширить русло своей революционной работы, выводя ее из оболочки чисто профессиональной борьбы». Поэтому, пишет Мартов («Записки», стр. 316–17), «всегда рассматривая концентрацию сил партии на последней лишь как стратегический прием, ведущий наиболее верным путем к непосредственной борьбе с самодержавием, мы скептически отнеслись к проекту устава упомянутой кассы и поддержали Ульянова (Ленина), который подверг его довольно резкой критике».

По ряду причин, главною из которых были непрекращающиеся аресты, намеченная реорганизация «Союза» не осуществилась. Но уже после августовских арестов 1896 года все более заметное влияние в организации начали приобретать представители новых, «экономических» тенденций. С октября следующего года они начали даже, в качестве совершенно автономной группы, издавать газету под названием «Рабочая мысль»[399], орган «петербургских рабочих», кото-

рая, однако, в декабре 1898 г. стала официальным органом «Союза». Задачи нового издания, главными редакционными силами которого были К. М. Тахтарев-Тар[400], Н. Лохов-Ольхин[401] и вскоре отошедший от движения финляндский гражданин Кок, передовая 1-го номера определяла так: «Для установления связи между рабочими будет выходить газета “Рабочая мысль”, первый номер которой у читателя в руках. “Рабочая мысль” будет отражать жизнь рабочих в ее настоящем свете, будет способствовать пробуждению в них интереса к окружающему, выражая их нужды и клеймя словами презрения и насмешки нашу опричнину»*. «Рабочая мысль», печатание которой с июня 1897 г. пришлось перенести за границу, и стала главным органом теоретического обоснования «экономизма». Немалую роль в этом обосновании играли те стороны брошюры «Об агитации», на которые намекнул уже Аксельрод в предисловии к ее заграничному изданию и которые впоследствии, в 1901 году, подверг обстоятельной критике Плеханов в статье «Еще раз социализм и политическая борьба», но которые скользили мимо сознания «стариков», когда они закладывали фундамент массовой работы социал-демократии.

Брошюра А. Кремера «Об агитации» — в том виде, в каком она вышла из-под редакции Мартова, — исходила из мысли, что «как бы широко ни было рабочее движение, успех его не обеспечен до тех пор, пока рабочий класс не встанет твердо на почву политической борьбы», и что «достижение политической власти является главной задачей борющегося пролетариата». Проблема, стоявшая перед авторами брошюры, сводилась к тому, как привести на «почву политической борьбы» во имя «достижения политической власти» не выдающихся одиночек рабочего класса, а всю его массу, неорганизованную, еще мало способную к коллективной борьбе и в то же время в подавляющем большинстве своем политически неграмотную и культурно отсталую. Решением проблемы был переход от пропаганды к агитации и перенесение центра тяжести агитации в сферу «повседневных экономических нужд рабочих масс, сталкивающих пролетария с его работодателем». Заключительные строки брошюры формулировали это решение так:

«Таким образом, задачей социал-демократов является постоянная агитация среди фабричных рабочих на почве существующих мелких

* К. М. Тахтарев. Очерк петербургского рабочего движения 90-х годов. Петроград, Госиздат. 1921.

нужд и требований. Вызванная такой агитацией борьба приучит рабочих отстаивать свои интересы, поднимет их мужество, даст им уверенность в своих силах, сознание необходимости единения и, в конце концов, поставит перед ними более важные вопросы, требующие разрешения. Подготовленный таким образом к более серьезной борьбе, рабочий класс приступит к решению своих насущных вопросов, и агитация на почве этих вопросов должна иметь целью выработку классового самосознания. Классовая борьба в этом, более сознательном, виде создаст почву для политической агитации, целью которой будет изменение существующих политических условий в пользу рабочего класса».

Эта формулировка послужила теоретическому обоснованию «экономизма» в двух отношениях. Во-первых, она говорила, что прежде, чем приступить к политической агитации, социал-демократы должны пройти, по малой мере, два фазиса агитации чисто-экономической, т. е. не выходящей за пределы социально-экономических отношений между рабочими и предпринимателями — сначала в малом масштабе отдельных предприятий, затем — в крупном, «классовом». Именно эта мысль легла впоследствии в основу выдвинутой «умеренными» экономистами группы «Рабочее дело»[402] (см. ниже) так называемой «теории стадий». Но, во-вторых, формулировка эта создавала представление, будто «дозреть» до способности воспринимать политическую агитацию рабочий класс может, не выходя из узкой сферы своих взаимоотношений с предпринимателями, не вводя в круг своего внимания вопросов общего экономического, социального и политического развития страны, изолируя свою борьбу от какого бы то ни было, положительного или отрицательного, соприкосновения с борьбой других социальных слоев и заранее ограничивая свои политические задачи «изменением существующих условий в пользу рабочего класса». Именно это представление легло в основу теоретических построений того «крайнего» экономизма, органом которого стала «Рабочая мысль».

И виленские пионеры, переходя от пропаганды к агитации, и инициаторы «Союзов борьбы» стремились в своей практической работе ослабить или элиминировать возможные опасные последствия новой тактики, первые — дополняя «экономическую» агитацию политической пропагандой, вторые — превращая самое эту агитацию в «стратегический прием» для скорейшего вовлечения

масс в политическую борьбу, и притом прием, оказавшийся практически весьма успешным. Мартов («Записки», стр. 235) мог поэтому задним числом говорить о «доктринерстве» формулировок брошюры «Об агитации»: «теоретически это доктринерство было слабостью, но практически оно было нашим сильным местом, ибо заражало верою в то, что совершенно одни, работая лишь в тесной сфере непосредственных взаимоотношений между капиталистами и рабочими, мы, в конце концов, найдем точку опоры, при помощи которой рычагом классовой самодеятельности пролетариата перевернем царистскую Россию».

Но то, что было для «стариков» лишь «стратегическим приемом», то для «молодых» апостолов «экономизма» превращалось в незыблемый принцип классовой пролетарской стратегии, и программная статья 1-го номера «Рабочей мысли» так излагала свое понимание задач и методов рабочего движения:

«До тех пор, пока движение было лишь средством для успокоения больной совести кающегося интеллигента, оно было чуждо самому рабочему... Экономическая основа движения была затемнена стремлением постоянно не забывать политического идеала... Средний рабочий стоял вне движения... Борьба за экономические интересы — самая упорная борьба, самая сильная по количеству душ, которым она понятна, и тому геройству, с которым самый обыкновенный человек отстаивает свое право на существование. Таков закон природы. Политика всегда послушно следует за экономикой и, в общем итоге, политические оковы разбиваются попутно. Борьба за экономическое положение, борьба с капиталом на поле ежедневных насущных интересов и стачки, как средство этой борьбы — вот девиз рабочего движения... Пусть рабочие ведут борьбу, зная, что борются они не для каких-то будущих поколений, а для себя и своих детей; пусть помнят, что каждая победа, каждая пядь, отбитая у врага, есть пройденная ступень лестницы, ведущей к их собственному благополучию; пусть имеющие силы призывают слабых к борьбе и строят их в ряды сами, не рассчитывая ни на чью помощь. Победа впереди, и только тогда верх будет одержан бойцами, когда девизом их будет: рабочие для рабочих».

Зародившийся в России «экономизм» скоро был занесен новыми эмигрантами и за границу: мы видели, что Аксельрод еще в конце 1897 года обличал «возрождение бунтарства» в социал-демократи-

ческой оболочке. Но вскоре сторонники «экономизма»* завоевали большинство в «Союзе русских социал-демократов», и на первом же съезде «Союза» в ноябре 1898 года группа «Освобождение труда» сочла себя вынужденной отказаться от редактирования его изданий. Выходивший под ее редакцией «Работник» был заменен «Рабочим делом», редакция которого состояла исключительно из «экономистов» разных оттенков. В марте 1900 года группа «Освобождение труда» выпустила резко полемическую брошюру Плеханова «Вадемекум для редакции "Рабочего дела"», а в апреле того же года, на 2-м съезде «Союза», выступила из него и со сравнительно немногочисленными последователями своими (Б. А. Гинзбург-Кольцов[403], Л. И. Аксельрод-Ортодокс[404] и др.) образовала «Революционную группу "Социал-демократ"» — первый из длинной цепи расколов в истории дальнейшего развития русской социал-демократии.

Однако в эмиграции лишь немногие социал-демократы, как Иваншин[405] и некоторые другие, доводили свой «экономизм» до того крайнего «аполитизма», до которого доходила «Рабочая мысль». «Умеряющее» влияние оказывали в этом отношении и теоретическая критика, которой непрерывно подвергала «экономизм» группа «Освобождение труда», и непосредственное идейно-политическое воздействие европейского рабочего движения, а в дальнейшем и то политическое оживление, которое все заметнее давало себя знать с конца 90-х годов и, как увидим, подрезало крылья «экономизму» и в самой России. Поэтому «Рабочее дело», как писал в 1902 г. Ленин в предисловии к «Что делать?», выражало «не последовательный экономизм, а тот разброд и те шатания, которые составляли отличительную черту целого периода в истории русской социал-демократии». Его официальной доктриной скоро стала упомянутая уже «теория стадий», которые должна пройти агитация социал-демократии, прежде чем стать определенно «политической». «Политические требования, по своему характеру общие для всей России», писал, например, Кричевский[406] в № 7 «Рабочего дела» (август 1900 г.), «должны на первых порах соответствовать опыту, извлеченному данным слоем рабочих из экономической борьбы. Только на почве этого опыта можно и должно приступать к политической агитации».

---

* Из них приобрели впоследствии известность Б. Кричевский, В. Махновец-Акимов, В. Иваншин, З. Копельзон (Тимофей), Е. Д. Кускова, С. Н. Прокопович, П. Теплов (Сибиряк), А. С. Пикер-Мартынов.

Влияние европейской, особенно германской, социал-демократии было одним из факторов, помешавших эмигрантскому «экономизму» развиться в последовательный «аполитизм». Но в недрах той же германской социал-демократии возникло около этого времени сильное течение «ревизионизма», глашатаем которого выступил Эдуард Бернштейн[407] в своей известной книге «Предпосылки социализма и задачи социал-демократии» (январь 1899 года). «Движение все, конечная цель ничто» — этот лозунг был сочувственно подхвачен русскими «экономистами». «Ревизионизм» не только санкционировал «теорию стадий», он подводил теоретический фундамент и под ту эволюцию представлений о политических задачах русской социал-демократии, которая совершалась под покровом этой «теории». Германские ревизионисты проповедовали «реформизм» в применении к борьбе рабочего класса за социализм в условиях развитого буржуазного общества и известной степени политической свободы. Их русские последователи переносили этот «реформизм» и в сферу борьбы рабочего класса за ликвидацию политического бесправия: в политической программе русской социал-демократии революционная борьба против всей политической системы самодержавия должна была уступить место реформистской борьбе за частичные политические права (легализация стачек, право союзов, собраний и т. п.), поскольку потребность в этих правах будет возникать у рабочих в результате «опыта, извлеченного ими из экономической борьбы».

Так на фоне того столкновения между «политикой» и «экономикой», которое вытекало из противоречий русской действительности и над преодолением которого тщетно билось в свое время народничество, а теперь бился марксизм, создавались предпосылки для возникновения того течения, которое оказалось последним продуктом развития «экономизма», его завершением: «ход мыслей» этого течения, говорит Плеханов («Еще раз социализм и политическая борьба»), «в своем окончательном результате очень далек от того, с которым мы встречаемся в брошюре "Об агитации". Но в своем "начале" он совпадает с ним». Свое последовательное выражение это течение получило в документе, вошедшем в историю русской социал-демократической мысли под названием «Кредо»[408] (1899 год)*.

* Формально этот документ был лишь наброском, наскоро сделанным Е. Д. Кусковой. Но по существу он давал очень выпуклую формулировку того круга идей, главными представителями которого были в «Союзе русских социал-демократов» Кускова и Прокопович и который скоро привел их к полному разрыву с РСДРП.

Теоретической основой своей «Кредо» прямо объявляло Бернштейновский «ревизионизм», понимаемый притом не как частичная поправка к политике германской социал-демократической партии, а как «коренное изменение» ее «практической деятельности», а вместе с тем и той марксистской теории, на которую эта деятельность опиралась: «Изменение это произойдет не только в сторону более энергичного ведения экономической борьбы, упрочения экономических организаций, но также, и это самое существенное, в сторону изменения отношения к остальным оппозиционным партиям. Марксизм нетерпимый, марксизм отрицающий, марксизм примитивный, пользующийся слишком схематическим представлением классового деления общества, уступит место марксизму демократическому, и общественное положение партии в недрах современного общества должно резко измениться».

Что же касается русской социал-демократии, то вывод «Кредо» был таков: «разговоры о самостоятельной рабочей политической партии суть не что иное, как продукт переноса чужих задач, чужих результатов на нашу почву... Для русского марксиста исход один: участие, т. е. помощь экономической борьбе пролетариата и участие в либерально-оппозиционной деятельности». «Мы были социал-демократами, мы должны перестать быть ими» — резюмировал Плеханов этот вывод.

Последним словом «экономизма» оказался, таким образом, своеобразный «либеральный марксизм». В параллель «либеральному народничеству» он неразрывно связался с «легальным» марксизмом и, как и его народнический предшественник, оказался для значительных и все возраставших слоев интеллигенции идеологическим орудием ликвидации своего революционно-социалистического отталкивания от «либерально-оппозиционного» общества, мостом к саморастворению в этом обществе. С этой точки зрения «либеральный марксизм», как и «либеральное народничество», оказался этапом в историческом процессе отмирания «интеллигенции», как особой социальной категории, в начавшемся и в России процессе «перераспределения» ее между различными слоями формирующегося буржуазного общества.

Но, в отличие от обстановки, в которой возникло и могло стать «властителем дум» либеральное народничество, к моменту возникновения либерального марксизма, марксизм, как революционно-

социалистическая идеология, успел уже связаться с массовым движением и, в той или иной разновидности своей, стать идеологией не только интеллигенции, но и все возраставшей части рабочего класса. Либеральный марксизм не убил поэтому марксизма революционно-социалистического. Социал-демократия не перестала быть социал-демократией. Наоборот, начавшееся на пороге 20-го века общественное оживление содействовало ее возрождению. И как раз тот резкий протест против «Кредо», инициаторами которого выступили марксисты-«ортодоксы», кончавшие к этому времени сроки своей ссылки, оказался первым симптомом этого ее возрождения и грядущего бурного роста.

4. «Искра»

Попытка «политизировать» движение, предпринятая было возникшею в 1898 году небольшою группою «Рабочее знамя»[409] (В. П. Ногин[410], С. О. Цедербаум-Ежов[411] и др.) окончилась неудачей. С 1897 года «экономизм» в той или иной разновидности своей все сильнее овладевает умами и настроениями тех «практиков» социал-демократии, которые продолжали дело, начатое петербургским «Союзом борьбы» в 1895 году. Но уже в апогее своих успехов «экономизм» начинает терять почву под ногами, потому что с конца 90-х годов начинает быстро меняться вся политическая ситуация.

И по своим практическим заданиям, и по «идеологии» рабочей массы стачечное движение 96–7 г. было чисто «экономическим»: никаких политических целей стачечники себе не ставили, никаких политических требований не предъявляли. И тем не менее политическое значение этого движения оказалось огромным. В его ходе известные политические идеи и настроения впервые начали просачиваться не только в тонкий слой передовых рабочих, но и в самое рабочую массу, подготовляя ее к той активной политической роли, которую ей предстояло играть в ближайшем десятилетии. Но помимо этого, стачечное движение 96–7 г. оказалось поворотным пунктом в развитии русской политической мысли и потому, что именно оно дало толчок коренному изменению настроений имущих и образованных слоев общества.

Выше было уж не раз отмечено, какое значение для политического развития России имел тот факт, что на общественной сцене ее впервые появились народные массы, способные стать опорой борьбы за

политическую демократию. Правда, то были рабочие, пролетарские массы; своего непосредственного врага они видели не в самодержавии, а в фабриканте, предпринимателе; орудием их борьбы была стачка — все моменты, которые могли бы заставить враждебно насторожиться имущие слои общества. Но специфические условия развития этого общества в России, которые приходилось уже не раз подчеркивать, существенно ослабляли естественное отталкивание его от целей, форм и методов рабочего движения.

До самой второй половины 90-х годов главными носителями русского либерализма, окрасившегося к этому времени в «народнические» цвета, были известные помещичьи круги (главным образом, «оскудевшей» в сельскохозяйственном отношении центральной полосы России) и связанная с земствами интеллигенция. Для этих кругов сам тот факт, что центр тяжести революционных настроений и деятельности революционных организаций стал перемещаться из деревни в город и что носителем массовых движений оказалось не крестьянство, а промышленный пролетариат, имел успокаивающее и ободряющее значение. Но стачки 96–7 г. дали толчок оформлению и росту либерально-конституционных настроений и в среде крупной русской буржуазии, особенно как раз в среде магнатов текстильной промышленности, бывшей главной ареной этих стачек: именно с этого времени Москва, центр текстильного района России, становится и центром своеобразного «купеческого» либерализма.

Это парадоксальное, на первый взгляд, явление имеет свое объяснение в том, что и сами стачки, так легко перешагнувшие через полицейские рогатки, и уступки, сделанные под их давлением рабочим (сокращение рабочего дня, расширение фабричной инспекции и т. п.), были для буржуазии свидетельством внутренней слабости самодержавного режима и невозможности рассчитывать на его способность чисто полицейскими мерами ограждать ее интересы. Более того, растерянность правительства перед стойкостью забастовщиков и попытки заигрывания с рабочими («правительству одинаково дороги дела фабрикантов и дела рабочих») вызвали у буржуазии подозрение, что в критические моменты самодержавие будет не прочь пускать на смену легенде о «крестьянском» царе, легенду о царе «рабочем» и идти навстречу экономическим требованиям рабочих, чтобы сделать рабочее движение таким же тараном против политических притязаний буржуазии, каким оно долгое

время, и не без успеха, делало угрозу крестьянского бунта против политических притязаний дворянства.

Ближайшие же годы показали, что эти подозрения буржуазии были далеко не безосновательны*. Их, во всяком случае, было довольно, чтобы дать толчок к перелому в ее настроениях. Понимание необходимости искать ограждения своих интересов на путях экономических и политических реформ начинает проникать во все более широкие торгово-промышленные круги, особенно — круги, связанные с текстильной промышленностью, работающей на внутренний рынок и на массового потребителя: они становятся оппозиционными.

Крайняя скромность требований, предъявленных стачечниками 96–7 годов; относительное успокоение, наступившее после того, как

* С конца 90-х годов политическая полиция, по инициативе Зубатова, начальника Московского охранного отделения, начинает попытки создания «независимых» рабочих организаций. Им обещается покровительство и поддержка в защите чисто экономических интересов рабочих при условии отказа от каких-либо политико-освободительных задач. Самодержавие, как защитник трудящихся и от «своекорыстных» имущих классов, и от «чуждой» им революционной интеллигенции, — такова должна была быть, по замыслу политической полиции, демагогическая (употребляя современную политическую терминологию, можно было бы сказать — фашистская) политическая платформа «независимого» рабочего движения. «Зубатовщина», которой удалось соблазнить и кое-каких крайних «экономистов» социал-демократии (особенно, в районе еврейского рабочего движения), имела некоторый успех, и репутация ее в правительственных сферах стояла очень высоко — вплоть до 1903 года, когда начатая «зубатовцами» в Одессе экономическая стачка, неожиданно для инициаторов, охватила весь город и приобрела ярко политический характер. Последовавшая за этим ликвидация «зубатовщины» не помешала Департаменту полиции в следующем же году содействовать, хотя и более тайно, созданию в Петербурге, под руководством священника Гапона, «Собрания русских рабочих» — своего рода легального рабочего клуба. Организованное этим «Собранием» в ходе забастовки Путиловского завода шествие к Зимнему Дворцу для подачи петиции царю, как защитнику трудящихся, закончилось, как известно, ужасающей бойней 9/22 января 1905 г. («кровавое воскресенье»), отметившею собою начало русской революции. Но и в дальнейшем политическая полиция таких попыток не прекращала. Ее последним крупным актом этого рода было проведение (путем ареста конкурентов и тому подобных мер) на выборах в 4-ую Государственную Думу (1912 г.), в качестве депутата от рабочей курии Москвы, полицейского агента Малиновского. В задачи Малиновского, сумевшего стать вождем большевистской фракции, входило, во-первых, форсирование раскола социал-демократии и, во-вторых, запугивание либеральной буржуазии социально-революционным радикализмом. Речи Малиновского редактировались, а часто и составлялись в Департаменте полиции. Весной 1914 года Малиновский был разоблачен, бежал за границу и впоследствии, по возвращении из германского плена, был расстрелян советским правительством.

и эти скромные требования получили лишь частичное удовлетворение; «реформистский» характер «экономизма», сменившего первоначальную революционность социал-демократии сейчас же по завершении стачечного цикла и нарочито подчеркивавшего свой отказ от притязаний на политическое первенство и руководство; все более определенный переход «легального марксизма» от идей социальной революции к идее социальной реформы и от защиты рабочего класса в условиях капиталистического развития к защите буржуазии, как носительницы этого развития, — и против самодержавия, и против реакционного дворянского землевладения; все более настойчивые уверения, что время марксизма классового, «нетерпимого и отрицающего», вообще миновало, даже на его германской родине, и что наступает пора марксизма бесклассового, умиротворенного, демократического, готового считать себя органическою частью буржуазного общества и занять полагающееся ему скромное место в рамках этого общества — все это чрезвычайно облегчало широким кругам торгово-промышленного класса переход от аполитизма к «политике», от чисто «делового» сотрудничества с правительством к оппозиционному либерализму и чрезвычайно поднимало их политическое самочувствие. Ярче и определеннее всего это изменение в настроениях буржуазного общества сказалось в поведении его наиболее импульсивной и боевой части — учащейся молодежи.

Студенческие волнения, в основе которых лежал протест против стеснений, внесенных в университетскую научную и корпоративную жизнь реакционным университетским уставом 1884 года, не прекращались с самого начала нового царствования. Стачки 96–7 годов придали им новую силу. Студенческое движение становится более бурным, пытается перейти к методам уличных манифестаций. Во время одной из таких манифестаций, устроенных петербургскими студентами 8/20 февраля 1899 года, в день университетского праздника, полиция и казаки подвергают участников ее жестокому избиению. В ответ на протесты правительство издает в июле того же года «Временные правила» об отдаче студентов в солдаты «за учинение скопом беспорядков» и пользуется в конце следующего года небольшими беспорядками сначала в Киевском университете, потом в Московском, чтобы отправить в казармы до 200 студентов. Эта мера лишь подливает масла в огонь. Выстрелом из револьвера бывший студент Карпович[412] убивает министра народного просвещения,

реакционера Боголепова[413] (февраль 1901 г.). Студенческие волнения становятся все более частыми и многолюдными. Новое избиение манифестирующих петербургских студентов в марте 1901 года вызывает гласный протест либеральных писателей. Движение выходит за пределы молодежи, начинает охватывать и «отцов».

Перед лицом все ширящегося общественного протеста правительство идет на уступки. Новый министр народного просвещения, генерал Ванновский[414], возвращает студентов из казарм и объявляет эру «сердечного попечения» об учащейся молодежи. Но уже поздно. В уступках правительства общество видит лишь признак слабости. Возникают либеральные организации, определенно ставящие себе целью борьбу за конституцию: более умеренная «группа земцев-конституционалистов»[415] и более радикальный «Союз освобождения»[416], вступающие вскоре в коалицию друг с другом. В этом движении впервые выдвигается на руководящий пост Павел Николаевич Милюков[417], будущий глава либеральной «конституционно-демократической» («кадетской») партии[418]. Но главными идеологами и организаторами движения, умеренно либерального по своей программе, но все более революционизирующегося в своей тактике, оказываются «легальные марксисты» — С. Прокопович[419], Е. Кускова[420], В. Богучарский[421] и др. И когда в июне 1902 года начинает выходить в Штутгарте (Германия) орган русского либерализма «Освобождение»[422], его редактором становится П. Б. Струве, бывший автор «Манифеста» РСДРП, обличавшего «подлость» русской буржуазии. Одновременно возрождается и радикально революционизировавшееся «либеральное народничество», возглавляемое возвращающимися с каторги и из ссылки старыми «землевольцами» и «народовольцами» (М. Натансон, М. Гоц[423], О. Минор[424], Е. Брешко-Брешковская[425] и др.) и подкрепляемое новыми силами (Г. Гершуни[426], В. М. Чернов[427] и др.). В 1901 году организуется нелегальная «группа социалистов-революционеров», из которой развивается впоследствии партия того же имени[428], с весны 1902 г. издающая за границей свой орган «Революционная Россия»[429] и вскоре широко возрождающая практику политического террора.

В этом возбужденном хоре протестующих и требующих голосов был мало слышен голос социал-демократии: с точки зрения «экономизма» и студенческие волнения, и либеральное движение, дворянское ли, буржуазное ли, представлялись делом, рабочему классу посторонним и потому активного вмешательства социал-демократии

не требующим. Могло казаться, что и в самом деле создается ситуация, предусмотренная авторами «Кредо», когда инициативная роль переходит целиком в руки «общества», а на долю рабочего класса выпадает лишь второстепенная, подсобная роль. Однако ситуация эта оказалась весьма недолговечной, и вскоре положение начало радикально меняться.

С 1899 года общеевропейский промышленный кризис начинает распространяться и на Россию. В отличие от кризиса, вызванного голодом 1891–2 гг., теперь сильнее всего страдает не текстильная, а металлическая промышленность. В движении второй половины 90-х годов рабочие-металлисты играли, как мы видели, скорее пассивную, во всяком случае, второстепенную роль. Теперь именно этот отряд русского рабочего класса, включающий в себя его наиболее культурные и передовые слои, выдвигается на авансцену. Вместе с тем и главной ареной движения становится, наряду с Петербургом, имеющим крупные металлические (главным образом — машиностроительные) заводы, юг России, превратившийся к этому времени, при существенном содействии иностранного капитала, в центр русской металлургии.

Таковы условия, в которых русское рабочее движение вступает в новую фазу, отличающуюся от движения 96–7 годов не только еще значительно большею «массовостью», но и гораздо более боевым характером и, главное, определенно политическою окраскою. Совершенно исключительный успех первомайской агитации Харьковского комитета партии, на которую харьковские рабочие откликнулись в день 1-го мая 1900 года всеобщей забастовкой с ярко политическими лозунгами, отметил собою наступление этой фазы.

Движение быстро идет в гору. С 1901 года рабочие начинают в ряде городов (Харьков, Москва, Томск и др.) принимать участие и в студенческих демонстрациях, придавая им более массовый и боевой характер. Учащаются кровавые столкновения с войсками и полицией. Празднование 1-го мая становится все более широким. Репрессии вызывают отпор, и попытка подавить первомайскую забастовку 1901 года на Обуховском военном заводе в Петербурге превращается в настоящую военную осаду завода («Обуховская оборона»[430]), в результате которой аресту подвергаются до 800 рабочих, и многим из них военный суд выносит каторжные приговоры. В 1902 г. вспыхивает в Ростове-на-Дону забастовка железнодорожников, к которой

примыкают и рабочие ростовских заводов. В ходе забастовки Донской Комитет партии собирает за городом массовые митинги, на которых десятки тысяч рабочих слушают речи его ораторов (И. П. Брагин[431], А. Браиловский[432], И. Д. Ставский[433] и др.). Лишь с помощью войск правительству удается сломить стачку.

Но движение все растет, перекидывается на другие города Украины (Одесса, Киев, Екатеринослав), на Кавказ (Баку, Тифлис, Батум), на Поволжье (Сормово, Нижний-Новгород, Саратов). Под его влиянием начинает приходить в брожение и крестьянство, и весною и летом 1902 года происходят крупные крестьянские «беспорядки» на Украине (Полтавская и Харьковская губернии) и в Поволжье, причем, правительство подавляет их вооруженною силою и подвергает «зачинщиков» телесному наказанию. Вся страна сдвигается с той политической мертвой точки, на которую ее, казалось, так прочно поставило предыдущее царствование. И одним из главных орудий политической борьбы становится в ней орудие, заимствованное из рабочего арсенала: стачка — уже не экономическая, а политическая. Бастуют не только рабочие. К оружию стачки прибегает и студенчество: зимою 1901–02 г. страна становится свидетельницей всеобщей забастовки высших учебных заведений, охватывающей свыше 30 000 студентов. А еще через 2–3 года за то же оружие стачки начинают хвататься и представители «либеральных профессий» — инженеры, учителя, адвокаты и даже чиновники.

Ход событий вырывает, таким образом, почву из-под ног «экономизма» — поскольку он хочет быть не идеологическим мостом к переходу в лагерь буржуазно-конституционного либерализма, а руководителем рабочего движения и социал-демократической партии. Понятно, почему именно на юге начинается с 1900 года процесс быстрой ликвидации «экономизма» в комитетах РСДРП. Литературным выразителем этого возвращения социал-демократии к «политике» делается газета «Южный рабочий»[434] (Н. Гинсбург-Наумов[435], О. Коган-Ерманский[436], В. Розанов[437], Б. Цейтлин-Батурский[438] и др.), печатающаяся в собственной нелегальной типографии. Более радикальные круги имущего общества оказывают возрождающемуся «политическому» течению социал-демократии материальную поддержку и технически (адреса для переписки, склады литературы, явочные бюро, квартиры для ночевок и т. п.) всячески облегчают его организационную работу. Взбудораженная же студенческая среда не только служит ему огром-

ным резервуаром пропагандистов, агитаторов и организаторов, но поставляет в лице массы студентов, исключенных из учебных заведений или отправленных в ссылку, и неисчерпаемые кадры тех «профессионалов революции», которым вскоре предстояло сыграть такую выдающуюся роль в победе «Искры» над «экономизмом» в качестве ее неутомимых «агентов».

В описанных выше условиях энергичный протест против «Кредо» и всего круга идей и настроений «экономизма», раздавшийся летом 1899 года из сибирской ссылки, начал вызывать все более громкий резонанс в социал-демократической среде. Инициаторами «протеста семнадцати»[439] (названного так по числу участников) был Ленин и его ближайшие товарищи по прежней работе и по нынешнему месту ссылки (Кржижановский[440], Старков[441], Лепешинский[442] и др.). К протесту немедленно присоединился Мартов, находившийся в далеком Туруханске, группа ссыльных социал-демократов в Вятской губернии (А. Потресов, Ф. Дан, В. Воровский[443], Н. Бауман[444] и др.) и многие другие. Практически то был, таким образом, протест первого, ортодоксального и революционного, поколения русских марксистов-практиков, временно осужденных на бездеятельность ссылки, но уже готовившихся к возвращению на арену политической работы, против второго поколения их, ревизионистского и реформистского, на короткое время ставшего выразителем определенной фазы развития русской социал-демократии, но совершенно не отвечавшего тем задачам, которые ставила перед ним новая фаза рабочего движения. На деле «протест» перекидывал, через головы «экономистов», своего рода идеологический мост от старых поколений русской социал-демократии к тем новым и быстро растущим кадрам ее, которые формировались в атмосфере все более массовых, все более бурных и политически все более заостренных движений.

В своей принципиальной критике «Кредо» написанный Лениным «Протест» исходил из тех двух «перспектив», которые П. Аксельрод еще в конце 1897 г. («К вопросу о современных задачах и тактике русских социал-демократов»[445]) наметил, как две альтернативные, но исторически одинаково возможные линии политического развития русского рабочего движения и русской социал-демократии. Одна перспектива: «рабочее движение не выходит из тесного русла чисто экономических столкновений с предпринимателями и само по себе, в целом, лишено политического характера, в борьбе же за политическую

свободу передовые слои пролетариата идут за революционными кружками и фракциями из так называемой интеллигенции». Другая перспектива: «социал-демократия организует русский пролетариат в самостоятельную политическую партию, борющуюся за свободу частью рядом и в союзе с буржуазными революционными фракциями (поскольку таковые будут в наличности), частью же привлекая в свои ряды или увлекая за собою наиболее народолюбивые и революционные элементы из интеллигенции».

«Одна уже возможность появления программ», подобных «Кредо», доказывает, насколько основательны были опасения Аксельрода, — говорит «Протест» и призывает русских социал-демократов «приложить все усилия» к тому, чтобы осуществилась не первая перспектива, а вторая. Но, помимо «программ», и самый ход событий давал, как мы видели, достаточно оснований для опасений, что самоустранение социал-демократии от политической борьбы будет содействовать превращению массового рабочего движения в чисто физическую силу, политически руководимую, но и эксплуатируемую либеральными элементами имущего общества и связанною с ними интеллигенцией, или, по меньшей мере, приведет к ослаблению инициативной политической роли рабочего класса в составе общественных сил, оппозиционных царскому режиму. А между тем мысль (нашедшая отражение и в Манифесте партии), что именно инициативное, руководящее участие рабочего класса в политической борьбе необходимо для радикальной ликвидации самодержавия — и была тем новым вкладом, который Аксельрод, под влиянием опыта 90-х годов, внес в первоначальную постановку политических проблем социал-демократического движения в России, как она была дана группою «Освобождение труда» в ее первых программных работах. На призыв «экономистов» к самоустранению от политической борьбы Аксельрод отвечал призывом — встать во главе ее.

В этом Аксельрод более, чем кто-либо другой из членов группы «Освобождение труда», сходился в эти годы с пионерами «Союзов борьбы», и Ленин развивал, по существу, те же «Аксельродовские» идеи, только придавая им еще большую заостренность, когда писал в «Задачах русских социал-демократов»[446]: «В борьбе против абсолютизма, рабочий класс должен выделять себя, ибо только он является до конца последовательным и безусловным врагом абсолютизма, только между ним и абсолютизмом невозможны компромиссы,

только в рабочем классе демократизм может найти сторонника без оговорок, без нерешительности, без оглядки назад». И наконец, Плеханов в цитированной уже статье «Еще раз социализм и политическая борьба» делает из этих идей последние выводы: «Наша партия возьмет на себя почин борьбы с абсолютизмом, а следовательно, и гегемонию в этой борьбе... Она сделается освободительницей par excellence[447], центром, к которому будут тяготеть все демократические симпатии и из которого будут исходить все наиболее крупные революционные протесты».

Слово «гегемония» было произнесено лишь в 1901 году. Но идея не только деятельного участия социал-демократии в политической борьбе, но ее руководящего участия, ее гегемонии, как представительницы рабочего класса, — и была той платформой, на которой в годы ссылки, путем переписки, подготовлялся, а по окончании ссылки в 1900 году осуществился «тройственный союз» наиболее талантливых деятелей старого петербургского «Союза борьбы» — Ленина, Мартова и Потресова — для «завоевания партии». Орудием этого завоевания должна была служить намеченная к изданию за границей, совместно с группой «Освобождение труда», большая политическая газета, нелегально транспортируемая в Россию и там в собственных нелегальных типографиях перепечатываемая, организующая, по выражению Ленина, собственную «социалистическую почту» и опирающаяся на густую сеть корреспондентов, пропагандистов и всякого иного рода «агентов».

Само собою разумеется, что теоретическим фундаментом газеты должен был быть ортодоксальный марксизм. Но примат задачи политического освобождения над социалистическими и специфически рабочими задачами социал-демократии и ее руководящая роль в разрешении этой «общенациональной» задачи были подчеркнуты как «нейтральным» в социалистическом смысле названием газеты («Искра»[448]), так и тем эпиграфом ее, из которого было взято это название: «Из искры возгорится пламя» — эта строчка из стихотворения, которым каторжане-декабристы ответили на обращенное к ним послание Пушкина, должна была утверждать право «нашей партии» быть прямой наследницей и завершительницей того революционно-освободительного дела, которое было начато бунтом дворян-демократов свыше трех четвертей века тому назад, продолжено «разночинцами» 40-х и 50-х годов, народниками 60-х и 70-х, народовольцами

80-х и перешло теперь в крепкие руки рабочего класса в лице его партии — социал-демократии.

После ряда совещаний с русскими деятелями и длительных переговоров выехавших за границу Ленина и Потресова с группою «Освобождение труда» (Мартов оставался еще некоторое время в России для устройства организационных дел) к осени 1900 года между группою «Искра», сохранявшею обособленное существование, и группою «Освобождение труда» было достигнуто соглашение о совместном издании политической газеты «Искра» и теоретического журнала «Заря»[449]. Широкое содействие предприятию было оказано германской социал-демократией: местопребыванием редакции «Искры» был избран Мюнхен, где под чужими именами поселились Ленин и Потресов, к которым вскоре присоединились Мартов и Вера Засулич, а тайный набор и печатание газеты, первый номер которой вышел в декабре 1900 года, производились в Штутгарте, при известной социал-демократической типографии Дитца[450].

В основу платформы газеты была положена та самая идея примата политических задач и гегемонии социал-демократии в борьбе за политическое освобождение, о которой мы только что говорили, и заключительный абзац «Заявления редакции» (его основной текст был написан Лениным) гласил: «Кто понимает социал-демократию, как организацию, служащую исключительно стихийной борьбе пролетариата, тот может удовлетвориться только местной агитацией и "чисто рабочей" литературой. Мы не так понимаем социал-демократию: мы понимаем ее, как направленную против абсолютизма революционную партию, неразрывно связанную с рабочим движением. Только организованный в такую партию пролетариат, этот наиболее революционный класс современной России, в состоянии будет исполнить лежащую на нем историческую задачу: объединить под своим знаменем все демократические элементы страны и завершить упорную борьбу целого ряда погибших поколений конечным торжеством над ненавистным режимом».

В свете этой платформы особый смысл приобретает и та беспощадная борьба с «ревизией» марксизма, которой много внимания уделяла «Искра» и еще больше «Заря». Теоретически «ревизионизм» отвергался, конечно, потому, что он порывал с идеей социальной революции, звал рабочий класс к замене борьбы за ликвидацию капитализма борьбой за социальное «реформирование» его. Но в специ-

фических условиях России пафос борьбы против ревизионистской «критики марксизма» питался не ее социальным реформизмом, а ее реформизмом политическим: не тем, что она отвлекала пролетариат от совершения социальной революции против капитализма, а тем, что она отвлекала его от сосредоточения своих сил на задаче совершения политической революции против самодержавия. И «Заявление» клеймит увлечение «бернштейниадой» и «экономизм», как «стремление задержать движение на его низшей стадии, стремление отодвинуть на второй план задачу образования революционной партии, ведущей борьбу во главе всего народа».

Сделав идею политической гегемонии социал-демократии основной идеей платформы, надо было сказать, как можно этой гегемонии добиться. В первоначальных установках группы «Освобождение труда» вопрос о гегемонии вовсе на возникал, а противоречивая проблема совершения политической революции капиталистического общества силами социалистического рабочего класса разрешалась апелляцией к поднятию сознания рабочих масс до уровня, делающего их способными рационально сочетать необходимую «критику» капитализма в его борьбе против пролетариата с не менее необходимой «поддержкой» капитализма в его борьбе против до-капиталистических сил царизма и феодального крепостничества. В этом разрешении проблемы было много рационализма, но недостаточно реализма: это делалось все очевиднее по мере того, как массовое рабочее движение стало из теоретического предвидения становиться все более заметным практическим фактором русской политической жизни. Именно практическая неразрешимость противоречий, возникших в ходе этого развития, и вызвала то раздвоение социал-демократической мысли, которое, в самом крайнем выражении своем, упраздняло, если не практически, то теоретически, самое проблему, толкая одних к выводам, означавшим: «мы были социал-демократами, мы должны перестать быть ими», — а других — к полярно противоположным: «все истинные и последовательные демократы в России должны стать социал-демократами» (Ленин. «Задачи русских социал-демократов»).

Высказанный в такой крайней форме, этот последний вывод звучал, конечно, парадоксом, и сам Ленин, как увидим, уже задолго до основания «Искры» совершенно по-иному ставил эту проблему. Но в парадоксальной форме Ленинский афоризм верно отражал тот ход

мыслей, который вскоре привел к идее о «гегемонии», формулированной Плехановым в словах: социал-демократия должна стать «партией-освободительницей par excellence». Эта перифраза известного выражения Маркса не давала еще, однако, ответа на вопрос. О пролетариате, как «классе-освободителе par excellence», Маркс говорил в перспективе социальной революции, когда рабочий класс, в силу своей организованности и социалистической сознательности, должен стать естественным вождем всех выбитых из колеи развитием капитализма и пауперизованных масс крестьянства, мелкой городской буржуазии, людей свободных профессий и т. п., чтобы повести их на штурм капиталистических твердынь. Но каким образом может социалистическая партия рабочего класса стать гегемоном в борьбе за политическое освобождение капиталистического общества?

Как увидим, именно различные ответы на вопросы, встававшие в непосредственной связи с этой основной проблемой социал-демократии того времени, привели к острому кризису «левого» политического течения социал-демократии почти сейчас же после его победы над «экономизмом». И еще задолго до этого кризиса были очевидны симптомы грядущего расхождения по этим вопросам. Но пока что на первом плане стояла борьба с «экономизмом», и весь «политический» фронт социал-демократии был готов сойтись на ответе, данном П. Аксельродом и представлявшем собою, по существу, дальнейшее развитие того же рационалистического подхода к разрешению проблем политической работы русской социал-демократии.

«Задача приобретения русскими социал-демократами приверженцев и прямых или косвенных союзников среди непролетарских классов», — писал Аксельрод («К вопросу» ...и т. д.) — «разрешается прежде всего и главным образом характером агитационно-пропагандистской деятельности в среде самого пролетариата. До сих пор деятельность эта вращалась почти целиком вокруг непосредственно экономической эксплуатации рабочих нанимателями. Указанная же задача требует расширения объема агитации и пропаганды вопросами, представляющими собою узловые пункты, в которых сходятся и переплетаются интересы как пролетариата, так и других классов, угнетенных или теснимых абсолютизмом и покровительствуемой им капиталистической буржуазией. Но эти вопросы оказываются, при ближайшем рассмотрении дела, самыми важными и существенными в настоящее время для нашего пролетариата».

В полном согласии с этим, редакция «Искры» писала в своем «Заявлении»: «Раздвинуть рамки и расширить содержание нашей пропагандистски-агитационной и организаторской деятельности — эти слова П. Б. Аксельрода должны стать лозунгом, определяющим в ближайшем будущем деятельность русских социал-демократов, — и мы принимаем этот лозунг в программу своего органа». И, в соответствии с этим, «Заявление» продолжало: «Мы обращаем свой призыв не только к социалистам и сознательным рабочим. Мы призываем также всех, кого гнетет и давит современный политический строй, мы предлагаем им страницы наших изданий для разоблачения всех гнусностей русского самодержавия».

Наряду с задачей «политизации» социал-демократического движения «Искра» ставила себе и задачу его реорганизации. «Главная черта нашего движения», говорит «Заявление» редакции, «его раздробленность, его, так сказать, кустарный характер», то есть независимость местных кружков друг от друга, отсутствие традиций и преемственности. Это «кустарничество» является последствием сужения задач социал-демократии до уровня «экономизма»; но, в условиях «быстрого распространения социал-демократических идей среди нашей интеллигенции» и идущего навстречу ей «самостоятельно возникшего движения промышленного пролетариата», оно само становится причиной увековечения идейного разброда: «Несоответствие этой раздробленности с запросами, вызываемыми силою и широтой движения, создает, по нашему мнению, критический момент в его развитии». Надо перейти «к высшей форме движения», а необходимость такого перехода «сознается далеко не везде». Отсюда «практический вывод: мы, русские социал-демократы, должны сплотиться и направить все усилия на образование крепкой партии, борющейся под единым знаменем социал-демократии».

Но как же осуществить «образование крепкой партии» после крушения попытки, предпринятой учредительным съездом партии весной 1898 года? «Заявление» редакции отвечало на это:

«Обычный ответ на этот вопрос состоит в том, что необходимо снова выбрать центральное учреждение и поручить ему возобновить орган партии. Но в переживаемый нами период разброда такой простой путь едва ли был бы целесообразен. Создать и упрочить партию значит создать и упрочить объединение всех русских социал-демократов, а по указанным выше причинам такое объединение нельзя де-

кретировать, его нельзя ввести по одному только решению какого-либо, скажем, собрания представителей, его необходимо выработать. Необходимо выработать, во-первых, прочное идейное объединение, исключающее ту разноголосицу и путаницу, которая — будем откровенны — царит среди русских социал-демократов в настоящее время; необходимо закрепить это идейное объединение партийной программой. Необходимо, во-вторых, выработать организацию, специально посвященную сношениям между всеми центрами движения, доставке полных и своевременных сведений о движении и правильному снабжению периодической прессой всех концов России. Только тогда, когда выработается такая организация, когда будет создана русская социалистическая почта, партия получит прочное существование и станет реальным фактом, а следовательно, и могущественной политической силой».

«Идейное объединение» является предпосылкой объединения организационного, и потому «прежде, чем объединиться, и для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться». Эта фраза отнюдь не была маскировкой уклонения от объединения, выражением тайного желания оставить «экономистов» за бортом возрождаемой партии. Наоборот. Беседы с деятелями партийных комитетов в России создали у инициаторов «Искры» убеждение, что, под влиянием событий, громадное большинство «экономистов» вернется к «политике». Именно поэтому они и заграницей не захотели организационно связать себя с единомышленною им частью расколовшейся социал-демократической организации: заграничная организация «Искры» сохранила обособленное существование и лишь к концу 1901 года, после неудачи попыток восстановить единство (Цюрихский съезд в августе 1901 г.[451]) слилась с организацией «Социал-демократ» и группою «Освобождение труда» в «Заграничную Лигу русских социал-демократов»[452].

Но изложенное выше делает понятным, почему «Искра» высказывалась против попыток «Союза русских социал-демократов» созвать в России возможно скорее небольшой нелегальный съезд для восстановления «Центрального Комитета». Этому плану «рабочедельцев» «искровцы» противопоставляли план образования из наиболее выдающихся работников социал-демократии в России «Организационного Комитета» для более или менее длительной идейно-политической и организационной работы. Только такая работа могла, с точки

зрения «Искры», подготовить условия для созыва съезда, и по своему составу, и по характеру своей работы отвечающего задачам, стоящим перед социал-демократией, и не в тесном русском подполье, а только за границей мог быть созван такой съезд.

Собравшийся все же в марте 1902 года в Белостоке «съезд»[453] оказался, в результате предшествовавших ему массовых арестов, столь малочисленным, что участники его, в большинстве своем тяготевшие к «рабочедельцам», увидели себя вынужденными объявить собрание, согласно настояниям «Искры», простой «конференцией». Конференция ограничилась принятием общерусского первомайского листка (причем в основу был положен проект, предложенный редакцией «Искры») и выбором Организационного Комитета для подготовки второго съезда. Выбранный Организационный Комитет был сейчас же арестован почти в полном составе своем. Но уже к концу того же года он был — по соглашению «Искры» с «Южным рабочим» и Петербургским комитетом (из которого вышли к этому времени «экономисты») — заменен новым, в состав которого вошел и представитель еврейского «Бунда» и в котором большинство было уже не «рабочедельским», а определенно «искровским».

Таким образом, «Искра» одержала полную победу. Но в двойном дне чемоданов, с которыми нелегально приехал на Белостокскую конференцию «искровский» делегат (им был автор этих строк), были доставлены в Россию первые несколько десятков новой книги Ленина «Что делать?» Идеи, развитые в этой книге, оказались динамитом, через какой-нибудь год с небольшим взорвавшим единство победителей.

Глава 9. БОЛЬШЕВИЗМ И МЕНЬШЕВИЗМ

1. Организационный вопрос

Основная задача книги «Что делать?» состояла в конкретизации тех организационных идей, которые были формулированы в программе «Искры», и в более подробном обосновании и развитии того организационного «плана», который был набросан Лениным же еще в мае 1901 года в статье «С чего начать?» («Искра», № 4)[454].

На фоне бурных событий начала 1901 года начатая «Искрой» работа «идейного размежевания» закончилась очень быстро победой «политического» направления. «Рабочее дело» сдало, в сущности, основные позиции «экономизма», когда, под влиянием широко

разлившегося студенческого движения, начавшего, благодаря поддержке рабочих, принимать революционный характер, призвало социал-демократов к «штурму на самодержавие», ссылаясь в оправдание этого «Исторического поворота» (так была озаглавлена статья, напечатанная в № 6 «Листка Рабочего дела») на известное изречение германского социал-демократа Вильгельма Либкнехта[455]: «тактику надо менять в 24 часа, когда меняются обстоятельства». Но именно этот, как иронически назвала его «Искра» — не «исторический», а «истерический» поворот вызвал резкую критику со стороны Ленина, указавшего, что в данном случае речь идет не о «тактике», а об основном характере и направлении социал-демократической политики, и что, при отсутствии центральной и слабости местных организаций, звать к немедленному «штурму» на самодержавие значило бы обрекать себя на верное и быстрое поражение: «Лозунгом нашим в данный момент не может быть "идти на штурм", а должно быть: "устроить правильную осаду неприятельской крепости". Другими словами: непосредственной задачей нашей партии не может быть призыв всех наличных сил теперь же к атаке, а должен быть призыв к выработке революционной организации, способной объединить все силы и руководить движением не только по названию, но и на самом деле. Именно поэтому необходимо возможно скорее осуществить "выдвинутую" в первом номере "Искры" программу создания крепкой организованной партии, направленной на завоевание не только отдельных уступок, но и самой крепости самодержавия».

«Первым практическим шагом» к осуществлению этой программы должна быть «постановка общерусской политической газеты». Открывая свои столбцы «для всенародного обличения царского правительства» и проникая «через посредство пролетариата в ряды городского мещанства, сельских кустарей и крестьян», социал-демократическая газета «станет настоящей народной политической газетой» и тем закрепит руководящую роль социал-демократии в борьбе против самодержавия. Но «газета — не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор»: «агенты», ее нелегально транспортирующие и распространяющие, а с другой стороны, организующие снабжение ее «обличительным» материалом, будут преобразовывать самый характер работы социал-демократических комитетов и групп, выводя их за узкие рамки руководства экономической борьбой местных рабочих и

сосредоточивая их внимание на политических проблемах всероссийского масштаба; они будут в то же время организационно связывать местные организации и друг с другом, и с редакцией газеты. «Сеть агентов будет остовом именно такой организации, которая нам нужна», т. е. централизованной организации, идейно-политическое единство которой обеспечено руководством «Искры».

В таком виде организационный план, намеченный Лениным, вполне соответствовал организационным идеям всех «искровцев», и совершенно в духе этих идей говорил Ленин в «Что делать?»: «Идеалом социал-демократа должен быть не секретарь тред-юниона, а народный трибун». Общее мнение выражал он и тогда, когда, полемизируя против тенденции «экономистов» к демократическому выборному началу в социал-демократических организациях, писал (там же) о различии между организацией «профессиональных революционеров» и организацией рабочих для экономической борьбы: «Организация рабочих должна быть, во-первых, профессиональной; во-вторых, она должна быть возможно менее конспиративной... Наоборот, организация революционеров должна обнимать прежде всего и главным образом людей, которых профессия состоит из революционной деятельности; ...эта организация необходимо должна быть не очень широкой и возможно более конспиративной». И А. Н. Потресов выражал общее отношение всех членов редакции и ближайших сотрудников «Искры» к труду Ленина, когда писал ему 22 марта 1902 г.: «Два раза сплошь и подряд прочел книжку и могу только поздравить ее автора. Общее впечатление... — превосходное»[456].

В написанном в сентябре 1902 года «Письме к товарищу о наших организационных задачах»[457] Ленин пошел дальше в развитии своего организационного плана, провозгласив, с одной стороны, монополию «профессиональных революционеров» на руководящую роль, а с другой — принцип «однородности» состава руководящих центров: «руководить движением должно возможно меньшее число возможно более однородных групп, искушенных опытом профессиональных революционеров. Участвовать в движении должно возможно большее число возможно более разнообразных и разнородных групп из самых различных слоев пролетариата (и других классов народа)».

Руководящих центров должно быть два: идейный — в лице Центрального Органа, обеспеченного, благодаря пребыванию за границей, от «воздействия русских жандармов» и потому способного,

в свою очередь, обеспечить «выдержанность и преемственность» идейного руководства, и практический — в лице Центрального комитета, «достаточно свободного для непосредственного распорядительства всей практической стороной движения», но «всегда солидарного с Ц. О. во всем существенном». Гарантирована эта «солидарность» должна быть опять-таки «не только единой программой партии, но и составом обеих групп: надо, чтобы в обеих группах, и в Ц. О. и в Ц. К., были вполне спевшиеся между собой люди», т. е. говоря конкретно, надо, чтобы членами Ц. К. были только люди, вполне солидарные с редакцией «Искры».

Но, в свою очередь, такой «искровский» Ц. К. должен иметь право определять не только характер работы партийных организаций, но и личный состав как местных комитетов, так и облекающей их сети «разнообразных и разнородных групп»: «Чтобы центр мог хорошо работать, надо местным комитетам преобразовать себя, стать специализированными и более «деловыми» организациями, достигающими действительного «совершенства» то в той, то в другой практической функции. Чтобы центр мог не только советовать, убеждать, спорить (как делалось до сих пор), а действительно дирижировать оркестром, для этого необходимо, чтобы было в точности известно, кто, где и какую скрипку ведет, где, как и какому инструменту обучается, кто, где и почему фальшивит, ...кого, как и куда надо для направления диссонанса перевести, и т. п.».

Этот план, сосредоточивающий всю политическую инициативу и активность в крайне узкой и «однородной» верхушке партии (в данном случае это должна была быть редакция Центрального Органа) и превращающий всю партийную организацию в строго централизованную и дисциплинированную иерархию «деловых» исполнительных органов, имеет выдающийся интерес не только потому, что именно его отстаивал Ленин на 2-м съезде партии*, где произошел раскол, но и потому, что по этому плану была организована сначала большевистская фракция внутри партии, потом большевистская (коммунистическая) партия, и он же был положен в основу организации Коминтерна и коммунистических партий всего мира. Более того,

* Созванный «искровским» Организационным комитетом съезд открылся 17–30 июля 1903 г. и заседал сначала в Брюсселе, потом в Лондоне. В нем участвовали 43 делегата от 26 организаций с 51 решающим голосом и 14 лиц с совещательным голосом.

по однородному плану была, в сущности, построена и организация советского государства.

Большинство редакции «Искры» не разделяло той «гипертрофии централизма» (выражение Мартова: см. брошюру «Борьба с осадным положением в РСДРП», Женева, 1904[458]), которая нашла такое яркое выражение в Ленинском «Письме». Но оно не видело в этой «гипертрофии» и повода для особой тревоги. Связанное с Лениным солидарностью не только «искровской» политической линии, но и «искровских» организационных идей, оно было уверено, что в процессе дальнейшей совместной работы сгладятся те «эксцессы» Ленинского организационного плана, в которых оно видело лишь более или менее случайное «перегибание палки».

Таким же более или менее случайным «уклоном» казались большинству редакции и те теоретические положения о соотношении между «стихийностью» и «сознательностью» рабочего движения и о внесении социалистических идей в это движение «извне», которыми Ленин обосновывал в «Что делать?» общие всем «искровцам» принципы организационного централизма. И это тем более, что, как оговаривался сам Ленин, он «нарочно» выбирал «угловатую формулировку» и выражался «упрощенно резко». Потресов опять-таки выражал общее настроение этого большинства, когда писал в упомянутом уже письме: «автор кое-где, в борьбе со “стихийностью” перегнул палку в сторону “сознательности”... Вы слишком подчеркиваете то “извне”, которое несомненно существует в истории социализма».

Свои теоретические положения Ленин формулировал в ответ «Рабочему делу», искавшему «более глубоких корней» разногласия между русскими социал-демократами в «различной оценке сравнительного значения стихийного и сознательно-планомерного» элемента в социалистическом движении и обвинявшему «Искру» в «преуменьшении значения объективного или стихийного элемента развития».

На самом пороге развития социал-демократической работы в России более или менее общим убеждением социал-демократов-практиков было, что именно в процессе экономической борьбы, в ходе все учащающихся и углубляющихся столкновений рабочих с предпринимателями будет «стихийно» формироваться классовое, социалистическое сознание пролетариата. Так ставила вопрос брошюра «Об агитации». Не иначе ставил его в то время и Ленин, когда провоз-

глашая русского рабочего «единственным и естественным представителем всего трудящегося и эксплуатируемого населения России» («Друзья народа», выпуск 3-й), объяснял эту исключительную роль пролетариата тем, что «эксплуатация массы производителей (т. е. крестьян, ремесленников, кустарей и т. д. — *Ф. Д.*) мелка, раздроблена, неразвита, тогда как эксплуатация фабрично-заводского пролетариата крупна, обобществлена, концентрирована». Отсюда он делал вывод: «Поэтому рабочий видит классовую, буржуазно-капиталистическую сущность тех порядков, понять которые другим трудящимся еще мешают средневековые формы их эксплуатации». Борьба рабочих «неизбежно становится войной не против личности, а против класса, того самого класса, который не на одних фабриках и заводах, а везде и повсюду гнетет и давит трудящихся». При таких условиях роль социал-демократии сводится лишь к обобщению и организации этого, «стихийно» возникающего классового социалистического сознания: «Политическая деятельность социал-демократов состоит в том, чтобы содействовать развитию и организации рабочего движения в России, преобразованию его из теперешнего состояния разрозненных, лишенных руководящей идеи попыток протеста, "бунтов" и стачек в организованную борьбу всего русского рабочего класса, направленную против буржуазного режима».

Оформление «экономизма» в особое, аполитическое течение и опыт «рабочих оппозиций», возникавших в ходе массовых движений, показали крайнюю односторонность этих расчетов на чисто «стихийное» возникновение классового, социалистического сознания в русских рабочих массах, и теперь Ленин отвечал «рабочедельцам» столь же односторонним отрицанием значения «объективного или стихийного элемента развития». Указав на «тред-юнионистский, но еще не социал-демократический» характер стачек 1896–97 гг., Ленин продолжает: «Мы сказали, что социал-демократического сознания у рабочих и не могло быть. Оно могло быть привнесено только извне. История всех стран свидетельствует, что исключительно своими собственными силами рабочий класс в состоянии выработать лишь сознание тред-юнионистское, т. е. убеждение в необходимости объединяться в союзы, вести борьбу с хозяевами, добиваться от правительства издания тех или иных необходимых для рабочих законов и т. п. Учение же социализма выросло из тех философских, исторических, экономических теорий, которые разрабатывались образованными

представителями имущих классов, интеллигенцией. Основатели современного научного социализма, Маркс и Энгельс, принадлежали сами, по своему социальному положению, к буржуазной интеллигенции. Точно так же и в России теоретическое учение социал-демократии возникло совершенно независимо от стихийного роста рабочего движения, возникло, как естественный и неизбежный результат развития мысли у революционно-социалистической интеллигенции».

Мы уже имели случай объяснить, почему с возникновением рабочего движения в России совершенно исключительное значение должна была получить организационная проблема, принявшая в русских условиях вид проблемы взаимоотношения между рабочими и революционной интеллигенцией. В первый раз она встала перед революционерами со всей остротой еще в зачаточной фазе рабочего движения в конце 70-х годов, когда Северный союз[459] выдвинул идею возможно более широкой организации, допускающей в своих рядах различные «оттенки мнений» и предоставляющей наиболее «энергичным и деятельным» элементам завоевывать «решающее значение» в организации «воспитательным» воздействием на рядовых ее членов, и когда редакция «Земли и воли», решительно возражая против такой «широты», настаивала на том, что в организацию должны допускаться лишь люди, прошедшие «известный искус» и доказавшие свою «способность работать на пользу дела», потому что «важно не количество членов», а качество — «крепкая круговая порука их, солидарность». С такою же остротой встала эта проблема во второй раз, когда на волне стачечного движения 96–97 гг. впервые начали подниматься сравнительно значительные кадры передовых рабочих, претендовавших на роль вождей своего класса, и когда «экономизм» пытался разрешить эту тяжбу между рабочими и революционной интеллигенцией в пользу «среднего рабочего» и против «кающегося интеллигента».

Все та же проблема с предельною остротой вставала в третий раз и теперь, когда в движение пришли миллионные массы, и когда само движение их начало приобретать все более политический характер. Но теперь, в диаметральной противоположности к «экономизму», Ленин решал вопрос целиком в пользу революционной интеллигенции и своим анализом значения «стихийности» и «сознательности» в рабочем движении стремился подвести и теоретический фундамент под это решение.

Что в наличных условиях демократическое «выборное начало» может иметь лишь самое ограниченное применение и что поэтому первостепенною практическою потребностью движения является создание «сверху вниз» централизованной организации, «остовом» которой только и могут быть «профессиональные революционеры», т. е. в преобладающем большинстве своем революционеры-интеллигенты, — в этом все «искровцы» были единодушны. Но в то время, как Ленин, возвращаясь к организационным принципам таких «заговорщических» организаций, как «Земля и воля» и «Народная воля», стремился закрепить руководящую роль «профессиональных революционеров» в партии мерами уставно-организационного порядка, а состав самих руководителей возможно более сузить, ограничивая его кругом «прошедших искус» и политически «вполне спевшихся» между собой людей, — большинство редакции «Искры» представляло себе — совершенно в духе организационных идей Северного союза, — что руководящие позиции в партии «профессиональные революционеры» будут завоевывать себе, выступая везде и всюду как ее наиболее «энергичные и деятельные» работники, своею политическою и организационною работой «воспитывающие» все более широкие круги передовых рабочих к руководящей политической роли в партии и подготовляющие таким образом революционной интеллигенции рабочую смену.

При всей отчетливости различия между этим «демократическим» централизмом большинства редакции «Искра» и «бюрократическим» централизмом Ленина, оно казалось весьма малосущественным перед лицом единомыслия в тех основных принципах, политических и организационных, последовательное проведение которых так высоко подняло авторитет «Искры» и позволило ей в самый короткий срок стать, если не формально, то на деле руководящим центром русской социал-демократии. Поэтому не только до съезда, но и почти до самого конца его ни самим ближайшим участникам «Искры», ни «искровцам» вообще не могло и в голову придти, что именно разногласия по организационному вопросу станут тем клином, который, расколов редакцию «Искры», расколет и едва только успевшую объединиться под ее знаменем партию.

Вплоть до 22-го заседания съезда (всех заседаний было 37), когда на обсуждение его был поставлен выработанный комиссией проект устава партии, редакция «Искры» выступает сплоченным блоком по вопросам не только программного, но и организационного порядка.

Но и в заключительных заседаниях своих съезд с редким единодушием принимает ряд политических резолюций, авторами которых являются почти исключительно члены редакции, оказавшиеся по организационному вопросу в меньшинстве. И лишь в одном случае (по вопросу об отношении к либералам) каждая из частей расколотой отныне редакции представляет съезду свою особую резолюцию, — причем съезд принимает и ту, и другую*.

Коснуться организационных вопросов в первой половине своих заседаний съезду пришлось дважды: один раз в связи с вопросом о «положении Бунда в партии», другой — в ходе краткой дискуссии, предшествовавшей сдаче в комиссию внесенного Лениным проекта устава партии. И оба раза именно Мартов выступал в качестве выразителя мнений всего коллектива «Искры». Выступая по докладу представителя еврейского Бунда в качестве содокладчика, он, не отрицая права Бунда на известную автономию, решительно возражал против ультимативного требования его быть организацией еврейского пролетариата, «неограниченной в своей деятельности какими-либо районными рамками», и считаться «единственным представителем» этого пролетариата в партии, — видя в этом требовании совершенно неприемлемое внесение федеративного начала в организацию партии, и внес составленную в этом духе резолюцию**. В прениях о проекте Ленина Мартов заявил, что «присоединяется к выводам Ленина» и расходится с ним лишь в двух частных вопросах — о порядке составления Совета партии и о методах кооптации новых членов в состав Ц. К-та. Более того, Мартов настаивал на том, что после утверждения съездом списка партийных организаций «дальнейшее изменение их состава» надо предоставить Центральному комитету***, как, в свою очередь, Троцкий[460] (примкнувший после съезда к меньшевикам), провозглашал право партии на «организационное недоверие» ко всем ее частям, а потому и право Ц.К. на «контроль над всеми местными, районными, национальными и другими организациями».

---

* К стоявшим перед съездом программам и политическим вопросам мы еще вернемся ниже, в другой связи.

** Принятие съездом этой резолюции вызвало заявление Бундовской делегации о выходе Бунда из партии, в основании которой он играл такую видную роль. Бунд вернулся в партию лишь на Стокгольмском съезде 1906 г.

*** Соответствующий пункт принятого съездом устава гласит: «Ц.К. организует комитеты, союзы комитетов и все другие учреждения партии».

Убеждение в прочности идейной и политической солидарности, связывающей весь коллектив «Искры», и в необходимости во что бы то ни стало охранять единство этого коллектива перед внешним миром было так велико, что Мартов выступил в защиту Ленина и против тех нападок, которым, в ходе прений по программе, подверглись со стороны немногих «экономистов» и «рабочедельцев», участвовавших в съезде, рассуждения «Что делать?» о роли «стихийности» и «сознательности».

Настроение начало меняться лишь после того, как в ходе длительных работ комиссии и присоединившихся параллельно частных собраний «искровцев» стало выясняться, что речь идет не о тех или иных «оттенках» общего всем организационного плана, которые могут быть сглажены путем компромиссов, а о двух, друг с другом трудно примиримых тенденциях организационной мысли и организационной практики. Внесение максимально возможного в наличных политических условиях «демократизма» в централистическую организацию партии оказалось для большинства редакции «Искры» непременным условием способности социал-демократии содействовать развитию в рабочем движении классового, социалистического сознания и самой постепенно превращаться из организации интеллигенции в подлинную классовую партию пролетариата. Но, в свою очередь, тот «авторитарный» централизм, который был формулирован Лениным в «Письме к товарищу», оказался для него непременным условием способности социал-демократии подготовлять и рабочие массы, и самое себя к той руководящей роли в предстоящем «всенародном» наступлении на «крепость самодержавия», на которое ориентировались все «искровцы». В столкновении этих двух организационных тенденций и заключался смысл открытой борьбы — впервые не борьбы «искровцев» против «экономистов», а борьбы «искровцев» между собою, — которая началась на съезде по параграфу первому устава и завершилась расколом.

Кто может считаться членом партии? На этот вопрос давали ответ два внесенных на съезд проекта. Проект Ленина гласил: «Членом РСДРП считается всякий, признающий ее программу и поддерживающий партию личным участием в одной из партийных организаций». Проект Мартова: «Членом РСДРП считается всякий, принимающий ее программу, поддерживающий партию материальными средствами и оказывающей ей регулярное содействие под руководством одной из ее организаций». Тенденции этих двух формулировок очевидны.

Первая стремиться ограничить круг членов партии, т. е. лиц, имеющих право так или иначе влиять на ее политическую линию, лишь членами по необходимости конспиративных организаций, т. е. преимущественно «профессиональными революционерами»; вторая, наоборот, стремиться расширить этот круг, делая полноправными участниками партии и тех активных и передовых рабочих, которые по условиям своего быта не имеют возможности стать членами конспиративных организаций, но, как говорил грузинский делегат Костров (Ной Жордания)[461], «являются разносчиками прокламаций, собирают деньги, манифестируют на улицах, идут в тюрьму и ссылку, но которые не входят в комитет, ни в какие другие организации... Наша партия есть партия массы, а массу нельзя включить в организации, это немыслимо при современных порядках России».

Развивая высказанную Аксельродом мысль, что «нужно разграничить понятия — партия и организация», Мартов говорил в защиту своего проекта: «Партийная организация — маховое колесо, приводящее в движение работу партии в нашем смысле». Конечно, в русских условиях революционная организация неизбежно принимает «заговорщический» характер. Но «заговорщическая организация для меня имеет смысл лишь постольку, поскольку ее облекает широкая социал-демократическая рабочая партия». «Чем шире будет распространено название члена партии, тем лучше. Мы можем только радоваться, если каждый стачечник, каждый демонстрант, отвечая за свои действия, сможет объявлять себя членом партии». Обращаясь же к опасениям некоторых делегатов, что, пользуясь формальными правами членов партии, ее периферийные элементы смогут искажать «искровскую» политическую линию ее, — Мартов отвечал: «Право у члена партии, по нашему проекту, одно — доводить до сведения центра свои мнения и желания. Другое право — составлять общественное мнение, и чем больше "заговорщики" будут считаться с этим мнением, тем меньше опасность, что поднимется вопрос о "правах"». «Для нас рабочая партия не ограничивается организацией профессиональных революционеров. Она состоит из нее плюс вся совокупность активных передовых элементов пролетариата».

Мартову отвечал Ленин: «Если бы сотни и тысячи арестуемых за стачки и демонстрации рабочих оказывались не членами партийных организаций, это доказывало бы только, что наши организации хороши, что мы выполняем свою задачу — законспирировать более или

менее узкий круг руководителей и привлечь к движению возможно более широкую массу». Что же касается формирования «общественного мнения» партии, то «наша задача — дать фактический контроль в руки Центрального комитета. Наша задача — оберегать твердость, выдержанность, чистоту нашей партии»*.

Высказавшись (28 голосами против 22 при 1 воздержавшемся) принципиально за формулировку Мартова, съезд окончательно принял ее 35 голосами против 1 при 12 воздержавшихся. Такие результаты оказались возможны лишь потому, что Мартова поддержал в этом случае ряд делегатов, не входивших в организацию «Искры»: представители «Южного Рабочего» и еврейского Бунда, «рабочедельцы», в то время как большинство делегатов-«искровцев» явно тяготело к организационным взглядам Ленина.

Потерпев поражение на первом параграфе, Ленин с тем большей энергией стал бороться не только за другие параграфы устава, но прежде всего за то, что, с точки зрения его организационных планов, было важнее устава — за личный состав партийного центра**, за создание «последовательного, честного искровского министерства», что ему и удалось, потому что «неожиданный уход Бунда сразу изменил все положение... Мы оказались в большинстве и провели в ЦК уже тех, кого хотели» (см. доклад Ленина съезду Заграничной Лиги, собравшемуся в октябре 1903 года). Но необходимой предпосылкой создания такого «министерства» из «вполне спевшихся» между собой «искровцев» оказались, однако, ввиду обнаружившихся разногласий, не только тщательный подбор членов Ц. К., но и реорганизация редакции «Искры». 19-ю голосами против 17 при 3 воздержавшихся (члены редакции не принимали участия в голосовании) съезд отклонил предложение Троцкого — утвердить старую редакцию в полном составе — и постановил выбрать только

* Соображения этого порядка побудили и Плеханова встать на сторону Ленина: «Проект Ленина может служить оплотом против вхождения в партию представителей всякого рода оппортунизма, и уже по одному этому за “его должны голосовать все противники оппортунизма”».

** Партийный центр должен был состоять из Центрального Органа (которым съезд объявил «Искру»), Центрального комитета и совет партии, в который ЦО и ЦК посылали по два представителя и который возглавлялся избранным на съезде пятым членом (Плехановым). В ЦК съезд избрал тайным голосованием трех членов, получивших право — при условии единогласия — самопополняться кооптацией.

трех редакторов, с предоставлением им такого же права самопополнения кооптацией, какое получил избранный на съезде 3-членный Ц.К.

На это постановление Мартов, от своего имени и от имени Аксельрода, Засулич и Потресова, ответил заявлением об их общем отказе быть кандидатами в редакционную «тройку»: «для всех не тайна», говорил он, «что дело при этой реформе идет не о “работоспособности” (отдельных членов старой редакции), а о борьбе за влияние на Ц.К. Большинство редакции показало, что оно не желает превращения Ц.К. в орудие редакции. Вот почему понадобилось сократить число членов редакции... Вместе с большинством старой редакции я думал, что съезд положит конец “осадному положению” внутри партии и введет в ней нормальный порядок. В действительности осадное положение с исключительными законами против отдельных групп продолжено и даже обострено».

На это Ленин отвечал: «Борьбой за влияние была до сих пор вся деятельность “Искры”, как частной группы, а теперь речь идет уже о большем, об организационном закреплении влияния... Мартов ставит мне в вину это желание влиять на Ц.К., а я ставлю себе в заслугу, что я стремился и стремлюсь закрепить это влияние организационным путем... По отношению к неустойчивым и шатким элементам мы не только можем, мы обязаны создавать “осадное положение”, и весь наш устав партии, весь наш утвержденный отныне съездом централизм есть не что иное, как “осадное положение” для столь многочисленных источников политической расплывчивости».

Отказавшись от участия в редакционной «тройке» (при выборах ее было подано 23 голоса за Плеханова, 22 за Мартова и 20 за Ленина), «меньшевики»* отказались и от участия в выборах Ц.К., равно как и от вхождения в него путем кооптации. Распад «искровской» организации на враждующие между собой фракции стал совершившимся фактом.

С номера 46 (август 1903 г.) «Искра» начала выходить под новой, двучленной редакцией Ленина и Плеханова. Их старания привлечь к сотрудничеству членов старого коллектива были безуспешны. В России избранный съездом трехчленный Ц.К. (Кржижановский,

* То есть оставшиеся в меньшинстве по вопросу о личном составе центров — в противоположность «большевикам», получившим большинство.

Ленгник[462], Носков[463]), пополнившийся вскоре другими большевиками (Красин, Гальперин[464] и др.), пытался проводить политику «осадного положения» — распускать одни комитеты, менять по своему усмотрению состав других и т. п. Попытки эти встречали сопротивление, вели к расколам, к образованию на местах параллельных организаций. Организационная междоусобица грозила парализовать всю политическую работу партии — как раз тогда, когда одна за другой следовали грандиозные рабочие забастовки, сопровождавшиеся демонстрациями и столкновениями с полициею и войсками, когда стали учащаться крестьянские волнения и когда лихорадочное возбуждение начало охватывать «общество» — уже не только учащуюся молодежь, но и людей либеральных профессий, земских деятелей, известные слои промышленной и торговой буржуазии.

Такая организационная практика, оказавшаяся для Плеханова, по его собственному признанию (статья «Централизм или бонапартизм?» в № 65 «Искры»[465]), совершенно неожиданною, привела его к разрыву с Лениным — после того, как один из членов Ц. К-а[466] пытался применить ее и за границей, объявив распущенной Заграничную Лигу за ее отказ ввести в свой состав назначенных им членов и отменить решения, только что принятые ее съездом. Разрыв этот, в свою очередь, побудил Ленина заявить о своем выходе из редакции. Издав один номер в качестве единоличного редактора, Плеханов воспользовался своим правом кооптации: с 53-го номера (25 ноября), через 3 месяца после окончания съезда, «Искра» начала снова выходить под старой редакцией, за вычетом Ленина, но с фактическим участием в редакционной коллегии Л. Троцкого, Б. Кольцова-Гинзбурга и пишущего эти строки, а несколько позже и бывшего «рабочедельца» А. Мартынова-Пиккера[467]. Но теперь газету стали, в свою очередь, бойкотировать большевики и, оставаясь формально «Центральным Органом» партии, «Искра» на деле стала органом меньшевизма. Только в декабре 1904 года Ленину удалось поставить газету «Вперед»[468], ставшую органом большевизма.

На этом, однако, разрушение возведенного 2-м съездом организационного здания не остановилось. В августе 1904 задачу примирения враждующих фракций поставил себе большевистский Центральный комитет. На основе его отказа от практики «осадного положения» в его состав вступили три представителя меньшевиков (Е. Александрова[469], В. Крохмаль[470], В. Розанов). Но положение внутри партии от этого

не улучшилось. Ленин и его единомышленники в России объявили действия Ц.К. нарушающими волю съезда и образовали, в противовес «Объединенному Ц. К-у», «Бюро комитетов большинства»[471], поставившее себе очередной задачей созыв нового съезда. Этот съезд, объявивший себя 3-им съездом партии, состоялся в мае 1905 года. Он изменил устав партии, ликвидировав само учреждение Совета, лишил «Искру» звания Центрального органа и выбрал новый Ц.К., во главе которого встал Ленин. Ему же было поручено издание нового Ц.О. — «Пролетарий»[472]. Меньшевики отказались считать созванный большевиками съезд съездом партии. Но созванная ими одновременно конференция, учитывая фактическое положение дел, не захотела противопоставить большевистскому ЦК свой собственный и ограничилась выбором «Организационного Комитета» (А. Тарасевич[473], В. Гутовский-Маевский[474], Я. Гринцер[475], Л. Хинчук, М. Панин[476]), которому поручила вступить в переговоры с большевистской частью партии*. Переговоры эти успехом не увенчались, и, оставаясь формально в единой партии, большевистская и меньшевистская фракции на деле в течение целого года (до Стокгольмского «Объединительного» съезда в мае 1906 г.) вели совершенно обособленное друг от друга существование: раскол сверху донизу оказался единственным способом дать каждой из враждующих фракций возможность переключить свои силы от внутрипартийной междоусобицы на политическую работу, которой настоятельно требовали события.

2. От организационных проблем к политическим

Создать крепкую, централизованную организацию и идейно объединить партию — эти две задачи, ни одной из которых не смог разрешить учредительный съезд 1898 г., стояли и перед вторым съездом. И этот съезд не сумел обеспечить организационного единства партии. Но он наметил приспособленную к политическим условиям России организационную систему, в рамках которой начинается с этого времени быстрая организационная консолидация и непрерывный рост обеих вышедших из него фракций — «большевистской» и «меньшевистской». В этом смысле можно сказать, что стоявшую перед

---

* Плеханов, увидевший в этом решении санкционирование распада партии, выступил в знак протеста из редакции «Искры». Он вернулся в меньшевистскую фракцию лишь через год.

ним чисто организационную проблему съезд разрешил и стал поэтому настоящей исторической вехой в организационном развитии русской социал-демократии.

Иначе обстояло дело с задачей идейно-политического объединения. С этою задачею съезду справиться не удалось, и теперь, в исторической ретроспекции, вряд ли нужно еще доказывать, что сами организационные разногласия, разделившие на 2-м съезде «искровцев» на «большевиков» и «меньшевиков», были лишь оболочкой начинающегося идейно-политического расхождения, куда более глубокого и, главное, более стойкого, чем уходившие в область прошлого и окончательно ликвидированные съездом разногласия между «экономистами» и «искровцами». Не организационное, а политическое расхождение раскололо очень скоро русскую социал-демократию на две фракции, которые то сближались, то резко сталкивались между собой, но оставались, по существу, обособленными и борющимися между собою партиями и тогда, когда номинально пребывали в рамках единой партийной организации*. И не организационное, а политическое расхождение имело впоследствии — хотя и в совершенно иных исторических условиях — свой резонанс и продолжение в распаде и международного социализма на «коммунизм» и «социал-демократию».

Но тогда, свыше четырех десятилетий тому назад, не только сторонним наблюдателям, но и самим участникам фракционной борьбы далеко не сразу стал ясен политический характер начавшегося раскола. Наоборот, и редкое единодушие всей «искровской» части съезда в программных вопросах, и факт исчезновения «экономизма», как обособленного и теоретически систематизированного течения социал-демократической мысли, давали как будто право думать, что в политических вопросах съезд был полным успехом «Искры», и что только организационная междоусобица омрачила его конец. Да и то, сколько-нибудь крупное принципиальное расхождение между «искровцами» вызвал один лишь параграф организационного устава — о членстве в партии. Но даже и в этом случае некоторые разъяснения, данные Лениным в ходе прений по этому параграфу, побудили П. Б. Аксельрода спросить себя, не «стучится ли он в открытую дверь»,

* Как известно, лишь в 1917 году большевики переименовали свою партию в «коммунистическую», сохранив от прошлого лишь добавочное обозначение «большевики».

раз Ленин в такой мере «идет ему навстречу», на что Ленин, в свою очередь, ответил: «Я вовсе не считаю наше разногласие таким существенным, чтобы от него зависела жизнь или смерть партии».

И действительно, как мы уже знаем, с точки зрения тех организационных взглядов, до которых доработался к тому времени Ленин, гораздо более «существенным» был вопрос о правах и составе центральных учреждений партии. Но то обстоятельство, что непосредственным поводом к расколу послужил даже не вопрос о членстве партии, а вопрос о составе редакции «Искры», и что разделением голосов по этому, гораздо более «узкому» вопросу были определены не только принадлежность членов съезда к той или иной фракции, но и самое название этих фракций, — было как будто лишним доказательством тому, что раскол объясняется лишь разногласиями организационного и даже, еще уже, личного порядка. Так именно и ставил Ленин вопрос в двух открытых письмах, адресованных им в «Искру» после выхода из ее редакции. Но еще значительно позже, в 1904 году, когда фракционная борьба была уже в полном разгаре, Ленин писал в предисловии к своей полемической книге «Шаг вперед, два назад»[477], что «разногласия, разделяющие то и другое крыло в настоящее время, сводятся, главным образом, не к программным и не к тактическим, а лишь к организационным вопросам». Поэтому, и объявляя большевизм революционным крылом партии, а меньшевизм оппортунистическим, он ставит в вину «Новой Искре» лишь «оппортунизм в организационных вопросах». Однако к этому времени сами разногласия по организационному вопросу успели уже передвинуться в другую плоскость.

На съезде этот вопрос обеими сторонами ставился лишь в плоскости той страстной борьбы с «экономизмом» и всяческим «оппортунизмом», под знаком которой «Искра» готовила съезд. Мотивируя свой отказ от участия в редакционной «тройке», Мартов указывал, что сокращение состава редакции понадобилось потому, что большинство ее было против «превращения Центрального Комитета в орудие редакции» для продолжения этой борьбы организационными мерами: «Вместе с большинством старой редакции я думал, что съезд положит конец "осадному положению" внутри партии и введет в ней нормальный порядок. В действительности, осадное положение с исключительными законами против отдельных групп продолжено и даже обострено». Не отрицая указанного Мартовым смысла сокращения,

Ленин, в свою очередь, защищал его тем, что «мы не только можем, но обязаны создавать “осадное положение”», и подтвердил, что в его понимании «весь наш утвержденный отныне съездом централизм есть не что иное, как “осадное положение” для столь многочисленных источников политической расплывчатости». Диктатура «Искры» в партии (а потому и полная политическая надежность редакции ее) нужна для того, чтобы окончательно освободить и на будущее время предохранить партию от всех видов «экономизма» и «оппортунизма», — отстаивая эту точку зрения, Ленин выражал мнение не только большинства «искровских» делегатов съезда, но и весьма значительного числа «искровцев» в самой России*.

Но уже очень скоро споры по организационному вопросу стали переходить из плоскости внутрипартийных отношений в плоскость отношений между партией и рабочими массами. Этот переход был неизбежен, прежде всего, потому, что все более беспредметной стала становиться самая борьба против «экономизма»: как уже было отмечено, после съезда началась его быстрая ликвидация, и его сторонники, за немногими исключениями, растворились в образовавшихся после съезда фракциях, причем большинство из них, естественно, примкнуло к меньшевикам — не только потому, что меньшевики боролись против продления «осадного положения» в партии, но и потому, что в вопросе об отношении между партией и рабочими массами меньшевизм пошел далеко навстречу основным организационным идеям «экономизма». Уже в первом «меньшевистском» номере «Искры» (№ 53) Плеханов, по-прежнему, резко отмежевываясь от «экономистов»-теоретиков, мог, в полном согласии с новой редакцией, писать[478], что между этими теоретиками и «экономистами»-практиками «лежала — по существу их стремлений — целая пропасть»: в то время, как теоретики «экономизма» подготовляли идейно-политическую капитуляцию социализма перед буржуазией, «в активе экономистов-практиков выступает — как цифра чрезвычайно внушительная для социалиста — их ...стремление превратить социализм из дела кружков в дело целого класса».

---

* Автор этой книги, вернувшись заграницу уже по окончании съезда, тогда же писал о «кружковой психологии» многих «молодых искровцев», с которыми ему приходилось беседовать, что они «были «искровцами» в такой степени, что начинали во многих отношениях переставать быть социал-демократами (см. Приложение к брошюре Мартова «Борьба с осадным положением в РСДРП»).

А между тем именно вопрос об отношениях между партией и рабочими массами и, особенно, между выдвинутыми массовым движением передовыми рабочими и профессиональными революционерами-интеллигентами приобретал в бурных условиях тех лет особо важное значение. Это был все тот же вопрос, который, как мы видели, возник при самом зарождении рабочего движения в конце 70-х годов и принял довольно резкие формы в ходе и результате стачек 96–97 гг. И в оболочке этого организационного вопроса вставали все те же проблемы сочетания экономических мотивов, непосредственно приводивших в движение рядовую рабочую массу, с тою решающей ролью в разрешении политических задач, которая навязывалась русскому рабочему классу всеми условиями его собственной борьбы и к которой хотела систематически готовить его вся «искровская» социал-демократия. Но только и этот вопрос, и эти проблемы встали перед социал-демократией с особой остротой, когда, охватив миллионы рабочих и перекидываясь в деревню, революционное движение начало вовлекать в свой круговорот и имущие классы общества, и когда центр тяжести самого рабочего движения начал перемещаться из сравнительно отсталой текстильной промышленности в передовую металлическую, располагавшую гораздо более значительными кадрами высококвалифицированных и интеллигентных рабочих.

Радикальное очищение партии от остатков «экономизма» методами «осадного положения» ни в какой мере не разрешало проблем, вытекавших из природы самого движения рабочих масс. Их предполагаемая неспособность подняться собственными усилиями выше «тред-юнионистского сознания» («Что делать?») создавала постоянную опасность уклонения их от тех революционных политических задач и от той революционной политической борьбы, которых требовали в данный исторический момент их собственные классовые интересы. Диктатура «Искры» над партией должна быть дополнена диктатурой партии, революционного авангарда пролетариата, над массами самого рабочего класса, чтобы эта опасность могла быть предотвращена. И мы читаем в резолюции одного из большевистских комитетов, цитированной П. Аксельродом («Искра» № 55): «признавая, что при настоящих условиях насильственный переворот в России можно провести, лишь опираясь на готовую к повиновению и к открытому восстанию рабочую массу крупных промышленных центров, мы главным центром нашей работы ставим организацию

рабочего класса». Еще ярче выражены те же мысли и настроения в письме представителей трех Уральских комитетов, напечатанном в № 63 «Искры» (1 апреля 1904). Обрисовав различие между политическим рабочим движением и профессиональным, в котором «роль революционной интеллигенции пассивна», а «движением руководят местные рабочие», и поставив «экономистам» в упрек, что «на интеллигенцию, т. е. на революционную социал-демократию, они смотрят свысока», письмо говорит: «подготовка пролетариата к диктатуре — такая важная организационная задача, что ей должны быть подчинены все прочие. Подготовка состоит, между прочим, в создании настроения в пользу сильной, властной пролетарской организации... Можно возразить, что диктаторы являлись и являются сами собой. Но так не всегда было, и не стихийно, не оппортунистически должно быть в пролетарской партии. Здесь должны сочетаться высшая степень сознательности с беспрекословным повиновением — одно вызывать должно другое (сознание необходимости есть свобода воли)».

Из сферы внутрипартийных отношений «авторитарный» принцип переносился, таким образом, в сферу отношений между партией и рабочим классом. И Ленин дал опять-таки лишь обобщающее выражение этому новому этапу в развитии организационной мысли большевизма, когда в своей книге «Шаг вперед, два шага назад» противопоставил «бюрократический» централизм «демократическому», как настоящий организационный принцип революционной социал-демократии, и провозгласил «дисциплину» не только основною потребностью пролетарской организации и пролетарского движения, но и основною добродетелью пролетарской психологии. Только интеллигенту-индивидуалисту дается трудно подчинение дисциплине. Рабочий приучен к ней самими условиями своего иерархически организованного труда. И если интеллигентные выходцы из буржуазной среды являются носителями революционно-социалистического сознания в рабочем движении, то пролетарии являются носителями принципа дисциплины в нем. Антиреволюционный и антипролетарский характер меньшевистского «оппортунизма в организационных вопросах» и заключается в его «вражде к бюрократической идее построения партии сверху вниз», в его отталкивании от пролетарской дисциплины и, наоборот, потакательстве анархическому индивидуализму слабонервных интеллигентов. «Дисциплина» становится с этих пор основным организационным лозунгом большевизма.

А на упреки, что вся его организационная система имеет диктаторский, «якобинский» характер, Ленин отвечает: «Якобинец, неразрывно связанный с организацией пролетариата, сознавшего свои классовые интересы, это и есть революционный социал-демократ» (с. 100).

В обратном направлении разрешал ту же проблему отношения между партией и рабочим классом меньшевизм: не к беспрекословному повиновению приказам властного партийного центра должна приучать социал-демократия рабочую массу, а к самостоятельным, свободным и организованным действиям. «Задача развития классового самосознания и политической самодеятельности должна определять собою не только тактику, но и организацию социал-демократической партии», говорит резолюция[479], принятая меньшевистским большинством съезда Заграничной Лиги (26–31 октября 1903 г. Женева). Господство авторитарных организационных методов в партии «лишило бы ее возможности выполнить свою ближайшую историческую миссию — подготовить российский пролетариат к самостоятельной политической роли в период революционного разрушения самодержавного государственного строя России». Необходимо поэтому «повести в рамках партийного устава систематическую борьбу против тенденций к бюрократическому централизму во имя централизма истинно социал-демократического, необходимого для объединения российского пролетариата в самостоятельную политическую партию». В противоположность большевистской «дисциплине» основным организационным лозунгом меньшевизма становится с этих пор — рабочая «самодеятельность».

Но, переходя от внутрипартийных отношений к отношению между партией и рабочим классом, фракционные споры вступали как раз в ту область, где организационные проблемы непосредственно сливаются с политическими. Выяснение этой связи, а тем самым и инициативу перевода на политические рельсы тех организационных разногласий, которые раскололи партию на две фракции, взял на себя П. Б. Аксельрод («Объединение российской социал-демократии и ее задачи». «Искра» № 55 от 15 дек. 1903 г. и № 57 от 15 января 1904 г.)[480].

Примат политических задач над задачами руководства экономической борьбою пролетариата и инициативная, руководящая роль социал-демократии, ее «гегемония» во «всенародной» борьбе за политическое освобождение — таковы были, как мы видели, основные идеи «искровской» платформы: «Объединить под своим знаменем все

демократические элементы страны и завершить упорную борьбу целого ряда погибших поколений конечным торжеством над ненавистным режимом» — этим призывом кончалось «Заявление», в котором редакция «Искры» излагала свое понимание исторических задач русской социал-демократии. Во имя этого «объединения» она и открывала страницы социал-демократического органа «для разоблачения всех гнусностей русского самодержавия» не только социалистам, но «всем, кого гнетет и давит современный политический строй». Во имя него она и звала социал-демократов, в свою очередь, «идти во все классы населения», чтобы нести им проповедь беспощадной борьбы против царизма.

Большевизм явился, несомненно, продолжателем этой политической традиции «Искры». Именно для того, чтобы сделать социал-демократию способной сосредоточить все свои силы на борьбе с самодержавием и играть в этой борьбе руководящую роль, Ленин и требовал диктатуры «твердых» искровцев в партии и «осадного положения» против «неустойчивых и шатких элементов», а большевистские комитеты — борьбы с «тред-юнионистскою» ограниченностью рабочих масс путем их «дисциплинирования», воспитания в духе «беспрекословного повиновения» директивам «сильной и властной» партийной организации. И лишь крайнее выражение искровской идее примата политической борьбы и «ультраполитическим» настроениям профессиональных революционеров-большевиков того времени дал выбранный на 2-м съезде большевистский Центральный комитет, когда закончил одну из первых прокламаций, изданных им по случаю русско-японской войны («Ко всем гражданам», январь 1904 г., цит. в передовой № 62 «Искры», от 15 марта 1904 г.), обещанием, что «перед алтарем народной свободы почтительно склонит свое боевое красное знамя единая Р.С.Д.Р.П.».

Как было уже не раз подчеркнуто, и русскому марксизму, с самого его возникновения, пришлось считаться с теми противоречиями борьбы за демократию в экономических, социальных и политических условиях России, над которыми билось и о которое разбилось народничество: перед русской социал-демократией эти противоречия встали в виде двуединой, но внутренне противоречивой задачи — сочетания борьбы за политическое освобождение буржуазного общества с борьбой за организацию социалистического движения рабочего класса. Мы упоминали о том, как группа «Освобождение труда» пыталась

теоретически разрешить это основное противоречие своей программы и как именно Аксельрод оказался родоначальником того нового разрешения этой проблемы, которое было воспринято «Искрой», — идеи инициативной, руководящей роли социал-демократии во «всенародной» борьбе за политическую свободу, ее «гегемонии», для подготовки и осуществления которой нужно лишь «расширение объема агитации и пропаганды вопросами, представляющими собою узловые пункты», в которых интересы пролетариата «сходятся и переплетаются» с интересами других классов, оппозиционных самодержавию. Но при первом же столкновении с реальностью все более бурно вздымающегося массового рабочего движения, вовлекшего в водоворот политической борьбы другие классы населения, начала вскрываться практическая несостоятельность и этой, теоретически законченной, формулы, и тот же Аксельрод первым забил тревогу.

«Влияние пролетарского или социал-демократического элемента в современном революционном движении России может выразиться лишь в том, что подготовительный процесс буржуазной революции явится в то же время процессом политического воспитания и объединения рабочих масс в партию революционного социализма», пишет он в упомянутых статьях. Об этом надлежит особенно помнить «в такие бурные моменты», как переживаемый Россиею, потому что «историческая стихия... толкает наше движение в сторону буржуазного революционизма — наперекор нашим желаниям и нашему сознанию». Таким образом, в том, что «стихия» русского политического и социального развития толкает русское рабочее движение к «буржуазности», сходятся Ленин и Аксельрод. Но в то время как Ленин видит основную причину этого явления в неспособности рабочего класса собственными силами перешагнуть через «тред-юнионистское» сознание к «классовому», социалистическому и возлагает свои надежды на революционную интеллигенцию, которая внесет в рабочие массы недостающее им социалистическое сознание «извне» — Аксельрод, соглашаясь с тем, что по историческим условиям развития русского пролетариата «в нем самом не было элемента, способного взять на себя дело пробуждения его от глубокого исторического сна и выведения его на арену исторической активности», видит главную опасность именно в том, что «эту задачу должен был взять на себя посторонний ему (пролетариату) элемент — радикальная интеллигенция».

Создалось положение, говорит Аксельрод, при котором российская социал-демократия «только стремится стать политической организацией рабочих масс», а на деле «пока является еще преимущественно организацией принципиальных сторонников пролетариата среди революционной интеллигенции». Между тем «само тяготение радикальной интеллигенции к социализму и к пролетариату объективно, исторически, в конечном счете вызывается и обусловливается не классовой борьбой последнего, а общедемократической потребностью всех наций и классов избавиться от гнета пережитков крепостнической эпохи». А вследствие такой «общедемократической» окраски интеллигентского социализма, «с перемещением центра нашей партийной деятельности в сферу агитации на почве общедемократического антагонизма пролетариата с царским самодержавием, всякое революционизирование рабочих масс с целью "вовлечения их в борьбу" с ним приобрело в кругу многих социал-демократов такое же значение универсального средства классового воспитания этих масс, каким прежде была для них агитация узкоэкономическая. Между нашими политическими задачами в современной России и общедемократической злободневной задачей борьбы с царско-полицейским режимом — лишь бы во главе масс в этой борьбе шла социал-демократия — поставлен был знак равенства».

Бывший в свое время инициатором борьбы против «экономизма», Аксельрод теперь с такою же энергией обращает оружие своей критики против ультраполитицизма», видя в нем — в изменившихся условиях — такое же орудие политического подчинения пролетариата буржуазии, каким раньше был «экономизм»: «если последним словом социал-демократического тред-юнионизма была пропаганда политической опеки либеральной интеллигенции над пролетариатом, то последним словом увлечения "политикой" в указанном одностороннем смысле была бы отдача рабочих масс под команду революционных элементов буржуазии, хотя бы по обстоятельствам места и времени элементам этим и приходилось осуществлять свою миссию под флагом социал-демократии»*.

Развивая дальше положения, формулированные в цитированной выше резолюции Заграничной Лиги, статьи Аксельрода (он был глав-

* В таком же духе высказались, после Аксельрода, о политическом значении большевистского «бюрократического» централизма видные «левые» теоретики германской социал-демократии — Карл Каутский, Роза Люксембург, Парвус.

ным соавтором этой резолюции) провозглашают «развитие классового самосознания и политической самодеятельности рабочих масс, объединение их в самостоятельную революционную силу под знаменем социал-демократии» уже не одной из сторон двуединой задачи, поставленной именно перед русскою социал-демократией своеобразием русского революционного развития, а такою же однозначною «целью», какою это развитие и объединение является для западноевропейского социалистического движения, — целью, которой должна быть подчинена политическая борьба, как «средство» создания «предварительных условий» для «прямого и непосредственного выполнения» этой, единственно подлинной исторической задачи русской социал-демократии. Но история «за нашей спиной доставила преобладающую роль в нашем движении не цели, а средству, не нашей основной, принципиальной задаче, а тем исторически более элементарным задачам, без, по крайней мере, частичного осуществления которых не было объективной возможности последовательно и всесторонне преследовать первую. Этим самым в развитие русской социал-демократии внесено было противоречие, которое проходит красной нитью через все его фазисы»*.

Но констатировать наличие этого противоречия между классово-социалистическими и общеполитическими задачами русской социал-демократии на самом пороге быстро надвигавшейся революции — значило констатировать его практическую неразрешенность теми рационалистическими методами, которыми русский марксизм пытался теоретически преодолеть его за 20 лет своего существования. В реальности русской жизни и русского революционного движения не оказывалось возможности органического и гармонического сочетания тех двух сторон двуединой задачи, которые одинаково возникали из этой жизни и этого движения и одинаково навязывались ими российской социал-демократии. В реальной жизни русская социал-

* Свою вторую статью Аксельрод заканчивает выражением мнения, что «только теперь, после того, как интеллигентская социал-демократия довольно далеко подвинулась вперед в выполнении указанной задачи («революционизировании пролетариата»)... ее политическое руководство рабочими массами постепенно станет синонимом политической самостоятельности пролетариата». Но этот оптимистический прогноз, рассчитанный на интеллигентскую по преимуществу аудиторию, Аксельрод не только не находит обоснования в данном им анализе, но стоит в резком противоречии с результатами этого анализа.

демократия могла осуществлять свою «двуединую» задачу лишь тем, что сама раскололась на две фракции, которые ожесточенно боролись друг с другом, но в то же время были своего рода политическими «сиамскими близнецами», потому что каждая из них выражала (и, как это всегда бывает в борьбе, в одностороннем и зачастую утрированном виде) одну из двух одинаково жизненных и необходимых тенденций русского рабочего движения в условиях нарастающей революционной борьбы с царским самодержавием и потому что лишь в своей совокупности они отвечали всей полноте той «двуединой» задачи, которую история поставила перед этим движением. В этом смысле о большевизме и меньшевизме можно сказать еще с большим правом, чем сказал в свое время Плеханов (см. выше) о фракциях революционного народничества, что в исторической ретроспекции они оба были «правы, каждый по своему, потому что, при всей своей односторонности, каждый из них выражал известную насущную потребность русской общественной жизни».

Конечно, принципиально, теоретически и меньшевизм, и большевизм одинаково признавали «двусторонность» задач, стоявших перед русской социал-демократией и формулированных в ее программе, принятой 2-ым съездом и, вплоть до окончательного крушения царизма в революции 1917 года, остававшейся общей обеим фракциям, и одинаково стремились воплотить в своей деятельности обе тенденции движения — общедемократическую и социалистическую. Но на практике, в своих политических, тактических и организационных построениях они неодинаково распределяли ударение между этими тенденциями: большевизм формировался как носитель преимущественно общедемократических и политических тенденций движения, меньшевизм — как носитель преимущественно классовых и социалистических тенденций его.

Этот основной характер обеих фракций в значительной степени определил собою сферу их влияния в рабочей среде: главной опорой меньшевизма стал передовой металлургический юг и такие высококвалифицированные профессии, как печатники; главной опорой большевизма — текстильный центр и отсталая металлургия Урала. Но этот же основной характер обеих фракций определил собою, как мы еще увидим, ту специфическую роль, которую каждая из них сыграла в ходе развития русского рабочего движения и русской революции. И для противоречивых условий этого развития в высшей степени характерно,

что, как бы по парадоксальной иронии истории, конечный пункт эволюции их обеих оказался прямо противоположным их отправному пункту: большевизм и меньшевизм как бы поменялись ролями.

Но эта эволюция была еще делом будущего. Сейчас же, в условиях самодержавия, еще сохраняющего в неприкосновенности режим несвободы и располагающего мощным аппаратом репрессии, но уже расшатываемого все более сильными ударами революционного движения, специфический психологический облик и начинающаяся поляризация политической мысли обеих фракций нашли себе характерное выражение в тех политических проблемах, которые каждая из них поставила в центр своего внимания. Для большевизма такою центральной проблемой начало все больше становиться обеспечение за социал-демократией руководящей роли в подготовке того «всенародного вооруженного восстания», которое должно было быть последним, кульминационным актом всенародного, общедемократического натиска на крепость самодержавия; для меньшевизма — использование всех создаваемых расшаткой самодержавия возможностей для формирования политически высококвалифицированного рабочего авангарда, который был бы способен перенять из рук «революционной интеллигенции» политическое руководство пролетариатом и тем обеспечить его классовые интересы в ходе всенародного наступления и конечной атаки на царизм.

Но ставя в центр своего внимания столь различные политические проблемы, и большевизм, и меньшевизм одинаково, хотя и с разных концов, еще раз возвращали мысль социал-демократии все к тому же основному вопросу ее политического бытия — вопросу об ее роли в буржуазно-капиталистической революции, какою продолжали признавать грядущую русскую революцию обе фракции. Пришлось, таким образом, еще раз подвергнуть критическому пересмотру проблему той «гегемонии», которая, казалось, так счастливо разрешала этот жгучий вопрос и для осуществления которой требовалось лишь расширение содержания социал-демократической агитации темами «общенационального» масштаба и несение этой агитации «во все классы населения». Теперь этого простого разрешения проблемы оказывалось недостаточно. Вопрос о формах и содержании «гегемонии» требовал нового ответа. И каждая из формирующихся фракций дала по-своему этот ответ, делая тем самым еще более определенным политический водораздел между большевизмом и меньшевизмом.

Уже не о «расширении содержания агитации» говорит статья Аксельрода, а об «активном вмешательстве в общественную и политическую жизнь» рабочего авангарда под руководством социал-демократии. И уже не как путь к превращению в политического руководителя «всенародного» освободительного движения рекомендуется это вмешательство, а как «лучшая, чтобы не сказать единственная, школа для развития классового самосознания пролетариата». «Гегемония» представлялась специфической задачей русской социал-демократии, навязывавшейся ей, в отличие от западноевропейской, специфическими особенностями отсталой страны, в которой имелись уже экономические и социальные предпосылки для развития классовой борьбы между пролетариатом и буржуазией, но не имелось еще «предварительных» политических условий, необходимых для свободного развития этой борьбы. Теперь, в качестве аргумента в пользу «активного вмешательства», Аксельрод ссылается уже не на специфические особенности русской социал-демократии, а именно на практику «западной» социал-демократии, которая, «развивая политическую самостоятельность пролетариата, этим самым развивает и его классовое самосознание», и продолжает: «Систематически вовлекая рабочие массы в непосредственные столкновения и прямую борьбу со всею совокупностью буржуазных идеологов и политиков (в том числе, подчеркивает Аксельрод, и тех, «которые выступают в роли представителей и выразителей так называемого общественного мнения и интересов "всего народа", "всей страны", а в действительности являются не более, как идеологами, вождями, руководителями и просто политическими дельцами эксплуататорских классов»), социал-демократия конкретно вскрывает перед ними непримиримый антагонизм интересов пролетариата с господством буржуазии».

Сосредоточение внимания на раскрытии «непримиримого антагонизма» между интересами пролетарского сектора освободительного движения и интересами его буржуазного сектора имеет, очевидно, мало общего с выдвиганием на первый план тех «узловых вопросов», в которых интересы рабочего класса «сходятся и переплетаются» с интересами всех других участников этого движения. И тем не менее в тактических построениях Аксельрода, легших в основу всей будущей тактики меньшевизма, эти оба, столь различные и даже противоположные метода сочетаются друг с другом. Потому что — и здесь аналогия с Западом для Аксельрода кончается — в отсталой России

раскрытие «непримиримого антагонизма» отнюдь не должно служить задаче мобилизации рабочего класса на непосредственную борьбу против «господства буржуазии», как оно служит в политической практике западноевропейской социал-демократии. В отсталой России оно должно быть лишь орудием классового «воспитания» пролетариата, лишь «школой» для развития его «классового самосознания», а потому сознательного примирения его с «господством буржуазии», как исторически предопределенным итогом русской революции.

Но переносить центр тяжести партийных задач в сферу классовой политической педагогики и подготовки пролетариата к той роли, которую ему придется играть в будущей, социалистической революции, значило на деле отказываться от «возглавления» той не будущей, а настоящей революции, которая бурно назревала в России, и удовлетворяться — по выражению, которое вряд ли случайно соскользнуло с пера Аксельрода — борьбой за «влияние пролетарского или социал-демократического элемента» в ней, это значило предоставлять руководящую роль в разрешении «всенародной» задачи революции — задачи замены царской власти властью революционной — непролетарским, буржуазным социальным силам, стремясь обеспечить за пролетариатом лишь роль влиятельной оппозиции, «толкающей» буржуазию к политическому радикализму и вынуждающей ее к существенным экономическим и социальным уступкам рабочему классу; это значило, по существу, ликвидировать всю концепцию «гегемонии».

В теории меньшевизм от этой концепции никогда не отказывался и впоследствии не раз еще апеллировал к ней и вводил ее в свои политические расчеты. На деле он, в основном, возвращался через 20 лет к первоначальной концепции группы «Освобождение труда» — концепции, ориентированной, как мы видели, на «торжество буржуазии» («Наши разногласия») и на борьбу за «возможность активного и плодотворного участия рабочего класса в будущей политической жизни России» (первый проект программы Группы, 1884 г.)[481], а проблемы совершения буржуазной революции силами рабочего класса, разрешавшей рационалистическими расчетами на такой подъем «классового самосознания» пролетариата, который сделает его способным рационально дозировать «поддержку капитализма в борьбе с реакцией» и «непримиримую вражду к тому же капитализму в борьбе его с рабочей революцией будущего».

Однако ликвидировал концепцию «гегемонии» не только меньшевизм. Ее ликвидировал на деле и большевизм — только в направлении, прямо обратном меньшевистскому. И перед большевизмом встал вопрос о недостаточности «расширения содержания агитации» и несения ее «во все классы населения» для обеспечения за социал-демократией руководящей роли в буржуазной революции. Но, как еще увидим, ответ Ленина на вновь вставший перед социал-демократией вопрос гласил: диктатуру большевизма над партией и диктатуру партии над рабочим классом надо дополнить диктатурой рабочего класса в лице большевистской партии над всеми другими социальными силами, участвующими в революционном процессе.

Действительная ликвидация концепции «гегемонии» в политических построениях обеих фракций социал-демократии происходила лишь постепенно. Ибо сама эта ликвидация отнюдь не была плодом лишь чисто теоретических выкладок: она совершалась в ходе практических соприкосновений и столкновений социал-демократии с буржуазным либерализмом и революционизированным либеральным народничеством, возродившемся в лице партии социалистов-революционеров. А политическое оформление представленных этими течениями социальных пластов и превратило революционное движение интеллигенции и рабочих в то «освободительное движение», которое придало революции характер «всенародный».

3. «Освободительное движение»

«Стремясь к достижению своих ближайших целей, РСДРП поддерживает всякое оппозиционное и революционное движение, направленное против существующего в России общественного и политического порядка», — гласил предпоследний параграф программы, единогласно принятой съездом. На этот параграф прямо ссылается резолюция об отношении к либералам, внесенная Потресовым, поддержанная всею меньшевистскою частью редакции «Искры» и принятая съездом. Но и другая резолюция по тому же вопросу, внесенная Плехановым и Лениным и тоже принятая съездом, начинается с указания, что «социал-демократия должна поддерживать буржуазию, поскольку она является революционной или только оппозиционной в своей борьбе с царизмом», и потому «приветствовать пробуждение политического сознания в русской буржуазии». И все же был прав

делегат «Южного рабочего» Егоров-Левин[482], когда заметил: «В программе мы говорим, что должны поддерживать всякое оппозиционное и революционное движение. Таких движений у нас два: либеральное и социально-революционное. Оказывается, что на оба эти движения мы смотрим отрицательно. Выходит: как только движение принимает конкретные формы, — вон его! Где же выход из этого противоречия?»

В самом деле. Резолюция Потресова высказывалась за допустимость «временных соглашений» с «либеральными или либерально-демократическими течениями»; но условием таких соглашений она делала, между прочим, «ясное и недвусмысленное» заявление этих течений, что «в своей борьбе с самодержавным правительством они становятся решительно на сторону российской социал-демократии» и «не выставят в своих программах требований, идущих в разрез с интересами рабочего класса и демократии вообще или затемняющих их сознание», — то есть, по существу, отказ этих течений от их буржуазной и либеральной природы. Единственным же выводом резолюции Плеханова–Ленина была «настоятельная рекомендация» всем членам партии «обращать в своей пропаганде внимание рабочих на антиреволюционный и противопролетарский характер того направления, которое выразилось в органе г. П. Струве», то есть в «Освобождении», — «другого же (либерального) течения нет», подчеркнул сам Плеханов в своей речи.

Не иначе обстояло дело и с отношением к партии социалистов-революционеров. Резолюция, составленная П. Аксельродом и единогласно принятая съездом, объявляла их деятельность вредной для дела социализма, потому что они «теоретически и практически противодействуют усилиям социал-демократии сплотить рабочих в самостоятельную политическую партию, стремясь, наоборот, удержать их в состоянии политически-бесформенной массы, способной служить лишь орудием либеральной буржуазии». Резолюция отказывается поэтому считать эсеров социалистами и «констатирует, что они являются не более, как буржуазно-демократической фракцией». Но и в качестве такой фракции социалисты-революционеры «оказываются совершенно несостоятельными» — именно потому, что «свои буржуазные тенденции преследуют под флагом социализма». Поэтому «съезд считает их деятельность вредной не только для политического развития пролетариата, но и для общедемократической борьбы против абсолютизма».

«Противоречие здесь только видимое» — пытался ответить на вопрос, поставленный Егоровым, Мартов. Но для этого ему надо было от специфических условий России апеллировать к Западной Европе, где «рост социал-демократии сопровождается упадком буржуазно-демократических партий» и где социал-демократия «убивает» эти партии тем, что «революционизирует сознание их адептов и привлекает в свои ряды их бывших сторонников». Мартов не решал ту проблему взаимоотношения между социал-демократией и либерально-демократическими течениями в процессе подготовления буржуазной революции, над которой билась русская марксистская мысль, а обходил эту проблему, когда, отождествляя условия деятельности русской социал-демократии и западноевропейской и потому подменяя задачу «поддержки» буржуазии задачей ее «убиения», продолжал: «Не иначе должна действовать и русская социал-демократия. Она тем и поддерживает всякое оппозиционное и революционное движение, что ставить "перед ним дилемму — или пойти вперед, или утратить влияние на пробудившиеся общественные элементы, которым социал-демократия указывает место в своих рядах"».

Но никак не разрешал проблемы и ответ, данный Аксельродом на вопрос о том, «как примирить на практике наше принципиально-антагонистическое отношение» к буржуазным движениям «с тактическим положением о поддержке их в борьбе с реакцией». Применительно к либералам ответ этот гласил: «Принимая во внимание политическую пассивность нашей либеральной буржуазии, о правильной поддержке ее российской социал-демократией, в буквальном смысле, пока что не может быть и речи. В настоящий момент для того, чтобы ее на практике "поддерживать", мы должны систематически использовать оппозиционное и революционное настроение высших классов в интересах развития революционной самодеятельности и политической самостоятельности "в рабочих массах"». «Вывод этот с первого взгляда кажется парадоксальным» — счел нужным сам Аксельрод прибавить к своему разъяснению. Но не менее парадоксальным должен был показаться и его вывод о социалистах-революционерах. «Партия с[оциалистов-]р[еволюционер]ов в одно и то же время вредит делу социализма и освободительной борьбе против самодержавия», напомнил еще раз Аксельрод, чтобы прийти к заключению: «Поэтому, за исключением редких конкретных случаев, и о практической поддержке партии с[оциалистов]-р[еволюционеров],

в качестве революционно-буржуазной партии, социал-демократии также серьезно говорить не приходится».

На самом деле «парадоксальность» практического истолкования теоретически как будто совершенно ясного пункта программы свидетельствовала не только о противоречивости задачи, стоявшей перед русской социал-демократией и формулированной в этом пункте, но и о той «неясности» в отношении к этой задаче, которую еще в июле 1901 года отметил сам Аксельрод в своей переписке с Плехановым. Переписка эта возникла в связи с написанной Лениным статьею «Гонители земства и Ганнибалы либерализма»[483]. В этой статье Ленин резко критиковал предисловие Струве к доставленной ему из либеральных земских кругов и, по соглашению с ним, изданной «Искрой» секретной записке С. Ю. Витте о русском земстве[484]. Плеханов (впоследствии на съезде солидарный, как мы видели, с Лениным в отношении к Струве) в то время был против помещения этой статьи в «Заре», для которой она предназначалась: «Мы ведь должны относиться к либералам как к возможным союзникам», писал он Ленину, «а тон у вас, надо сознаться, совсем не союзнический... Вы говорите как враг, а надо говорить как союзник (хотя бы только в возможности)»[485]. Наоборот, Аксельрод, считая данную в статье «критику либерализма русского и предисловия, в частности, по существу справедливой», находил невозможным отказываться от печатания статьи «из-за одного только резко полемического тона» — «хотя бы уже потому», прибавлял он, «что мы сами до сих пор не выяснили себе как следует и не столковались относительно линии поведения. Очевидно, настало время для этого»[486].

И действительно, необходимость выработки практической «линии поведения» в этом вопросе начала становиться все более очевидной по мере того, как сами либерально-демократические движения буржуазных слоев общества стали из теоретического предвидения превращаться в практический фактор русской общественной жизни, а вместе с тем начала, как мы видели, вскрываться несостоятельность тех более или менее отвлеченных и рационалистических формул, которым русский марксизм пытался разрешить противоречивую проблему в теории.

Идейно-политическое оформление и организационное сплочение либерально-демократических течений совершалось в атмосфере и под непосредственным воздействием все сильнее охватывавшего

страну революционного брожения, начало которому положило и в центре которого стояло начавшееся со второй половины 90-х годов движение рабочих масс. Но еще до того, в 1893 году, была сделана попытка образования организации определенно либерально-демократического типа. Инициаторами этой организации чисто интеллигентской по своему составу, принявшей название партии «Народного права»[487], явились вернувшиеся к тому времени из ссылки бывшие «землевольцы» (Натансон, Тютчев[488] и др.), к которым примкнули как старые деятели легального народничества (Михайловский), так и более молодые элементы радикальной интеллигенции (А. Богданович[489] и будущий теоретик партии с[оциалистов]-р[еволюционеров] В. М. Чернов).

«Народное право» ни в какой мере не было продуктом массового движения, которое тогда существовало еще лишь в зачаточной форме, но которому суждено было через 3–4 года отметить собою наступление нового, предреволюционного периода в политической истории России. Наоборот, «народоправцы» лишь подводили итоги тому, наступившему после крушения «Народной воли», но уходившему уже в прошлое, периоду относительного политического затишья с его начальным увлечением «культурничеством» и «малыми делами» и последующим разочарованием, о котором мы имели случай говорить выше. И Мартов* совершенно верно говорит о «Народном праве», что его «реальным базисом явилось то сближение демократического по своему составу "третьего элемента" с передовой частью земских деятелей, которое совершилось в течение 80-х годов на совместной культурной работе, под градом сыпавшихся на обе социальные группы преследований реакции». Но поэтому и «основной посылкой для успеха» выдвинутой «Народным правом» программы «революционного конституционализма» (ее обоснование дал А. Богданович в брошюре «Насущный вопрос») «являлся отказ от социализма, от лозунгов, требований и методов работы, предполагавших возбуждение социальной розни в народных массах».

Запоздалое отражение сочетания общественных сил и идей, уходившего уже в прошлое, «Народное право» оказалось маложизнеспособным и не смогло оправиться от арестов, уже в 1894 году разгро-

* А. Егоров (Мартов). Зарождение политических партий и их деятельность. В томе 1-м сборника «Общественное движение в начале XX века».

мивших его организацию. Лишь через 5–6 лет «народоправческие» идеи были восприняты так называемой «Рабочей партией Освобождения России», близко к которой стоял Г. А. Гершуни, будущий организатор «Боевой Организации» партии с[оциалистов]-р[еволюционеров]. И эта «Рабочая партия», имевшая ограниченный район действия в западной части России, долго не просуществовала. Но, возникнув на самом пороге 20-го века в условиях нараставшего революционного возбуждения, она не исчезла бесследно, как «Народное право», а стала, вместе с рядом других групп, составною частью того общественного конгломерата, из которого родилась партия социалистов-революционеров*.

В противоположность социал-демократической партии партия социалистов-революционеров сложилась не в процессе объединения местных организаций и централизации их работы. Она возникла «сверху», из слияния небольших русских и заграничных кружков, возникших или оживившихся под влиянием событий конца 90-х годов. Одинаково «народнические» по своим общим настроениям, кружки эти отличались большой идейно-политической пестротой. Если западнорусская группа склонялась, как мы видели, к «народоправству», то программа (1899 г.) северо-восточной группы, принявшей название «Союза социалистов-революционеров», ориентировалась на связь с массовым движением, настаивая в то же время, в отличие от марксистов, на равноценности крестьянского движения с рабочим. Наоборот, «манифест», выпущенный в 1901 году от имени «партии социалистов-революционеров» группою, возникшей на юге — арене грандиозных рабочих забастовок этих лет, выдвигал на первый план именно рабочее движение, скептически относясь к революционным возможностям деревни и подходя в своих общих установках, как отмечает Мартов, «вплотную к воззрениям “искровского” крыла социал-демократии». Но еще более велико было различие во взглядах тех двух групп старой народнической эмиграции, которые вошли в состав новой партии. Так, «группа старых народовольцев» (Русанов-Тарасов[490], М. Гоц, Рубанович[491]), выпустившая летом 1901 года первый номер журнала «Вестник русской революции», «пропагандирует образование партии типа “Народной воли”,

* Сам инициатор «Народного права», М. Натансон, вошел в партию с.-р. лишь в 1905 г.

сочетающей руководство рабочим движением с террористической борьбой, ...отвергая в то же время всякие надежды на боевую роль крестьянства». Наоборот, «Аграрно-социалистическая Лига» (Житловский[492], Шишко, Волховский[493], Чайковский) «выдвигает на первый план крестьянское движение ...и в программной брошюре “Очередной вопрос” намечает основы специфически-аграрного социализма, сочетающегося из элементов русского народничества и западноевропейского ревизионизма» (Мартов).

Из организационного сближения и объединения этих разнородных групп и сложилась к концу 1901 года партия социалистов-революционеров, практическим вождем которой стал Гершуни, а теоретиком — Чернов-Гарденин. В центре задач партии было поставлено низвержение самодержавия. Но, по условиям возникновения партии, ни теоретические взгляды ее, ни политическая линия не могли отличаться большою определенностью, и лишь к середине 1904 года редакции «Революционной России», издание которой было перенесено за границу и которая стала Центральным органом партии (партийным органом был объявлен и «Вестник русской революции»), удалось выработать проект программы, который, в своих основных чертах, и получил впоследствии (на 1-м съезде партии в декабре 1905 г.) партийную санкцию. На первых же порах цементом, скреплявшим разнородные элементы, вошедшие в партию, была, наряду с общими симпатиями к народничеству и отталкиванием от марксизма, не столько политическая программа ее, сколько ее «боевая» тактика.

В эту тактику входил, прежде всего, политический террор, зарегистрировавший, под руководством Гершуни, немалые успехи. Полоса террористических актов открывается в 1901 году покушением чиновника Лаговского[494] на жизнь Победоносцева и убийством министра народного просвещения Боголепова (студент Карпович); 2 апреля 1902 г. студент Степан Балмашев[495] убивает министра внутренних дел Сипягина[496]; в том же году еврейский рабочий Гирш Леккерт[497] покушается на жизнь виленского генерал-губернатора фон Валя[498], подвергшего телесному наказанию рабочих стачечников, а рабочий Фома Качура[499] — на жизнь харьковского губернатора Оболенского[500], усмирителя крестьянского восстания; в мае следующего года жертвою террора становится уфимский губернатор Богданович[501], жестоко расправившийся с забастовавшими рабочими-металлистами города Златоуста и т. д.

Участие рабочих в совершении актов террора показывает, что террористическая пропаганда была встречена с некоторым сочувствием и в рабочей среде. И действительно, к социалистам-революционерам стали переходить отдельные группы рабочих, организованных социал-демократами. Еще более заметной оказалась тяга к социалистам-революционерам среди известных кругов интеллигенции, связанных с социал-демократией: Карпович, Балмашев, Иван Каляев[502] (убийство великого князя Сергея Александровича[503]), Егор Созонов (убийство министра внутренних дел Плеве[504]), Борис Савинков[505] и другие прославленные впоследствии террористы вышли из рядов социал-демократии.

Опасение, что практика террора внесет разложение и дезорганизацию в то массовое рабочее движение, на которое возлагала надежды социал-демократия, и было причиной того, что «Искра», вначале отнесшаяся с известной симпатией к социалистам-революционерам, как соратникам в борьбе против самодержавия, скоро резко выступила против них. Правда, «Революционная Россия» (№ 7) разъясняла, что террор социалистов-революционеров отличается от террора народовольцев именно тем, что не заменяет массовую борьбу, а дополняет и стимулирует ее, как «эксцитативное» средство. На деле, однако, террор занял в первые годы существования партии социалистов-революционеров такое исключительное место в ее деятельности, что для ведения его была создана особая «Боевая Организация», формально входившая в общую организационную систему партии, но на деле пользовавшаяся самой широкой автономией*.

Но и самому массовому движению — забастовкам, демонстрациям и т. п. — партия стремилась придать «боевой» характер, пропагандируя необходимость вооруженного отпора полиции и войскам и создавая для этой цели особые «боевые дружины». С точки зрения социал-демократии, это значило мешать тому процессу втягивания в движение все более широких, отсталых масс, который происходил в эти годы, и провоцировать преждевременное столкновение этого движения с государственным аппаратом в условиях, когда силы этого движения далеко еще не созрели, а аппарат этот был еще недостаточно

* После ареста Гершуни, выданного в 1903 году Фомой Качурой, во главе «Боевой Организации» оказался инженер Евно Азеф, разоблаченный впоследствии как агент-провокатор. Его разоблачение нанесло тактике политического террора удар, от которого она уже не оправилась.

расшатан. Тактика «вооруженных демонстраций» встретила поэтому в рядах социал-демократии еще более сильный отпор, чем тактика единоличного террора.

Вскоре выяснилось, однако, что опасения социал-демократии преувеличены: сочувственный отклик в рабочей среде на террор и «боевую» тактику вообще оказался слишком ограниченным и преходящим, чтобы внести сколько-нибудь заметную дезорганизацию в массовое движение и вредно отразиться на работе социал-демократии. Более широкими и длительными оказались симпатии к террору в среде той либеральной и радикальной интеллигенции, которую марксизм в обоих своих разновидностях, большевистской и меньшевистской, отталкивал своею «классовой» исключительностью, и в тех кругах либерального имущего общества, в глазах которых террористическая борьба, в отличие от массового движения рабочих и крестьян, была лишена враждебной им социальной окраски, и которые к тому же, как и во времена «Народной воли», рассчитывали пожать политические плоды этой борьбы.

В таких условиях отношение социал-демократов к террору социалистов-революционеров начало терять свою остроту, и убийство Плеве (15/28 июля 1904 года) побудило даже меньшевистскую «Искру» и в статьях, и в специально изданной по этому случаю прокламации (автором ее был пишущий эти строки) отметить положительное значение устранения с политической арены министра внутренних дел, который сурово подавлял начавшееся как раз в эти годы «конституционное» движение земских и городских деятелей, имя которого стало поэтому ненавистно и самым умеренным элементам либерального общества*. Подтверждением этой положительной оценки явилось назначение на пост министра внутренних дел князя Святополк-Мирского[506], объявившего политику «доверия к обществу», в условиях которой «конституционное» движение имущих слоев очень скоро приняло такой размах, что справиться с ним чисто полицейскими мерами правительству оказалось уже не под силу.

---

* Плеханов, после переговоров с М. Натансоном, пошел еще дальше и внес в Совет Партии предложение о заключении соглашений с социалистами-революционерами на основе признания целесообразности террора в данной политической ситуации. Только категорический ультиматум Аксельрода и Мартова заставил его отказаться от этого предложения.

Начавшиеся с весны 1902 года крестьянские волнения оживили надежды социалистов-революционеров на возможность найти массовую базу в крестьянстве и дали толчок к развитию партийной работы в деревне. Требование «уравнительного землепользования», выдвигавшееся в ходе крестьянского движения, было для «Революционной России» (№ 8) доказательством тому, что крестьянство «уже теперь выставило полусоциалистическую программу» и является социалистическим по своим «принципам», и что поэтому «мы (с. р.-ы) должны только дать рациональную, научную формулировку этим совершенно правильным принципам, чтобы вывести из них чистую идею социализма». Воззвание же, изданное «Крестьянским союзом партии с.-р.», объявляло лозунгами крестьянского движения «социализацию земли», понимаемую в виде общинной собственности на землю с систематическими «уравнительными» переделами, и «развитие в крестьянстве всех возможных видов кооперации».

Эти лозунги кладутся в основу аграрной программы с[оциалистов]-р[еволюционер]ов и связываются, согласно традиционным взглядам народничества, с провозглашением крестьянства массовым носителем борьбы за социализм в России, равноправным и равноценным с промышленным пролетариатом и вместе с ним, а также с идеалистически настроенной интеллигенцией, образующим единый «рабочий класс». Отличаясь от социал-демократии пониманием «рабочего класса», как триединства «промышленного пролетариата, трудового крестьянства и революционной интеллигенции», с[оциалисты]-р[еволюционер]ы отличаются от классического народничества тем, что не исходят ни из борьбы за социалистическое предотвращение буржуазного преобразования экономических и социальных отношений в России, ни из отрицания самой возможности такого преобразования благодаря специфическим условиям развития России, а снимают с порядка дня самое проблему буржуазной революции в России на том основании, что такое преобразование уже совершено и закончено: «чисто буржуазной революции в России — революции снизу — не было потому, что она была предупреждена революцией сверху. Так называемая эпоха великих реформ и была метаморфозой крепостнического самодержавия в дворянско-буржуазную бюрократию», и с тех пор буржуазия и власть «связаны прочными узами» («Р. Р.», № 8).

Но именно поэтому «чисто буржуазной революции» не может быть в России и впредь. С одной стороны, «все попытки вовлечь бур-

жуазию, как класс, в политическую борьбу оказывались тщетными... Политическое освобождение — дело русской интеллигенции и русского рабочего народа, и пора понять, что никто другой в нем не примет активного участия» (статья П. Новобранцева в № 32 «Р. Р.»). А, с другой стороны, в силу такого состава революционных сил, грядущая революция, если и не будет еще вполне социалистической, то, во всяком случае, осуществит значительное перераспределение собственности, и именно на этой стороне ее должно быть сосредоточено внимание социалистов-революционеров: «Вся тяжесть борьбы с самодержавием», пишет проект программы («Р. Р.», № 46), «несмотря на наличность либерально-демократической оппозиции, охватывающей преимущественно промежуточные в классовом отношении элементы образованного общества, падает на пролетариат, трудовое крестьянство и революционно-социалистическую интеллигенцию. Необходимой задачей социалистической партии, к которой переходит руководящая роль в этой борьбе, является вследствие этого расширение и углубление в революционный момент тех социальных, имущественных перемен, с которыми должно быть связано низвержение самодержавия».

Но к 1903 году волна крестьянских волнений спала, и работа в деревне стала давать весьма скромные результаты. Вместе с террористическою работою, сосредоточенною, естественно, в городе, в город начал перемещаться центр тяжести и пропагандистской работы социалистов-революционеров. Но здесь, несмотря на отдельные и частичные успехи, конкуренция с социал-демократией в рабочей среде оказывается социалистам-революционерам не под силу. Сферой их влияния в городе становится все больше интеллигенция, и на этой почве происходит их сближение с интеллигентским крылом либерального движения, которое именно в 1903–4 гг. переживает процесс радикализации и, организуясь в особый «Союз освобождения», начинает отделять себя от более умеренного «земского», помещичьего крыла этого движения (об этом см. ниже). Осенью 1904 г. с[оциалисты-]р[еволюционер]ы, совместно с «освобожденцами» и различными национальными группировками, созывают за границей «Конференцию революционных и оппозиционных партий»[507], участники которой констатируют общность ближайших демократических задач всех собравшихся, оговаривая лишь различие тактики (обе фракции с.-д. отказались от участия в конференции).

Это сближение с несоциалистическими радикальными движениями и организациями облегчается социалистам-революционерам их общими представлениями о характере грядущей русской революции, позволяющими им считать само либеральное движение «не буржуазным» и сводить все отличие его от движения социалистического к различию поколений и темпераментов, к различию между «отцами» и «детьми». Тот же Новобранцев, статью которого мы выше цитировали, пишет по поводу полемики «Искры» против «Освобождения»: «Нечего сказать, нашли буржуазию! "Отцы", несомненно, отличаются от нас умеренностью своей тактики и своих требований, но это — не принципиальная противоположность».

«Принципиальная противоположность» и действительно стала сглаживаться по мере того, как на этих путях и пафос политической работы с[оциалистов-]р[еволюционер]ов стал сосредоточиваться не столько на «расширении и углублении социальных, имущественных перемен» в момент «низвержения самодержавия», сколько на тех «ближайших демократических задачах», которые были им общи с их буржуазно-радикальными союзниками. Они поэтому фактически растворились в общем «освободительном движении», как его «левое», ультрадемократическое крыло, но не играли в этом движении самостоятельной политической роли, какую играли, каждая на свой лад, обе социал-демократические фракции, ставившие себе, наряду с общедемократическими задачами, и свои особые, «классовые» задачи и потому в само «освободительное движение» вносившие элемент, принципиально отличавший их от других участников этого движения и даже не раз враждебно сталкивавший с ними.

Только полупарламентаризм, созданный революцией 1905 года и сначала вызвавший со стороны с[оциалистов-]р[еволюционер]ов (как и со стороны большевиков) враждебный «бойкот», создал почву для прочного роста партии с[оциалистов-]р[еволюционер]ов и политического оформления ее, как партии, специфической задачей которой является парламентское представительство средних слоев крестьянства. Приводным ремнем к этим слоям служил для с[оциалистов-]р[еволюционер]ов тот «третий элемент», который, в лице педагогического и медицинского персонала, статистиков и всевозможных земских служащих, был настоящей опорой партии и, тесно соприкасаясь с деревней, нес в нее эсеровские лозунги и идеи.

22 миллиона голосов, полученных с[оциалистами]-р[еволюционер]ами в 1917 году на выборах в Учредительное Собрание, показали, как широко было разлито сочувствие этим идеям в крестьянских массах. Но только — отсутствие сколько-нибудь бурной реакции на разгон Учредительного Собрания большевиками и быстрое крушение так наз[ываемого] «фронта Учредительного Собрания» в гражданской войне неопровержимо доказали это — в то время, как организованные кадры партии всю страсть свою вкладывали в борьбу за политическую демократию, крестьянские массы еще раз показали, что для них, наоборот, существенным в эсеровских идеях были те «"социальные, имущественные перемены", которые программа партии с[оциалистов]-р[еволюционер]ов обещала связать с низвержением самодержавия», но осуществление которых политическая практика партии откладывала во имя утверждения демократического порядка.

Процесс формирования русской либеральной демократии оказался еще более сложным и противоречивым, чем процесс формирования демократии народнической.

Как мы видели, к началу нового столетия «легальный марксизм» оказался тем идеологическим мостом, через который значительная часть русской интеллигенции впервые пришла к демократии несоциалистической, — как и социал-демократия — решительно порывавшей со всеми видами народничества и определенно рассчитывавшей на капиталистический путь развития России, но, в отличие от социал-демократии, ориентировавшейся не на рабочий класс, а на те «буржуазные» силы, которые это развитие должно было породить.

Такие силы и действительно нарождались — не только в лице интеллигентского «третьего сословия», обслуживавшего растущую крупную промышленность и так или иначе с ее судьбами связанного, но и в лице прогрессивной части самих капиталистов, главным образом — текстильной промышленности, сосредоточием которых, естественно, оказалась Москва. Однако, по причинам, отмеченным в самом начале нашего труда (ч. 1, гл. 2), этот прогрессивный слой русской буржуазии не располагал теми социальными, политическими и идеологическими ресурсами, которые были бы необходимы, чтобы он мог выступить в качестве самостоятельной политической силы, открыто претендующей на руководство «общенародным» движением против самодержавия. В результате опыта развернутого революционного движения и самой революции 1905 года и вызванной этим

опытом концентрации всех консервативных сил значительная часть этого буржуазного слоя прислонилась впоследствии к движению земско-либеральному (одним из виднейших инициаторов этого сближения был А. И. Гучков[508], будущий вождь «Партии 17 Октября»[509]), которое имело вековые традиции дворянско-помещичьей оппозиции, но от которого именно его дворянские традиции отталкивали массу русского купечества. Но в первые годы «освободительного движения» оппозиционная активность этой прогрессивной русской буржуазии выражалась, главным образом, — помимо той замечательной культурной работы, о которой мы уже имели случай упоминать, — в широкой материальной поддержке, которую ее отдельные представители оказывали революционно-социалистическим партиям, особенно — социал-демократии, импонировавшей им не только своей способностью вовлекать в бой за политическую свободу широчайшие массы, но и своим «реализмом», заранее вводившим грядущую революцию в социально-экономические рамки буржуазно-капиталистического строя.

Таким образом, на историческую сцену определенно «буржуазная» либеральная демократия выступила не столько как организация хотя бы наиболее передовых элементов самой буржуазии, сколько как группа «идеологов», лишь теоретически ее «представлявших». Свободные от ограничивающего воздействия практических интересов, они в тем более «чистом» виде могли выражать «конечные» интересы класса, к которому тяготели. В наличной исторической обстановке эти интересы сводились, с одной стороны, к устранению всех экономических, социальных, культурных и иных пережитков прошлого, мешающих свободному развитию капитализма в России, а с другой, к завоеванию демократии как политического строя, в принципе наиболее соответствующего потребностям этого развития.

Предоставляя «рабочий вопрос» целиком в ведение социал-демократии, эта идеологическая группа, наиболее видными представителями который были П. Струве, М. Туган-Барановский и В. Богучарский, воплощала в себе к началу 900 годов как раз тот вид либерализма — последовательно демократического, свободного от реакционных экономико-социальных утопий народничества и не прикрывающего свой подлинный облик более или менее «социалистической» маской, которого, как увидим, как раз в эти годы искал Ленин, как желанного и *необходимого соратника социал-демократии в борьбе за политическую*

свободу. Поэтому, несмотря на резкую полемику против «бернштейнианских», реформистских теорий «легального марксизма», именно Ленин оказывается в это время наиболее рьяным сторонником политического сближения с его представителями. Струве и Туган-Барановский приглашаются в мае 1900 года на небольшое совещание в Пскове (Ленин, Мартов, Потресов, С. и Л. Радченко[510]), на котором было решено основание «Искры», и обещают поддержку новому органу. Струве предоставляет группе «Искры» для напечатания добытую им секретную записку С. Ю. Витте о земстве и сам помещает в первых номерах «Искры» две статьи на тему «Самодержавие и земство». Возникает даже (при противодействии Мартова) план издания совместного органа с обширным дискуссионным отделом, и только арест Струве в марте 1901 года, в связи с демонстрацией петербургских студентов, обрывает почти уже законченные переговоры.

Однако в том же 1901 году положение начинает существенно меняться. Революционное возбуждение, все определеннее охватывавшее рабочую и студенческую среду и начинавшее уже перекидываться в деревню, заставило зашевелиться земский либерализм. Используя все преимущества земского аппарата, земцы уже с 1901 года начинают систематически собираться на негласные совещания и съезды, обсуждают положение, вырабатывают программу, создают политическую организацию. Но либерализм, впервые выступивший в России в виде оформленной политической организации имущих слоев общества, хотя бы только «земского», аграрного сектора этого общества, не мог, конечно, не обладать огромной притягательной силой и для идеологов «буржуазного» либерализма.

Новые ноты слышатся уже в предисловии к изданию Записки Витте, написанном Струве во второй половине 1901 года. Струве настаивает тут на необходимости образования «умеренной» партии. Конечно, аргументирует он, «создать яркое политическое движение... — задача все более и более консолидирующейся в России социал-демократической партии». Но либеральной партии предстоит сыграть «крупную политическую роль»: «умеренные партии при умелой тактике выигрывают от обострения борьбы между крайними общественными элементами». Эта именно ориентация на использование революционного конфликта между рабочим классом и самодержавием в интересах умеренного либерализма и становится основной для того блока буржуазно-интеллигентского либерализма с либерализмом земским,

который был оформлен к середине 1902 года и плодом которого явился журнал «Освобождение». Развивая прежние свои идеи, Струве еще в 1903 году старался доказать, что принципы социал-демократии «совпадают с чистыми идеями либерализма, как политической системы свободы и равенства», и что «поэтому русские либералы должны занять место “не против социал-демократии, а рядом и в союзе с нею”» («Осв[обождение]», № 25). Но основной политический тон журнала был уже совершенно иным.

Программная статья 1-го номера подписана «русскими конституционалистами», подчеркивающими в тексте свою особо тесную связь с «земской группой». Статья говорит: «Отличие нашего органа от других заграничных изданий заключается в том, что мы предполагаем объединить те группы русского общества, которые не имеют возможности найти исход своему возмущенному чувству ни в классовой, ни в революционной борьбе». Ближайшая задача органа — «выработать такую политическую программу, ...на почве которой земство могло бы действовать совместно с другими общественными группами, не отказываясь в то же время от тех преимуществ, которые могут сообщить его деятельности особенное значение в переходный период к новому политическому режиму». В программу эту должно входить октроирование Верховной властью широких свобод, равенства граждан перед законом и «бессословного народного представительства», наделенного законодательною властью. Выработка конституции должна быть возложена на собрание представителей земств, так как всякий иной порядок был бы «скачком в неизвестное». О социальных реформах какого бы то ни было рода, как и о всеобщности избирательного права в будущее законодательное собрание, набросок программы умалчивает.

Еще определеннее, с прямыми выпадами против революционного и, особенно, крестьянского движения, выражается помещенное в том же номере приветственное «открытое письмо от группы земских деятелей», заявляющих о своем стремлении создать организацию с задачей «устранения правительственной и народной анархии». Письмо напоминает об «общей почве классовых и эгоистических интересов, вздымающихся подобно угрожающему вулкану, который может каждую минуту совершить самые ужасающие опустошения», и возмущенно говорит о крестьянских беспорядках, вызванных «революционной пропагандой», павшей на почву «народного обнищания, невежества, не понимания элементарнейших основ гражданского права».

Мартов («Общественное движение» и т. д.) верно резюмирует политический смысл всех этих программных высказываний, когда пишет: «Общий тон всех имеющих программное значение статей этого номера говорит ясно о том, что основатели “Освобождения” прежде всего задаются целью организовать земскую партию, опирающуюся на помещичью массу и использующую все выгоды положения между властью и борющимися с нею элементами народа». Однако именно революционная борьба «народных элементов» очень скоро снова вбила клин в только сколоченный блок буржуазно-интеллигентского и земско-помещичьего либерализма.

В самом земском либерализме революционные события 1902–1903 годов отозвались вначале обострением антагонизма между его «конституционным» крылом и руководимым Д. Шиповым[511] крылом «славянофильским», также желавшим известных реформ, но настаивавшим, прежде всего, на незыблемости самодержавия и так называемых «исконных начал», существо которых сводилось к сохранению за земельным дворянством его господствующего положения. Однако начавшаяся 26–27 января (8 февраля) 1904 года война с Японией, превратившаяся для России в нескончаемый ряд тягчайших поражений на суше и на море, приостановила этот процесс дифференциации земского либерализма и, передвинув его общую линию «влево», привела к новому сближению обоих крыльев: в числе 98 участников съезда 6–8 ноября 1904 года были и «шиповцы», и «конституционалисты», причем именно Шипов был выбран председателем съезда и введен в состав депутации к царю, избранной съездом.

Общее «полевение» земского либерализма было естественным ответом на почти невероятную слабость и несостоятельность самодержавного режима, так беспощадно вскрытую войной. Но этому «полевению» и сближению обоих крыльев земского либерализма немало способствовала и непоследовательная, свидетельствовавшая о крайней растерянности политика самого правительства, «либеральный» министр которого кн. Святополк-Мирский сначала разрешил созыв ноябрьского съезда, потом запретил его, не решаясь, однако, принять никаких мер против нарушителей запрещения, но запретил в то же время печати писать о съезде, о котором все говорили. В результате съезд формулировал 11 тезисов, в которых требовал свободы совести, печати, собраний и союзов, равенства граждан перед законом, неприкосновенности личности, уравнения крестьян в правах с другими

сословиями, земской и городской реформы, политической амнистии, отмены исключительных положений и, наконец, созыва выборного органа народного представительства, причем в вопросе о функциях этого органа снова дал себя знать водораздел между «конституционалистами» и «шиповцами»: 71 голос был подан за законодательный орган и 27 голосов за совещательный.

Ответом на ноябрьские пожелания земцев был указ 12/25 декабря 1904 г. «О мерах к усовершенствованию государственного порядка». Указ не встретил сочувствия даже в умеренных земских кругах. Он обещал, правда, расширение компетенции земства, веротерпимость и ряд других свобод, крестьянскую реформу, пересмотр исключительных положений и т. п., но умолчание о главном — о созыве народного представительства вызывало сомнения в искренности этих обещаний. Сомнения эти превратились в уверенность, когда на следующий же день было опубликовано «правительственное сообщение», в котором порочилось все «освободительное движение» и «благомыслящая часть общества» призывалась к беспощадной борьбе с этой «крамолой». А между тем, не прекращавшиеся военные поражения продолжали питать оппозиционные настроения во всех слоях общества, и бесславная капитуляция Порт-Артура (24 дек. 1904 — 6 января 1905) немало способствовала созданию атмосферы, в которой экономическая забастовка рабочих Путиловского завода в несколько дней превратилась в то грандиозное политическое движение всего петербургского пролетариата, которое 9/22 января 1905 года закончилось расстрелом многотысячного шествия рабочих, несших к Зимнему Дворцу свою знаменитую петицию царю.

О значении этого дня, вошедшего в историю, как начальный день революции 1905 года, мы еще будем иметь случай говорить. Но после 9 января нарастание «освободительного движения» подвигается вперед гигантскими шагами. Под его напором правительство пытается сделать новый шаг навстречу «обществу». 18 февраля рескрипт на имя нового министра внутренних дел А. Г. Булыгина[512] (Святополк-Мирский был после 9 января уволен в отставку) возвестил о намерении царя «привлекать достойнейших, доверием народа облеченных, избранных от населения людей к участию в предварительной разработке и обсуждении законодательных предположений», но с «непременным сохранением незыблемости основных законов империи». Опубликованный в тот же день указ Сенату возлагал на Совет

Министров «рассмотрение и обсуждение поступающих на имя Наше от частных лиц и учреждений видов и предположений, касающихся усовершенствования государственного благоустройства и улучшения народного благосостояния».

Правда, текст рескрипта не оставлял сомнений в том, что имеется в виду лишь орган совещательный, весьма ограниченного состава и ограниченной компетенции, иначе говоря — запоздалое осуществление Лорис-Меликовских проектов, похороненных Александром 3-м свыше двух десятилетий тому назад. Одновременное же, того же 18 февраля, опубликование Манифеста, снова призывавшего «благомыслящих людей всех сословий и состояний» к «искоренению в земле нашей крамолы» и ни словом не упоминавшего об обещанном в рескрипте привлечении «избранных от населения людей» к тому или иному участию в законодательной работе, еще раз подчеркивало неискренность и двойственность политики самодержавия и было истолковано как новая попытка его демагогически натравить народный «Ахерон»[513] на «крамольные» имущие и образованные слои общества*.

Но как бы то ни было впервые в истории русского императорского самодержавия было сказано решающее слово о созыве выборных представителей народа, и в этом смысле «освободительное движение» могло зарегистрировать свой первый принципиальный успех, служивший ему немалым поощрением.

Однако еще важнее для дальнейшего развития этого движения оказался указ Сенату. Оно немедленно использовало этот указ — конечно, вопреки действительным намерениям его авторов — как легализацию «права петиций» — права и частных коллективов, и таких «учреждений», как земства и городские думы, собираться для вынесения политических резолюций и направлять такие резолюции непосредственно царю.

В апреле 1905 года состоялся новый съезд земских деятелей, повторивший, по существу, программу ноябрьских требований, дополнив ее, однако, требованием однопалатной системы в будущем народном представительстве и всеобщего, равного и прямого избирательного права с тайной подачей голосов (в русском политическом

* По русским законам царские Манифесты оглашались в церквах и потому становились известны самым широким народным массам, в то время как рескрипты и указы были доступны лишь весьма тонкому в дореволюционной России слою читателей газет.

жаргоне — «четырехвостка»). Но на этот раз во главе 37 делегатов, высказавшихся против прямых выборов (за резолюцию был подан 71 голос), стоял уже не «шиповец», а один из прославленных братьев-конституционалистов, П. И. Петрункевич. И в этой его позиции сказалось то недоверие к народным, особенно — крестьянским — массам, более того — тот страх перед их движением, который нарастал в земской среде — сначала параллельно с ее «полевением», затем обгоняя его и поворачивая общую линию земского либерализма «вправо» — и заставлял и самых последовательных конституционалистов все с большим упованием смотреть на царскую власть в надежде найти в ней союзника, который своевременными уступками спасет и себя, и их от народной стихии.

Это — то самое настроение, которое еще накануне ноябрьского земского съезда 1904 года выразил в нашумевшей в то время статье один из других знаменитых братьев-либералов кн. Евгений Трубецкой[514] («Война и бюрократия» в журнале «Право»[515], 26 сентября — 9 октября). С горечью отметив, что «крайние партии захватили в свои руки монополию организации... им же принадлежит в настоящее время монополия свободного слова... влияние их... растет не по дням, а по часам», автор обращается к Верховной Власти с призывом обуздать «бюрократию», которая должна быть «не владыкой над безгласным стадом, а орудием престола, опирающегося на общество... Тогда нам нечего бояться ни внешнего, ни внутреннего врага. И престол, собравший вокруг себя землю, будет славен, велик и силен».

Такого рода настроения, отмечавшие новый поворот общей линии земского либерализма, но теперь уже определенно «вправо», весьма заметно отразились на работах майского съезда 1905 года — первого съезда, на который, используя указ Сенату от 18 февраля, съехались уже не представители отдельных земских групп, а выборные делегаты всех губернских земств России. Съезд не отказался, конечно, от ранее формулированной политической платформы. Но в адресе царю он ясно выразил свою готовность удовлетвориться обещанным совещательным органом, подчеркнув, что и вопросы «войны и мира», и вопросы «обновления государственного строя» народные выборные должны решать не иначе, как «в согласии с Вами», то есть с царем. Само же пожелание о скорейшем созыве народных представителей он облек в форму, подчеркивающую роль царя, как спасителя страны от «анархии»: «пока не поздно, для спасения России,

во утверждение порядка и мира внутреннего, повелите без замедления созвать народных представителей, избранных для сего равно и без различия всеми подданными Вашими».

В таком же тоне была выдержана и речь князя С. Н. Трубецкого[516], говорившего от имени 12-членной депутации съезда, принятом царем 6/19 июня. «Отбросьте ваши сомнения. Моя воля — воля царская — созвать выборных от народа — непреклонна», успокоил царь депутацию — с тем, чтобы через две недели принять и с столь же успокоительными словами отпустить делегацию от самых реакционных земско-дворянских кругов (граф Бобринский[517], Нарышкин[518] и др.), настаивавшую, в противовес земским съездам, на сохранении самодержавия во всей неприкосновенности.

Но задержать развития революционных событий, подгоняемого неудачами войны, уже ничто не могло. Его не мог задержать манифест 6/19 августа 1905 года о предстоящем созыве законосовещательной Государственной Думы (так называемая «Булыгинская Дума») с весьма сложной системой представительства по сословным куриям, но с полным исключением рабочих из этой системы. Его не могли задержать и переговоры о мире с Японией, начатые по инициативе президента С[оединенных] Ш[татов] Теодора Рузвельта[519] 11/24 августа 1905 года и закончившиеся подписанием мирного договора 23 августа/6 сентября. И еще меньше могла задержать их отмена указа 18 февраля, последовавшая одновременно с опубликованием манифеста 6 августа.

Вся страна была в брожении, в городах население «явочным порядком» отвоевывало себе свободу собраний, и студенты, бастовавшие уже в течение нескольких месяцев, воспользовались указом 27 августа (9 сентября) о предоставлении высшим учебным заведениям автономии, чтобы, согласно лозунгу, данному «Искрой», вернуться в университеты и превратить их залы и аудитории в места массовых сходок и собраний, не прекращавшихся с утра до поздней ночи. Забастовки рабочих следовали одна за другой непрерывной чередой, пока, наконец, начавшаяся 7/20 октября стачка железнодорожников, поддержанная всеобщею забастовкой чуть не всех рабочих страны, не нанесла расшатанному самодержавному режиму последнего удара. Манифест 17/30 октября 1905 года[520] возвещал населению все конституционные свободы и превращение Государственной Думы из законосовещательного органа в законодательный, с предоставлением избирательных прав и рабочим.

Но участие земского либерализма во всех этих событиях становится все менее заметным, и августовский съезд 1905 года* вызывает лишь крайне ограниченный резонанс: отмеченная выше раздвоенность настроения, заставлявшая все больше видеть в царском самодержавии не столько «врага», сколько возможного союзника в борьбе с революционным движением, а в этом движении, наоборот, не столько союзника, сколько «внутреннего врага», все сильнее окрашивала политику всех крыльев земского либерализма и парализовала его политическую активность. Только созданный революцией 1905 года полупарламентаризм, но и то лишь в том урезанном и искаженном виде, в котором он вышел из переворота 3/16 июня 1907 года (см. ниже), создал условия, давшие возможность консервативным элементам земского либерализма вернуться на общественную арену в качестве заметной политической силы.

В прямо противоположном направлении развивался за эти лихорадочные предреволюционные месяцы и годы буржуазно-интеллигентский союзник земского либерализма. В то время как в земской среде бурные массовые движения вызывали нарастание элементов консерватизма и даже политической, социальной и националистической реакции, городская интеллигенция в массе своей реагировала на эти движения быстрою «радикализацией» своих политических настроений и все более настойчивым стремлением принять в них активное участие. Инженеры, техники, педагоги, врачи, адвокаты, литераторы и т. д., вплоть до правительственных чиновников, особенно чиновников почтового и железнодорожного ведомства, — все интеллигентские классы социально-экономического и государственного аппарата страны приходят, один за другим, в движение, собираются на профессиональные съезды и используют их не только для создания корпоративных организаций, но и для заявления все более резких политических требований, формулируемых уже не как «петиция» к правительству, а как антиправительственная платформа для страны. Заимствуя у пролетариата идею «профессионально-политических союзов», они заимствуют у него, в конце концов, и идею «забастовки», как орудия борьбы не только за профессиональные, но и за политические

* На этом съезде, между прочим, земский либерализм раскололся по новой линии — по вопросу об автономии национальных окраин, прежде всего — Польши. Вождем решительных противников автономии оказался А. И. Гучков.

требования. Это они делают своим лозунг «не против социал-демократии, а рядом с нею», который Струве тщетно пытался сделать общим лозунгом русского либерализма.

Но нарастающее движение городской интеллигенции меняет политическую позицию и самого Струве. Возглавляемая им небольшая интеллигентская группа, вошедшая в блок с земским либерализмом, как представительница либерализма «буржуазного», получает в этом движении такую же массовую опору, какую социалисты-революционеры получают в это время в интеллигенции земской, — но только со всеми теми преимуществами в смысле организованности, боеспособности и активности, какие дают городской интеллигенции, по сравнению с сельской, ее концентрация в жизненных центрах страны и место, занимаемое ею в общественном и государственном аппарате. «Радикализация» ее настроений отражается в «радикализации» политической линии «Освобождения». Струве начинает с указания на необходимость решительного разрыва «конституционалистов» с «славянофилами», то есть с группой Шипова. Но уже в № 17 он требует, чтобы сама «конституционная» партия была «демократической»: включила в свою программу всеобщее избирательное право и социальные реформы, аграрную в том числе, и отказалась как от лозунга «Земский Собор», так и от притязаний на монополию земцев в деле выработки будущей конституции. Идя дальше в этом направлении, «Освобождение» опубликовывает в № 33 и проект аграрной программы, впервые в истории русского либерализма признающий принцип принудительного отчуждения помещичьих земель в пользу крестьянства — принцип, легший впоследствии, как известно, в основу аграрной программы «кадетской» (конституционно-демократической) партии.

Некоторые колебания и даже попятные тенденции вносит в эту эволюцию политической линии «Освобождения» русско-японская война. Рассчитывая на возможность нового сближения с земским либерализмом на почве вызванного войною «патриотического возбуждения» и предполагаемого развития «общественно-гражданских элементов» в оболочке этого возбуждения, Струве проповедует крайнюю осторожность и в политических лозунгах, и в критике ведущего войну правительства, поскольку ими могут быть задеты патриотические чувства «общества»: «нам нужна общая почва с теми, кто нас еще не понимает» (№ 43). Такую же осторожность рекомендует он и

студенческой молодежи, начавшей было манифестировать против устраиваемых самими властями патриотически-монархических уличных шествий с иконами и портретами царя — советуя встречать эти шествия возгласом «Да здравствует армия!», но воздерживаться от «более острых лозунгов» («Листок Освобождения», № 1).

Этот новый зигзаг в политической линии Струве не имел будущего, поскольку постыдно-неудачное ведение войны исключало всякую возможность развития сколько-нибудь прогрессивного «общественно-гражданского» движения в оболочке воинствующего патриотизма. И после убийства Плеве, в противовес тому «доверию» к самодержавному режиму, которого кн. Святополк-Мирский требует в ответ на обещанное им «доверие» к «обществу», Струве снова решительно заявляет: «выбор может быть только между демократией и самодержавием» (№ 57).

И все же этот «военный» зигзаг не был случайностью. Рассчитанный на предполагаемые настроения земских кругов, он свидетельствовал о прочности тех политико-идеологических нитей, которыми «блок» 1901–2 гг. связал Струве с земско-дворянским либерализмом и порвать которые он был уже неспособен. И действительно: и требуя «демократизации» «конституционной» партии, он по-прежнему мыслит эту партию, как “объединяющую” в своих рядах передового дворянина с разночинцем и крестьянином»; и призывая сделать выбор «между демократией и самодержавием», он не оставляет сомнения в том, к каким социальным кругам обращен этот его призыв, когда аргументирует в пользу демократии тем, что «только демократия введет рабочий класс и крестьянство в русло законной борьбы за право». В моменты самого острого расхождения своего с земским либерализмом и даже «конституционным» его крылом Струве трактует это расхождение лишь как случайный, преходящий и досадный эпизод, и вся дальнейшая политическая биография его свидетельствует о том, насколько прочно элементы политического и, еще больше, социального консерватизма вошли в его политико-идеологический инвентарь.

Не удивительно поэтому, что, по мере обострения революционного кризиса, «радикализм» Струве начинает все заметнее отставать от «радикализма» той городской интеллигентской массы, рупором которой он хотел быть. В недалеком будущем, после завершения революционного цикла, и подавляющему большинству этой разношерстной интеллигенции суждено было найти себе пристанище

в тех или иных консервативно-либеральных группировках. Но в данный исторический момент она почти вся сплошь переживала период крайнего и все нараставшего революционного возбуждения и меньше всего думала о скорейшем введении «всенародного» натиска на самодержавие «в русло законной борьбы». Наоборот, свободная от парализующего страха перед рабочим и, особенно, крестьянским движением, не грозившим ей непосредственно никакими опасностями, она стремилась, как можно скорее и полнее, включиться в это движение, наносившее такие мощные удары самодержавному режиму несвободы. От земского либерализма в этой фазе развития ее решительно отталкивало как раз его настороженное и даже враждебное отношение к этому движению, продиктованное мотивами экономико-социального порядка, которые у Струве, наоборот, и в периоды его максимального «радикализма», вызывали сочувственный отклик.

По всем этим причинам Струве оказался неспособен стать подлинным политическим вождем и идеологическим выразителем движения городской интеллигенции в процессе подготовки и осуществления революции. Своих политических вождей оно выдвинуло на месте, из своих собственных недр, а в идеологическом руководстве им роль других, не покидавших России выходцев из «легального марксизма», как Е. Кускова, С. Прокопович и др., оказалась гораздо более значительною, чем роль эмигранта Струве. Именно они были идейными вдохновителями того «Союза освобождения»[521], в котором городская интеллигенция впервые создала себе свою собственную, «буржуазную» по своим принципам, политическую организацию, совершенно не зависимую от земского либерализма, и первым публичным выступлением которой было участие в упомянутой уже «Конференции революционных и оппозиционных партий» осени 1904 года, куда отказалась, по принципиальным соображениям, послать своих делегатов социал-демократия, но где не было представлено и ни одно из течений земского либерализма.

Опираясь на профессионально-политический «Союз союзов»[522], с одной стороны, на «Союз освобождения», с другой, городская интеллигенция развивает, параллельно с земским движением и отчасти используя его, свою собственную шумную кампанию, организуя ряд «банкетов», на которых произносятся все более резкие политические речи и происходит своеобразное политическое «братание» с представителями социалистических партий, с рабочими и всякими иными

«депутациями». Помимо «банкетов» она посылает своих ораторов на народные собрания в университетах и всем этим впервые устанавливает политический контакт с тою массою мелкой городской буржуазии, которая дала впоследствии кадры городских избирателей кадетской партии. Целый ряд профессиональных интеллигентских союзов принимает активное участие в октябрьской всеобщей забастовке, наносящей последний удар самодержавию, и примыкает к «Совету рабочих депутатов», созданному петербургским пролетариатом и вызвавшему немедленное подражание во всей стране. В революцию 1905 г. буржуазно-демократический сектор либерализма вступает «рядом с социал-демократией и в союзе с ней». Он выходит из революции в других настроениях, но об этом еще будет речь впереди.

4. На пороге революции

По мере формирования «освободительного движения», основная для русской социал-демократии проблема сочетания пролетарски-социалистических и буржуазно-демократических тенденций в процессе буржуазной революции стала, естественно, принимать конкретную форму — проблемы отношения социал-демократии к тому либерализму, земскому и буржуазно-интеллигентскому, который в этом «движении» впервые начал выходить на политическую арену в качестве самостоятельно организованной силы. Но вместе с тем стала все настойчивее сказываться практическая противоречивость и несостоятельность тех стройных теоретических формул, которыми социал-демократия до того решала эту жизненную проблему. Пришлось констатировать фактическую неосуществимость той «поддержки», которую партийная программа обещала «всякому оппозиционному и революционному движению», и признать, что в действительности о «серьезной поддержке» реального русского либерализма «не может быть и речи». Пришлось фактически отказаться и от идеи «гегемонии», от расчетов на возможность для русской социал-демократии стать центром притяжения для «всех классов населения», а потому признанным политическим руководителем и буржуазного сектора «освободительного движения». И пришлось искать нового решения все той же старой проблемы.

Как мы видели, новое решение, данное меньшевизмом, было, по существу, возвращением к первоначальным теоретико-политическим

схемам группы «Освобождение труда»: заранее отказываясь от соперничества с буржуазией в борьбе за революционную власть, меньшевизм поставил в центр своих задач использование решающей роли русского пролетариата в совершении буржуазной революции для такого подъема его классового сознания, развития его классовой самодеятельности и укрепления его классовой организации, которые сделали бы его способным, примиряясь с исторически неизбежной фазой политического господства буржуазии, в то же время добиваться осуществления этого господства в формах самой радикальной демократии и самого совершенного социального законодательства и тем самым обеспечить себе возможность немедленно по завершении «буржуазного» революционного преобразования, начать систематическую борьбу — теперь уже непосредственно против буржуазии — за свои собственные, социалистические цели.

И большевизм дал старой проблеме новое решение, о котором еще придется подробнее говорить ниже, но которое в принципе сводилось, как было уже упомянуто, к борьбе не только за устранение буржуазии от революционной власти, но и за подчинение ее самой революционной диктатуре. В этом новом решении Ленин, по существу, тоже возвращался назад — к идее, высказанной им еще в 1899 году, когда, возражая против мыслей П. Аксельрода о «поддержке» буржуазной оппозиции и о «союзе» с ней*, он писал Потресову: «По-моему, утилизировать гораздо более точное и подходящее слово, чем поддержка и союз. Последнее указывает на равноправность этих союзников, а между тем они должны в хвосте идти, иногда даже со скрежетом зубовным; до равноправности они абсолютно не доросли и никогда им не дорасти при их трусости, раздробленности и т. п.»[523]. К этой старой мысли о «скрежете зубовном» Ленин и возвращался теперь — после того, как проделал в вопросе об отношении к несоциалистической оппозиции эволюцию, еще более зигзагообразную и противоречивую, чем та, которую проделали родоначальники и будущие вожди меньшевизма. Неоднократно уже подчеркнутые объективные противоречия двуединой задачи, поставленной историей перед русскою социал-демократией, достаточно объясняют противоречивость этой эволюции. Но только в то время, как у меньшевизма

* В брошюре «Историческое положение и взаимное отношение либеральной и социалистической демократии в России».

идеей, вносившей принципиально-объединяющее начало во все ее зигзаги, была идея примата классово-пролетарских, социалистических элементов этой задачи, у большевиков такой идеей была идея примата ее общедемократических, политических элементов.

Этой идеей окрашены уже и те первые произведения Ленина — «Друзья народа» и статьи о книге Струве в сожженном марксистском «Сборнике», — которые писались в годы, когда, в борьбе с традициями народничества за самоутверждение, русский марксизм особенно настойчиво подчеркивал капиталистический, «буржуазный» характер экономической эволюции России, «классовую борьбу», как движущий фактор общественного развития, и особую роль промышленного пролетариата в борьбе за социализм. Именно в игнорировании классовых противоречий видел тогда Ленин и коренной методологический порок книги Струве, «основную черту рассуждений» которого он характеризовал как «узкий объективизм, ограничивающийся доказательством неизбежности и необходимости процесса и не стремящийся вскрывать на каждой конкретной стадии этого процесса присущую ему форму классового антагонизма, — объективизм, характеризующий процесс вообще, а не те антагонистические классы в отдельности, из борьбы которых складывается процесс». Отсюда и вытекала для Ленина «необходимость иной постановки вопросов, необходимость более последовательного проведения теории классовых противоречий».

Но если уже свою полемику с народниками в эти годы Ленин строил, главным образом, как отмечает Мартов в своих «Записках» (стр. 310), «на параллели между классически последовательным демократизмом и радикализмом народников-семидесятников и их эпигонами» из «Русского богатства», то и «объективизм» Струве казался ему особенно опасным именно потому, что он вел к умалению и даже игнорированию тех революционно-демократических задач, которые ставила себе социал-демократия и которые позволяли ей смотреть на себя, как на наследницу «Народной воли». И в этом случае Ленин считал необходимым взять и народничество под защиту от нападений марксиста Струве. Весьма критически расценивая поэтому «указания (Струве) на рациональность, прогрессивность, разумность и т. п. либеральной, то есть буржуазной политики по сравнению с политикой народничества» и, в частности, ставку Струве на крестьянина, «экономически крепкого, приспособленного к товарному

производству», его призывы «пойдем на выучку к капитализму» и т. п., Ленин писал о народничестве:

«Философствование о возможности иных путей для отечества, это — только внешнее облачение народничества. Содержание же его — представительство интересов и точки зрения русского мелкого производителя, мелкого буржуа... Отвергнуть всю народническую программу целиком, без разбора, было бы абсолютно неправильно. В ней надо строго отличать ее реакционную и прогрессивную стороны. Народничество реакционно, поскольку оно предлагает мероприятия, привязывающие крестьянина к земле и к старым способам производства, вроде неотчуждаемости наделов и т. п., поскольку они (народники. — *Ф. Д.*) ждут... перемены пути (то есть поворота к социализму. — *Ф. Д.*) от "общества" и от воздействия представителей бюрократии (то есть царского правительства. — *Ф. Д.*) — но есть у них и другие пункты, относящиеся к самоуправлению, свободному и широкому доступу знаний к народу, к подъему народного* (сиречь мелкого) хозяйства посредством дешевых кредитов, улучшений техники, упорядочения сбыта и т. д., и т. д. Что подобные, общедемократические, мероприятия прогрессивны, это признает, конечно, вполне и г. Струве... Народники неизмеримо правильнее (чем "публицисты вроде г. А. Скворцова[524], который тоже распинается за технический прогресс и к которому так чрезвычайно расположен г. Струве") понимают и представляют в этом отношении интересы мелких производителей, и марксисты должны, отвергнув все реакционные черты их программы, не только принять общедемократические пункты, но и провести их точнее, глубже и дальше... Марксисты не только не обрывают демократической нити или течения, как клеплет на них г. В. В., — напротив, они хотят развития и усиления этого течения, хотят приближения его к жизни, хотят поднять ту "нить", которую выпускает из рук общество и интеллигенция»**.

Беседы Ленина с членами группы «Освобождение труда» во время его поездки за границу в 1895 году, сейчас же вскрыли существенное

* А. И. Скворцов, автор нашумевшей в то время книги «Влияние парного транспорта на сельское хозяйство». Он считался марксистом, на что, пишет Ленин, «так же мало оснований, как и на зачисление в марксисты Николая -она», ввиду полного игнорирования Скворцовым учения о классовой борьбе и классовом характере государства».

** «Эзоповский» язык статьи объясняется тем, что она писалась для подцензурного сборника.

разногласие между ним и группою в вопросе об отношении русской социал-демократии к буржуазному либерализму. П. Аксельрод, еще свыше 20 лет спустя, в разгар своей непримиримой вражды к большевизму, вспоминавший об этих беседах, как об «истинном празднике» и «одном из самых радостных, самых светлых моментов в жизни группы», с большой похвалой отозвался о «настоящей революционной социал-демократической мысли», «наконец-то пробудившейся» в России, и, в частности, о статьях Ленина в «Сборнике». Но он подверг суровой критике «абстрактное» отношение Ленина к «либералам»: «Вы отождествляете наши отношения к либералам с отношениями социалистов к либералам на Западе. А я как раз готовил для «Сборника» статью (эта статья запоздала и потому в «Сборник» не вошла. — *Ф. Д.*) под заглавием «Запросы русской жизни», в которой хотел показать, что в данный исторический момент ближайшие интересы пролетариата в России совпадают с основными интересами других прогрессивных слоев общества», — на что Ленин отвечал, что «совершенно такие же замечания» ему сделал и Плеханов, сказавший: «Вы (Ленин) поворачиваетесь к либералам спиной, а мы (группа) — лицом»[525].

В результате повторных бесед Ленин, по словам Аксельрода, «заявил, что признает правильность точки зрения группы на этот вопрос». Это, несомненно, так и было, судя по его высказываниям на эту тему в ближайшие годы; он не только отказывается от восхваления преимуществ народничества перед буржуазным либерализмом, но, наоборот, основным условием прогрессивности этого либерализма провозглашает радикальное очищение его от всякой примеси народнических настроений или «примиренческого» отношения к ним, и даже Аксельроду ставит в цитированном выше письме о «скрежете зубовном» в упрек его «благоволение» не столько к либерализму вообще, сколько к «фрондирующему аграриеству»*: «автору следовало точнее формулировать задачу; высвободить все и всяческие прогрессивные течения из-под хлама народничества и аграриества и в таком очищенном виде утилизировать их».

Перемена позиции Ленина сказалась с очевидностью еще в 1896 году, когда в печати и собраниях бурно дебатировался возник-

* Этим неуклюжим термином Ленин обозначал не только земско-дворянскую оппозицию, но вообще «народническую» ориентацию на социальные силы не развивающегося русского города, а отсталой русской деревни.

ший по инициативе «аграриев» вопрос о «хлебных ценах». В спорах по этому поводу Струве и Туган-Барановский высказались — солидарно с крупными землевладельцами — за высокие цены на хлеб, исходя из «положения о прогрессивности и неизбежности развития капитализма в сельском хозяйстве» и считая, что «высокие цены на хлеб являются фактором такого развития, тогда как низкие цены способствуют сохранению упорно-живучих форм кабальных отношений в деревне (испольная и отработочная аренда и т. п.)» (Мартов, «Записки», стр. 328). В спорах между ними и народниками, защищавшими низкие цены на хлеб в интересах как основной массы крестьянской бедноты, так и городского населения и поддержавшими в этом случае народников так называемыми «самарскими» марксистами, с известным впоследствии экономистом П. П. Масловым во главе, Ленин встал целиком на сторону Струве и Туган-Барановского, совершенно игнорируя тот «объективизм» их позиции и ту «ставку на крестьянина экономически крепкого, приспособленного к товарному производству», которую он так резко обличал в «Сборнике».

В статье «От какого наследства мы отказываемся?»[526] Ленин попытался даже идеологическую родословную русского марксизма связать с идеями не революционеров-народников 60–70-х годов, а одного из немногих откровенно «буржуазных» экономистов-публицистов того времени Скалдина*[527], поясняя: «Да, конечно, Скалдин — буржуа, но он представитель прогрессивной буржуазной идеологии, на место которой у народников является мелкобуржуазная, по целому ряду пунктов реакционная». На упреки же Потресова по поводу этой статьи Ленин, оговариваясь, что вообще «мне, пожалуй, за историко-литературные темы браться бы не следовало», отвечал в личном письме: «Что принимать наследство надо от других людей — это бесспорно... Но ведь суть то статьи в том, что, де, необходимо очистить буржуазный либерализм от народничества»[528].

Свобода от примеси народничества и «аграриества», ориентация не на полукрепостническую деревню, а на «буржуазные», непролетарские классы города, отказ от политической конкуренции с социал-демократией в рабочей среде, а потому откровенно-буржуазный, не прячущийся за социалистическую маскировку, характер идеологии и политики — та-

* Под этим псевдонимом писал Еленев, ставший впоследствии крайним реакционером и бывший одним из самых свирепых цензоров.

ковы критерии «прогрессивности» либерализма для Ленина этих лет. Как нельзя более показательна в этом отношении данная им в брошюре «Задачи русских социал-демократов», написанной в 1896–7 гг., оценка партии «Народное право» (см. выше), — кстати сказать, к этому времени влачившей уже скорее призрачное существование.

Заслугой «народоправства» Ленин считает то, что «оно устыдилось самобытности народнических доктрин и открыто вступило в полемику с... отвратительнейшими реакционерами народничества». Надо только, «чтобы народоправцы оставили ложный стыд, препятствующий сближению с буржуазными слоями народа, то есть чтобы они не только говорили о программе политиков несоциалистов, но и поступали сообразно с этой программой, пробуждая и развивая классовое самосознание тех общественных групп и классов, для которых социализм вовсе не нужен, но которые чем дальше, тем сильнее чувствуют гнет абсолютизма и необходимость политической свободы». Если в чем повинны народоправцы, так именно в том, что не освободились окончательно от «ложного стыда»: они «выразили желание освободить демократические задачи от связи с устарелыми формами "русского социализма", но они оказались сами далеко не освободившимися от старых предрассудков и далеко не последовательными, когда назвали свою партию исключительно политических преобразований — партией социально-революционной (см. Манифест их, датированный 19 февраля 1894 года) и заявили в своем манифесте, что в понятие народного права входит организация народного производства..., вводя таким образом под сурдинкой те же предрассудки народничества... Но если в этой партии есть и не маскарадные (выражение Лаврова), а настоящие политики несоциалисты, демократы несоциалисты, — тогда эта партия может принести немалую пользу, стараясь сблизиться с политическими оппозиционными элементами нашей буржуазии, стараясь пробудить политическое самосознание класса нашей мелкой буржуазии, мелких торговцев, мелких ремесленников и т. д. — этого класса, который везде в Западной Европе сыграл свою роль в демократическом движении, который у нас в России сделал особенно быстрые успехи в культурном и других отношениях за пореформенную эпоху и который не может не чувствовать гнета полицейского правительства с его циничной поддержкой крупных заводчиков, финансовых и промышленных монополистов».

Эта рекомендация народоправцам — мобилизовать мелкую буржуазию в противовес промышленному и финансовому капиталу стоит в очевидном противоречии с сделанным в той же брошюре несколько раньше заявлением, что «социал-демократы поддерживают прогрессивные общественные классы против реакционных, буржуазию против представителей привилегированного и сословного землевладения и против чиновничества, крупную буржуазию против реакционных вожделений мелкой»*. И еще в большем противоречии стоит, конечно, готовность признать народоправцев последовательными и потому полезными демократами лишь в меру того, как они освободятся от «ложного стыда» и станут откровенными «демократами несоциалистами», — сформулированными опять-таки в той же самой брошюре и выше уже раз цитированным положением, что «все истинные и последовательные демократы в России должны стать социал-демократами».

Эти теоретические противоречия, отражавшие противоречия объективной действительности и порождавшие ту «неясность», которая так ярко сказалась в прениях и решениях партийного съезда по вопросу о «поддержке» непролетарской оппозиции, были свойственны, как мы видели, не одному Ленину, а всей русской социал-демократии. Но что характерно для отношения Ленина к проблеме «поддержки» в эти годы, — это именно решительное отталкивание от «аграриества» и столь же решительная ориентация на непролетарские элементы города, а не деревни; и резкая полемика его против предисловия Струве к «Записке» Витте была вызвана в значительной мере тем «земским» уклоном, который принял либерализм Струве в этом предисловии. Но мы видели уже, с какою готовностью шел он на сближение с Струве, Туган-Барановским и другими «легальными марксистами», когда видел в них представителей чисто «буржуазного» либерализма, да и самое появление «Освобождения», как органа несоциалистической оппозиции, он приветствовал (в предисловии к вышедшему в 1902 году 2-му изданию «Задач русских социал-демократов») слова-

* Это — то самое противоречие, которое, как мы видели выше, побудило Ленина в одной статье (статья в «Сборнике») восхвалять народников, как представителей интересов «русского мелкого производителя, мелкого буржуа» в противовес Струве, Скворцову и др., как апологетам крупной буржуазии, а в другой (статья о «наследстве») — отдавать предпочтение «буржуазной идеологии» Скалдина перед «мелкобуржуазной» народников.

ми: «У нас так много было и есть расплывчатого, либерально-народнического квазисоциализма, что по сравнению с ним явным шагом вперед является новое либеральное направление».

По мере усиления крестьянского движения и политической радикализации земской оппозиции настороженность по отношению ко всякому «аграриеству» и односторонне-«городская» ориентация существенно ослабевает у Ленина, готового теперь при случае «протянуть руку» даже «господам предводителям дворянства». Он, как мы видели, целиком принимает и ту концепцию «гегемонии» пролетариата в «общенародной» борьбе против царизма, которою Аксельрод пытался разрешить противоречия буржуазной революции, совершаемой силами социалистического пролетариата. Но только в самое понимание «гегемонии» Ленин с самого начала — и чем дальше, тем определеннее — вносил тот характерный для его политической методологии организационно-технический подход, который привел его, как мы видели, к идее преодоления «оппортунизма» в социал-демократии диктатурой «искровства» в партии, а «тред-юнионистских» тенденций массового рабочего движения — диктатурою партии над этим движением и который давно уже налагал печать и на его представления о — не столько «поддержке», сколько «утилизации» либеральной оппозиции.

Слабость, непоследовательность, революционная несостоятельность этой оппозиции по отношению к самодержавию для Ленина — не столько неизбежное следствие тех экономических, социальных и иных условий, в которые поставлены классы, только и могущие быть в России, как и на Западе, социальным фундаментом этой оппозиции, сколько результат личных и морально-организационных пороков ее политических носителей («трусость, раздробленность и т. п.»), — пороков, и дающих социал-демократии основание рассчитывать на возможность заставить их «идти в хвосте, иногда со скрежетом зубовным». И тот же самый подход выпукло выражен в том пояснении причин предпочтительности откровенно-буржуазного либерала перед народником с точки зрения марксиста, которое Ленин дает — опять-таки «эзоповским» языком — в не раз цитированной уже статье о «наследстве»: «Просветитель (т. е. буржуазный либерал. — *Ф. Д.*) верит в данное общественное развитие (т. е. капиталистическое развитие России со всеми его политическими последствиями. — *Ф. Д.*), ибо не замечает свойственных ему противоречий. Народник боится

данного общественного развития, ибо он заметил уже эти противоречия». Понятно, почему марксист, «верящий в данное общественное развитие, ибо он видит залог лучшего будущего лишь в полном развитии этих противоречий», имеет больше шансов политически «утилизировать» «не замечающего» социальных противоречий буржуазного либерала, чем напуганного этими противоречиями народнического представителя мелкой буржуазии.

Для Аксельрода, родоначальника идеи «гегемонии», задача «гегемонии», как мы видели, равнозначна с «задачей приобретения русскими социал-демократами приверженцев и прямых или косвенных союзников среди непролетарских классов». Но решается эта задача «прежде всего и главным образом характером агитационно-пропагандистской деятельности в среде самого пролетариата» — сосредоточением внимания рабочего класса на «вопросах, представляющих собою узловые пункты, в которых сходятся и переплетаются интересы как пролетариата, так и других классов, угнетаемых или теснимых абсолютизмом и покровительствуемой им капиталистической буржуазией» («К вопросу о современных задачах... и т. д.»). Социал-демократический пролетариат должен завоевать сочувствие непролетарской оппозиции, чтобы сделать ее своим союзником и таким образом стать «гегемоном» общенародной борьбы против царизма, — такова была мысль Аксельрода и большинства редакции «Искры».

Воспринимая целиком формулы Аксельрода, ставшие программными формулами «Искры», Ленин с самого начала вкладывал в них свое, существенно отличное содержание, все значение которого лишь значительно позже стало ясно не только большинству редакции, но и ему самому. Сама идея «гегемонии» понималась им не столько как задача приобретения «союзников» в непролетарских классах, сколько как задача «утилизации» этих классов социал-демократией. Соответственно этому существенно иными оказывались в представлении Ленина и средства для разрешения этой задачи. Формулу Аксельрода о деятельности «в среде самого пролетариата» он дополнил («Что делать») формулой об обязанности социал-демократов «идти во все классы населения», — правда, мотивируя необходимость такого «хождения во все классы» тем, что «классово-политическое сознание», могущее быть внесенным в рабочее движение «только извне», может быть почерпнуто лишь в «области отношений всех классов и слоев к правительству, области взаимоотношений между всеми классами».

Так мотивированная, новая формула оказалась приемлемой для всех. В атмосфере боевой солидарности, связавшей членов редакции «Искры» в страстной борьбе против «экономизма» и за «политизацию» партии, простым «перегибанием палки» казались те статьи Ленина, в которых он все определеннее истолковывал «хождение во все классы» уж не столько как метод «внесения» классово-политического сознания в рабочее движение, сколько как формулу «обслуживания» либеральной оппозиции организацией необходимого ей в условиях самодержавного режима «нелегального аппарата», построить который она сама, по своей «трусости и раздробленности», неспособна, но за который она, сама того «не замечая», заплатит подчинением политическому руководству социал-демократии.

Правда, в таком понимании «гегемония» предполагала наличность либерализма, не только «не замечающего» социальных противоречий капитализма, но откровенно провозглашающего свою «буржуазность» и сознательно ограничивающего свои задачи «исключительно политическими преобразованиями». Но, как мы видели, и в понимании Аксельрода–Потресова идея «гегемонии» приводила, в конечном счете, к поискам такого же либерализма, заранее отказывающегося от «требований, идущих в разрез с интересами рабочего класса и демократии вообще или затемняющих их сознание», и обязующегося «встать решительно на сторону социал-демократии», то есть либерализма, которого никогда, нигде и, особенно, в России не было и быть не могло. Именно поэтому идея «гегемонии» и потерпела крушение, лишь только перед социал-демократией встала — уже не теоретически, а практически — проблема конкретной «поддержки» конкретной «непролетарской оппозиции» в самодержавной России.

Идея «гегемонии» потерпела крушение в обоих своих истолкованиях — меньшевистском и большевистском. Она не получила осуществления ни на путях завоевания сочувствия непролетарских классов характером социал-демократической агитационно-пропагандистской работы «в среде самого рабочего класса», ни на путях вовлечения непролетарской оппозиции в русло социал-демократической политики путем «обслуживания» ее «нелегальных» нужд. Но вся предшествующая история развития и раздвоения «искровской» мысли делает понятным, почему, молчаливо констатировав это крушение, меньшевизм отказался от всяких притязаний на «руководство» политикой буржуазии и вернулся к выдвинутой еще группою

«Освобождение труда» задаче — максимального «влияния» социалистического пролетариата на эту политику, а большевизм, в лице Ленина, вернулся к его же первоначальной идее — силою навязать буржуазии то «руководство» социал-демократии, которое она отказывалась принять добровольно, заставить ее «идти в хвосте» социал-демократии, хотя бы «со скрежетом зубовным».

Война с ее неудачами, предвещавшая, с точки зрения большевиков, близость «всенародного восстания» (к моменту «военного краха»), ускорила эту эволюцию. Передовая 1-го номера большевистского органа «Вперед», помеченного 4 января 1905 г. (22 дек. 1904 года по старому стилю), не отказываясь от задачи «посылать отряды своих сил во все классы населения», настаивает в то же время на том, что, «чем ближе момент решительного боя, тем более должен переноситься центр тяжести нашей работы на подготовку самих пролетариев и полупролетариев к прямой борьбе за свободу». Мы видели, как, настаивая на торжестве пролетарской «дисциплины» над интеллигентской «расхлябанностью» и «индивидуализмом», Ленин повернул против меньшевиков такой «меньшевистский» лозунг, как лозунг высвобождения партии из-под политической команды революционной интеллигенции и превращения ее в политическую организацию самого рабочего класса. Для противоречивого развития политической мысли обеих фракций русской социал-демократии как нельзя более характерно, что теперь он получил возможность полемически обратить, от имени большевиков, против меньшевиков и, в частности, против Аксельрода и «Аксельродовский» призыв к сосредоточению «центра тяжести» партийного внимания на работе не во «всех классах», а «в среде самого пролетариата». Возможность эту ему дал разработанный редакцией «Искры» план так называемой «земской кампании».

Этот план, пытавшийся дать практическое применение идеям, развитым П. Б. Аксельродом в цитированных выше статьях об «Объединении российской социал-демократии», был предложен редакцией «Искры» в письме, обращенном ею к партийным организациям в ноябре 1904 года[529], в связи с тем всеширившимся движением либеральных, особенно — земских кругов, о котором мы говорили выше. Исходя из убеждения, что «никогда еще Россия не была так близка к конституции», письмо предлагало пользоваться все учащавшимися легальными и полулегальными собраниями и съездами этих

кругов, чтобы организовать то «активное вмешательство в общественную и политическую жизнь» рабочего авангарда под руководством социал-демократии, о котором говорили статьи Аксельрода. Это «вмешательство» должно было осуществляться через тщательно подготовленные выступления рабочих делегаций, о задачах которых письмо говорило:

«В лице либеральных земств и дум мы имеем дело с врагами нашего врага, но не идущими, не желающими или не способными в борьбе с ним идти так далеко, как того требуют интересы пролетариата; но, выступая официально против абсолютизма и предъявляя к нему требования, направленные к его уничтожению, они тем самым являются нашими союзниками (конечно, в очень относительном смысле), хотя и недостаточно решительными в своих действиях и недостаточно демократическими в своих стремлениях. Факты и проявления этой нерешительности и половинчатости дают конкретный материал для наглядной характеристики социальной природы и общественно-политических тенденций буржуазных фракций и для иллюстрации враждебной противоположности интересов представляемых ими классов, с одной стороны, и пролетарских, с другой. И мы, разумеется, обязаны до конца использовать этот материал соответственно принципиальным требованиям нашей программы. Но в пределах борьбы с абсолютизмом, а именно в теперешнем фазисе, наше отношение к либеральной буржуазия определяется задачей придать ей побольше храбрости и побудить ее присоединиться к тем требованиям, с которыми “выступит руководимый социал-демократией пролетариат” (в числе этих требований письмо выдвигает на первый план всеобщее и т. д. избирательное право и, особенно, Учредительное Собрание, “с популяризации идеи“ которого “должна начаться наша работа”. — *Ф. Д.*). Но мы впали бы в роковую ошибку, если бы поставили себе целью энергическими мерами устрашения теперь же заставить земства или другие органы буржуазной оппозиции дать, под влиянием паники, формальное обещание предъявить наши требования правительству. Такая тактика компрометировала бы социал-демократию, потому что превратила бы всю нашу политическую кампанию в рычаг для реакции».

Двойственность и противоречивость задач — практически-политических, с одной стороны, классово-педагогических, с другой, — поставленных «земской кампании», отражается в «письме» так же от-

четливо, как отчетливо отражалась она в статьях Аксельрода. Старая идея «гегемонии», исходящая, в сущности, из предположения о «качественном» тождестве политической линии буржуазной оппозиции «в теперешнем фазисе» борьбы с самодержавием и линии пролетариата («уничтожение абсолютизма») и лишь о «количественном» различии между ними («недостаточность», «половинчатость»), а потому и о возможности, завоевав ее сочувствие, «придать ей побольше храбрости» и побудить ее «присоединиться» к политическим требованиям «руководимого социал-демократией пролетариата», — борется тут с идеей использования «земской кампании» для внедрения и укрепления в умах рабочих мысли о «враждебной противоположности» интересов буржуазии и интересов пролетариата. Но, как и в статьях, эта борьба разрешается «в теперешнем фазисе» сведением практически-политических задач «кампании» к попытке «влиять» на политику буржуазии, на основе молчаливого отказа от оспаривания ее притязаний на революционную власть, и выдвиганием на первый план задач классово-педагогических:

«Не только рабочие массы, но и члены нашей партии не проходили еще школу политической борьбы, которая подготовила бы их к такой политической кампании, какая требуется от нас настоящим моментом... Мы не должны забывать, что делаем еще первый "шаг на новом пути, что мы, так сказать, упражняем пролетариат и саму нашу партию, с целью подготовить его и себя к предстоящим битвам с партиями эксплуататорских классов и с государственной властью"». И именно потому, что политические манифестации рабочего авангарда в «земской кампании» имеют задачей такое обогащение его классового сознания на предмет не столько сегодняшних, сколько завтрашних битв, «Искра» и объявляет их «демонстрациями высшего типа» — по сравнению с теми массовыми демонстрациями, в которых участвуют десятки и сотни тысяч рабочих и революционного значения которых она, разумеется, нисколько не отрицает и не умаляет, но политическое содержание которых не выходит за пределы «общедемократического антагонизма пролетариата с царским самодержавием» и потому исчерпывается классово-недифференцированным, «общенародным» лозунгом: «Долой самодержавие!»

«Мы, партия пролетариата», отвечал на это Ленин в специальной брошюре[530], посвященной критике плана «Искры», «должны, конечно, идти во все классы населения, открыто и энергично отстаивая

перед всем народом нашу программу и наши ближайшие требования; мы должны стараться заявить эти требования и перед гг. земцами, но центральным фокусом и руководящей нитью должно быть для нас воздействие не на земцев, а на правительство... Неразумно было бы игнорировать этого союзника (по характеристике, данной раньше в брошюре и вполне совпадающей с характеристикой, — данной в письме "Искры", "заведомо... условного, проблематичного, ненадежного и половинчатого". — *Ф. Д.*), нелепо было бы ставить себе целью устрашать и пугать его... Но центральным фокусом и руководящей нитью нашей агитации должно быть, повторяю, не воздействие на этого союзника, а подготовка решительной битвы с врагом». Иначе говоря: именно на «общенародном» лозунге «Долой самодержавие!» должна ставить ударение социал-демократия.

Эта сравнительно осторожная и мягкая критика «земской кампании» сменяется более резкой по мере того, как на фоне все более тяжелых военных поражений крепнет убеждение большевиков в близости всенародного восстания, приурочиваемого ими именно к моменту «военного краха». Отсюда — «пораженческая» позиция большевиков по отношению к войне, в противоположность меньшевикам, позиция которых выражается в формуле «мир и свобода» и лозунгом которых является созыв Всенародного Учредительного Собрания с двойной задачей — заключения мира и выработки конституции. Отсюда — все большее сосредоточение тактической мысли большевизма на задачах подготовки восстания и обеспечения за социал-демократией, как партией рабочего класса, руководящей роли в этом восстании. И отсюда же — все более резкое и непримиримое отношение к меньшевистским «планам», как уводящим мысль партии в сторону от этих первоочередных задач.

«Пролетариат должен "поддержать конституционное движение буржуазии", — пишет цитированная уже передовая 1-го номера "Вперед" — «встряхнуть и сплотить вокруг себя как можно более широкие слои эксплуатируемых масс, собрать все свои силы и поднять восстание в момент наибольшего правительственного отчаяния, в момент наибольшего народного возбуждения... Только оппортунисты могут в такой момент называть особенно активной борьбой, или новым методом борьбы, или высшим типом демонстраций выступления отдельных рабочих ораторов в земских и других общественных собраниях... Несравненно важнее теперь обратить внимание проле-

тариата на действительно высокие и активные формы борьбы, вроде знамени той ростовской стачки и ряда южных массовых движений. Несравненно важнее также расширять наши кадры, организовать силы и готовиться к еще более прямой и открытой массовой борьбе». И передовая кончает: «К этому моменту (моменту "военного краха") должны мы готовиться со всей энергией. В этот момент пролетариат поднимется во главе восстания, чтобы отвоевать свободу всему народу, чтобы обеспечить рабочему классу возможность открытой, обогащенной всем опытом Европы борьбы за социализм».

Ориентация на руководство «всенародным вооруженным восстанием» становится исключительной и всеопределяющей в тактике большевизма, а вместе с тем достигает апогея и его антагонизм к меньшевизму — после «кровавого воскресенья» 9/22 января 1905 года, которое обе фракции социал-демократии одинаково поняли и истолковали как «начало революции».

В конце декабря 1904 года на Путиловском заводе Петербурга началось движение экономического порядка, вылившееся к 3/16 января 1905 г. в забастовку. Никто не мог ожидать, что забастовка эта, ставившая себе вначале столь скромную цель, как обратный прием четырех рабочих, уволенных заводской администрацией, в течение какой-нибудь недели охватит всю столицу, превратится в грандиознейшее политическое движение петербургского пролетариата и даст последний толчок тому низвержению всероссийской революционной лавины, перед которым через девять месяцев самодержавие вынуждено было капитулировать «конституционным» манифестом 17/30 октября. Еще меньше мог кто-либо ожидать, что именно легализованное властями «Собрание русских фабрично-заводских рабочих», имевшее отделения во всех промышленных районах столицы, но ограничивавшее свою деятельность организацией взаимопомощи и задачами культурно-просветительного и религиозно-нравственного порядка, бросит искру в пороховой погреб, заложенный революционным движением в фундамент самодержавия, и что бросит оно ее руками православного священника Георгия Гапона[531]. И, конечно, меньше всего ожидал такого оборота событий Департамент Полиции, который — с «зубатовскими» расчетами на отвлечение рабочих от «политики» — содействовал организации «Собрания» и субсидировал его и в тесном контакте с которым действовал его организатор и руководитель Гапон. Но в революционно-возбужденной атмосфере тех

дней события еще быстрее и основательнее опрокинули все «зубатовские» планы и расчеты, чем то было уже в 1903 году с «зубатовскими» организациями в Одессе.

Не дискредитируя себя и самой идеи о благожелательном отношении царского правительства к экономическим нуждам рабочих, руководители «Собрания» не могли помешать ему встать на защиту своих четырех членов, увольнением которых заводская администрация подчеркивала, между прочим, и общее враждебное отношение предпринимателей к демагогическим тенденциям «зубатовщины»... Они не могли противодействовать ни его обращению за поддержкой к рабочим из других районов столицы, ни превращению районных отделов «Собрания» в места массовых сборищ и страстных прений, очень скоро перешедших от частного случая на Путиловском заводе к теме о крайне тяжелом материальном положении и полном бесправии русского рабочего вообще.

Движение развивалось с головокружительной быстротой, втягивая в свой круговорот самые отсталые слои рабочей массы и не давая «вождям» времени одуматься. В таких условиях и возникла у руководителей «Собрания», в частности — у Гапона, мысль об обращении рабочих за защитой к самому царю, — мысль, не встретившая вначале решительного противодействия и в Департаменте Полиции, в свою очередь, несколько растерявшемся перед неожиданностью роли, выпавшей на долю им же выпестованной «благонадежной» организации и высшим правительственным кругам казалось, что нескольких благожелательных слов с высоты престола, сопровождаемых, быть может, кое-какими незначительными мероприятиями в пользу рабочих, будет достаточно, чтобы не только вернуть в русло вышедшую из берегов рабочую стихию, но и укрепить пошатнувшуюся веру в легенду о царе, как «защитнике рабочих». Так родилась идея «петиции» и торжественного шествия с иконами, хоругвями, царскими портретами и пением молитв и гимна к Зимнему Дворцу для коленопреклоненного вручения ее царю.

Это шествие, в котором приняло участие от 150 до 200 тысяч рабочих, и состоялось в воскресенье 9/22 января. Но в кричащем противоречии с его архаическими формами, рассчитанными на религиозно-монархическую романтику самых отсталых слоев населения, стояли те политические требования, которые были включены в пети-

цию под влиянием социал-демократов, — начиная с 8-часового рабочего дня и свободы союзов для рабочих и земли для крестьян и кончая свободой слова и печати, отделением церкви от государства, прекращением войны и созывом Учредительного Собрания.

И социал-демократическая организация Петербурга, распавшаяся к тому времени на большевистский «Комитет» и меньшевистскую «Группу», была застигнута событиями врасплох. И для нее роль, сыгранная в этих событиях гапоновским «Собранием», была полною неожиданностью. Но лишь только начало выясняться, что оно становится организующим центром массового рабочего движения, социал-демократы энергично вмешались в ход движения, посылая ораторов на районные митинги «Собрания», внося поправки и дополнения в первоначальный текст петиции и т. д., — и данная выше характеристика развития фракционной мысли делает понятным, почему именно меньшевистская Группа проявила в этом случае максимум инициативы и активности*. Принимая во внимание состав аудитории, социал-демократы вели эту агитационную работу крайне осторожно, избегая выступать открыто от имени партии. Но, поддержанные передовыми рабочими, их поправки и дополнения принимались, в конце концов, и рядовой массой, заставляя шаг за шагом отступать и искать соглашения с социал-демократами и руководителей «Собрания», первоначально отнесшихся к их выступлениям резко враждебно.

Как известно, процессии рабочих, направлявшиеся из разных районов столицы к Зимнему Дворцу, были остановлены залпами войск. Свыше 1000 убитых и до 2000 раненых стоил манифестантам этот день. «У нас нет больше царя», заявил в ту же ночь в обращении к рабочим Гапон, призвавший одновременно и солдат считать себя свободными от присяги «изменнику царю, приказавшему пролить невинную кровь», — из этих слов звучал действительный политический итог «кровавого воскресенья»**. В забастовках конца девяностых

---

* См. об этом, напр., в примечаниях А. А. Шилова (стр. 167, 171 и др.) к изданной в 1925 г. Ленинградским рабочим издательством «Прибой» книге Г. Гапона «История моей жизни». В уличных стычках с полицией и войсками были убиты, между прочим, члены группы М. Бердичевская, К. Архангельский и др.

** Сблизившийся с Гапоном в ходе событий и спасший его от гибели в день 9-го января молодой инженер Путиловского завода, социалист-революционер П. М. Рутенберг (впоследствии видный Палестинский деятель) помог ему бежать

и начала девятисотых годов освобождался от монархической романтики авангард рабочего класса. Выстрелы 9 января убили «веру в царя» и в самых отсталых слоях пролетариата. Более того, они нанесли непоправимый удар этой вере и в непролетарском населении города, и в крестьянстве, и глубоко пошатнули ее и в рядовых солдатских массах, пошатнув тем самым и основной устой дисциплины в «царской» армии и флоте. Эти политические последствия 9 января и дали себя знать как в стачках, прокатившихся в начале 1905 года по всей России и вызванных причинами, главным образом, экономического характера, так еще больше — в той волне грандиозных забастовок-демонстраций (Грузия, Баку, Одесса, Иваново-Вознесенск, Лодзь, Нижний Новгород, Сормово и т. д.) и военных восстаний (Новая Александрия, броненосец «Князь Потемкин», в мае), которая заполнила собой весну, лето и осень 1905 года и «девятым валом» которой и была всероссийская забастовка железнодорожников в октябре, нанесшая самодержавию последний удар.

Как уже было сказано, обе фракции социал-демократии одинаково оценили 9 января как «начало революции». В своей первой реакции на январские события они одинаково истолковали их и как предвестник близкого «всенародного вооруженного восстания», и в меньшевистской «Искре» так же печатались иллюстрированные чертежами статьи о «тактике уличного боя», как и в большевистском «Вперед». И все же подход их к вопросу о роли социал-демократии в подготовке и проведении «всенародного восстания» оказался с самого начала не одинаковым и вскоре стал, можно сказать, диаметрально противоположным.

Еще в марте 1904 года, полемизируя с большевистским «Вперед», Мартов писал в передовой «Так ли мы готовимся?» («Искра», № 62 от 2/15 марта 1904 г.), что «социал-демократия может подготовлять восстание только в одном смысле: готовя свои собственные силы к возможному моменту восстания масс. Техническая сторона такой подготовки, как она ни важна, должна быть решительно подчинена политической стороне этого дела. А политическая подготовка нашей

за границу. Там Гапон примкнул к партии с.-р., но вскоре вышел из нее и в конце 1905 г. вернулся в Петербург. Здесь он пытался завязать связи в рабочей среде через бывших членов «Собрания», но запутался в полицейских сетях и, разоблаченный в качестве агента Департамента Полиции, был убит тем же Рутенбергом.

партии и всего сознательного пролетариата к вполне возможному восстанию должна заключаться опять-таки в углублении и расширении агитации, в упрочении «и развитии организации всех революционных элементов пролетариата».

Этот примат политических проблем над техническими и в вопросе о восстании весьма отчетливо выражен в той, написанной тоже Мартовым, передовой «Девятое января»[532], которая была первым откликом «Искры» (№ 85 от 14/27 января 1905 г.) на «кровавое воскресенье». Само собою разумеется, что и политические проблемы передовая ставила и решала в аспекте того самоограничения борьбою за максимальное политическое «влияние» социал-демократии, в котором, как уже не раз отмечено, меньшевизм искал в это время выхода из неразрешимых противоречий социал-демократической работы в объективных условиях русской действительности и которое и старому слову «гегемония» придавало в политическом словаре меньшевизма совершенно новый смысл.

«9-е января показало всем», говорит передовая, «что не только революционный народ не есть выдумка социал-демократии, но и что народное восстание не есть ее иллюзия», — и продолжает: «Революционную мобилизацию масс мы — партия сознательного пролетариата — совершаем посредством сплочения и организации пролетариата в самостоятельную и самостоятельно выступающую во всех событиях общественной жизни пролетарскую партию... Когда голос этого коллективного агитатора — рабочей партии — станет слышен во всех концах России; когда его политические лозунги будут восприниматься всей восстающей Россией, как они были восприняты восставшим 9 января рабочим Петербургом; когда звенья социал-демократической, пролетарской организации, укрепленные ежечасным упражнением в маневрах, аванпостных сражениях и серьезных битвах, станут охватывать все боевые, революционные элементы народных низов, — тогда российской социал-демократии будет обеспечено политическое руководство неминуемым и быстро приближающимся к осуществлению всенародным восстанием против царизма».

«Нам скажут, что, уйдя в эту работу, мы оставляем в стороне важнейшую из задач момента — ...работу по вооружению пролетариата, по систематической подготовке организации, которая обеспечила бы нам военно-техническое руководство массами в момент решительной борьбы. На это мы ответим: в качестве наиболее организо-

ванной и сознательной политической силы, мы, конечно, не можем игнорировать и технические задачи. Как и все революционеры, мы должны заботиться о вооружении идущих к восстанию масс, но не должны забывать, что подпольные организации могут сделать в этом отношении очень немного, и все их старания не будут иметь никакого значения, если они не сумеют вооружить народ одним незаменимым оружием — жгучей потребностью напасть на самодержавие и вооружиться для этого. Вот куда должны мы направить свои усилия — на пропаганду в массах самовооружения для целей восстания. А такая пропаганда может быть сколько-нибудь плодотворна лишь в связи с такой тактикой, которая всесторонне революционизирует сознание народных масс. Равным образом, лишь в той мере можем мы надеяться обеспечить приспособление нашей конспиративной организации к задачам технического руководства восстанием, ...в какой мы успеем спаять организационной связью все живые силы российского пролетариата. А это, в свою очередь, возможно для социал-демократии только в процессе неустанной и осмысленной политической агитации, только методами, развивающими самостоятельность пролетариев, их инициативу и активность».

Указав, что социал-демократия сможет «внести свою долю и в дело технического руководства стихийными народными восстаниями», передовая подчеркивает: «Нелепо и вредно мечтать о монополии активной роли в надвигающемся восстании для русской социал-демократии. О чем она вправе, о чем она должна мечтать — это о политической гегемонии для своего класса, о политически руководящей роли для себя, как авангарда класса — освободителя нации. А эта роль не может быть ни достигнута, ни прочно закреплена за нами тем, что нам удастся взять всецело в свои руки техническую организацию и проведение восстания... Мы будем только рады, если, вслед за священником, популяризовавшим в массах наше требование разрыва государства с церковью, вслед за монархическим рабочим обществом, организовавшим народный поход на Зимний Дворец, русская революция обогатится генералом, который первым поведет народные массы в победный бой против царского войска, или чиновником, который первым провозгласит официальное низвержение царской власти». И передовая приходит к выводу: «Нашей задачей в данный момент является поэтому не столько «организовать» народную революцию, сколько развязывать ее».

Этот вывод, подчеркнувший основной элемент меньшевистской тактики в революционные месяцы, предшествовавшие октябрьской победе, был формулирован несколько односторонне: как увидим, в этой тактике «развязывание» революции неразрывно сочеталось с стремлением политически «организовать» ее — в первую очередь, созданием все новых и новых форм классовой организации пролетариата. Формулировка оказалась односторонней потому, что была полемически заострена против помещенного в том же номере, с примечанием от редакции, фельетона «Итоги и перспективы». Автором фельетона был Парвус (Гельфанд)[533], весьма критически отнесшийся еще к «земской кампании», а теперь, как и Троцкий, существенно разошедшийся с «Искрой» в политических выводах из положения, созданного 9-м января. После 9-го января рабочее движение «уперлось в восстание», писал Троцкий. Поэтому Учредительное Собрание само по себе уже не может быть основным и обобщающим лозунгом партии. После 9-го января надо готовиться к вооруженному восстанию и замене царского правительства революционным Временным правительством, которое только и сможет созвать Учредительное Собрание. Лозунгом партии поэтому должно стать: «Да здравствует Временное Правительство!», и социал-демократия может и должна ориентироваться на участие в этом правительстве. Дальше шел с самого начала Парвус, выдвинувший лозунг «социал-демократического Временного Правительства» и озаглавивший одну из своих прокламаций, вышедшую в «издании «Искры»: «Без царя, а правительство рабочее!».

Но при всем своем политическом расхождении с меньшевизмом и заострении своей ориентации на «вооруженное восстание», и Парвус, и еще определеннее Троцкий понимали «организацию» восстания и революции все же не столько в военно-техническом, сколько в политическом — массовом и классовом смысле. И это была та общая почва, которая делала для меньшевизма возможным сотрудничество с ними обоими в октябрьские дни 1905 года, а с Троцким еще и значительно позднее (так называемый «августовский блок» 1912 года[534]). Поэтому передовая, следующего, 86-го номера «Искры» от 21 января — 3 февраля (ее автором был пишущий эти строки) выражала общую мысль всего ее писательского коллектива, включая Парвуса и Троцкого, когда, отбиваясь от нападок Ленина, писала:

«Движение стотысячных масс, хотя бы непосредственно руководимых не нами, но несущих наши политические лозунги, для нас

несравненно ценнее таинственных операций самых ортодоксальных неуловимых кружков конспираторов. Потому что мы верим в революционность рабочих масс и верим, что логика политического положения толкнет, в конце концов, эти массы и в нашу партийную организацию. И, наоборот, мы не верим в сомнительно-ортодоксальную алхимию "штаба спевшихся и подготовленных руководителей", который, опираясь на одно слепое доверие массы, приведет ее в царство народной свободы» («В водовороте революции»).

«Отделение технической стороны революции от политической есть величайший вздор», отвечал Ленин Мартову («Должны ли мы организовать революцию?» в № 7 «Вперед» от 8/21 февраля 1905 г.[535]). Политику восстания определяет тот, кто руководит им технически, — таков был, по существу, вывод, сделанный большевизмом из дня 9-го января, в прямой противоположности к выводу, сделанному меньшевизмом. И совершенно в духе общей политической методологии большевизма, «главным оружием» такого руководства «Вперед» (передовая «Твердый курс» в № 5 от 25 января — 7 февраля) объявлял «штаб спевшихся и подготовленных руководителей во всяком промышленном центре», настаивая на том, что «все комитеты должны теперь, не пренебрегая, разумеется, ни на одну минуту своим обычным делом сплочения сознательного пролетариата и социал-демократической пропаганды и агитации, тщательно обдумывать вопрос об орудиях непосредственной пролетарской борьбы».

Однако падение Порт-Артура так очевидно приближало момент «военного краха», к которому в это время приурочивалось «вооруженное восстание», а 9-е января делало, казалось, именно эту форму разрешения революционного кризиса столь неотвратимой и неоспоримой, что в политической установке большевизма военно-технические задачи момента начали в такой же мере подчинять себе «обычное дело» политической работы социал-демократии, в какой у меньшевизма, наоборот, перед политическими задачами ее отступали совершенно на задний план задачи военно-технического порядка. Эту установку большевизма и формулировал Ленин, когда писал в той же передовой, которая была его первым откликом на «кровавое воскресенье» («Начало революции в России» в № 4 «Вперед» от 18/31 января):

«Немедленное вооружение рабочих и всех граждан вообще, подготовка и организация революционных сил для уничтожения правительственных властей и учреждений — вот та практическая основа,

на которой могут и должны соединиться для общего удара все и всякие революционеры. Пролетариат всегда должен идти своим самостоятельным путем, не ослабляя своей связи с социалистической партией, памятуя о своих великих конечных целях избавления всего человечества от всякой эксплуатации. Но эта самостоятельность социал-демократической пролетарской партии никогда не заставит нас забыть о важности общего революционного натиска в момент настоящей революции. Мы, социал-демократы, можем и должны идти независимо от революционеров буржуазной демократии, охраняя классовую самостоятельность пролетариата, но мы должны идти рука об руку во время восстания, при нанесении прямых ударов царизму, при отпоре войску, при нападениях на бастилии проклятого врага всего русского народа».

Благоприятную почву для такой пропаганды создавали то широкое движение «самообороны» в рабочей среде, которое было ответом на антисоциалистические, антиеврейские и антиинтеллигентские погромы, начавшие все больше входить в арсенал правительственной «борьбы с революцией», и та работа в войсках, толчок которой дали волнения и восстания в армии и флоте. В этой работе по самообороне и пропаганде в войсках деятельно участвовали и меньшевики, и, например, политическими руководителями Потемкинского восстания оказались два члена одесской меньшевистской группы Кирилл[536] и К. Фельдман[537], к меньшевикам примкнул и инициатор восстания в Новой Александрии, прапорщик Антонов-Овсеенко[538], лишь перед революцией 1917 года перешедший к большевикам. Но все же в работу этого рода меньшевики вкладывали гораздо меньше сил и придавали ей гораздо меньше значения, чем большевики. И, в полную противоположность большевикам, они с самого начала весьма настороженно отнеслись к тем «боевым дружинам», в которые превратились многие организации самообороны и которые в годы, непосредственно следовавшие за революцией, стали сосредоточивать свою деятельность не столько на задачах рабочей обороны, сколько на так называемых «экспроприациях» и тому подобных предприятиях «партизанского» характера.

Зато именно на почве организации вооруженной самообороны произошло сближение с большевизмом тех «национальных» с[оциал-]д[емократических] организаций Запада России (Бунд, Прибалтика, Польша), для которых вопросы самообороны приобрели в это время

особое значение: они воспринимали поэтому известные элементы большевистской тактики и тогда, когда не разделяли или не вполне разделяли того существенного пересмотра, которому большевизм был вынужден подвергнуть свою прежнюю политическую ориентацию, — поскольку военно-техническая подготовка вооруженного восстания становилась для него отныне «практической основой» взаимоотношений социал-демократии с другими участниками так называемого «освободительного движения». Радикальному пересмотру пришлось, прежде всего, еще раз подвергнуть старый вопрос о «союзниках». «Трусость и раздробленность» либералов, неспособных собственными силами построить даже нужный им самим нелегальный аппарат, делала их, очевидно, наименее подходящими союзниками в деле «уничтожения правительственных властей и учреждений», «отпора войску» и «нападения на бастилии» и еще менее пригодными кандидатами в «штаб спевшихся и подготовленных руководителей» вооруженного восстания. И наоборот, как нельзя более пригодными казались в этом отношении террористы социалисты-революционеры. Под этим углом зрения и происходит новый и на этот раз, в основном, окончательный поворот Ленина в отношении к «буржуазному» либерализму, с одной стороны, «народнической» демократии в том виде, как она возродилась в лице партии социалистов-революционеров, с другой. Этот поворот, имевший, как еще увидим, и более глубокое, можно сказать — решающее значение для всей дальнейшей политической ориентации большевизма, был фиксирован в особом листке официального большевистского центра, так наз[ываемого] «Бюро комитетов большинства», озаглавленном «Отношение РСДРП к либералам» и напечатанном в № 8 «Вперед» от 1/14 февраля.

В «буржуазно-либеральной оппозиции» листок различает две составные части — «земских конституционалистов», представляющих «группу просвещенных помещиков и капиталистов», и «Союз Освобождения» или так наз[ываемых] «демократов», опорой которых является «главным образом, интеллигентская буржуазия (профессора, литераторы, адвокаты, инженеры и т. п.)». Но ни с той, ни с другой частью этой «оппозиции» социал-демократии не по пути: «Ни с “земскими конституционалистами”, ни с “демократами” союз для нас невозможен, формальные договоры бесполезны — все равно, они были бы в свое время нарушены. Надо бороться против внесения путаницы либеральных идей в рабочую среду». Правда, программа говорит, что

«социал-демократия поддерживает всякое оппозиционное движение». И Бюро комитетов большинства от этого программного требования не отрекается. Но оно придает ему своеобразный, можно сказать — карикатурный характер, когда поддержку «оппозиционного движения» подменяет «поддержкой» отдельных либеральных личностей, преследуемых правительством или нуждающихся в «нелегальном» обслуживании: «Социал-демократия будет поддерживать и земских либералов, и демократов, но без всяких обязательств. Социал-демократия будет протестовать против насилия над буржуазным либералом, если оно случится, укроет бегущего "демократа", не выбросит номер "Освобождения", а по миновании в нем надобности передаст либералу или обывателю и т. д., но формальной связи тут нет»*. Но самое главное — то, что и так наз[ываемые] буржуазные демократы «по существу не демократы»: «Буржуазная интеллигенция присвоила себе только имя "демократов", и ей было удобно сделать это потому, что настоящей демократической партии у нас вовсе еще нет, лучшие из настоящих демократов скрываются в оболочке партии социалистов-революционеров, где они перемешались с менее определенными из социалистических элементов».

Исходной точкой такой реабилитации социалистов-революционеров, так недавно еще объявленных «вредными» и для демократии, и для социализма, за счет «либералов» были поиски подходящих «союзников» для социал-демократии в свете ориентации на вооруженное восстание и руководящую роль в его военно-технической подготовке и проведении. Но в условиях «освободительного движения», когда на арену борьбы начали выступать не только партийно-идеологические группы, но и общественные пласты, на которые эти группы опирались или хотели опереться, переоценка революционного значения групп не могла не связываться с переоценкой революционного потенциала социальных сил, стоявших за этими группами.

---

* Правда, в этом случае «Искра», по существу, лишь повторяет мысль, промелькнувшую у Ленина еще в 1901 году, когда он писал в статье «Гонители земства и т. д.», что если либералы «не сумеют организоваться в нелегальную партию», то «мы в этом (более вероятном) случае не "махнем рукой" на либералов, мы постараемся укрепить связи с отдельными личностями, познакомить их с нашим движением, поддержать их посредством разоблачения в рабочей среде всех и всяких гадостей правительства и проделок местных властей, привлечь их к поддержке революционеров».

Для большевизма то было новое и, как оказалось, на этот раз окончательное передвижение политической ориентации с непролетарского сектора города на деревню — передвижение, предполагавшее радикальную переоценку значения и роли крестьянства в ходе русского революционного процесса.

Крестьянство, как особая, специфически русская социально-экономическая категория, было основной силой русской революции для революционного народничества. Разногласия, расхождения и расколы в его рядах вызывались вопросами о методах борьбы (бунтарство и пропагандизм) и о месте, которое должны занимать в этой борьбе задачи чисто политического характера. Но аксиомой для всех его течений одинаково было убеждение (отразившееся и в названиях народнических партий: «Земля и воля», «Черный передел»), что основным рычагом, двигателем и содержанием грядущей русской революции будет аграрная революция крестьянства, предполагающая уничтожение всех видов частного крупного землевладения и переход всей земли в руки крестьян.

Этот центральный пункт народнической системы взглядов стал и центральной мишенью той атаки, которую повел против народничества рождающийся русский марксизм, провозгласивший основным фактором исторической подготовки русской революции развитие капитализма, ликвидирующее все пережитки крепостнически-феодального уклада, а вместе с этими пережитками и специфические социально-экономические особенности русского крестьянства; основным содержанием этой революции — уничтожение самодержавия и замену его политическим строем буржуазной демократии; основным двигателем революции — рабочий класс.

С этой точки зрения аграрная революция крестьянства не только переставала быть предпосылкой русской революции, но, как мы видели из высказываний Плеханова того времени, сама становилась возможной лишь под воздействием промышленного пролетариата и как составная часть той будущей социальной революции, которая станет его задачей после победы, одержанной им в революции «буржуазной». В этой же буржуазной революции места для самостоятельной политической роли крестьянства быть не может: его пролетаризированная часть, «деревенская беднота», должна будет прислоняться к городскому пролетариату, его мелкохозяйственная масса — к городской буржуазии. Поскольку речь идет о «программе-минимум»

социал-демократии, то есть о программе, рассчитанной на буржуазную революцию, она идет навстречу интересам мелкохозяйственного крестьянства своими общедемократическими требованиями; в области социально-экономической ее задачи по отношению к крестьянству исчерпываются борьбой за уничтожение «пережитков» крепостнически-феодальной эпохи, увековечивающих кабальные формы эксплуатации крестьянства помещиками и ростовщическим капиталом и мешающих свободному развитию буржуазно-капиталистических отношений в деревне. Эти идеи и легли в основу принятой 2-м съездом аграрной программы, ограничивающейся в экономической области требованием возвращения крестьянам: 1) выкупных платежей, внесенных ими в пользу помещиков за оставленные им земельные участки, и 2) «отрезков», то есть угодий, отрезанных при освобождении — опять-таки в пользу помещиков — от земель, находившихся в пользовании крестьянства при крепостном праве.

Действительным автором этой аграрной программы и, в частности, идеи возвращения «отрезков», как ее центрального требования, был Ленин. По словам Мартова (Записки, стр. 331), ему еще в начале 1897 года, в Московской пересыльной тюрьме, ближайшие друзья Ленина говорили об «отрезках», как о «выдумке Ильича» во время его петербургского заключения. Упоминания об «отрезках» нет, однако, в написанном Лениным во время заключения (1895–6 г.) проекте программы, соответствующая часть которой гласит: «русская социал-демократия, не отделяя себя от рабочего движения, будет поддерживать всякое общественное движение против неограниченной власти самодержавного правительства, против класса привилегированных дворян-землевладельцев и против всех остатков крепостничества и сословности, стесняющих свободу конкуренции». Это упоминание впервые появляется во втором проекте программы, написанном им в 1899 году[539]: требуя «уничтожения всех остатков крепостной зависимости крестьян от помещиков», этот проект обращает специальное внимание на те случаи, когда эти «остатки» проистекают «оттого, что отрезка крестьянской земли помещикам ставит крестьян фактически в безвыходное положение прежних барщинных крестьян».

Мысль об ограничении аграрной программы социал-демократии требованием «возвращения отрезков» логически вытекала из общего теоретического подхода социал-демократии того времени к крестьянскому вопросу. Это было, как говорит Мартов, как раз «такое по-

литическое требование в области аграрной политики, которое, удовлетворяя земельную жажду крестьян и тем давая социал-демократии возможность приобрести в крестьянском движении опору, в то же время не рисковало при своем осуществлении затормозить ход экономического развития». Правда, признается Мартов, «временами во мне возникало сомнение, не правильнее ли было бы со стороны партии, не смущаясь временным и частичным регрессом производительных сил, который явился бы результатом осуществления "чернопередельческой" крестьянской программы, т. е. захвата всех помещичьих земель, встать на почву такого передела в надежде, что могучий толчок, который этим переворотом был бы дан всему народному хозяйству, быстро бы сгладил следы этого регресса». Но логическая стройность схемы победила сомнения, и «выдумка» не только «в конце концов понравилась» социал-демократам, обсуждавшим ее в Московской тюрьме, но была впоследствии воспринята всем редакционным коллективом «Искры» и вошла в проект программы, представленный им 2-му съезду*.

Принципиальные возражения этот проект встретил на съезде, главным образом, со стороны «экономистов» и «рабочедельцев», нападавших на «мизерность требовать» аграрной программы, в то время как в «других частях программы мы требуем максимумов» (Либер[540]). Но общую позицию редакции «Искры» выразил Ленин, когда, возражая Либеру, сказал: «Тов. Либер забыл о различии между демократической и социалистическою частью нашей программы... Он не заметил, что социалистическая часть нашей программы находится в другом месте, именно в рабочем отделе, который относится и к сельскому хозяйству. Только социалисты-революционеры с характеризующей их беспринципностью могут смешивать и смешивают постоянно демократические и социалистические требования, а партия пролетариата обязана строжайшим образом отделять и различать их». И в другой речи по тому же вопросу: «В деревне мы преследуем две качественно различные цели: во-первых, мы хотим создать свободу

* Однако традиции «аграрной революции» были так сильны в русской революционной среде, что именно эта часть искровской платформы труднее всего усваивалась местными работниками партии — особенно после того, как в начале 900-х годов начались крестьянские волнения. В этом имел случай убедиться автор этой книги, когда в марте 1902 г. объезжал, по поручению редакции «Искры», местные организации партии.

буржуазных отношений, во-вторых, вести борьбу пролетариата. Задача наша, вопреки предрассудкам социалистов-революционеров, — указать крестьянам, где начинается революционно-пролетарская задача крестьянского пролетариата».

Одинаково ставил вопрос и Троцкий, когда говорил: «Мы пойдем к крестьянству с общедемократическою частью нашей программы, мы пойдем к сельской бедноте с пропагандой социализма», и приходил к заключению, что социал-демократии вообще не нужна «аграрная программа, приспособленная к капиталистическому режиму». И, наконец, так же высказывался и Плеханов: «Требование возвращения отрезков ...имеет одну особенность. Оно имеет целью модернизацию нашего общества. Только такие требования и заключает в себе наша аграрная программа. Когда речь идет о новейшем буржуазном обществе, мы стоим на точке зрения Каутского[541] и не считаем нужным вырабатывать особую аграрную программу».

Но каково же будет отношение социал-демократии к крестьянскому движению, если оно перешагнет за рамки «модернизации» общества, намечаемые социал-демократическою программою «устранения остатков крепостного порядка» и «свободного развития классовой борьбы в деревне»? Плеханов отвечал на этот вопрос о возможном «черном переделе»: «Нам говорят: выставляя требование о возвращении отрезков, вы должны помнить, что крестьяне пойдут дальше этого требования. Нас это нисколько не пугает... Такое движение в пользу передела было бы движением в пользу буржуазии. Мы, конечно, не обязаны активно выставлять программу для буржуазии, но если бы в борьбе против остатков крепостных отношений крестьянство пошло по этому пути, то мы не стали бы задерживать это прогрессивное движение. Наша роль состояла бы только в том, что, в отличие от наших противников социалистов-революционеров, которые видят в нем начало социализации, мы направили бы все силы, чтобы не оставить у пролетариата никаких иллюзий насчет результатов этого движения, разоблачить буржуазный характер его».

Однако и эта политика «дружественного нейтралитета» по отношению к аграрной революции крестьянства, сопровождаемая пропагандистским «разоблачением» ее буржуазного характера, вызвала резкий протест со стороны части искровцев: «Революция эта», возражал Плеханову Николаевский делегат Махов[542], «если ее можно так назвать, будет не революционной... это будет уже не революция, а ре-

акция. Эта революция отбросит нас назад, и только лет через 20 мы вернемся к современному положению... Раздел земли и возвращение сумм выкупных и других платежей окажет то же влияние, которое оказала бы конфискация фабрик и заводов и раздел их между пролетариатом или, даже еще хуже, между всем народом». Возвращаясь к этому вопросу в прениях о «поддержке оппозиционных и революционных движений», тот же Махов формулирует положение: «крестьянские войны времен реформации носили реакционный характер, хотя и были оппозиционным движением, равно как и наши крестьянские волнения». И Махову вторит Лядов-Мандельштам[543], будущий видный большевик и первый большевистский историк русской социал-демократии: «Единственный революционный класс — пролетариат, крестьянские войны не были революционными».

Такая оценка крестьянских войн и крестьянской революции звучала слишком парадоксально, чтобы быть подхваченной другими делегатами. Но вряд ли случайно она не встретила и решительного отпора со стороны теоретических и политических руководителей съезда — членов редакции «Искры». Ибо, по существу, она была лишь доведенным до «логического конца» выводом из предпосылок, положенных в основу «искровской» программы «возвращения отрезков». Но если аграрная революция русского крестьянства — не «реакция», а «прогрессивное движение», как утверждал Плеханов, то непонятно, почему эта революция не нашла себе места в программе руководящей партии революции — социал-демократии. И непонятно, почему партия, провозглашающая в своей программе решимость «поддерживать» всякое «прогрессивное движение», именно по отношению к этому, крестьянскому движению должна ограничиться обещанием его «не задерживать». Правда, Плеханов указал, что аграрная революция крестьянства была бы «движением в пользу буржуазии», а социал-демократия «не обязана активно выставлять программу для буржуазии». Но эта аргументация теряет убедительность, если вспомнить, что «в пользу буржуазии» шло бы и осуществление программы «возвращения отрезков», более того — что формулирование такой ограниченной программы как раз и мотивировалось стремлением «создать свободу буржуазных отношений» в деревне (Ленин).

В этой внутренней противоречивости логически стройного теоретического построения еще раз дала себя знать противоречивость тех объективных задач, которые стояли перед русскою социал-де-

мократиею. Но именно поэтому и в этом случае схема начала терять свою стройность и вскоре была опрокинута при столкновении с действительностью крестьянского движения, затихшего было к 1903 году, но начавшего снова оживать в том революционном брожении, которое охватило всю страну после 9 января 1905 года. В этом движении слишком очевидно оправдалось предвидение Ланге[544], делегата «Северного Союза» на съезде, что предложенная «Искрой» аграрная программа «конечно, будет пропагандироваться в кружках, но в смысле массовой пропаганды среди крестьян роль ее будет ничтожна». Но в нем слишком очевидно стало также и то, что из всех возможных решений крестьянского вопроса «в пользу буржуазии» революционный захват крестьянством земельной помещичьей собственности является как раз тем решением, которое вызывает максимальное отталкивание не только либеральных дворян-земцев, но и либеральной городской буржуазии и, наоборот, максимальное сочувствие и среднего крестьянства, и «деревенской бедноты», и городского пролетариата. Из этого факта должны были сделать соответствующие выводы обе фракции русской социал-демократии.

Выводы, сделанные меньшевизмом, формулированы в резолюции[545], принятой в мае 1905 года Женевским совещанием представителей той части партии, которая примыкала к меньшевикам*.

Резолюция прежде всего призывает «воспользоваться обстоятельствами для усиленной агитации в среде сельских рабочих, для организации стачечного движения и сплочения рабочих в союзы для борьбы за профессиональные интересы», а в дальнейшей своей части настаивает на необходимости «установить возможно более тесное взаимодействие между революционным движением в городе и деревне». «Но кроме борьбы наемного труда с капиталом», говорит вторая часть резолюции, «в современной деревне происходит также освободительное

---

* «Первая общерусская конференция партийных работников». Отдельное приложение к «№ 100 «Искры». Женева, 1905. Одновременно с этой конференцией состоялось совещание и другой части партии, созванное «Бюро комитетов большинства» по соглашению с Центральным комитетом, снова изменившим свою позицию в организационном вопросе. В отличие от меньшевистской конференции, это совещание объявило себя 3-м очередным съездом партии, выбрало Центральный комитет и поручило Ленину, взамен «Искры», издавать новый Центральный орган «Пролетарий». Фракционный орган большевизма «Вперед» был закрыт на 18-м номере, и 27 мая (н. с.) вышел 1-ый номер «Пролетария», в свою очередь приостановленного на № 26, вышедшем 25 ноября 1905 г.

движение крестьянства, как сословия». По отношению к этому «сословному» движению крестьянства первой задачей социал-демократии является агитация «на почве своей аграрной программы», то есть программы «возвращения отрезков». Однако «в то же время социал-демократия поддерживает всякие попытки крестьян к насильственному захвату земель, разъясняя при этом крестьянству, что его завоевания в борьбе с помещиками могут быть прочно обеспечены только свободно избранным Учредительным Собранием, которому должно быть предъявлено требование образования, на демократической основе, особых комитетов для окончательного устранения старых, столь тяжелых для крестьянства, деревенских порядков (крестьянские комитеты)». И наконец, «социал-демократия ведет неустанную агитацию среди крестьян на почве своих демократических требований».

Как видим, резолюция официально санкционировала то отношение к аграрной революции крестьянства, которое было формулировано Плехановым на 2-ом съезде, как позиция социал-демократии на случай, если крестьяне «пойдут дальше» требования «возвращения отрезков». Правда, резолюция рекомендует «поддерживать» эту аграрную революцию, в то время как Плеханов говорил лишь о том, чтобы ее «не задерживать». Но, по существу, дело тут лишь в различии терминологии. Меньшевистская социал-демократия попрежнему противопоставляла программе аграрной революции крестьянства свою собственную программу — классовой организации сельского пролетариата во имя борьбы за социализм и «общедемократических требований» для основной, мелкохозяйственной массы крестьянства. И обещая поддерживать «попытки к насильственному захвату земель», поскольку такие попытки будут иметь место, она и в этом случае не обещает сделать «захват» своим собственным программным требованием; она обещает лишь нести в аграрно-революционное движение крестьянства демократическую идею Учредительного Собрания и ликвидации переживших себя «деревенских порядков» — не революционными органами самого крестьянства, а «особыми комитетами», избранными «на демократической основе» и называющимися «крестьянскими» не столько в силу своего происхождения и состава, сколько в силу того, что предметом их ведения должно быть «крестьянское» дело. Как показывает само название резолюции «О работе среди крестьян» — речь идет не о принципиально новом отношении к аграрно-революци-

онному движению крестьянства, а лишь о приспособлении пропагандистски-агитационной работы партии к этому движению.

Может показаться, что этому противоречит третья часть резолюции (ее 4-ая и последняя часть говорит о «созыве специальной конференции агитаторов, ведущих работу в деревне»), отвергающая «в качестве орудия систематической борьбы аграрный террор», но призывающая агитировать за «поголовное вооружение для самообороны от правительственных насилий; ...отказ от платежа податей... и поставки рекрутов; ...свободный выбор должностных лиц, и — в результате — революционное самоуправление деревни и революционные союзы самоуправляющихся сельских общин, как организацию крестьянского восстания против царизма».

Но эта часть резолюции и эти призывы ни в какой связи с специфически аграрной революцией крестьянства не стоят. Как увидим еще ниже, в них лишь находят себе выражение, применительно к крестьянству, идеи меньшевизма о методах и формах подготовки и проведении «всенародного восстания против царизма», органически связанные с той, уже характеризованной выше, общей концепцией соотношения социальных сил и задач социалистического пролетариата в «буржуазной» революции, до которой доработался к этому времени меньшевизм и логическим выводом из которой было примирение с переходом политически-командных позиций в ходе этой революции в руки буржуазии, отрицание самостоятельной политической роли за крестьянским «сословием» и самоограничение социал-демократии ролью оппозиции, толкающей «буржуазную» революцию вперед и использующей и все этапы ее, и ее конечные результаты для подготовки трудящихся масс к революции будущей, социалистической. Закрепленное в резолюции положительное отношение к возможной аграрной революции крестьянства никаких принципиальных изменений в эту общую концепцию меньшевизма не внесло. Как опять-таки увидим ниже, принятая тою же конференцией резолюция «О завоевании власти и участии во временном правительстве»[546] категорически подтверждает: «социал-демократия должна оставаться партией крайней революционной оппозиции».

В предисловии к вышедшему в 1908 году сборнику «За 12 лет»[547] Ленин писал об аграрной программе 2-го съезда, т. е. о своей собственной программе «отрезков»: «События показали, что наша тогдашняя программа была непомерно узка и недооценивала силы рево-

люционного крестьянского движения». Эти строки были написаны в сентябре 1907 года, но резолюция большевистского съезда «Об отношении к крестьянскому движению»[548] свидетельствует, что уже к маю 1905 года Ленин успел не только подвергнуть радикальному пересмотру свою собственную оценку революционного крестьянского движения, но и увлечь на путь такого пересмотра следовавшую за ним часть партии.

Резолюция — само заглавие которой характерно отличается от заглавия соответствующей резолюции меньшевистской конференции — категорически констатирует, что, при всей своей «стихийности и политической бессознательности», «разрастающееся теперь крестьянское движение ...неминуемо обращается... против существующего строя и против остатков крепостничества вообще». Она, правда, глухо упоминает о необходимости «очистить революционно-демократическое содержание крестьянского движения от всяких реакционных примесей», но ничего не говорит о том, в чем состоят эти «примеси», а поясняет, что задачу «очищения» социал-демократия должна выполнять, «развивая революционное самосознание крестьян и доводя до конца их демократические требования». Во всяком случае, о возможных «реакционных примесях» в социально-экономических требованиях крестьянства, о каком-либо ограничении этих требований во имя «свободы буржуазных отношений» в деревне и о противопоставлении программе аграрной революции крестьянства своей собственной аграрной программы в резолюции нет уже и речи. Об аграрной программе 2-го съезда резолюция даже не упоминает. Наоборот, она объявляет «задачей» социал-демократии «самую энергичную поддержку всех революционных мероприятий крестьянства ...вплоть до конфискации помещичьих, казенных, церковных, монастырских и удельных земель» и, таким образом, молчаливо ликвидирует программу «отрезков», а вместе с тем и социологическую концепцию, которая была положена в основу этой программы. Соответственно этому, и «революционные крестьянские комитеты», выдвигаемые резолюцией съезда, «как практический лозунг агитации среди крестьянства и как средство внесения наибольшей сознательности в крестьянское движение», оказываются, по идее своей, не государственными органами революционного землеустроения крестьянства, как в резолюции меньшевистской конференции, а крестьянскими органами аграрной революции, направленной одновременно и

против самодержавия, и против помещичьего землевладения: их целью объявляется «проведение всех революционно-демократических преобразований в интересах избавления крестьянства от полицейско-чиновничьего и помещичьего гнета», и их общекрестьянский «сословный» характер подчеркивается директивой — «стремиться к проведению представителей сельского пролетариата в крестьянские комитеты», стремясь в то же время к «самостоятельной организации» этого пролетариата и «к слиянию его с пролетариатом городским под знаменем социал-демократической партии».

Новая ориентация, ищущая опоры для пролетариата в его революционной борьбе против самодержавия уже не столько в сознательно-демократическом, "очищенном от народничества и аграриества" движении либеральной городской буржуазии, сколько в стихийном и политически бессознательном», но радикальном по своим социально-экономическим требованиям движении крестьянского «сословия», — отчетливо сказывается в этой резолюции. Но новая ориентация, естественно связанная с тем пересмотром вопроса о «союзниках», толчок к которому дала, как уже было указано, большевистская постановка проблемы «вооруженного восстания», нашла себе выражение и в принятых съездом резолюциях «О практических соглашениях с социалистами-революционерами» и «Об отношении к либералам»[549]. Конечно, резолюция об с[оциалистах-]р[еволюционер]ах начинается с «подтверждения отношения РСДРП к партии с[оциалистов-]р[еволюционер]ов, определенного резолюцией 2-го съезда», как резолюция о либералах — с напоминания, что «социал-демократия должна поддерживать буржуазию, поскольку она является революционной или только оппозиционной в своей борьбе с царизмом», и потому «приветствовать пробуждение политического сознания русской буржуазии». Но в то время как конкретным политическим выводом резолюции об с[оциалистах-]р[еволюционер]ах является «поручение» съезда Центральному комитету и местным комитетам «в случае надобности входить во временные боевые соглашения с организацией с[оциалистов-]р[еволюционер]ов», конкретной политической «директивой» резолюции о либералах оказывается «настоятельная рекомендация товарищам» — «разъяснять рабочим антиреволюционный и противопролетарский характер буржуазно-демократического направления во всех его оттенках, начиная от умеренно либерального, представленного широкими слоями землевладельцев и фабрикан-

тов, и кончая радикальным, представленным «Союзом Освобождения» и многочисленными группами свободных профессий». И эта директива еще усугубляется отменой принятой 2-м съездом резолюции Потресова, т. е., иначе говоря, запрещением и «практических соглашений» с какими бы то ни было партиями и группами «буржуазно-демократического», т. е. не социалистического направления.

Концепция «гегемонии пролетариата в буржуазной революции» была той социологической идеей, которая лежала в основе «искровского» течения и объединяла все его оттенки. Выяснившаяся в ходе событий практическая несостоятельность этой идеи побудила, как мы видели, меньшевистское крыло «искровства» вернуться к той концепции русской революции и роли пролетариата в ней, которая была формулирована в первых произведениях группы «Освобождение труда». Цитированные резолюции большевистского съезда показывают, что в совершенно ином направлении двигалась в процессе пересмотра идеи «гегемонии» мысль большевизма. И однако, в этих резолюциях, как и во всех других официальных решениях съезда, лишь в весьма слабой степени нашла себе выражение та совершенно новая социологическая концепция русской революции, к которой уже в это время вплотную «подошел Ленин, но которая, именно вследствие своего резкого противоречия с традиционной концепцией русского марксизма, в данное время еще не могла быть полностью усвоена даже большевистским крылом его. Лишь в ряде последующих лет, постепенно, с неизбежными остановками, попятными движениями, недоговоренностями и противоречиями входила в большевистскую идеологию и становилась определяющей в политической практике большевизма та концепция, главные элементы которой были отчетливо намечены Лениным в подготовлявших съезд статьях “Вперед” и подробно обоснованы им в выпущенной сейчас же после съезда брошюре “Две тактики социал-демократии в демократической революции”[550] (брошюра написана в июне–июле 1905 года и напечатана в Женеве в августе) и которая через десять с лишним лет стала основным идеологическим устоем рождавшегося из недр русской социал-демократии русского “коммунизма”».

«Буржуазный» характер начавшейся революции остается в это время для Ленина по-прежнему несомненным: «Только самые невежественные люди могут игнорировать буржуазный характер происходящего демократического переворота; только самые наивные оптимисты могут забы-

вать о том, как еще мало знает масса рабочих о целях социализма и способах его осуществления... Кто хочет идти к социализму по другой дороге, помимо демократизма политического, тот неминуемо приходит к нелепым и реакционным, как в экономическом, так и в политическом смысле, выводам. Если те или другие рабочие спросят нас в соответствующий момент: почему бы не осуществить нам программы-максимум мы ответим им указанием на то, как чужды еще социализму демократически настроенные массы народа, как неразвиты еще классовые противоречия, как неорганизованны еще пролетарии» («Две тактики»).

Но — в пределах «буржуазности» — и характер «происходящего демократического переворота», и его результаты могут быть существенно различными в зависимости от того, какие социальные силы возглавят его: «Буржуазии выгодно, чтобы буржуазная революция не смела слишком решительно все остатки старины, а оставила некоторые из них, т. е. чтобы эта революция была не вполне последовательна, не дошла до конца, не была решительна и беспощадна... Наоборот, рабочему классу выгодно, чтобы необходимые преобразования в буржуазно-демократическом направлении прошли именно нереформаторски, а революционным путем, ибо реформаторский путь есть путь затяжек, проволочек, мучительно медленного отмирания гниющих частей народного организма. От гниения их страдают прежде всего и больше всего пролетариат и крестьянство».

Ленин возвращается тут, в сущности, к промелькнувшей у него еще в 1896–7 гг. идее «демократического переворота», совершаемого пролетариатом в союзе с мелкой буржуазией и направленного острием своим против буржуазии крупной. Но если тогда, в брошюре «Задачи русских социал-демократов» он рассчитывал, как мы видели, на мелкую буржуазию городскую — «мелких торговцев, мелких ремесленников и т. д.», то теперь он ищет опоры и союзника для пролетариата в мелкой буржуазии деревенской.

«Наши тактические лозунги», пишет он, «совпадают с лозунгами демократически-революционной и республиканской буржуазии». Правда, «такая буржуазия и мелкая буржуазия еще не сложилась в крупную народную партию в России*. Но в существовании элементов

* В характерном примечании к этому месту Ленин говорит об с.-р.-ах, что это — «скорее террористическая интеллигентская группа, чем зародыш такой партии, хотя объективное значение этой группы сводится именно к осуществлению задач революционной и республиканской буржуазии».

ее может усомниться лишь тот, кто понятия не имеет о том, что происходит теперь в России... Таких элементов больше всего среди крестьянства. Без большой ошибки, при распределении крупных общественных групп по их политическим тенденциям, мы можем отождествить революционную республиканскую демократию с массой крестьянства... Если суждено нам пережить действительно великую революцию, если история на этот раз не допустит "выкидыша", если мы в силах будем довести революцию до конца, до решительной победы, ...тогда это будет революция с преобладанием элементов крестьянского и пролетарского». И дальше: «больше некому одержать решительную победу над царизмом».

Пролетариат, крестьянство и революционно-социалистическая интеллигенция (профессиональные революционеры), как три основных движущих силы русской революции, — эта новая для русского марксизма социологическая концепция была тоже своего рода «возвращением назад», только в отличие от меньшевиков, не к первоначальной концепции группы «Освобождения труда», а к основным чертам той концепции, которая была идеологической основой революционного народничества, а теперь, как мы видели, возрождалась в либерально преображенном виде в учении социалистов-революционеров. Но это общее сходство новой концепции Ленина с концепцией социалистов-революционеров не должно закрывать того глубокого различия, которое с самого начала существовало между ними и предопределило собою глубочайшее различие во всем дальнейшем развитии эсерства, с одной стороны, большевизма, с другой.

Различно, прежде всего, положенное в их основу представление о социальном характере русской революции. Для с[оциалистов-] р[еволюционер]ов 1905 г. «буржуазная» революция уже позади: она совершилась свыше четырех десятилетий тому назад в абортивной форме освобождения крестьян и «великих реформ». Поэтому революция, начавшаяся ныне, на пороге двадцатого века, буржуазной не будет и быть не может: низвержение самодержавия неминуемо будет связано с «социальными, имущественными переменами», и основная задача социалистической партии в «революционный момент» заключается в «расширении и углублении» этих перемен. Наоборот, для Ленина этой эпохи буржуазный характер начавшейся революции — аксиома, которую могут не понимать «только самые невежественные люди». Он отнюдь не отрицает связи «низвержения самодержавия»

с «социальными, имущественными переменами» — о том достаточно убедительно говорит его отношение к аграрной революции крестьянства. Но только, ввиду буржуазного характера революции, роль этих перемен должна быть служебной: социальные требования и чаяния — и как еще увидим, не только крестьянства, но и пролетариата — должны и могут быть превращены в рычаги «радикализации» политической революции, но они ни в коем случае не могут стать основною задачею социалистической партии в «революционный момент». В данное время в центре внимания всех, кто «хочет идти к социализму» и предохранить себя от «нелепых и реакционных выводов», должен стоять «политический демократизм», — и в прямой упрек меньшевикам ставит Ленин и то, что их конференция в своей резолюции о революционной власти «позабыла сказать о республике», и то, что они «теперь» выдвигают «на первый план профессиональные союзы».

В прямой связи с различием представлений с[оциалистов-]р[еволюционер]ов, с одной стороны, Ленина, с другой, о социальной природе русской революции диаметрально противоположным оказывается и их отношение к либеральной буржуазии. Для с[оциалистов-]р[еволюционер]ов такой социальной категории, можно сказать, вообще не существует: мы видели, как издевалась «Революционная Россия» над «Искрой», «нашедшей буржуазию» там, где с[оциалисты-]р[еволюционер]ы видели только «отцов», отличающихся от своих социалистических «детей» не принципиально, а лишь «умеренностью своей тактики и своих требований». Для с[оциалистов-]р[еволюционер]ов нет «принципиальной противоположности» между триединым блоком пролетариата, крестьянства и социалистической интеллигенции и либеральными элементами образованного и имущего общества; в революционной борьбе за низвержение самодержавия, как ее понимают с[оциалисты-]р[еволюционер]ы, эти элементы — не конкуренты и не противники, а лишь недостаточно последовательные и решительные союзники. Наоборот, в концепции Ленина самый союз пролетариата, крестьянства и социалистической интеллигенции именно против «либеральной буржуазии» направлен своим политическим острием. «Либеральная буржуазия» есть тот противник, ожесточенная борьба против которого необходима, чтобы политическая революция против самодержавия не оказалась реформистским «выкидышем», а завершилась «решительной побе-

дой» над царизмом: разгром «либеральной буржуазии» революционно-республиканским союзом пролетариата, крестьянства и социалистической интеллигенции еще в ходе «буржуазно-демократического переворота» есть основное условие политической радикализации этого переворота. На пороге «буржуазной» революции либерал-буржуа становится для Ленина таким же «врагом № 1», каким стал, как мы видели, для Добролюбова и Чернышевского либерал-дворянин на пороге освобождения крестьян.

И наконец, третье и политически решающее различие. Для с[оциалистов-]р[еволюционер]ов промышленный пролетариат, крестьянство и социалистическая интеллигенция сливаются в единую социальную категорию, однородную и по интересам, и по основам идеологии и внутренне дифференцированную разве лишь в оттенках и законченности социалистического сознания: только в триединстве этих элементов воплощается в России «рабочий класс», идейно-политическим глашатаем и вождем которого считает себя партия с[оциалистов-]р[еволюционер]ов. Наоборот, для марксиста Ленина и в его новой концепции только лишенный орудий производства пролетариат, городской и сельский, остается «рабочим классом», а пролетариат крупной промышленности — центральным стержнем этого класса. И объявляя главным орудием антицаристской революции теснейший союз рабочего класса с крестьянством, «отождествляемым» с революционно-республиканской мелкой буржуазией, он не забывает, что мелкая буржуазия есть класс, отличный от рабочего класса, и что поэтому и в рамках этого союза не могут исчезнуть те противоречия классовых интересов между пролетариатом и крестьянством, как «сословием», которые побудили большевистский съезд одновременно с санкцией аграрной революции крестьянства, с нарочитой резкостью подчеркнуть в своей резолюции, что «социал-демократия, как партия пролетариата, должна во всех случаях и при всех обстоятельствах неуклонно стремиться к самостоятельной организации сельского пролетариата и разъяснять ему непримиримую противоположность его интересов интересам крестьянской буржуазии». В противоположность концепции с[оциалистов-]р[еволюционер]ов «пролетариат и крестьянство» в концепции Ленина не единая социальная сила с едиными интересами и единой программой, а союз двух различных социальных сил, притом — союз, в котором пролетариату должна принадлежать руководящая роль.

«Исход революции», пишет Ленин («Две тактики»), «зависит от того, сыграет ли рабочий класс роль пособника буржуазии, могучего по силе своего натиска на самодержавие, но бессильного политически, или роль руководителя народной революции». И, отождествляя и в этом случае большевизм с воплощением подлинных интересов рабочего класса, он и в этом союзе с революционно-республиканскою буржуазиею, то есть крестьянством, который необходим для «решительной победы» над самодержавием, требует для большевизма такой же руководящей роли, какую, как мы видели, он требовал для него в самом пролетарском движении: «Мы намерены руководить (на случай успешного хода великой русской революции) не только пролетариатом, организованным социал-демократическою партиею, но и этой (революционно-республиканской) мелкой буржуазией, способной идти рядом с нами». И тут именно новая концепция смыкается с тою общею линиею политического и организационного развития большевизма, которая вела его от идеи диктатуры большевиков — «профессиональных революционеров» над партией к идее диктатуры партии над рабочим классом и дальше — диктатуры рабочего класса над всем «освободительным движением». Ибо только диктаторской может быть та рабоче-крестьянская власть, которая, согласно новой концепции, будет результатом революции против самодержавия, совершенной союзом пролетариата и крестьянства в борьбе против реформистской буржуазии: «Решительная победа революции над царизмом есть *революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства»* — подчеркивает Ленин курсивом основной политический вывод из новой концепции, как она обоснована в брошюре «Две тактики».

Новая концепция, к которой Ленин пришел в результате пересмотра старых «общеискровских» представлений о «гегемонии пролетариата в буржуазной революции», навязанного обеим фракциям русской социал-демократии фактическим ходом «освободительного движения», была прямой антитезой той концепции, к которой приходил в процессе этого пересмотра меньшевизм. В противовес фактическому отказу меньшевизма от борьбы за «захват» революционной власти, Ленин не только напоминал о том, что «партия, поставившая себе целью свергнуть правительство, необходимо должна подумать о том, каким правительством заменить старое, свергаемое правительство», но и настаивал на том, что проблема борьбы проле-

тарско-крестьянского союза с либеральной буржуазией за овладение революционной властью есть основная революционная проблема русской социал-демократии, более того — что вышедшее из революции правительство рабочих и крестьян может быть лишь правительством диктатуры.

Эти именно идеи, систематизированные и обоснованные в брошюре «Две тактики», он развивал в полемике с меньшевиками-«новоискровцами» еще до съезда в ряде статей «Вперед». Так, в передовой № 14 (30 марта — 12 апреля 1905), озаглавленной «Революционная демократическая диктатура пролетариата и крестьянства»[551], он писал: «не ясно ли, что борьба за республику немыслима для пролетариата без союза его с мелкобуржуазной массой народа? Не ясно ли, что без революционной диктатуры пролетариата и крестьянства нет ни тени надежды на успех этой борьбы?» Нельзя «бороться за республику и в то же время отказываться от революционной демократической диктатуры... Ведь, если мы, революционный народ, то есть пролетариат и крестьянство, хотим "вместе бить" самодержавие, то мы должны также вместе добить, вместе убить, вместе отбить неизбежные попытки реставрировать его!» И в «Две тактики» он только резче формулировал свою мысль и дополнял ее указанием на заостренность революционной власти против либеральной буржуазии, когда усиленно подчеркивал диктаторский характер того правительства, которое выйдет из «решительной победы» пролетариата и крестьянства над царизмом: «такая победа будет именно опираться на военную силу, на вооружение массы, на восстание, а не на те или иные, "легальные", "мирным путем" созданные учреждения. Это может быть только диктатура, потому что осуществление преобразований, немедленно и непременно нужных для пролетариата и крестьянства, вызовет отчаянное сопротивление и помещиков, и крупных буржуа, и царизма. Без диктатуры сломить это сопротивление, отразить контрреволюционные попытки невозможно».

Мы уже имели случай упомянуть, что РСДРП первая из социал-демократических партий ввела в свою программу термин «диктатура пролетариата». Но то был лозунг не стоявшей на очереди «буржуазной» революции, а будущей социалистической. Правда, апеллируя к «социальной революции», как к «конечной цели» и русской социал-демократии, один из сибирских делегатов второго съезда, Посадовский (д-р Мандельберг[552], меньшевик), поставил вопрос

о том, должна ли партия считать себя связанной «демократическими принципами» и в предстоящей революции буржуазной: «нужно ли подчинить нашу будущую политику тем или другим основным демократическим принципам, признав за ними абсолютную ценность, или же все демократические принципы должны быть подчинены исключительно выгодам нашей партии?» Со своей стороны, Посадовский отвечал: «Я решительно высказываюсь за последнее. Нет ничего такого среди демократических принципов, чего мы не должны были бы подчинить выгодам нашей партии (восклицания и неприкосновенность личности?) Да, и неприкосновенность личности! Как партия революционная, стремящаяся к своей конечной цели, — мы исключительно с точки зрения скорейшего осуществления этой цели, с точки зрения выгоды нашей партии, должны относиться к демократическим принципам. Если то или другое требование будет невыгодно нам, мы его не будем вводить».

Один только Плеханов поддержал Посадовского: «Вполне присоединяюсь к словам Посадовского: «...Успех революции — высший закон. И если бы ради успеха революции потребовалось временно ограничить действие того или другого демократического принципа, то перед таким ограничением преступно было бы останавливаться». И, отвечая утвердительно на вопрос, относится ли это и к принципу всеобщего избирательного права, Плеханов продолжал: «Революционный пролетариат мог бы ограничить политические права высших классов, подобно тому, как высшие классы ограничивали когда-то его политические права... Если бы в порыве революционного энтузиазма народ выбрал очень хороший парламент, ...то нам следовало бы стараться сделать его долгим парламентом; а если бы выборы оказались неудачными, то нам нужно было бы стараться разогнать его не через два года, а если можно, через две недели»*. И характерно для общего умонастроения только еще начавшего тогда обособляться «меньшевизма», что именно два будущих меньшевика оказались глашатаями той мысли об абсолютном подчинении политико-демократических задач партии ее пролетарско-социалистическим задачам, которая через 12–13 лет стала основным догматом поли-

* В этой связи стоит, пожалуй, упомянуть, что всеми голосами против 10 съезд отверг предложение крайних «экономистов» ввести в программу требование об отмене смертной казни.

тики «большевизма у власти» и которую он начал осуществлять разгоном Учредительного Собрания.

Но, несмотря на весь авторитет Плеханова, позиция его и Посадовского не встретила ни малейшей поддержки на съезде. Да и ему самому весь вопрос представлялся, по-видимому, столь абстрактным и «академическим», что, встретив на съезде решительный отпор, он (как и Посадовский) ни разу больше не возвращался к нему. «Абсолютная ценность» демократических принципов была в то время столь непререкаемым символом веры всех течений социал-демократии, в том числе и даже особенно будущего большевистского крыла ее, что Троцкий выражал, несомненно, общее мнение партии, когда, возражая на опасения крайнего «экономиста» В. Махновца-Акимова[553] насчет «диктатуры пролетариата» и в будущей социалистической революции, успокаивающе говорил: «Его пугает диктатура пролетариата, как якобинский акт. Он забывает, что эта диктатура будет возможна лишь тогда, когда социал-демократическая партия и рабочий класс — противопоставление которых его так смущает — будут наиболее близки к отождествлению. Диктатура пролетариата будет не конспираторским "захватом власти", а политическим господством организованного рабочего класса, составляющего большинство нации».

Провозглашая «диктатуру», и притом диктатуру с руководящим участием социал-демократической партии, как представительницы рабочего класса, этапом и орудием уже не будущей социалистической революции пролетариата против буржуазии, а «общенародной», «буржуазной» революции против самодержавия, Ленин круто порывал с четвертьвековыми традициями русского марксизма. Тем с большей настойчивостью подчеркивал он, что «это будет, разумеется, не социалистическая, а демократическая диктатура» («Две тактики»). И тем энергичнее восставал он против всяких попыток (и в этом был в то время центральный пункт его расхождения с Парвусом и Троцким) навязать возглавляемой этою диктатурою революции социалистические задачи: «Пытаясь немедленно поставить своею целью социалистический переворот, социал-демократия действительно лишь осрамила бы себя», писал он в цитированной уже передовице № 14 «Вперед». «Именно против подобных смутных и неясных идей наших "с. р.-ов" и воевала, однако, всегда социал-демократия. Именно поэтому настаивала она всегда на буржуазном характере предстоящей России революции, именно поэтому строго требовала она отделения

демократической программы-минимум от социалистической программы-максимум. Забыть все это могут во время переворота отдельные социал-демократы, склонные пасовать перед стихийностью, но не партия в целом».

Таким образом, целью диктатуры пролетариата и крестьянства должно быть лишь доведение «политического демократизма» до возможного максимума — завоевания республики, причем, «во избежание недоразумений», Ленин тут же «оговаривался», что «мы разумеем под республикой не только и даже не столько форму правления, сколько всю совокупность демократических преобразований нашей программы-минимум». Программа-минимум РСДРП, то есть осуществление самых широких политических свобод и всех экономико-социальных реформ, вмещающихся в рамки «демократического переворота», который, по словам резолюции большевистского съезда о Временном правительстве (о ней ниже), «не ослабит, а усилит господство буржуазии», — таковы пределы, за которые не должна выходить диктатура, если она не хочет придти к «нелепым и реакционным» выводам.

По мере развития революции стал все отчетливее намечаться водораздел между меньшевизмом и большевизмом в их методах разрешения той двуединой задачи: политическая демократия — социализм, которую эта революция ставила перед русской социал-демократией, как раньше неизменно ставила, хотя и в другой форме, перед всеми ее революционными предтечами.

Меньшевизм пытался сделать краеугольным камнем тактики партии борьбу за осуществление ее классовых, социалистических задач. Завоевание пролетариатом все новых политических позиций в классово-враждебном ему обществе, укрепление его классовой организованности, развитие его классового сознания в процессе буржуазной революции должны были подготовлять рабочий класс к наиболее успешной борьбе за социализм в будущей, буржуазной, но политически свободной России. Руководство чисто политическим переворотом меньшевизм фактически предоставлял самой буржуазии. Свои расчеты на радикальный характер этого переворота он строил, главным образом, на «давлении пролетариата» и на способности этого «давления» повысить политический антагонизм буржуазии к самодержавию до остроты, напоминающей Великую французскую революцию. Эти расчеты оказались и не могли не оказаться ошибочными. Противоречие

двуединой задачи, стоявшей перед русской социал-демократией, делало и не могло не делать самое позицию меньшевизма в этом вопросе внутренне противоречивой: ведь именно нарастание классовой обособленности и классовой боеспособности русского пролетариата, которое меньшевизм делал своей основной задачей, вгоняло и не могло не вгонять политическую оппозиционность русской буржуазии в тесные рамки, для которых не только грандиозные масштабы Великой французской революции, мерещившиеся меньшевикам, но и скромные масштабы абортивных революций 1848 года оказывались слишком велики. Став преимущественно носителем идеи примата классовых, социалистических задач пролетариата в буржуазной революции, меньшевизм впадал в неразрешимые противоречия перед лицом проблемы политической демократии.

Концепция «диктатуры пролетариата и крестьянства», завершавшая работу мысли большевизма, как носителя идеи примата политико-демократического радикализма в русской революции, несомненно разрешала те противоречия политической проблемы, в которых бился меньшевизм. Но тем более острые и неразрешимые противоречия создавали они для проблемы классовых, социалистических задач русского пролетариата в буржуазной революции. Если революционная социал-демократия, организующая городской рабочий класс и мобилизующая под знаменем социализма сельский пролетариат, сумеет подчинить своему политическому руководству и крестьянство как «сословие», повести его на штурм не только царизма, но и буржуазии и сделать его соучастником диктатуры, опирающейся «на военную силу, на вооруженные массы, на восстания» и потому способной сломить «отчаянное сопротивление» опять-таки не только царизма, но и буржуазии, чтобы провести в жизнь всю социал-демократическую программу-минимум, — то почему революционный пролетариат должен на этом остановиться? Почему «руководящая» рабоче-крестьянскою диктатурой социал-демократия не может приступить к осуществлению своей программы-максимум? И почему о приступе к такому осуществлению могут мечтать лишь «самые невежественные люди»?

Но, отвечает Ленин в цитированной уже передовой № 1 «Вперед», — «ход вещей навяжет нам при демократическом перевороте такую массу союзников из мелкой буржуазии и крестьянства, ...что опасения слишком быстрого перехода к программе-максимум являются

просто смешными»: эти «союзники не дадут «нам» перейти к программе-максимум потому, что и «реальные потребности потребуют как раз проведения программы-минимум». Иначе говоря, мелкая буржуазия и крестьянство не позволят рабочему классу перейти черту, отделяющую буржуазную революцию от социалистической. Да к тому же, добавляет Ленин в «Две тактики», и сама «масса рабочих еще мало знает о целях социализма и способах его осуществления», «классовые противоречия еще не развиты», «пролетарии еще не организованы», «демократически настроенные массы народа еще чужды социализму». Но в таком случае — каким же образом неорганизованный, мало знающий о социализме пролетариат окажется способным возглавить крестьянство и повести его в бой одновременно против царизма и буржуазии? И почему «союзники из мелкой буржуазии и крестьянства», так определенно настроенные против «программы-максимум» и способные пресечь всякие попытки перехода к ней, примут политическое руководство социал-демократии, то есть партии, которая именно эту программу-максимум и провозглашает своим знаменем, принципиально отличающим ее от всех других, буржуазных партий, и которая к тому же уже теперь обязалась «разъяснить сельскому пролетариату непримиримую противоположность его интересов интересам крестьянской буржуазии»?

Противоречивости и неубедительности этой аргументации не мог не чувствовать сам Ленин, и уже через два месяца после выхода в свет «Две тактики» он пытался в статье «Отношение социал-демократии к крестьянскому движению»* дать совершенно новый ответ на поставленный вопрос: «От революции демократической мы сейчас же начнем переходить и как раз в меру нашей силы, силы сознательного и организованного пролетариата, начнем переходить к социалистической революции. Мы стоим за непрерывную революцию. Мы не остановимся на пол пути». Но эта апелляция к «непрерывной» (по терминологии, связанной с именем Л. Троцкого, «перманентной») революции, стоявшая в таком очевидном противоречии со всеми предыдущими аргументами, оказалась лишь случайным зигзагом, и больше Ленин к ней не возвращался. И в конце концов, единственной гарантией несоциалистического характера возглавляемой социал-демократиею рабоче-крестьянской диктатуры и протекаю-

* Цитировано в «Кратком курсе истории В. К. П.», изд. 1938 г., стр. 71.

щей под ее руководством революции оказалась в его аргументации лишь идеологическая стойкость «партии в целом», в свою очередь, как мы знаем, гарантируемая, согласно общей концепции большевизма, лишь идеологической «выдержанностью» руководящего партиею ядра профессиональных революционеров, с одной стороны, строгой дисциплинированностью масс, с другой.

Такого рода аргументация вполне последовательно укладывалась в рамки тех основных идей большевизма, возникновение и развитие которых мы проследили на предыдущих страницах. Но по существу она означала, что выхода из противоречий новой концепции «демократической диктатуры пролетариата и крестьянства» Ленину приходилось искать на тех же старых путях апелляции к «сознанию», на которых искала их в свое время группа «Освобождение труда» и на каких искал их теперь и меньшевизм в своих попытках разрешения проблемы «социалистических задач пролетариата в буржуазной революции», — с той только разницей, что, сообразно общим идеям большевизма, Ленин апеллировал к «сознанию» не масс, а руководителей. Но, как мы уже не раз имели случай констатировать, чисто рационалистическая и потому иллюзорная апелляция к «сознанию» и была как раз все новым и новым свидетельством неразрешимости в рамках русской действительности противоречий той основной проблемы: демократия — социализм, которую эта же действительность непрерывно ставила перед русской социал-демократией. Мы знаем, как парадоксально разрешила впоследствии жизнь не основное противоречие проблемы: демократия — социализм в условиях русской действительности, донесенное историей в неприкосновенности до наших дней, но те противоречия, в которых бились меньшевизм и большевизм в своих попытках разрешения этой проблемы, заставив их, так сказать, поменяться ролями: меньшевизм — все больше превращать борьбу за «буржуазную» политическую демократию и ее охранение в свою первоочередную задачу, реформистски подчиняя ей «классовые», социалистические задачи пролетариата, а большевизм — ставить на первый план «строительство социализма», выбрасывая за борт и враждебно атакуя самое идею «последовательной демократии», бывшую, с самого зарождения большевизма, его основным фракционным лозунгом в общих рядах социал-демократии.

Этот парадоксальный финал идейно-политического развития двух фракций русской социал-демократии, конечно, был подготовлен всем

предшествующим ходом событий и тою особою ролью, которую каждая из этих фракций в этих событиях играла. Но лишь в ходе революции 1917 года и под ее непосредственным воздействием он получил отчетливое оформление. В 1905 году ни одна из фракций не узнала бы в нем своего собственного будущего облика. Большевистский съезд не только резко отшатнулся бы от идеи: социализм без демократии, но, как уже было отмечено, и идея «демократической» диктатуры пролетариата и крестьянства оказалась настолько трудно приемлемой для него, что не была формулирована ни в одной из его резолюций. И лишь в резолюциях меньшевистской конференции и большевистского съезда о Временном правительстве нашли себе сколько-нибудь отчетливое, хотя и далеко не последовательное, выражение те разногласия между меньшевизмом и большевизмом по основным проблемам революции, о которых говорилось выше и которые сталкивали обе фракции русской социал-демократии в резкой и страстной полемике.

Меньшевистская резолюция о Временном правительстве начинается с указания, что «решительная победа революции над царизмом» может быть отмечена «либо учреждением Временного правительства, вышедшего из победоносного народного восстания, либо революционной инициативой того или иного представительного учреждения, решающего, под непосредственным революционным давлением народа, организовать Всенародное Учредительное Собрание». Эта вторая половина дилеммы имела в виду то самочинное «представительное учреждение», мысль о котором возникала в кругах «Искры» в связи с «земской кампанией», но, конечно, и ту Государственную думу, проекты которой разрабатывались в это время в правительственных кругах. Она во всяком случае ориентировалась и на возможность дальнейшего развития русского революционного процесса в формах Великой французской революции, в которой сословные Генеральные Штаты непосредственно сменились Национальным (Учредительным) Собранием, а затем полновластным Конвентом и в которой не оказалось поэтому места для «Временного Правительства».

Но в какие бы формы ни вылилась «решительная победа», она во всяком случае будет лишь «началом новой фазы революционной эпохи» — фазы, в которой «окончательная ликвидация всего сословно-монархического режима» будет совершаться «в процессе взаимной борьбы между элементами политически освобожденного

буржуазного общества за осуществление своих социальных интересов и за непосредственное обладание властью». Вот на эту фазу классовой борьбы внутри уже «политически освобожденного» буржуазного общества, а не на те или иные формы его «решительной победы» над царизмом, должна ориентировать уже теперь свою тактику русская социал-демократия, если хочет защищать в революции интересы пролетариата. Она должна поэтому «стремиться сохранить на всем протяжении революции такое положение, которое лучше всего обеспечит за нею возможность двигать революцию вперед, не свяжет ей рук в борьбе с непоследовательностью и своекорыстной политикой буржуазных партий и предохранит ее от растворения в буржуазной демократии».

И Временное правительство, поднявшееся на гребне «победоносного народного восстания», ничего в этом положении изменить не может. Поскольку наша революция, по своему историческому характеру, есть «буржуазная революция», и Временное правительство «должно было бы, регулируя взаимную борьбу между противоположными классами освобождающейся нации, не только двигать вперед революционное развитие, но и бороться против тех его факторов, которые угрожают основам капиталистического строя». Поэтому «социал-демократия не должна себе ставить целью захватить или разделить власть во Временном Правительстве», а должна «строить свою тактику в расчете на сохранение за социал-демократической партией положения крайней революционной оппозиции ко всем сменяющимся в ходе революции правительствам».

Основные элементы политической линии меньшевизма, неоднократно уже обрисованные нами, нашли последовательное выражение в резолюции. И лишь небольшой, но характерный диссонанс вносится в намеченную ею стройную тактическую схему параграфом, заявляющим, что общее отрицательное отношение к «захвату или разделу власти» — «не исключает целесообразности частичного, эпизодического захвата власти и образования революционных коммун... в исключительных интересах содействия распространению восстания и дезорганизации правительства». Не указывая ни масштабов «частичности», ни длительности допустимых «эпизодов» и обходя молчанием вопрос о возможной целесообразности «в исключительных интересах содействия распространению восстания» и более центрального участия в «захвате власти», как и вопрос о том, когда,

при каких условиях и в какой форме должна партия ликвидировать свое участие в образованных при ее содействии «революционных коммунах», — «параграф этот пробивает, в сущности, брешь в логическом построении резолюции. Но брешь эта опять-таки свидетельствует «не о чем ином, как о противоречивости условий, в которых суждено было протекать русской революции и в которых русская социал-демократия должна была выполнять свои задачи политической мобилизации и организации русского рабочего класса.

Но значительно менее отчетлива и последовательна — не в отдельных параграфах, а во всем «построении своем, резолюция большевистского съезда — новое свидетельство тому, с каким трудом воспринимались в это время даже большевистским крылом партии те новые для социал-демократии идеи, которые развивал Ленин: не только идея рабоче-крестьянской диктатуры, но и гораздо более скромная идея участия социал-демократии во Временном Правительстве».

Большевистская резолюция[554] не ставит вопроса о «решительной победе» альтернативно. Конечно, программным политическим требованием и меньшевиков, и большевиков одинаково является демократическая республика. Но для меньшевиков, политическому взору которых все время преподносится исторический прообраз Великой французской революции, и окончательные формы политического устройства государства могут быть лишь продуктом «взаимной борьбы» «между классами “политически освобожденного буржуазного общества”», откуда следует, что за демократическую республику придется еще бороться в той «новой фазе революционной эпохи», которая будет открыта «решительной победой» — и это и есть причина, по которой данная резолюция о республике «позабыла» упомянуть. Наоборот, для большевиков сама «решительная победа» есть синоним «замены самодержавной формы правления демократической республикой», потому что такой замены требуют «как непосредственные интересы пролетариата, так и интересы его борьбы за конечные цели социализма», и потому именно в прямой упрек меньшевикам Ленин ставил умолчание о демократической республике в их резолюции. Но путь к завоеванию демократической республики только один: «осуществление демократической республики в России возможно лишь в результате победоносного народного восстания, органом которого явится Временное Правительство, единственно способное обеспечить полную свободу предвыборной агитации и со-

звать, на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права с тайной подачей голосов, Учредительное Собрание, действительно выражающее волю народа».

Тщетно, однако, мы будем искать в дальнейших положениях резолюции указания на то, что «победоносным народным восстанием», из которого только и может выйти Временное правительство, должна руководить социал-демократия; что в процессе этого руководства она должна сплотить вокруг рабочего класса крестьянство, только и являющееся воплощением «революционной и республиканской демократии» в России; что кроме пролетариата и крестьянства вообще «больше некому одержать решительную победу над царизмом», которая будет одновременно и победой над «либеральной буржуазией»; что, руководя восстанием, социал-демократия не только должна пойти в его «орган» — Временное правительство, но и занять в этом органе руководящее положение; что, в силу всего этого, под демократической республикой «мы разумеем не только и даже не столько форму правления, сколько всю совокупность демократических преобразований нашей программы-минимум»; и так далее, и так далее.

Все эти основные элементы новой концепции Ленина, с полной определенностью изложенные им, как мы видели, в ряде статей еще до съезда и затем систематизированные в «Две тактики», не нашли себе места в аналитической части резолюции и еще того меньше в ее директивной части. Резолюция констатирует напротив, что и осуществленный через победоносное народное восстание и Временное правительство, «этот демократический переворот в России, при данном общественно-экономическом ее строе, не ослабит, а усилит господство буржуазии, которая неминуемо попытается в известный момент, не останавливаясь ни перед чем, отнять у российского пролетариата возможно большую часть завоеваний революционного народа». Таким образом, вышедшая из победоносного восстания республика предполагается имеющей мало общего с проведением в жизнь «всей совокупности нашей программы-минимум». Рабочему классу еще только придется «потребовать» от Временного революционного правительства «осуществления всех ближайших политических и экономических требований нашей программы (программы-минимум)», — гласит первый директивный пункт резолюции.

Уже формулировка этого первого пункта весьма далека от требования возглавления Временного правительства социал-демократией

и даже от требования участия социал-демократии в этом правительстве. Но нежелание съезда сделать такое требование прямой политической директивой партии становится вполне очевидным в формулировке второго пункта директивной части, говорящего лишь о «допустимости» участия во Временном правительстве на определенных условиях, и притом участия не столько в тех революционно-наступательных целях, которые отводились ему в концепции Ленина, сколько в целях классово-оборонительного характера: «в зависимости от соотношения сил и других факторов, не поддающихся точному предварительному определению, допустимо участие во Временном революционном правительстве уполномоченных нашей партии, в целях беспощадной борьбы со всеми контрреволюционными попытками и отстаивания самостоятельных интересов рабочего класса». И иначе, как выражением внутренней тревоги, с которой съезд санкционировал и в этой, крайне ослабленной форме участие социал-демократии во Временном правительстве, нельзя расценить непосредственно следующий за этим пункт: «необходимым условием такого участия ставится строгий контроль партии над ее уполномоченными и неуклонное охранение независимости социал-демократии, стремящейся к полному социалистическому перевороту и постольку непримиримо враждебной всем буржуазным партиям».

И наконец, в «параллель той бреши, которую пробивает в меньшевистских концепциях пункт о "частичном и эпизодическом" участии социал-демократии в создаваемых революцией органах власти, — еще большую брешь в концепциях большевизма пробивает заключительный пункт резолюции: "независимо от того, возможно ли будет участие социал-демократии во Временном правительстве, следует пропагандировать в самых широких слоях пролетариата идею необходимости постоянного давления на Временное правительство со стороны вооруженного и руководимого социал-демократией пролетариата в целях охраны, упрочения и расширения завоеваний революции"». Действие социал-демократии сверху, через диктаторское Временное правительство, опирающееся на «военную силу, на вооруженные массы, на восстания», уступает тут место «давлению» на Временное правительство руководимых социал-демократами вооруженных пролетарских масс снизу: от концепции тогдашнего меньшевизма это отличалось разве что подчеркиванием «вооруженности».

Как известно, революция 1917 года заставила меньшевизм и большевизм и в вопросе о Временном правительстве поменяться ролями: меньшевизм провозгласил необходимость участия во Временном правительстве и практически это участие осуществил; большевизм не только объявил участие во Временном правительстве недопустимым, но и поставил себе задачей его свержение, причем лозунгом руководимого большевиками восстания стало не образование другого Временного правительства, а передача «всей власти» Советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, иначе говоря — «решительная победа» вооруженного восстания оказалась отмеченной предусмотренным в меньшевистской резолюции превращением «самочинного» представительного учреждения», каким были Советы, в полновластный «Конвент». Но то было делом сравнительно далекого будущего. Пока что, перед лицом проблем, поставленных перед социал-демократией революциею 1905 года, ее обе фракции недоговоренностями, непоследовательностями, колебаниями и противоречиями своей политической позиции свидетельствовали о неразрешимости этих проблем в условиях русской действительности. И в конце концов, обе они апеллировали от этой действительности к действительности международной, чтобы найти, хотя бы пока и теоретическое лишь, разрешение противоречия русской революции.

«Только в одном случае», говорит резолюция меньшевистской конференции, «социал-демократия по своей инициативе должна была бы направить свои усилия к тому, чтобы овладеть властью и по возможности дольше удержать ее в своих руках — именно в том случае, если бы революция перекинулась в передовые страны Западной Европы, в которых достигли уже известной зрелости условия для осуществления социализма. В этом случае ограниченные исторические пределы русской революции могут значительно раздвинуться, и явится возможность выступить на путь социалистических преобразований». Но в той же апелляции к международности видит и Ленин конечное разрешение противоречий своей концепции рабоче-крестьянской диктатуры, когда, говоря в «Две тактики» о том, что это «будет, разумеется не социалистическая, а демократическая диктатура», подчеркивает, что эта диктатура «может перенести революционный пожар в Европу».

В основе этой апелляции обеих фракций к «пожару в Европе» лежало нараставшее в них обеих понимание того факта, что противо-

речия русской революции, русской демократии и русского социализма могут получить действительное разрешение лишь в рамках международной социалистической революции — предвидение, оправданное сорока годами последующего политико-социального развития России и непререкаемо подтверждаемое всей действительностью нашей катастрофической, военно-революционной эпохи.

5. Революционное крещение

Меньшевистская конференция и большевистский съезд (точнее — тот идеологический фундамент, который подвел под его решения Ленин) завершали идейно-политическое оформление двух фракций русской социал-демократии. Они не только закрепили преимущественное тяготение одной из них к пролетарско-классовым задачам партии, другой — к революционно-демократическим задачам ее, но и сделали каждую из них носительницей особой концепции русской революции, особых представлений о соотношении социальных сил в ней и о месте и задачах рабочего класса в системе этих сил.

Надо, однако, отметить, что этот процесс фракционного самоопределения тогда, накануне октябрьской победы революции 1905 года, успел принять в рядах меньшевизма значительно более определенные и субъективно осознанные формы, чем в рядах большевизма. Мы видели, как, несмотря на весь престиж Ленина, и тогда уже стоявший недосягаемо высоко в большевистской среде, большевистский съезд лишь с явным сопротивлением и лишь частично соглашался покрывать официальной санкцией фракции новаторские концепции Ленина. Насколько существо и глубина фракционных разногласий были неясны тогда даже руководящей верхушке большевизма, видно хотя бы из текста «открытого письма», с которым только что выбранный съездом Центральный комитет обратился к меньшевистскому Организационному комитету, предлагая ему немедленно вступить в переговоры о восстановлении единства.

«Разъединение тяготит вас, мы убеждены, не меньше, чем нас», говорит «письмо», напечатанное в № 11 «Пролетария» от 27-го июля (9-го августа) 1905 года, когда переговоры уже были в ходу. «Неужели нельзя с ним покончить?»

«Что нас разъединяет? Тактические разногласия? Но разве они настолько серьезны, чтобы ради них социал-демократии стоило раска-

лываться на две партии? Различия между тактическими резолюциями 3-го съезда и вашей 1-й конференцией настолько незначительны, что постороннему наблюдателю их нелегко даже сразу заметить». Указав, что ни «различие организационных форм», ни «препятствия формальные» не делают объединение невозможным, письмо констатирует: «Все приводит нас к одному выводу: существенных и серьезных препятствий к объединению указать нельзя»*.

Но какова бы ни была степень идеологического оформления фракций к октябрю 1905 года, ни одна из них, конечно, не отдавала себе в то время ясного отчета в «конечных» выводах из ее собственных концепций и представлений: тогдашние меньшевики в массе своей также не узнали бы себя в будущих апостолах политико-демократического реформизма, способных лишь в его рамках мыслить классовую борьбу пролетариата за социализм, как большевики не узнали бы себя в будущих ликвидаторах Учредительного Собрания и пионерах «социалистического строительства», не только минующего «дорогу демократизма политического», но и отвергающего самый принцип «паршивенькой» (выражение Бухарина[555]) политической демократии. И когда в начале апреля 1917 года Ленин появился в Петербурге, его знаменитые «тезисы»[556], делавшие лишь первый и весьма осторожный шаг к доведению до «логического конца» той концепции, которую он изложил за 12 лет до того в «Две тактики», вызвали среди «старых большевиков» еще более единодушное и сильное отталкивание, чем вызвала среди «старых меньшевиков» интернационалистско-социалистическая позиция вернувшегося вскоре

---

* Переговоры, ведшиеся в течение всего июля месяца, положительных результатов не дали. Но сейчас же после 17/30 октября большевистский Ц.К. возобновил свою кампанию за восстановление единства. В обращении «Ко всем партийным организациям и ко всем рабочим социал-демократам» («Новая Жизнь». № 9 от 10/23 ноября 1905 г.) он предложил созвать, по соглашению с меньшевистским О.К., «четвертый съезд» для объединения, причем предварительно во всей системе партийной организации проводится выборное начало, а на самом съезде «каждая сторона получает по равному числу решающих голосов», но «заранее берет на себя твердое и ненарушимое обязательство подчиниться во всем постановлениям большинства голосов этого общего съезда». На ноябрьских конференциях обеих фракций вопрос о созыве объединенного съезда был решен положительно, и задача его подготовки была возложена на 6-членный «Объединенный Центральный комитет» (по 3 представителя от каждой фракции). Объединительный съезд, на основах не равного, а пропорционального представительства состоялся весной 1906 года в Стокгольме.

после того из-за границы Мартова, в свою очередь, бывшая лишь зачаточной формой той системы взглядов, которую он изложил в последствие в «апрельских» тезисах 1920 года, ставших платформой так называемого «Мартовского» течения меньшевизма*.

Но только начавшаяся в средине 1914 года война и, еще определеннее, революция 1917 года вновь повернули внимание партии к большим идеологическим проблемам. Промежуточные 10–12 лет характеризуются застоем и даже в известном смысле регрессом ее теоретической мысли. Основные концепции меньшевизма и большевизма остаются за все это время в том же «недоделанном» и потому, как мы видели, явно противоречивом виде, в каком они успели сложиться к началу революции 1905 года.

И той узкой и полицейски регламентированной свободы, которую принесла революция 1905 года, оказалось достаточно, чтобы поставить партию перед множеством совершенно новых для нее практических вопросов политики и организации. На их разрешении и сосредоточивается партийная мысль и период между двумя революциями. В дискуссиях и спорах по более или менее элементарным вопросам тактики и связанным с ними организационным вопросам зачастую теряется внутренняя связь между тактическими и организационными установками каждой из враждующих между собой фракций и теми большими концепциями, до которых они начали дорабатываться в процессе своего расхождения. Эти большие концепции во всяком случае почти исчезают из поля зрения рядовых работников социал-демократии. И если этот политико-организационный «практицизм» создает в течение всего этого периода все новые и новые возможности кооперации, сближения и даже «объединения» между, казалось, безнадежно разошедшимися фракциями, то, с другой стороны, на его же основе вырабатывается в каждой из них та «фракционность», для которой непререкаемым догматом и знаменем «пролетарского социализма» становятся преходящие тактические и органи-

* Для настроения партийных большевиков в марте–апреле 19 года характерен следующий эпизод: при первом же появлении автора настоящей книги в Петербургском совете (9–10 марта) к нему обратилась представительница Петербургского комитета большевиков, Д., с просьбой разрешить комитету перепечатать написанную автором еще в 1905 году популярную брошюру «Всенародное Учредительное Собрание». По фракционным соображениям разрешение дано не было.

зационные установки собственной фракции и которая стремится довести до предельной остроты всякое расхождение даже по частным, дробным и личным вопросам. Так и в «объединенной» партии все нарастает взаимное недоверие и психологическое отчуждение между двумя ее частями, подготовляющее их окончательный раскол, который был формально провозглашен большевиками еще в 1912 году, но фактически осуществился лишь в революции 1917 года — в виде превращения большевиков из «социал-демократов» в «коммунистов».

Несмотря на крайне резкую временами полемику, этой стены взаимного отчуждения, во всяком случае, еще не было, когда манифест 17/30 октября 1905 года и последовавшая через несколько дней, хотя и далеко не полная, но все же довольно широкая политическая амнистия позволили руководящим деятелям обеих фракций ликвидировать свое эмигрантское существование и вернуться в Россию. Петербургским большевикам удалось сейчас же взять в свои руки редакцию основанной поэтом Минским[557] газеты «Новая жизнь»[558], которая с 27 окт. (9 ноября) и стала выходить под новой редакцией, заменив собою приостановленный вскоре женевский «Пролетарий» (Ленин приехал в Петербург несколько позже, и его первая статья появилась в «Н. Ж.» лишь 10/23 ноября). В свою очередь, меньшевикам удалось организовать к 13/26 ноября свою собственную газету «Начало»[559], в редакцию которой, наряду со старыми фактическими редакторами приостановленной отныне «Искры» — Мартовым, Потресовым, Мартыновым и Даном, вошли на коалиционных началах также Парвус и Троцкий. И условия недолгих, но бурных «дней свободы» были таковы, что первые недели деятельность обеих фракций на русской почве не только не обострили их взаимоотношений, но, наоборот, привели к известному сближению, сделавшему даже возможным совместное издание общей газеты — после того как 2–3 (15–16) декабря и «Начало», и «Новая жизнь» были правительством закрыты. Но революционное движение начало уже клониться к упадку, правительство смогло даже арестовать общее собрание Петербургского Сов[ета] рабочих депутатов[560], не вызвав решительного отпора со стороны рабочих масс столицы. При таких условиях жизнь «Северного голоса», начавшего выходить 6/19 декабря «по соглашению обеих фракций РСДРП и под объединенной редакцией», оказалась еще значительно менее долговечной, чем жизнь обоих его фракционных предшественников: он был закрыт

уже на 3-ем номере. Удалось выпустить 18/31 декабря в его замен 1-й номер «Нашего голоса», но набор 2-го был рассыпан полицией с преданием официального редактора Д. М. Герценштейна[561] (ранее взявшего на себя такие же функции в «Начале») суду. Для тогдашней тяги обеих фракций к сближению показательна попытка воссоздать общий орган, на этот раз — под выразительным названием «Слияние», но и эта последняя попытка была сорвана отказом типографий печатать неугодную правительству газету с[оциал-]д[емократической] партии*.

Такое сближение оказалось возможным потому, что соприкосновение с революционной действительностью тотчас же поколебало и без того недостаточно еще установившиеся позиции обеих фракций: в этой действительности не оказалось существеннейших элементов для практического применения тех концепций, до которых каждая из них успела к тому времени доработаться.

Меньшевистская концепция «давления» рабочего класса на буржуазию в целях ее «революционизирования» и толкания к власти, при одновременном усилении и организованном закреплении классовых позиций пролетариата, оказалась нереализуемой — прежде всего, вследствие отсутствия на «политической сцене "предполагаемого объекта "давления"». Бурный разлив революционного движения, главной силой которого оказался рабочий класс, главным оружием — стачка и главным организационным центром — Советы рабочих депутатов, не только не вызвал политической активизации буржуазии, но на деле привел ее к временному политическому самоустранению. Лишь после разгрома Советов в декабре 1905 г. и фактического спада революционного рабочего движения буржуазия начинает выступать как организованная политическая сила. Но при этом и самое левое

* В дальнейшем легальные с.-д. газеты, уже не объединенные, а фракционные могли фактически выходить лишь во время сессий Государственной Думы, но и то лишь подвергаясь частым запрещениям и потому непрерывно меняя свои названия и пользуясь «подставными» редакторами. На пороге войны 1914 г. ежедневная с.-д. пресса была окончательно разгромлена и смогла вновь появиться лишь после революции 1917 года. Но журналы и еженедельники, политические и профессиональные, имели возможность выходить все время — конечно, тоже с вынужденными частыми перерывами. В начале 1908 г. большинство идейных руководителей обеих фракций снова очутилось в эмиграции (из которой некоторые — Дан, Мартов, Каменев и др. — смогли вернуться в Россию в 1913 г.) и возобновило там издание фракционных органов.

крыло ее, как характером своей критики только что пережитого бурного этапа революции, так и самым названием основанной им партии (кадеты: конституционалисты-демократы[562]) свидетельствует, насколько далеко оно от той «революционности», на которую ориентировалась меньшевистская концепция.

Но не больше элементов оказалось в революционной действительности и для практической реализации большевистской концепции «демократической диктатуры пролетариата и крестьянства», как орудия проведения «буржуазно-демократического переворота» в его наиболее радикальных формах. Октябрьское забастовочное движение рабочих[563], разлившееся по всей стране, вызвало новый бурный подъем аграрного движения в деревне. Но в этом движении крестьянство меньше всего показало себя той мелкобуржуазной «революционно-республиканской демократией», которая была бы способна стать партнером пролетариата по диктатуре, ставящей себе, прежде всего, задачи осуществления радикальной политической демократии и, во имя этой задачи, направляющей свое острие против буржуазного либерализма. Политические идеи и лозунги играли минимальную роль в крестьянском движении этого периода, целиком сосредоточенном на вопросах экономического порядка, в центре которых, естественно, стоял вопрос о земле. И в высшей степени характерно, что и ориентировавшаяся на крестьянство партия социалистов-революционеров обязана была в это время своими довольно значительными успехами не только в крестьянстве, и отчасти и в рабочей среде, главным образом, своей агитации в пользу «имущественных перемен», то есть своей социалистически окрашенной агитации экономического порядка, а отнюдь не своему политическому радикализму. Наоборот, в «сфере политики» как раз в это время начинается отмеченный уже нами выше процесс идейно-политического развития партии с[оциалистов-]р[еволюционеров] в сторону сближения с далеко не «радикальным» демократическим либерализмом, представленным кадетской партией, — процесс, и подготовлявший, кстати сказать, идейно-политическую основу для участия с[оциалистов-]р[еволюционеров] в той «демократической» коалиции, которою была отмечена первая полоса революции 1917 года, затем и в т[ак] н[азываемом] «фронте Учредительного Собрания» в эпоху гражданской войны.

Таким образом, наперекор всем концепциям, рабочий класс оказался единственной активной политической силой «освободитель-

ного движения» в дни октябрьской революции 1905 года. К созданной им организации Советов рабочих депутатов (в системе которой Петербургский Совет играл роль не только местного, но и всероссийского центра) должны были прислониться не только политически малооформленные круги служащих, приказчиков, мелких чиновников, рядовой городской и земской интеллигенции и т. п., вовлеченные в движение, но, как было уже сказано, и та квалифицированная и в это время весьма радикально настроенная «буржуазная» интеллигенция, которая группировалась в профессионально-политических союзах, объединенных в общий «Союз Союзов».

Было бы однако ошибкой преувеличивать — не то что политический «радикализм», но степень действительной политической заинтересованности и самого рабочего класса в этот период. Конечно, и в возникшем по инициативе меньшевиков Петербургском Совете, и в провинциальных Советах руководящая роль принадлежала социал-демократии*, и диктуемые ею радикально-демократические лозунги советских резолюций и воззваний без возражений и даже с энтузиазмом принимались всеми массовыми рабочими собраниями. Но на самом деле под этим обманчивым покровом стал очень скоро намечаться существенный перелом в действительных настроениях самих рабочих масс. Завоеванная ими возможность свободной и организованной борьбы начала поворачивать их внимание от проблем окончательной ликвидации самодержавия и радикализации грядущего ему на смену демократического строя к более близким и понятным им проблемам их собственного экономического и правового положения. Об этом свидетельствовала катившаяся по всей стране волна все учащавшихся экономических стачек, неудержимо вовлекавшая в свой круговорот все без исключения категории трудящихся, вплоть до самых отсталых, каждая из которых спешила создать — и для организации борьбы, и для закрепления завоеваний — свои собственные профессиональные союзы. И напор рабочих масс в этом направлении был так неодолим, что, уступая ему, Петербургский Совет увидел себя вынужденным объявить к средине ноября новую всеобщую забастовку, которой была придана, правда, «политическая» окраска протестом против предания военному суду кронштадтских матро-

* Единственным известным исключением был Белостокский Совет рабочих депутатов, находившийся под влиянием с.-р. и анархистов.

сов-повстанцев и против введения военного положения в Польше, но действительной задачей которой была попытка ввести «явочным» порядком 8-часовой рабочий день во всех промышленных и торговых предприятиях.

Каковы бы ни были концепции меньшевиков и большевиков, и тем, и другим одинаково приходилось считаться с тем неустранимым фактом, что на первом этапе революции рабочий класс оказался единственной активной политической силой, а потому как будто и единственным, не имеющим конкурентов, претендентом на создаваемую революционную власть. Чтобы не оторваться от этой силы и не вступить с нею в конфликт, им приходилось, волей-неволей, считаться и с тем, тоже неустранимым, фактом, что интересы широких слоев трудящихся, со включением и передовых отрядов промышленного пролетариата, начали перемещаться от проблем политического порядка к проблемам порядка экономического; более того, — что свою экономическую борьбу трудящиеся массы, естественно, пытались вести теми самыми методами «явочного» осуществления и «захвата», которые они только что, по инициативе самой социал-демократии, применили с таким успехом в борьбе политической, и что поэтому сама экономическая борьба начала принимать «анархо-синдикалистский» характер «прямого действия», таивший в себе, с точки зрения меньшевиков, опасность полной «изоляции» пролетариата от всех других сил «освободительного движения», а потому и его поражения, а с точки зрения большевиков — опасность «аполитизма», отрыва рабочих масс от борьбы за «революционно-республиканскую» демократию.

И меньшевизму, и большевизму приходилось, таким образом, вводить в свои теоретические концепции практические поправки, не только нарушавшие целостность этих концепций, но и грозившие взорвать их. И понятно, почему в меньшевизме с его традиционной ориентацией на «стихию» классового рабочего движения и на организованную самодеятельность пролетариата, с его выдвиганием на первый план «классовых» социалистических задач и с его убеждением, что, если уж ход событий принудительно навяжет пролетариату, хотя бы исторически преждевременно, революционную власть, то власть эта во всяком случае должна быть использована для социалистического преобразования общественных отношений, — понятно, почему в тогдашнем меньшевизме оказалось гораздо больше, чем в большевизме, психологической податливости по отношению к таким

поправкам, общая тенденция которых шла в направлении взглядов Парвуса — Троцкого о «рабочем правительстве», как исторически предопределенном могильщике и наследнике царской власти, и о «перманентной революции», как процессе непосредственного «перерастания» буржуазной русской революции в революцию социалистическую[564].

Об этой податливости свидетельствовал уже самый факт коалиции редакционного штаба «Искры» с Парвусом и Троцким для совместного издания газеты, начавшей выходить в середине ноября, то есть тогда, когда уже вполне определились все указанные выше особенности политической ситуации. Но еще отчетливее выразилась эта податливость в том, что «троцкистские» ноты начали все громче звучать в высказываниях и статьях видных членов «искровского» редакционного штаба (в первую очередь — Мартынова и автора этой книги), при явном одобрении значительной части меньшевиков, особенно рабочих-меньшевиков, и что «троцкистской» все больше становилась и общая редакционная линия «Начала», трактовавшего очевидную и все возрастающую изоляцию пролетариата уже не столько как источник и предвестник его поражения, сколько как ниспосланный ему судьбой шанс ускорения его социалистического освобождения*.

«Троцкистские» тенденции вносили элементы кричащего противоречия в общую концепцию меньшевизма и неизбежно толкнули бы значительную часть меньшевиков к ее принципиальному пересмотру, если бы неудача ноябрьской забастовки и последующие поражения руководимого Советами рабочего движения в декабре не демонстрировали с очевидностью иллюзорность расчетов на «блестящую изоляцию» пролетариата, как на условие, благоприятствующее

* Мартов (как Аксельрод и Плеханов) упорно сопротивлялся нарастанию «троцкистских» тенденций в меньшевизме и пытался твердо стоять на почве меньшевистской концепции о буржуазном характере революции, о буржуазии, как единственно возможном преемнике власти, и о роковом значении «изоляции» пролетариата, как для него самого, так и для общих судеб революции. Разнобой его тогдашних настроений с настроениями значительной части меньшевиков ощущался им так болезненно, что лишил его желания принимать участие в Стокгольмском съезде и вообще существенно понизил его партийную активность. А в мае 1906 года он был арестован и выслан за границу, откуда смог вернуться лишь в 1913 году. Этим и объясняется, почему в 1906–1907 гг. не столько Мартов, сколько пишущий эти строки выступал перед внешним миром в качестве, так сказать, официального представителя меньшевизма.

борьбе рабочего класса за власть и за социализм. Но и в процессе начавшегося после «декабря» возвращения всего меньшевизма в целом к его основным концепциям еще довольно долго, как увидим, давали себя знать противоречия, внесенные в эти концепции «днями свободы», но находившие все новую пищу и в событиях ближайших месяцев и лет. Во всяком случае, отвечая на издевательства некоторых буржуазно-демократических кругов над разноголосицей в рядах социал-демократии, Ленин (с характерным для того времени стремлением умалить фракционные разногласия) мог с некоторым правом писать: «В "Северном голосе" меньшевики вместе с большевиками звали к стачке и восстанию, звали рабочих не прекращать борьбы, пока власть не будет в их руках. Революционная обстановка подсказывала сама практические лозунги. Споры касались лишь деталей в оценке событий: "Начало", например, рассматривало Советы рабочих депутатов, как органы революционных самоуправлений, "Новая жизнь" — как зачаточные органы революционной власти, соединявшие пролетариат и революционную демократию. "Начало" склонялось к диктатуре пролетариата, "Новая жизнь" стояла на точке зрения демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. Но разве таких и подобных разногласий внутри социал-демократии не показывает нам любой период в развитии любой социалистической партии?» («Победа кадетов и задачи рабочей партии»[565], брошюра, написанная в марте–апреле 1906 года).

Но то, что «Новая жизнь» принципиально «стояла на точке зрения демократической диктатуры пролетариата и крестьянства», так же мало мешало все учащавшемуся появлению на ее столбцах статей «троцкистского» уклона, как не мешало появлению таких статей на страницах «Начала» то обстоятельство, что принципиально все без исключения меньшевистские члены его редакции по-прежнему стояли на точке зрения, нашедшей себе выражение в резолюциях майской конференции 1905 года. И еще меньше мешало оно тому, что этим «уклоном» все больше окрашивалась политическая агитация обеих фракций. Не случайная лишь обмолвка указание самого Ленина в только что приведенной цитате, что объединенная большевистско-меньшевистская редакция «Северного голоса» звала рабочих «не прекращать борьбы, пока власть не будет в их руках». Ибо, каковы ни были теоретические воззрения каждой из фракции, «практические лозунги», как справедливо говорит Ленин, им обеим «подсказывала

революционная обстановка». Обстановка же «дней свободы» была, как мы видели, такова, что практически толкала и меньшевиков, и большевиков в сторону «троцкизма»*. На короткое время «троцкизм» (правда, в то время еще безымянный), в первый и в последний раз в истории русской социал-демократии, стал ее объединяющей платформой. Не случайно поэтому и то, что после ареста (в ноябре) Хрусталева[566], председателя Петербургского Совета рабочих депутатов, именно Троцкий (к тому времени фактически отошедший от «Начала» и самостоятельно редактировавший дешевую популярную «Русскую газету») стал его естественным и никем не оспариваемым преемником — на те недолгие дни, которые еще оставалось жить самому Совету**. Сближение между фракциями происходило, однако, не только на почве больших политических проблем революции, но и на почве той громадной организационной, агитационной и пропагандистской работы, которую социал-демократия начала в предреволюционные дни и с удесятеренной энергией продолжала в «дни свободы».

Как уже было сказано, «после 9 января обе фракции социал-демократии ориентировались на «вооруженное восстание», как на неизбежную фазу развития революции. За одинаковостью ориентации скрывалось, однако, глубокое различие в понимании задач социал-демократии по отношению к восстанию: подчеркнуто «политический» подход к проблеме у меньшевиков, подчеркнуто «военно-технический» — у большевиков. Но за этой одинаковостью скрывалось на деле глубокое различие и в оценке самого значения восстания в развитии революционного процесса.

Большевистский съезд в мае 1905 г. провозгласил задачу организации пролетариата для «вооруженного восстания» «одной из самых главных задач партии в настоящий революционный момент», — он

* «Мы, меньшевики, забыли на время лейтмотив нашей тактики: избегать преждевременной изоляции пролетариата», — этими словами видный «практик» меньшевистской социал-демократии того времени П. А. Гарви (Воспоминания социалдемократа. Нью-Йорк, 1946, стр. 584) напоминает о том существенном политическом зигзаге, который проделали меньшевики в «дни свободы» 1905 года и который он задним числом, 40 лет спустя, может объяснить лишь — дефектами меньшевистской памяти: «забыли».

** После ареста пленарного собрания Совета и самого Троцкого председателем Петербургского Совета стал Парвус. Но сам Совет потерял к этому времени свой прежний характер и значение, превратившись в нелегальную организацию, вынужденную собираться тайно и с крайне ограниченным числом участников.

мог бы с полным правом сказать не «одной из самых главных», а «самой главной», потому что именно эта задача оказывается главенствующей во всех без исключения резолюциях его, в ее свете обсуждаются и решаются им все без исключения пункты порядка дня, и даже «массовые политические стачки» рассматриваются лишь как подсобное средство, могущее «иметь важное значение в начале и в самом ходе восстания». И, само собою разумеется, съезд обязывает все партийные организации «принять самые энергичные меры к вооружению пролетариата, а также к выработке плана вооруженного восстания и непосредственного руководства таковым, создавая для этого по мере надобности, особые группы из партийных работников»[567].

Наоборот, меньшевистская конференция, формулировав особой резолюцией свой «политический» подход к проблеме восстания и упомянув о вышедшем из восстания Временном правительстве, как об одной из возможных форм «решительной победы революции», больше к вопросу о восстании уже не возвращается. Для нее «вооруженное восстание» не всеопределяющий момент в развитии революции, как для большевиков, а лишь один из преходящих эпизодов этого развития. Правда, особая комиссия конференции вырабатывает проекты резолюций о «вооружении» и об «агитации в войсках». Но для характеристики действительного места, занимаемого проблемами такого рода в революционных концепциях меньшевизма, как нельзя более показателен тот факт, что в комиссии этой не принимал участия ни один из членов редакционной коллегии «Искры», более того — выработанные комиссией проекты конференция оставила без рассмотрения — «за недостатком времени»[568].

Вопреки ожиданиям, можно сказать, всех без исключения течений русской социал-демократии, массовое революционное движение, развязанное 9-м января, не «уперлось» в восстание. Победу над самодержавием — правда, далеко не «решительную» в том смысле, который придавала этому выражению резолюция большевистского съезда, — это движение одержало методом политической забастовки без «перерастания» ее в восстание. Правда, в восстания (Москва, Латвия, некоторые другие районы и города России) «переросла» как будто третья, декабрьская забастовка. Но сама эта забастовка была не актом дальнейшего политического наступления рабочего класса, а актом его самообороны, была навязана ему, как протест против ареста общего собрания Петербургского Совета. Декабрьские восстания

оказались, таким образом, арьергардными и притом местными боями революции, остановленной враждебными ей силами на полпути, а отнюдь не первым шагом к подъему ее на «высшую ступень» организованного и «всенародного» вооруженного наступления на самодержавие с целью «решительной» ликвидации его и замены демократическою республикой, возглавляемою Временным правительством рабоче-крестьянской диктатуры*.

Декабрьские поражения оказались не преходящей неудачей, а историческим эпилогом целой полосы революционного рабочего движения, в истоках своих связанного с 9-м января. Но лишь долго спустя смогли осмыслить это их значение даже меньшевики: расчеты на возможность и даже вероятность возобновления в самом близком будущем восстания, конечно, — восстания более широкого, «всенародного» по масштабу и потому успешного, входят в их тактические построения на протяжении почти всего 1906 года. И только к Лондонскому съезду (весна 1907 года) меньшевизм окончательно утверждается в мысли, что «после декабря 1905 года меньшевики недооценили размеры поражения» и что «того массового напора (то есть нового «подъема массового революционного движения». — *Ф. Д.*),

* Забегая вперед, нужно тут же отметить, что по пути «вооруженного восстания» в большевистском его толковании не пошла и февральско-мартовская революция 1917 года, окончательно столкнувшая русское самодержавие в историческую могилу, поставившая на его место Временное правительство и провозгласившая демократическую республику, сделавшую Россию, по признанию самого Ленина в его апрельских тезисах, «самою свободною страною в мире». В классическом виде большевистские методы «вооруженного восстания», заранее назначенного, подготовленного, организованного и руководимого «штабом спевшихся революционеров» и т. д., были применены лишь в октябрьско-ноябрьской революции того же 1917 года, когда задачей восстания оказалось уже не свержение самодержавия, а свержение Временного правительства, не учреждение демократической республики, а замена ее новым, «советским строем», непосредственным же его результатом не демократическая диктатура пролетариата и крестьянства, а социалистическая диктатура коммунистической партии. В исторической ситуации России первой четверти 20 века «политический демократизм» оказался таким образом непременной предпосылкой «вооруженного восстания» в большевистском его понимании, а отнюдь не его возможной целью. Только наличие этой предпосылки сделало возможной ту развернутую агитационную и организационную работу в массах и в войсках, которая была необходима для подготовки и осуществления такого восстания, и для того использования сотен тысяч плохо поддававшихся воинской дисциплине, но хорошо вооруженных крестьян и солдат, сосредоточенных в политических центрах страны, без которых успех восстания вряд ли был бы возможен.

который, в конце концов, неизбежен», нельзя ожидать «так скоро, как на то рассчитывали меньшевистские резолюции Стокгольмского съезда» (Ф. Дан. «Социал-демократия в резолюциях Лондонского съезда». 1907, изд. «Гудок»).

Еще значительно дольше держались большевики той точки зрения, которую формулировал Ленин сейчас же после «декабря» и которую он повторил в № 1-м объединенных «Партийных известий» от 7/20 февраля 1906 г., а именно, что «подавление Московского и других восстаний» является «лишь подготовкой почвы для новой, более решительной вооруженной борьбы» и что поэтому «именно теперь вопрос о восстании ставится на очередь на основании практически приобретенного опыта, доказавшего возможность борьбы с войсками и наметившего непосредственные задачи более упорной и терпеливой подготовки следующего выступления» («Современное положение России и тактика рабочей партии»)[569].

Не только над общими проблемами этого «следующего выступления», но и над конкретными деталями его «подготовки» усиленно работает мысль Ленина в ближайшие годы. На разгон 1-ой Государственной Думы[570] он реагирует в конце июля 1906 года брошюрой «Роспуск Думы и задачи пролетариата»[571], в которой категорически заявляет, что «при данном положении вещей, как оно сложилось теперь, в момент роспуска Думы, не может подлежать никакому сомнению, что активная борьба ведет прямо и непосредственно к восстанию» и что «поэтому звать к всероссийской забастовке, не призывая к восстанию... было бы прямо легкомыслием, граничащим с преступлением». Он настаивает на том, что «теперь мы особенно должны разъяснять в своей агитации необходимость... военной организации наряду с организацией советов для их защиты, для проведения того восстания, без которого бессильны будут всякие советы и всякие выборные от масс». Такого рода «военные организации», в свою очередь, «должны иметь своей ячейкой очень мелкие, вольные союзы, десятки, пятки, даже, может быть, тройки... Все и каждый, кто хочет стоять на стороне свободы, должны немедленно объединиться в боевые "пятки", — вольные союзы людей одной профессии, одной фабрики, или людей, связанных товариществом, партийной связью, наконец, просто местожительством (одна деревня, один дом в городе или одна квартира)», предвидя возможность, что «новая борьба» не «разгорится так же неожиданно и стихийно, как предыдущая», а что

«события потребуют от нас руководства и назначения времени выступления», он дает на этот случай подробные указания: «Если бы это оказалось так, то мы советовали бы назначить всероссийское выступление, забастовку и восстание к концу лета или к началу осени, к средине или к концу августа. Важно было бы использовать период строительных работ в городах и окончание летних полевых работ». Однако для того, чтобы «произвести» такое выступление «в указанный срок», необходимо «соглашение *всех* (курсив Ленина) влиятельных революционных организаций и союзов о времени выступления... Иначе останется старый путь стихийного нарастания настроения».

Мы видим, сколь непосредственно близким казалось Ленину в это время «вооруженное восстание». Но и после того, как сроки «следующего выступления» и большевикам пришлось отодвинуть в неопределенное будущее, ориентация на грядущее «вооруженное восстание» продолжала окрашивать собой всю политическую тактику большевизма и стала наиболее существенным из элементов, определявших собою и его отношение ко всем текущим политическим и организационным проблемам, и ту эволюцию его политического мышления, которая получила свое окончательное завершение в революции 1917 года, привела его к окончательному разрыву с социал-демократией и сделала его идеологическим знаменем советский коммунизм.

Однако, независимо от места, какое ориентация на «вооруженное восстание» играла в политической идеологии той и другой фракции, на деле им обеим приходилось все больше заниматься не столько проблемами восстания, которое оставалось перспективой будущего, и чем дальше, тем больше неопределенного будущего, сколько теми политическими и организационными проблемами, поворот внимания к которым им обеим одинаково «подсказывала» обрисованная выше «революционная обстановка». Но то были как раз те проблемы организации общереволюционного «освободительного» движения и, в частности и в особенности, организации и укрепления классовых позиций пролетариата, которые именно в меньшевистской стратегии и тактике отодвигали совершенно на задний план проблемы «восстания» и над которыми непрерывно работала меньшевистская мысль. Этим и объясняется, почему именно на долю меньшевизма выпала роль пионера, инициатора, пролагателя новых путей для социал-демократической работы — не только в предреволюционные месяцы и в «дни свободы», но и во весь последующий период полу-

конституционализма, вплоть до революции 1917 года, политическим организатором, возглавителем и руководителем первого этапа которой также оказался меньшевизм. Мы видели, как развивалось русское «освободительное движение», стихийно, рядом «частичных выступлений», все учащавшихся и все более «боевых», ломавшее рамки самодержавного закона и «явочным» порядком «захватывавшее» себе право свободного слова, собраний, стачек, уличных демонстраций съездов и союзов. В противоположность большевикам, опасавшимся, что в «частичных» выступлениях распылится и выдохнется «освободительное движение» раньше, чем наступит момент решительной «всенародной» схватки с самодержавием, настаивавшим поэтому на необходимости «беречь силы» до этого момента (как мы видели, их опасения отчасти разделяли в это время Парвус и Троцкий), меньшевики именно в этих «частичных» выступлениях увидели могучий фактор нарастания революционных сил и разложения царистского «аппарата», потому своим лозунгом сделали не «бережение сил», а «развязывание» революции. Но идя дальше, они стремились закрепить эти частичные и эпизодические прорывы в область политической свободы, создавая для защиты и использования добытых в «явочном» порядке прав столь же «явочные» организации всевозможного типа: лозунг «революционного самоуправления», дававший этой мысли обобщенное выражение, стал, наряду с лозунгом «развязывания революции», знаменем меньшевизма в общереволюционном «освободительном движении».

Явный успех этой тактики победил, в конце концов, сопротивление большевизма, и решающую роль сыграла в этом отношении выдвинутая «Искрой» и первоначально тоже встреченная большевиками враждебно идея использования «автономии», дарованной высшим учебным заведениям (27 авг. — 9 янв. 1905 г.). Эту автономию, задуманную в виде меры умиротворения студенчества, «Искра» предлагала использовать для ликвидации безнадежно затянувшейся студенческой забастовки для возвращения студентов в университетские города и аудитории, — не столько, однако, для того, чтобы возобновить учебные занятия, сколько для того, чтобы открыть эти аудитории для народных собраний и митингов. Лозунг «Искры» был подхвачен огромным большинством студенчества, начавшего уже тяготиться тою распыленностью, а потому и пассивностью, в которую осуждала его в бурном водовороте событий затянувшаяся забастовка. Петербургский,

Московский и другие университеты и высшие учебные заведения стали в предоктябрьские и октябрьские дни настоящими центрами массовой агитации для всех революционных партий. Через их аудитории с утра до ночи проходил поток народа. Их роль и в организации октябрьской победы оказалась совершенно исключительной, и особенное значение имели они для революционизирования мелкобуржуазных и мещанских городских слоев, на этих «университетских» митингах впервые тесно соприкоснувшихся и с рабочими массами, и с революционными партиями. Перед очевидностью этой роли умолкли все сомнения.

Но в центре всей этой работы по развязыванию и организации общереволюционного движения стояла для меньшевиков, как известно, задача использования этого движения для организации, усиления и укрепления классовых позиций пролетариата. «В нынешний момент общего революционного подъема... все общественные классы выходят на арену открытой и широкой политической борьбы и разные элементы буржуазного общества ищут себе опоры в народных массах», говорит меньшевистская майская конференция 1905 в объяснение принятых ею организационных резолюций и продолжает: «В массах пролетариата сильнее, чем во всех других классах, проявляется характерное для этого момента стремление к организации на почве защиты своих политических и профессиональных интересов. Необходимо, чтобы социал-демократия овладела этим могучим движением, чтобы она включала в себя и политически воспитывала в своих рядах все выделяемые пролетариатом сознательные элементы»[572].

Конкретизируя эту общую установку, принятая тою же конференциею резолюция «Об экономической борьбе»[573] подчеркивает, что «особенно благоприятным для рабочего класса» положением, которое он завоевал себе в революции своею «геройскою борьбою» против царизма, «социал-демократия должна воспользоваться для того, чтобы пролетариат завоевал себе в ходе буржуазной революции наиболее важные позиции, которые могли бы обеспечить ему успех в дальнейшей его борьбе за социальное освобождение». Поэтому «конференция считает необходимым, чтобы партия в своей агитации в революционный период с особенной энергией вела борьбу за установление максимального рабочего дня в восемь часов и ничем не ограниченной свободы стачек и союзов». В свою очередь, резолюция «О профессиональных союзах»[574], исходя из того, что «революция...

не только не устранит капиталистических отношений производства, но даст новый, могучий толчок их развитию» и что «в обстановке революционного брожения значительно облегчается завоевание» необходимых рабочему классу в капитализме прав свободной организации и стачек, — рекомендует всем партийным организациям: «1. содействие всем попыткам рабочих создавать союзы для защиты своих профессиональных интересов и призыв к организации таких союзов вопреки существующим еще запретительным законам; 2. устройство регулярных собраний представителей отдельных профессиональных союзов или уполномоченных промышленных заведений (старосты, депутаты и пр.) в целях установления постоянного общения между ними; 3. поддержание постоянной связи между партийными организациями и профессиональными союзами и постоянную помощь им имеющимися в распоряжении партийных организаций силами и техническими средствами». И наконец, переходя в область, где социально-экономическая борьба пролетариата смыкается с его политической борьбой, конференция приняла резолюцию «о неоформленных организациях», сыгравшую в ближайшие месяцы решающую роль в тактике социал-демократии и создавшую возможность ее тесного контакта с революционным движением широких рабочих масс.

Резолюция гласит: «В атмосфере существующего революционного брожения в широких массах возникают разного рода неоформленные объединения рабочих. Объединяя рабочих, без различия профессий, на почве социально-экономических и политических нужд, общих всему рабочему классу, эти соединения, в силу исторической обстановки, становятся исходными пунктами политического сплочения пролетариата. Принимая во внимание, что такой ход развития этих соединений создает опору для быстрого расширения и укрепления самостоятельной партии рабочего класса под знаменем социал-демократии, конференция рекомендует:

«1. содействовать возникновению и распространению таких соединений и 2. стремиться обратить их в руководимые социал-демократией постоянные революционные организации пролетариата (революционные рабочие клубы), ставящие себе целью непрерывное вмешательство в ход государственной и общественной жизни в интересах рабочего класса».

Ставя перед социал-демократией столь широкие задачи содействия возникновению, оформлению, росту и объединению всякого

рода «беспартийных» рабочих организаций, профессиональных и политических, меньшевизм видел, однако, в осуществлении этих задач не только единственно надежный путь к расширению классовых завоеваний и укреплению классовых позиций пролетариата в буржуазной революции, но и средство радикального реформирования самой социал-демократической партии. Как говорит цитированная уже мотивировка, данная конференцией принятым ею организационным резолюциям, «необходимость коренной реформы организации партийной работы становится особенно жгучей в нынешний момент общего революционного подъема». «Овладение» возникающим в условиях этого подъема «могучим движением» пролетарских масс и вовлечение в ряды социал-демократии всех «сознательных элементов, выделяемых пролетариатом» в ходе этого движения, и должно было служить орудием реформирования партии, превращения ее из организации, руководящей рабочими массами «со стороны» и, в свою очередь, руководимой революционно настроенными интеллигентами, выходцами из буржуазной среды, в самоуправляющуюся организацию самих рабочих масс, возглавляемую уже не буржуазною, а собственною, рабочею «интеллигенцией», помочь политическому и социалистическому воспитанию которой и составляет исторический долг социал-демократов. Проблемам реформирования партии отдавал особое внимание П. Б. Аксельрод, именно в это время выдвинувший идею всероссийского «рабочего съезда» всех профессиональных, политических, культурных и иных рабочих организаций, как решающего этапа на пути к созданию совершенно новой, массовой почвы для социал-демократической организации в России и совершенно новых методов и форм социал-демократической работы.

Идеи и тенденции только что цитированных резолюций намечали вехи будущей деятельности социал-демократии в «дни свободы» и в последующие годы полуконституционализма, создавшие для этой деятельности и для всех форм рабочего движения вообще крайне сложные и противоречивые условия «полулегальности». Но сами эти идеи и тенденции давали обобщающее выражение той работе, которую меньшевизм фактически начал еще до 9 января, но с особой энергией развивал после этой даты. Как было уже отмечено, 9 января дало толчок широкому разливу рабочего движения, очень скоро принявшего преимущественно экономический характер и сопровождав-

шегося попытками создания беспартийных рабочих организаций для ведения профессиональной борьбы и закрепления ее завоеваний. Насколько широкие размеры приняло это движение, видно хотя бы из того, что к октябрьским «дням свободы» в вышедших наружу профессиональных организациях оказалось до 200 000 зарегистрированных членов. И меньшевистские организации заранее вели со всей энергией ту работу по оказанию всяческого содействия экономической борьбе пролетариата и возникновению «самочинных» профессиональных союзов, которая впоследствии была вменена им в обязанность майскою конференциею.

Но точно также вели они работу и по созданию и укреплению тех «неоформленных организаций», которые, именно в силу своего «общерабочего», а не профессионального характера, не могли не становиться органами политической мобилизации рабочего класса. Мы еще увидим, какую роль сыграла мысль о такого типа организациях в определении отношения меньшевизма к выборам в ту законосовещательную, «Булыгинскую» Думу, объявлением о созыве которой в середине августа правительство надеялось сорвать дальнейшее развитие «освободительного движения», но которая сама была сорвана этим движением еще раньше, чем намеченные проекты начали осуществляться. Но работу в этом направлении меньшевизму удалось провести и практически — в непосредственной связи с 9 января, когда правительство поручило сенатору Шидловскому[575] созвать особую комиссию из выборных представителей петербургских рабочих для обсуждения их претензий и нужд.

На объявление о «комиссии Шидловского» меньшевистская организация ответила призывом рабочих всех фабрик и заводов столицы выбирать на общих собраниях выборщиков, которые впоследствии должны будут выделить из своей среды депутатов — членов комиссии, но прежде всего вступят с Шидловским в переговоры о гарантиях свободы слова и собраний и неприкосновенности рабочих выборщиков и будущих депутатов, без которых ни дальнейшие выборы, ни деятельность самой комиссии невозможны. На отказ правительства дать эти гарантии рабочие выборщики ответили отказом участвовать в комиссии, которая, таким образом, не состоялась. Но, помимо той огромной агитационной работы, которая была проведена в связи с выборами, выборы эти послужили своего рода репетицией для тех еще более широких выборов уполномоченных петербургских фабрик и заводов,

из которых в октябрьские дни вырос Петербургский Совет рабочих депутатов, оказавшийся исторически самым крупным политико-организационным достижением пролетариата в революции 1905 года, давший толчок к созданию таких же Советов во всех промышленных центрах России и ставший прообразом тех Советов рабочих (потом рабочих и солдатских) депутатов 1917 года, которые вызвали подражание и в международном рабочем движении и стали затем основой большевистского государственного строя. Выбранные (по призыву петербургской меньшевистской Группы) рабочие уполномоченные собрались 13/26 октября ночью в одной из аудиторий Технологического института под председательством члена Группы Л. Зборовского[576] (Кузьма), и на этом историческом заседании и был основан первый Совет рабочих депутатов.

Примирить эти новаторские методы «развязывания» революций и ее «организации» со своими общими политическими концепциями — большевизму было, конечно, нелегко. Еще труднее было ему вместить их в рамки своих организационных традиций, начало которым положило еще Ленинское «Что делать?» Естественно, что первой реакцией большевизма на эти методы была определенная враждебность к самой идее борьбы рабочего движения за «легальность» еще в ходе подготовительного процесса революции и резко отрицательное отношение к тактике, стремившейся именно возникающие в «явочном» порядке и в непосредственной связи с массовым движением широкие и беспартийные формы политического и профессионального сплочения рабочих сделать и основным оплотом революции, и основным рычагом воздействия рабочего класса на нее, и основной ареной приложения идеологической работы социал-демократии.

Меньшевистскому призыву к выборам рабочих-уполномоченных в «комиссию Шидловского» большевики противопоставили лозунг бойкота. Не встретила сочувствия у них и борьба за полулегальные профессиональные союзы. Мы видели, как в «Две тактики» Ленин ставил в особый упрек меньшевикам, что «теперь», когда в порядке дня стоит борьба за «политический демократизм», они выдвигают «на первый план профессиональные союзы». На страницах «Вперед» была высказана даже мысль, что в переживаемое революционное время организацию рабочих профессиональных союзов социал-демократия могла бы спокойно предоставить «либералам». Большевикам нужно было существенно пересмотреть свои взгляды на профессио-

нальное движение в революции, чтобы на Стокгольмском съезде весною 1906 года оказалось возможным единогласное принятие резолюции, вменявшей партии в обязанность всяческое содействие организации профессиональных союзов, а членам партии — деятельное участие в них.

С неприязненною настороженностью отнеслись вначале большевики и к образованию «беспартийного» Совета рабочих депутатов, в котором они увидели возможного политического конкурента социал-демократической партии и во всяком случае помеху тому авторитарно-партийному руководству рабочим движением, которое было одним из основных устоев их политико-организационной программы. Почти до конца ноября не прекращается на петербургских фабриках и заводах агитационная кампания, которую ведет петербургский комитет большевиков и лозунги которой колеблются между требованием принятия Советом социал-демократической программы или официального подчинения его политическому руководству социал-демократической партии, и требованием превращения его в чисто профессиональную организацию, защищающую экономические интересы рабочих, но отказывающуюся от политических функций. И лишь тогда, когда Советы 1905 года фактически уже начинают сходить со сцены, отношение большевиков к ним подвергается такому же принципиальному пересмотру, какому подвергается отношение большевизма к профессиональным союзам и ко всяким видам «беспартийных» рабочих организаций (культурно-просветительных, кооперативных и др.) вообще.

Само собою разумеется, что этот пересмотр осуществился не сразу, и еще долго каждый новый подъем надежд на близость нового взлета революции сопровождался рецидивами старого, чисто отрицательного отношения к борьбе за легальные и полулегальные формы экономической и политической организации рабочего класса до «решительной победы» над самодержавием. Но «революционная обстановка» все настойчивее «подсказывала» иной подход к этим организациям, и постепенно «бойкотистское» отношение к ним сменялось их «приятием» и стремлением найти такие методы «использования» их, которые сделали бы участие в них полезным с точки зрения общей политической концепции большевизма.

Вопросами этого порядка пришлось заняться уже майскому большевистскому съезду 1905 года. Принятая им резолюция «Об от-

ношении к тактике правительства накануне переворота»[577] констатирует, что «в целях самосохранения правительство, ...усиливая обычные репрессии, ...1) пытается путем уступок и обещаний реформ политически развратить рабочий класс и тем отвлечь его от революционной борьбы; 2) с тою же целью облекает свою лицемерную политику уступок в псевдодемократические формы, начиная с приглашения рабочих выбирать в комиссии и совещания своих представителей (комиссия Шидловского. — *Ф. Д.*) и кончая созданием карикатурных форм народного представительства (Булыгинская Дума. — *Ф. Д.*)..; 3) организует так называемые черные сотни...» В ответ на эту тактику правительства съезд предлагает: «1) разоблачать реакционные цели правительственных уступок...; 2) пользуясь предвыборной агитацией, ...доказывать необходимость для пролетариата созыва революционным путем Учредительного Собрания на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права с тайною подачей голосов; 3) организовывать пролетариат для немедленного осуществления революционным путем 8-часового рабочего дня и других стоящих на очереди требований рабочего класса; 4) организовывать вооруженный отпор выступлениям черных сотен и всех вообще реакционных элементов, руководимых правительством».

Отличие большевистского подхода к проблеме от меньшевистского очевидно. Для меньшевиков каждая «уступка», каковы бы ни были собственные намерения правительства, есть, прежде всего, вынужденная революцией сдача самодержавием той или иной своей позиции; задача революции — немедленно овладеть этой позицией и превратить ее в новый опорный пункт дальнейшего наступления на самодержавный режим. Для большевиков «уступка» есть лишь маневр в целях «политического развращения» рабочих масс и «отвлечения их от революционной борьбы». Непосредственно использованы для задач революции «уступки» никак быть не могут. Пользоваться некоторыми благоприятными обстоятельствами, создаваемыми ими, как, например, выборами, можно лишь затем, чтобы «разоблачать» реакционный характер уступок и противопоставлять методам использования их «революционные пути». Но еще характернее сказывается отличие большевистской установки того времени от меньшевистской в той резолюции 3-го съезда, которая касается непосредственно «легальных или полулегальных» рабочих организаций.

Резолюция констатирует, что 1) под напором революционного движения «самодержавное правительство... оказывается вынужденным допустить некоторую свободу политического выступления враждебных ему классов» и что 2) «этой свободой политического выступления преимущественно пользуются теперь буржуазные классы», чем увеличивается «опасность превращения рабочего класса в простой придаток буржуазной демократии». Но и «среди рабочих масс все шире и шире обнаруживается стремление к самостоятельному и открытому выступлению на политическую арену, хотя бы и без всякого участия социал-демократии». В этом «стремлении» большевизм не видит того исторически нового фактора, который создает совершенно новые возможности и для русской революции в целом, и для классового движения пролетариата в ней, и для самой русской социал-демократии, и который поэтому должен отныне иметь решающее значение для всей социал-демократической тактики. Большевизм подходит к «легальным и полулегальным» рабочим организациям, главным образом, с точки зрения их опасности для существующей партийной организации, если они будут развиваться «без всякого участия социал-демократии», и ищет поэтому возможности превратить их, наоборот, в один из источников укрепления этой организации. Единственная директива, которую дает по этому поводу резолюция, гласит: «использовать все легальные или полулегальные рабочие общества, союзы и другие организации для обеспечения преобладающего влияния на них социал-демократии и превращения их по мере возможности в опорные пункты будущей социал-демократической рабочей партии в России».

Чисто «партийный» подход к проблеме выражен и в самом заглавии резолюции, посвященной не «открытому и самостоятельному выступлению» рабочих масс, а «открытому политическому выступлению РСДРП». Но этот подход отнюдь не означает ориентации на те партийно-реформаторские планы, которые связывал с открытым выступлением рабочих масс на политическую арену меньшевизм. Последний директивный пункт резолюции показывает, что она имела в виду лишь эпизодические, по преимуществу боевые, «открытые выступления» партии или ее специально для того предназначенных органов. Этот пункт гласит: «принять меры к тому, чтобы наши партийные организации, наряду с сохранением и развитием своего конспиративного аппарата, приступили немедленно к под-

готовке целесообразных форм перехода во всех случаях, когда это возможно, к открытой деятельности социал-демократической партии, не останавливаясь при этом и перед столкновением с вооруженной силой правительства».

В отличие от резолюции об «уступках» резолюция об открытых и полуоткрытых формах рабочего движения намечает уже возможности и задачи того «использования» их, которое шло на смену чистому «бойкотизму» и, хоть и с немалым запозданием, было, в конце концов, применено и к правительственным «уступкам».

По мысли резолюции, задача использования легальных и полулегальных рабочих организаций должна состоять в превращении их в опорные пункты социал-демократической партии. Но осуществить эту задачу путем побуждения их принять программу социал-демократической партии или организационно поставить себя под ее руководство, то есть отказаться от своей «беспартийности», оказалось невозможным. Попытки в этом направлении вели лишь к острым конфликтам большевистских партийных комитетов с повсеместно возникавшими массовыми рабочими организациями всякого рода, с Советами рабочих депутатов в том числе, и грозили изоляцией большевизма от рабочего движения. Поэтому, в значительной степени под влиянием местных и низовых работников большевизма, тактика «завоевания» этих организаций для партии, так сказать, «извне» стала уступать место тактике «использования» их «изнутри» — путем образования внутри их ядра «выдержанных и спевшихся революционеров», которые, не покушаясь на их «беспартийный» характер и содействуя им в выполнении их специфических задач — профессиональных, просветительных, и т. д., вплоть до политических, в то же время стараются использовать и завоевываемые ими на общественно-политической арене позиции, и их организационно-технический аппарат, и их человеческий персонал для тех особых задач, которые ставит себе, совершенно независимо от них, сама большевистская партия. Так возникают зародыши тех «ячеек», которые впоследствии такую громадную роль сыграли в успехах не только русского большевизма, но и международного коммунизма.

В условиях 1905–6 гг. руководящей мыслью «использования», естественно, должна была стать для большевизма подготовка к тому «всенародному вооруженному восстанию», которое казалось ему в это время весьма близким и в котором он видел единственный путь к

«решительной победе» над самодержавием и к его замене «демократическою диктатурой пролетариата и крестьянства». Под этим углом зрения и формируется большевистская «теория» Советов, конечно — отнюдь не сразу принимающая законченный вид.

В статье, помещенной в «Новой жизни» 25 ноября/5 декабря 1905 г., Ленин, полемизируя с меньшевистскими взглядами на Советы, пишет: «Совет рабочих депутатов не рабочий парламент и не орган пролетарского самоуправления, вообще не орган самоуправления, а боевая организация для достижения определенных целей... Поэтому вполне естественно будет включение в Исполнительный комитет и представителей революционного крестьянства... По существу дела Совет рабочих депутатов является неоформленным, широким боевым союзом социалистов и революционных демократов... Необходимость в таком союзе очевидна для ведения политических стачек и других, более активных, форм борьбы за насущные, признанные и одобренные гигантским большинством населения демократические требования». Первое объяснение «необходимости» таких широких и партийно неоформленных организаций, как Советы, сводится, таким образом, к их отождествлению с теми «боевыми союзами социалистов и революционных демократов», которые еще резолюция 3-го съезда о социалистах-революционерах[578] объявила органами подготовки и проведения вооруженного восстания в большевистском его понимании (статья говорит иносказательно о «более активных формах борьбы», не желая лить воду на мельницу тех репрессий против Советов, которых начали уже все настойчивее требовать консервативные и реакционные круги).

Дальнейший шаг в сторону согласования оценки Советов с общими концепциями большевизма делает написанный Лениным в январе–феврале 1906 года проект резолюции к Стокгольмскому съезду.

Констатируя, что Советы «стихийно возникают на почве массовых политических стачек, как беспартийные организации широких рабочих масс», проект утверждает, что в ходе борьбы они изменяют и свой состав, вовлекая в свои ряды «наиболее революционные силы мелкой буржуазии», и содержание своей деятельности: превращаются «из чисто стачечных организаций в зачатки революционной власти». И поскольку это так, постольку «их сила и значение зависят от силы и успеха восстания». Отсюда вывод, что не только положительное отношение к стихийно возникающим Советам, но и «создание

таких организаций... может быть, при известных условиях, задачей местных организаций нашей партии», и что важно вовлечение в Советы «возможно более широких слоев рабочих, а также представителей революционной демократии, особенно из крестьян, солдат и матросов». Но в то же время «при расширении деятельности и сферы влияния Советов рабочих депутатов необходимо указывать на то, что такие учреждения, не опираясь на революционную армию и не свергая правительственных властей (то есть не превращаясь во временные революционные правительства), неизбежно осуждены на падение; поэтому вооружение народа и укрепление военной организации пролетариата должно быть рассматриваемо как одна из главных задач таких учреждений во всякий революционный момент».

И, наконец, последнее систематическое изложение своих взглядов на Советы Ленин дает в конце июля 1906 года в упомянутой уже брошюре «Роспуск Думы и задачи пролетариата». «Советы рабочих депутатов — органы массовой непосредственной борьбы», пишет Ленин. «Они возникли, как органы борьбы стачечной. Они стали очень быстро, под давлением необходимости, органом общереволюционной борьбы с правительством. Они превратились неудержимо, в силу развития событий и перехода от стачки к восстанию, — в органы восстания... Но для организации восстания "советы" и подобные массовые учреждения еще недостаточны... они недостаточны для организации непосредственно боевых сил, для организации восстания в самом тесном значении слова». Изложив в этой связи свои, уже цитированные выше, соображения о необходимости и для защиты самих советов, и для проведения восстания особых «военных организаций»*, в свою очередь, опирающихся на боевые «десятки, пятки, даже, может быть, тройки», Ленин формулирует свое окончательное суждение о Советах в связи с вопросом о Временном правительстве: «Вопрос о Временном правительстве с теоретической стороны выяснялся уже достаточно. Возможность участия социал-демократии доказана. Но теперь интереснее другая практическая постановка этого вопроса, данная октябрем–декабрем. Ведь Советы рабочих депутатов и т. п. были на деле зачатками Временного правительства; власть неизбежно до-

* В процессе подготовки и проведения большевистского восстания в октябре–ноябре 1917 года эти «военные организации» приняли, как известно, форму «военно-революционных комитетов».

сталась бы им в случае победы восстания. Надо перенести центр тяжести на изучение этих, исторически данных, зародышевых органов новой власти, на изучение условий их работы и их успеха. Это насущнее, это интереснее в данный момент, чем гадания вообще о Временном революционном правительстве». Когда Ленин писал эти строки, «практическая постановка вопроса» имела чисто академическое значение: Советы к этому времени уже сошли со сцены и не на короткое время, как думал Ленин, а, оказалось, на целых 11 лет. Но выдающееся практическое значение получили эти его мысли о значении и возможной роли Совета рабочих депутатов в общем процессе русской революции, когда эти Советы (превратившиеся, в условиях незаконченной войны, в Советы рабочих и солдатских депутатов) возродились в первые же дни февральско-мартовской революции 1917 года: 1917 год показал, насколько общая концепция Ленина, ориентированная на борьбу с буржуазией за власть, позволила ему сделать из короткого опыта деятельности Советов в «дни свободы» 1905 года гораздо более проницательные и реалистические выводы, чем могли их сделать сами инициаторы Советов — меньшевики.

Как отмечено выше, вся тенденция развития Советов в условиях революции 1905 года неудержимо влекла их к превращению в «зародыши власти», и «революционная обстановка» настойчиво «подсказывала» этот вывод не только большевикам, но и меньшевикам. Но связанная своею основною концепциею о буржуазии, как исторически предопределенной наследнице самодержавной власти, меньшевистская мысль не могла ни закрепиться на этом выводе, ни последовательно продумать его. Вернувшись, после сравнительно кратковременного зигзага, к этой концепции в самом ортодоксальном ее истолковании, меньшевизм задним числом подверг, под ее углом зрения, беспощадной критике всю линию своего собственного политического поведения в 1905–906 годах и, в частности, теоретически закрепил свое понимание Советов, как организаций «рабочего самоуправления», призванных защищать классовые интересы пролетариата в ходе буржуазной революции и «толкать» буржуазию к возможно большему политическому и социальному радикализму, но отнюдь не вступать с нею в борьбу за власть, а стремиться сохранить на всем протяжении революции положение «крайней оппозиции».

Это догматическое и исторически иллюзорное отношение к Советам, связанное со всею концепциею меньшевизма, сыграло роковую роль

в его собственных судьбах в революции 1917 года и в судьбах февральско-мартовской полосы самой этой революции. Ибо присущая Советам тенденция к превращению в органы власти давала себя знать на каждом этапе этой революции еще с более неудержимой силой, чем в ее «исторической репетиции» — революции 1905 года. Но, оказавшись и в 1917 году во главе Советов и став их политическим руководителем, меньшевизм, как он исторически сложился, оказался в непрерывном конфликте со всеми проявлениями этой тенденции. Побороть ее он не мог, но результатом такого положения оказалось то «двоевластие», одновременное наличие двух властей, — возглавляемой меньшевиками власти Советов и власти демократического коалиционного Временного правительства[579], участниками которого они были, — формально поддерживавших друг друга, а на деле друг друга дезорганизовавших, обессиливавших и парализовавших, которое подготовляло крушение всей февральско-мартовской республиканско-демократической системы, а у меньшевизма, поставленного рабочим авангардом в первые недели и месяцы революции во главе ее, вырывало с каждым днем почву из-под ног. И все же, лишь 2–3 года спустя, преодолев в «мартовском» течении свою социологическую концепцию русской революции, смог меньшевизм преодолеть и свое догматическое отношение к Советам, из недр которых в сентябре–ноябре 1917 года действительно вышла новая власть. Правда, то была не та власть, которая предносилась Ленину в 1905–6 гг.: не демократическая диктатура пролетариата и крестьянства, а социалистическая диктатура самой большевистской партии.

Выше было показано, как «революционная обстановка» 1905 года на деле демонстрировала иллюзорность общеполитических схем и меньшевизма, и большевизма одинаково. В политической действительности того времени не оказалось той «буржуазии», которую рабочий класс мог бы «толкать» к власти, но в ней не оказалось и того «революционно-республиканского» крестьянства, которое было краеугольным камнем большевистской концепции. Поскольку Советы 1905 года успели вовлечь в свои ряды «наиболее революционные элементы мелкой буржуазии», — то были не столько элементы «революционного крестьянства» (о включении его представителей, как мы видели, сам Ленин говорит лишь как о стоящей еще перед Советами задаче), сколько элементы той радикальной, «освобожденческой» интеллигенции, которую и цитированное выше письмо «об отношении к либералам», и резолюции майского большевистского съезда

одинаково зачисляли в «буржуазно-либеральный», «антиреволюционный и противопролетарский» сектор оппозиции*.

Правда, в Советах рабочих депутатов 1905 года была представлена и партия социалистов-революционеров. Но, «крестьянская» по своей программе, партия эта не могла политически представлять крестьянство в том смысле, в каком социал-демократия представляла рабочий класс. Преобладающая масса русского крестьянства, особенно бывшего крепостного крестьянства, была объединена стремлением увеличить свое землевладение и землепользование — за счет помещичьего, церковного, дворцового и даже купеческого землевладения. Она была объединена и в требовании отмены всех гражданских правоограничений, ставивших крестьянство в положение «низшего сословия». Но чисто политические тенденции оставались в крестьянстве крайне слабы: не только его зажиточный, «кулацкий» слой, но и его «середняцкая» масса и даже «деревенская беднота» оказались не в состоянии создать политически-революционное движение, сколько-нибудь подобное тому, которое в первое пятилетие 20-го века вовлекло в свой круговорот почти весь поголовно рабочий класс России. Об организации сколько-нибудь широких масс крестьянства под знаменем борьбы за «республиканско-демократическую» программу не могло быть и речи.

При таких условиях партии социалистов-революционеров суждено было оставаться «крайним левым» революционным крылом либеральной интеллигенции, правда, в значительной части своей — интеллигенции «земской», то есть не только социальными симпатиями, но профессиональными и бытовыми условиями тесно связанной с крестьянством, преимущественно с его «средним» слоем. Стать «крестьянской» партией в том смысле, как русская социал-демократия стала партией «рабочей», социалисты-революционеры в условиях русской социальной и политической действительности не могли. Не могли не только в революции 1905 года, но и в революции 1917-го: ни в чем это не сказалось с такой яркостью и очевидностью, как в том

---

* Лишь в проекте резолюции к Стокгольмскому съезду и под очевидным влиянием Советского опыта 1905 года Ленин зачисляет уже в «революционно-демократические партии и организации» не только партию социалистов-революционеров и крестьянский союз, но и, если не все, то хоть «части полупрофессиональных и полуполитических союзов», в которых группировалась в то время эта интеллигенция.

поразительном факте, что партия, только что получившая на выборах в Учредительное Собрание[580] свыше 20 миллионов голосов, главным образом крестьянских, оказалась не в силах не только предотвратить его разгон большевиками в самый день его созыва (5/18 января 1918 г.), но и поднять на его защиту сколько-нибудь заметные массы крестьянства.

Таким образом, ни в 1905 году, ни в 1917-м Ленину не удалось использовать Советы, как базу для образования власти, рабоче-крестьянской по своему социальному составу и демократически-республиканской по своей политической программе*. Не удалось ему, несмотря на все старания, использовать для этой цели и Государственную Думу.

Вопрос об отношении к Государственной Думе встал еще в мае 1905 года перед меньшевистской конференцией и большевистским съездом — в связи с возложенным на нового министра внутренних дел Булыгина поручением выработать проект законосовещательного представительного учреждения.

Меньшевистская конференция решила вопрос об участии в выборах в такое учреждение положительно. Меньшевики остались при этом решении и тогда, когда опубликованное 6/19 августа положение о Государственной Думе не оставляло уже сомнений ни насчет предельной узости ее полномочий, ни насчет реакционных замыслов, продиктовавших авторам положения многостепенность выборов и деление избирателей на сословные «курии», ни, наконец, насчет крайней ограниченности прав, предоставленных рабочей курии. Возлагая свои надежды на неодолимую динамику революционного процесса, переживаемого страной, меньшевики и в этих условиях видели в выборах, прежде всего, средство приобщить к «освободительному» политическому движению широчайшие массы отсталого городского мещанства и, особенно, крестьянства, которому, в расчете на его «преданность престолу», была предоставлена весьма значительная доля депутатских мандатов. Меньшевики высказались поэтому самым решительным образом против бойкота выборов и, особенно, против той тактики «активного» бойкота, то есть призыва рабочих

* Привлечение к участию в первом составе Совета Народных Комиссаров, так называемых «левых социалистов-революционеров», отколовшихся от основного ядра партии, было лишь кратковременным эпизодом и не имело никакого значения с точки зрения политико-социальной структуры новой власти, монолитно-большевистский характер которой был с первых дней неоспоримо-очевиден.

к систематическому срыву избирательных собраний, которая смела в то время немало адептов в партии, но которая неизбежно вела бы к столкновению рабочих с мелкобуржуазными и крестьянскими избирателями и толкала бы последних в объятия реакции.

Но, с точки зрения меньшевиков, выборы открывали новые возможности и для той общей борьбы за захват и закрепление демократических свобод «явочным порядком» и за всякие формы «революционного самоуправления», которая окрашивала собою всю тактику меньшевизма в этот период. Они создавали, наконец, новые опорные пункты для той классовой организации пролетариата, которая была центральной идеей меньшевизма в революции. В данном случае «Искра» высказалась за использование выборов для организации рабочих «агитационных комитетов», в задачи которых входила борьба за «самочинное» расширение круга избирателей — вплоть до превращения выборов во «всеобщие», и предъявление коллегии выборщиков требования — допустить к равноправному участию в этих коллегиях «самочинно» выбранных делегатов и поддержать лозунг Учредительного Собрания. Таким путем меньшевики считали возможным, в обстановке нарастающего массового революционного движения, бороться за превращение «Булыгинской» Думы в некое подобие французских Генеральных Штатов 1789 года, из которых вышли, как известно, сначала Учредительное Собрание, потом полновластный Конвент.

Наиболее последовательно развил эти планы, явно навеянные образцами Великой французской революции, П. Б. Аксельрод. В своей брошюре «Народная дума и рабочий съезд»[581] он звал рабочих к борьбе за создание, наряду с «легальной», цензовой и законосовещательной Государственной Думой, «самочинно», в революционном порядке и на основе всеобщего избирательного права выбранной Народной Думы и в то же время за построение «широкой рабочей организации», которая держала бы обе эти Думы под своим контролем: «Нам нужно стараться вызвать к жизни широкую рабочую организацию, с центральным клубом во главе, ...задачей которого явилось бы сплотить местный пролетариат и образовать плотную революционную атмосферу, контролирующую и диктаторствующую над Государственной Думой и над Народной».

Аналогия с французскими якобинскими клубами очевидна. Но аналогия кончается — и вместе с тем вскрывается внутренний порок и иллюзорность меньшевистской позиции — там, где начинается

вопрос о революционной власти. Французские якобинские клубы были органами якобинской революционной власти и в ее духе и видах «контролировали» Учредительное Собрание и Конвент и «диктаторствовали» над ними. «Якобинские» клубы русских рабочих должны были «контролировать» революционную власть буржуазии, стремясь сами сохранить на всем протяжении революции положение «крайней оппозиции». Но в таком виде, отделенные от революционной власти и даже классово ей чуждые, если не открыто враждебные, рабочие якобинские клубы превращались в утопию: в их единоборстве с революционной властью либо власть должна была уничтожить их, либо они должны были уничтожить власть и сами превратиться во власть новую. После «репетиции» 1905 года революция 1917-го неопровержимо доказала, что в экономико-социальных и политических условиях России первой четверти 20-го века «контроль» и «диктаторство» революционных рабочих клубов, какими были, по существу, Советы, над вышедшею из революции «буржуазною» властью были исторически неизбежны. Но исторически неизбежным оказалось поэтому и крушение «контролируемой» ими власти, и превращение их самих в источники новой власти.

Совершенно праздно, разумеется, гадать задним числом, в какой мере удалось бы все ширившемуся массовому революционному движению заставить служить себе и «революционизировать» Булыгинскую Думу: всероссийская политическая забастовка октября 1905 года убила самое идею законосовещательной Думы, и манифест 17/30 октября возвестил ее грядущую замену Думою законодательною. Но все дальнейшее развитие показало, какой плодотворной и с точки зрения впервые начавшегося в России процесса «политизирования» ее отсталых крестьянских и мещанских масс, и с точки зрения укрепления политических позиций самого рабочего класса оказалась меньшевистская инициатива положительного отношения к участию и в выборах, и в думской и около думской работе.

Но именно в вопросе о Государственной Думе переход от тактики «бойкота» к тактике «использования» оказался для большевизма особенно трудным и затяжным. С большевизмом оказались солидарны в этом отношении и «национальные» социал-демократические организации: на собравшейся в начале сентября конференции представителей еврейского Бунда, латышской и польской социал-демократии, Революционной Украинской Партии, большевиков и

меньшевиков[582], все участники ее, за исключением представителя меньшевиков, высказались не только за бойкот Булыгинской Думы, но за «активный» бойкот ее, за желательность приурочить к началу выборов «всенародное восстание» и в интересах бережения сил для этого восстания противодействовать дальнейшим «частичным выступлениям» масс. Меньшевизм оказался в данном случае тем более изолированным, что за бойкот высказались и социалисты-революционеры, и интеллигентский «Союз Союзов» — в отличие от Струве, настаивавшего в своем «Освобождении» на необходимости участия в выборах.

Новую актуальность приобрели споры об отношении к Государственной Думе после декабря 1905 года. Как впоследствии оказалось, декабрьская забастовка была заключительным актом «дней свободы». Но в сознании обоих фракций социал-демократии еще долго продолжали жить и рожденные этими днями тенденции мысли, и рожденные ими иллюзии. В свете этих тенденций и иллюзий и решали они вопрос о законодательной Государственной Думе, когда 11/24 декабря 1905 года было опубликовано положение о ней и новый избирательный закон, сохранявший и многостепенность выборов, и деление избирателей на курии, и стремление поставить крестьянских избирателей в относительно наиболее благоприятное положение, но существенно расширявший и права рабочей курии.

Для Ленина (цитированная уже статья в № 1 «Партийных известий») намечающиеся в партии «две тактические линии», включающие в себя и отношение к Государственной Думе, стоят в прямой «связи с двумя оценками» декабрьского восстания и ситуации, созданной его поражением. «Для одних» (меньшевиков) этим поражением «вопрос о восстании практически снимается с очереди — по крайней мере, впредь до новой ситуации, которая заставила бы нас еще раз пересмотреть тактику. Приспособление к конституции (участие в Думе, усиленная работа в легальном профессиональном движении) вытекает отсюда неизбежно». Для других (большевиков), «считающих подавление московского и других восстаний лишь подготовкой почвы для новой, более решительной вооруженной борьбы», «наоборот, именно теперь вопрос о восстании ставится на очередь», и «отсюда лозунг: долой конституционные иллюзии! и отведение легальному профессиональному движению скромного, во всяком случае не главного места».

Соответственно этому и конференция большевиков, собравшаяся 11/24 — 17/30 декабря в Таммерфорсе[583], «советует всем партийным организациям широко использовать избирательные собрания не для того, чтобы производить, подчиняясь полицейским ограничениям, какие бы то ни было выборы в Государственную Думу, а для того, чтобы расширить революционную организацию пролетариата и вести во всех слоях народа агитацию за вооруженное восстание. Восстание должно быть немедленно подготовлено, организовано повсюду, ибо только его победа даст возможность созвать действительное народное представительство, то есть свободно избранное Учредительное Собрание на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования».

В том же духе решают вопрос о Государственной Думе и составленные большевиками (почти сплошь самим Лениным) проекты резолюций к Стокгольмскому съезду[584]. Отправной точкой этих проектов является убеждение, что «вооруженное восстание является в настоящее время не только необходимым средством борьбы за свободу, но уже фактически достигнутой ступенью движения», что «демократическая революция в России не только не идет на убыль, а напротив идет к новому подъему», и что поэтому «главной формой освободительного движения в настоящее время является не легальная борьба на квазиконституционной почве, а непосредственно-революционное движение широких народных масс, ломающих полицейско-крепостнические законы, творящих революционное право и разрушающих насильственным путем органы угнетения народа». На этой основе проект резолюции об «отношении к Государственной Думе» утверждает, что «участие в выборах в Государственную Думу, не давая ничего для развития классового самосознания пролетариата, для укрепления и расширения его классовой организации и боевой готовности, способно скорее дезорганизовать и развратить пролетариат», так как такое участие «поддерживало бы в народе конституционные иллюзии» и переносило бы «центр тяжести внимания пролетариата с революционного движения, идущего мимо Думы, на правительственную комедию». Поэтому, заключает проект, необходимо «1) ...решительно отказаться от участия в Государственной Думе; 2) ...решительно отказаться от участия в выборах в Государственную Думу, на какой бы то ни было стадии; 3) ...использовать ...связанные с выборами собрания... для беспощадной критики Государственной Думы.., для призыва к борьбе за революционный созыв Учредительного Собрания».

Поскольку, как было отмечено, основные идейно-политические концепции меньшевизма были гораздо сильнее поколеблены «революционной обстановкой» того времени, чем концепции большевизма, ответ меньшевиков на вопрос о Государственной Думе не мог быть столь же прямолинейным и однозначным, как ответ большевиков. В отличие от большевиков меньшевики тотчас же оценили декабрьское поражение не как военно-техническую лишь неудачу восстания, но как политическую неудачу рабочего класса и всей революции в целом. Но, вместе с большевиками, они считали эту неудачу лишь «частичной» и преходящей и ждали в самом скором времени нового подъема революции, и притом — в форме, на этот раз действительно «всенародного», вооруженного восстания. С этой точки зрения освещал события меньшевистско-большевистский «Северный голос», и она же была отчетливо выражена в меньшевистском проекте резолюции «О современном моменте»[585], предназначенном для Стокгольмского съезда, но, в конце концов, самими меньшевиками снятом с порядка дня. Согласно проекту «частичная неудача пролетариата в ноябрьские и декабрьские дни, явившаяся следствием его изолированности, относительной слабости и неорганизованности революционного движения буржуазной демократии, городской и сельской, измены и попустительства верхних слоев буржуазии и поместного дворянства, напуганных революционным движением пролетарских и крестьянских масс, дала возможность царскому правительству, опирающемуся на вооруженные силы, установить в стране на время режим военной диктатуры». Но «эта диктатура не может положить предел развитию революции и потому новый подъем ее неизбежен».

При такой оценке ближайших политических перспектив, «у нас», писал Ю. Мартов П. Аксельроду, «было два оттенка: один возобновлял старый план, беря отправным пунктом легальные выборы, чтобы оборвать их на 1-ой или 2-ой стадии и идти к Народной Думе; второй... более склонен был играть на временное понижение революции и держаться легальных выборов до конца. В интересах "одоления" бойкотистов все сошлись на отстаивании 1-й платформы, как более популярной среди рабочих меньшевиков»[586]. Автором этой «1-й платформы» был пишущий эти строки, и в изданных Объединенным Центральным комитетом листке и брошюре появились в качестве официального выражения меньшевистской позиции его статьи «Почему мы против бойкота выборов?» и «Государственная Дума

и пролетариат» вместе с излагавшими большевистскую позицию статьями Ленина «Бойкотировать ли Государственную Думу?» и «Государственная Дума и социал-демократическая тактика».

Высказываясь, по не раз уже указанным соображениям, за участие в выборах в Думу, меньшевистская платформа, рассчитанная на близкий подъем революционного движения и в этих условиях непосредственно примыкавшая к отмеченным выше идеям П. Б. Аксельрода, рекомендовала, не доводя процедуры выборов до конца, пытаться превратить коллегии выборщиков в органы местных и центральных революционных самоуправлений и через их посредство провести всеобщие выборы в полновластную «Народную Думу». Еще дальше пошли меньшевистские члены Объединенного Центрального комитета, согласившиеся предоставить самим местным организациям партии выбирать между меньшевистским планом участия во всех стадиях выборов, кроме заключительной, и большевистским планом их полного бойкота.

Поставленные перед таким выбором, партийные организации, меньшевистские в том числе, высказались в своем подавляющем большинстве за тактику бойкота — не только в силу ее «простоты», но и потому, что она более соответствовала тогдашним настроениям наиболее революционно-активного авангарда рабочего класса. И все же, не только меньшевистская платформа, но и цитированный выше проект большевистской резолюции не были внесены на съезд. Ибо ко второй половине апреля — началу мая 1906 года, когда собрался Стокгольмский съезд, вопрос о Государственной Думе встал перед ним уже совершенно в иной плоскости. К этому времени выборы почти во всей коренной России уже прошли, предстояли еще лишь выборы на Кавказе, где меньшевизм господствовал в партии и где социал-демократическая организация стояла за участие в «легальных» выборах до конца, так как была уверена, что, благодаря своему огромному влиянию и на местное крестьянство, и на мелкую городскую буржуазию, она сумеет и по городской и крестьянской куриям провести в Думу своих кандидатов своими собственными силами, без всяких блоков и соглашений с какими-либо другими партиями. Только применительно к Кавказу стоял еще перед съездом вопрос об участии или неучастии в выборах. Применительно ко всей России ему предстояло лишь высказать свое отношение к их готовым результатам.

Эти результаты вскрыли, прежде всего, существенное расхождение между настроениями рабочего авангарда и широких рабочих

масс (о крестьянстве нечего и говорить), особенно в провинции, — расхождение, и впоследствии не раз дававшее себя знать в «критические» моменты развития русского «освободительного» и рабочего движения. В то время, как подавляющее большинство партийного рабочего актива высказалось за бойкот, рядовая пролетарская и крестьянская масса оставалась глуха к бойкотистским призывам социал-демократии и пошла, вместе с «кадетами», на выборы. Так случилось, что, когда 28 апреля/10 мая 1906 года собралась Государственная Дума, в составе свыше чем 100-членной крестьянской «трудовой» группы оказались и депутаты от рабочих, выбранные в 16 губерниях*. Благодаря, главным образом, работе Мартова, остававшегося в Петербурге, 14 из них, с М. Михайличенко[587] во главе, вскоре отделились от «трудовиков» и 18/31 мая опубликовали написанное Мартовым же обращение «Ко всем рабочим России», в котором объявляли об основании особой Рабочей Группы и призывали рабочий класс «добиваться передачи всей власти Учредительному Собранию». Все это и у значительной части партийных рабочих, даже настроенных большевистски, вызвало определенно «антибойкотистскую» реакцию: ей не в малой степени обязаны были меньшевики тем, что не только получили большинство на съезде (60–65 мандатов против 45–50 большевистских), но что и в Петербурге, где в партийной организации всегда преобладали большевики, впервые меньшевистские кандидаты получили большинство и голосов, и съездовских мандатов.

Предложенный съезду от имени Плеханова, Аксельрода и автора этих строк и принятый им с незначительными поправками проект резолюции об отношении к Государственной Думе[588] исходил из того, что вопреки псевдоконституционному характеру ее, острота «антагонизма между насущными интересами нового буржуазного общества в России и сковывающим его старым режимом» сделает неизбежными «конфликты как между Думой и царским правительством, так и между различными элементами в самой Думе»; что эти конфликты заставят «оппозиционные элементы Государственной Думы искать опоры в широких массах... и тем самым превратят даже такое мнимоконституционное учреждение, как Дума, из орудия контрреволюции в орудие революции»; и что «в современной революционной

* Всего в 1-ой Гос. Думе было 478 депутатов. Из них «кадетов» 179.

атмосфере столкновения Государственной Думы с правительством окажут разлагающее и революционизирующее влияние, между прочим, и на армию». Исходя из всего этого, съезд вменял партии в обязанность «планомерно использовать все конфликты... в интересах расширения и углубления революционного движения и для этого: а) стремиться расширить и обострить эти конфликты до пределов, дающих возможность сделать их исходной точкой широких массовых движений, направленных к низвержению современного политического порядка; б) стараться в каждом данном случае связать политические задачи движения с социально-экономическими требованиями рабочей и крестьянской массы; в) широкой агитацией среди народных масс за предъявление Думе революционных требований организовать давление на Государственную Думу извне в целях ее революционизирования».

Имея в виду предстоящие выборы на Кавказе, съезд в той же резолюции признал в принципе желательным, чтобы, в случае вхождения в Думу партийных социал-демократических депутатов, в ней «была образована социал-демократическая группа», действующая под «постоянным руководством и контролем центральных учреждений партии». И наконец, последний абзац резолюции непосредственно отвечал на вопрос, поставленный перед съездом его кавказскими делегатами: «всюду, где еще предстоят выборы и где РСДРП может выставлять своих кандидатов, не вступая в блоки с другими партиями, она должна стремиться провести своих кандидатов в Думу».

Большевики голосовали и против всей резолюции в целом, и против пункта о возможном образовании думской социал-демократической группы, о которой их собственный проект резолюции высказался отрицательно: «попытка создания парламентской фракции социал-демократии, при современных условиях и при отсутствии в Думе действительных партийных и способных представлять партию социал-демократов, не обещает серьезного успеха, грозя скорее скомпрометировать РСДРП и возложить на нее ответственность за особо вредный тип парламентариев, средний между к. д. и с. д.». Но в то время как вся резолюция в целом была принята 62 голосами против 46 при 3 воздержавшихся, за последний ее абзац — об участии социал-демократии в предстоящих еще выборах было подано 77 голосов против 11 при 16 воздержавшихся: Ленин и еще 16 большевистских делегатов голосовали за этот пункт.

Правда, свое голосование они мотивировали тем, что «не сочувствуя» участию в выборах, «еще не состоявшихся до сих пор», они этому вопросу «не придают практического значения», голосуют же за данный пункт «исключительно потому, что считают полезным и важным осудить от лица партии блоки с другими партиями». На деле, однако, это голосование, как и воздержание от голосования столь многих других большевистских делегатов, было симптомом того, что в целостной дотоле «бойкотистской» позиции большевизма появилась первая трещина, о которой свидетельствовал, впрочем, и последний абзац их собственного, только что цитированного проекта резолюции: «ввиду возможного распущения Государственной Думы правительством и созыва ее в новом составе, съезд постановляет, что в течение новой избирательной кампании недопустимы никакие блоки и соглашения с партией к. д. и им подобными не революционными элементами*; самый же вопрос о возможности участия нашей партии в новой избирательной кампании будет решаться российской социал-демократией в зависимости от конкретных обстоятельств момента».

Надлом первоначального «бойкотизма» стал очевиден, когда грузинским социал-демократам удалось одержать действительно блестящую избирательную победу и провести в Думу пять членов социал-демократической партии с Ноем Жордания во главе[589]. В большевистской «Волне»[590] Ленин отметил 14/27 мая эту победу статьей, в которой напомнил, что большевики «стояли за бойкот Думы» и «голосовали на съезде против образования парламентской фракции с. д.», но по «соображениям не принципиальным», а по соображениям «осторожности и практических условий момента». В то же время он категорически заявлял: «Но само собою разумеется, что теперь, если действительно партийным путем прошли в Думу действительно партийные социал-демократы, мы все, как члены единой партии, будем по мере сил помогать им выполнить их трудное дело». Данная статья кончалась: «Подождем указаний опыта, чтобы судить о том, насколько возможно будет и извнутри Думы восстать против реакционных стремлений кадетов». Эти «указания опыта» суммировала через месяц другая статья Ленина в № 1 «Эхо»[591] от 22 июня — 5 июля: «Никто из

---

* Проект большевистской резолюции «об отношении к буржуазным партиям» признает, что какие бы то ни было соглашения вообще «возможны и целесообразны в данное время лишь с элементами, признающими вооруженное восстание, как средство борьбы, и активно содействующими ему».

социал-демократов не усумнится теперь в том, что выступление членов нашей партии в Думе могло бы принести, при данных условиях, немало пользы делу пролетариата и делу всего народа».

И в этой статье, как и на всем дальнейшем протяжении оказавшегося весьма длительным процесса перехода большевизма и по отношению к Государственной Думе от тактики «бойкота» к тактике «использования», Ленин значительно опередил большинство своей собственной фракции. Но, конечно, и он понимал упомянутую им «пользу» совершенно иначе, чем понимала ее цитированная выше резолюция Стокгольмского съезда, легшая в основу деятельности образованной по постановлению Центрального комитета думской социал-демократической группы (или фракции). В группу, помимо 5 грузинских депутатов, вошло 10 членов бывшей Рабочей Группы и 3 других депутата — всего 18 человек. В своей декларации 12/25 июня социал-демократическая фракция указала на задачи, которые себе ставит социал-демократия в революции, и подчеркнула, что «органом, который может осуществить все эти требования, может явиться не нынешняя бесправная Государственная Дума, а полновластное Учредительное Собрание». «Но», продолжала декларация, «Государственная Дума может явиться центром общенародного движения против полицейского самодержавия в настоящий момент, и победа ее над безответственными палачами и насильниками, терзающими страну, может явиться этапом борьбы народа за Учредительное Собрание и за переход власти в руки народа».

Уже эта декларация вызвала в большевистской печати суровую критику. С большевистской точки зрения, и «польза» участия в Думе должна была состоять, прежде всего, в предостережении народных и, особенно, рабочих масс от «конституционных иллюзий»; не указание на возможную положительную роль Думы, а разоблачение ее фатального бессилия, обличение «соглашательских» тенденций конституционно-демократической («кадетской») партии, получившей возможность опираться то на левое («трудовики»), то на правое крыло Думы и занять в ней господствующее положение, срыв всех намечающихся компромиссных решений, словом, перенесение «бойкотистской» тактики внутрь самой Думы, — такова должна была быть тактическая линия социал-демократической фракции, чтобы она могла принести «немало пользы делу пролетариата и делу всего народа».

Только естественно, что практически-политическая деятельность фракции в Думе вызывала со стороны большевиков еще более враждебное противодействие, чем ее принципиально-тактическая декларация. Поддержка ею — согласно директивам Центрального комитета, меньшевистского в своем преобладающем составе, — заявленного Думою требования о «подчинении исполнительной власти власти законодательной», то есть об образовании ответственного перед Думой министерства, и попытка меньшевиков, совместно с фракцией, мобилизовать на поддержку этого требования рабочие массы, вызвали в большевистских рядах бурю возмущения, возродившего в только что формально объединенной партии атмосферу острого раскола.

Эта атмосфера несколько рассеялась, когда манифестом 8/21 июля 1906 г. Государственная Дума была объявлена распущенной — правда, с одновременным заявлением о неизменности самого закона об учреждении Государственной Думы и с поручением сенату созвать новую Думу к 20 февраля — 5 марта 1907 г. Социал-демократическая фракция участвовала в том собрании до 200 депутатов — кадет и трудовиков — которое состоялось на следующий же день в Выборге (Финляндия) и приняло обращение «Народу от народных представителей», заканчивавшееся призывом: «Итак, до созыва народных представителей не давайте ни копейки в казну, ни одного солдата в армию!» (так называемое «Выборгское воззвание»*)[592].

Попытка Центрального комитета поднять рабочих на защиту Думы, призвав их готовиться к политической забастовке под лозунгом «возобновления сессии Думы для созыва Учредительного Собрания», вызвала протесты большевиков. Но она не была поддержана и созванным им совещанием левых партий и организаций (Бунд, социалисты-революционеры, трудовики, Крестьянский Союз и др.) и не встретила сочувственного отклика в рабочих массах; от нее пришлось отказаться. Но 12/25 июля «соединенный комитет» социал-демократической фракции и трудовой группы издал «манифест к армии и флоту»[593], объявляющий правительство «незаконным» и приказы его «не имеющими законной силы» и призывавший солдат «перестать повиноваться незаконному правительству и выступить против него вместе с нами и со всем русским народом». Манифест

* Объявить себя «самочинной» сессией Государственной Думы, не подчиняющейся манифесту о роспуске, кадетское большинство собрания отказалось.

утверждал, что, в интересах подавления революции, «правительство вступило в переговоры с австрийским и германским императорами», и объявлял «правительство, как виновное в государственной измене, вне закона». Манифест кончался призывом: «Смело же за родину и за народ, за землю и волю против преступного правительства!» Комитеты тех же думских групп, вместе с центральными комитетами социал-демократов и социалистов-революционеров, Крестьянским, Железнодорожным и Учительским союзами, издали «манифест ко всему российскому крестьянству»[594] с лозунгами: «Волю и землю всему народу! — Долой народных врагов, изменников, насильников, злодеев! — Долой все царское правительство! — Дорогу свободному русскому народу!» И наконец, за подписью их же, социал-демократов, социалистов-революционеров, еврейского Бунда и Польской Социалистической Партии (ППС) вышел призыв «Ко всему народу»[595]: «Мы зовем вас к всенародной забастовке, к низвержению царского правительства и поставленных им властей. Да здравствует всенародная забастовка — первый шаг решительной борьбы за власть народа!»

Все эти воззвания протестов со стороны большевиков уже не вызывали. Не вызывали их и шаги, предпринятые Центральным комитетом партии в связи с вспыхнувшим в это время восстанием во флоте. 17/30 июля такое восстание началось в Свеаборге[596] (Финляндия), 20 июля (2 августа) оно охватило и Кронштадт. В ту же ночь Центральный комитет созвал совещание революционных партий и организаций в целях поддержки восстания. В совещании, кроме самого Центрального комитета, участвовали представители думской социал-демократической фракции, Бунда, Польской Социалистической Партии, социалистов-революционеров и Трудовой Группы. Было, в конце концов, решено объявить всероссийскую всеобщую забастовку.

Шансы забастовки представлялись многим участникам совещания сомнительными. Все же она была объявлена единогласно. Но сейчас же обнаружилось, что не все одинаково понимают ее смысл. Для Центрального комитета то была демонстративная забастовка протеста. Большевики, особенно их Петербургский Комитет (а Петербург имел в данном случае вдвойне решающее значение — и как столица, и по своей непосредственной близости к районам восстания), наоборот считали забастовку первым шагом к вовлечению в восстание и рабочих. Но ни в том, ни в другом виде забастовка не удалась. И для понимания и настроений петербургского пролетариата в это время,

и тактики большевиков весьма характерно то описание причин неудачи, которое дает одно из примечаний к 10-му тому сочинений Ленина (издание 1927 года). Петербургский Комитет, сообщает это примечание, «в значительной степени под влиянием Владимира Ильича (см. «Пролетарская Революция» № 7/30 1924 г., с. 175), решил объявить забастовку для расширения и углубления восстания, которая и началась 3 августа (21 июля). На другой день число бастовавших достигло 80 000 человек. К забастовке, однако, с первого же момента примкнули элементы, которые не принимали участия в октябрьских и декабрьских событиях 1905 года, частью даже недавние черносотенные элементы. Забастовали наиболее отсталые цеха Путиловского завода, конки и даже извозчики. Крупные же заводы, где сконцентрирован был наиболее сознательный пролетариат, например, Обуховский завод, Семянниковский и другие, отказались бастовать. Отказ этой части рабочих, подчеркивавших необходимость готовиться к решительному бою, решил исход забастовки: 4 августа (22 июля) забастовка пошла на убыль».

Как бы, однако, ни мотивировали сами передовые рабочие Петербурга свое отношение к забастовке, объявленной в поддержку военного восстания, происходившего в нескольких километрах от столицы, отсутствие с их стороны бурной реакции на это восстание свидетельствовало, что «на убыль» пошло все массовое революционное движение. «Революционная обстановка» переставала быть «революционной». Но вместе с тем она переставала «подсказывать» обоим фракциям русской социал-демократии «практические лозунги», стоявшие зачастую в резком противоречии с их предустановленными теоретическими концепциями, вскрывавшие односторонность этих концепций, их противоречивость и недодуманность, но именно поэтому ставившие в порядок дня их критический пересмотр, гадать о возможных результатах которого теперь, разумеется, было бы нелепо. Факт таков, что проработку опыта восходящей фазы революции 1905 года, со включением опыта 1-ой Государственной Думы, русским социал-демократам пришлось производить в атмосфере, освобожденной от этого «подсказывания», как мы видели, сближавшего и объединявшего их оба крыла, но, наоборот, в условиях все обострявшейся фракционной борьбы. Сама проработка превратилась поэтому не столько в критическую проверку каждою фракцию ее специфических концепций, сколько в апологетическое стремление

выбрать из пережитого опыта все, что могло быть так или иначе использовано для оправдания и подкрепления этих концепций, забывая или игнорируя все, что им противоречит: в этом смысле 10–11-летний промежуток между двумя революциями и был, как мы уже говорили, периодом застоя и даже регресса политико-теоретической мысли русской социал-демократии.

Ретроспективно теперь не трудно установить, что, с точки зрения идейно-политического развития социал-демократии, период этот имел для меньшевизма гораздо более пагубные последствия, чем для большевизма, и понятно, почему «революционная обстановка» и рожденные в ней прочные изменения в русском политическом и общественном укладе дали, как мы видели и еще увидим, блестящее подтверждение тактическим идеям меньшевизма, его методам «развязывания» революции и «организации» ее, в частности и в особенности — организации рабочего класса в самостоятельную политико-социальную силу. Но с тем большей очевидностью вскрывалась в «революционной обстановке» несостоятельность общей политико-социальной концепции меньшевизма, его ориентации на самоустранение рабочего класса от борьбы за власть в революции и на «революционизированную» под давлением пролетариата буржуазию, как на исторически единственно возможного преемника власти, вырванной из рук самодержавия.

Эта концепция вряд ли могла бы устоять под напором «революционной обстановки», если бы в условиях того времени эта «обстановка» вообще могла оказаться сколько-нибудь длительной. Несостоятельность концепции подтверждалась, казалось, и всем опытом 1-ой Думы: 10 недель ее деятельности были сплошь заполнены борьбой, сначала Рабочей Группы, потом социал-демократической фракции против «оппортунизма» кадетов, то есть представителей наиболее «либеральной» части русской буржуазии и против их решительного отталкивания от революции, а после разгона Думы призывы к борьбе за «власть народа» социал-демократии приходилось делать без них, исключительно в сотрудничестве с партиями и группами, так или иначе связанными с крестьянскими, мелкобуржуазными и интеллигентскими группами населения. И все же, в атмосфере «убыли» революции, именно к этой старой концепции, в ее самом классическом виде и самом узком понимании, стал все последовательнее возвращаться меньшевизм, именно она стала его «символом веры» и приоб-

рела в течение последующего десятилетия «прочность предрассудка». Нигде, быть может, начало этого регресса меньшевистской политической мысли (под покровом которого меньшевизм творил, однако, как увидим, громадную, исторически необходимую и плодотворную работу мобилизации и организации русского рабочего класса) не нашло себе более очевидного выражения, чем в книге, тогда же написанной автором этих строк в сотрудничестве с М. Балабановым и пытавшейся подвести баланс деятельности 1-й Государственной Думы*.

Анализируя задачи, стоявшие перед 1-ой Думой, и причины ее гибели, «Введение» к книге исходит из декабрьского поражения: «Пролетариат был разбит в декабрьском бою», потому что «крестьянство молчало», а «буржуазия не поддержала рабочих». Вследствие поражения пролетариата «остался нерешенным великий вопрос революции — вопрос о государственной власти». Именно поэтому «созыв Думы означал, вопреки намерениям правительства, не конец борьбы, а новое обострение ее». Перед Думой стояла задача — «стать органом власти» и использовать эту власть «для созыва Всенародного Учредительного Собрания». Однако она этой задачи не только не выполнила, но даже не поставила перед собой, потому что «решающая роль в Думе выпала на долю кадетов, партии Народной Свободы, партии, «и в отдаленной степени не понимавшей действительных задач Думы» и употреблявшей «все усилия, чтобы отделить парламентскую деятельность целой пропастью от революционного движения народа» и, наоборот, убедить народ в том, что «революция кончилась» и «конституция» уже завоевана, так что одних «избирательных бюллетеней» достаточно, чтобы «стереть главу самодержавного змия». Решающая же роль выпала на долю кадетов, с одной стороны, «благодаря самоустранению социал-демократии и других революционных партий», ибо после декабрьского поражения «пролетариат, обессиленный, озлобленный изменой буржуазии, в значительной части своей повернулся спиной к Думе, бойкотировал ее», а с другой, «благодаря малой политической сознательности и неорганизованности крестьянства, не успевшего создать своей собственной, революционной партии и посылавшего в Думу просто хороших людей».

---

* М. Б-ов и Ф. Дан. Рабочие депутаты в первой Государственной Думе, С.-Петербург, 1906. Издательство Н. Глаголева. М. Балабанову принадлежат в книге лишь чисто «деловые» главы, так что все приводимые ниже цитаты взяты из глав, написанных автором этих строк.

Если таким образом «Введение» приходит к выводу, что причиной неудачи Думы была «решающая роль» и политическая состоятельность кадетов, то «Заключение» книги начинается с постановки вопроса о причинах отталкивания от революции этой партии наиболее демократического сектора русской буржуазии и ее неспособности возглавить народное движение в разрешении основной для всякой революции проблемы государственной власти. Ответ на этот вопрос гласит: «чтобы сломить стену, надо было опереться на народные силы. Но этого то именно думское большинство сделать не решалось. Оно боялось, разбудив народные силы, потерять власть над ними; боялось, что революционный народ зайдет в своем движении "слишком далеко", занесет руку над интересами не только реакции, но и либеральных помещиков, либеральных купцов и фабрикантов; оно боялось, что придется слишком многим поступиться в пользу народа. Отсюда — двойственность, нерешительность во всех действиях думского большинства. С одной стороны, собственные интересы буржуазии повелительно требовали уничтожения старого самодержавного режима и потому толкали ее к все более острым столкновениям с реакцией; с другой стороны, боязнь пролетариата и других "низших" классов народа заставляла ее каждый раз отступать в решительные минуты и тем все более повышать дерзость врага. В этом противоречии между словом и делом и коренилась слабость Думы, оно и послужило причиной ее гибели и торжества ненавистного режима».

В этом объяснении несостоятельности буржуазной демократии с полною определенностью указано, что источником этой несостоятельности является созданная условиями русской действительности и в этих условиях неразрешимая противоречивость интересов тех классов, которые эта буржуазная демократия представляет, — противоречивость, политически обессиливающая эти классы и принудительно толкающая их к компромиссам с самодержавием и к капитуляции перед ним*. Но такое объяснение, казалось бы, вплотную подводило и автора книги, и ее читателей к выводу о несостоятельности

* Самодержавие заслуживает «благословения», потому что «своими штыками ограждает нас от ярости (народной)», — признал вскоре с циничной откровенностью бывший автор «манифеста» социал-демократической партии и редактор «Освобождения», кадет П. Б. Струве в нашумевшем сборнике «Вехи», отметившем его и, вместе с ним, целой плеяды бывших «легальных марксистов», окончательный разрыв и с социализмом, и с республиканским демократизмом.

политико-социальной концепции меньшевизма, отводившей буржуазии роль, которую она в реальных исторических условиях, созданных для нее русскою действительностью, играть не могла, и о вытекающей отсюда необходимости критического пересмотра этой концепции.

Тем неожиданнее звучат заключительные абзацы того же «Заключения»: «та новая Дума, которая готовится теперь собраться, только в том случае исполнит лежащую на ней задачу, если ее большинство скажет себе твердо и определенно: дело свободы может победить, лишь тогда, когда это — свобода демократическая, свобода, облегчающая условия существования и борьбы не только верхних, обеспеченных слоев народа, но и самых широких, трудящихся и обездоленных масс. Только такая Дума, ...не опасающаяся чрезмерных притязаний народа, ...не побоится стать Думой революционной. И тогда... Дума... станет в руках народа могучим орудием для завоевания полновластного, всенародного Учредительного Собрания... На этот путь социал-демократия не только встанет сама, но и будет толкать на него все другие партии. В этой работе мощным союзником социал-демократии будет реальная русская действительность. Как бы робки, трусливы и слепы ни были буржуазные партии, вроде кадетов, эти партии опираются на такие классы, которые реальная историческая обстановка и реальные интересы толкают на путь не примирения с старым порядком, а острой борьбы с ним. И потому эти партии, каковы бы ни были их намерения, вынуждены будут двигаться в том именно направлении, какое уже теперь указывается социал-демократией; они будут вынуждены или перерождаться, или разлагаться, выделяя из себя элементы, более способные представлять действительные интересы прогрессивных буржуазных классов. До крушения самодержавия большинство буржуазных классов должно быть попутчиком пролетариата, а потому и прогрессивные буржуазные партии должны быть попутчиками социал-демократии».

Теперь, задним числом, неоспоримо очевидно: к меньшевистской концепции революции оказалось возможным вернуться лишь предположив, в противоречии со всем содержанием книги и с данным в ней анализом, что последним источником несостоятельности Думы была робость, трусость и слепота «буржуазных партий», действовавших как будто в разрез с «действительными интересами» представляемых ими классов, а не «действительные интересы» самих этих

классов, делавшие их «робкими, трусливыми и слепыми» и заставлявшие их наделять теми же неприглядными качествами и свое представительство в Думе. Но то, что «спасти» меньшевистскую концепцию можно было тогда, лишь закрывая глаза на это кричащее противоречие, — свидетельствует о том, насколько не законами формальной логики, а условиями исторической обстановки определяется развитие политической мысли партий, но и о том, насколько уже в 1906–1907 гг. основная концепция меньшевизма была подорвана коротким, но реальным опытом реальной революции.

Этот опыт значительно меньше поколебал основы большевистской концепции. Правда, короткие «дни свободы» успели показать, что расчеты большевиков на «республиканско-демократическое» крестьянство, как на союзника рабочего класса в революционной борьбе за последовательный «политический демократизм», не менее иллюзорны, чем расчеты меньшевиков на революционизирование буржуазии под воздействием пролетариата. Но, во-первых, доказательность опыта «дней свободы» значительно умалялась как кратковременностью самого опыта, так, еще больше, долго и не у одних большевиков сохранявшеюся уверенностью в близости нового подъема «освободительного» движения и в том, что на этот раз движение будет действительно «всенародным» — именно потому, что в него вольется громада отстававшего до сих пор крестьянства. Но самое главное: вопрос о крестьянстве играл, конечно, центральную роль в политико-социологических построениях большевистской концепции; и все же относительная устойчивость общей концепции большевизма, сделавшая для него впоследствии возможным проделать с практическим успехом столь крутой по видимости поворот 1917 года, основывалась, прежде всего, на том, что он с самого начала так или иначе ориентировался на самое энергичное участие рабочего класса в борьбе за власть и за устранение буржуазии от власти и в этом смысле гораздо реалистичнее, чем меньшевизм, учитывал действительное соотношение социальных и политических сил в русской революции.

Но, если опыт «дней свободы» не оказал прочного влияния на общие политико-социологические концепции большевизма, то еще меньше влияния имел в этом отношении опыт 1-ой Государственной Думы, работавшей уже в условиях спада революционной волны, когда, вопреки всем иллюзиям, сам вопрос о революционной власти и ее социальном составе отодвигался на деле в будущее, все более теряя

непосредственно практический характер и становясь в этом смысле «академическим». По существу же, и для большевизма, как и для меньшевизма опыт Думы был непосредственным продолжением той исторической «критики» концепций обоих фракций, какою оказалась проверка их в практическом применении.

Трудовая Группа 1-ой Думы отличалась значительным радикализмом в вопросах экономико-социального порядка, прежде всего и больше всего — в вопросе о земле. На этом вопросе она чаще и резче всего сталкивалась с буржуазным большинством Думы, в частности — с кадетами, которые в своей аграрной программе не могли пойти навстречу крестьянству дальше принципа «принудительного отчуждения» крупно-владельческих земель, но при непременном условии выкупа отчуждаемых земель — уплаты за них по «справедливой оценке». Под напором Трудовой Группы, энергично поддержанной социал-демократами, Дума приняла и то решение о постановке в порядок дня земельного вопроса, которое послужило последним толчком к ее разгону.

На почве аграрного вопроса складывалась, главным образом, и кооперация социал-демократов с трудовиками для совместной борьбы против кадетов*. Но такая кооперация только изредка и спорадически возникала в вопросах «политического демократизма», ибо политический радикализм думского представительства крестьянства значительно отставал от его радикализма экономико-социального и, особенно, аграрного, и во всяком случае стоял для него на втором плане. Только вынесенным из опыта Думы учетом крайней настороженности крестьянства в вопросах «чистой» политики можно объяснить тот факт, что и в цитированных выше воззваниях, выпущенных

* Стокгольмский съезд, санкционируя давно уже установившуюся практику социал-демократической агитации, радикально изменил аграрную программу партии. Главным требованием новой программы стала и для меньшевиков, и для большевиков одинаково конфискация крупного частного землевладения. Обе фракции одинаково высказались и против раздела конфискованной земли между отдельными крестьянскими хозяйствами, допуская такой раздел лишь в том случае, если никакой другой исход окажется невозможным. Но меньшевики, ориентировавшиеся на власть буржуазии, стояли за муниципализацию земли, за передачу всего земельного фонда в распоряжение органов местного самоуправления, в которых они видели демократический противовес возможному реакционному вырождению буржуазной власти. Наоборот, программой большевиков была национализация, как орудие укрепления революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. Съезд принял меньшевистскую программу, автором которой был П. П. Маслов.

«революционными партиями и организациями» после разгона Думы, не нашел себе места не только лозунг демократической республики, но и лозунг Учредительного Собрания: политические задачи борьбы, к которой эти воззвания зовут солдат, крестьян, «весь народ», облечены в архаические и туманные формулы «земли и воли» и «власти народа».

Опыт 1-ой Думы, поддержанный затем и опытом всех последующих Дум, был своего рода историческим «предупреждением» о том, что революционная кооперация между рабочим классом и крестьянством в реальных условиях России первой четверти 20-го века возможна лишь на почве радикализма социального, а не политического, что реальной скрепой такой кооперации не может быть «политический демократизм», и может быть лишь то, что получило впоследствии название «демократизма социального». Большевизм не только внял этому предупреждению в 1917 году, но и сделал его основным рычагом революции октября–ноября этого года. Но он остался глух к нему в 1906 году, и именно рабоче-крестьянский «левый блок», как знаменосца «республиканско-демократической» политики в противовес «монархически-соглашательской» политике кадетов, провозгласил руководящей идеей того «использования» Государственной Думы, к которому он начал все определеннее переходить по мере того, как стали тускнеть надежды на то, что разгон Думы окажется лишь непосредственным прологом всенародного восстания.

Мы видели, какою непоколебимою уверенностью в близости восстания и в необходимости всю партийную работу вести под знаком подготовки к нему проникнута статья «Роспуск Думы... и т. д.», написанная Лениным в 20-х числах июля 1906 года. Но уже совсем иначе звучит его статья, появившаяся через месяц, 21-го августа/3 сентября в № 1 «Пролетария»[597], органа Московского и СПБ Комитетов РСДРП, и озаглавленная «О бойкоте»[598].

«Социал-демократы левого крыла», говорят первые строки статьи, «должны подвергнуть пересмотру вопрос о бойкоте Государственной Думы. Следует помнить, что мы всегда ставили этот вопрос конкретно, в зависимости от определенной политической ситуации... История показала, что когда собирается Дума, то является возможность полезной агитации извнутри ее и около нее; что тактика сближения с революционным крестьянством против кадетов возможна внутри Думы. Это кажется парадоксом, но такова, несомненно, ирония истории: именно кадетская Дума особенно наглядно показала массам правиль-

ность этой антикадетской, скажем для краткости, тактики... Отсюда вывод... Теперь как раз наступило время, когда революционные социал-демократы должны перестать быть бойкотистами. Мы не откажемся пойти во вторую Думу, когда (или: если) она будет созываться. Мы не откажемся использовать эту арену борьбы, отнюдь не преувеличивая ее скромного значения, а, напротив, всецело подчиняя ее, на основании данного уже историей опыта, другого рода борьбе — посредством стачки, восстания и т. п. Мы созовем пятый съезд партии; мы постановим на нем, что в случае выборов необходимо избирательное соглашение на несколько недель с трудовиками (без созыва пятого съезда дружная избирательная кампания невозможна, а всякие "блоки с другими партиями", безусловно запрещены постановлением четвертого съезда)*. И мы разобьем тогда кадетов наголову».

Этой статьей Ленина отмечено начало ускоренного отмирания большевистского «бойкотизма» в той последней сфере социал-демократической работы — думской, в которой он держался особенно упорно. Ликвидировался «бойкотизм» и в тех «национальных» партиях (еврейский Бунд, польская и латышская социал-демократии), которые были приняты Стокгольмским съездом в РСДРП и в вопросах общеполитического порядка еще долго тяготели к большевизму**. Новую вспышку бойкотизма вызвал было в рядах большевизма и в польской социал-демократии (как и в рядах социалистов-революционеров и народных социалистов) разгон 2-ой Государственной Думы (3–16 июня 1907 г.), сопровождавшийся, в нарушение положения о Думе, то есть в порядке государственного переворота, существенным изменением избирательного закона. Но против бойкотизма, на стороне которого оказались почти все видные вожди большевизма,

* Это замечание Ленина имеет некоторый исторический интерес и ввиду той роковой роли в обострении фракционной междоусобицы, какую сыграло вскоре заявление «31 меньшевика» о том, что постановление Петербургской конференции (январь 1907 г.) о «левом блоке» на выборах во 2-ю Думу является «прямым и грубым нарушением» партийной воли, и их поддержанный ЦК-м, отказ подчиниться этому постановлению.

** Определенно меньшевистским стал довольно скоро Бунд; промежуточное положение продолжала занимать латышская социал-демократия; большевистской, за исключением вопросов организационных, осталась польская социал-демократия (Роза Люксембург, Тышко, Варский), давшая впоследствии главные кадры польскому коммунизму.

энергично выступил Ленин. На посвященной этому вопросу общепартийной конференции он присоединился, в разрез с большинством своей собственной фракции, к резолюции, внесенной меньшевиками и бундистами, и вопрос об участии партии в выборах в 3-ю Думу был решен положительно. Этим решением «бойкотизм» был окончательно ликвидирован, и незначительные группки бойкотистского склада, появлявшиеся и впоследствии внутри большевизма и требовавшие в той или иной форме «отзыва» социал-демократической фракции из Думы («отзовисты»[599]), никакого практического значения уже не имели.

Состоявшаяся осенью 1906 года, перед выборами во 2-ую Думу, общепартийная конференция в Таммерфорсе[600] (Финляндия) приняла решение о самостоятельных кандидатурах партии в уполномоченные и выборщики по всем куриям — с допущением совместных списков (но не общих политических платформ) с другими партиями исключительно в случаях, когда отказ от таких списков грозил бы прохождением в Думу реакционных («черносотенных») кандидатов. При этом в рабочей курии допускались избирательные соглашения лишь с беспартийными рабочими организациями (профессиональные союзы и т. п.), но не с какими-либо иными партиями, в других же куриях предпочтение должно было отдаваться трудовикам, социалистам-революционерам и народным социалистам[601] (группа, выделившаяся из партии с.-р. вправо) перед кадетами. Из других постановлений конференции надо отметить проведенное большевиками, при содействии всех трех «национальных» партий, запрещение партийным организациям принимать какое-либо участие в практической работе по подготовке «рабочего съезда» и решение созвать летом 1907 года новый партийный съезд.

Состоявшееся, таким образом, соглашение об участии партии в выборах во 2-ю Государственную Думу было сорвано в Петербурге упомянутым уже решением местной партийной конференции заключить с самого начала избирательное соглашение с «народническими» группами — не ради предотвращения «черносотенной» опасности, но для ведения всей избирательной кампании под знаком «левого блока», и отказом меньшевиков подчиниться этому решению. Результатом этого раскола местной организации был сравнительно значительный успех социалистов-революционеров на крупных металлических заводах Петербурга, где их влияние всегда было минимально. Но в общем во всей стране избирательная кампания партии

прошла дружно, на основе Таммерфорских решений, и дала социал-демократии крупную победу. В рабочей курии за нее высказалось 80 % выборщиков. Но и по другим куриям успех ее оказался так велик, что в Думу (478 депутатов) прошло 65 социал-демократов, из которых 54, кандидаты партийных организаций, стали полноправными членами социал-демократической фракции, а остальные участвовали в ее заседаниях с совещательным голосом[602]. И на этих выборах (как и на всех последующих) самую крупную избирательную победу одержала социал-демократия на Кавказе, так что и во второй Думе грузинские социал-демократы (Ираклий Церетели, Арчил Джапаридзе[603] и др.) оказались во главе фракции, как оказались они впоследствии и во главе социал-демократической фракции 3-ей Думы[604] (Карло Чхеидзе[605], Акакий Чхенкели[606] и др.).

Но внутри меньшевистского в своем большинстве думского представительства социал-демократии оказалось и 15–16 большевистски настроенных депутатов (главным образом с Волги и Урала), которые действовали сплоченной фракционной группой. Таким образом, та фракционная борьба под знаменем «левого блока», которую большевики все настойчивее вели вне Думы, и которая вызывала все возрастающее противодействие меньшевиков, была перенесена внутрь Думы, ставшей главной ареной открытой политической деятельности социал-демократии.

И в период 2-й Думы, и еще больше в период 3-ей это обстоятельство оказалось фактором, сильно обострявшим партийную междоусобицу и ускорявшим ее завершение формальным расколом, но в формирование идеологии обоих фракций оно ничего принципиально нового уже не внесло: оно лишь содействовало окончательному закреплению каждой из них на занятых ею политических позициях, односторонней «поляризации» этих позиций, взаимному отчуждению большевизма и меньшевизма, превращению этого отчуждения в острую вражду.

Как на результатах выборов на Стокгольмский съезд сказалось разочарование, вызванное в широких партийных кругах тактикою бойкота, так теперь, в результатах выборов на новый партийный съезд, заседавший в Лондоне с 30 апреля — 13 мая по 19 мая — 1 июня 1907 года, дала себя знать неудовлетворенность более чем скромными успехами меньшевистской тактики, стремившейся, как говорил составленный Центральным комитетом проект избирательной плат-

формы[607], превратить Думу в «главный военный штаб всенародной армии, ведущей борьбу за всю землю и всю волю, за созыв полновластного Всенародного Учредительного Собрания». По данным официальных протоколов, делегатов меньшевиков оказалось 97, большевиков — 106. Но политически тяготели к большевизму и 4 «внефракционных» делегата, с Л. Троцким во главе, и большинство делегатов двух «национальных» организаций — польской (44) и латышской (29), и только делегаты Бунда (57) в большинстве своем примыкали политически к меньшевикам.

Эти цифры показывают, что решающую роль на съезде играли именно «национальные» организации, определявшие свою позицию в значительной степени в зависимости от тех особых условий, в которых каждая из них формировалась и в которых им приходилось действовать, и далеко не всегда ясно разбиравшиеся в источнике и смысле тех разногласий, которые раздирали российскую социал-демократию. К тому же только что принятые в партию и впервые принявшие участие в ее «парламенте», они были часто склонны подчинять все соображения идеологического порядка стремлению сохранить перед внешним миром хотя бы формальное единство партии.

В результате — съезд принял определенно большевистские по своим тенденциям резолюции об отношении к непролетарским партиям, о Государственной Думе, о рабочем съезде и т. д., но в формулировках, старавшихся по возможности сгладить все «острые» углы. «Одной из основных задач социал-демократической работы» в профессиональных союзах съезд объявил «содействие признанию профессиональными союзами идейного руководства социал-демократической партии, а также установлению организационной связи с ней». Но большинство съезда отказалось осудить деятельность «Стокгольмского» Центрального комитета и социал-демократической фракции Государственной Думы. Оно сняло с порядка дня принципиально столь важный для большевизма вопрос о «вооруженном восстании», а в принятой резолюции о «партизанских выступлениях» сказало, что «партийные организации должны вести энергичную борьбу против партизанских выступлений и экспроприации»; что «какое бы то ни было участие в партизанских выступлениях и экспроприациях или содействие им воспрещается членам партии»; и что «все специаль-

ные боевые дружины, имеющиеся при партийных организациях, должны быть распущены»*. И наконец, при выборах членов Центрального комитета и редакции Центрального органа, «национальные» организации позаботились сохранить за собою в их составе роль суперарбитров[608].

Большевизм одержал в Лондоне победу. Но победа эта была далеко неполной. Он тем меньше мог удовлетвориться ею, что, обеспечивая ему известные пропагандистские и организационные преимущества, она никоим образом не давала ему возможности сделать партию инструментом проведения его политики с той настойчивостью, прямолинейностью, бескомпромисностью, которою большевизм отличался, как мы видели, с самого своего зарождения. Более того. Компромиссные решения Лондонского съезда прямо воспрещали ему известные виды деятельности, неразрывно связанные с тою ориентациею на «вооруженное восстание», как на единственно возможную форму всякой подлинной революции, которая продолжала пропитывать все его политические и организационные представления и тогда, когда практическое осуществление восстания начало отодвигаться в неопределенное будущее.

Следствием этого было то, что тайный «большевистский центр»[609], не прекративший своего существования после «объединительного» Стокгольмского съезда, на котором большевики оказались в меньшинстве, продолжал существовать и после того, как Лондонский съезд дал им большинство. Он был сохранен не для того, чтобы стать орудием более энергичного проведения политики, диктуемой партийными инстанциями, а, наоборот, для того, чтобы делать эти инстанции исполнительницами политики, диктуемой «большевистским центром», а в тех случаях, когда это окажется невозможным, прово-

---

* Написанный Лениным еще к Стокгольмскому съезду, но сохранивший руководящее значение для большевиков проект резолюции говорит о «партизанских боевых выступлениях», что они «подготовляют открытые и массовые вооруженные действия» и «являются также необходимыми для боевого воспитания и военного обучения наших боевых дружин». «Главнейшей непосредственной задачей таких выступлений следует признать разрушение правительственного, полицейского и военного аппаратов и беспощадную борьбу с активно-черносотенными организациями!» Но «допустимы также боевые выступления для захвата денежных средств, принадлежащих неприятелю, то есть самодержавному правительству, и для обращения этих средств на нужды восстания». «Партизанские боевые выступления должны производиться под контролем партии».

дить свою собственную политику, независимо ни от постановлений партийных инстанций, ни от разрешений или запрещений только что закончившегося съезда: партия, официально большевистская по своей политической линии, стала для большевиков таким же объектом «использования», как любое общеполитическое или общерабочее учреждение.

Политика большевизма стала таким образом «заговорщической» в двух направлениях — по отношению к проблемам общеполитического порядка и по отношению к самой партии: деятельность «большевистского центра», воплотившего в себе идею тесного кружка «спевшихся революционеров», тщательно конспирировалась не только от государственной полиции, но и от партии, от других членов «большевистского» по своему политическому направлению Центрального комитета. То было логическим завершением той линии политико-организационного развития, начало которой было положено еще Ленинским «Что делать?». Но это было и источником того абсолютного господства непосредственной «целесообразности» в выборе средств борьбы, которое — в соединении с безграничной преданностью своему фракционному коллективу, неиссякаемой энергией в достижении раз поставленной себе задачи, строжайшей дисциплиной, безоговорочным подчинением всем директивам «сверху» и другими «динамическими» качествами, воспитанными в большевизме всей историей его возникновения и развития, — стало составной частью политико-психологического облика большевизма и было перенесено им и в руководящие круги международного коммунизма.

Но прежде чем делегаты Лондонского съезда успели вернуться домой, вся политическая обстановка существенно изменилась. Под предлогом участия социал-демократической фракции в сфабрикованном политической полицией «военном заговоре» правительство предъявило Думе требование о лишении ее членов депутатской неприкосновенности. Попытки думского большинства затянуть разрешение этого вопроса и придти к какому-нибудь «компромиссу» с правительством повлекли за собою ее роспуск, арест членов социал-демократической фракции и, как уже было сказано, опубликование в порядке государственного переворота нового избирательного закона, существенно урезавшего избирательные права рабочих и рядового крестьянства и,

наоборот, значительно усиливавшего избирательные права имущих классов*.

Политической задачей автора переворота, министра-президента П. А. Столыпина[610], было создать в Думе прочное монархически-консервативное большинство и сделать это большинство опорой буржуазно-помещичьего блока, думским воплощением которого стала возглавленная А. Гучковым «Партия 17-го октября» («октябристы»). Краеугольным камнем внутренне-политической программы блока стало предотвращение аграрной революции путем содействия выделению из крестьянских общин слоя зажиточных крестьян-собственников («хутора»). Внешнеполитическая программа была выражена в словах, обращенных Столыпиным к депутатам-социал-демократам: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия». По существу, эта программа означала не только возрождение усиленного культа великорусского национализма, но и возвращение внешней политики России с Дальнего Востока в Европу, постановку в порядок дня «балканских» и «славянских» задач, подчеркивание «великодержавности» России и стремление сделать ее решающим фактором во всех европейских и мировых проблемах. Предотвратить этой внешней и внутренней политикой «великие потрясения» октябристско-столыпинскому режиму, как известно, не удалось. Наоборот, подготовляя активное участие России в надвигавшейся мировой войне, политика эта подготовляла и развязанную этою войною революцию 1917 года, а пытаясь разрешить «аграрный вопрос» внесением раскола в деревню, она лишь содействовала обострению той борьбы различных групп внутри самого крестьянства, которая на известном этапе революции 1917 года приняла жестокие формы «раскулачивания».

Но изменилась не только общеполитическая обстановка, радикально изменились и условия деятельности социалистических партий и рабочих организаций вообще. В то время как военно-полевые суды выносили сотни и тысячи смертных приговоров участникам бурных движений 1905–6 годов, полицейский террор обрушился

---

* Согласно решению фракции, большинство ее членов не делало попытки скрыться и уклониться от ареста и суда. Почти все были осуждены: часть (Церетели и др.) получили 5 лет каторжных работ, другие — вечную ссылку на поселение в Сибирь. Трое (Джапаридзе, Джугели, Ломтатидзе) умерли в тюрьме, остальные были освобождены лишь революцией 1917 года. День суда над фракцией петербургские рабочие отметили однодневной забастовкой протеста.

на партийные, профессиональные, культурные и иные организации рабочих. Множество профессиональных союзов было закрыто, другим отказывали в регистрации. Социал-демократические газеты были запрещены, партийные организации снова должны были уйти в глубокое подполье. Партия, только что насчитывавшая, согласно данным Лондонского съезда, до 150 тысяч членов (по 25–6 тысяч в Бунде и польской социал-демократии, 13 тысяч в латышской и до 85 тысяч в русской части партии), фактически распалась, внезапно съежилась в рассеянные по всей стране немногочисленные и немноголюдные нелегальные группки, мало отклика встречавшие и в рабочих массах, политическая активность которых была парализована и промышленным застоем, и политическим террором, и общей атмосферой недоброжелательства к социализму даже в тех буржуазно-интеллигентских кругах, сочувствие которых было в прошлом такой существенной поддержкой для всех форм рабочей организации. К началу 1908 года почти все видные руководители обоих фракций социал-демократии снова оказались в эмиграции.

В эту новую эмиграцию фракции уносили с собою все те же старые концепции. И когда в Праге собралась через 4 с лишним года большевистская конференция[611], окончательно оформившая раскол российской социал-демократии*, основная политическая платформа ее была формулирована в трех лозунгах: «демократическая республика, 8-часовой рабочий день, конфискация всей помещичьей земли». Под этими лозунгами должна была проводиться большевиками избирательная кампания в 4-ую Государственную Думу. Они должны были стоять в центре всей общеполитической агитации большевизма. Эти «неурезанные» лозунги противопоставлялись большевиками всем попыткам меньшевиков мобилизовать сколько-нибудь широкие

* В этой конференции, заседавшей с 5/18 по 18/31 января 1912 года, не приняла участия ни одна из «национальных» организаций и ни одна из других групп русской части партии. Конференция оформила раскол тем, что, несмотря на свой исключительно большевистский состав, объявила себя общепартийной, исключила из партии ряд меньшевистских групп и выбрала новый, чисто большевистский Ц. К., в свою очередь создавший «русское бюро Ц. К.» (См. «История коммунистической партии. Краткий курс», 1936, стр. 137–8). Ответом другой части русской социал-демократии была конференция, собравшаяся в августе 1912 г. в Вене и сформировавшая так наз. «августовский блок», главным стержнем которого были меньшевики, но в который вошел и ряд мелких групп (Троцкий и др.).

рабочие круги вокруг «частичных» лозунгов, вроде борьбы за «право коалиций». Под их знаком критиковал большевизм всю думскую и внедумскую политику меньшевизма, как рабочую политику не революционно-демократическую и республиканскую, а «либеральную» и «соглашательскую».

Пражским расколом закончилась полоса 4-летней фракционной борьбы, достигшей в эмиграции именно за эти годы невиданного раньше ожесточения, при котором делавшиеся время от времени, главным образом — под влиянием русских «большевиков-примиренцев», попытки восстановления партийного единства и «оздоровления» центральных учреждений партии — на основе все той же нейтрализующей обе русские фракции и решающей роли «национальных» организаций — приводили лишь к еще большему разжиганию фракционных страстей и к дроблению социал-демократической эмиграции на все большее количество мелких групп. В заграничной части партии создавалась атмосфера удушливой и невыносимой склоки, часто совершенно затемнявшая в глазах ее участников и жертв смысл тех новых форм, которые приняли старые меньшевистско-большевистские разногласия в новых условиях, созданных июньским переворотом 1907 года.

Сохраняя свойственные им особые представления о движущих силах и путях русской революции, обе фракции одинаково были убеждены в том, что переворот этот ее проблем ни в какой мере не разрешил и что поэтому новый подъем ее неизбежен. Но обе одинаково были убеждены и в том, что подъем этот — дело не завтрашнего дня, что должны во всяком случае пройти годы, прежде чем он станет возможен. И если автор этих строк в изданной в 1907 году брошюре «Социал-демократия в резолюциях Лондонского съезда» констатировал, что «мы стоим... перед более или менее длительным периодом накопления организованных сил», то Ленин в письме, помеченном 16 декабря 1909 года и в весьма отчетливых выражениях говорящем об его тогдашних выводах из «истории 20-го века в России», т. е. из опыта революции 1905–6 годов, писал, «что из нее (этой “истории”) вытекает возможность двух видов капиталистического аграрного развития и что историческая борьба этих видов еще не закончена... Национализация земли — крестьянская ломка старого землевладения есть экономическая основа американского пути. Закон 9 ноября 1906 года (Столыпинский закон о “хуторах”. — *Ф. Д.*) — помещичья

ломка старого землевладения есть экономическая основа прусского пути. Наша эпоха, 1905-е годы, есть эпоха революционной и контрреволюционной борьбы этих путей»*. Но ориентируясь, таким образом, одинаково на более или менее длительную эпоху «накопления сил», каждая фракция по особому понимала методы этого «накопления».

Точка зрения меньшевиков формулирована в только что цитированной уже брошюре автора этих строк. Подчеркнув, что новый революционный «массовый напор» в конце концов неизбежен, но не так близок, «как на то рассчитывали меньшевистские резолюции Стокгольмского съезда», брошюра напоминает: «а между тем именно этот "напор" служил в глазах меньшевиков необходимым условием для превращения Думы в непосредственное, прямое орудие революции, для превращения Думы в орган власти». И отсюда вывод: невозможность практиковать тактику революционного «захвата», мыслимую лишь в условиях революционного «массового напора», означает «возрастающую необходимость до поры до времени работать в пределах законных рамок, направить свою думскую деятельность не на то, чтобы революционно перешагнуть "через" законы, а на то, чтобы использовать законы для подготовления таких условий, когда можно будет перешагнуть через них». И эта мысль — о возможно более интенсивной партийной работе в «легальных» рамках, как способе «накопления организованных сил» для грядущей новой революции, стала на ближайшие годы руководящей тактической мыслью меньшевизма — не только в сфере «думской» деятельности.

С невероятными усилиями и редким самоотвержением, подчиняясь всем полицейским правилам и ограничениям, взялись русские меньшевики за восстановление и укрепление профессиональных, культурных и иных рабочих организаций, уцелевших от разгрома, за основание новых организаций такого же типа; за завоевание новых сфер для организационной рабочей самодеятельности (например, в области социального страхования); за создание профессиональной, кооперативной, страховой, общекультурной рабочей печати и социал-демократических журналов («Наша заря»[612], «Дело жизни» и др.),

* Цитировано в предисловии к 3-ему тому собрания сочинений Ленина, изд. 1926 г., содержащему в себе воспроизведение его книги «Развитие капитализма в России».

до известной степени заменявших запрещенную ежедневную прессу социал-демократии, но, в свою очередь, то и дело исчезавших под ударами цензуры и возрождавшихся под новыми названиями; за установление регулярной связи рабочих организаций с социал-демократической фракцией Думы; за систематическую подготовку политически окрашенных выступлений «рабочих делегаций» на разрешавшихся время от времени общественных съездах (ремесленный, антиалкогольный, учительский, фабрично-заводских врачей и др.); наконец — за проведение по мере возможности агитационных кампаний, вроде кампании за подачу Думе петиции о праве рабочих на «свободу коалиций».

Из всего предыдущего понятно, что совершенно в ином направлении шли в эти годы мысль и работа большевизма. Его метод «накопления организованных сил» заключался в стремлении предохранить от распада, укрепить, напитать боевым духом и сохранить для руководства грядущею революциею хотя бы основные кадры «нелегального» аппарата партии. Идеологической основою такой тактики стала та идея «вооруженного восстания» в большевистском его понимании, которая утратила для данного времени свое практическое значение, но полностью сохранила свое значение принципиальное. Материальной же основой этой тактики была продолжавшаяся и санкционированная «большевистским центром» практика «партизанщины», доставлявшая те средства, без которых, в обстановке политической апатии широких рабочих масс и усиливающейся вражды даже интеллигентско-либеральных кругов буржуазного общества, существование сколько-нибудь многочисленных «нелегальных ячеек» было попросту невозможно.

В этих условиях было естественно, что уцелевшие или вновь возникавшие «нелегальные ячейки» были сплошь большевистскими и что большевизм со все возрастающими недоверием и неприязнью относился к «легалистской» деятельности русских меньшевиков. Соответственно этому пражская конференция выдвинула на первый план, с одной стороны — «необходимость усиленной работы по восстановлению нелегальной организации РСДРП, использующей еще шире, чем до сих пор, все и всяческие легальные возможности, способной к руководству экономической борьбой пролетариата и единственно могущей руководить все учащающимися политическими его выступлениями», с другой — «необходимость постановки и расшире-

ния систематической политической агитации и всесторонней поддержки начинающегося движения масс и расширения его под знаменем полностью проводимых лозунгов партии. Республиканская пропаганда против политики царской монархии должна быть особо выдвинута, между прочим, и в противовес широко ведущейся пропаганде укороченных лозунгов и ограничения работы рамками существующей легальности». Наконец, та же конференция объявила, что группа «Нашей зари» и «Дела жизни», то есть фактически почти весь русский меньшевизм, «своим поведением окончательно поставила себя вне партии».

В течение свыше двух лет, однако, работа меньшевиков на «легальной» арене шла с возрастающим успехом и была фактически почти единственной «конструктивной» формой социалистической деятельности в России. На этой работе меньшевизм тесно сблизился с передовыми кругами рабочих и помог формированию внушительных кадров высококвалифицированной рабочей интеллигенции: под его влиянием политически сложились за эти годы такие выдающиеся рабочие-социал-демократы, как печатники Камермахер-Кефали[613], Девяткин[614], Кубиков-Дементьев[615], или металлисты Гвоздев[616], Филипп Юдин[617], Александр Смирнов[618], Федор Булкин[619], Василий Чиркин[620], Романов и множество других, а в руководимых им организациях прошли школу политического и организационного воспитания десятки, если не сотни тысяч русских рабочих.

Работа эта шла без всякой помощи и даже без всякого соприкосновения с большевистскими «нелегальными ячейками» и партийными инстанциями, всякое вмешательство которых ощущалось ее деятелями, как вредная помеха. Традиционное для меньшевизма критическое отношение к партийной организации, как, она исторически сложилась, и стремление реформировать ее, сделать ее не только в ее массовой основе, но и в ее руководящей верхушке действительно «рабочей» (рабочий съезд!), стало складываться в широких кругах русского «легального» меньшевизма в особое направление, не оформленное ни теоретически, ни организационно, но вполне определенное по своим тенденциям, по стремлению прервать преемственность развития партии и воссоздать ее наново, совершенно независимо от уцелевших еще старых организаций и инстанций ее. Идейным вдохновителем этого течения, которое большевики обвиняли в «ликвидации» партии (отсюда и полемическое название «ликвида-

торство», впоследствии, как это часто бывает, усвоенное и теми, против которых оно было заострено), был остававшийся в России А. Н. Потресов, редактор «Нашей зари», а его наиболее выдающимися деятелями-практиками — П. А. Гарви[621] (партийная кличка — Юрий), К. М. Ермолаев[622] (Роман) и И. Исув[623] (Михаил).

«Голос социал-демократа»[624], издававшийся в Париже Мартовым и Даном, всячески содействовал практической работе «ликвидаторов», защищал их от нападок большевизма, а редакторы его деятельно сотрудничали и в издаваемой «ликвидаторами» легальной прессе*. Но в то же время «Голос социал-демократа» решительно предостерегал русских меньшевиков против политики разрыва со старой партией. Он напоминал им, что в русских условиях нелегальный партийный центр необходим для того, чтобы сама легальная работа социал-демократии не утратила широких политических и социалистических перспектив, а ориентировалась на неизбежно предстоящий в будущем новый подъем революции. Он предупреждал их, что с минованием полосы общественного застоя, партия, которую «ликвидаторы» объявляли «трупом», имеет все шансы снова ожить. Он призывал их поэтому воспользоваться благоприятным поворотом в настроениях «национальных» организаций (в эти годы стала поворачиваться в сторону меньшевизма и латышская социал-демократия), чтобы сделать успехи своей легальной работы основой не для окончательного разрыва с «нелегальной» партией, а для укрепления своих позиций в ней, для ее завоевания и реформирования извнутри.

Эти призывы «Голоса социал-демократа» встречали мало сочувствия у руководящего ядра русских «ликвидаторов». Когда в конце декабря 1910 года было созвано в Париже пленарное заседание Центрального комитета[625], на котором объединенным усилиям меньшевиков, «национальных» организаций и «примиренчески» настроенных большевистских членов Центрального комитета, приехавших из России, а также представителя думской социал-демократической

---

* Такая позиция «Голоса социал-демократа» вызвала новый откол Г. В. Плеханова, образовавшего особую группу «меньшевиков-партийцев» или «плехановцев», оставшуюся, впрочем, весьма узким кружком. П. Б. Аксельрод, поддерживавший самые тесные отношения с «Голосом социал-демократа», войти в его редакционную коллегию, однако, не захотел, так как его ультраскептическое отношение к возможности плодотворно использовать уцелевшие инстанции партии сближало его с «ликвидаторами».

фракции Чхеидзе, удалось провести решение о введении в редакцию Центрального органа двух меньшевиков, Мартова и Дана, о передаче Центральному комитету значительной части денежных средств «большевистского центра» и о коренной реорганизации самого Центрального комитета, с привлечением в его состав трех русских «ликвидаторов» и с перенесением центра деятельности Центрального комитета в Россию, — решение это было фактически сорвано отказом упомянутых уже Юрия, Романа и Михаила занять предложенные им посты. Затихшая было яростная кампания большевизма против «ликвидаторства» возобновилась с еще большим ожесточением.

Но именно к этому времени начала существенно меняться вся политическая обстановка страны, а вместе с тем и условия работы «ликвидаторов». К концу 1910 года экономический застой начал сменяться новым оживлением, сейчас же вызвавшим новый подъем совсем было замершей активности рабочих масс, пытавшихся теперь экономическими стачками несколько улучшить свое положение, сильно ухудшившееся за годы застоя: в то время как за 1909 год статистика отметила лишь 56 000 бастующих рабочих, в 1911 году бастовало уже 137 000, а в 1912-м — 1 238 000. Этот скачек объясняется тем, что к стачкам чисто экономическим начали присоединяться стачки и политического характера, свидетельствовавшие о нарастании в массах и политического возбуждения, наиболее ярким проявлением которого была грандиозная забастовка протеста против расстрела стачечников на Ленских золотых приисках[626] (апрель 1912). Возрождение рабочего движения сейчас же отозвалось подъемом настроения демократической и либеральной интеллигенции, обострением противоречий между помещичьим и буржуазным крыльями «октябристского» блока и между всем блоком в целом и правительством, нарастанием конфликтов в Думе, общим повышением политической температуры страны. Правительство вынуждено было несколько ослабить полицейские репрессии и, в частности, по отношению к социал-демократии — допустить возрождение легальных газет, частью ликвидировать не закончившиеся еще политические процессы и тем сделать к 1913 году возможным возвращение из эмиграции некоторых видных деятелей партии*.

* Этою возможностью сейчас же воспользовались из меньшевиков Дан и Мартов, из большевиков Каменев. В эту «либеральную» политику входили, впрочем, и расчеты политической полиции на разжигание фракционной междоусобицы и перенесение ее из эмиграции в Россию, как на средство деморализовать

В атмосфере начинающегося общественного подъема стал оживать и нелегальный аппарат партии. «Нелегальные ячейки» стали выходить из состояния политического небытия и находить отклик не только в наново революционизирующихся слоях интеллигенции, но и в известных кругах радикально настроенной крупной буржуазии, которой резко антиправительственная политическая агитация большевизма импонировала больше, чем осторожная и политически все более «реформистская» работа «ликвидаторов» по строительству рабочих организаций*. Но, к изумлению «ликвидаторов», «неурезанные лозунги» начали находить все более сочувственный отклик и в пробуждающихся рабочих массах — правда, не столько своим демократически-республиканским содержанием, которое в создавшихся условиях и для самих большевиков все больше становилось лишь средством обличения «предательства» либеральной, кадетской буржуазии и «соглашательства» меньшевиков, сколько выраженною в них готовностью поддерживать в «неурезанном» виде все экономические и социальные требования масс, борьбу за которые «ликвидаторы» «пытались вводить в рамки тех форм и методов, до которых долгим опытом доработалось в совершенно иных условиях профессиональное движение Западной Европы, — незаметно переходя, таким образом, от марксистской «европеизации» теории русского социализма к противоречащему этой теории и в условиях тогдашней России неосуществимому стремлению «европеизировать» и его тактику.

В этих обстоятельствах несколько поколебалось отрицательное отношение «ликвидаторства» к старой партии и к нелегальной организации социал-демократии вообще. Те же самые ликвидаторы,

---

и дезорганизовать социал-демократию и дезориентировать рабочее движение на самом пороге его возрождения. Главным проводником этой политики Белецкого, директора Департамента Полиции, стал упомянутый уже выше провокатор, московский рабочий-депутат 4-ой Думы Роман Малиновский, председатель думской большевистской фракции, член «пражского» Центрального комитета и редактор вновь основанной легальной большевистской газеты «Правда».

* Эти представители радикальной буржуазии (об одном из них, Савве Морозове, мы упоминали в самом начале книги) стали для нелегальной организации источником средств, упразднившим надобность в «партизанщине». Главными посредниками между большевистским центром и этими кругами буржуазии были Максим Горький и инженер Леонид Красин, старый большевик, занимавший крупные посты в промышленности, впоследствии советский посол в Лондоне и Париже.

которые в начале 1911 года отказывались принимать участие в попытках оздоровления и объединения партии, согласились теперь, вместе с «троцкистами» и «плехановцами», организовать так называемый «августовский блок» 1912 года. Но было уже поздно. Раскол партии уже окончательно оформился, и работа нового «блока» заранее искажалась тем, что вести ее предстояло во все более ожесточенной фракционной борьбе с большевизмом. Но что особенно важно: между рабочими массами и меньшевизмом и, главное, между настроениями этих масс и настроениями их собственного, воспитанного ликвидаторами, рабочего авангарда стал намечаться разнобой, все определеннее дававший себя знать во все «острые», критические моменты дальнейшего нарастания рабочего движения.

Этот разнобой сгладился и даже, можно сказать, ликвидировался в первые годы войны 1914–18 гг., когда все возможности открытой социал-демократической работы снова съежились до минимума, а угроза отправки на фронт держала в узде недовольных, и когда, с другой стороны, неизбежные в первой фазе войны национально-патриотические настроения эмоционально сближали рядовую рабочую массу с «ликвидаторским» меньшевизмом, в преобладающем большинстве своем занявшим патриотически-оборонческую позицию, и отталкивали ее от большевистского «пораженчества». Умелое использование «оборонцами» так называемых военно-промышленных комитетов[627], созданных либеральною земскою и городскою буржуазией в 1916 году ради обслуживания армии и политического сближения с нею, для образования внутри этих комитетов автономных местных и центральной Рабочих Групп, получивших весьма широкие возможности публичного выступления, сделало меньшевизм центральным организатором всех видов снова разбуженного неудачами войны рабочего движения и обеспечило ему в первую полосу революции 1917 г. руководящее положение и в Петербургском, и в большинстве провинциальных, и в центральном Советах рабочих депутатов. С тем большею силою возродился этот разнобой в дальнейшем ходе революции, и мы уже имели случай говорить, какую роль сыграла в его обострении меньшевистская «реформистская» политика, и какое роковое значение он имел для судеб меньшевизма.

Тем временем стачечное движение все ширилось, перекидывалось из столицы в провинцию, охватывало сразу целые отрасли промышленности (Бакинские нефтяные промысла в июне 1914 года) и посте-

пенно принимало революционную окраску. Одновременно, как известно, осложнялось международное положение, и за кулисами шла уже лихорадочная подготовка к войне. В этих обстоятельствах правительство попыталось в конце июня 1914 года покончить одним ударом и с крепнущею социал-демократиею, и с нарастающим рабочим движением. В один день была закрыта вся легальная с.-д. печать, арестованы сотни социал-демократов, распущены десятки легальных рабочих организаций. Ответом петербургского пролетариата была всеобщая забастовка протеста, лишенная, благодаря арестам, организационного и политического руководства, но тем быстрее начавшая переходить в вооруженные стычки с полицией и попытки строить баррикады, и свидетелем этих событий оказался Пуанкарэ[628], президент завтрашнего союзника по войне, Франции, как раз в это время прибывший в Петербург во главе эскадры. Объявление войны круто оборвало это движение и даже вызвало, как было уже отмечено, известный подъем национально-патриотических настроений в только что бунтовавших массах. Но оно было достаточно внушительным предостережением на самом пороге войны: сквозь только еще начинающийся грохот орудий на фронте уже слышалась железная поступь грядущей революции, назревавшей в тылу.

Как это парадоксально ни звучит, крайние реакционеры царской бюрократии гораздо раньше и лучше поняли движущие силы и социальное содержание этой грядущей революции, чем все русские «профессиональные революционеры» и, в частности, русские марксисты-социал-демократы, во всех фракциях и течениях своих, как мы видели, почти до последней минуты ориентировавшиеся на предопределенность поставленных ей историею «капиталистических» и «буржуазных» границ.

Так, еще в 1884 году граф Дмитрий Толстой[629], один из наиболее реакционных министров внутренних дел Александра 3-го, говорил князю Бюлову[630], будущему канцлеру германской империи: «Всякая попытка ввести в России западноевропейские, парламентские формы правления обречена на неудачу. Если царский режим... будет низвергнут, на его место придет коммунизм, чистый, неприкрытый коммунизм господина Карла Маркса, который недавно умер в Лондоне и теории которого я изучал со вниманием и интересом»*. Но еще по-

* Bernhard Fürst von Bülow. Denkwürdigkeiten. Vierter Band S. 573. Im Verlag Ullstein, Berlin.

разительнее по точности предвидения та картина грядущей русской революции, которую нарисовал еще больший реакционер, чем Д. Толстой, и тоже бывший министр внутренних дел Александра 3-го, П. Н. Дурново[631], в секретной записке, поданой им Николаю 2-му в феврале 1914 года, лишь только стали намечаться перспективы возможной войны против Германии, и ставшей в свое время известной даже не всем членам правительства*.

Исходя из «глубокого убеждения», что в современных условиях война вызовет в побежденных странах революционные потрясения, которые не смогут не перекинуться и на страны-победительницы, Дурново пишет: «что эти потрясения будут носить социальный, а не политический характер, — в этом не может быть никаких сомнений... Особенно благоприятную почву для социальных потрясений представит, конечно, Россия, где народные массы, несомненно, исповедывают принципы бессознательного социализма. Несмотря на оппозиционность русского общества... политическая революция в России невозможна, и всякое революционное движение неизбежно выродится в социалистическое». Ибо «за нашей оппозицией нет никого: у нее нет поддержки в народе... Русский простолюдин, крестьянин и рабочий одинаково, не ищет политических прав... Крестьянин мечтает о даровом наделении его чужою землею, рабочий о передаче ему всего капитала и прибылей фабриканта... Наша оппозиция никакой реальной силы не представляет. Русская оппозиция сплошь интеллигентская, и в этом ее слабость, так как между интеллигенцией и народом у нас глубокая пропасть взаимного непонимания и недоверия». Кончает свою записку Дурново следующими предсказаниями:

«Если война окончится победоносно, усмирение социалистического движения, в конце концов, не представит затруднений... Но в случае неудачи... социальная революция, в самых крайних ее проявлениях, у нас неизбежна... Начнется с того, что все неудачи будут приписаны правительству. В законодательных учреждениях начнется яростная против него кампания, как результат которой в стране начнутся революционные выступления. Эти последние сразу же выдвинут социалистические лозунги, единственные, которые могут надеяться сгруппировать широкие массы населения, сначала черный

* См. статью Е. Тарле «Германская ориентация и П. Н. Дурново в 1914 году» в № 19 журнала «Былое», выходившего в Москве под редакцией П. Е. Щеголева.

передел, а за ним и общий раздел всех ценностей и имуществ. Побежденная армия, лишившаяся к тому же за время войны наиболее надежного кадрового своего состава, охваченная в большей ее части стихийно общим крестьянским стремлением к земле, окажется слишком деморализованной, чтобы послужить оплотом законности и порядка. Законодательные учреждения и лишенные действительного авторитета в глазах народа оппозиционно-интеллигентские партии будут не в силах сдержать расходившиеся народные волны, ими же поднятые, и Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддается даже представлению».

Дурново, как и никто в то время, конечно, не предвидел и не мог предвидеть, что «исходом» из предвиденной им «беспросветной анархии» 1918–19 гг. будет новая «советская» государственность. Его записка, имевшая целью предостеречь правительство от участия в войне, цели не достигла. Война разразилась, и притом война против Германии, чего, со времени Александра 3-го, всегда так боялись русские реакционеры, именно поэтому предпочитавшие «дальневосточное» направление русской внешней политики ее «западноевропейскому» направлению, или, по выражению Мартова, в одной из его статей в «Голосе социал-демократа», предпочитавшие «политику Цусимы политике Севастополя».

Война 1914–18 гг. оказалась исторической вехой в развитии не только России и Европы, но и всего мира. Она оказалась вехой и в идеологическом развитии обоих фракций русской социал-демократии: те метаморфозы, которые, под давлением русской действительности, переживала их идеология под спудом фракционно-окостеневших формул, догматов и лозунгов и симптомы которых не раз отмечались на предыдущих страницах, кесаревым сечением войны были выведены наружу. Их результатом и был тот, на первый взгляд столь неожиданный, обмен фракций своими идейно-политическими ролями, о котором мы тоже неоднократно говорили и который, в конце концов, превратил фракцию подчеркнутого «республиканского демократизма» в носительницу идеи авторитарного и на первых порах определенно антидемократического социализма, а фракцию подчеркнутого приоритета «классово-социалистических» задач сделал знаменосцем самого упрощенного «демократического реформизма».

Эта «демократически-реформистская» метаморфоза меньшевизма подготовлялась в период между двумя революциями его принци-

пиальным отказом от борьбы за власть с буржуазией, а потому и его внутренним примирением с «урезанными» формами демократии, поскольку и эти формы обеспечивали то, что меньшевизм считал своей основной задачей в революции, — строительство классовой рабочей организации и развитие классового рабочего сознания. «Демократическая республика» оставалась, конечно, программным лозунгом меньшевизма, но становилась скорее теоретически обязательною, но более или менее отдаленною целью, чем лозунгом, способным вдохновить на страстную борьбу сегодня. Практика же «ликвидаторства» — для которого самый процесс строительства классовых рабочих организаций отодвигал опять-таки в неопределенное будущее социалистические цели этого процесса и для которого большие политические проблемы и концепции вообще всегда стояли на втором плане, — еще больше содействовала тому перерождению меньшевистской идеологии в идеологию «демократического реформизма», которое медленно назревало в широких кругах меньшевизма, приняло более отчетливые формы в условиях войны и революции, но только в последующей, теперь уже четвертьвековой, эмиграции достигло законченности, окончательно ликвидирующей классово-рабочий и социалистический характер тех «меньшевистских» групп, которые им охвачены и которые на деле сохраняют от исторического «меньшевизма» лишь его название.

Но в тот же период между двумя революциями подготовлялась и авторитарно-социалистическая, антидемократическая метаморфоза большевизма. Эта метаморфоза подготовлялась тем, что ни в ходе революции 1905 года, ни за все последующие годы ни разу не принимала сколько-нибудь осязательных форм та «революционно-республиканская» крестьянская демократия, которая была краеугольным камнем всей концепции «демократической диктатуры пролетариата и крестьянства». Поэтому не только эта формула фактически вышла из употребления, но и самый лозунг «демократической республики» принял, как мы уже говорили, скорее характер вызова по адресу кадетского «предательства» и меньшевистского «соглашательства», чем призыва к борьбе, обращенного к народным массам. Не вокруг лозунгов политической демократии удавалось большевикам мобилизовать против правительства и отрывать от меньшевизма взбудораженные рабочие массы, а вокруг «неурезанных» требований экономического и социального порядка. И не на почве общеполитических

программ, а на почве борьбы за землю и за отмену сословного бесправия крестьян создавался известный контакт между большевизмом и «крестьянскими» группами в Думе и вне Думы, как на почве той же борьбы возникал и контакт между рабочими и крестьянским движениями в моменты их подъема. И все же нужен был толчок извне, чтобы большевики решились открыто сдать в архив совершенно вылинявшее «республиканско-демократическое» знамя. И на этот раз, как и во все предшествующие моменты кризисов большевистской идеологии, гордиев узел разрубил Ленин.

К началу войны за границей оказался не только Ленин, с 1908 года не возвращавшийся из эмиграции, но и Мартов, которому война отрезала путь к возвращению в Россию. Оба они, как известно, заняли по отношению к войне «интернационалистскую» позицию и вели решительную борьбу и против европейского «социал-патриотизма», и против русского «оборончества». Оба стали участниками того международного объединения «интернационалистских» групп, которое возникло на конференциях в Циммервальде и Кинтале[632] (Швейцария). Но в то время, как для подавляющего большинства «циммервальдцев», в которое входил и Мартов, задачей «социалистов-интернационалистов» стало сплочение пролетариата и трудящихся классов вообще под знаменем борьбы за скорейшую ликвидацию «империалистской» войны и заключение всеобщего мира «без аннексий и контрибуций, на основе самоопределения народов» — для Ленина, возглавившего немногочисленное «левое» крыло циммервальдцев, такой задачей было скорейшее «превращение империалистской войны в войну гражданскую», с признанием «поражения своего собственного правительства» наиболее прямым путем к развязыванию такой гражданской войны в каждой отдельной стране.

По отношению к внутрирусской политике такая «военная» позиция Ленина давала ему то преимущество, что позволяла сделать центральным лозунгом агитации немедленный, хотя бы и «сепаратный» выход России из войны — лозунг, встречавший все более сочувственный отклик в солдатских массах по мере того, как ряд тяжелых поражений, обрушившихся на Россию в этой войне, начал разлагать и деморализовать армию. Но еще большее значение для внутрирусской политики обоих фракций имело то общее убеждение, к которому, вместе со всеми циммервальдцами, пришли и Мартов, и Ленин, — что война, рожденная империализмом, как последнею фазою развития

европейского капитализма, наносит ему же удар, от которого он уже не сможет оправиться, и что для Европы наступает эпоха социальной революции.

Конечно, и в этом случае Мартов, в соответствии с общими идеологическими традициями меньшевизма и международной социалдемократии вообще, представлял себе эту эпоху, как более или менее длительный период все обостряющейся организованной борьбы, охватывающей все более широкие пласты трудящихся масс города и деревни и в самом ходе своем делающей для этих масс социалистический пролетариат естественным и желанным политическим руководителем, «классом-освободителем», по выражению Маркса, — между тем как Ленину, опять-таки в соответствии с общей идеологией большевизма, «мировая социальная революция» рисовалась, как сравнительно кратковременная «гражданская война» в ряде стран, руководимая международным штабом «выдержанных и спевшихся» революционеров-социалистов и им именно, как представителям рабочего класса, вручающая власть.

Как известно, «социальная революция» Европы не осуществилась после первой мировой войны ни в том, ни в другом варианте. Верно оценив общие тенденции эпохи, и Мартов, и Ленин одинаково переоценили скорость и прямолинейность развязанного войною социального развития. Должно было пройти четверть века, заполненных катастрофами фашизма и новой мировой войны, чтобы создалась ситуации, в которой радикальное преобразование социального уклада Европы и всего мира действительно становится в порядок дня. Но сама ориентация на европейскую «социальную революцию» давала тот «международный» выход, в котором, как мы в своем месте говорили, и меньшевизм, и большевизм одинаково, с самого своего возникновения, искали разрешения противоречий русской революции. Международная социальная революция создавала и для русской революции перспективу ломки тех «капиталистических» и «буржуазных» рамок, в которых противоречия эти были неразрешимы.

В перспективе такой ломки «власть буржуазии» переставала быть исторически неизбежной. Она становилась не только ненужной, но и вредной — вредной с точки зрения военного «интернационализма» и еще более вредной с точки зрения вовлечения отсталой России в ожидаемый процесс социально-революционного преобразования Европы. Мартов круто порывал с начавшими уже было окостеневать

политическими традициями меньшевизма, когда сделал стержнем своей политики это положение, все выводы из которого были им, впрочем, формулированы лишь в так называемых «апрельских» тезисах 1920 г., ставших платформой «мартовского» течения русской социал-демократии. От ориентации на «власть буржуазии» это течение переходило к ориентации на «власть трудящихся», на политический союз пролетариата, крестьянства и городской мелкой буржуазии, то есть в социологическом разрезе, к той ориентации, которая, как мы видели, лежала в основе большевистской концепции. Только теперь конечной задачей этого союза должно было стать уже не завоевание и консолидация «буржуазной» в своем экономическом и социальном фундаменте «демократической республики», а постепенное преобразование экономики и социальных отношений отсталой России в таком направлении, которое дало бы возможность ее вовлечения в процесс социальной революции, начавшейся на передовом Западе, и обеспечение дружественного участия и непролетарских трудящихся классов, в первую голову крестьянства, в таком преобразовании.

По существу в том же направлении дали открывшиеся «международные» перспективы толчок и политической мысли Ленина. В «прощальном письме к швейцарским рабочим», написанном им перед отъездом в Россию вскоре после начала революции и помеченном 26 марта/8 апреля, он объявляет задачей грядущих европейских революций «передать власть во всех цивилизованных странах в руки революционного пролетариата, осуществить социалистический переворот» и пишет: «Русскому пролетариату выпала на долю великая честь начать ряд революций, с объективною неизбежностью порождаемых империалистической войной... Мы прекрасно знаем, что пролетариат России менее организован, подготовлен и сознателен, чем рабочие других стран. Не особые качества, а лишь особенно сложившиеся исторические условия сделали пролетариат России, на известное, быть может, очень короткое время, застрельщиком революционного пролетариата всего мира. Россия — крестьянская страна, одна из самых отсталых европейских стран. Непосредственно в ней не может победить тотчас социализм. Но крестьянский характер страны, при громадном сохранившемся земельном фонде дворян-помещиков, на основе опыта 1905 года, может придать громадный размах буржуазно-демократической революции в России и сделать из нашей революции пролог всемирной социальной революции, ступеньку к ней».

И дальше: «В России не может непосредственно и немедленно победить социализм. Но крестьянская масса может довести неизбежный и назревший аграрный переворот до конфискации всего необъятного помещичьего землевладения... Подобный переворот, сам по себе, отнюдь не был бы еще социалистическим. Но он дал бы громадный толчок всемирному рабочему движению. Он чрезвычайно укрепил бы позиции социалистического пролетариата в России и его влияние на сельскохозяйственных рабочих и на беднейших крестьян... Русский пролетариат не может одними своими силами победоносно завершить социалистическую революцию. Но он может придать русской революции такой размах, который создаст наилучшие условия для нее, который в известном смысле начнет ее. Он может облегчить обстановку для вступления в решительные битвы своего главного, самого верного, самого надежного сотрудника, европейского и американского социалистического пролетариата».

Те же идеи формулируют и «тезисы», с которыми Ленин выступил в Петербургском Совете тотчас же по прибытии в Россию: «Своеобразие текущего момента в России состоит в переходе от первого этапа революции, давшего власть буржуазии в силу недостаточной сознательности и организованности пролетариата, — ко второму ее этапу, который должен дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев крестьянства... Не парламентская республика — возвращение к ней от Советов рабочих депутатов было бы шагом назад, — а республика Советов рабочих, батрацких и крестьянских депутатов по всей стране, снизу до верху... Не "введение" социализма, как наша непосредственная задача, а переход тотчас лишь к контролю Советов рабочих депутатов за общественным производством и распределением продуктов».

Но при близости, почти одинаковости общих представлений Мартова и Ленина в этот период об основных задачах русской революции, их разделяло и тут, как и в вопросе о военном «интернационализме», совершенно различное понимание тех методов и форм, в которых эти задачи могут быть успешно разрешены. «Власть трудящихся» рисовалась Мартову как коалиционная, то есть компромиссная власть равноправных, политически сознательных и организованных социальных сил, в которой рабочий класс лишь превосходством и широтой своего политико-социального кругозора завоевывает себе руководящее положение. Политическая свобода, ограничения которой допустимы в революционное время для «эксплуататорских» клас-

сов, но не для трудящихся, представлялась ему непременным условием функционирования такой власти, а демократия, по своим формам, если не тождественная, то близкая к парламентаризму, находящемуся под непрерывным давлением свободных организаций трудящихся, ее естественной государственно-правовой основой. Выражаясь современным политическим языком, «власть трудящихся» рисовалась Мартову, как власть «народно-фронтового» типа.

Но эта «народно-фронтовая» демократия не могла осуществиться в России 1917 года, потому что не было налицо тех организованных и политически воспитанных сил, которые являются необходимой предпосылкой ее осуществления. Такие силы были в рабочем классе. Но в условиях «самой свободной» страны, какою сделала Россию, по выражению Ленинских «тезисов», революция, внимание рабочих масс менее всего было занято вопросами «политики»: его все больше поглощали те экономические и социальные неурядицы (дезорганизация продовольственного снабжения и подвоза сырья и топлива на фабрики, грозящая безработица, возрастающая дороговизна, предполагаемый контрреволюционный саботаж предпринимателей и т. п.), которые создавала все обострявшаяся военная разруха. Но организованных политических сил совсем не было в крестьянстве и еще менее в той наиболее боевой его части, которая была сосредоточена в городах и ключевых центрах страны и в обстановке войны приобрела решающее значение, — в той солдатской массе, для которой революция означала прежде всего возможность осуществления страстной мечты — вернуться с фронта домой и принять участие в ожидаемом «черном переделе».

С свойственным ему поразительным революционным чутьем, Ленин сейчас же учел это положение, когда совершенно снял лозунг «демократической республики», сделал главным лозунгом агитации среди рабочих — «рабочий контроль», среди крестьян — конфискацию всей помещичьей земли, среди солдат — немедленное заключение мира, а лозунгом своей кампании против Временного правительства — «Долой министров-капиталистов!», и когда выдвинул требование «Вся власть Советам!», которое и рабочие, и крестьяне, и солдаты понимали одинаково не как гарантию осуществления их политических прав, а как гарантию «неурезанного» осуществления их экономических и социальных надежд и чаяний.

В этих условиях Ленину было тем легче ликвидировать ориентацию на «демократическую диктатуру пролетариата и крестьянства» и

открыто перейти к ориентации на диктатуру большевистской партии в форме «советской власти», что, как мы видели, и его первоначальная концепция предполагала наличие внутри «демократической диктатуры» фактической диктатуры пролетариата в лице большевизма. Полную и решительную победу одержала и не могла не одержать в наличных условиях не «народно-фронтовая» концепция Мартова, а «диктаторская» концепция Ленина — та авторитарная идея, первые зародыши которой он изложил в «Что делать?»

Но хотя Ленинские «тезисы» были лишь логическим завершением этой идеи, мы говорили уже, какою неожиданностью оказались они даже для руководящих кругов большевизма и какое отталкивание вызвали они в рядовой большевистской массе. Но, как это и раньше бывало в моменты крутых идейно-политических поворотов, уже через 2–3 недели Ленин имел весь большевизм за собою. И когда, на 1-м Всероссийском Съезде Советов[633], в ответ на слова главы Временного правительства, А. Ф. Керенского, что в существующих отчаянно-тяжелых условиях нет, конечно, никого, кто захотел бы взять в свои руки власть, раздалась в наступившей тишине резкая реплика Ленина: «Есть!» — в этом «есть» звучала уже воля к власти не одного только Ленина, а всего большевизма.

25 октября (7 ноября) 1917 года подготовленное большевиками вооруженное восстание, главной силой которого был Кронштадтский флот, свергло Временное правительство. А вечером того же дня пишущий эти строки открывал, в качестве председателя, 2-ой Всероссийский Съезд Советов[634], передавший власть большевикам.

Началась новая глава в истории не только России, ставшей Советской Республикой, но и в истории социального и политического развития всего мира.

Послесловие
ИТОГИ РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ БОЛЬШЕВИЗМА

Антиномия «демократия — социализм», борьба за разрешение которой проходит красною нитью через всю историю русского революционного движения и русской революционной мысли, осталась неразрешенной и в революции 1917 года. Выдвинутая Мартовым концепция ее гармонического разрешения — уже на основе признания «социалистических», а не «буржуазных» тенденций русской революции — демократическая «власть трудящихся», не смогла получить осуществления в революции 1917 года по той же причине, по которой в революции 1905-го не смогла получить осуществления Ленинская концепция «демократической диктатуры пролетариата и крестьянства»: по причине отсутствия того организованного «революционно-республиканского» крестьянского партнера, на которого обе эти концепции рассчитывали, хотя и в различном политико-социальном плане.

И свыше чем полустолетие спустя после освобождения русское крестьянство, в массе своей, не стряхнуло с себя того равнодушия к чисто политическим вопросам, о которое разбивались, как мы видели, надежды одного поколения русских революционеров за другим. Война завершила освобождение и крестьянских масс от мистики царизма. Крестьянство охотно и широко пользовалось благами республиканской (политической свободы, провозглашенной победившею революцией). Но ни война, ни революция не сделали в его глазах эту свободу такою жизненною ценностью, за которую можно и нужно бороться, не превратили русское крестьянство в сколько-нибудь надежную опору свободно-демократической государственности. Как в первую, февральскую полосу революции, так и во вторую, октябрьскую, мотивы не политического, а экономического и социального порядка оставались для крестьян решающими. Но точно так же и на всем протяжении гражданской войны, как и в годы начальной неустойчивости и последующей постепенной, прерываемой «кризисами», консолидации советского строя, политический облик боровшихся между собой режимов и сил играл минимальную роль в отношении крестьянства к ним: это отношение свое крестьянство или его отдельные слои («кулаки», «середняки», «беднота») определяли исключительно

под углом зрения своей борьбы — сначала за землю, потом за распоряжение ее продуктами. Организованный социалистами-революционерами «фронт Учредительного Собрания» не только осудил себя на заведомое поражение, но немало способствовал дискредитации в глазах широких масс крестьянства самой идеи политической демократии в ее «европейских» формах — именно потому, что, сделав эту идею своим знаменем, встал ради ее защиты в гражданской войне на ту же сторону антибольшевистской баррикады, на которой стояли, более того — главенствовали силы так называемого «белого» движения, то есть силы, в которых крестьяне справедливо видели защитников старых земельных собственников и поборников обратного пересмотра только что произведенного «черного передела».

В исторических условиях России обстоятельства сложились так, что только «колхозная» система, сломившая окончательно узкие рамки индивидуального крестьянского хозяйства, сломила и консервировавшуюся в этих рамках ограниченность идейно-политического кругозора русского крестьянства и впервые сделала для него осязательной и очевидной неразрывную связь его собственных хозяйственных судеб с судьбами государства. «Государственному» подходу к проблемам и собственного экономико-социального бытия оно впервые начало учиться лишь в школе местных, районных, республиканских и Всесоюзного Советов, в которых, и после провозглашенного «Сталинскою» конституциею 1936 года уравнения всех граждан в избирательных правах, остатки ликвидированных советскою революциею старых привилегированных классов почти не представлены, а монополистами являются на деле «трудящиеся» — рабочие, крестьяне, вместе с советской бюрократией и профессиональной интеллигенцией, но обслуживающей уже не частные, а государственные интересы. Вот почему, несмотря на «однокандидатность» советских выборов и «однопартийное» регулирование советской политики, советский «парламентаризм» оказался отнюдь не «фикцией», а весьма реальным фактором «демократизации» советского режима. В частности и в особенности, именно в условиях этого «парламентаризма», а потому и под его сильнейшим «идеологическим» воздействием впервые происходит в широком масштабе «политизация» русского крестьянства, его формирование в социальную силу, способную стать одним из прочных и надежных устоев «демократии трудящихся». Этот процесс «политизации» русского крестьянства сильно подвинулся вперед в испытаниях и пе-

реживаниях антифашистской войны и завершается на наших глазах в условиях «оккупационного» соприкосновения с европейским Западом и надвигающихся со дня на день проблем послевоенной экономической, социальной и культурной реконструкции страны, все более сложных и трудных и все настойчивее требующих максимальной активизации массовой народной энергии. Но тогда, в октябрьско-ноябрьские дни 1917 года, этот процесс был лишь отдаленной перспективой. В те дни все помыслы, надежды, страсти миллионов крестьян на фронте были целиком поглощены мыслью о немедленном возвращении домой, а десятков миллионов крестьян в тылу — стремлением, тоже немедленно, приступить к «черному переделу». Этот «передел» начался, правда, и до октября–ноября, но и социалистические члены Временного правительства всячески тормозили его и даже активно ему противодействовали — в иллюзорной надежде разрешить «аграрный вопрос» не в хаотическом порядке самовольных захватов на местах, а в плановом порядке законодательства будущего Учредительного Собрания. Что действительно кровно привязывало крестьян к новой, «советской» власти, — это твердое сознание, что это власть «своя», которая ни немедленной ликвидации войны, ни немедленному осуществлению «черного передела» никаких препятствий ставить не будет. Тем охотнее предоставили они целиком победившей большевистской партии самый процесс «конституционного» формирования новой власти. В таких условиях, при полной дезорганизации и значительном разрушении транспорта, вызванных беспорядочным бегством миллионов солдат с фронта и, в свою очередь, грозивших голодом и остановкой промышленности в городах, «советская власть» — и помимо «диктаторской» идеологии большевизма — не могла не стать при самом возникновении своем властью диктаторской. Встреченная тотчас же саботажем бюрократии и профессиональной интеллигенции, формированием «белых» армий, первыми вспышками надвигающейся гражданской войны, она в своей отчаянной и на девять десятых безнадежной борьбе с продовольственными, экономическими и административными затруднениями не могла не превращаться во власть террористическую.

Диктаторско-террористические и однопартийные формы, в которые начала сейчас же отливаться «советская власть», свидетельствовали о том, что, и одержав «решительную победу» над царским режимом, русская революция оставила неразрешенной свою исконную, основную проблему сочетания демократии и социализма. Именно

в ее неразрешенности причина того, что «Мартовское» течение русской социал-демократии, связанное с большевизмом не только единством «конечной цели», но, в основном, и общностью понимания «социологии» как русской революции, так и мирового развития в условиях, созданных 1-ою мировою войною, не смогло в течение свыше чем четверти века ни слиться с большевизмом, ни раствориться в нем. Демократически-реформистски выродившийся «правый» меньшевизм очень скоро вообще перестал быть фактором революционного и социалистического развития России и превратился в своего рода «левое» крыло либерально-консервативного лагеря. Но «Мартовское» течение сыграло не малую практически-политическую роль в смысле мобилизации небольшевистски настроенных кругов пролетариата и радикальной интеллигенции на защиту советской власти в гражданской войне и еще большую — в смысле мобилизации международного социалистического движения на борьбу против политики военной интервенции, экономической блокады и политического «непризнания» советского правительства. Но и перестав быть практически политической силой внутри страны, «Мартовское» течение продолжало и продолжает существовать в качестве чисто идеологической группы, не перестававшей оказывать идейно-политическое воздействие и на известные круги большевизма*.

Но если существование «Мартовского» течения является, так сказать, лишь «символическим» свидетельством неразрешенности проблемы «демократия — социализм» в советской революции, то совершенно реальным доказательством этой неразрешенности является тот факт, что на протяжении всего, свыше чем четвертьвекового существования советской власти, именно к вопросу о «демократии» неизменно приковы-

* За границей «Мартовское» течение группировалось вокруг журнала «Социалистический вестник», основанного самим Ю. О. Мартовым в феврале 1922 г. Но за четверть века эмиграции и большинство «Мартовской» заграничной группы проделало ту эволюцию, которую, как мы отмечали в начале нашего труда, вообще проделали остатки былой русской «интеллигенции» и которая фактически привела их к разрыву со своим революционным и социалистическим прошлым и к самурастворению в буржуазно-демократическом либерализме. С 1939 года «Мартовское» течение заграницей выделилось из общеменьшевистской организации в особую группу, органом которой является журнал «Новый путь», издаваемый пишущим эти строки, при ближайшем участии А. Югова, автора многих трудов по экономике Советской России, Макса Вернера (А. Михайлова), известного писателя по военным и международно-политическим вопросам, и др.

вается внимание и самого советского правительства, и самой большевистской партии на каждом новом этапе развития советской революции, при каждом новом повороте советской политики, в ходе каждого нового государственного или партийного «кризиса». Так было не только в самом процессе формирования советской власти. Так было в ходе «дискуссии о профессиональных союзах», предшествовавшей переходу от «военного коммунизма» к «новой экономической политике» (НЭП); так было на протяжении всей той борьбы фракций и течений внутри большевистской партии, которая была прологом к периоду сплошной «коллективизации» сельского хозяйства и лихорадочной «индустриализации» страны и была ликвидирована «чистками» и «процессами»; так было, когда в стремлении отвратить военную угрозу, созданную для Советского Союза приходом к власти гитлеро-фашизма, советское правительство провозгласило политику «коллективной безопасности», «единого» пролетарского и «народного» фронтов вовне страны и «Сталинскую» конституцию 1936 года, как воплощение «самой совершенной демократии в мире», внутри ее; так было, наконец, когда наряду с «защитой отечества», советское правительство сделало «защиту демократии» одним из основных лозунгов антигитлеровской войны. Но и сейчас, после победоносного завершения этой войны проблема «демократии» и во внутреннеполитической жизни страны, и в ее внешней политике, и в подходе к международно-пролетарскому вопросу о взаимоотношениях между возрождающейся социал-демократией и возрождающимся коммунизмом становится все более «злободневной» и центральной проблемой и советского общества, и советского правительства.

Но «демократизации» советского режима или, точнее, политического оформления и закрепления его демократизации еще не видно, и мы будем еще иметь случай говорить о причинах этого. Раньше всего, однако, надо отдать себе отчет в тех факторах, которые позволили партии, насчитывавшей ко времени переворота, по самым оптимистическим подсчетам, не более 250 000 членов (см. Краткий курс истории ВКП, стр. 188), в большинстве своем недавних, не только взять в свои руки власть над шестою частью земного шара с почти 200-миллионным населением, но и удержать эту власть в течение свыше четверти века, более того — сделать ее в этот, исторически столь краткий, период времени орудием более радикального экономического, социального и культурного преобразования отсталой страны, чем к тому была способна какая-либо из предшествующих революций, пережитых человечеством.

Конечно, к диктаторским методам властвования большевизм был подготовлен всей предшествующей историей своего идеологического развития и прежде всего неизменной ориентацией своей на «вооруженное восстание», закреплявшей иерархическое строение большевистской партии и воспитывавшей во всех звеньях ее навыки к «беспрекословному повиновению» авторитарным директивам, идущим «сверху». Но, чтобы справиться с теми задачами самозащиты и управления, которые тотчас же встали перед советской диктатурой в условиях очерченного выше хаоса, и еще больше — чтобы справиться с задачами сначала восстановления, потом коренной реорганизации до основания расшатанного хозяйства страны, ей нужен был — и притом немедленно — новый аппарат, сколько-нибудь способный заменить аппарат старый, в значительной части своей встретивший новую власть саботажем или открыто перекочевавший в «белый», контрреволюционный стан гражданской войны. Этот новый аппарат дала советской революции вся предшествующая работа социал-демократии, и притом работа не одной, а обеих фракций ее.

Нелегальные ячейки, боевые группы, военно-технические организации, партизанские дружины и т. п. дали большевикам кадры организаторов «красной гвардии», «продотрядов», Чека и других органов борьбы с саботажем и угрожающею контрреволюцией. Но только десятки, если не сотни тысяч рабочих, проведенных меньшевизмом через школу профессиональных союзов, кооперативов, страховых, культурных и всяких иных организаций рабочей борьбы, самоуправления и самодеятельности, дали им кадры рабочих-организаторов и администраторов национализированного хозяйства. Лишь сравнительно немногочисленные, политически уже вполне самоопределившиеся и зачастую наиболее выдающиеся круги этой «рабочей интеллигенции» остались до конца на своих меньшевистских позициях и, как и другие меньшевики, сошли с практически-политической сцены, стали жертвами репрессий. Подавляющая же масса воспитанной меньшевиками «рабочей интеллигенции» вросла в советский режим и стала наиболее крепкой опорой его хозяйственной системы. Это звучит парадоксально, — но только долголетняя работа меньшевиков и, в частности и в особенности, «ликвидаторов» создала тот рабочий авангард, без которого была бы невозможна национализация промышленности и торговли и коллективизация сельского хозяйства и без которого советская революция была бы осуждена на провал. Ход

событий неопровержимо подтвердил, таким образом, что в самой междоусобице своей обе фракции русской социал-демократии были исторически необходимыми факторами победы русской революции: каждая из них, в самих «крайностях» своих, обслуживала, как выразился в свое время Плеханов, «одну из сторон» той двуединой задачи, которую история поставила перед русскою революцией, но которая, по не раз изложенным причинам, не поддавалась прямолинейному и гармоническому разрешению.

Как не раз подчеркивалось, русская либеральная буржуазия и демократическая интеллигенция сами по себе всегда были политически бессильны. Стирая грани между собой и «белым» фронтом гражданской войны, они окончательно лишали себя всякой возможности идейно-политического воздействия, если не на рабочие, то хоть на крестьянские массы. В этих условиях, при отмеченном уже политическом индифферентизме крестьянства и мещанства в эту эпоху, кадров, составленных из элементов, сформированных предреволюционною работой социал-демократии, оказалось достаточно, чтобы дать большевистской власти возможность закрепиться, начать строить — конечно, в самом упрощенном и грубом виде — новый, революционный аппарат и разрешать — опять-таки самыми упрощенными и грубыми методами — хотя бы самые неотложные хозяйственные задачи, т. е., в первую голову, обслуживание красных фронтов гражданской войны и снабжение городского населения продовольствием, а транспорта и промышленности — топливом и сырьем. «Коммунизм» того времени с его экспроприацией не только капиталов буржуазии, но и ее потребительского имущества, с «уравнительным» и бесплатным распределением наличных благ между «трудящимися», с «продовольственными отрядами», отбиравшими у крестьян «излишки», и с «трудовыми армиями», пытавшимися, в порядке обязательной повинности всего трудоспособного населения обоего пола, организовать в определенных районах страны коллективную работу, главным образом, по добыче топлива, — «коммунизм» этот не случайно был назван «военным»; как примитивен и, по существу, малоэффективен ни был этот «коммунизм», в условиях грандиозной революционной перетряски сельскохозяйственного уклада страны, именно развал промышленности и транспорта, оставленный революции в наследие «империалистической» войной и чудовищно усугубленный войной гражданской, не оставлял большевистской власти никаких других путей подступа к разре-

шению указанных выше неотложных хозяйственных задач. Не надо пояснять, почему на этих путях, в обстановке гражданской войны, диктаторские формы новой власти не могли не становиться все более законченными и «жесткими». И в этом же направлении действовала и складывавшаяся международная обстановка.

Как известно, сам Ленин — совершенно в духе своего прощального письма к швейцарским рабочим — считал, что большевистская диктатура окажется лишь сравнительно коротким эпизодом, если ей не придет на помощь социалистическая революция передового европейского Запада, и что историческое значение Советской «Коммуны» сведется в этом случае к тому, что она, еще бесконечно больше, чем Коммуна Парижская, станет легендой, идейным знаменем, образцом для подражания грядущим социалистическим революциям, которые будут учиться на ее опыте, на ее победах и поражениях. Но малая сопротивляемость германского пролетариата, морально-политически дезориентированного «военной» политикой большинства социал-демократии и профессиональных союзов и ослабленного вызванными этою политикою расколом и междоусобицей, дала возможность капиталистическим странам-победительницам задушить в самом зародыше социалистическую революцию Европы вообще и развязать себе руки для военной интервенции и экономической блокады против советско-социалистической революции в России.

И все же большевистская диктатура не погибла. Но по мере исчезновения шансов на разрешение экономических и социальных противоречий советской революции путем вовлечения дальнейшего развития ее в русло общего революционно-социалистического развития Европы (на что рассчитывало и «Мартовское» течение), противоречия эти делались все более острыми, борьба с ними становилась все труднее, а вместе с тем все более суровыми и жесткими становились методы этой борьбы и все более «диктаторскими» государственные формы советской власти: в конце концов, прямое «хирургическое» преобразование экономической и социальной структуры отсталой страны, нашедшее свой кульминационный пункт и завершение в политике «раскулачиванья» и «сплошной коллективизации», оказалось той дорогой ценою, которою только и можно было предотвратить крушение советской революции и ее капитуляцию перед силами внутренней и международной капиталистической реакции.

Сильнейшим стимулом к развитию советской власти в том же, «диктаторском» направлении была военная опасность, не перестававшая угрожать Советскому Союзу и после того, как период блокады и интервенции сменился эрой торговых сношений и дипломатических признаний. Глубочайшим и неисчерпаемым источником этой опасности была та неустойчивость континентально-европейского капиталистического общества, особенно в его жизненном центре — Германии, которая оказалась неизбежным следствием его «спасения» насильственным обрывом социалистических революций Европы и которая исключала возможность его собственного мирного, бескатастрофного развития, лишая его в то же время морально-политической сопротивляемости натиску антикапиталистических и социалистических тенденций и идей, крайним выражением и символом которых история сделала советскую революцию. Подавление этой революции стало вопросом жизни для пошатнувшегося континентально-европейского капитализма, имевшего все основания рассчитывать в этом случае на сочувствие и содействие капиталистической реакции и консерватизма во всем мире.

Это стало совершенно очевидно несколько позже, когда господствующие классы Европы стали повсюду отвечать на надвигающуюся на них социалистическую опасность поддержкой «фашистских» движении вопреки тому «антикапиталистическому» знамени, которое давало этим движениям возможность вовлекать в свою орбиту выбитые из колеи широкие массы мещанства и крестьянства, искони бывшие массовой опорой капитализма. Было только естественно, что, после провинциальной репетиции в Италии, именно в Германии «фашизм» достиг предельного развития, и что германский «национал-социализм» тотчас же стал точкой приложения для той «антисоветской» политики, самым ярким и последним довоенным выражением которой был «Мюнхен». Но гитлеро-фашизм в Германии — это была война. И каковы бы ни были подготовительные и начальные фазы этой войны, нельзя было не видеть, как тогда же констатировали так называемые «военные тезисы» Отто Бауэра и автора этих строк, что, принудительно создавая военную коалицию капиталистических демократий с Советским Союзом, то будет все же война, прежде всего и главным образом, против социализма, не только советского, но европейского и мирового, и что в этой войне Советскому Союзу суждено будет стать самой мощною социалистической цитаделью.

Но уже с самого начала наличие военной опасности означало для Советского Союза, прежде всего, необходимость отдавать все возрастающую долю ресурсов обнищалой и истощенной страны на создание достаточно современного военного аппарата. Оно означало поэтому необходимость возможно более массивной и ускоренной индустриализации страны («догнать и перегнать!», «пятилетки» и притом — «в четыре года»! и т. д.) и подчинения самого процесса индустриализации требованиям обороны, то есть выдвигания на первый план тяжелой промышленности в ущерб легкой, производства вооружения и оборудования для будущих фабрик и заводов в ущерб производству предметов потребления. Оно означало, таким образом, невозможность сколько-нибудь полного удовлетворения нужд городского и рабочего населения и делало более или менее принудительные формы распределения и прикрепления рабочей силы единственным способом предотвратить то повальное бегство населения в деревню, которое грозило бы параличом промышленности и срывом всех планов индустриализации. А крайнее оскудение того фонда потребительских товаров, которыми города и промышленные центры могли бы располагать для обмена на «продовольственные и сырьевые продукты сельского хозяйства», снова и снова и со все возрастающей остротой возвращало большевистскую диктатуру к основному вопросу советской революции — к вопросу о крестьянстве.

«Военно-коммунистическая» политика «продотрядов», насильственного отобрания у крестьян «излишков», привела, в конце концов, к катастрофическому сокращению крестьянских посевов, обрекшему не только городское и промышленное население, но и значительную часть сельского на голод, унесший немало жертв. На 10-м съезде ВКП (март 1921 г.), заседавшем в условиях только что закончившейся всеобщей забастовки протеста петербургских рабочих и продолжавшегося еще восстания кронштадтских матросов, Ленин провозгласил переход к «новой экономической политике» (НЭП), которая открывала частному капиталу, русскому и иностранному, ограниченный доступ в сферу промышленности (в виде «концессий»), а крестьянам предоставляла право свободного распоряжения и продажи продуктов собственного хозяйства — после уплаты причитающегося с каждого из них натурального налога («продналог»).

Новая политика вызвала немедленное выбрасывание на рынок припрятанных крестьянами запасов, облегчившее продовольственное положение в городах, а в дальнейшем привела к быстрому рас-

ширению посевной площади и к значительному увеличению производства предметов потребления, на котором сосредоточили свое внимание мелкие и средние капиталистические «концессионеры» — в то время как крупный иностранный капитал стремился — в общем, совершенно безуспешно — взять в свои руки разработку рудных (золото) и лесных богатств. И все же, несмотря на видимые успехи «новой экономической политики», Ленин, объявивший в 1921 году НЭП «всерьез и надолго», вынужден был уже через год, на 11-м съезде ВКП (март 1922 г.) заявить, что «отступление кончено», и провозгласить лозунг: «Подготовка наступления на частнохозяйственный капитал» (Краткий курс истории ВКП, стр. 245). Но краткая эра НЭПа не прошла бесследно: она оставила советскому хозяйству в наследие то сочетание плановых и рыночных моментов, с двойными каналами снабжения и двойными скалами цен, которое в разных формах и видоизменениях стало его прочной основой, но и в международном масштабе получило немалое значение с точки зрения теоретического и практического разрешения проблем планового хозяйства.

В первую очередь НЭП был ликвидирован в городе, в промышленности и торговле. При всей ничтожности вложенного в них капитала, появление на открытой арене «частного предпринимателя», вчера еще считавшегося «паразитом», подлежащим беспощадному уничтожению, а сегодня объявленного, хоть второстепенным, но необходимым и полезным звеном советской хозяйственной машины, оказалось гораздо более опасным для незавершенного в своей структуре и неустоявшегося еще советского общества, чем то заранее представлялось. «Нэпман» не только сам быстро богател, но и становился своего рода центром материального и идеологического притяжения для «бывших людей», уцелевших остатков старых господствующих классов, почувствовавших прилив новых надежд. Но своею деловитостью «нэпман» импонировал и мало еще умелой советской бюрократии, особенно хозяйственному и административному сектору ее, который он к тому же не без успеха разлагал и прямым подкупом, и делая отдельных представителей его соучастниками спекулятивных операций, дававших огромные барыши. Но немалою опасностью оказался «нэпман» и с точки зрения возможного воздействия его на самый экономико-социальный фундамент только еще строящегося советского общества, а вместе с тем и на тот, созданный революцией, новый политический уклад, который тоже еще находился в начальной фазе формирования.

В распоряжении «нэпмана» были его собственные, осторожно извлекаемые из-под спуда капиталы, оборудование, сырье, он располагал старыми коммерческими и техническими связями и всегда мог рассчитывать на поддержку и ресурсы иностранного капитала. Естественно, что ни по уровню производительности, ни по качеству продукции с ним не могла равняться национализированная промышленность, только еще начинавшая налаживаться в условиях крайней скудости оборудования и сырья, технической и коммерческой неопытности ее руководителей, не сочувствия, а то и прямого саботажа немалой части ее обслуживающего персонала. Как ни малочисленны были «нэпманские» предприятия, — на фоне общей разрухи, повальной нищеты, недостачи решительно во всем — они сверкали яркой световой рекламой «свободному предприятию», звучали молчаливым, но от того не менее слышным призывом к реставрации режима «частного капитала».

Призыв этот тем более грозил вызвать отклик даже в рабочих рядах, что, в силу тех же вышеуказанных причин, нэпман имел возможность создавать для круга (по существу, весьма ограниченного) своих рабочих и служащих гораздо лучшие условия труда, чем то было доступно начинающему хозяйствовать советскому государству. Более того. Об улучшении условий труда рабочих и служащих, занятых «частным капиталом», должно было всячески заботиться само это государство, которое в своих собственных предприятиях вынуждено было, как мы видели, как раз в это время создавать для массы русского пролетариата режим всяческих ограничений и лишений. А в этой связи снова остро вставал вопрос о профессиональных союзах.

Те принудительные формы распределения и прикрепления рабочей силы и фиксации заработной платы, которые оказались в наличных условиях необходимой предпосылкой приступа к построению национализированного и планированного хозяйства, сейчас же вызвали необходимость коренной реорганизации и профессионального движения. И после этой реорганизации, встретившей упорное сопротивление в ряде унаследованных от прошлого «свободных» профсоюзов (печатники, химики, служащие и др.), советские профсоюзы не перестали быть массовыми и самоуправляющимися рабочими организациями. Но сфера их демократической самодеятельности значительно сузилась. Они оставались «свободными» в вопросах внутренней организации, культурно-просветительной работы, рабочего страхования, обслуживания бытовых нужд своих членов (охрана безопасности работающих, продуктовые

распределители, столовые, огороды, жилища, ясли и т. д.). Но как раз в тех вопросах заработной платы, рабочего договора и т. п., которые до тех пор были для них основными, их свобода была существенно урезана: их представители участвовали в правительственных и хозяйственных инстанциях, вырабатывавших условия труда, но декретированные этими инстанциями ставки, нормы выработки, правила найма и т. п. становились законом и для самих профсоюзов. Никогда формально не отмененное право стачек фактически выпало из арсенала рабочей борьбы, потому что сами условия труда перестали быть предметом массовой борьбы, а стали предметом законодательства и администрирования. Но то же право стачек оставалось в полной силе по отношению к частным предприятиям. И те же вопросы заработной платы и рабочего договора оставались в центре внимания профсоюзов, поскольку они именно к этим предприятиям, а не к государственным, поворачивались лицом. Не надо пояснять, какую разлагающую раздвоенность в настроения профсоюзных рабочих вносило такое положение.

Становилось слишком очевидно, что дальнейший рост «нэпманства» в промышленности и торговле грозит срывом всей, еще только налаживавшейся, системы хозяйственной и рабочей политики советского государства и реставрацией дореволюционных частнокапиталистических отношений. Но в условиях повоенной и пореволюционной России того времени, о которых мы столько раз уже говорили, такая реставрация неизбежно должна была бы быть оплачена ценой закрепощения страны иностранному капиталу — со всеми вытекающими отсюда экономическими, социальными, политическими и международными последствиями. В этих условиях НЭП в промышленности и торговле не мог быть долговечным. Но не слишком долговечным оказался он и в деревне.

Явное улучшение продовольственного и сырьевого баланса страны, а вместе с тем и ее общего экономического положения будило надежды на возможность связать взаимодействием и общностью интересов «индивидуальное» крестьянское хозяйство и «национализированную» промышленность: возрастающая производительность крестьянского хозяйства должна была обеспечивать ускоренный рост промышленности, рост же промышленности, сопровождаемый ростом потребляющего городского и рабочего населения, — обеспечивать крестьянству непрерывно возрастающий сбыт продуктов его труда и все улучшающееся снабжение деревни и орудиями производства, и потребитель-

скими товарами. Казалось, что найдена, наконец, формула, позволяющая органически и гармонически, действительно «всерьез и надолго», слить в единую систему советского хозяйства «социалистический» город и «частнохозяйственную» деревню. Эта формула легла в основу политики так называемого «правого» течения в большевизме, к которому тяготело большинство «старой гвардии» Ленина и в руки которого после его смерти (январь 1924 г.) фактически перешла власть. Но достаточно было 2–3 лет, чтобы начала вскрываться иллюзорность и практическая несостоятельность этой политики в реальных условиях тогдашней советской действительности, — вместе с чем и само «правое» течение начало превращаться в «правую оппозицию», окончательно ликвидированную упомянутыми уже «процессами»*.

Предполагалось, что именно «хозяйственный» и зажиточный, «крепкий» крестьянин (по традиционной терминологии — «кулак») в первую голову оценит все выгоды намечаемой «неонэпом» хозяйственной кооперации с советским городом и в силу этих выгод будет постепенно, почти автоматически «врастать» в советское хозяйство и советский социализм. Именно ему импульсивный Бухарин, вождь правого течения, бросил как-то тот самый призыв: «Обогащайтесь!», с которым почти за сто лет до того обратилось к французской буржуазии правительство «мещанской» июльской монархии. И именно в это время подвергаются резкой критике идеи, психологические навыки, политические лозунги эпохи гражданской войны: «бедняцкие» «заскоки и загибы» в деревне, тенденции к уравнительному распределению благ в городе, получающие теперь насмешливую кличку «уравниловка», «партизанские» методы разрубания трудностей вместо их терпеливого и «делового» разрешения компетентными лицами. Ликвидируется, казалось, все специфическое идейное, психологическое и эмоциональное наследие «военного коммунизма», и советское общество вступает на путь спокойного и планомерного развития. Но эта ликвидация оказалась преждевременной, потому что «крепкий мужик» не оправдал возлагавшихся на него надежд.

* «Левая», «троцкистская» оппозиция, обесплодившая себя доктринерской идеей исторически немыслимого «возвращения к октябрю», свелась к чисто идеологическому бунту против реальных исторических условий развития советской революции и потому практического значения во внутренней политике советского государства не получила. Некоторую роль играла она в борьбе за его внешнюю политику. Об этом — ниже.

Он не мог оправдать их потому, что из цепи логических построений «формулы» с самого начала выпало основное и решающее звено: какими сравнительно скорыми темпами ни шла «индустриализация», ни количество, ни качество индустриальной продукции не давали основания рассчитывать, что национализированная промышленность (сосредоточенная к тому же, как мы говорили, главным образом на производстве оборудования для будущих заводов и вооружения) сможет в ближайшие годы установить товарообмен с деревней на сколько-нибудь эквивалентном основании; такой товарообмен мог быть лишь делом неопределенного будущего. Пока же «крепкий мужик» должен был все больше производить и дешево продавать, мало и дорого покупать. Но этого именно он не хотел. Он широко пользовался правами, данными ему «неонэпом», чтобы расширять свое хозяйство, арендуя землю у крестьянской бедноты и пользуясь ее наемным трудом, но все меры употреблял, чтобы сбывать свою продукцию на «черном рынке», а не сдавать ее государству по нормированным ценам. «Обогащение» вело его не к «врастанию» в систему советского хозяйства, а, наоборот, ко все более упорному сопротивлению этой системе.

Советскому государству и к «крепкому мужику» приходилось все настойчивее применять принудительные меры донэповского типа: «новые ограничения права продажи продуктов на вольном рынке, повышение норм обязательной сдачи сельскохозяйственных продуктов правительству по низким ценам, установление предельных размеров крестьянских хозяйств, ограничение права земельной аренды и пользования наемным трудом»* и т. п. На эти меры «кулак» отвечал так же, как деревня отвечала на политику «военного коммунизма»: припрятыванием продукции, сокращением посевов и молочного хозяйства, распродажей и массовым убоем скота, ликвидацией технических и огородных культур — словом, саботажем всех отраслей сельского хозяйства, нужных советскому городу и советской промышленности. «Ставка на кулака», эта последняя форма ставки на индивидуальное крестьянское хозяйство, была сорвана. Советское правительство увидело себя вынужденным перейти к новой «генеральной линии» хозяйственной политики, которая, наряду с еще более ускоренной индустриализацией, ставила себе задачей «раску-

---

* A. Jugow. Russia's Economic Front for War and Peace. Harper and Brothers Publishers. New York and London, 1942. P. 44.

лачиванье» деревни и ее «сплошную коллективизацию», то есть ликвидацию единоличного крестьянского хозяйства, как основной формы сельскохозяйственного производства. А критическое хозяйственное положение заставило его проводить «раскулачиванье-коллективизацию» (как впрочем и «индустриализацию») еще гораздо более ускоренным темпом, чем то было предусмотрено «генеральной линией». И она была проведена с беспощадностью и жестокостью, которые оказались возможны лишь благодаря наличию двух факторов.

Первым из этих факторов было то, что на смену наличному государственному аппарату, растерявшему за истекшие бурные годы немалую долю былой революционной энергии, усталому и потрепанному «чистками», шли кадры аппарата нового — в лице молодежи, воспитанной «Комсомолом» (Коммунистический союз молодежи), через него поднявшейся из рабочих, крестьянских и мелкомещанских низов и получившей доступ к образованию и профессиям, ей раньше совершенно недоступным. Выросшее в советском режиме с его идеологическою и политическою исключительностью, молодое советское поколение усвоило себе не только его политические идеи и представления, но и его политическую психологию, явившуюся, как мы видели, плодом и результатом всей длинной истории большевизма и советской власти. Безграничная преданность идеям «советской революции» и предельный героизм в служении им сочетались в этой молодежи с непреклонной, не знающей «сентиментальности» суровостью в борьбе за их проведение в жизнь. Она самоотверженно сжигала свои силы на костре «индустриализации», которая без нее была бы невозможна. Но без инициативной и руководящей роли нового, «комсомольского» аппарата было бы невозможно и то быстрое и полное проведение болезненной операции «раскулачиванья», которое имело место.

Но проведение ее было бы невозможно и без наличия второго фактора — энергичной поддержки, шедшей ей навстречу изнутри самого крестьянства, со стороны деревенской «бедноты». Увеличив земельную обеспеченность крестьянства, революция не могла достаточно обеспечить его скотом и инвентарем, и «беднота» вынуждена была так же сдавать свою землю в аренду «кулаку» и почти на таких же кабальных условиях, как она сдавала ему до революции свои карликовые наделы. Третируемая свысока идеологами неонэпа, «бедняцкая» часть крестьянства стала теперь снова главным проводником со-

ветской политики в деревне: из правительственной операции «раскулачиванье» превращалось в акт социальной борьбы внутри самого дифференцированного крестьянства. Ликвидация «как класса» начавшей было крепнуть деревенской, «кулацкой» буржуазии сопровождалась такой же экспроприацией ее не только производственного, но и потребительского имущества, какая имела в свое время место при ликвидации «как класса» — сначала помещиков, потом старой, дореволюционной буржуазии и, наконец, буржуазии «нэпманской». Сданная было в архив «военно-коммунистическая» идеология со всеми ее страстями, эксцессами и даже осмеянными «уравнительными» тенденциями должна была на время возродиться, чтобы можно было довести операцию «раскулачиванья» до успешного конца.

Но действительная проблема, поставленная перед советской властью всеми указанными выше экономическими и политическими затруднениями, заключалась не в том, удастся ли ликвидировать в деревне «кулаческий» класс, а в том, окажется ли ликвидация «кулака» прологом к ликвидации всей, не вмещавшейся в советские рамки, системы индивидуально-разрозненного крестьянского хозяйства: «раскулачиванье» было лишь средством, целью была «сплошная коллективизация». Успешное же достижение этой цели зависело целиком от того, удастся ли вовлечь в процесс «коллективизации» основную, «середняцкую» массу крестьянства, сделать рычагом этого процесса ее союз с «беднотой» против «кулака». И «головокружение от успехов», за которое пострадало немало чрезмерно усердных проводников правительственной политики, заключалось не в том, что они стремились сделать коллективизацию «сплошной» и ускорить ее темп, а в том, что в этом стремлении они колебания и глухое сопротивление и «середняцкой» массы крестьянства ломали теми же «беспощадными» методами, какие применялись к «кулаку», крепили солидарность этой массы не с «беднотой», а с «кулачеством», и тем грозили сорвать самое возможность успеха.

Как известно, советской власти удалось разрешить поставленную ею перед собою задачу: морально-политически изолировать «кулачество» и вовлечь «середняцкую» массу в колхозную систему, закрепляя ее связь с этой системой теми выгодами, которые дает крупному коллективизированному хозяйству возможность пользования самыми совершенными с[ельско]х[озяйственными] машинами и применения самых совершенных методов с[ельско]х[озяйственных] культуры

и животноводства. Конечно, процесс перехода от вековых навыков индивидуального хозяйства к методам, укладу и психологии хозяйства коллективизированного не мог протекать без трений, конфликтов, частичных срывов. Но он подвинулся вперед так далеко и успешно и экономически так оправдал себя, что возврата к прошлому быть уже не может: Россия перестала быть страной индивидуально-разрозненного крестьянского хозяйства и стала первой в мире страной сплошной сельскохозяйственной коллективизации*. Трудно переоценить то громадное значение, какое это коренное изменение экономической и социальной структуры страны имеет и будет иметь для всего ее дальнейшего политического и культурного развития!

Таково было внутреннее политическое развитие страны, в своих основных тенденциях коренившееся, конечно, в ее собственном, историей созданном, экономическом, социальном, политическом и культурном укладе и в борьбе ее собственных внутренних сил, но протекавшее, как указано, под сильнейшим давлением военной опасности, не перестававшей висеть над революционной страной. Но под самым непосредственным воздействием этой опасности развивалась не только ее внешняя политика, но и политика национальная, в такой многонациональной — особенно на своих окраинах — стране, как Советская Россия, неизбежно становящаяся пунктом пересечения политики внутренней и внешней.

Опыт интервенции и гражданской войны вскрыл ту опасность, которая создавалась для советской страны относительной нестойкостью в отпоре интервентам и «белым» контрреволюционерам национальных конгломератов, расположенных на ее дальневосточных и юго-восточных окраинах, в том числе и на Кавказе, имеющем особое стратегическое значение в виду богатых источников нефти. Устранению этой опасности должны были служить: создание «буферной» Народной Республики в Монголии, закрепление ассимиляции Туркестана с уничтожением архаических Ханства Хивинского и Эмирства Бухарского, ликвидация недолгого независимого государст-

* Небольшие участки, оставляемые в индивидуальное пользование каждому колхозному крестьянину, являются лишь дополнительным стимулом к усилению его заинтересованности в успехах колхоза. С точки зрения самой структуры сельского хозяйства, эти участки также не имеют никакого значения, как не имеют, скажем, с точки зрения структуры капиталистического общества отводимые иногда рабочим огородные участки.

венного существования Кавказских национальных республик (Грузинская, Армянская, Азербайджанская и др.).

В осуществлении этих задач видную роль играла, конечно, Красная Армия. Но существенным и характерным отличием этой окраинной политики советского государства в первые же годы его формирования от политики «империализма» — усвоить это важно и для понимания современных методов советской политики — было то, что ее главным и основным рычагом была не военная сила, а революционная мобилизация самых низовых, трудящихся народных слоев даже в самом отсталом восточно-азиатском обществе. Только опираясь на эти низовые народные силы, в тесном контакте и союзе с ними осуществляла и закрепляла Красная Армия те задачи, которые ставила себе советская политика.

Понятно, что проведение такого рода политики оказалось наиболее трудным и сложным, а сопротивление ей, хотя и не бурным, но наиболее упорным и длительным в национальной стране такой относительно высокой и стабилизованной социальной культуры, как Грузия, где меньшевистская социал-демократия, опираясь на свое традиционное влияние на крестьянство, сказавшееся уже во всех выборах в дореволюционные Государственные Думы, смогла сравнительно скоро и прочно организовать демократическую республику. Но общим результатом этой национальной политики, в ходе которой были «ликвидированы как класс» все патриархально-деспотические господствующие слои отсталых окраин востока и юго-востока, было уничтожение всех остатков кабальной эксплуатации и феодальных отношений в них и коренное преобразование всего их экономического и социального уклада.

В дальнейшем развитии своем национальная политика, основы которой были заложены в первые годы советской революции и проведение которой было в большой мере делом Сталина, привела к значительному экономическому прогрессу национальных окраин страны, к количественному росту и качественному улучшению их сельского хозяйства, с внесением во все отрасли его принципов «коллективизации», к их возрастающей индустриализации и к быстрому подъему общей культуры самых отсталых национальностей, многие из которых впервые получили доступ к грамоте и литературе на родном языке, приобщаясь в то же время к культуре общерусской. Такая национальная политика сделала Советский Союз более крепким и сильным уже потому, что сделала его в экономическом, социальном и культурном отношениях гораздо более однородным, чем была дореволюционная Россия. Конечным же итогом

этой политики явилась конструкция Советского государства как союза равноправных национальностей*, прочность которого не только вынесла гигантское напряжение и колоссальные испытания антигитлеровской войны, но и была необходимым условием успешного ведения войны и конечной, так дорого давшейся победы. Определяющим моментом внешней политики советской революции в ее начальном фазисе было глубокое убеждение в непосредственной близости европейской социальной революции и в решающем значении примера России. Первым актом этой политики было, как известно, обращение ко всем воюющим державам с предложением «немедленно начать переговоры о справедливом демократическом мире». Отрицательным отношением Англии и Франции («Антанта») к этому предложению австро-германцы воспользовались для нового наступления на русскую территорию и быстрого продвижения к Петрограду, вынудившего советское правительство переехать в Москву, ставшую с тех пор его постоянным местопребыванием. Бессильное остановить это наступление, оно уже в начале декабря решило вступить с Германией и Австрией в «сепаратные» переговоры о мире и 23 февраля 1918 года приняло условия, продиктованные германским командованием. Брест-Литовский мир не только вынудил советское государство согласиться на уплату значительной контрибуции и на оккупацию австро-германскими войсками значительной части его западной и южной территории, но включал в себя, между прочим, и отделение от России Прибалтийских республик и Украины, после того как «независимыми» стали кавказские республики, а Турция получила территориально не очень большой, но стратегически важный район Карса и Ардагана.

Чтобы провести решение о заключении такого мира, Ленину пришлось преодолеть немалое сопротивление внутри самой большевистской партии. Значительная часть ее, группировавшаяся вокруг Троцкого и так называемых «левых» коммунистов (к ним принадлежал еще тогда и Бухарин), видела в этом решении окончательную гибель советской республики. Веря в непосредственную близость европейской революции, «левые» коммунисты считали провозглашение «революционной войны» австро-германским империалистам единственно действительным средством вызвать, наконец, взрыв вполне созревшей, по их мнению, соци-

* Союз Советских Социалистических Республик (СССР) был формально образован на 1-ом Всероссийском Съезде Советов в декабре 1922 г.

альной революции — прежде всего, в Германии. Однако полный распад старой армии и зачаточное состояние новой, с одной стороны, ужасающая общеэкономическая и транспортная разруха, с другой, исключали для молодой «советской» республики всякую возможность вести какую бы то ни было войну против такой мощной военной силы, какою была еще тогда императорская Германия. Упорная и страстная борьба вокруг Брест-Литовского мира* оказалась сравнительно недолгой, и вся большевистская партия встала, в конце концов, на позицию, занятую с самого начала Лениным: считаясь с военным бессилием страны в данный момент, надо принять и самые тяжелые условия мира, чтобы получить «передышку» для борьбы за улучшение экономического положения, закрепление советской революции и создание достаточно мощной «красной» военной силы — в ожидании того момента, когда европейская революция из надежды начнет превращаться в реальный факт.

Ожидание это, однако, недолго оставалось пассивным. Блокада и военная интервенция «Антанты» и открытая поддержка ею «белого» лагеря в гражданской войне заставляли искать способов нанести удар «антантовскому» империализму активным содействием «развязыванию» запоздавшей социальной революции. Внешняя политика революционного советского государства вступает в период, который можно характеризовать как агрессивно-наступательный и в ходе которого, перекрывая старые «брест-литовские» споры, происходит новое сближение внешнеполитической линии Ленина с линией «левотроцкистской».

Первые удары этой революционно-наступательной политики были направлены против Англии, как главного застрельщика борьбы против советской революции**. Нанести британскому империализму сокрушительный удар, сделав советскую республику опорным пунктом и организующим центром национально-освободительных восстаний и революций колониальных и полуколониальных народов

---

* В ходе ее, между прочим, имело место быстро ликвидированное восстание «левых социалистов-революционеров» (июль 1918 г.), сигналом к которому послужило убийство германского посла членом этой партии, видным «чекистом» Блюмкиным.

** Инициатором и организатором этой борьбы был, как известно, Черчилль, которого ирония истории сделала впоследствии, вместе с Рузвельтом и Сталиным, возглавителем антигитлеровского англо-американско-советского союза. Главным противником интервенционистской политики Черчилля был в то время секретарь союза транспортных рабочих, Эрнст Бевин, министр иностранных дел нынешнего Рабочего правительства Англии.

Азии, Среднего и Ближнего Востока, — такова была идея тогдашней восточной политики советского правительства, наиболее демонстративным актом которой были отказ советского правительства от империалистических привилегий в Персии и Китае и созыв Съезда народов Востока в Баку. Именно в это время «социальная революция» начинает все определеннее принимать в политической идеологии большевизма очертания «мировой социальной революции», а не европейской только, как то на деле было раньше.

Но и в западной политике советского правительства этого периода все заметнее становятся элементы революционной агрессивности, опирающейся на твердое убеждение, что и на Западе навстречу сравнительно слабой еще Красной Армии будет везде подниматься неодолимое революционное движение трудящихся масс, как оно поднималось на отсталых окраинах самой России. Это убеждение оказалось, однако, ошибочным, и попытки «прощупать штыком» Польшу, равно как Эстонию и Латвию, чтобы устранить барьер, отделявший советскую республику от Германии, этого предполагаемого главного очага готовой к взрыву революции, не удались. Закончивший войну с Польшей Рижский мир (октябрь 1920 г.) с его тяжелыми для советской страны условиями был, в сущности, «началом конца» короткого периода агрессивной активности в западноевропейской политике советского правительства.

Конечно, тенденции и рецидивы этой агрессивности еще долго давали себя знать в отдельных актах этой политики, внося в нее черты зигзагообразные, противоречивости и даже авантюризма. Но, в общем, «агрессивность» все больше становилась скорее мечтою о той конечной и победоносной «битве на Рейне», которую Красная Армия в союзе с среднеевропейскими революциями даст некогда «Антантовскому» империализму, чем фактором практической политики. Более того. Поскольку элементы «агрессивности» сохранялись во внешней политике большевизма, они все более становились функцией не внешнеполитических органов советского правительства, а коммунистических партий отдельных стран и объединяющего их Коммунистического интернационала (о них — ниже). Именно в это время «политика Коминтерна» начинает отделяться от «политики Наркоминдела» и подчас далее вступать с нею в противоречия и конфликты, в конечном счете разрешаемые советским правительством. Но сам Наркоминдел от революционно-наступательной политики, и на Востоке не давшей

в то время ожидаемых результатов, все определеннее переходит к политике революционно-оборонительной.

Этот именно переход окончательно фиксируется лозунгом «социализм в одной стране», и практически страстная борьба «левотроцкистской» оппозиции против этого лозунга имела не столько теоретическое или внутренне-политическое значение, сколько внешнеполитическое. «Социализм в одной стране» — это ориентация внешней политики Советского Союза не на активное содействие ускорению взрыва «капиталистического окружения», а на «мирное сосуществование» с ним — в ожидании того времени, когда он будет взорван теми внутренними силами, которые зреют в его собственных недрах, хотя и зреют медленнее, чем первоначально казалось. Но это в то же время объяснение и морально-политическое оправдание тому, что ограждение безопасности той «одной страны», в которой пока только и «строится социализм», все настойчивее провозглашается и для правительства этой страны, и для всех сознающих ее исключительное значение для международного пролетарского социализма — тем верховным интересом и тем верховным принципом политики, которым должны быть подчинены все другие интересы и принципы и которые заранее дают морально-политическую санкцию любым средствам, представляющимся в данный момент необходимыми или даже только полезными для этого ограждения. Советский социализм начинает становиться «патриотическим» и «национальным». Но, в отличие от агрессивного и шовинистического национализма империалистического капитализма, советский патриотизм остается в своих основных тенденциях социалистическим и оборонительным.

В последующие годы внешняя политика советского правительства, как известно, широко пользовалась тою морально-политическою свободою в выборе средств, о которой мы только что говорили. Однако нельзя не видеть, что и самые рискованные и «силовые» средства неизменно служили не империалистической или хотя бы революционной агрессии, а все тем же задачам революционной обороны. Здесь нет, разумеется, возможности хотя бы бегло упомянуть этапы и зигзаги советской внешней политики за годы, предшествовавшие второй мировой войне. Но надо отметить, что сильнейший стимул этой революционно-оборонительной политике дал приход к власти Гитлера в Германии, и в своем дальнейшем развитии она привела советское правительство к решению вступить в Лигу Наций (конец 1934 года), сделала его чемпионом борьбы за «коллективную безопасность» и создала в нем го-

товность к заключению военного союза с западноевропейскими демократиями для совместного отпора гитлеро-фашистской агрессии.

Саботаж политики «санкций» по отношению к Муссолини; политика «невмешательства» против испанского фашизма, открыто поддержанного фашизмом итальянским и германским; последующие попытки сговора с Гитлером — давали, однако, советскому правительству все больше оснований для подозрения, что действительною целью политики Англии и Франции является не столько совместная с Советским Союзом борьба против германского национал-социализма, сколько соглашение с гитлеро-фашизмом ценою предоставления ему «свободных рук» на востоке. Подозрение это делается все более тревожным по мере того, как выясняется, что и в вопросе «санкций», и в вопросе «невмешательства», и даже в вопросе о компромиссе с Гитлером «антисоветская» политика буржуазии встречает и во Франции, и в Англии поддержку и влиятельных кругов социал-демократических партий, что в других странах (Скандинавия) партии эти все более склоняются к политике «нейтралитета», и что весь Социалистический интернационал в целом обнаруживает во всех этих вопросах мало способности к энергичным действиям, сколько-нибудь соответствующим энергичному языку его отдельных резолюций. «Мюнхен» превращает подозрение в уверенность, и политика военного союза с западными демократиями срывается.

«Мюнхен» был не просто политическим соглашением с Гитлером. В Мюнхене правительства Англии и Франции дали ему санкцию на разгром и фактическую оккупацию Чехословакии. После присоединения Австрии, при тогдашней близости к национал-социалистическому правительству Германии не только правительств Венгрии и Румынии, но и «полковничьего» правительства Польши, принявшего участие в разделе Чехословакии и заранее отказывавшего Красной Армии в праве прохода через польскую территорию на случай войны с фашистской Германией, — это означало окончательное военно-стратегическое обнажение западной границы Советского Союза, уничтожение последнего препятствия для вторжения гитлеровских армий в его пределы.

Реакция советского правительства на эту политику Англии и Франции позволяет предполагать, что перспектива этого вторжения, внезапно вставшая перед Советским Союзом, совершенно еще неподготовленным к немедленному единоборству с гигантской военной машиной гитлеризма в таких условиях, вызвала чувство страха, грани-

чившего с паникой. Германо-советский пакт, которым советское правительство ответило на «Мюнхен», был, в свою очередь, не политическим только договором, а и военно-стратегическим: его задачей было отвести занесенную над советской страной руку Гитлера в сторону тех, кто, по убеждению советского правительства, натравливал его на Советский Союз. Эта задача, как известно, удалась. Гитлер воспользовался выходом Советского Союза из антигерманского фронта, чтобы разрешить раз навсегда наиболее важную и «больную» для него польскую проблему. Но этим он вынудил Англию и Францию к объявлению войны — не потому, чтобы англо-французская буржуазия считала свои обязательства по отношению к Польше более «священными», чем только что нарушенные ею обязательства по отношению к Чехословакии, а потому, что оккупация Польши, при обеспеченном тыле со стороны Советского Союза, слишком очевидно была лишь прологом к немедленному наступлению гитлеро-фашизма на Англию и Западную Европу.

Бесполезно гадать задним числом, как сложилась бы дальнейшая история Европы и всего мира, если бы подготовленное «Мюнхеном» вторжение осуществилось и привело к разгрому Советского Союза и крушению советской революции. Но нарочито-крикливая декламация обеих сторон о германо-советской «дружбе» не могла и в то время скрыть того факта, что действительной целью германо-советского пакта была для советского правительства не подготовка союза советского социализма с «социализмом» гитлеро-нацистским для совместного наступления на «капиталистические демократии», а получение «передышки» для подготовки к той будущей войне между фашистской Германией и Советским Союзом, в неизбежности которой не сомневались сами контрагенты пакта. Достаточно взглянуть на карту, чтобы увидеть, что и военным захватом финляндских сухопутных и морских баз, и оккупацией Прибалтийских республик, и участием в разделе Польши Советский Союз строил не плацдарм для совместного с германским национал-социализмом «империалистического» наступления на капиталистический запад, а оборонительную линию против грядущего наступления гитлеро-фашизма на восток. В июне 1941 года эта линия стратегически оправдала себя, задержав Гитлеровское наступление на достаточно долгое время, чтобы подготовить его неудачи под Ленинградом и Москвою, ставшие началом его разгрома и конечной победы Советского Союза, а вместе с тем и победы всей антигитлеровской коалиции.

Но каковы бы ни были причины заключения германо-советского пакта и его конечные военно-стратегические последствия, — его непосредственным результатом в международном рабочем движении оказалось внесение немалой идейно-политической смуты в ряды рабочих и трудящихся масс и крайнее обострение того раскола между социал-демократией и коммунизмом, который еще раньше обессилил это движение в его попытках противодействовать надвигавшемуся шквалу гитлеро-фашизма.

Международный коммунизм не был, конечно, созданием русского большевизма. В превосходных статьях о «мировом большевизме»* Мартов показал, как из кровавого посева войны вырастали элементы «большевистской» психологии и в европейском рабочем движении. Условия же экономического, социального и политического развития послевоенной Европы позаботились о том, чтобы создать для коммунизма и массовую основу в европейском пролетариате. Предотвратив крушение континентального европейского капитализма, англо-французские победители не могли сделать этот капитализм жизнеспособным. Его уделом стали все учащающиеся кризисы и все возрастающая безработица, рикошетом все больнее ударявшие и по крестьянству, и по городской мелкой буржуазии и особой остроты достигшие в передовой стране континентально-европейского капитализма — Германии. Двери к «месту в жизни» казались здесь навсегда закрытыми для миллионов молодежи в городе и деревне. Попытки демократического социализма преобразовать экономические и социальные основы общества методами демократии были обречены в этих условиях на неудачу и поэтому вели лишь к дискредитации и этого социализма, и самой идеи политической демократии в глазах миллионов, создавая таким образом готовые массовые кадры — и притом кадры весьма «боевые» и «динамические» — для гитлеро-фашизма в мещанском-крестьянском секторе германского общества, для коммунизма — в его пролетарском секторе. И однородные политико-социальные процессы, в ослабленной и, конечно, приспособленной к национальным условиям форме, имели место и во всех других странах европейского континента.

Не будучи созданием русского большевизма, международный коммунизм развивался, однако, под его сильнейшим воздействием, можно сказать — давлением, зачастую становясь одним из рычагов советской

* Статьи эти вошли в сборник «Мировой большевизм», изданный под редакцией пишущего эти строки в 1924 году в Берлине.

внешней политики. Присоединяясь к воздействию сложной политико-социальной обстановки собственных стран и к воздействию той идеологической «поляризации», которая была неизбежным следствием антагонизма и конкуренции с социал-демократией, не сошедшей с политической сцены, как то было в России, а, наоборот, везде сохранявшей за собой большинство в рабочем классе, это советско-русское давление делало историю международного коммунизма еще более противоречивой, насыщенной внутренними кризисами, неожиданными политическими зигзагами и крутыми политическими поворотами.

Совершенно неожиданные ситуации, созданные для международного коммунизма — сначала германо-советским пактом, истолкованным им как окончательный выход Советского Союза из фронта антигитлеровской войны, потом германо-советской войной, сделавшей Советский Союз, наоборот, главной силой этого фронта, — еще больше подрывали идеологическую устойчивость и теоретическую последовательность политики коммунистических партий, толкая их в каждой стране к чистому эмпиризму, считающемуся в выборе и лозунгов, и средств борьбы за эти лозунги лишь с непосредственными требованиями данного момента и национальными условиями данной страны. Разнобой в политике коммунистических партий отдельных стран делался столь очевиден, что единое и, согласно принципам большевизма, централизованно-авторитарное международное руководство этой политикой становилось невозможным: Коминтерн («Третий интернационал»), основанный в марте 1919 года, как орган такого руководства, прекращает свое существование в мае 1943-го, после того, как значительно раньше — и по однородной причине все усиливающейся и ломающей все рамки идеологических принципов «национализации» политики отдельных социал-демократических партий — распался и Социалистический интернационал.

И все же, вопреки всем идеологическим шатаниям, политическим поворотам и срывам, коммунистические партии отдельных стран не только сохраняют морально-политическую связь и солидарность друг с другом, но и становятся везде и всюду центрами притяжения для наиболее революционно-активных слоев рабочего класса. Это — потому, что, при всех зигзагах, общим верховным критерием политики остается для всех них та идея ограждения безопасности единственной страны, уже начавшей «строительство социализма», которая в условиях войны становится идеей безогово-

рочной защиты Советского Союза и всестороннего содействия его победе. Соответствие этой идеи реальному направлению исторического развития, реальной роли Советского Союза в этом развитии и реальным интересам пролетариата всех стран без исключения в переходную эпоху борьбы между двумя общественными укладами — отмирающим капитализмом и рождающимся социализмом — является источником той притягательной силы, которая дает возможность коммунизму быть революционно-ведущим фактором современного рабочего движения.

В нашу задачу не входит, разумеется, история этого движения. Но надо констатировать, что гитлеро-фашистская контрреволюция и развязанная ею война, закончившаяся ее же разгромом, уже сейчас радикально изменили условия этого движения в Европе и не могут не начать менять их и во всем мире. Гитлеро-фашизм и война нанесли европейскому капитализму смертельный удар и сделали экономико-социальное и политическое возрождение Европы возможным лишь как возрождение социалистическое. Это значит, что в Европе после Второй мировой войны не могут возродиться те экономические и социальные условия, которые после первой раскололи и обессилили ее рабочее движение, закрепили и гипертрофировали идеологию демократического реформизма на одном его полюсе, централистического авторитаризма — на другом. В обоих своих крыльях это движение подведено ныне вплотную к задаче овладения властью, как необходимым орудием социалистического преобразования общественного уклада.

Но в условиях послевоенной Европы эта грандиозная задача, революционно врезающаяся в интересы столь многих и могучих общественных сил, взращенных прошлым, не может быть решена ни одним только парламентским голосованием, ни «вооруженным восстанием», подобным тому, каким в октябре–ноябре 1917 года большевики разрубили гордиев узел русских революционных противоречий. Она не может быть решена и расколотым рабочим классом. Она требует не только мобилизации всех без остатка его собственных сил, но и его способности сплотить вокруг себя и работников умственного труда, и все непролетарские трудящиеся массы города и деревни, стать для них, по выражению Маркса, «классом-освободителем». Ни эта мобилизация, ни это сплочение невозможны без учета крайней ограниченности методов чисто парламентской демократии

в такую переломную эпоху. Но невозможны они и без учета тех навыков к свободной демократической самодеятельности, которые не только вошли в плоть и кровь европейских интеллигентских кругов, но воспитаны вековой историей Европы и в широчайших трудящихся массах города и деревни и отличают их от тех народных масс, на которые опиралась советская революция 1917 года и которые делали эту революцию. Преодоление раскола становится, таким образом, не только необходимым, но и возможным: нельзя не видеть, как в самом ходе развертывающейся перед нашими глазами борьбы европейского рабочего движения за власть в обоих крыльях его постепенно нарастают элементы объединяющего его политико-идеологического «синтеза», пытающегося органически сочетать коммунистический революционный динамизм с социалистическим свободным организованным самоуправлением масс.

Разумеется, путь к преодолению раскола, имеющего за собою уже 30-летнюю давность, не может быть прямым и легким. Окостеневшие идеологические, психологические, эмоциональные традиции обоих крыльев расколотого рабочего движения уже не раз давали и еще не раз будут давать себя знать, замедляя и срывая процесс восстановления рабочего единства. Но железная историческая необходимость всегда, в конце концов, ломает и побеждает идеологическую и психологическую инерцию партий, групп, вождей. Железная историческая необходимость заставляет послевоенную Европу стать социалистической. Железная историческая необходимость приведет и к рабочему единству, без которого социалистическая Европа невозможна.

Но социалистическая Европа — это не только создание совершенно новых условий для развития самой Европы и всего мира. Это создание совершенно новых условий и для дальнейшего развития советской революции — та возможность разрешения в международном масштабе неразрешимых в национальных рамках противоречий русского социализма и русской демократии, которая, как мы видели, всегда представлялась теоретикам обоих крыльев русской социал-демократии единственным выходом из этих противоречий. Но это — создание совершенно новых условий и для дальнейшей эволюции возглавляющего советскую революцию большевизма. Однако это — тема, из сферы истории, которой посвящена эта книга, переходящая уже в сферу текущей политики. Здесь ей можно посвятить поэтому лишь несколько заключительных строк.

* * *

Мы проследили постепенное формирование идеологического, «политического и морально-психологического облика современного большевизма. Во многих отношениях этот облик, конечно, чужд тем индивидуалистически-гуманитарным и демократически-правовым идеям, которые, уходя корнями в многовековую европейскую цивилизацию, окончательно сложились в 19-м веке, на основе "органического" развития прогрессивного и уверенного в себе капитализма, остаются официальным идеологическим знаменем капиталистического общества везде, где это общество еще чувствует себя сколько-нибудь устойчивым, и стали в основных мотивах своих прочным достоянием духовного склада и трудящихся слоев этого общества — в том числе и рабочего класса, которому история предназначила роль его "могильщика"».

Но каков бы ни был облик современного большевизма, этот облик является прямым порождением революционной борьбы русской социал-демократии, из недр которой вышел большевизм, и даже больше — начавшейся свыше 100 лет тому назад борьбы сменяющихся поколений в условиях реального развития России с имманентным ему противоречием: запоздалостью, сделавшею невозможным осуществление демократии без социализма, и отсталостью, сделавшей невозможным осуществление социализма в свободно-демократических формах. Но что еще гораздо более важно: каков бы ни был облик современного большевизма, история сделала его носителем «ключевой» идеи нашей эпохи — идеи социализма, а поставив его во главе гигантского государства, сделала одновременно фактором гигантской силы в сложном и катастрофическом процессе практического воплощения этой идеи в жизнь.

Оценить перспективы будущего развития и социализма, европейского и мирового, и самого большевизма нельзя, не считаясь с этими двумя факторами, как с исторически данными и неотменными. Вопрос может быть лишь о том, станет ли процесс исторического осуществления социализма и процессом эволюции советского режима (а вместе с тем и самого большевизма) — не в смысле исторически немыслимого возвращения к режиму парламентской демократии, конечно, а в смысле его «гуманизации» и «демократизации» в направлении того идеологического «синтеза», который назревает в европейском социалистически-коммунистическом движении.

Мы говорили, что вопрос о демократизации советского режима поднимался в среде самих большевиков на каждом новом этапе развития советского государства. Можно сказать, что внутренняя, «органическая» демократизация советского строя не прекращалась с самого его возникновения, все больше становилась его неотъемлемым и характерным признаком. Процессом такой демократизации советского режима была «политизация» русского крестьянства. Им было возникновение по всей стране, вплоть до самых глухих углов ее, культурно-просветительных, театральных, спортивных и т. п. союзов, обществ, кружков — в количестве, о котором и мечтать не могла дореволюционная Россия, а особенно ее нищая и некультурная деревня. Наиболее могучим рычагом такой демократизации является вовлечение десятков миллионов рабочих, крестьян, вчерашних городских мещан в коллективную и организованную работу, вплоть до работы администрации и управления как в общественных организациях страны (профсоюзы, кооперативы и т. д.), так и в ее хозяйственной системе (национализированная промышленность и торговля, колхозы), и в органах ее местного и центрального управления (советы).

Несомненным крупным шагом к этой внутренней, органической демократизации режима было то, что осталось прочным достижением «Сталинской» конституции 1936 года, — уничтожение категории «лишенцев», провозглашение принципиального равенства в правах всех граждан без исключения, независимо от их «социального происхождения». И, надо думать, еще более крупное значение в этом смысле будет иметь в стране партийной диктатуры та демократическая идея примата «нации» над «партией», «гражданской доблести» над «партийным билетом», которая настойчиво подчеркивалась в национально-патриотической пропаганде во время войны и толкнула к вступлению в самое большевистскую партию миллионы солдат, служащих, рабочих и крестьян, интимно сросшихся с советским укладом, но не с специфической идеологией большевизма.

И все же ни на одном этапе этой непрерывной демократизации советского режима она не была оформлена политически — в смысле закрепления за гражданами свободы высказывания, обсуждения, критики, группировок, организованного действия не только в сфере «деловых», корпоративных, хозяйственных вопросов и вопросов «прикладной» политики, а и в сфере политики «высшей», в сфере принципиальных проблем государственного устройства, конструкции власти, основных

линий внутренней и внешней политики. Причиной тому неизменно оказывалось опасение, что такого рода свободой воспользуются социальные силы, способные стать носителями процесса капиталистической реставрации, более того — опорой и внутренней агентурой того враждебного внешнего «капиталистического окружения», которое не переставало быть источником возможной военной опасности для советской страны. Стремясь «использовать» эти непролетарские социальные силы, советская власть поэтому отказывала им в то же время в формально-правовых условиях, вне которых они не могли успешно действовать, и, в конце концов, как мы видели, неизменно разрубала узел возникавших отсюда противоречий «ликвидацией как класса» одной такой социальной силы за другой: царской бюрократии и генералитета, крупного землевладения, финансовой, торговой и промышленной буржуазии, нэпмана, кулака.

Жестокие операции «ликвидации» консервировали и закрепляли, как мы видели, сурово-диктаторский характер советской власти. Но они же предотвращали возможность ее «бонапартизации», которую в течение ряда лет предсказывали ее социалистические критики и на которую надеялись ее капиталистические враги: в стране не оказывалось тех новых, на революционном разгроме феодализма выросших буржуазных слоев, в которых исторический «бонапартизм» черпал свои политические и материальные силы. А с ликвидацией «кулака» исчезла и всякая возможность возрождения того широкого слоя разбогатевшего в революции крепкого крестьянства, которое дает всякому «бонапартизму» его массовую опору. В процессе «ликвидации» советское общество социально нивелировалось, грани между его правящими «верхами» и управляемыми «низами» переставали быть четкими, между этими верхами и низами шел непрерывный «обмен социальных веществ», и все новые народные пласты поднимались по социальной лестнице снизу вверх.

«Раскулачиванье» и «сплошная коллективизация» деревни делают советское общество «бесклассовым» — в том смысле, что имеющееся в нем материальное неравенство остается неравенством не социально-прочным, а бытовым и преходящим, не создающим ни для кого возможности сделать это неравенство источником овладения хозяйством страны или орудием эксплуатации тех или других слоев населения и менее всего — источником формирования нового «господствующего класса». Эта «бесклассовость» страны опять-таки исключает возможность фашистского вырождения советской власти,

которое не устают ныне предсказывать и даже «констатировать» капиталистические и демократические критики ее. Но та же «бесклассовость» исключает возможность и возрождения тех внутренних опасностей, с которыми раньше было связано для советского режима политическое оформление его органической демократизации.

Исчезновение этой внутренней опасности и позволило советскому правительству не только провозгласить «демократию», и притом «самую совершенную», основным принципом советского строя, но и сделать такие демонстративные шаги в направлении ее политического оформления, какими несомненно были во внутренней политике — «Сталинская» конституция 1936 года, впервые провозгласившая равенство всех граждан и заменившая традиционное для советской системы открытое голосование тайным; в международно-пролетарской политике — «единый рабочий» и «народный» фронты; в политике внешней — курс на сближение с демократическими державами во имя отпора фашизму. Эта линия советской политики, как мы видели, была сорвана «Мюнхеном», а война приостановила ее дальнейшее развитие.

Но та же война создала, как было указано выше, все предпосылки для социалистического переустройства Европы и для восстановления рабочего единства, как необходимого рычага этого переустройства. А социалистическая Европа — это устранение и тех внешних опасностей, которые, как мы видели, с первых дней советской революции были одним из основных факторов развития созданного ею режима в направлении диктатуры и одним из основных препятствий для политической демократизации этого режима — и в то же время одною из главных причин «самоизоляции» Советского Союза, его стремления отгородиться от воздействия внешнего мира возможно более непроницаемой стеной.

С исчезновением внутренних и внешних опасностей будут создаваться совершенно новые условия для дальнейшей эволюции советского режима и для его политической демократизации. Демократизация эта станет исторически возможной. Кровная заинтересованность Советского Союза в скорейшем построении социалистической Европы, а потому и в успехах социалистически-коммунистического единства будет делать для него такую демократизацию исторически все более настоятельной. Предстоящая Советскому Союзу гигантская работа по восстановлению разрушенного войною, поднятию еще более упавшего в ходе войны жизненного уровня населения и удовлетворению повы-

шенного ею самосознания народных масс и обостренных ею их умственных и нравственных запросов — дает основание думать, что демократизация эта будет становиться все более исторически необходимой.

Конечно, процесс политической демократизации советского режима вряд ли сможет протекать гладко, без остановок и срывов: инерция групповых, кружковых и личных интересов и, еще больше, инерция десятилетиями слагавшихся идеологических, политических и психологических навыков и отталкиваний будет нагромождать тысячи препятствий на его пути. И, конечно, результатом этой демократизации вряд ли сможет быть простое преобразование советского режима в ставший столь привычным режим парламентской демократии.

В основе этого режима лежит система политических партий, представляющих экономические и социальные интересы антагонистичных классов или отдельных секций этих классов и борющихся между собой и за голоса избирателей. Его символом и возглавлением является парламент того или иного типа, как та арена, на которой происходит словесное состязание партий, и как та высшая инстанция, голосование которой решает спорные между ними вопросы. Но в обществе, где нет антагонистичных классов, вряд ли окажется место и для политических партий такого типа, как сложившиеся в ходе развития и функционирования капитализма. И это относится не только к советскому обществу: Маркс предсказывал, что в социалистическом обществе «управление людьми», то есть «политика», должна будет все больше отступать на задний план перед «управлением вещами», то есть «экономикой», и, кажется, это предсказание его имеет все шансы быть подтвержденным действительным ходом общественного развития. Можно думать поэтому, что та свобода высказываний, критики, организации, выборной борьбы и пр., которую принесет с собою советским гражданам политическая демократизация, будет использована не столько политическими группировками, сколько группировками преимущественно профессионального, корпоративного, местного, национального, идеологического и т. п. характера.

Но в какие формы отольется эта свобода, — об этом сейчас можно только гадать. Важно то, что она гарантирует действительно свободное идейное самоопределение советского общества во всех слоях его и его действительно свободное самоуправление во всех областях и на всех, снизу доверху, ступенях его жизнедеятельности, не только хозяйственной и общественной, но и государственной. И это будет, наконец, раз-

решением той мучительной проблемы сочетания свободы и социализма, которая в течение свыше чем столетия была неразрешимой и над которой так самоотверженно и героически билось русское революционное движение во всех его сменявших друг друга и друг с другом зачастую так страстно и жестоко боровшихся направлениях.

Свыше, чем через сто лет начинает близиться к осуществлению пророческое предвидение Герцена о России: «Мы пройдем социализмом к свободе». Но чего Герцен не предвидел, — это того, что «социализмом к свободе» пройдем «мы» не в отличие от Европы, не в противоположность к ней, не без нее, не в одиночестве. Вместе с «нами» только социализмом сможет и Европа пройти обратно к свободе, утерянной ею в катастрофах фашизма и войны. Только социализмом смогут пройти к свободе и Азия, начинающая борьбу за свое национальное и политическое полноправие, и колониальные и полуколониальные народы Африки и Тихого Океана, стоящие на пороге этой борьбы. Только социализмом смогут обновить свою уцелевшую свободу и придать ей устойчивость Англия, Австралия и другие демократические страны. И вряд ли иначе, как социализмом, сможет и демократия Соединенных Штатов сохранить свою свободу, под фундамент которой уже начинают подкапываться социальные междоусобицы, порожденные отживающим свой век капитализмом и в его рамках неразрешимые.

«Социализмом к свободе» — это былое знамя русской «самобытности» имеет все шансы стать универсальным знаменем развития всех стран и народов земного шара. Предчувствие пророков «русской идеи» — ее «всечеловечность», провозглашенная Достоевским, крайним русским националистом, но и великим русским ясновидцем, — превращается в историческую реальность. «Русская идея» становится идеей «всечеловеческой» потому, что на протяжении столетия она во всех исканиях своих, во всех своих взлетах и падениях была идеей беззаветной борьбы за разрешение той задачи, которая становится подлинной задачей нашей эпохи: задачи осуществления свободы в социализме и социализма в свободе.

19 марта 1946

Содержание

Научное издание

Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала XX века

Дан Федор Ильич
Церетели Ираклий Георгиевич

Два пути. Избранное

Часть 1

Ведущий редактор *Е. А. Кочанова*
Редактор *Т. И. Петрова*
Художественный редактор *А. К. Сорокин*
Художественное оформление *М. В. Минина*
Технический редактор *М. М. Ветрова*
Компьютерная верстка *А. Ю. Титова*
Корректор *В. Г. Щербакова*

ЛР № 066009 от 22.07.1998. Подписано в печать 28.12.2009.
Формат 60×90 $^{1}/_{16}$. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 33,5.
Тираж 1000 экз. Заказ № 1793

Издательство «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН)
117393, Москва, ул. Профсоюзная, д. 82.
Тел.: 334-81-87 (дирекция), 334-82-42 (отдел реализации)

Отпечатано с готовых файлов заказчика в ОАО «ИПК
«Ульяновский Дом печати». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14